

УДК 94(100)«654»
ББК 63.3(0)5
В26

Издание основано в 2006 году

Редакционная коллегия:

*Е.Э. Бабаева, В.Я. Берелович, П.Р. Заборов,
А.Б. Каменский, С.Я. Карп (ответственный редактор),
Н.А. Копанев, Г.А. Космолинская (составитель и ответственный секретарь),
Н.Д. Кочеткова, Г. Маркер, С.А. Мезин, Ж.-Д. Мелло,
Е.Е. Рычаловский, А.Ю. Самарин, Е.Б. Смилянская,
К. Франк, А.В. Чудинов, Е.Б. Шарнова*

Куратор тематической части

Жан-Доминик Мелло

Рецензенты:

кандидат исторических наук *Д.Ю. Бовыкин*,
доктор исторических наук *З.А. Чеканцева*

В оформлении переплета использована гравюра
французского художника Эрика Демазьера
«Старые книги» (2001)

Век Просвещения / [отв. ред. С.Я. Карп ; сост. Г.А. Космолинская] ; Науч. совет «История мировой культуры» РАН ; Ин-т всеобщей истории РАН ; Науч. центр исслед. истории кн. культуры. – М. : Наука, 2006 – .

Вып. 2 : Цензура и статус печатного слова во Франции и России эпохи Просвещения : в 2 кн. Кн. 1. – 2008. – 541 с. – ISBN 978-5-02-036750-0 (в пер.).

Выпуск посвящен цензуре и статусу печатного издания во Франции и России XVIII в. История церковной и светской цензуры рассматривается специалистами из России, Франции, Швейцарии, Нидерландов, Австралии, США и Канады в тесной связи с историей государства и права, историей книги, с идеями и культурными практиками эпохи Просвещения. Большое внимание в сборнике уделяется истории формирования знаменитых книжных и художественных собраний. Статьи основаны на богатом архивном материале, сопровождаются публикациями ранее неизвестных документов.

Для историков, специалистов по изучению XVIII в. и всех интересующихся эпохой Просвещения.

Темплан 2009-И-219

ISBN 978-5-02-036750-0 © Российская академия наук и издательство «Наука»,
продолжающееся издание «Век Просвещения»
(разработка, оформление), 2006 (год основания), 2008
© Космолинская Г.А., составление, 2008
© Редакционно-издательское оформление.
Издательство «Наука», 2008

ВВЕДЕНИЕ

Выбор темы для второго выпуска международного сборника *Век Просвещения** может показаться необычным и в то же время закономерным. Необычным, потому что более двухсот лет историография и общественное мнение пребывали в уверенности, что цензура есть нечто противоположное просветительскому движению, всячески подчеркивая контраст между предполагаемым «обскурантизмом» цензуры и известными устремлениями века Просвещения к свободе и прогрессу. Закономерным – поскольку цензура (в первую очередь, цензура печати) как явление международное и транснациональное в эпоху Старого порядка, особенно в XVIII столетии, в своей превентивной и репрессивной ипостаси существовала почти повсеместно. Даже в государствах, отличавшихся наибольшим либерализмом и терпимостью, или в совсем небольших княжествах она стремилась контролировать не только «внутреннюю» печатную продукцию страны, но и доступ иностранных книг на внутренний рынок. Вольтер обвинял инквизицию в том, что она служила «таможенным барьером на пути мысли»¹. Тот же упрек может быть адресован и цензуре. Тем не менее именно циркуляция книг и текстов была важнейшим средством распространения Просвещения по всей Европе и за ее пределами. Отмечая рост влияния и могущества печатного слова, автор *Картин Парижа* Луи-Себастьян Мерсье писал в 1781 г.: «Читаю-

* Выпуск подготовлен в рамках международного проекта «Россия и Западная Европа: взаимовлияние культур, контакты и посредники (с начала XVII века до конца 1920-х годов)», поддержанного Национальным центром научных исследований Франции и Российским гуманитарным научным фондом (проект № 07-01-94651а/фр).

¹ См. статью «Авторитет» в его *Философском словаре*. – *Примеч. ред.*

щая нация наделена особенной и счастливой силой, способной бросить вызов деспотизму». Разве не книги «совершили Французскую революцию»? Парадокс заключается в том, что влияние книг росло в недрах монархических государств и авторитарных режимов, опиравшихся на теорию божественного права. Сами же эти режимы, развивая и совершенствуя свой административный и полицейский аппарат, во многих случаях устанавливали культурную монополию, утверждали ее в качестве легитимной и пользовались исключительным правом на публичное слово.

Эта парадоксальная ситуация порождает искушение рассматривать отношения между печатным словом и политическим пейзажем «по-манихейски» упрощенно. Так, в 1980-х годах президент Франции, стремясь поразить общественное мнение, утверждал, что «ракеты находятся на Востоке, а пацифисты – на Западе». Столь же далеко от истины утверждение, будто в XVIII столетии книги распространялись лишь на Западе, а цензура действовала только на Востоке Европы. Об этом весьма убедительно свидетельствуют собранные здесь исследования, посвященные положению дел в России и в странах распространения французского языка². Именно французскому королевству – колыбели Просвещения – принадлежит первенство в организации централизованной превентивной цензуры; благодаря достижениям парижской полиции мы даже можем говорить о существовании «метацензуры». Напротив, Российская империя эпохи Екатерины II воспринималась великими философами как образец свободы мысли, терпимости к новым идеям и книгам; императрица сама финансировала переводы, а французские книги (за редким исключением) без особых проблем пересекали российскую границу.

Собранные здесь статьи рассеивают и расхожее заблуждение по поводу цензоров. Конечно, по дошедшим до нас цензорским отчетам бывает трудно понять их авторов и воздать им должное. Однако, видимо, цензоров не следует огульно считать безвестными писателями или мелкими чиновниками, комплексующими перед «настоящими авторами»³. Как правило, цензорские функции выполняли люди образованные, нередко – специалисты и полиглоты, принадлежавшие к академической, библиотечной или университетской среде, редакторы ведущих научных периодических изданий, деятели церкви или государственные служащие. Обычно они ничем не уступали авторам рукописей, поступавших к ним на отзыв, а некоторые даже сами были признанными писателями и

² Для придания заголовку более компактной формы мы ограничились упоминанием в нем только Франции, однако в материалах тома речь идет и о других странах распространения французского языка, и о рынке французской книги в целом. – *Примеч. ред.*

³ Да простит нас Дени Дидро, призывавший в *Письме о книжной торговле* (1767) «избавиться от двух третей этих людей, облеченных непонятно почему правом судить наши достижения в науках и искусствах» (*Diderot D. Lettre sur le commerce de la librairie*. Paris, 2003. P. 111).

учеными. Наконец, сами цензоры отнюдь не ощущали себя препятствием на пути Просвещения. Напротив, они чаще всего были убеждены в том, что идут с ним в ногу и способствуют его распространению.

Что же из всего этого следует? Авторы статей, публикуемых в настоящем сборнике, попытались найти ответы на многие вопросы, связанные с историей цензуры, и сквозь призму самой цензуры более объективно оценить статус книги, печатного слова и даже общественного мнения в эпоху Просвещения.

При всей неоспоримой пестроте случаев и всем различии ситуаций, попавших в поле зрения исследователей, мы можем все же сформулировать несколько общих наблюдений. Одно из них (хотя, возможно, и не самое очевидное) – это то, что книга, печатное слово, общественное мнение отнюдь не воспринимались в ту пору как потенциальная угроза властям предрержащим.

Безотчетная ненависть к печатному слову, о которой повествуют такие пророческие шедевры литературы XX в., как *Прекрасный новый мир* Олдоса Хаксли (1932) и *451 градус по Фаренгейту* Рэя Брэдбери (1953), или же тоталитарное манипулирование содержанием книг, описанное в романе Джорджа Оруэлла *1984* (1949), показались бы в эпоху Просвещения настоящим нонсенсом и государям, и их подданным. Столь же мало они были бы способны понять испанского генерала Франсиско Франко, решившего на исходе своей диктатуры отменить книжную цензуру, ставшую, по его мнению, бесполезной с распространением телевидения. Для людей XVIII в. печатное слово, при всех его издержках, представляло собой решающее достижение цивилизации, отказавшись от которого, развитое общество неизбежно скатилось бы к «варварству» (по мнению Жан-Жака Руссо и Луи-Себастьяна Мерсье). Борьба с влиянием книг считалась немыслимой, однако, следуя той же самой логике, основанной на признании значимости печатного слова, столь же немыслимым они сочли бы издание книг без всякого контроля со стороны власти, наделенной для этого самыми законными полномочиями. Отсюда – примат превентивной цензуры, близкой центральной власти и максимально всеохватной.

Наш взгляд – взгляд людей XXI в. – ретроспективен, и мы склонны представлять себе этот контроль исключительно как некую инстанцию, стремившуюся не допустить распространения «ересей» и идей, опасных для государства, церкви, нравов и репутации важных особ. Однако в XVIII в. в соответствии с духом времени не меньшее значение имел контроль за «качеством»: цензоры должны были также оценивать тон, стиль, ясность выражения и аргументации, глубину знания описываемых предметов и материй и проч.⁴, иными словами – «достоинство» сочинений. Чем же объяснить выбор критериев, которые сегодня кажутся

⁴ На этот аспект справедливо обращает особое внимание Реймонд Бирн в своей последней книге: *Birn R. La Censure royale des livres dans la France des Lumières*. Paris, 2007.

субъективными, а основанные на них претензии – неуместными? Дело в том, что контроль за производством книг был тесно связан с престижем монархии. Данная связь вытекала из принципа культурной монополии, установленной наиболее могущественными европейскими монархиями, в частности, при помощи исключительного покровительства, оказываемого миру литературы. Как показал Анри-Жан Мартен, во Франции уже в XVII в. главным меценатом издателей и писателей выступала королевская власть, покончившая с прежним соперничеством в этой сфере крупных феодалов⁵. В русле этой тенденции, веками складывавшейся в недрах Старого порядка, функция цензуры не сводилась к выдаче простых разрешений на печать при отсутствии к тому препятствий (по типу церковных формул *nihil obstat* и *imprimatur*); был выработан такой тип разрешения, который имел вид королевской милости или покровительства в форме привилегии, жалуемой сочинению, его автору и издателю-книгопродавцу. Если в XVII столетии эта логика апробации в целом не вызывала никаких нареканий и даже пользовалась спросом как свидетельство признания автора и его издателя⁶, то в век Просвещения она, напротив, начала все больше стеснять авторов, книготорговцев и даже цензоров и политических деятелей. Помещаемые в книгах сведения о разрешении и привилегии на печать стали восприниматься как свидетельство обременительной зависимости авторов и издателей, как сомнительная протекция властей предержавших. Отсюда и растущая потребность в иных формах апробации, распространившихся в XVIII в., – *permissions tacites* (негласные разрешения на печать, которые, по выражению Мальзерб, порой бывали *très tacites* – «очень негласными»); *tolérances d'imprimer* (непрепятствие печатанию при отсутствии формального разрешения), а также требование сохранения имени цензора в тайне. В политических кругах отношение к этой тенденции было неоднозначным: в ней усматривали явное отрицание привычных представлений о могуществе монархии – обладательнице исключительного права на публичное слово; ее воспринимали как проявление слабости власти (*despotisme faible*, по выражению Даниеля Роша).

Тут мы подходим к важнейшему институциональному вопросу. Вопреки тому впечатлению, которое могут произвести на людей XXI в. идеи абсолютной монархии и божественного права, королевская или императорская власть в XVIII столетии отнюдь не являлась монолитным блоком с одной центральной осью, единой и непререкаемой политической «линией» и рациональной иерархией. Идет ли речь об империи Екатерины II или же о королевстве Людовика XV и Людовика XVI, по-

⁵ Martin H.-J. *Livre, pouvoirs et société à Paris au XVII^e siècle (1598–1701)*. Genève, 1969. 2 vol.

⁶ См. на эту тему, в частности: Schapira N. *Quand le privilège de librairie publie l'auteur // De la publication entre Renaissance et Lumières / Études réunies par C. Jouhaud, A. Viala*. Paris, 2002. P. 121–137.

всюду мы имеем дело с постоянно меняющимся *соотношением сил*, шаткими равновесиями, компромиссами между различными институтами и группировками. Церковь и представляющие ее учреждения (Ассамблея духовенства во Франции, Святейший Синод в России), сами прелаты, парламенты (во Франции) и другие судебные инстанции, а также университеты, академии, основанные и протезируемые самими монархами, двор, правительство и группы влияния в нем, органы полиции – все эти структуры, служившие опорами монархиям Старого порядка, имели отношение к цензуре (во всяком случае, репрессивной) и к формированию общественного мнения. При малейшей попытке лишить их этих рычагов влияния они умело пускали в ход громкие разоблачения, шумные обвинения или прибегали к тайным маневрам, напоминая о том, какие центробежные силы они способны мобилизовать для борьбы с «произволом» центральной власти. Во Франции парламенты и церковь были вполне способны поставить под сомнение вердикты королевской цензуры. Сталкиваясь с угрозой своему престижу, опасаясь лишиться поддержки своих традиционных столпов, королевская или императорская власть должна была постоянно искать общий язык с этими институтами и группировками, воздерживаться от явных посягательств на их относительную автономию, учитывать их реальное влияние на общество. Очевидно, что цензурные структуры не могли не отражать этой *институциональной сложности*. Об этом свидетельствует их изменчивость, имевшая место как в России, так и во Франции.

Вероятно, не столько сомнение в усердии и компетентности цензоров, сколько именно эта институциональная сложность иногда порождает у нас мысль о «неэффективности» существовавших тогда учреждений цензуры. Риски постороннего вмешательства, конкуренция, пересмотр уже принятых цензурных решений, секретная раздача *tolérances...* – нет таких поворотов, таких обходных маневров, от которых эти структуры были бы застрахованы, несмотря на всю их кажущуюся стабильность. Однако не стоит забывать, что цензура, как и все установления Старого порядка, имела, прежде всего, декларативное и символическое значение. Она должна была не столько стремиться к реальной эффективности, сколько демонстрировать существование власти, законного авторитета, стоявшего над инстанциями, в той или иной степени соперничавшими друг с другом. К тому же при Старом порядке без содействия провинциальных и местных органов, способных охватить все пространство обширной территории страны, ни о какой эффективности не могло быть и речи. Задумавшись о географических параметрах феномена цензуры, мы неизбежно сталкиваемся с проблемой сложного институционального взаимодействия центральных органов с местными, более или менее официально наделенными цензорскими полномочиями: во Франции – с провинциальными парламентами и генеральным лейтенантом парижской полиции; в России – с некоторыми учреждениями, располагавшими собственными типографиями (Академия

наук, Московский университет, Кадетский корпус), или с «цензорскими комиссиями», учрежденными в Санкт-Петербурге, Москве, а также при таможенных пунктах в Риге, Одессе и Радзивилове.

Разумеется, все правители XVIII в. независимо от того, были ли они людьми просвещенными или нет, стремились сделать государственную цензуру действенным фильтром, позволяющим проводить «отбор книг», а не «мириться с их распространением» (подобно тому, как некоторые нынешние политические лидеры предпочитают селективную иммиграцию стихийной). Однако это пожелание оставалось абстрактным, поскольку власти сталкивались с реальностями рынка, весьма непохожего на остальные. Книжный рынок эпохи Просвещения охватывал все страны Европы и их колонии, распространяя повсюду идеи, знания, практики, культурные модели... Ограничить оборот французских книг – экспортного товара высокого спроса, да к тому же созданного на международном языке элит того времени, – было трудно. Серьезные попытки помешать их распространению вызывали недовольство тех самых просвещенных элит, влияние которых сказывалось при дворе, в высших сферах государственного аппарата, в академиях, университетах, салонах... Препоны могли привести к обратному результату, доказывал Дидро в своем *Письме о книжной торговле*. «Сударь, – писал он Антуану де Сартину, генеральному лейтенанту парижской полиции и директору Королевской палаты книгопечатания и книготорговли, – расставьте вдоль ваших границ солдат, вооружите их штыками, чтобы отгонять все опасные книги, появляющиеся у них перед носом, и эти книги, прошу прощения за выражение, пронесутся у них между ног, перепрыгнут через их головы и все-таки дойдут до нас»⁷. Таким образом, Франция была своего рода жертвой популярности своих авторов и своего языка. Вдоль границ королевства (в Нидерландах, Швейцарии, Авиньоне⁸ и др.) возникла параллельная индустрия книгоиздания, которая пользовалась строгостью режима привилегий и цензуры, установленных во Франции, чтобы поставлять туда множество контрафактных книг, а также дерзких или запрещенных сочинений, созданных выходцами из Франции. Материалы настоящего сборника дополняют уже известные факты такого рода и углубляют наши представления о них. Однако, похоже, мы гораздо меньше знаем о том, что меры противодействия, разработанные королевской властью для защиты французского книжного рынка (негласные разрешения на печать или на переиздание французских книг, выпущенных, например, в Голландии), приносили определенные плоды. Именно в результате этих мер сбыт оригинальных голландских изданий во Франции века Просвещения столкнулся с серьезной конкуренцией и пошел на спад. Можно сказать, что экономические факторы (не говоря уже о практике «ложных адресов» или других обходных

⁷ Diderot D. Op. cit. P. 100.

⁸ С 1348 по 1791 г. Авиньон оставался папским владением. – *Примеч. ред.*

маневрах) оказали определенное воздействие на режим цензуры и регламентацию книжного дела. Если в правление Людовика XIV ведомство канцлера Франции надеялось «подчинить рынок власти цензуры»⁹, то в век Просвещения мы наблюдаем обратный процесс: во имя эффективности национальной экономики режим превентивной цензуры становился все более гибким, а «книга-товар» открывала путь «книге-ферменту», вызывавшему брожение умов. Епископы и парламенты возмущались подобной вседозволенностью, но их приговоры выносились *a posteriori*.

Этот клубок очевидных противоречий, конечно, не упрощал задачу цензорам и не облегчал жизнь авторам. Внимательное изучение поведения тех и других сулит некоторые сюрпризы. По словам Пьера Бурдьё, «по мере того, как сходят на нет явные запреты, формулируемые и применяемые на практике органами власти», – так называемая регулятивная цензура, ей на смену «приходит цензура более расплывчатая, связанная с существованием неких форм и обычаев, свойственных данной сфере», то есть цензура, связанная со структурой самого общества, или «структурная цензура»¹⁰.

Памятуя об этом, нам довольно трудно охарактеризовать тип цензуры, практиковавшийся в XVIII в. Предварительная цензура, при всей своей регулятивности, сохраняла, тем не менее, некоторое пространство для «диалога» с авторами, представлявшими свои рукописи на ее рассмотрение. Таким образом, формировалась своего рода воспитательная функция цензуры, направленная на поощрение самоконтроля и самоцензуры, но в то же время – посредством *permissions tacites* и *tolérances* – порождавшая и определенную двусмысленность. Что касается авторской самоцензуры, без тщательного изучения некоторых приемов литературного труда, позволявших выразить мысль обиняком, трудно сказать, какую роль она играла на самом деле. Однако, как в России, так и во Франции (и даже в папском Авиньоне и в Швейцарии), имели место добровольные самоограничения издателей и книготорговцев: они стремились избегать рисков, связанных с подозрительными сочинениями, и, случалось, по собственной инициативе «кромсали» выпускаемые ими книги во избежание шума (вспомним классический пример *Энциклопедии*, издатель которой принялся править ее текст уже после того, как она прошла все ступени институциональной цензуры). Переводчики, в свою очередь, при всем серьезном отношении к своему ремеслу и профессиональной добросовестности, предпочитали опускать некоторые пассажи, которые могли вызвать раздражение властей.

Таким образом, цензура века Просвещения не была ни исключительно «регулятивной», ни целиком и полностью «структурной» (по терминологии Бурдьё). К тому же ее двойственность усугублялась тем,

⁹ *Birn R.* Op. cit. P. 45.

¹⁰ *Bourdieu P.* La censure // *Bourdieu P.* Questions de sociologie. Paris, 1984. P. 138–142.

что сами цензоры были людьми просвещенными и далеко не чуждыми литературной среды. Эта ситуация порождала постоянные колебания как в общих представлениях о цензуре, так и в поведении ее функционеров. Они остро ощущали двусмысленность своего положения, непрерывно жаловались и предлагали изменить положение дел. Означает ли это, что предварительная цензура, особо ценившаяся большей частью «литературной республики» времен аббата Биньона за свою основательность и прогрессивность, стала несовместима с Просвещением? Такой просвещенный администратор, как Мальзерб, совсем не был в этом уверен. Напротив, в своих *Записках о книгоиздании и книжной торговле* (1758–1759) он настаивал на том, что следует любой ценой избегать ее упразднения и усиления роли цензуры *a posteriori*, действующей через суды, поднимающей ненужный шум, децентрализованной, пристрастной и относящейся с недоверием ко всему новому. Очевидно, Мальзерб предпочитал видеть в королевской цензуре необходимую точку соприкосновения монархии с движением идей и научных открытий.

Известно, что французские власти не прислушались к этим реформаторским настроениям, что практика превентивной цензуры не была скорректирована и что сам институт цензуры был уничтожен с началом Революции наряду с прочими символами наиболее явных противоречий, сохранявшихся «просвещенной» монархией (Бастилия, привилегии и т.д.). Однако нам также известно, что одного провозглашения свободы прессы и свободы слова оказалось недостаточно для устранения всех проблем социальной коммуникации в конкретных исторических условиях. Революционный опыт показал, что упразднение предварительной цензуры (а также централизованного управления и регламентации книжного дела) в обществе, плохо подготовленном к плюрализму – а в случае с Францией еще и одержимом идеей единой нации и единого народа, – парадоксальным образом может привести к установлению отношений силы, к эскалации репрессий и даже государственному террору, к открытому неприятию свободы выражения и права каждого на свое мнение. Более того, неудачный опыт свободы прессы, символизирующий собой неудачный опыт всего революционного режима, отпугнул очень многих и вызвал в пространстве и времени череду ответных реакций недоверия и беспокойства. Так, в России конец правления Екатерины II и период царствования ее наследника Павла I был отмечен усилением цензуры и ее организационным укреплением. Что же касается Франции, то там контроль над книгоизданием, прессой и общественным мнением стал в XIX в. (вплоть до 1881 г.) куда более ощутимым, чем при Старом порядке, хотя книжная цензура была официально упразднена в 1830 г.

Какие же уроки мы можем извлечь из этого очередного погружения в прошлое, столь далекое от нас по своим социально-политическим параметрам и столь близкое нам по своей проблематике и своим спорам? Прежде всего, мне кажется, что мы должны избавиться от наивных представлений о той дистанции, которая отделяет нас от века Просве-

щения в области цензуры (в широком смысле слова). Бастилии, конечно, вышли нынче из моды, но не стоит думать, что перемены в сфере свободы слова необратимы, что достигнутые нами рубежи не могут быть оставлены во имя предотвращения реальных или вымышленных угроз, таких, как война, терроризм, «государственная безопасность» и проч. Сегодня ценности свободы слова легко попираются во многих странах мира, и наши считающиеся развитыми общества от этого тоже не застрахованы. Но даже если бы опасности движения вспять не существовало вовсе, нам следовало бы сохранять бдительность. Самоцензура, которая в век Просвещения могла не только предшествовать предварительной цензуре, но и являться следствием «диалога» с ней, в наши дни должна рассматриваться в совершенно ином контексте. Процесс концентрации капитала привел к тому, что большинство медиамагнатов (издателей, патронов прессы, президентов телевизионных каналов и радиостанций, поставщиков услуг интернета и т. д.) сегодня интегрированы могущественными национальными и транснациональными корпорациями, а то и полностью подчинены им. Тем самым стратегия, прибыли и кадровая политика этих корпораций оказались защищенными от малейшей критики. Столь же недопустимым считается и разглашение любых сведений о сомнительных связях этих корпораций с органами власти, политическими объединениями или лоббистскими группами. Подобные табу и своего рода «институционализация», характерные для сегодняшнего феномена самоцензуры, побуждают воспринимать его как некую неизбежную данность. А разве это не является скрытым возрождением предварительной цензуры под другим именем, цензуры, распространяющейся на всякое печатное или иное публичное слово? Можно ли говорить об обычной авторской/издательской самоцензуре, если на самом высоком уровне патроната собираются комиссии и договариваются о том, чтобы публиковать у себя только «безвредные» книги и сведения, устранять все «отклонения» и «спорные» мнения, способные причинить ущерб их интересам? В прежние времена существовали индексы запрещенных книг, теперь же в издательских группах составляются более или менее официальные перечни «скользких» сюжетов, «рискованных» идей и нежелательных авторов. Печать молчания налагается «на те произведения и на те уста, которые не соответствуют приоритетам или ключевым интересам» руководителей крупных медиагрупп и их высокопоставленных друзей¹¹. В результате нежелание идти на риск, приторный тон, ничтожность мысли, конформизм и безудержная пропаганда потребительства становятся общим правилом.

Эти сдвиги настойчиво напоминают нам о злободневности проблем цензуры и, более широко, о злободневности проблем свободы слова, которые волновали людей в век Просвещения так, как никогда прежде. Институциональная цензура, принятая на вооружение большинством

¹¹ *Delumeau J. Combats pour l'histoire // L'Histoire. 1989. N 123. P. 7.*

государств того времени, действовала отнюдь не механически; она осуществляла относительно гибкий контроль и даже поддерживала диалог со всеми, кто так или иначе занимался литературным трудом. Неоспоримые пороки этой цензуры привели к провозглашению свободы прессы, но без необходимых средств защиты плюрализма мнений она также не могла стать панацеей, и Французская революция подтвердила это. Одного уничтожения предварительной цензуры и заявления об установлении свободы и демократии недостаточно, чтобы они укоренились в нравах. Для этого необходимы два социально-политических условия, и тут опыт Просвещения (как положительный, так и отрицательный) имеет важнейшее значение. Первое условие – существование какой-то формы консенсуса в отношении базовых ценностей, которые нужно защищать. Анри-Жан Мартен весьма разумно заметил, что «всякая цензура неэффективна, если она не опирается на консенсус более широкий», чем одна воля политической власти¹². Но и этот консенсус сам по себе недостаточен: к нему можно прийти и через исключение, отрицание или запрет инакомыслия. А чего стоит консенсус, основанный на мнимом единомыслии и обязательном единодушии? Поэтому второе ключевое условие реализации демократического идеала – плюрализм и основанная на нем возможность выбора, о чем блестяще писал Алексис де Токвиль в своей книге *О демократии в Америке* (1835–1840). Однако этот плюрализм как раз труднее всего обеспечить в любом обществе. Чтобы он не был пустым звуком, мало разрушить раз и навсегда все бастилии и уволить официальных цензоров. Нужно сделать так, чтобы изменение информационного и политического пейзажа не породило иные, гораздо более изощренные формы цензуры, выхолащивания общественного мнения, запугивания тех, кто оказался в меньшинстве, или тех, кто выражает точку зрения неудобную для сильных мира сего. «Демократической эпохе» (по Токвилю), эпохе, в которой «разнообразие источников культуры и информации» будет играть важнейшую роль, даже станет самоцелью и непременным условием, необходима «бдительность». Именно этому и учит нас история печатного слова и цензуры, история баталий и противоречий века Просвещения. По крайней мере, нам хочется на это надеяться.

Мысли об историческом и гуманистическом опыте эпохи Просвещения в России и странах распространения французского языка подкрепляются статьями, вошедшими в состав настоящего сборника. Они принадлежат перу двадцати четырех видных специалистов, которые любезно согласились принять участие в этом международном проекте. Я искренне благодарен всем коллегам, обеспечившим его высокий научный уровень широтой взглядов, богатством и разнообразием представленной проблематики.

¹² *Martin H.-J.* Les Métamorphoses du livre / Entretiens avec J.-M. Chatelain, C. Jacob. Paris, 2004. P. 139.

Особую благодарность я хотел бы выразить Сергею Карпу, пригласившему меня участвовать в этом необычном выпуске *Века Просвещения* и выступить в роли куратора его тематической части. Он по-дружески принял меня в Москве и организовал мою встречу с большинством российских авторов проекта, в ходе которой нам удалось обсудить его основные цели и параметры. Вероятно, я никогда не сумею в полной мере выразить ему свою признательность за поддержку, которую он оказывал мне на протяжении месяцев и даже лет, предшествовавших публикации этого серьезного коллективного труда. Я хотел бы также выразить свою признательность Российской академии наук, Институту всеобщей истории и его Центру по изучению XVIII века, а также издательству «Наука» и его Научному центру исследований истории книжной культуры, обеспечившим публикацию второго выпуска *Века Просвещения*.

Выражаю также признательность Франко-российскому центру гуманитарных и общественных наук в Москве и возглавлявшему его тогда Алексису Береловичу: именно они взяли на себя расходы, связанные с моим приездом в Москву в июне 2006 г. для встречи с российскими участниками проекта. В заключении я хотел бы также поблагодарить за содействие мою жену Сильви, сопровождавшую и поддерживавшую меня на протяжении всей работы над этим томом и оказавшую мне бесценную помощь в правке и редактировании текстов.

Все эти люди и организации объединили свои усилия, знания и возможности для того, чтобы этот сборник, в конце концов, появился на свет. Он стал не только плодом ученой эрудиции. Как и во времена Просвещения, вопреки языковым барьерам (удачно преодолеваемым благодаря переводным резюме), свои усилия объединили здесь ученые самых разных стран мира, признанные специалисты в изучении XVIII в. Сосредоточив свое внимание на цензуре и статусе печатного слова в эпоху Просвещения, они предложили целый ряд оригинальных, взаимопересекающихся и взаимодополняющих подходов к этой проблеме. Мне представляется, что значимость и новизна собранных здесь статей, тот диалог (подчас неожиданный), который возникает между авторами, исследовательские перспективы, которые они открывают, – все это является важным вкладом в международную историографию XVIII в.

Предоставим же, наконец, слово авторам, обратив внимание читателя на то, что тематическая часть сборника выстроена вокруг трех основных логических осей, позволяющих наилучшим образом осмыслить ее проблематику:

- I. Укрепление государственной цензуры: задачи, механизмы, тенденции.
- II. Инструменты цензуры, издательские практики, обходные маневры.
- III. Цензоры, тексты, издатели и авторы: встречи и судьбы.

Жан-Доминик Мелло,
*Национальная библиотека Франции,
Высшая практическая школа, Париж*

INTRODUCTION

Le fait que ce deuxième recueil international *Siècle des Lumières* soit consacré au thème de la censure et du statut de l'imprimé peut paraître à la fois surprenant et prévisible. Surprenant parce que depuis plus de deux siècles, dans l'historiographie générale comme dans les opinions publiques, on n'a cessé de présenter la censure comme l'exacte antithèse du mouvement des Lumières, de contraster l'«obscurantisme» supposé de la logique censoriale et la marche vers le progrès et la liberté d'un siècle éclairé. Mais prévisible aussi, dans la mesure où la censure — de l'imprimé avant tout — est un thème hautement international et transnational. Sous l'Ancien Régime, et en particulier au XVIII^e siècle, elle existe théoriquement partout, et généralement à la fois dans ses versions préventive et répressive, même dans les États réputés les plus libéraux et tolérants ou dans les moindres principautés. De plus, la censure vise à contrôler non seulement la production imprimée interne de chaque pays mais aussi à filtrer ce qui peut provenir de l'étranger — c'est la «douane des pensées» pour reprendre le mot fameux de Voltaire à propos de l'Inquisition. Or les livres, les textes et leur circulation sont des clefs majeures des Lumières à travers toute l'Europe et au-delà. Parmi d'autres, Louis-Sébastien Mercier avant la Révolution («Une nation qui lit porte en son sein une force heureuse et particulière qui peut braver le despotisme», *Tableau de Paris*, 1781) témoigne de l'influence et de la puissance de mobilisation du média imprimé. Les livres ne sont-ils pas censés avoir même «fait la Révolution»? Mais leur influence se développe comme paradoxalement dans un continent où domine le paradigme de monarchies ou de régimes autoritaires, voire de droit divin, lesquels ont développé un appareil administratif et policier de plus en plus perfectionné, dans

bien des cas ont fait accepter un monopole culturel présenté comme légitime, et jouissent d'une exclusivité de principe sur l'expression de la parole publique.

Face à cette situation apparemment paradoxale, on peut être tenté par une vision manichéenne des rapports entre l'imprimé et le paysage politique. Un peu à la façon d'un président français qui, pour frapper l'opinion publique dans les années 1980, a pu prétendre que les «missiles étaient à l'Est et les pacifistes à l'Ouest»! Mais il est au moins aussi faux d'avancer qu'au XVIII^e siècle les livres se trouvent seulement à l'Ouest et la censure exclusivement à l'Est! Les études réunies ci-après sur la Russie et l'espace francophone¹ le démontrent avec tout le brio et toutes les nuances nécessaires. Ainsi, tandis que le royaume de France, l'un des berceaux des Lumières, apparaît pionnier dans l'organisation d'une censure préventive et centralisée, voire même d'une sorte de «méta-censure» anticipatrice grâce à l'efficacité de sa police parisienne, l'empire de Russie, à l'époque de Catherine II en particulier, est perçu par d'éminents philosophes comme un modèle de liberté d'expression, de tolérance pour les idées et les livres nouveaux — l'impératrice y finance elle-même des traductions, et les livres français, sauf rares exceptions, traversent alors sans encombre la frontière russe. Autre idée reçue parmi celles que les contributions rassemblées dans ce volume achèvent de dissiper: les censeurs proprement dits, même s'il est souvent difficile de cerner leurs personnalités et de juger de leur travail à la lumière des rapports conservés, ne sauraient être assimilés à d'obscurs gratte-papier ou à d'anonymes fonctionnaires complexés par leur position vis-à-vis des «vrais auteurs»². Cultivés, souvent spécialisés et polyglottes, appartenant au réseau des académies et des bibliothèques d'État, aux milieux universitaires, aux rédactions des principaux périodiques savants, au clergé ou aux administrations centrales, ils n'ont généralement rien à envier aux auteurs dont ils lisent et évaluent les manuscrits. Certains d'entre eux sont d'ailleurs des écrivains ou des scientifiques connus et reconnus. Les censeurs — et c'est capital — n'ont en tout cas nullement le sentiment de constituer un frein aux progrès des Lumières, ils sont au contraire persuadés le plus souvent d'accompagner voire de favoriser ceux-ci.

Que faut-il donc comprendre? Les essais contenus dans ce recueil apportent sur cette question générale des éléments de réponse qui nous permettent d'appréhender sans naïveté, à travers la censure, le statut du livre, de l'imprimé et même de l'opinion publique au siècle des Lumières.

Tout d'abord, en dépit de la complexité indéniable des cas et des évolutions observables d'un ensemble à l'autre, plusieurs idées-clés paraissent se dégager et s'articuler. *Primo*, et cela ne va pas forcément sans dire, le livre, l'imprimé, l'existence d'opinions publiques ne sont alors aucunement conçus comme une

¹ Par commodité, il n'est mentionné dans le titre que la France, mais le présent volume envisage plus largement la réalité de l'espace francophone et du marché du livre de langue française.

² N'en déplaise à Denis Diderot qui prononce dans la *Lettre sur le commerce de la librairie* (1763) ce jugement définitif à l'égard de la plupart des censeurs royaux français: «... il faut rayer les trois quarts de ces gens qui ont été revêtus de la qualité de juges de nos productions dans les sciences et dans les arts, sans qu'on sache trop sur quels titres» (p. 111 de l'édition de Paris, 2003).

menace en soi pour les pouvoirs en place. La persécution indistincte du livre telle que l'envisageront au XX^e siècle des chefs-d'œuvre de l'anticipation comme *Le Meilleur des mondes* d'Aldous Huxley (1932) et *Fahrenheit 451* de Ray Bradbury (1953) ou même la manipulation totalitaire de ses contenus (George Orwell, 1984, 1949) seraient, aux yeux des hommes du siècle des Lumières et de leurs gouvernants, un véritable non-sens. Aussi bien d'ailleurs que l'idée du général espagnol Francisco Franco de faire cesser à la fin de sa dictature le contrôle censorial sur le livre, devenu selon lui inutile avec la généralisation de la télévision. Pour les hommes du XVIII^e siècle, le média imprimé, même s'il est souvent synonyme de trop-plein, représente un progrès civilisationnel décisif, progrès sans lequel une société développée serait même condamnée à retourner à la «barbarie» (Jean-Jacques Rousseau, Louis-Sébastien Mercier). Il n'est donc pas pensable de combattre l'influence du livre, mais — contrepartie logique compte tenu de l'importance qui lui est reconnue — il n'est pas non plus concevable de laisser paraître n'importe quoi hors du contrôle de l'autorité la plus légitime pour ce faire. D'où le primat d'une censure préalable, proche du pouvoir central et à visée exhaustive.

Notre regard rétrospectif de citoyens du XXI^e siècle nous porte à envisager ce contrôle exclusivement comme une instance de filtrage des «hérésies» et des idées dangereuses pour l'État, l'Église, les mœurs et la réputation des personnes de qualité. Mais, dans l'esprit du temps, ce contrôle doit être aussi «qualitatif» et porter notamment sur l'appréciation du ton et du style, sur la clarté de l'expression et de l'argumentation, sur la validité des connaissances et des pratiques exposées, etc.³ — autrement dit sur la «dignité» des écrits. Pourquoi de tels critères qui nous paraissent si susceptibles d'arbitraire et d'une exigence si hors de propos? Parce que le contrôle des écrits engage le crédit des souverains. Il ressortit dans le principe au monopole culturel que les monarchies parmi les plus puissantes d'Europe ont imposé, à la faveur notamment de leur mécénat exclusif sur le monde des lettres — dans le cas de la France la fameuse «direction des lettres», mise en lumière par le regretté Henri-Jean Martin⁴, a achevé d'effacer les mécénats rivaux des grands féodaux. Dans cette logique qui s'est construite au fil des siècles de l'Ancien Régime, le processus censorial ne vise pas à une simple permission de paraître, à une absence d'objection (du type du *nihil obstat* et de l'*imprimatur* ecclésiastiques): il doit tendre à une approbation justifiant la grâce et la protection royales accordées sous la forme du privilège à l'ouvrage, à son auteur et à son imprimeur / libraire. Si au XVII^e siècle cette logique approbatoire est généralement acceptée, voire recherchée comme la manifestation d'une reconnaissance de l'auteur et de son éditeur⁵, à mesure

³ Cet aspect est à juste titre particulièrement souligné dans le récent ouvrage de Raymond Birn: *Birn R. La Censure royale des livres dans la France des Lumières*. Paris, 2007.

⁴ *Martin H.-J. Livre, pouvoirs et société à Paris au XVII^e siècle (1598–1701)*. Genève, 1969. 2 vol.

⁵ Voir notamment sur ce point *Schapira N. Quand le privilège de librairie publie l'auteur // De la publication entre Renaissance et Lumières / Études réunies par C. Jouhaud, A. Viala*. Paris, 2002. P. 121–137.

que l'on avance dans le siècle des Lumières elle embarrasse en revanche une proportion grandissante d'écrivains, de libraires et même de censeurs et de responsables politiques. L'approbation et le privilège imprimés dans le livre sont en effet la marque publique d'une caution qui peut être perçue comme le signe soit d'une dépendance importune pour les auteurs et leurs éditeurs, soit d'une protection contestable de la part de l'autorité souveraine. D'où le recours croissant au XVIII^e siècle à des formes d'autorisation sans caution: permissions tacites voire «très tacites» (selon l'expression de Malesherbes), «tolérances d'imprimer» et revendication d'un anonymat du travail censorial. Mais cette évolution est diversement appréciée dans la sphère politique. Ne constitue-t-elle pas un désaveu flagrant pour l'idée que l'on se fait d'une monarchie puissante, détentrice exclusive de la parole publique, et ne témoigne-t-elle pas en cela d'une forme de «despotisme faible» (Daniel Roche)?

On touche d'ailleurs là une question institutionnelle cruciale. Contrairement à ce que l'idée de monarchie absolue ou de droit divin pourrait laisser croire à un esprit du XXI^e siècle, le pouvoir royal ou impérial du XVIII^e siècle ne se présente pas comme un bloc monolithique, centralisé et rationnellement hiérarchisé, avec une «ligne» politique uniforme et incontestable. Que ce soit au sein de l'empire de Catherine II ou dans le royaume de Louis XV et Louis XVI, on est en présence de *rapports de forces* en évolution, d'équilibres précaires et de compromis entre différentes institutions et groupes d'influence. L'Église et ses instances représentatives (l'Assemblée du clergé en France, le Saint Synode en Russie), les prélats eux-mêmes, les parlements (en France) et autres juridictions, les universités, les académies instituées et protégées par les souverains eux-mêmes, la Cour, le gouvernement et leurs factions, les services de police: toutes ces institutions, fondements des monarchies d'Ancien Régime, ont leur mot à dire en matière de censure (au moins répressive) et de jugement d'opinion. Si on prétend les en exclure, elles savent par des dénonciations publiques, des condamnations bruyantes ou des manœuvres parallèles montrer de quel poids légitime elles pèsent dans l'État et la société, et quelles forces centrifuges elles peuvent faire jouer face à l'«arbitraire» du pouvoir central. Aussi bien les parlements et l'Église sont-ils capables de mettre en porte-à-faux les jugements de la censure royale. Sous peine de perdre sa crédibilité et l'appui des piliers de son propre régime, le pouvoir royal ou impérial doit donc savoir composer avec ces corps et ces groupes, ne pas paraître confisquer leur autonomie relative et tenir compte de leur ascendant sur la société réelle. Il est évident que les systèmes censoriaux enregistrent nécessairement cette *complexité institutionnelle*. Tant en Russie qu'en France, leurs hésitations en portent le témoignage.

Plus que l'application ou la compétence des agents de la censure, c'est probablement cette complexité même qui fait planer le doute sur l'«efficacité» des organisations mises en place. Risques d'empiétements et de concurrences, de révision des décisions censoriales, voire de «contre-censures», de tolérances délivrées en sous-main... aucune contradiction, aucun phénomène d'«évasion censoriale» ne semblent épargnés à ces systèmes pourtant si rigoureux sur le plan des principes. Mais c'est aussi parce qu'à l'image de toute la législation

d’Ancien Régime, l’institution de la censure a d’abord valeur proclamatoire et symbolique — elle manifeste l’existence d’un pouvoir, d’une autorité légitime, qu’elle pose face à des instances plus ou moins concurrentes —, avant de viser à une quelconque efficacité objective. Efficacité que l’on ne peut de toute façon prétendre obtenir, sous l’Ancien Régime, sans le concours de relais institutionnels provinciaux ou locaux aptes à couvrir toute l’étendue d’un vaste territoire. On retrouve là, au plan géographique, l’incontournable problématique de la complexité / complémentarité institutionnelle, avec en France comme en Russie les subdélégations censoriales, attribuées ici (plus ou moins officiellement) aux parlements de province et au lieutenant général de police de Paris, et là à certaines institutions dotées d’imprimeries (Académie des sciences, université de Moscou, Corps des cadets, etc.) ou à des «comités de censure» établis dans de grands centres (Saint-Pétersbourg, Moscou) ou sur les frontières, auprès des douanes (Riga, Odessa, Radziwillow).

Certes, les gouvernants du XVIII^e siècle, qu’ils soient éclairés ou non, souhaiteraient que la censure d’État puisse jouer le rôle d’un filtre performant à qui tout serait soumis. Un filtre qui permettrait de «choisir le livre» plutôt que le «subir» — un peu à la façon dont certains leaders politiques prétendent aujourd’hui «préférer l’immigration choisie à l’immigration subie». Mais cela reste une vue de l’esprit, car ils se heurtent aux réalités d’un marché bien différent des autres, celui du livre des Lumières, voué à circuler dans toute l’Europe et ses colonies et à y véhiculer idées, connaissances, pratiques, modèles... Difficile d’arrêter cet article d’exportation par excellence, surtout lorsqu’il est conçu dans une langue à valeur internationale pour les élites de l’époque, à savoir le français. Y faire sévèrement barrage, c’est courir le risque de mécontenter précisément ces élites éclairées, celles qui peuplent la Cour, les hautes sphères de l’État, les académies, les universités, les salons... Diderot dans sa *Lettre sur le commerce de la librairie* démontre que c’est aussi s’exposer à une contravention généralisée: «Bordez, Monsieur — écrit-il à l’adresse d’Antoine de Sartine, lieutenant général de police de Paris et directeur de la Librairie —, toutes vos frontières de soldats, armez-les de baïonnettes pour repousser tous les livres dangereux qui se présenteront, et ces livres, pardonnez-moi l’expression, passeront entre leurs jambes, sauteront par-dessus leurs têtes et nous parviendront»⁶. La France apparaît ainsi victime en quelque sorte du rayonnement de ses auteurs et de sa langue. Tout autour du royaume (Pays-Bas, Suisse, Avignon...) s’est construite une économie éditoriale parallèle, qui profite de la rigueur du régime des privilèges et de la censure mis en place en France pour y écouler quantité de contrefaçons et d’ouvrages audacieux ou prohibés conçus par des ressortissants français. Tout cela est bien connu, a été déjà étudié et se trouve approfondi dans le présent volume. Mais ce que l’on sait peut-être moins, c’est que les contre-mesures adoptées par le pouvoir royal pour protéger l’économie de la librairie française (permissions tacites, tolérances pour réimpressions d’ouvrages français publiés en Hollande, notamment) n’ont pas été

⁶ Diderot D. Op. cit. P. 100.

sans résultat. Ainsi le débit des éditions originales hollandaises en France s'est trouvé sensiblement concurrencé et réduit au cours du siècle des Lumières. Autrement dit, sans même évoquer le développement de la «culture des fausses adresses» et d'autres stratégies de contournement, des aménagements ont pu être apportés au régime de la censure et à l'encadrement des métiers du livre sous la pression d'arguments économiques. Si la Chancellerie de France a pu croire possible, sous le règne de Louis XIV, d'«imposer l'autorité censoriale au marché»⁷, on assiste au siècle des Lumières à un phénomène inverse: c'est au nom de l'efficacité économique nationale que le régime de censure préventive se trouve progressivement aménagé, et que le «livre-marchandise» ouvre le passage au «livre-ferment» — sans préjuger toutefois de condamnations *a posteriori* lancées par l'épiscopat ou par les parlements indignés d'un tel laxisme...

Ce nœud de contradictions apparentes ne simplifie évidemment ni la tâche des censeurs ni celle des auteurs. Étudier de près les comportements des uns et des autres réserve là encore certaines surprises. Si l'on se rappelle que selon Pierre Bourdieu, «à mesure que diminuent les prohibitions explicites, définies et appliquées par l'autorité institutionnelle [c'est-à-dire la «censure régulatrice»], elles sont remplacées par une censure plus diffuse, dictée par l'existence de formes et d'usages propres à un champ donné» — autrement dit par une «censure structurelle»⁸ —, on ne peut qu'être embarrassé pour caractériser le type de censure exercé au XVIII^e siècle. La censure préalable, si elle se présente comme une censure régulatrice, n'en ménage pas moins des espaces de «dialogue» avec les auteurs qui soumettent leurs manuscrits à son examen. Ainsi se façonne une sorte de pédagogie censoriale qui peut encourager l'autocontrôle et l'autocensure mais qui, en jouant sur les permissions tacites et les tolérances, favorise aussi l'ambiguïté. Quant à l'autocensure auctoriale, il est bien délicat d'en mesurer la part réelle, sauf à étudier dans le détail certains procédés d'écriture indirecte. Aussi bien en Russie qu'en France ou même à Avignon et en Suisse, il est cependant possible de discerner la «discipline autocensoriale» des imprimeurs / libraires qui évitent de se compromettre en prenant en charge des ouvrages suspects, ou même prennent l'initiative de mutiler leurs propres éditions pour éviter un éclat (cas flagrant de l'*Encyclopédie*, qui a éprouvé toute la gamme des censures institutionnelles, ce qui ne lui a pas épargné néanmoins les coupes de son propre éditeur), ou celle encore des traducteurs qui, malgré leur sérieux et leur conscience professionnelle, préfèrent éliminer les passages susceptibles d'indisposer les autorités de leur pays.

La censure au siècle des Lumières n'est donc ni seulement régulatrice ni complètement structurelle, si l'on admet la terminologie de Bourdieu — l'appartenance des censeurs au monde lettré et l'osmose entretenue avec le milieu des auteurs n'étant à l'évidence pas étrangères à cette situation ambiguë. Mais cette situation même implique des hésitations permanentes dans la doctrine comme dans le comportement des agents de la censure. Eux-mêmes perçoivent

⁷ Birn R. Op. cit. P. 45.

⁸ Bourdieu P. La censure // Bourdieu P. Questions de sociologie. Paris, 1984. P. 138–142.

avec acuité l'inconfort de leur position et ne cessent de s'en plaindre ou d'en proposer la réforme. La censure préalable centralisée, gage de sérieux et de modernité applaudi par une grande partie de la République des lettres du temps de l'abbé Bignon, serait-elle donc devenue incompatible avec les Lumières? Un administrateur éclairé tel que Malesherbes n'en est absolument pas convaincu. Ses *Mémoires sur la librairie* (1758–1759) témoignent au contraire qu'il faut éviter à tout prix selon lui la solution radicale qui consisterait à l'abolir pour ne s'en remettre qu'à la censure *a posteriori* juridictionnelle, bruyante, dispersée et d'une partialité le plus souvent défavorable à la novation. Or la maxime de Malesherbes est clairement de ménager à travers la censure royale le point de contact indispensable entre la monarchie et le mouvement des idées et des découvertes.

On sait que ses vœux de réforme ne seront pas écoutés, que l'exercice de la censure préventive ne sera pas clarifié et que l'institution elle-même sera sacrifiée dès les débuts de la Révolution, au même titre que d'autres symboles parmi les plus voyants des contradictions que la royauté «éclairée» laissait subsister (Bastille, privilèges...). Mais on n'est pas non plus sans savoir que la liberté proclamée de la presse et des opinions est loin de régler tous les problèmes de communication sociale qui peuvent se poser dans un espace donné. Ainsi l'expérience révolutionnaire tendra-t-elle à démontrer que la suppression de la censure préalable (mais aussi de la police centralisée et de l'encadrement des métiers du livre), dans une société mal préparée au pluralisme — et même, dans le cas de la France, obsédée par l'idée d'une nation et d'un peuple ne faisant qu'un —, peut aboutir paradoxalement au règne des rapports de forces, à une surenchère répressive, voire à un terrorisme d'État et à une négation pure et simple de la liberté d'expression et de la diversité des opinions. Bien plus, l'échec de la liberté de la presse, emblématique de l'échec du régime révolutionnaire, peut servir d'épouvantail à large spectre et déclencher dans l'espace et dans le temps une série de réactions de méfiance et de crispation. En Russie, la fin du règne de Catherine II et celui de son successeur Paul I^{er} sont ainsi marqués par un renforcement de la vigilance et de l'organisation censurales. En France, le contrôle de l'édition, de la presse et de l'esprit public devient au XIX^e siècle (et jusqu'en 1881) une norme encore plus impérieuse que sous l'Ancien Régime, même si la censure des livres y est officiellement abolie en 1830.

Quels enseignements peut-on donc tirer de cette replongée dans un passé si éloigné de nous par sa structure sociale et politique et si contemporain par ses problématiques et ses débats? En premier lieu on doit, ce me semble, se garder d'être naïf dans notre appréciation de l'écart qui nous sépare du siècle des Lumières en matière de censure au sens large. Si en effet les bastilles et les tirs de barrage institutionnels ne semblent plus aujourd'hui de saison, il s'agit d'avancées qui ne sont en rien intangibles et peuvent être remises en cause, y compris dans nos sociétés réputées développées, au nom de périls réels ou supposés (guerre, terrorisme, «insécurité»...) — et ces avancées sont de toute façon allègrement bafouées dans quantité d'endroits de par le monde. Mais même dans

le cas où l'on ne courrait plus aucun risque de régression de ce côté, il convient de rester lucide. L'autocensure, dont on a vu qu'elle avait pu au siècle des Lumières non seulement précéder la censure préalable mais aussi résulter d'un «dialogue» engagé avec elle, doit être envisagée de nos jours dans un contexte bien différent. De fait, par le biais de la concentration capitaliste, la plupart des producteurs d'écrits et de messages médiatiques (éditeurs, patrons de presse, présidents de chaînes de télévision et de stations de radio, fournisseurs d'accès, etc.) se trouvent intégrés pour ne pas dire inféodés à de puissants groupes, nationaux ou transnationaux, dont il est généralement hors de question de critiquer la stratégie, les profits ou la gestion sociale. De même qu'il n'est pas toléré de révéler les intelligences plus ou moins douteuses de pareils groupes avec telle instance gouvernementale, telle formation politique ou tel lobby. Compte tenu des tabous qu'il suscite et de l'espèce d'«institutionnalisation» qui le caractérise désormais, ce phénomène, admis comme une fatalité, n'est-il pas le signe du rétablissement subreptice d'une censure préalable sans le nom, s'exerçant avant toute publication d'écrits ou émission de messages? Peut-on encore parler de simple autocensure auctoriale ou même éditoriale lorsque des comités se réunissent au plus haut niveau entrepreneurial pour se prononcer sur l'innocuité et la conformité des livres et informations publiés sous la responsabilité du groupe et pour en éliminer les déviances ou les prises de position «sensibles» et réputées contraires à ses intérêts? Lorsque des listes de «sujets qui fâchent», d'idées dérangeantes et de personnalités indésirables sont établies plus ou moins officiellement — en lointaines héritières des index — au sein des groupes? Lorsque le «silence» vient frapper «les ouvrages et les propos qui ne rejoignent pas les préférences ou les centres d'intérêt» des responsables des grands groupes de médias et de leurs amis haut placés⁹? Lorsqu'en conséquence la non-prise de risques, l'affadissement, le conformisme, l'insignifiance et l'aveuglement consumériste tendent à devenir la règle?

De telles dérives viennent nous rappeler avec insistance toute l'actualité de la problématique censoriale et, en creux, celle de la liberté d'expression, qui ont agité le siècle des Lumières comme sans doute aucun autre avant lui. La censure institutionnelle et assumée comme telle, à laquelle la majeure partie des États de l'époque étaient attachés car elle manifestait leur puissance et leur monopole culturel, n'était pas une «machine à exclure», mais une instance de contrôle relativement fluide, voire un lieu de dialogue avec une multiplicité de producteurs d'écrits. Face aux imperfections pourtant indéniables de cette censure, le fait de proclamer la liberté de la presse sans se donner les moyens d'en protéger l'existence plurielle n'était pas non plus la panacée — la Révolution française en a apporté la preuve. Il ne suffit pas de supprimer la censure préalable et de prétendre instaurer la liberté et la démocratie pour les faire entrer dans les mœurs. Deux conditions sociopolitiques sont en fait requises pour cela, et la leçon (positive ou négative) des Lumières est essentielle à cet égard. Tout d'abord l'existence d'une forme de *consensus*, d'un socle de valeurs et de lignes de défense

⁹ Delumeau P. Combats pour l'histoire // L'Histoire. 1989. N 123. P. 7.

communes: Henri-Jean Martin a observé fort judicieusement «que toute censure est inefficace si elle n'est pas appuyée par un consensus plus général» que la simple volonté du pouvoir politique¹⁰. Mais ce consensus n'est pas en soi suffisant — il peut être obtenu en effet par exclusion, par négation ou bannissement de l'altérité. Or que vaut un consensus fondé sur la fabrication d'une pensée unique, d'un unanimité obligé? Le *pluralisme* et les choix qu'il offre sont donc l'autre clef de l'idéal démocratique, Alexis de Tocqueville l'a brillamment diagnostiqué dans *De la démocratie en Amérique* (1835–1840). Mais ce pluralisme représente sans doute ce qu'il est le plus difficile de faire vivre dans quelque société que ce soit. Pour éviter de le laisser dépérir, il ne suffit pas de détruire une fois pour toutes les bastilles et de congédier les censeurs en titre. On se doit de faire en sorte que d'autres formes bien plus insidieuses de censure, d'appauvrissement de l'expression publique, d'intimidation exercée vis-à-vis des opinions minoritaires ou gênantes pour les grands intérêts, ne se réinstallent à la faveur de l'évolution du paysage médiatique et politique. Il y faut une «vigilance» permanente caractéristique de l'«âge démocratique» (Tocqueville), âge où la *diversité des sources de culture et d'information* doit avoir un rôle essentiel à jouer et même constituer une fin en soi, un défi constant à relever. Et cela, l'histoire de l'imprimé et de sa censure, celle au fond des combats et des contradictions des Lumières nous en ont donné pleine conscience, du moins faut-il l'espérer.

Pour nourrir cette vaste réflexion historique et humaniste sur l'âge des Lumières en Russie et dans l'espace francophone, vingt-quatre éminents spécialistes nous ont fait l'amitié d'accepter de collaborer, formant ainsi une équipe de choix, savante et internationale. Ils ont assuré la richesse, la diversité, le sérieux et la hauteur de vues du présent volume. Que toutes et tous soient ici chaleureusement remerciés.

Mes remerciements tout particuliers vont aussi bien sûr à Sergueï Karp, qui m'a invité à prendre part à l'aventure de ce projet *Siècle des Lumières*, m'a proposé d'assurer la direction de ce volume et m'a si amicalement accueilli à Moscou, où j'ai pu rencontrer la plupart des auteurs russes ayant accepté de contribuer au recueil afin d'en tracer les grandes lignes. Je ne le remercierai jamais assez sans doute d'avoir été le pivot savant et assidu de toute cette entreprise et d'avoir entretenu avec moi une inlassable correspondance de travail et d'amitié pendant les mois et même les années de chantier qui ont précédé la publication de ce beau volume collectif. Je voudrais remercier également l'Académie des sciences de Russie et son Centre d'étude du XVIII^e siècle de l'Institut d'histoire universelle, ainsi que les éditions Naouka qui ont pris en charge l'édition du volume en l'insérant sous le n° 2 dans leur collection «Siècle des Lumières». J'exprime aussi toute ma gratitude au Centre franco-russe en sciences humaines et sociales de Moscou et à son directeur d'alors, Alexis Berelowitch, qui ont permis la fructueuse rencontre de Moscou (juin 2006) en

¹⁰ *Martin H.-J.* Les Métamorphoses du livre / Entretien avec J.-M. Chatelain, C. Jacob. Paris, 2004. P. 139.

prenant en charge mon voyage et mon séjour. Je n'oublie pas pour finir le concours de mon épouse Sylvie, qui m'a accompagné et soutenu tout au long de l'entreprise et m'a apporté son aide précieuse dans la phase de correction et de mise en forme des textes.

Toutes ces collaborations, ces compétences et ces bonnes volontés ont concouru à l'élaboration et à la publication d'un ouvrage dont je voudrais pour conclure saluer l'exceptionnelle qualité. Il ne s'agit pas seulement en effet d'une juxtaposition de mises au point érudites. Comme du temps des Lumières, et malgré le défi de la diversité linguistique (ici relevé avec avantage grâce aux résumés traduits), voici qu'une équipe venue d'horizons très variés, et composée de chercheurs parmi les plus estimés spécialistes du XVIII^e siècle, livre sur la question de la censure et du statut du livre au siècle des Lumières une série de réflexions croisées et d'approches originales, complémentaires ou comparatistes. À mon sens celles-ci doivent être d'ores et déjà considérées comme une référence internationale incontournable, par les enseignements qu'elles apportent, le dialogue parfois inattendu qu'elles établissent, et les perspectives qu'elles ouvrent pour notre réflexion, dans le temps comme dans l'espace.

Laissons donc à présent la parole aux auteurs, en précisant au préalable que la matière de l'ensemble de l'ouvrage, pour mieux en valoriser les leçons, a été distribuée en trois grandes thématiques logiquement articulées:

- I. L'affirmation d'une censure d'État: besoins, fonctionnement et prolongements.
- II. Ressources institutionnelles, paysage éditorial et stratégies de contournement.
- III. Censeurs, textes, éditeurs et auteurs: rencontres et destinées.

Jean-Dominique Mellot,
*Bibliothèque nationale de France,
École pratique des hautes études, Paris*

УКРЕПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕНЗУРЫ: ЗАДАЧИ, МЕХАНИЗМЫ, ТЕНДЕНЦИИ

FRANÇOISE BLÉCHET

POUVOIR ET CENSURE À LA LIBRAIRIE ET À LA BIBLIOTHÈQUE DU ROI: RÈGLES ET EXCEPTIONS

«Le mauvais doit être dans la Bibliothèque du Roy aussi bien que le bon»¹.

UN BUREAU DE LA LIBRAIRIE OCCULTE
ET UN PRÉSIDENT INCOGNITO

Le directeur de la Librairie et de la censure, apparu le 22 septembre 1699, n'est pas un homme nouveau. L'abbé Jean-Paul Bignon porte un nom illustre et respecté dans la République des lettres depuis son grand-père Jérôme, ami d'Hugo Grotius, de Claude-Nicolas Fabri de Peiresc et des frères Dupuy. Le jeune Jean-Paul a côtoyé cette communauté de savants qui fréquentait l'hôtel de la famille, rue des Bernardins, et sa belle bibliothèque. Louis Phélypeaux de Pontchartrain, nommé chancelier le 5 septembre 1699, présente quelques jours plus tard son adjoint en la personne de son neveu. Ce dernier a déjà entamé depuis huit ans une carrière brillante de grand commis au service de la monarchie, avant cette dernière nomination. Il siège depuis 1693 au bureau pour les affaires ecclésiastiques, a été pourvu la même année d'un brevet de prédicateur du Roi et son nom figure sur l'*Almanach royal* des années 1700 dans quatre bureaux, l'un intitulé bureau des parties, un autre de cassation et les deux autres «bureau» sans précision.

Bignon exerçait la présidence, depuis 1691, à l'Académie des sciences, et depuis 1693 à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il entra la même année 1693 à l'Académie française. Peu à peu, il établit un réseau de correspondance internationale qui lui fournit toutes les nouvelles littéraires et les livres nouveaux de l'étranger. Bibliophile, collectionneur, expert du monde du livre et de tous ses métiers, il dirigea, de 1693 à 1699, la grande entreprise pré-encyclopédique de la *Description des arts*, avec une cellule de trois académi-

© Françoise Bléchet, 2008

¹ Lettre de l'abbé Jean-Paul Bignon à l'abbé Claude Sallier le 22 septembre [s. d., 1730 ou 1731] (BNF. Ms. fr. 22235).

ciens des sciences d'élite, Jacques Jaugeon, Gilles Filleau des Billettes et Jean Truchet².

L'abbé Bignon assista en août 1691 aux séances de l'Académie royale des sciences, et le procès-verbal du 21 novembre signala sa présence pour la première fois sans en expliciter les raisons³. Plusieurs contemporains s'en étonnèrent. Dans le dossier rassemblé pour l'éloge funèbre de Bignon à l'Académie des inscriptions, Camille Falconet soulignait cet excès singulier de discrétion en reprenant une citation latine de Jean-Baptiste Du Hamel: «Perillustris Abbas Bignonius ab illustrissimo avunculo designatus qui huic eruditorum latui praesit», avec ce commentaire dans la marge: «mais on ne voit point le titre qu'il avait dans l'Académie»⁴. Cette nomination tacite était intervenue sans aucun acte officiel. Cela n'empêcha pas l'abbé de disposer rapidement du pouvoir le plus étendu dans les deux académies sans que son rôle fût plus précisément défini. C'est dans les mêmes conditions qu'il devint le président occulte du bureau de la Librairie, imposé par Pontchartrain au moyen d'une délégation personnelle, à caractère privé et familial, selon les conventions du népotisme.

Parlant de la direction de la Librairie, Pontchartrain disait simplement «le Bureau». Ce silence officiel offrait l'avantage de minimiser l'importance de la fonction et laissait toute latitude pour étendre encore ce pouvoir. Mais on verra que, sans aucun titre, le directeur officieux de la Librairie disposait d'un pouvoir plus important que Malesherbes un demi-siècle plus tard.

Le perfide Saint-Simon nous apprend que le comte de Pontchartrain délaissa très vite les finances, qu'il détestait, pour goûter la compagnie des gens de lettres⁵. Mais le mémorialiste se montrait aussi sensible au charisme du chancelier quand il le décrivait «né galant, avec un feu et une grâce dans l'esprit» et aussi comme «un vrai citoyen et tout brillant de lumières». Son austérité n'aurait été que de façade. Pourtant, le «Cyclope impitoyable», selon l'expression d'une chanson de la Régence, parce qu'il n'y voyait que d'un œil, inspirait la crainte et n'apparaissait pas comme un homme de compromis. On savait qu'il avait toute la confiance de Louis XIV: il put donc imposer comme adjoint son neveu l'abbé Bignon et «le mit dans des bureaux»⁶ malgré ses «mœurs un peu trop gaies»⁷ connues de toute la Cour et blâmées par M^{me} de Maintenon, mœurs peu conformes, il est vrai, à celles que l'on aurait attendues chez un futur censeur en chef.

Après les intempéries, les disettes des années 1693–1694 et les malheurs de la guerre, la paix de Ryswick en 1697 amorce un certain retour à la prospérité. L'année 1699 annonce une relative accalmie et un assainissement des finances,

² *Bléchet F.* L'abbé Bignon, président de l'Académie royale des sciences: un demi-siècle de direction scientifique // Règlement, usages et science dans la France de l'absolutisme... actes du colloque international Paris, 8–10 juin 1999... / Réunis par C. Demeulenaere-Douyère, É. Brian. Londres; Paris; New York, 2002. Ch. 5. P. 55.

³ Archives de l'Académie des sciences, Paris. Procès-verbaux, novembre 1691.

⁴ BNF. Nouv. acq. fr. 22096. Fol. 320 v^o.

⁵ *Saint-Simon, L. de Rouvroy, duc de.* Mémoires / Éd. Y. Coirault. Paris, 1983. T. I. P. 636.

⁶ *Ibid.* P. 817.

⁷ *Marais M.* Journal de Paris / Éd. établie, présentée et annotée par H. Duranton, R. Grandroute. Saint-Étienne, 2004. T. II. P. 556, septembre 1722.

en dépit du froid et des mauvaises récoltes de 1698. Bignon saisit le moment propice pour poser tous les fondements d'une politique culturelle ambitieuse. Pour lui, l'année 1699 signifie son ascension politique fulgurante et elle fera date aussi pour l'Académie royale des sciences: il lui octroie, le 26 janvier 1699, un règlement en 50 articles, qui sera observé jusqu'à la Révolution et au-delà, et il opère un recrutement des génies scientifiques étrangers les plus prestigieux, de janvier à novembre 1699: Leibniz, Hartsoeker, les deux Bernoulli et Newton. Le 29 avril, l'Académie déménage et quitte la Bibliothèque du Roi pour le Louvre⁸. En septembre 1699, Pontchartrain place Bignon à la tête de la Librairie, poste qui semble lié à la présidence des académies.

Au tournant du siècle, Bignon applique aux établissements culturels la même réforme centralisatrice, préparant leur fédération en un seul et unique vaste ministère, la grande Académie unificatrice et utopique dont rêvait Colbert, placée sous la main d'un seul conseiller d'État. À la tête des principales institutions culturelles, Bignon détient toutes les clés de la censure pendant deux phases différentes de sa carrière, où les enjeux ne seront pas les mêmes. Le livre toléré ou interdit ne revêt pas la même signification pour le bibliophile, pour le responsable de la Librairie et pour le bibliothécaire du Roi:

– directeur de la censure pendant quinze ans, il est le chef du bureau des censeurs royaux, de septembre 1699 jusqu'au 14 juillet 1714, en tant que directeur de la Librairie. Il lance une enquête nationale, légifère sur le privilège et la permission d'imprimer, crée et préside un bureau de la censure, recrute les censeurs, dirige, avec les mêmes hommes, le *Journal des sçavans* et les académies. Il protège les publications de ses censeurs, journalistes et académiciens, fait saisir les contrefaçons qui pourraient leur nuire et engage une répression contre les «mauvais livres»;

– à partir de 1719, et pendant vingt-deux ans, le nouveau bibliothécaire du Roi légifère uniquement pour faciliter le dépôt légal dans son établissement; il réclame et fait saisir les livres qui n'y rentrent pas; il y engrange le produit des saisies et des perquisitions. En 1740, un an avant sa retraite, il en appelle encore aux autorités qui lui ont succédé à la Librairie pour faire entrer toute la production illicite dans le dépôt dont il a la charge⁹.

LES AMIS COMPROMETTANTS DU DIRECTEUR DE LA LIBRAIRIE

La personnalité de cet homme de 37 ans, qui allait exercer un pouvoir aussi absolu, présente plus d'une ambiguïté. Après une longue jeunesse à l'ombre de l'Oratoire, il fit ses premiers pas dans le monde en prêchant devant le roi avec succès. Bientôt, une vie privée agitée lui valut une réputation d'abbé de cour,

⁸ *Bléchet F.* Quand la Bibliothèque du Roi offrait l'hospitalité à l'Académie des sciences // *Revue de la Bibliothèque nationale de France.* 2003. N 14. P. 77–81.

⁹ BNF. Ms. fr. 22076. Pièce 62: mémoire de l'abbé Bignon au chancelier, pour que les impressions sur permissions tacites soient astreintes au dépôt de trois exemplaires comme celles sur privilèges, 17 janvier 1740.

galant et libertin, qui l'écarta des prélatures. Paradoxalement, ce fils d'un Solitaire des Petites Écoles de Port-Royal ne reniait pas les attachements paternels, ni les choix de l'oncle son bienfaiteur, janséniste rigoureux, ni les compagnons de l'Oratoire de Saint-Magloire, marqué par le destin de l'un des leurs, le P. Pasquier Quesnel. La congrégation, fondée par Pierre de Bérulle, apparaît, en cette fin de siècle, comme un repaire de jansénistes (on dira la même chose de l'Académie des inscriptions et belles-lettres tout entière). Bignon fut soupçonné de sympathie janséniste — il était l'ami des évêques oratoriens de Castres, Honoré Quiqueran de Beaujeu, et de Senez, Jean Soanen —, mais il s'en défendit constamment et appela, sans relâche, les deux partis à la réconciliation. Pourtant, entre Richard Simon et Jacques-Bénigne Bossuet, il choisit de protéger le premier, confrère sulfureux de l'Oratoire, contre le puissant évêque de Meaux qui l'avait félicité lorsqu'il soutint sa thèse devant lui. Cette affaire fit grand bruit en 1702: l'Aigle dut soumettre ses écrits aux bureaux de Bignon alors que les évêques étaient, récemment encore, dispensés de tout examen. L'abbé s'abrita derrière le chancelier qui saisit l'occasion pour établir définitivement l'autorité laïque sur la censure¹⁰.

Certes, la religion de l'abbé paraît assez éloignée de celle de son oncle, hormis cette indulgence pour le jansénisme. Gallican sans excès, plus pragmatique qu'idéologue, esprit libre plus que libre penseur, épris de modernité plus que subversif. La révolution scientifique ne lui a pas échappé et il se situe à l'avant-garde du débat cartésien / newtonien, en homme de progrès, ouvert et dégagé des préjugés, combattant la superstition et l'obscurantisme. Bignon fait élire Newton à l'Académie des sciences en 1699 et Étienne Geoffroy lit l'*Optique*, en séance, dès août 1706 — événement historique. L'abbé use, dans ses lettres, de formules hardies, à une époque où «la révolution galiléenne» est loin d'être admise partout: «Il n'est pas commun chez les philosophes de prendre les paroles de l'Écriture sainte pour des fondemens d'un système physique...», et encore: «Les livres saints n'ont pas été inspirés de Dieu pour instruire les hommes dans l'astronomie»¹¹. Ces convictions progressistes ne sont alors l'apanage que d'une minorité mais elles s'accompagnent chez lui d'une soumission de la raison à la foi qu'il tente de faire partager à Leibniz: «Laissez à d'autres, Monsieur, à nous estaler la foiblesse de l'homme <...> et il vous siéra mieux d'approfondir ou les grandeurs de Dieu ou les merveilles de la nature...»¹²

Des amitiés peu conventionnelles, voire de mauvaises fréquentations, surprenantes pour un responsable de la censure, l'accompagnent tout au long de sa vie. Il met en pratique la tolérance religieuse en maintenant de longs échanges épistolaires avec les acteurs de premier plan des affaires de controverse

¹⁰ Woodbridge J. D. Censure royale et censure ecclésiastique, le conflit de 1702 // DHS. 1976. N 8. P. 337–359.

¹¹ BNF. Ms. fr. 22234: lettre du 2 décembre 1728 au marquis de La Bastie, ambassadeur de France à Florence.

¹² Hannover, Niedersächsische Landesbibliothek. LBr 68. Fol. 4–4 v°: lettre autographe de Bignon à Leibniz, 19 novembre [1694], publiée dans: *Leibniz G. W. Sämtliche Schriften und Briefe*. Reihe 1. Berlin, 1975. Bd. 9. N 415.

religieuse de tout bord: les plus grands noms du Refuge huguenot, autrement dit des hérétiques, plusieurs jansénistes radicaux et gallicans extrémistes, des jésuites sinologues condamnés et même exclus de leur ordre.

Au cours d'une première vie, ses correspondants huguenots se nomment Jean-Louis de Lorme, Jean Le Clerc, Pierre Desmaizeaux, Samuel Turretini et probablement Pierre Bayle. Ces personnalités ont en commun de vivre en exil et d'être des auteurs remarquables et poursuivis. La correspondance entre Bignon et de Lorme, éditée par I. H. Van Eeghen¹³, est échangée dans les années 1707–1708, pendant le plein exercice de la direction de la Librairie. Les titres de Bignon n'impressionnent pas le libraire de Lorme qui ne cesse de lui demander toutes sortes de services pour faciliter son entreprise éditoriale ambitieuse, avec flatteries à l'appui. Ainsi lui réclame-t-il son portrait pour satisfaire plusieurs de ses clients: notre abbé le fait retoucher pour la circonstance.

En même temps qu'il élaborait les lois, Bignon les détournait à son profit avec plus de facilité qu'aucun autre, et les délits pointés dans ces lettres offrent quelques exemples confondants de complicité cynique. Il commande à de Lorme des livres formellement interdits, en quantité. On connaît bien ces lettres sur les «livres qui ne passeraient pas» à la visite et que de Lorme «juge à propos» de mettre à l'adresse de Bignon; faisant allusion, le 1^{er} septembre 1707, à l'un de ses livres sous presse sans le nommer, de Lorme déclare avec aplomb: «J'espère que vous m'en permettrez l'entrée en France», réclamant «la même grâce» que celle accordée au libraire de Rotterdam Reinier Leers. Bignon lui demande, en 1708, «deux exemplaires de Bayle»; son correspondant l'interroge sans vergogne: désire-t-il le *Dictionnaire* seulement «ou tout ce qu'il a fait?»¹⁴ L'abbé enverra à de Lorme les *Médailles du roi*, en paiement de ses acquisitions personnelles, comme le garde Nicolas Clément payait Leers avec des estampes du Cabinet du Roi¹⁵, marchés scrupuleusement enregistrés par le copiste Jean Buvat déjà employé à la Bibliothèque et que Bignon retrouvera à la même place en 1719. Enfin les cent «Saint-Evremont»¹⁶ que contenait le ballot envoyé par de Lorme à son adresse en 1708 étaient-ils pour son seul usage personnel? Cela paraît beaucoup, et l'on est en droit de se demander ce qu'il faisait du produit de cette contrebande.

Moins exposé, le philosophe de Deventer Gisbert Cuper appartient au cercle de Gilles Ménage, et c'est de Lorme qui le met en relation avec l'abbé. En 1708, Bignon joint sans commentaire, à sa lettre qui ne parle que du bouclier d'argent du Cabinet du Roi, des nouvelles à la main sur la «suppression et extinction» de Port-Royal-des-Champs par un bref du pape et sur la condamnation au feu du *Nouveau Testament* du P. Quesnel¹⁷.

¹³ Van Eeghen I. H. De Amsterdamse Boekhandel 1680–1725. Amsterdam, 1963. T. I. P. 124–152.

¹⁴ Ibid. P. 143.

¹⁵ Bléchet F. Recherches sur l'abbé Bignon, 1662–1743, académicien et bibliothécaire du Roi, d'après sa correspondance. Thèse de l'École nationale des chartes. Paris, 1974, dactylogr. P. 74 et *passim*.

¹⁶ Bléchet F. La Bibliothèque du Roi et la contrefaçon au XVIII^e siècle // Les Presses grises: la contrefaçon du livre, XVI^e–IX^e siècles / Textes réunis par F. Moureau. Paris, 1988. P. 81.

¹⁷ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek. Ms. 72 H7: 31 août 1708.

On recueille bien des confidences dans sa correspondance avec l'arminien rationaliste Jean Le Clerc, professeur à Amsterdam, procurée aussi par de Lorme. Bignon, *a posteriori*, lui fait le récit détaillé et exclusif de l'affaire du P. Hardouin qui a fait «beaucoup de bruit». Malgré l'anathème lancé par le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, il lui a été facile d'accorder son appui au jésuite, pour publier son ouvrage sur les conciles, puisqu'il «avait soin de l'Imprimerie royale sous M. de Pontchartrain». Les choses se seraient passées ainsi: l'abbé aurait pris le «parti original après bien des discussions de ne pas voir une seule ligne de l'impression», et de faire «remettre jour par jour chaque feuille aux examinateurs du cardinal et tout le monde lui a rendu justice de cette décision». Ayant promis à Le Clerc de lui envoyer l'ouvrage, il n'en trouve pour l'heure aucun dans Paris: ni le duc d'Orléans ni lui-même n'ont reçu leurs exemplaires («Il me doit estre moins permis qu'à personne de les demander»). Bignon félicite Le Clerc de son *Histoire ecclésiastique*, non sans humour: il lui apprend que son livre n'emporte pas «tous les suffrages» car les matières qu'il traite sont «infiniment délicates». On s'en doute¹⁸.

Est-ce l'intérêt précurseur de Bignon pour la sinologie — il donnera à son arrivée à la tête de la Bibliothèque du Roi sa collection de 350 livres chinois, ce qui constituera pour l'établissement le premier fonds en cette langue — qui le pousse à se compromettre dans l'affaire de la Chine et la querelle des Rites? Son intervention est avérée en faveur de plusieurs missionnaires jésuites condamnés par la Sorbonne et par le pape, pour leurs thèses comparatistes entre l'Écriture et la philosophie de Confucius et leur apologie du culte des ancêtres. Le P. Louis Le Comte avait publié dès 1696 *Nouveaux Mémoires sur l'état présent de la Chine*, relation sous forme de lettres dédiées à Pontchartrain et à Bignon, qui traitaient plus volontiers d'observations scientifiques que de doctrine¹⁹. Le Comte était le confesseur de la duchesse de Bourgogne qui le congédia en 1700, dès sa condamnation. Condamné aussi, le P. Joseph de Prémare, «coupable d'abaïsser l'Ancien Testament pour mieux exalter le Yi-King». Quant à Jean-François Fouquet, évêque d'Eleuthéropolis, il fut assigné à résidence à Rome en 1722 à son retour de Chine, avec interdiction d'y retourner. Cela n'empêcha pas Bignon de continuer à correspondre avec Fouquet et de l'aider à faire imprimer ses dangereuses hypothèses figuristes²⁰. Il soutiendra plus tard un autre jésuite, le P. Claude de Chancey, chassé par les bons pères de Lyon et qu'il nommera pourtant à la tête du département des Estampes, contre l'avis du cardinal de Fleury: on viendra chercher Chancey à la Bibliothèque, en 1735, pour le conduire à la Bastille, sous l'accusation d'avoir vendu les estampes du Cabinet du Roi.

¹⁸ *Le Clerc J.* Epistolario / Éd. M.G. Diani, M. Sina. Firenze, 1994. T. III. N 617 [1716], et N 625, lettre du 7 septembre 1717.

¹⁹ Les Grands Intermédiaires culturels de la République des lettres: études de réseaux de correspondances du XVI^e au XVIII^e siècle / Prés. par C. Berkvens-Stevelinck, H. Bots, J. Häselser. Paris, 2005. P. 396.

²⁰ *Bléchet F.* De l'Europe à la Chine, de Leibniz aux Jésuites: les réseaux de l'abbé Bignon // Kultur der Kommunikation. Die europäische Gelehrtenrepublik im Zeitalter von Leibniz und Lessing / Hrsg. U.J. Schneider. Wiesbaden, 2005. S. 273.

Au nombre des esprits libres qui bravaient les conventions, le maréchal de Vauban était un modèle pour l'abbé Bignon, qui avait pour lui une grande vénération. Il l'avait fait admettre parmi les honoraires de l'Académie des sciences en 1699. Dans le procès-verbal de la séance du samedi 9 juillet 1701, il est consigné qu'à l'entrée du maréchal à l'Académie, Bignon lui céda son fauteuil en lui témoignant la plus grande déférence. Pourtant son livre, *Projet d'une dixme royale*, brûlot de la justice fiscale paru sans autorisation, serait bientôt l'objet d'une enquête confiée au lieutenant général de police d'Argenson et au maître des requêtes Jacques-Étienne Turgot²¹, avant d'être condamné en 1707. Pontchartrain réitérant l'interdiction²², le livre de Vauban figura bientôt au palmarès des livres arrêtés et on le trouva dans les paquets du Tout-Paris²³. On ignore si Bignon fut plus que le spectateur désolé de ces poursuites, mais l'affaire le concernait au moins sur deux points: Vauban s'était inspiré de l'usage suivi en Chine de faire contribuer à l'impôt les privilégiés, bonzes et mandarins, usage rapporté par un des protégés de Bignon, le P. Le Comte, qui avait connu, on l'a vu, quelques déboires. Plus étonnant encore, Bignon allait être chargé par le Régent de reprendre le projet révolutionnaire de Vauban et de continuer des recherches sur un impôt égalitaire; il devait prendre comme adjoint un confrère de l'Académie des sciences, Bernard Renau d'Eliçagaray, dit «le petit Renau»²⁴.

LA DIRECTION DE LA LIBRAIRIE; LÉGIFÉRER, RÉFORMER, CONTRÔLER, RÉPRIMER

On sait peu de chose des magistrats chargés de la Librairie au XVII^e siècle. Il semble que l'abbé Étienne d'Aligre ait précédé Bignon dans ces fonctions pour autant qu'elles soient définies et, immédiatement avant Bignon, dans les années 1698–1699, c'est le marquis d'Argenson qui aurait occupé le poste²⁵.

La mise en place, en septembre 1699, du bureau de la Librairie se fait, on l'a vu, dans la plus extrême discrétion, mais tout se sait dans la République des lettres. La première réunion se serait tenue le 22 novembre²⁶, chez l'abbé, à l'hôtel de la rue des Bernardins. Le P. Léonard de Sainte-Catherine, bibliothécaire

²¹ BNF. Ms. fr. 22088. Pièce 7: «arrêt du Conseil qui commet M. Dargenson pour informer du débit du livre *La Dixme royale* le 14 mars 1707, imprimé en 1707 sans dire en quel endroit, et distribué sans permission ni privilège, dans lequel il se trouve plusieurs choses contraires à l'ordre et à l'usage du royaume»; dans la marge: «recueil de M. l'abbé Bignon».

²² Cf. Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV... / Recueillie et mise en ordre par G.-B. Depping, Paris, 1851. T. II. P. 861: lettre de Pontchartrain à l'intendant de Rouen en date du 14 juin 1709.

²³ BNF. Ms. fr. 21931, *passim*.

²⁴ *Saint-Simon, L. de Rouvroy, duc de*. Op. cit. Paris, 1986. T. VI. P. 581.

²⁵ Cf. *Lottin A.-M.* Catalogue chronologique des libraires et libraires-imprimeurs de Paris. Paris, impr. de J.-R. Lottin, 1789. T. I. P. 137.

²⁶ *La Bonnière de Beaumont H. de*. L'Administration de la Librairie et la censure des livres de 1700 à 1750. Thèse de l'École nationale des chartes. Paris, 1966, dactylogr. P. 171 et 182.

des religieux augustins déchaussés de la place Notre-Dame-des-Victoires et infatigable chroniqueur, rapporte en novembre 1699 que Pontchartrain va durcir le régime des privilèges, lesquels ne seront plus accordés que pour deux ans, et fera rechercher ceux qui impriment des libelles qui se débitent furtivement.

L'abbé Bignon, neveu de M. le chancelier, a envoyé chez tous les libraires de Paris leur dire qu'ils eussent à luy apporter un estat de tous les ouvrages manuscrits qu'on veut faire imprimer et donner aux docteurs pour examiner. On prétend que c'est pour avoir connaissance de ceux qui méritent estre donnez au public, et les faire expédier et faire rendre les autres aux auteurs sans espérance de privilège <...>. Le Chancelier de France est dans la résolution de n'accorder de privilège qu'aux bons ouvrages²⁷.

Le même chroniqueur poursuit, en mars 1701: «M. l'abbé Bignon travaille à dresser de nouveaux règlements pour l'imprimerie et la librairie afin d'absorber les deux»²⁸. L'essentiel est dit: le nouvel administrateur manifeste la volonté de mettre de l'ordre dans la législation de l'édition et va s'entourer de spécialistes qui examineront les manuscrits et constitueront un comité de censure, rattaché étroitement au chancelier.

Pour entreprendre une réforme, il semble nécessaire de procéder, au préalable, à un état des lieux de ce monde de la librairie qui a bien changé depuis Colbert et qui traverse une crise. Bignon ordonne une enquête nationale, par arrêt du Conseil du 6 décembre 1700, sous la forme d'un questionnaire imprimé, envoyé le 17 janvier 1701 aux intendants, qui doivent veiller à ce que tout imprimeur de leur généralité le remplisse correctement²⁹. Il faut souligner le caractère pionnier de cette étude, interrogeant le quantitatif, qui offrira, pour la première fois à l'échelle nationale, des données chiffrées: dénombrement des ateliers, des maîtres et des compagnons imprimeurs et/ou libraires de France, aperçu de leur carrière, nombre de presses, de fontes de caractères, etc. Le dépouillement de cette enquête nous est parvenu sous la forme de deux forts volumes manuscrits, modèles de registres soignés de la monarchie administrative, par ordre alphabétique des généralités, s'ouvrant sur une page de titre calligraphiée avec soin, recouverts d'une belle reliure en maroquin, orange selon la notice du catalogue, aujourd'hui d'une couleur fanée indistincte. Toutes ces particularités en font de beaux objets codicologiques qui mériteraient une édition exhaustive, même s'ils ont été déjà largement exploités pour leur contenu³⁰. Ils

²⁷ Neveu B. *Érudition et religion aux XVII^e et XVIII^e siècles*. Paris, 1994. P. 43.

²⁸ Archives nationales, Paris. M. 767 (papiers du P. Léonard de Sainte-Catherine). P. 101.

²⁹ Lannette-Claverie C. *La librairie française en 1700 // Revue française d'histoire du livre*. 1972. Janvier-juin N 3. P. 3–43, notamment p. 6.

³⁰ BNF. Nouv. acq. fr. 399–400: *Estat de la librairie de France sous M. le chancelier de Pontchartrain, composé des déclarations originales de tous les imprimeurs, libraires et relieurs des différentes villes du royaume et contenant leurs nom, age et qualité, le tems de leur réception, la nature de leur établissement, leurs ouvrages, le nombre de leurs presses, caractères et autres ustanciles [sic], de leurs apprentifs et compagnons, le tout recueilly et rédigé par Messire Jean-Paul Bignon, conseiller d'Etat ordinaire, chef du bureau de la librairie et bibliothécaire du Roy*. 2 vol. de 568 et 481 ff. Cette page de titre a été ajoutée *a posteriori*, après 1718.

renferment les questionnaires, divisés en dix colonnes, également calligraphiées, chacune affectée à une rubrique: «noms et qualitez; patrie et age; tems et lieu d'apprentissage; tems et lieu de service; établissement quand et comment; nombre et noms des apprentifs; nombre et noms des compagnons; nombre des preses; nombre & qualitez des fontes; ouvrages, leur forme, caractère, leur nombre de feuilles»³¹. Ces questionnaires ont été remplis par tous les libraires, grands et petits, parfois de leur propre main, ou portent au moins leur signature autographe. C'est le premier formulaire administratif de ce genre, une grille de classement normalisée qui précède et annonce les fiches de renseignements de l'inspecteur de police Joseph d'Hémery, portant sur les libraires et les écrivains au milieu du XVIII^e siècle.

On peut en contester les résultats imparfaits et montrer les limites de cette entreprise, mais personne n'a fait mieux ensuite: il s'agit d'un exploit jamais renouvelé selon Jean-Dominique Mellot³². En dépit de quelques erreurs, cette enquête fournit en effet une mine de renseignements et permet non de dresser une véritable prosopographie mais une cartographie et un panorama très documenté et daté des gens du livre, milieu en pleine effervescence, en proie à une sévère dépression économique³³. L'administration centrale dispose désormais d'un répertoire des imprimeurs et des libraires. Après la collecte et le dépouillement des questionnaires, elle peut engager une réforme.

L'enquête de 1700 avait incité les libraires de province à s'adresser en droiture à leur tutelle et Bignon recevait directement leurs doléances. Parmi eux, le premier adjoint de la communauté des libraires de Lyon, Hilaire Baritel, adressait à Bignon un véritable réquisitoire contre le syndic Jacques I Anisson, corrompu, qui se gardait bien de faire la chasse aux mauvais livres, et il terminait par ce bon mot qui nous étonne par sa modernité: «Il s'en bat l'oeuil (qui est son mot ordinaire) de tout ce que l'on peut dire contre luy»³⁴.

Après ce temps d'analyse et de réflexion, la réforme est rapidement mise en œuvre et les arrêts du Conseil se succèdent à un rythme accéléré; des ordres sont donnés presque tous les jours aux officiers³⁵. Bignon a sous sa direction une équipe de secrétaires, dont Simon de Valhubert, de maîtres des requêtes et de censeurs. On lui doit la majeure partie de la réglementation élaborée entre l'édit de 1686 et le grand règlement de 1723, condensé des affaires simples et des questions épineuses traitées à la Librairie, dans les deux bureaux gracieux et contentieux, pendant quinze ans. En homme d'ordre à la fois pragmatique et innovateur, l'abbé entreprend une refonte de la législation existante pour en

³¹ Ibid.

³² Mellot J.-D. *L'Édition rouennaise et ses marchés (vers 1600 – vers 1730): dynamisme provincial et centralisme parisien*. Paris, 1998. P. 466.

³³ Sarrazin B. *La librairie et l'imprimerie parisiennes à la fin du XVII^e siècle // Revue française d'histoire du livre*. 1985. Avril-mai-juin. N 47. P. 295-332.

³⁴ BNF. Ms. fr. 22071. Fol. 504 v^o: sans date mais portant la mention, de l'écriture de Bignon, «reçue le 14 décembre 1702»; publiée dans: *Griselle E. La contrefaçon en librairie à Lyon vers l'an 1702 // Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire*. 1903. P. 181-196, 245-253.

³⁵ *La Bonnière de Beaumont H. de. Op. cit. P. 209.*

effacer les disparités (trop de règlements, trop de services). Plus attentif à faciliter la publication qu'à réprimer, il assouplit les règlements et y introduit une bonne dose de libéralisme. L'arrêt du Conseil de septembre 1701 et les lettres patentes du 2 octobre de la même année, moins d'un an après l'enquête, mettent en place la permission simple, première étape d'un nouveau régime complété par diverses dispositions en 1704.

Ces nouvelles prescriptions ne suffisent pas et il faut aller plus loin pour desserrer le carcan de la permission d'imprimer. Pour plus de liberté encore, l'abbé Bignon va inventer la *permission tacite*, dont J.-D. Mellot a découvert les premiers témoignages à partir de 1709 à Rouen³⁶; mais cette création est peut-être antérieure. C'est une simplification, une tolérance obligée, fruit de l'enquête. Par cette innovation, Bignon voudrait remédier au flot grandissant de livres qui sortent sans autorisation et qui tendent à profiter davantage aux presses étrangères qu'à celles du royaume. Cette permission tacite apparaît ainsi dix ans après la création du bureau de la Librairie, un an après le deuxième bureau pour les affaires de Chancellerie. L'abbé utilise lui-même l'expression, dans une lettre adressée en 1727 au garde des sceaux Germain-Louis de Chauvelin à propos de la réclamation d'une permission tacite de *La Henriade* de Voltaire³⁷. Il aurait aussi contribué à lancer la souscription avec les Bénédictins de Saint-Maur.

Ces nouveaux dispositifs relèvent du bureau gracieux. Le bureau contentieux, quant à lui, règle contestations et litiges, entre 1703 et 1708, par des arrêts, simples ou en commandement. Bignon les a rassemblés, comme aide-mémoire, en un recueil factice de pièces imprimées et manuscrites, dit *Recueil de M. l'abbé Bignon*, qu'Ernest Coyecque, dans son inventaire de la collection Anisson, a intitulé, à juste titre, *Libelles diffamatoires et livres prohibés*³⁸. Ce registre contient les arrêts de condamnation des livres, les noms des contrevenants, accompagnés de la sentence: confiscation, mise au pilon, etc. Durant l'administration de l'abbé intervient l'arrêt du parlement de Paris bannissant Jean-Baptiste Rousseau qui avait calomnié Joseph Saurin³⁹, entre autres; il avait aussi chansonné Bignon fort irrespectueusement⁴⁰.

Plusieurs arbitrages inattendus sont alors rendus. En mars 1700, Bignon donne raison à Saint-Évremond qui requérait contre la veuve du libraire parisien Claude Barbin: celle-ci avait publié des *Œuvres mêlées* sous son nom avec des fragments qui n'étaient pas de lui⁴¹. L'arrêt rendu par le chancelier,

³⁶ Mellot J.-D. Op. cit. P. 597.

³⁷ Bléchet F. Deux lettres inédites de l'abbé Bignon, bibliothécaire du Roi, à Voltaire // SVEC. 1982. Vol. 208. P. 315-322.

³⁸ BNF. Ms. fr. 22088: *Recueil de M. l'abbé Bignon* constitué du recueil factice des dispositions législatives pour distinguer les arrêts simples ou en commandement. La plupart des pièces manuscrites sont annotées, une à une, dans la marge: «recueil de M. l'abbé Bignon».

³⁹ BNF. Ms. fr. 22088. Fol. 94.

⁴⁰ Entre autres: «Préparés vous abbé Bignon / Préparés vous pour le baptême / La Cossard a fait un poupon / Préparés vous abbé Bignon / Dites nous dans un beau sermon / Saint Augustin en fit de mesme <...>» (BNF. Ms. Clairambault 1053. Fol. 204).

⁴¹ *La Bonnière de Beaumont H. de*. Op. cit. P. 242.

directement et sans rapporteur, est un arrêt simple: on applique aux affaires de la librairie les mêmes règles qu'à la Chancellerie, avec instruction au Conseil d'État. C'est pourquoi il est urgent d'y faire entrer Bignon comme conseiller d'État ordinaire d'Église, ce qui est fait le 17 février 1701, pour que ces affaires soient instruites au Conseil. Cette distinction lui vaudra les félicitations, entre autres, de Leibniz⁴². Mais c'est à Leibniz, et à lui seul, que Bignon confie qu'il est ravi d'échapper ainsi à l'épiscopat, pour rester au service des sciences le reste de sa vie.

Les bureaux du livre voulus par Pontchartrain pour son neveu fonctionnaient depuis neuf ans quand un arrêt de 1708 révéla l'existence d'un deuxième bureau, si l'on peut dire, pour les affaires de Librairie et Chancellerie. Comme la permission tacite, il existait peut-être avant, et les deux décisions furent concomitantes. Ce dernier bureau fut créé par l'arrêt du Conseil d'État privé du 18 juin 1708⁴³: il commettait quatre maîtres des requêtes, Jean-François Maboul, Bosc du Bouchet, Jean-Baptiste-Louis Laugeois d'Imbercourt et de Fenoil, «pour faire le rapport des affaires de Chancellerie et de Librairie, après en avoir communiqué au bureau de Monsieur l'abbé Bignon, conseiller d'État ordinaire»⁴⁴. Toutes les requêtes devaient être désormais présentées au Conseil et, en cas d'opposition à ces arrêts rendus par l'un des quatre, devaient être signifiées au domicile des avocats, puis remises à celui des trois qui n'aurait pas été le rapporteur et «après qu'ils en auront communiqué au bureau du sieur *Abbé Bignon*» (ces caractères italiques sont dans l'original), pour répondre aux requêtes et instances «de l'avis de Monsieur le Chancelier». Ce service allait fonctionner jusqu'à la Révolution sous le nom de conseil de Chancellerie.

Cette législation inachevée fut complétée au fur et à mesure, après 1714, et les successeurs de Bignon, les chanceliers Voysin et d'Aguesseau entre autres, reprirent la plupart de ses idées. Jusqu'à aboutir à l'impressionnant règlement du 28 février 1723, en 125 articles, qui abordait tous les aspects de la police du livre. Certes son élaboration avait demandé de longues années mais il eut force de loi sous le nom de *Code de la librairie* pendant plus d'un siècle: il survécut en effet à la Révolution et fut encore invoqué à la Restauration à propos, par exemple, des libraires passibles d'amende pour avoir exercé sans brevet⁴⁵.

L'un des motifs de l'ajournement constant du nouveau code fut un conflit d'attributions entre le lieutenant général de police d'Argenson et le chancelier. L'arrêt du 13 août 1703 s'efforçait déjà de distinguer les prérogatives de chacun sur l'autorisation d'imprimer, et le chancelier remporta une première victoire par la déclaration du 8 septembre 1711.

⁴² Lettre de Leibniz en date du 7 mars 1701 et réponse de Bignon du 25 mars 1701, cf. *Bléchet F. De l'Europe à la Chine, de Leibniz aux Jésuites...* P. 275.

⁴³ Bibl. historique de la Ville de Paris (BHVP). Ms. CP 3997, et aussi BNF. Ms. fr. 22062. Fol. 4. Cet arrêt est d'impression soignée, et orné de vignettes et bandeaux de bonne facture.

⁴⁴ BNF. Ms. fr. 22062. Fol. 4, imprimé. Cet arrêt devait être lu, publié et enregistré au greffe de la communauté des avocats du Conseil «pour s'y conformer à l'avenir à ce qui a été fait à l'assemblée tenue à Fontainebleau le 10 juillet».

⁴⁵ *Brives-Cazes É. De la police des livres en Guyenne (1713–1785)*. Bordeaux, 1883. P. 24.

Dans cette logique réglementariste s'insérait aussi l'arrêt du Conseil du 11 octobre 1720 en neuf articles, charte fondatrice de la Bibliothèque du Roi. Cet arrêt marquait une étape entre 1714, date du départ de Bignon de la Librairie, et le règlement de 1723. L'arrêt fut envoyé à tous les intendants pour diffusion, comme l'enquête sur la librairie de 1701, comme celle du Régent de 1716 et comme les provisions de bibliothécaire du Roi, en 1719. Les intendants s'engagèrent très officiellement à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire signifier cet arrêt de 1720 à chaque imprimeur, libraire ou graveur établi dans leur généralité.

Après avoir amendé la législation, on ouvre des registres de censure, les premiers en ce genre, où l'on consigne les livres proposés à l'examen; ils devraient faire l'objet d'une étude et d'une édition diplomatique. La part qui revient à Bignon dans la production et la conservation des archives de l'administration de la Librairie et de la chambre syndicale des libraires de Paris, appelées collection Anisson, est si importante, ses annotations autographes si nombreuses, qu'il devrait porter le nom de Jean-Paul Bignon, ou encore celui de Joseph d'Hémery, car ce sont les deux administrateurs qui y ont contribué le plus. Sur de nombreux registres de cette collection, à la page de titre ou quelques pages plus loin⁴⁶, on retrouve mention du nom de l'abbé Bignon.

LE BUREAU DE LA LIBRAIRIE ET LES CENSEURS ROYAUX

Les contemporains étaient embarrassés pour désigner cette administration mais en percevaient bien le pouvoir. L'abbé Pierre-François Guyot Desfontaines l'appelle «bureau de l'approbation» dans une lettre à Louis Racine en 1739. Le nouveau bureau de la Librairie et de la censure se réunit deux fois par mois, le plus souvent le jeudi: 6 fois en décembre 1699; 1 fois en janvier 1700; 2 fois en février; 3 en mars; 4 en avril; 30 fois en 1701; 64 en 1703; 33 en 1711⁴⁷. Aucune réunion n'a lieu en l'absence du président et aucune explication n'est fournie sur ses absences en 1704 et 1709.

Le directeur voulut s'entourer de spécialistes pour examiner les ouvrages demandant une permission d'imprimer. Il les convoquait chez lui, rue des Bernardins. Ces premiers censeurs royaux⁴⁸ ou approbateurs⁴⁹ exerçant leur charge sous l'administration de Bignon n'ont pas été étudiés. Nous ne les connaissons que par le premier manuscrit d'examen des livres⁵⁰. Celui-ci s'ouvre en 1696 et non en 1699, date admise de la création du bureau de la Librairie.

⁴⁶ Citons entre autres les manuscrits de la BNF Nouv. acq. fr. 399, et Ms. fr. 21939, 22023, 22088.

⁴⁷ *La Bonninière de Beaumont H. de*. Op. cit. P. 199.

⁴⁸ Le chancelier Séguier avait créé 4 lecteurs ou censeurs en 1648.

⁴⁹ «Messieurs les approbateurs» (BNF. Ms. fr. 22076. Fol. 34).

⁵⁰ BNF. Ms. fr. 21939.

Certains censeurs ont même été engagés avant 1699: Issaly à la fin de 1698⁵¹; François Salmon en mai 1699; en août, l'orientaliste Eusèbe Renaudot, censeur de Bayle. Bernard Le Bovier de Fontenelle apparaît le 22 novembre 1699, Pierre-Jean Burette et Gilles Filleau des Billettes le 23 novembre⁵².

La première mention officielle de censeurs est donnée dans l'*Almanach royal* de 1716, deux ans après le départ de Bignon de la Librairie⁵³, Louis Le Goux de La Berchère de La Rochepot l'ayant remplacé à la tête de cette institution. Pourtant, les *Almanach* suivants ne comportent pas de liste de censeurs, et il faudra attendre 1742 pour disposer d'un autre état officiel. En 1716, donc, 27 censeurs sont mentionnés sur une demi-page intitulée «Gens de lettres nommés par Monsieur le chancelier pour l'examen des livres», suivie par les «Gens de lettres qui travaillent au *Journal des sçavans*», preuve supplémentaire de la grande proximité de ces deux compagnies de gens de lettres. Ils sont spécialisés selon les sujets traités: 8 pour la théologie, parmi lesquels Robuste, 5 pour la jurisprudence, dont Étienne Rassicod, 2 pour la médecine, Nicolas Andry et Pierre-Jean Burette, et 12 pour les beaux-arts dont Fontenelle, l'abbé René Aubert de Vertot, Gilles-Bernard Raguét, Joseph Saurin, Antoine Danchet et Jean-Baptiste Couture. Ceux que nous citons, hommes de lettres et académiciens, appartenaient déjà au premier cercle des proches de Bignon.

Les censeurs étaient ainsi répartis par disciplines, celles-là mêmes créées par Bignon pour les collaborateurs du *Journal des sçavans*. L'abbé s'intéressait aux recherches en cours sur la classification thématique des livres en cinq grandes divisions: théologie, jurisprudence, sciences et arts, histoire, belles-lettres. Ce système bibliographique était alors en cours d'élaboration par l'élite des libraires de Paris, «fiseurs de catalogues» comme Gabriel Martin, et allait être bientôt adopté par l'Europe savante et par la Bibliothèque du Roi, dans son premier catalogue imprimé de 1739. Pour sa part, le président des académies avait institué, par les règlements de 1699 et 1701 — «distinction révoltante» dénoncée par Voltaire —, le classement hiérarchique et sociologique des académiciens, en honoraires, pensionnaires, associés étrangers et élèves, allant jusqu'à leur fixer une place intangible à la table des séances. Il avait aussi réparti les académiciens des sciences en six spécialités: géomètres, astronomes, mécaniciens, anatomistes, chimistes et botanistes, tandis que René-Antoine Ferchault de Réaumur, son bras droit, travaillait à la classification des insectes. Par l'édit de 1720, il allait diviser les collections de la Bibliothèque du Roi en cinq départements, et le personnel en gardes, «chercheurs de livres», interprètes et écrivains. Homme d'ordre, Bignon aimait que chaque chose fût à sa place et se plaisait à assigner la leur aux livres et aux hommes.

Pontchartrain laissa à son neveu l'entière liberté dans le choix et la gestion des censeurs royaux, sauf exception notable, comme l'indique cette lettre courroucée du chancelier: «L'approbation que M. Quenot a donnée à un livre inti-

⁵¹ Ibid. Fol. 3 v°.

⁵² Ibid. Fol. 4 v°, 6 et 6 v°.

⁵³ Almanach royal. Paris, 1716. P. 68.

tulé *Esclaircissements*... souslève si justement tous les honnestes gens qu'il ne m'est pas possible de supporter patiemment la honte qui rejaillit sur moy d'avoir choisi un aussy indigne personnage pour l'honorer de ma confiance. Faites-luy donc sçavoir, je vous prie, Mr, que je ne veux plus me servir de luy dans un employ qui demande toutes les qualités qu'il n'a pas, et ne luy envoyés plus, s'il vous plaist, aucun livre à examiner»⁵⁴. Il s'agit plus exactement de Joseph-Jean-Baptiste Quinot, théologien, docteur de Sorbonne, protégé par Fénelon et censeur depuis 1706, qui avait approuvé le livre de Noël Gaillande à la grande indignation de Pontchartrain⁵⁵.

Nous ne connaissons pratiquement rien du déroulement d'une séance du bureau ou comité de censure. Plusieurs circulaires invitaient à déposer le manuscrit ou l'exemplaire dû au chancelier chez Bignon, qui procédait à la distribution. Cet exemplaire destiné aux approbateurs devait être plié et cousu, selon une directive plus tardive, du 17 avril 1714⁵⁶. Ni l'auteur ni le libraire ne pouvaient choisir leur censeur bien qu'ils ne se soient pas privés de le demander. Le censeur était seul responsable de son jugement et beaucoup voulaient rester anonymes. Le directeur créa un formulaire d'approbation: «Monsieur X prendra, s'il lui plaît, la peine d'examiner l'édition de cet ouvrage avec le plus d'attention et de diligence qu'il lui sera possible et de mettre, en bas de chaque feuille, son vu pour autoriser l'impression», avec numéro d'inventaire, date et signature du directeur⁵⁷. Le censeur devait donc parapher chaque page, spécifier le genre d'approbation, y porter son jugement en une à deux lignes. Malesherbes, directeur de la Librairie de 1750 à 1763, allait reprendre ce formulaire type sans y rien changer. Bignon en avait inventé un identique pour les académiciens des sciences, afin qu'ils rendent compte d'un ouvrage, d'une invention ou d'une expérience, et le jugement était ensuite déposé entre les mains du secrétaire perpétuel Fontenelle.

Afin de conserver les rapports des censeurs et la notice des livres approuvés ou réprouvés, Bignon prévoit des registres en double, pour lui et la communauté des libraires, qui donnent un numéro d'ordre attribué au livre et le nom du censeur. L'abondance de ces archives manuscrites montre avec quelle rigueur fonctionne ce bureau. Le premier registre de censure est intitulé: *Registre de M. l'abbé Bignon contenant les ouvrages présentés à Mgr le chancelier Phélypeaux par les auteurs ou les libraires, la distribution desdits ouvrages à Mrs les examinateurs avec les approbations ou motifs de réprobation...*⁵⁸ Ce premier registre

⁵⁴ Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV... Paris, 1855. T. IV. P. 655: lettre de Pontchartrain à Bignon, 6 janvier 1713.

⁵⁵ *Le Brun J.* Censure préventive et littérature religieuse en France au début du XVIII^e siècle // *Revue d'histoire de l'Église de France.* 1975. N 2. P. 201–225, citation P. 211.

⁵⁶ *Estivals R.* Le Dépôt légal sous l'Ancien Régime, de 1537 à 1791. Paris, 1961. P. 51.

⁵⁷ BNF. Ms. fr. 22072. Pièce 71. Cité par *Falk H.* Les Privilèges de librairie sous l'Ancien Régime. Étude historique du conflit des droits sur l'œuvre littéraire. Paris, 1906. P. 31.

⁵⁸ BNF. Ms. fr. 21939. Fol. 1: le catalogue donne par erreur ce titre pour le ms. fr. 21938. Fr. 21939, fol. 2: 2^e titre avec «pour obtenir des privilèges». Fr. 21939, fol. 1: en haut cote manuscrite A. Le ms. fr. 21940 porte le même titre et la cote B, et le ms. fr. 21941 la cote C.

de censure, de 1696 à 1705, d'importance historique, comporte de nombreuses notes autographes de Bignon. Il se présente divisé en cinq colonnes: numéro d'enregistrement, titre très abrégé, auteur et libraire, examinateurs (remplacés par le terme *censeurs* en mai 1699) et enfin approbation / réprobation. La deuxième colonne donne le nom de celui qui présente le livre (pas toujours l'auteur) et la date. On relève plusieurs abréviations: «C.» pour «composé», «D.» pour «donné à», suivi du nom du censeur ou d'un blanc. La troisième colonne contient le résultat de l'examen: «ap. ou app.» pour approuvé ou «rép.» pour réprouvé, avec jugement succinct et date; en quatrième colonne figure le type d'autorisation, abrégé en «PG», «PL» ou «PS» pour privilège général, privilège local ou permission simple. Le refus est indiqué par «néant». Cette dernière colonne comporte de nombreuses annotations autographes de Bignon avec la date, souvent un jeudi. À partir de janvier 1705⁵⁹, son écriture disparaît et les deux dernières colonnes restent pratiquement blanches. On précise parfois le sort subi par le livre: confisqué, rendu à l'auteur, à l'imprimeur, ou porté à la chambre syndicale. Plus irrégulièrement y figurent le nom de l'examineur, les dates de la distribution et de la réponse.

Il n'y a rien à redire à l'autorisation d'ouvrages dont l'intérêt public s'impose: l'*Almanach royal pour l'année 1704 et suivantes, calculé sous le méridien de Paris*, n° 1020, obtient un «PG» le 11 avril 1703, accordé à Laurent d'Houry, libraire à Paris, pour 10 ans⁶⁰. Le n° 838, *Nouvelle Méthode pour apprendre facilement les langues hébraïque et chaldéique*, présenté, le 7 août 1702, par les pères de l'Oratoire, au nom du P. Lelong, et examiné par Eusèbe Renaudot, obtient un «PG» le 14 septembre 1702, attribué à l'imprimeur-libraire Jacques Collombat pour 8 ans⁶¹. Fontenelle reçoit à examiner le n° 1530, *Odes d'Horace*, traduction nouvelle, présenté le 8 juin 1704 par le P. Jérôme Tarteron, et il lui accorde un «PG» le 18 juin⁶². Suivant la spécialité de chacun, Issaly se voit confier les *Coutumes de Paris*, Varignon l'*Arithmétique nouvelle*, en 1704; le n° 1599 est confié à Andry, le 30 juillet 1704 — il s'agit d'une *Histoire des oiseaux de proie avec un traité de fauconnerie*, composé par Liget —, et il lui accorde un «PG», pour 3 ans, le 8 janvier 1705⁶³. On voit que le délai de réponse varie suivant le cas: il faut dix jours à Fontenelle, plus de cinq mois à Andry, cinq semaines à Renaudot.

Quelques exemples mettent en évidence le clientélisme et le corporatisme. Entre académiciens: le n° 1626, *Dissertation sur la nourriture des os, où l'on explique la nature et l'usage de la moelle...* de Louis Lémery, brillant chimiste de l'Académie des sciences, est présenté le 22 août 1704 à M. Burlet, un confrère, qui accorde une «PS» le 29 août 1704⁶⁴. On remarque que le délai entre la demande et l'approbation s'est considérablement raccourci. Même échange de

⁵⁹ BNF. Ms. fr. 21939. Fol. 129.

⁶⁰ Ibid. Fol. 130 v°.

⁶¹ Ibid. Fol. 51 v°.

⁶² Ibid. Fol. 110.

⁶³ Ibid. Fol. 110–116.

⁶⁴ Ibid. Fol. 118.

bons services entre censeurs: Fontenelle est l'examineur, le 17 février 1701, de l'ouvrage de son confrère Raguét, *Histoire naturelle du Roussillon*, n° 383, et l'autorise le 19 mars avec ce jugement: «Ap. J'ay cru que l'imp^{on} en serait ut. et agr. au pub»⁶⁵. Puis c'est au tour de Raguét d'approuver l'impression des *Racines de la langue latine* de son futur collègue de la Bibliothèque du Roi, Étienne Fourmont, qui y occupera un emploi d'interprète pour le chinois.

Les refus, surtout lorsqu'ils sont accompagnés des motifs de la décision, sont du plus haut intérêt. À la séance du jeudi 25 novembre 1706, par exemple, refus catégorique de la part du président des académies de toute publication qui les concurrencerait. L'*Almanac ou calendrier et éphémérides des mouvements célestes pour l'année 1707*, présenté le 2 octobre 1706 par la veuve de Jean I Oursel, imprimeur-libraire à Rouen, est apostillé d'une note autographe de Bignon, alors que l'espace laissé pour le nom du censeur est resté blanc: «Réprouvé. Ce n'est qu'une méchante copie de l'*Almanach de l'Académie des sciences*, 16 novembre 1706»⁶⁶. C'est là l'un des effets des dispositions prises, dès 1699, pour protéger les publications qui étaient sous la responsabilité de l'abbé: les éditions académiques, dont les plus importantes, *Histoire et Mémoires* et le *Journal des sçavans*. Plusieurs articles des règlements de 1699 et 1701, élaborés par Bignon pour les académies, concernent en effet les publications: l'article 46 pour l'Académie des sciences, identique à l'article 44 de celle des inscriptions. Il y est prescrit que «l'Académie choisit un libraire pour faciliter l'impression» de ses ouvrages et que «le Roi fera expédier les privilèges nécessaires». L'arrêt du Conseil du 28 juin 1714, divulgué à la séance de l'Académie des sciences du 7 juillet, accorde à Bignon, son président, un privilège spécial pour faire imprimer et graver toutes descriptions, mémoires, conférences, recherches ou observations effectuées par l'Académie. Cette facilité est obtenue de justesse par Bignon à la veille de la démission de son oncle chancelier et de la sienne du poste de directeur de la Librairie. Par la suite, il continuera d'intervenir auprès de ses successeurs pour faciliter les publications des académies.

CENSEURS, ACADÉMIES ET *JOURNAL DES SÇAVANS*

Le lien qui unissait la censure aux autres établissements culturels, académies, le *Journal des sçavans* et Bibliothèque du Roi s'impose à tous les observateurs avertis. Les réunions pour la Librairie, la censure et le *Journal des sçavans* regroupaient les mêmes hommes sous le même président qui les assemblait chez lui. La majeure partie des censeurs collaboraient aussi au *Journal*: Andry, Burette, l'abbé Terrasson, Louis de Héricourt, Louis Manganot, l'abbé Raguét

⁶⁵ Ibid. Fol. 24 v°.

⁶⁶ BNF. Ms. fr. 21940. N 1124. Fol. 109.

et Rassicod. Quand, le 12 janvier 1701, Jean-Paul Bignon hérita du *Journal des sçavans* moribond, ce dernier fut rattaché, de fait, à la direction de la Librairie. Président de cet autre «bureau» ou «compagnie de gens de lettres», Bignon puisa dans le vivier académique ou dans le groupe des censeurs pour constituer ce nouveau comité. Ainsi les censeurs chargés de l'examen des livres étaient-ils aussi ceux qui en donnaient un compte rendu critique après publication. Sous sa direction, le *Journal des sçavans* redevint l'une des plus importantes revues littéraires de l'Europe et la voix officielle des académies. Bignon inventa les premiers comités de lecture et de rédaction hebdomadaires, le lundi, et le métier de rédacteur en chef. Il revendiquait, pour sa revue, indépendance et impartialité, et ce n'était pas une tâche facile de faire un compte rendu critique des ouvrages nouveaux sans soulever des polémiques constantes. Le directeur de la censure y était à son tour exposé.

Attardons-nous sur la première génération de censeurs royaux, les plus proches du directeur: certains cursus méritent d'être développés. Beaucoup de ces censeurs, grâce à leur protecteur, ont plus d'un mandat, par lequel on les connaît mieux puisque celui de censeur reste mystérieux. Mystérieuse aussi l'éventuelle rétribution de 400 livres qui ne leur est pas forcément attribuée, puisqu'ils cumulent plusieurs autres pensions.

Nicolas Andry, régent à la faculté de médecine, conseiller du Roi, fut engagé comme censeur pour les sciences. Il entra en 1701 au Collège royal et en 1702 au *Journal des sçavans*, où il effectua une longue carrière jusqu'en 1739.

Pierre-Jean Burette, aussi bon médecin que musicien, pratiquait clavecin et harpe. C'est le botaniste et médecin Tournefort qui le présenta à Bignon. Nommé censeur en 1704, entré à l'Académie des inscriptions en 1705, il obtint la chaire de médecine au Collège royal et devint, en 1706, l'un des plus importants journalistes du *Journal des sçavans*. Il fit aussi partie de la deuxième équipe, après la réforme de 1724, associé à Desfontaines pour les belles-lettres. En 1720, il figure comme «rechercheur de livres» de médecine sur le premier état du personnel de la Bibliothèque du Roi. Bignon le choisit comme médecin personnel à la mort de Tournefort.

Le bénédictin Gilles-Bernard Raguet, affilié au cercle savant de Gilles Ménage, succéda à l'académicien des sciences Simon de Valhubert comme premier secrétaire du bureau de la Librairie. Censeur pour la théologie et collaborateur au *Journal des sçavans*, il fut aussi chercheur de livres à la Bibliothèque du Roi, en 1720. Il veillait, notamment, sur les acquisitions en livres chinois, reçus du jésuite Joseph de Prémare. Bignon lui obtint l'abbaye de Blanchelande, de bon rapport, et le cardinal de Fleury le nomma directeur spirituel de la Compagnie des Indes en 1724.

Etienne Rassicod, docteur en droit, fut nommé en 1701 censeur et, au *Journal des sçavans*, chargé de l'examen des ouvrages juridiques, seul rédacteur pour cette spécialité.

L'abbé Louis de Targny, docteur en Sorbonne, était, en ces années-là, «sous-bibliothécaire» de l'abbé de Louvois à la Bibliothèque du Roi; Bignon le nomma, plus tard, garde des manuscrits. Il le chargea aussi, en garant de l'ortho-

doxie, de la collecte des pamphlets et libelles jansénistes prohibés — cette littérature dont il présentait tout l'intérêt pour la postérité.

Avec Targny s'avance la garde rapprochée des censeurs, futurs officiers de la Bibliothèque du Roi: l'homme de confiance Antoine Danchet, de l'Académie française et des inscriptions, librettiste d'André Campra, auteur à succès de tragédies lyriques dont *Tancredé*, *Les Fêtes vénitiennes* et *Idoménée*, qui sera nommé en 1720 à la Bibliothèque chercheur de livres en belles-lettres. On le voit affairé à la poursuite des numéros manquants des gazettes hollandaises et, en récompense, Bignon l'invite dans son château bâti sur une île de la Seine, l'Île-Belle, île enchantée qu'il célèbre dans une cantate⁶⁷.

Les liens qui unissaient la censure et la Bibliothèque du Roi survivront à la disparition de Bignon: l'abbé Claude Sallier, garde des imprimés, Antoine Lancelot, chargé, pour la Bibliothèque, de l'inventaire des chartes de Lorraine, et le garde du cabinet des médailles et secrétaire perpétuel, Claude Gros de Boze, seront aussi censeurs. Ce dernier sera même inspecteur de la librairie en 1745.

LA RÉPRESSION (1700–1714)

Les années 1700 furent riches en libelles jansénistes condamnés et la circulation de livres illicites s'accrut. Il était cependant impensable, pour Pontchartrain, et cela peut surprendre, de confier la censure des livres ecclésiastiques à des religieux; le chancelier allait même jusqu'à trouver quelque qualité aux livres prohibés⁶⁸. Les lettres de cachet pour délits de librairie qui nous sont parvenues seront plus nombreuses après lui: 242 lettres de cachet pour la Bastille seraient parties pendant la Régence et le gouvernement du cardinal de Fleury⁶⁹.

Face à la contrebande, aux infractions et fraudes de tout acabit que Bignon connaît mieux que personne, la direction de la Librairie se dote de divers moyens de répression. Un registre de plus⁷⁰ est destiné à consigner les saisies effectuées pendant son administration. Le chancelier Pontchartrain rappelle régulièrement son neveu à la vigilance, en ces temps troublés de controverse religieuse. Dès 1702, il le presse de l'éclairer sur l'entrée dans le royaume du *Dictionnaire* de Pierre Bayle, ouvrage formellement interdit⁷¹.

⁶⁷ *Bléchet F.* Un poète riomois entre l'Académie et l'Opéra ou l'irrésistible ascension d'Antoine Danchet (1671–1748) // *Éclectisme et cohérences des Lumières. Mélanges offerts à Jean Ehrard / Textes recueillis et publiés par J.-L. Jam.* Paris, 1992. P. 271–279.

⁶⁸ Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV. T. II. P. XXIII et *passim*.

⁶⁹ *Quétel C.* La Bastille, histoire vraie d'une prison légendaire. Paris, 1989. P. 137.

⁷⁰ BNF. Ms. fr. 21931: *Estat des livres arrestez dans les visites faites par les syndic et adjoints*, 1703–1742; P. 210: directives données par Bignon à la communauté des libraires, 1705–1706.

⁷¹ Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV. T. II. P. 799. N 133, 27 septembre 1702.

Nous disposons d'un registre consignait la saisie des ballots de livres, de 1703 à 1742, qui va donc bien au-delà de 1714, date du départ de Pontchartrain et de Bignon. Il mentionne leur provenance, le destinataire et le lieu précis de la saisie: aux portes de Paris, comme la porte de la Conférence, la porte Saint-Denis, le Pont-aux-Choux (adresse du chancelier Voysin de 1714 à 1717), dans les boutiques. Les livres sont, suivant les ordres de Bignon, soit rendus au destinataire, soit confisqués et remis à lui-même ou à la chambre syndicale. Dans la marge, on peut lire que la décision est prise après avis du directeur («Ordre de Monseigneur abbé Bignon» ou «On écrit à Mr. le chancelier»). On relève encore: «renvoyé les livres cy contre en l'hôtel de M. d'Argenson suivant son ordre du 9 septembre 1703»⁷². Plus rarement, on ajoute qu'ils vont être brûlés ou mis au pilon⁷³. Ces ballots, destinés pour la plupart à des professionnels du livre (libraires, auteurs et censeurs, sans oublier relieurs, plieuses et colporteurs arrêtés dans la rue), sont interceptés avec une belle équanimité. Tous les libraires qui comptent dans Paris sont concernés: les Guillaume Cavelier, Étienne Ganeau, Louis Guérin, Antoine-Claude Briasson, Jean-Luc Nyon, Raymond Mazières, Gabriel Martin, François Montalant... Ce dernier se fait adresser, en février 1714, les *Vains efforts des jésuites contre la justification du P. Quesnel* (1713); Bignon donne l'ordre de rendre ses livres au libraire. Un autre colis, venu de Hollande par Rouen et adressé à Montalant, est arrêté le 26 octobre 1714. En cette période de transition, Bignon est encore mentionné à côté de son successeur à la Librairie, La Rochepot⁷⁴. Un autre paquet, venu par le coche d'eau d'Auxerre et adressé à l'abbé Raguét, est arrêté le 23 novembre 1714; il contient six *Historiae Societatis pars quinta... Romae, 1710*. Il est écrit en marge: «Délivré ledit ballot à M. l'Abbé Raguét de l'ordre de Mr de La Rochepot par écrit dudit jour 15 février 1715»⁷⁵. Six mois après le départ de l'abbé Bignon, son successeur faisait donc preuve d'indulgence envers l'un de ses plus fidèles amis.

D'autres ballots, arrêtés, sont adressés à des personnalités telles que Jean Anisson et Claude Rigaud, directeurs successifs de l'Imprimerie royale, le P. René-Joseph Tournemine, Antoine Galland, l'abbé d'Amfreville; ils sont souvent rendus à leur propriétaire mais il règne une certaine confusion sur l'issue de ces affaires.

Les saisies continuent sous ses successeurs, après sa démission en 1714, et plus d'une concerne ses proches, mais le dénouement leur est presque toujours favorable. C'est le cas pour Claude Gros de Boze, destinataire d'un ballot des plus suspects, venu de Bruxelles et saisi par la douane, contenant, entre autres, le *Conte du tonneau* et les *Lettres persanes*. Selon toute probabilité, ces livres, en vertu d'un ordre du comte d'Argenson du 1^{er} août 1723, ont été rendus à de Boze qui appose sa signature sur le registre⁷⁶. Plusieurs personnalités au-dessus

⁷² BNF. Ms. fr. 21931. Fol. 1.

⁷³ Ibid. Fol. 184: à la date de 1719.

⁷⁴ Ibid. Fol. 127.

⁷⁵ Ibid. Fol. 130.

⁷⁶ Ibid. Fol. 200.

de tout soupçon figurent comme destinataires de livres interdits; on remarque parmi eux l'honorable dom Claude de Vic en 1718, le cardinal de Rohan, concerné par une balle venue de Rome, et le confrère journaliste des *Mémoires de Trévoux*, le P. Tournemine: les livres leur sont rendus.

La démission de Pontchartrain, le 2 juillet 1714, marqua un sérieux coup d'arrêt à la carrière de l'abbé, âgé alors de 52 ans⁷⁷. Le 14 juillet suivant, Bignon dut, à son tour, abandonner définitivement les deux bureaux de la direction de la Librairie, la présidence du comité des censeurs et, provisoirement, le Collège royal et le *Journal des sçavans*. C'est Pierre Desmaizeaux qui recueillit les confidences de l'abbé sur cette décision; on a vu qu'il se livrait plus volontiers à un confrère établi à l'étranger, si hérétique fût-il, qu'à l'un de ses amis parisiens: «... Il ne me convenait plus de garder la Librairie, la direction du journal y est attachée et maintenant je ne suis plus chargé de l'un et de l'autre»⁷⁸. Mais il conserva sans difficulté les académies qu'il présidait depuis plus de vingt-cinq ans. 1714 n'entraîna pas de rupture des relations de Bignon avec ses censeurs / académiciens / journalistes, et il continua d'assurer la carrière de la plupart d'entre eux. On le rappela à la direction du *Journal des sçavans* en 1723, il ranima le «cadavre», selon le mot de l'abbé Desfontaines, avec le concours de ce dernier. Tous deux sauvèrent une nouvelle fois le *Journal*. Bignon y exerça un deuxième mandat jusqu'en 1739.

Dans ses fonctions de rédacteur en chef, Bignon se retrouva, à son tour, confronté à la censure, comme l'indique Mathieu Marais à propos de ce nouveau journal; ses auteurs, «qui travaillent sous les ordres de M. l'abbé Bignon, n'en demeurent pas à de simples extraits. Ils critiquent, ils censurent, ils disent leurs avis et parlent hardiment de toute matière. Cela ne peut pas durer»⁷⁹. Conscient des risques encourus, Bignon multiplia les mises en garde à Targny et Andry⁸⁰, dans la recension des ouvrages religieux, et consulta prudemment le garde des sceaux avant l'impression de certains extraits. À peine engagé, Desfontaines fit scandale par ses articles. Bignon tenta de raisonner ce brillant collaborateur dont il appréciait les qualités: il le lut «avec autant de chagrin que de plaisir» et lui reprocha de gâcher «tant de dons» par un «si mauvais usage». À regret, il dut le sacrifier et s'en sépara définitivement en avril 1727, sur ordre du garde des sceaux⁸¹. Ce dernier interdit que Desfontaines fût payé pour ses «extraits», mais Andry organisa une collecte pour lui et Bignon laissa faire, s'émerveillant de la générosité de ses journalistes.

⁷⁷ Bléchet F. Bignon // Dictionnaire encyclopédique du livre / Sous la dir. de P. Fouché, D. Péchoin, P. Schuwer, et la responsabilité scientifique de J.-D. Mellot, A. Nave et M. Poulain. Paris, 2002. T. I. P. 330-333.

⁷⁸ British Museum. Ms. Add. 4281. Fol. 284: lettre de Bignon à Desmaizeaux.

⁷⁹ Marais M. Op. cit. T. II. P. 762.

⁸⁰ «Rien ne sauroit me faire passer par-dessus la répugnance que j'aurois à voir notre *Journal* infecté de propositions si dignes de la censure» (BNF. Ms. fr. 22234, 22 septembre 1727).

⁸¹ Bléchet F. Un précurseur de l'*Encyclopédie* au service de l'État: l'abbé Bignon // L'Encyclopédisme, actes du colloque de Caen, 12-16 janvier 1987 / Sous la dir. d'A. Becq. Paris, 1991. P. 407.

CENSURE ET BIBLIOTHÈQUE DU ROI:
«SOUVENT LE PLUS MAUVAIS LIVRE NE LAISSE PAS
DE NOUS ESTRE NÉCESSAIRE»⁸²

La traversée du désert fut brève car Bignon put bientôt compter sur l'appui du Régent, qui relaya celui de Pontchartrain. Ils lancèrent ensemble, en 1716 et sur une idée du président de l'Académie des sciences — Bignon — approuvée avec enthousiasme par le duc d'Orléans, l'enquête nationale dite du Régent pour dénombrer les ressources naturelles et richesses du pays en mines, minéraux, ainsi que les pratiques artisanales et techniques, les savoir-faire des métiers. Bignon mit au point une «lettre circulaire»⁸³, selon ses propres termes, très semblable à celle élaborée pour l'enquête sur la librairie, seize ans plus tôt, qu'il envoya comme cette dernière à tous les intendants. Ces administrateurs zélés, une fois de plus, répondirent à l'appel: avec les questionnaires dûment remplis, une quantité d'échantillons de minéraux, de plantes, de graines, de dessins géographiques et techniques affluèrent des provinces françaises; l'enquête est cependant très peu exploitée à ce jour. On dispose ainsi d'une étude fondatrice de l'économie politique, d'un travail précurseur issu en droite ligne de Vauban et annonçant Quesnay.

Le Régent confie à Bignon la Bibliothèque du Roi en 1719. Autant, comme directeur de la Librairie, il nous apparaît partagé, perplexe, nuancé, autant pour le bibliothécaire du Roi tout devient simple. Il ne poursuit qu'un seul but: tout doit entrer à la bibliothèque et l'on est loin du compte⁸⁴. L'ancien directeur de la Librairie s'intéresse désormais au livre clandestin, interdit, pamphlet ou libelle séditieux, dans le seul but d'en assurer l'entrée à la Bibliothèque royale. Il lui faut réformer l'encadrement législatif du dépôt légal pour que les mauvais livres ne lui échappent pas; enfin le règlement du 11 octobre 1720 comporte des dispositions très rigoureuses. En conséquence, on envoie spontanément à la bibliothèque des publications de toute sorte et pour certaines pittoresques, comme ces chansons du Pont-Neuf que l'abbé juge «pitoyables», envoyées par un certain Léveillé⁸⁵.

Les exemplaires requis des livres illicites poursuivis, voués à lacération, au «brûlement» ou au pilon, doivent être obligatoirement déposés avant de subir leur funeste destin. Pour le bibliothécaire, c'est aux historiens qu'il reviendra de réévaluer leur validité, dans les siècles à venir, toutes considérations que bien des contemporains ne comprennent pas et ne peuvent tolérer. Bignon emploie toutes les ressources de la pédagogie: «Il n'en est pas de la Bibliothèque du Roy

⁸² Lettre de Bignon à Jacques-Philippe Laugier de Tassy, commissaire du Roi à Amsterdam, 28 décembre 1728, cf. *Bléchet F., Bots H. Le commerce du livre entre la Hollande et la Bibliothèque du Roi (1694–1730) // Documentatieblad werkgroep achttiende eeuw. 1989. Vol. XXI / 1. P. 33.*

⁸³ Reproduite dans: *Règlement, usages et science dans la France de l'absolutisme. Ch. 5. P. 59.*

⁸⁴ BNF. Ms. fr. 22076, pièce 46: ordre du duc d'Orléans aux commis des Fermes d'envoyer directement ballots et paquets de livres à la Bibliothèque du Roi, 9 septembre 1720.

⁸⁵ *Ibid.* Pièce 50: 9 août 1727.

comme de celle de M. le comte de Toulouse ou de M. de Valincour qui sans doute seroient fâchez d'acquérir d'autres livres que les bons. Pour nous, il n'y a presque point de choix à faire. Souvent le plus mauvais livre ne laisse pas de nous estre nécessaire».

C'est alors que, malgré sa détermination, la permissivité dont il avait fait preuve dans l'autorisation d'imprimer se retourne contre lui, et qu'il se retrouve face à une «marée» pré-philosophique d'éditions qui n'entrent pas à la Bibliothèque du Roi: éditions sous permission tacite ou bénéficiant seulement d'une autorisation orale et contrefaçons. Bignon, bibliothécaire, pourchasse sans relâche la permission tacite qu'il a inventée, en tant que directeur de la Librairie, mais, malheureusement pour nous, il ne se livre à aucun commentaire sur cette nouvelle pratique, ni sur ses avantages ni sur ses inconvénients. Désormais il ne cessera de réclamer tous les livres qui échappent à la bibliothèque. Voici l'un des nombreux mémoires qu'il rédige à cette fin, celui-ci destiné au garde des sceaux Fleuriau d'Armenonville⁸⁶:

A Monseigneur le garde des sceaux, Mémoire.

Il se débite de temps en tems [*sic*] dans le royaume différents livres qui y sont imprimés sans privilèges du grand sceau ou sans permissions des magistrats mais seulement avec des permissions tacites. C'est ce qu'on a vû en autres [*sic*] par rap[p]ort aux lettres de Me de Sévigné, aux œuvres de La Fontaine, au poème de Cartouche et au *Dictionnaire néologique* et en dernier lieu aux Mémoires de M. l'abbé de Choisy dont on dit que le sr Camusat est l'éditeur. Comme, parmi ces ouvrages, il s'en trouve qui sont fort curieux et que d'ailleurs ils sont imprimés dans le royaume, il paroît d'autant moins juste que la Bibliothèque du Roy en soit privée [*barré*] que ceux qui se chargent de l'impression se trouveront encor trop heureux qu'il ne leur en coûte que le présent de la Bibliothèque sans aucun frais de sceaux. Monseigneur le garde des sceaux est très humblement sup[p]plié de vouloir donner quelque attention à ce mémoire et d'ordonner tant aux auteurs qu'aux libraires de remettre à la Bibliothèque de Sa Majesté les exemplaires de ce qu'ils imprimeront et même de ce qu'ils ont déjà imprimé comme s'ils en avoient obtenu un privilège⁸⁷.

Après 1714, Bignon établit de bons rapports avec les nouveaux responsables de la Librairie — le garde des sceaux Germain-Louis Chauvelin, qui succède à Joseph-Jean-Baptiste Fleuriau d'Armenonville, Antoine Rouillé, inspecteur général de la librairie, Jean-François Maboul, maître des requêtes, René Hérault, lieutenant général de police de Paris —, et il quémante indifféremment auprès d'eux une faveur, une intervention, dans l'intérêt des académies et de la Bibliothèque du Roi. En 1730, il fait pression sur Chauvelin pour que Danchet, son homme de confiance («l'innocent Danchet», selon Desfontaines), soit choisi comme censeur⁸⁸.

⁸⁶ Fleuriau n'est pas nommé mais il remit les sceaux le 13 juillet 1727 et la lettre est datée du 6 de ce mois.

⁸⁷ BNF. Archives 54. Pièce 123: copie, de l'écriture de Jourdain; dans la marge: «Bibliothèque du Roy, 6 juillet 1727».

⁸⁸ Les Presses grises. Op. cit. P. 69.

Depuis 1704, la chambre syndicale des libraires parisiens apportait les livres à la bibliothèque puis, en 1724, Bignon donna procuration à l'abbé Jacques-Nicolas Jourdain, son secrétaire, pour aller retirer lui-même les livres à la chambre. Plus que d'une révolution, il s'agissait de renouer avec la tradition puisque l'illustre Nicolas Clément procédait déjà ainsi⁸⁹. Il entra dans les fonctions de Jourdain de tenir, pour la Bibliothèque du Roi, un registre des acquisitions «autres que des livres de privilège», où, à partir de juillet 1724, il inscrivait, en toutes lettres, les livres imprimés avec permission tacite et les contrefaçons⁹⁰. Il est piquant de rappeler que Jourdain entretenait, pendant plus de vingt ans, une correspondance étonnante avec Jean-Jacques Wetstein, cousin des libraires d'Amsterdam, qui lui proposait toute la gamme des infractions aux règlements: soit de lui procurer des textes à contrefaire en Hollande, soit de faire imprimer à Paris «sans nom d'auteur, etc. [*sic*]», un ouvrage polémique contre Burman⁹¹. Une sorte de correspondance parallèle à celle qu'avait tenue son supérieur avec Jean-Louis de Lorme.

DÉROGATIONS ET CONFISCATIONS AU PROFIT DE LA BIBLIOTHÈQUE DU ROI

Désormais, les seules dérogations que demande Bignon, par exemple une dispense de visite pour des ballots destinés à la bibliothèque, relèvent de l'intérêt supérieur. Quand, le 1^{er} septembre 1730, il demande au maître des requêtes Jacques-Bernard Chauvelin, de laisser passer à la douane les manuscrits de l'abbaye de Saint-Martial de Limoges et de les dispenser du transport à la chambre syndicale et d'ouverture, c'est pour la bonne cause: ils sont en très mauvais état, «rongés par les vers», et doivent être transportés de toute urgence à la bibliothèque⁹². Une vaste campagne de restauration et de reliure est lancée pour laquelle la présence du relieur Guillaume Mercier auprès de l'abbé est indispensable; or, s'il est élu prochainement par sa communauté, il sera moins disponible. En conséquence, Bignon n'hésite pas à demander au lieutenant de police Hérault de faire pression sur ces élections. Cette collection exceptionnelle est aujourd'hui l'un des trésors de la Bibliothèque nationale de France. On reconnaît de loin, sur les rayons, les manuscrits de Saint-Martial à leur maroquin bleu foncé, qui

⁸⁹ BNF. Ms. fr. 22023: *Registre des livres de privilège retirés de la chambre syndicale des libraires pour la Bibliothèque du Roy depuis le mois de septembre 1724* (erreur de date, le registre commence en fait le 7 novembre 1724; la première page porte copie de la procuration donnée par Bignon à Jourdain pour retirer les livres, envoyée aux syndic et adjoints qui ont signé).

⁹⁰ La Bibliothèque du Roi au début du règne de Louis XV: journal de l'abbé Jourdain, secrétaire de la Bibliothèque / Publ. par H. Omont // *Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Île-de-France*. 1893. T. XX. P. 207–286.

⁹¹ *Bléchet F., Bots H.* La librairie hollandaise et la Bibliothèque du Roi (1731–1752) // *Documentatieblad werkgroep achttiende eeuw*. 1991. Vol. XXIII. P. 134.

⁹² Les manuscrits arrivèrent à la bibliothèque le 5 septembre 1730 (BNF. Ms. fr. 22235).

tranche sur le rouge éclatant, «couleur immortelle» choisie d'ordinaire pour l'ensemble des reliures.

Quant aux perquisitions, confiscations et saisies, Bignon s'accorde avec les autorités sur le fait qu'on ne doit pas permettre «au public» de se procurer ces mauvais livres; en revanche, ils doivent être absolument déposés à la Bibliothèque du Roi, avant la destruction prescrite sans relâche par le garde des sceaux. Bignon devra revenir régulièrement à la charge pour obtenir que le fruit des perquisitions et saisies soit conservé à la bibliothèque et défendre cette opinion qui paraissait à beaucoup trop avancée. Il multiplie les réclamations de toute nature auprès du garde sceaux Chauvelin: un «ample magasin de livres hérétiques» se trouverait dans une tour à Nîmes. «Quoique nous en ayons déjà quelques uns de ce genre, il nous en manque encore beaucoup davantage qu'il seroit pourtant à propos que nous eussions, parce qu'il arrive souvent que les théologiens viennent nous les demander de les compléter, pour y répondre dans leurs ouvrages. Comme ce sont des livres de nature à ne pas permettre la vente au public, je crois pouvoir les réclamer pour notre dépôt et j'ose donc vous sup[p]lier de nous les procurer»⁹³.

Le lieutenant de police René Hérault effectuait, avant Joseph d'Hémery, des perquisitions à domicile avec ses inspecteurs, en exécution de l'arrêt du Conseil du 27 décembre 1726⁹⁴. L'abbé Jourdain mentionna ainsi des livres acquis par la Bibliothèque du Roi, à la suite d'une perquisition de ce genre effectuée chez un prêtre du «parti janséniste», l'abbé Charles-Robert Berthier, qui entra à la Bastille le 16 novembre 1726 pour avoir composé, imprimé et distribué des pamphlets⁹⁵. Ce mauvais sujet était aussi accusé de se promener dans Paris en habit laïc et d'user de fausses identités; on lui reprochait encore de faire passer en Hollande argent et «autres secours», de répandre les mémoires de l'archevêque d'Utrecht et d'avoir établi une «pépinière de jansénistes dans la communauté de Saint-Hytaire»⁹⁶. Un arrêt du Conseil ordonna le 27 décembre 1726 que ses papiers fussent portés à la Bibliothèque du Roi⁹⁷.

On perquisitionna aussi chez l'abbé Nicolas Petitpied, docteur de Sorbonne, mais disciple de Quesnel et auteur de remontrances jansénistes. Son arrestation manquée par le commissaire de Courcy, le 18 juin 1728, divertit les contemporains: «Il se sauva des mains de l'exempt Tapin qui s'amusoit à caresser un petit chat qui s'étoit jetté dans une des boetes que l'on dispoit pour mettre les livres». Petitpied disparut derrière une tapisserie qui dissimulait une porte don-

⁹³ Le 6 juillet 1730 (BNF. Ms. fr. 22235. Fol. 31).

⁹⁴ BNF. Ms. fr. 22062. Pièce 43: Fontainebleau, 8 septembre 1725.

⁹⁵ *Funck-Brentano F.* Les Lettres de cachet à Paris: étude, suivie d'une liste des prisonniers de la Bastille (1659–1789). Paris, 1903. P. 227. Pièces 2970–2971.

⁹⁶ BNF. Nouv. acq. fr. 1891. Fol. 172.

⁹⁷ BNF. Ms. fr. 22077. Pièce 55: *Arrest du Conseil d'Etat du Roy qui ordonne que les papiers trouvez sous les scellez des nommez Berthier et d'Ille seront portez à la Bibliothèque de Sa Majesté, etc., Versailles, 27 décembre 1726.* Paris: Imprimerie royale, 1726.

nant sur la maison voisine⁹⁸. Il s'enfuit en Hollande, et en conséquence de l'arrêt du 4 septembre 1728, on remit ses papiers, manuscrits et imprimés, à l'abbé de Targny, mais Jourdain n'en donne pas l'inventaire⁹⁹. Le roi permit à Petitpied de revenir en France en 1732.

L'AFFAIRE DES *LETTRES DE M^{ME} DE SÉVIGNÉ*

Douze ans après son départ de la direction de la Librairie, Bignon apparaissait encore, pour beaucoup, comme le dernier recours: ce fut le cas dans l'affaire des premières éditions des *Lettres de M^{me} de Sévigné*. Trois éditions parurent à la même date, 1726, sans adresse ni nom d'imprimeur. L'une d'entre elles avait été publiée clandestinement, à Rouen, par Nicolas Thiriot, ami, factotum et âme damnée de Voltaire — édition effectuée sans autorisation de la famille, d'après un manuscrit prêté par l'abbé d'Amfreville¹⁰⁰. Le *Mercur* de mai 1726 fit pourtant l'éloge de ces deux volumes «furtivement imprimés»¹⁰¹: «On a su que c'est M. Thiriot qui a donné ces lettres au public. Elles ont été reçues fort agréablement <...>. C'est un modèle et peut-être ce qu'il y a de plus parfait en ce genre».

Émile Picot indique que M^{me} de Simiane, petite-fille de M^{me} de Sévigné, s'en plaignit auprès de Bignon, mais nous n'avons pas trace de cette lettre, dont il ne donne pas la référence. En revanche, nous avons retrouvé la réponse de Bignon, du 18 mars 1726¹⁰²:

Madame la marquise de Simiane à Aix.

La lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 20^e du mois passé est arrivée icy pendant ces jours gras que j'avois été passer à la campagne, et je la retrouvay hier à mon retour. Je l'ay reçüe avec toute la reconnaissance que mérite la nouvelle marque de confiance que vous me faites l'honneur de m'y donner, mais en même tems je vois avec douleur que je ne pour[r]ay pas vous être d'un grand secours dans l'affaire dont il s'agit. Je reconnois cependant que vous avez grande raison d'être affligée de l'impression des *Lettres de Madame de Sévigné*. Quelque honneur qu'elle puisse faire à sa mémoire, il y a quelques [*beaucoup* barré] endroits qui peuvent faire de la peine à des gens pour qui vous avés sans doute beaucoup d'égards. Le plus grand mal est qu'on a fait tout ce qu'on a pô pour persuader le public que ce livre luy étoit donné de vôtre aveu: je n'en connois ni l'imprimeur ni l'éditeur et il sera très mal aisé de les connoître de manière à être en droit de leur infliger la peine que méritent non seulement

⁹⁸ BNF. Nouv. acq. fr. 1891. Fol. 195.

⁹⁹ La Bibliothèque du Roi au début du règne de Louis XV. N 104. P. 235, note 88.

¹⁰⁰ [Picot É., Lacombe P.] Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu M. le baron James de Rothschild. Paris, 1886. T. II. P. 372: *Lettres de M^{me} de Sévigné*, [s. l., Rouen.] 1726, 2 vol. in-12.

¹⁰¹ *Lettres de M^{me} de Sévigné, de sa famille et de ses amis / Recueillies et annotées* par L.-J.-N. Monmerqué. Paris, 1862. T. XI. P. 438.

¹⁰² BNF. Ms. fr. 22234. Fol. 19–19 v^o.

leur témérité mais encor plus leur impudence de vous imputer pareille chose: il m'a été mandé qu'on avoit été pour supprimer l'édition chés le libraire qui en avoit vendu quelques exemplaires, mais qu'il ne s'y en étoit pas trouvé un seul: ce que je puis encor vous dire, en connoisseur d'imprimerie, c'est que le livre n'a pas été imprimé à Paris. Si c'est à Rouen, ou Orléans ou ailleurs, c'est ce que les recherches les plus exactes auront peine à découvrir. J'en parleray cependant à M. le Garde des Sceaux et je tacheray d'exciter encor son zèle sur une chose qui vous tient si justement et si fort au cœur.

Vous scavés depuis combien de tems, et avec quelle respectueuse passion je suis, Madame...

Dans cette lettre mesurée de fin diplomate, Bignon se montrait compatissant envers sa correspondante mais l'avertissait d'emblée qu'il ne pourrait lui être «d'un grand secours». Il l'invitait à relativiser: le mal est limité et les dommages ne sont pas si grands. Certes, les coupables mériteraient d'être punis mais, pour cela, il faudrait les trouver; si lui-même, «en connoisseur d'imprimerie», ne pouvait dire qui était l'imprimeur, où le livre avait été imprimé, qui donc le pourrait? Gageons qu'il en savait un peu plus qu'il ne voulait bien le dire à la marquise. Picot signale à tort que Bignon était alors chargé des affaires de la Librairie, ce qui n'est plus vrai depuis 1714, mais on peut considérer, comme lui, qu'il y avait gardé un certain pouvoir et qu'il devait connaître les protagonistes de cette publication. D'ailleurs, la lettre édulcorée adressée à M^{me} de Simiane n'est pas suivie, dans l'enregistrement de sa correspondance, d'autres lettres pressantes au garde des sceaux, comme il le fera pour *La Henriade*¹⁰³. L'affaire ne revêtait sans doute pas la même importance. C'est pourquoi il avouait sans fausse honte son impuissance: malgré son expertise, il ne pouvait rien faire.

Protégé par Marguerite-Madeleine Du Moutier, présidente de Bernières, épouse d'un magistrat au parlement de Rouen et amie très intime de Voltaire, Thiriot vivait agréablement, en ces années 1725, au château de La Rivière-Bourdet que la présidente possédait aux environs de Rouen¹⁰⁴. Cette ville offrait une logistique idéale pour mener à bien une entreprise d'édition illicite: facilités matérielles et proximité des libraires. Il faut rappeler que Thiriot était un habile homme aux multiples talents, capable de tous les mauvais coups mais grand amateur de livres. Il savait les trouver: il fournissait son illustre ami en livres hollandais, italiens (même la Bibliothèque du Roi acceptait ceux qu'il lui envoyait), et il montre ici qu'il savait aussi les faire fabriquer clandestinement. Bientôt, il se rendrait à Londres sur les traces de Voltaire pour lui servir d'intermédiaire auprès des libraires et manifester son savoir-faire dans l'édition des sulfureuses *Lettres anglaises* devenues *philosophiques*.

¹⁰³ Bléchet F. Deux lettres inédites de l'abbé Bignon à Voltaire.

¹⁰⁴ Pomeau R. Voltaire en son temps. I. D'Arouet à Voltaire, 1694–1734. Oxford; Paris, 1985. P. 167.

* * *

Aux marges de la transgression, ayant la haute main sur la censure, l'abbé Jean-Paul Bignon a disposé d'un pouvoir sans équivalent, ni avant, ni après lui. En digne héritier d'une famille de magistrats, il réussit à introduire une certaine clarté dans l'imbroglio juridique de la Librairie. Il unifie la législation et prépare l'adoption, en 1723, d'un nouveau code pragmatique, résultat de ses quinze années d'exercice à la Librairie, et plus tolérant que les règlements précédents. Autant qu'à la censure, il se montre attentif au livre-marchandise, et les enjeux économiques et commerciaux ne lui échappent pas. Il encourage à la lutte dynamique contre la concurrence étrangère, celle surtout de Hollande, «magasin de l'Univers» selon l'expression de Voltaire, et non pas au repli devant ce désastre. «L'impression est une manufacture comme celle des draps <...> On ne fait nul[le] part d'aussy beau papier qu'en France, les caractères y sont meilleurs que partout ailleurs et l'imprimerie d'Hollande qui a eu autrefois tant de réputation est fort tombée»¹⁰⁵. Il y contribuera dans deux secteurs, le beau livre et l'édition savante, demi-succès contre une certaine médiocrité de la librairie française.

C'est un réformateur au long terme, auteur de réformes qui durent bien après lui, que ce soit pour la Librairie, les académies ou la Bibliothèque du Roi. C'est un homme de l'ordre, du registre, de la classification, de l'inventaire, un précurseur pour l'*Encyclopédie* et pour l'archivistique. C'est aussi un homme de compromis, qui sait accorder et inventer des dérogations, en un mot composer avec les lois dont il est l'auteur. Il est expert en passe-droit et se meut dans l'univers de la clandestinité avec beaucoup d'aisance. Il invente de nouvelles règles pour la communauté des savants, en homme des Lumières. Mais ne nous y trompons pas: c'est en homme politique, en homme de pouvoir, qu'il a voulu exercer ses fonctions.

Франсуаза Блеше

Власть и цензура в Королевской палате книгопечатания и книготорговли и Королевской библиотеке: правила и исключения

Человек, возглавлявший с 22 сентября 1699 г. Королевскую палату книгопечатания, книготорговли и цензуры, не был новичком в этом деле. При этом его назначение не было оформлено никаким официальным актом. В свои 37 лет аббат Биньон без особого шума руководил множеством ведомств, и хотя его полномочия порой были неофициальными, они давали ему немалую власть. На протяжении 15 лет, вплоть до 14 июля 1714 г. именно он решал судьбы книг, как уже изданных, так и предназначенных к печати. Он смягчил и сделал более гибкой существовавшую регламентацию, усовершенствовал надзор, реор-

¹⁰⁵ Lettre de Bignon à Baritault, «chargé de l'imprimerie à Bordeaux» (Bibl. mun. de Bordeaux. Ms. 828 (XXXVIII) [S. d.]).

ганизовал предварительную и репрессивную цензуру, изобрел формулу негласного разрешения на печать (*permission tacite*). После того, как он вошел в состав Королевского совета, было создано особое бюро, обеспечивавшее связь между Палатой книгопечатания и книготорговли и ведомством канцлера. Аббат Биньон лично подбирал королевских цензоров и определял их специализацию. После ухода с поста руководителя Палаты он еще не раз вмешивался в ее дела, в частности, в связи с подпольным изданием *Lettres de M^{me} de Sévigné*, осуществленным в 1726 г. в Руане Никола Тирио, близким другом Вольтера.

Новый этап жизни аббата Биньона начался в 1719 г., когда он был назначен королевским библиотекарем. На протяжении 22 лет он заботился о непрерывном пополнении фондов Королевской библиотеки и налаживании системы обязательного экземпляра. По его замыслу библиотека должна была получать абсолютно все книги, в том числе запрещенные, еретические, подрывные, изданные нелегально. Наладив отношения между цензорами, академиками, авторами *Journal des sçavans* и библиотекой, он вдохнул новую жизнь в «литературную республику». Его нововведения оказались успешными и просуществовали гораздо дольше его самого. Он постоянно тяготел к порядку, системе, но при этом был человеком компромиссным и терпимым. Мастер обходных маневров, он умел оставаться в тени и не чуждался вольнодумцев.

Твердость в делах правления не мешала ему вести поразительно бурную личную жизнь, а также втайне поддерживать отношения с изгнанными из Франции гугенотами, радикальными янсенистами и диссидентствующими иезуитами.

JEAN-DOMINIQUE MELLOT

«POLICE MODERNE» ET POLICE DU LIVRE,
DU «SIÈCLE DE LOUIS XIV»
AU SIÈCLE DES LUMIÈRES:
POINTS DE DÉPART ET ÉVOLUTION,
PRINCIPALEMENT À PARIS

Quelle meilleure preuve de l'importance quantitative et qualitative des enjeux d'un média comme le livre et l'imprimé, au sein d'une société, que l'existence d'une «police du livre» ou «police de la librairie»? est-on tenté de poser en axiome. La tentation n'est cependant pas moins grande de réduire la portée de cette proposition en faisant de la police du livre le simple complément nécessaire, voire le simple «bras séculier», de la censure des livres imprimés dans le cadre d'un Ancien Régime absolutiste. La police du livre en France ne serait dans cette perspective que l'un des rouages d'un seul et même système autoritaire et centralisé de surveillance du monde de l'imprimé, dont la censure constituerait la véritable pièce maîtresse.

L'histoire particulière de la censure, celle surtout de la police, le contexte notamment dans lequel émerge ce que l'on a coutume de désigner en France comme la «police moderne»¹, avec les caractéristiques générales qui sont encore partiellement les siennes, nous invitent toutefois à moins d'assurance. Si à première vue l'accroissement des moyens et des pouvoirs de police, et singulièrement de la police de la librairie dans la capitale, paraît lié chronologiquement (en particulier sous le règne de Louis XIV) à la montée en puissance de la censure préalable et centralisée ainsi que de la répression de l'écrit et de l'opinion, l'ex-

© Jean-Dominique Mellot, 2008

¹ Voir notamment sur ce point *Napoli P.* Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société. Paris, 2003. Encore que cet auteur ait choisi de ne se centrer que sur une signification précise de «police», «à savoir le gouvernement des hommes et des choses» (p. 11), dans la lignée du concept de «gouvernementalité» cerné par Michel Foucault. Et ce en n'envisageant qu'accessoirement deux aspects pourtant fondamentaux du point de vue historique: d'une part l'articulation avec la fonction judiciaire et d'autre part le mode d'action policière et ses moyens.

périence policière telle qu'elle se développe dès le règne du Roi-Soleil, puis surtout au siècle des Lumières, présente des traits propres. Ces traits, annonciateurs ou non de l'époque contemporaine, ne cadrent pas nécessairement avec le paradigme d'une police développée à l'ombre de la censure. En envisageant sur plusieurs siècles l'évolution et le contenu de l'expérience policière et, le cas échéant, son articulation avec l'institution censoriale, dans le paysage institutionnel de l'Ancien Régime français, la présente contribution s'efforcera de discerner les enjeux qui ont déterminé l'attention spécifique portée au livre, à l'imprimé et à l'opinion.

QUELLE(S) POLICE(S) EN GÉNÉRAL
ET QUELLE(S) POLICE(S) POUR LE LIVRE
ET L'IMPRIMÉ EN FRANCE
AUX XVI^e ET XVII^e SIÈCLES?

Jusqu'à la seconde moitié du XVII^e siècle, si le mot police est couramment utilisé, il faut relever après bien des auteurs que c'est au sens ancien, et proche de l'étymologie (du grec *politeia*, «constitution politique d'une cité»), de «gouvernement, ordre ou régime établi pour tel domaine ou telle activité». Autrement dit dans une acception beaucoup plus large qu'aujourd'hui, où la signification la plus usitée est celle d'«ensemble d'organes et d'institutions assurant le maintien de l'ordre public [à savoir *police administrative*] et permettant de réprimer les infractions, délits et crimes [c'est-à-dire *police judiciaire*]». Mais cet écart sémantique n'implique pas qu'une ou plusieurs polices n'existent pas alors au sens actuel. Non seulement des services et une activité de police sont en effet déjà observables, mais, bien plus, le livre et l'imprimé eux-mêmes ont pu en être l'objet, tant à Paris qu'en province.

Le problème, dans la capitale surtout, c'est que jusqu'aux années 1660, l'activité policière, en matière de librairie en particulier, est exercée par des instances bien distinctes, voire concurrentes, qui toutes tirent leur légitimité d'action d'un pouvoir à caractère judiciaire, selon un modèle médiéval de «justiciabilité» bien ancré («Juger c'est gouverner», rappelle l'adage²): l'université et son personnel (huissiers-messagers notamment); les justices seigneuriales éventuellement (par exemple l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, dans l'extramuros parisien); le parlement de Paris avec ses conseillers, greffiers, huissiers et sergents; la prévôté et vicomté de Paris, autrement dit le Châtelet, avec ses lieutenants, ses commissaires enquêteurs, ses huissiers et sergents; les quelques centaines d'archers du guet de Paris; et enfin, à partir de 1618 officiellement, la communauté des métiers du livre parisiens. Or il est patent que, pour s'acquitter

² En mars 1498 (1499 nouveau style), le texte de l'ordonnance de Blois proclame encore que «la justice est la première & plus digne des vertus cardinales, aussi est-elle la principale et plus nécessaire partie de toutes monarchies, royaumes et principaultez bien conduictes & ordonnees» (Les Ordonnances royaulx nouvellement publiees a Paris de par le roy Loys XII... [Paris, 1499] F. sig. A2, BNF. Rés. F. 328).

des opérations les plus ordinaires prévues par les lois et règlements, telles que «visites» et ouvertures de ballots de livres, le personnel mis au service des juridictions, comme d'ailleurs le personnel universitaire, n'est pas adapté à la rigueur requise. À plus forte raison en temps de crise. Ainsi à la fin du règne de François I^{er}, puis sous Henri II et pendant les guerres de Religion, durant la Ligue en particulier, au moment de la plus forte mobilisation contre le protestantisme, le parlement de Paris, le Châtelet et la Sorbonne eux-mêmes s'avouent fréquemment débordés par l'ampleur de la tâche³. On les voit même contraints de s'en remettre, pour traquer les réformés, leur propagande et leurs livres, au zèle voire aux abus de pouvoir des autorités municipales et de la garde bourgeoise. Si bien que, paradoxalement pour une instance telle que le parlement (marqué par le formalisme judiciaire et la procédure écrite), la police du livre ne peut alors aboutir que si elle est relayée par le dévouement plus ou moins éclairé — voire l'arbitraire — de citoyens dont la maîtrise de l'univers du livre et des formes écrites est loin d'être toujours le point fort...

Paradoxalement encore, le roi de France — dont Paris est la capitale officielle bien qu'il n'y réside que fort peu: un jour sur onze, a-t-on calculé pour François I^{er} —, censé pouvoir exercer sa «justice retenue» (et partant sa police) comme il l'entend, ne dispose pour cela d'aucun moyen d'action direct sur le plan institutionnel. La densité et la rigueur croissantes de sa législation et le contrôle grandissant qu'il exerce sur l'édition à travers l'octroi des «privileges de librairie» (dont la Grande Chancellerie royale s'est définitivement réservé le monopole à partir de 1566) rendent ce paradoxe d'autant plus criant. En somme, Paris est alors la ville de France où le rapport des forces et des pouvoirs en présence est le moins favorable à la royauté et où, du fait d'un mouvement de centralisation déjà bien engagé, la monarchie aurait pourtant le plus grand besoin d'imposer sa police, à tous les sens du terme, au livre et à ses métiers.

En province, en particulier dans les villes sièges de parlement, la situation apparaît bien différente lorsqu'elle nous est connue — l'historiographie contemporaine s'y étant encore trop peu intéressée. Quand on examine par exemple le cas de Rouen, capitale de la province de Normandie, qui a été un peu plus étudié que d'autres⁴, on s'aperçoit que le parlement de la province joue, aux

³ Cf. *Maugis É.* Histoire du parlement de Paris. Paris, 1913–1916, 3 vol., notamment T. 2. P. 340 et suivantes; *Pallier D.* Recherches sur l'imprimerie à Paris pendant la Ligue (1585–1594). Genève, 1976, *passim*. P. 38 par exemple.

⁴ Depuis l'*Histoire du parlement de Normandie* d'Amable-Pierre Floquet (Rouen, 1840–1842, 7 vol.) et les *Glanes historiques normandes à travers les XV^e, XVI^e, XVII^e et XVIII^e siècles* d'Édouard-Hippolyte Gosselin (Rouen, 1869), l'historiographie du parlement de Normandie s'est enrichie récemment de plusieurs ouvrages importants, dans le cadre notamment du V^e centenaire du palais du parlement en 1999: *Du Parlement de Normandie à la cour d'appel de Rouen, 1499–1999* / Sous la dir. de N. Plantrou. Rouen, 1999; [*Caude É.*] *Le Parlement de Normandie, 1499–1999*. Paris, 1999; *Les Parlements et la vie de la cité (XVI^e–XVIII^e siècle)* / Sous la dir. d'O. Chaline d'Y. Sassié. Rouen, 2004. Concernant la tutelle plutôt bienveillante et stimulante de ce parlement sur la librairie au XVII^e siècle, voir en particulier *Mellot J.-D.* L'Édition rouennaise et ses marchés (vers 1600 – vers 1730): dynamisme provincial et centralisme parisien, Paris; Genève, 1998, notamment p. 102–109.

XVI^e et XVII^e siècles, un rôle de surveillance et de police non négligeable, en matière de librairie notamment. Dans la plupart des affaires intéressant le livre et ses métiers, à Rouen, le parlement intervient avec une célérité surprenante pour nous qui sommes accoutumés à la dénonciation rituelle des lenteurs de la justice. Et il est à remarquer que la cour souveraine fait le moins possible appel, en ce domaine, aux services des juridictions subalternes (bailliages et présidiaux) ou aux forces de maintien de l'ordre («guet de Rouen» permanent et «compagnies bourgeoises» de la ville, autrement dit milice non permanente), dont il a pourtant la réquisition. Pour tout ce qui regarde la production et la diffusion de l'imprimé, le parlement de Normandie agit en général directement et à travers son propre personnel, qui n'a cependant rien de pléthorique: de 5 à 23 huissiers et de 2 à 20 greffiers, plus quelques secrétaires et commis, entre 1499 et 1789. Notifications de décisions de justice ou de règlements, visites, enquêtes, perquisitions, saisies et arrestations, voire «brûlements de livres» condamnés par arrêts de la cour de parlement, toutes ces opérations sont effectuées par un personnel judiciaire familial de l'écrit et dans des formes strictement juridiques. Et cela même lorsque les huissiers interviennent «d'office», sans être saisis d'aucune plainte ni requête — ce qui est en principe assez rare sous l'Ancien Régime. Lorsque le parlement n'agit pas directement, il s'en remet à la communauté des imprimeurs et libraires de Rouen, instituée à sa propre initiative dès 1579 — soit une quarantaine d'années avant la corporation parisienne —, et sur laquelle il exerce ses prérogatives de «police des métiers». Au XVI^e siècle et durant la majeure partie du XVII^e, cette police, comme la désignent eux-mêmes les magistrats du parlement, donne apparemment pleine satisfaction. En matière de librairie, on conçoit donc qu'un parlement de province puisse n'avoir aucune leçon à recevoir de la capitale, où pendant longtemps règne une confusion des pouvoirs et des instances.

Au cours du XVII^e siècle, il est vrai, la situation à Paris tend à évoluer au profit de l'autorité royale. Tout d'abord, avec la naissance officielle de la communauté des libraires, imprimeurs et relieurs de Paris, en 1618, et la fin de la tutelle plus ou moins illusoire qu'exerçait sur ces professions l'université, un mouvement de responsabilisation des métiers du livre s'amorce tant bien que mal, laissant espérer la constitution d'un réseau corporatif policé, censé secondariser l'action du Châtelet de Paris. En parallèle, et avant même le ministériat du cardinal de Richelieu, un consensus des élites politiques se dégage autour d'un renforcement de l'autorité royale en matière de librairie: en témoigne le *Code Michau* (1629), adopté à l'instigation du garde des sceaux Michel de Marillac, ex-ligueur et lié au parti dévot adversaire de Richelieu. Le principe d'une censure royale préventive et centralisée se trouve alors confirmé et définitivement lié au régime du privilège de librairie. Enfin, dès le début des années 1630, sous l'impulsion cette fois du cardinal lui-même, assisté du garde des sceaux (puis chancelier) Pierre Séguier, on voit le Conseil du Roi, organe central du gouvernement monarchique, multiplier les décisions dans le domaine de la librairie et actionner directement, pour leur exécution, le Châtelet et ses commissaires.

Dès la minorité de Louis XIV, pendant la Fronde surtout, ces avancées, faute de s'être traduites par des innovations structurelles, se trouvent sérieusement remises en cause. Cela se manifeste sur le plan institutionnel par une série de symptômes: hypertrophie du rôle des parlements (et singulièrement de celui de Paris), contestation des prérogatives des intendants et autres dépositaires directs de l'autorité royale, déluge de libelles et de pamphlets de tous bords, police de la librairie chaotique et liberté de la presse *de facto*. La confusion est alors à son comble; il suffit pour s'en donner une idée concrète de parcourir *La Presse de la Fronde* d'Hubert Carrier (Genève, 1989–1991, 2 vol.).

LES RÉFORMES DE L'ÈRE COLBERTIENNE ET L'AVÈNEMENT DU LIEUTENANT GÉNÉRAL DE POLICE

À l'issue de la crise de la Fronde, et principalement à partir du règne personnel de Louis XIV, le pouvoir royal ne se contente donc pas d'un simple retour à l'ordre antérieur. Des réformes de structure entreprises sous l'impulsion du contrôleur général des finances Jean-Baptiste Colbert permettent de disposer d'instruments nouveaux ou renouvelés: d'une part le réseau des intendants des généralités en province se trouve fortement réactivé et mis au service d'une nouvelle fonctionnalité policière — on n'y insistera pas davantage dans le cadre de cette contribution⁵ —; d'autre part, l'édit de mars 1667 institue dans la capitale un lieutenant de police, à qui l'on donne en 1674 le titre définitif de *lieutenant général de police*⁶, et dont il importe de dire un mot.

Nombre d'historiens ont vu dans la création du lieutenant général de police l'acte de naissance de la police moderne, et par la même occasion de la police du livre proprement dite. C'est certes excessif dans la mesure où existent déjà, on l'a entrevu, non seulement une activité policière «généraliste» mais aussi un contrôle du livre et de ses métiers, une «police de la librairie». Il est vrai cependant que l'une des grandes innovations du règne de Louis XIV réside dans cet effort d'unification et de centralisation des services assurant les fonctions de police, effort symbolisé par l'institution du lieutenant de police. Avec ce personnage comme avec les intendants de province, le roi manifeste qu'il ne règne pas seulement par la guerre, la gloire, la loi et la justice, mais aussi par le souci permanent d'un «ordre parfait». Le voilà qui dispose désormais de ses propres agents pour faire exécuter sa politique au quotidien, et principalement en ville,

⁵ De même que l'on n'envisagera pas ici les inspecteurs de la librairie institués au XVIII^e siècle en province auprès des chambres syndicales de libraires et imprimeurs. Sur cette institution, voir notamment *McLeod J.* Provincial book trade inspectors in eighteenth-century France // *French History*. 1998. June. Vol. 12. N 2. P. 127–148.

⁶ Dans les principales villes de province ont été aussi institués des lieutenants généraux de police à partir du début des années 1690, mais leurs offices ont été pour la plupart rachetés et rattachés peu après aux juridictions locales (bailliages et sénéchaussées), et la police de ces cités a donc continué d'être assurée principalement par l'intendant de la généralité concernée.

cet espace privilégié de la vie sociale et des «arts de la paix». C'est là incontestablement l'une des innovations majeures de la période la plus absolutiste de la monarchie française d'Ancien Régime. Un appareil policier digne de ce nom va s'élever dorénavant à la hauteur de la tâche que lui assignent l'idéal de souveraineté louisquatorzienne et son exigeante législation, réalisant ainsi le vœu de Colbert en personne: «La difficulté <...> n'est pas de faire des règlements, mais de trouver des moyens pour les faire exécuter»⁷. Ces moyens, Colbert les met au point lui-même au fil des séances du Conseil de police réuni à partir de 1666, et c'est à son initiative qu'est pris l'édit de mars 1667. Le lieutenant de police, ce magistrat du Châtelet dont la charge n'est issue après tout que du démembrement de celle de lieutenant civil, est néanmoins une véritable créature de Colbert. En un passage resté fameux, le ministre dresse lui-même, à l'intention du roi, le portrait idéal et subtilement équilibré de cette nouvelle race d'homme de pouvoir:

Il faut que notre lieutenant de police soit un homme de simarre et d'épée, et si la savante hermine doit flotter sur ses épaules, il faut qu'à son pied résonne le fort éperon du chevalier, qu'il soit impassible comme magistrat et, comme soldat, intrépide, qu'il ne pâlisce pas devant les inondations du fleuve et la peste des hôpitaux, non plus que devant les rumeurs populaires et les menaces de vos courtisans⁸.

Tout un programme, que vient d'ailleurs compléter, dans le texte même de l'édit de 1667, la première définition moderne de la fonction policière, débordant largement les attributions d'une institution juridictionnelle:

La police <...> consiste à assurer le repos du public & des particuliers, à purger la ville de ce qui peut causer les desordres, à procurer l'abondance, & à faire vivre chacun selon sa condition & son devoir⁹.

S'il exclut les procès au civil, le champ de compétence du lieutenant de police apparaît singulièrement étendu, aux termes mêmes de l'édit: «sûreté de la ville, prévôté & vicomté de Paris; du port d'armes prohibées <...>, nettoyage des ruës & places publiques, <...> incendie ou <...> inondation, provisions nécessaires pour la subsistance de la ville <...>, taux & prix d'icelles <...>, visite des halles, foires & marchez, des hostelleries, auberges <...> tabacs & lieux mal famez; <...> connoissance des assemblées illicites, tumultes, séditions et desordres <...>; manufactures & dépendances d'icelles; des élections des maîtres & gardes <...> de l'exécution de leurs statuts & reglemens...»¹⁰. Et, pour ce faire, cinq «départements» sont placés sous l'autorité du lieutenant de police: police générale; police contentieuse; affaires étrangères et secrètes; finance, commerce

⁷ Lettres, instructions et mémoires de Colbert / Éd. P. Clément. Paris, 1869. T. 6. P. 29-30.

⁸ Cité par *Chassaing M.* La Lieutenance générale de police de Paris. Paris, 1906. P. 24 (réimpr., Genève, 1975).

⁹ Edit du Roy, du mois de mars 1667. Verifié en parlement le 15. desdits mois & an [Paris, 1667]. P. 1. BNF. F. 23612 (920).

¹⁰ Ibid. P. 2, 3.

et manufactures; sûreté et étrangers. En résumé, comme l'écrira un peu plus tard celui que l'on considère comme le père de la police moderne en France, le commissaire au Châtelet Nicolas Delamare (1639–1723), dans son célèbre *Traité de la police* (Paris, 1705–1738, 4 vol., t. I, livre I, titre IX), si la police peut être définie comme le «service du prince et de l'ordre public» dans un lieu donné, elle est, ajoute-t-il avec la force de conviction de l'expérience, «incompatible avec les embarras et les susceptibilités des matières litigieuses, et tient plus des fonctions de gouvernement que de celles du barreau». Autrement dit, à travers l'institution policière, l'«État de justice» qui caractérisait jusque-là l'Ancien Régime commence à le céder à un idéal exécutif civil, fort et centralisé.

Gabriel-Nicolas de La Reynie, le premier titulaire de la nouvelle charge de 1667 à 1697, ne tarde pas à se montrer à la hauteur de ce que l'on attend de lui. Les écrits du temps le décrivent ferme, dévoué, infatigable, informé de tout et sachant s'entourer. «Grand magistrat et de l'ancienne roche, modeste et désintéressé» d'après les Mémoires de Saint-Simon¹¹, c'est surtout pour le roi un homme de confiance avec qui il a un «travail», c'est-à-dire une entrevue régulière en tête à tête, à la façon des ministres. Bien plus, «il se trouve en cette partie [Paris] le seul ministre»¹². Rien de ce qui est parisien ou intéresse la Ville n'échappe à son emprise et à sa vigilance. Il est «l'œil et le bras du roi» dans la capitale — une capitale dont, on le sait, Louis XIV depuis son enfance, au temps de la Fronde, se méfie tout particulièrement et où, fidèle à sa maxime, il voudrait être en mesure de «tout voir sans avoir rien à regarder».

LA POLICE DU LIVRE À PARIS DU TEMPS
DE LA REYNIE (1667–1697)
PUIS D'ARGENSON (1697–1718):
UN PROGRAMME, DES RÉSULTATS

Dès l'édit de mars 1667, le lieutenant de police se voit confier des attributions explicites en matière de librairie: «[Il] connoîtra des contraventions qui seront commises à l'exécution des ordonnances [et] <...> reglemens faits pour le fait de l'imprimerie par les imprimeurs en l'impression des livres & libelles defendus & par les colporteurs en la vente et distribution d'iceux»¹³. La déclaration du 18 avril 1674 confirme ensuite qu'il doit «tenir la main à l'exécution des règlements en ce qui concerne la librairie». Une telle mission implique plusieurs attributions complémentaires dont La Reynie obtient très tôt l'officialisation¹⁴:

¹¹ *Saint-Simon L. de Rouvroy de*. Mémoires de Saint-Simon: nouvelle édition... / Éd. A.-M. de Boislisle. Paris, 1884. T. IV. P. 10–11.

¹² Cité par *Chassaigne M.* Op. cit. P. 48.

¹³ Edit du Roy, du mois de mars 1667. P. 3.

¹⁴ Cf. en particulier *Herrmann-Mascard N.* La Censure des livres à Paris à la fin de l'Ancien Régime: 1750–1789. Paris, 1968. P. 84–86.

– le contrôle de la communauté des imprimeurs et libraires de Paris et de sa chambre syndicale (surveillance des élections, des ventes de fonds ou de matériel, réceptions au serment de maîtrise, brevets d'apprentissage...);

– la délivrance des permissions d'imprimer pour les publications n'excédant pas deux feuilles d'impression et ne nécessitant pas de privilège de la Grande Chancellerie — ce que l'on appelle à Paris la *librairie de police*¹⁵ et en province les *permissions de juge*;

– le contrôle à Paris de la vente et de la circulation des livres publiés en France; le contrôle de l'importation des livres étrangers, avec la collaboration de la douane, des commis des Fermes et de la chambre syndicale des libraires de Paris, avec pouvoir dans les deux cas «de défendre ou arrêter la vente de toute espèce d'ouvrage suivant les circonstances»¹⁶;

– enfin, dans l'exercice de ces différentes attributions, le lieutenant de police peut procéder à toutes perquisitions et saisies de l'ordre du roi; il est plus particulièrement chargé d'exécuter les lettres de cachet ordonnant un séjour à la Bastille, peine de plus en plus fréquemment appliquée, dans la seconde moitié du XVII^e siècle, aux membres des métiers du livre mais aussi aux colporteurs et aux auteurs.

Fort de telles prérogatives, le lieutenant de police obtient d'emblée des résultats impressionnants sur le plan de la surveillance de la librairie. Henri-Jean Martin le constate en détail dans *Livre, pouvoirs et société*¹⁷: La Reynie veille à faire respecter la limitation des réceptions à la maîtrise de libraire et d'imprimeur adoptée par arrêt du Conseil en avril 1667; il fait procéder à des enquêtes et à des visites générales (qui nous ont conservé une série de précieuses listes professionnelles); il surveille attentivement les colporteurs et étalants, mais aussi les relieurs et surtout les compagnons imprimeurs, réputés instables et prompts à se mobiliser solidairement; il s'applique à limiter l'extension des lieux de vente de l'imprimé (exclusivité de l'«enclos de l'Université», jusqu'aux quais rive gauche officiellement à partir de l'édit d'août 1686, avec une exception pour le Palais de la Cité et ses abords); il contrôle aussi le matériel typographique, en empêchant notamment les imprimeurs de vendre des presses sans son autorisation écrite; il choisit avec soin, parmi les plus dévoués et loyaux, les syndic et adjoints de la communauté des libraires et imprimeurs, ses interlocuteurs professionnels, qui ne sont élus que pour la forme. Enfin le lieutenant de police s'appuie sur de nombreux relais pour tenir tout ce «petit monde du livre», et sous son «règne» puis celui surtout de son successeur, Marc-René de Voyer de Paulmy, marquis d'Argenson (de 1697 à 1718), se multiplient «mouches», délateurs et indicateurs. Difficile, dans ces conditions, de voir se

¹⁵ Compétence simplement confirmée par arrêt du Conseil dès avril 1667.

¹⁶ Au département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France (BNF), se trouve conservé à partir de 1697–1698 l'enregistrement sériel des volumes arrêtés à la douane, avec mention des décisions prises par le lieutenant de police pour chaque saisie ou ensemble de saisies (Ms. fr. 21897–21926).

¹⁷ *Martin H.-J. Livre, pouvoirs et société à Paris au XVII^e siècle (1598–1701)*. Genève, 1969. T. 2. P. 695–698 (nouv. éd., *ibid.*, 1999).

reproduire à Paris la «licence» observée naguère pendant la Fronde: à présent imprimeurs, libraires, relieurs, colporteurs sont dûment répertoriés, serrés de près, et ils le savent. «L'impression de mauvais livres, conclut Martin, devint de plus en plus affaire bien risquée [à Paris], à moins qu'il ne s'agît d'un libelle de quelques pages composé et tiré à la hâte, en une nuit»¹⁸.

UNE AMORCE DE SPÉCIALISATION? L'EXPÉRIENCE PIONNIÈRE DU COMMISSAIRE DELAMARE

Pour parvenir à ce niveau d'encadrement, La Reynie, on le sait, n'est pas seul. En matière de police de la librairie comme de police judiciaire ou de police des grains et subsistances, il peut compter particulièrement sur le zèle éclairé de l'un des 48 commissaires enquêteurs du Châtelet placés sous son autorité: le fameux commissaire Nicolas Delamare¹⁹. L'auteur du *Traité de la police* n'est pas seulement un théoricien, un policier d'étude et de normes. Ses riches archives²⁰ en témoignent: c'est également ce que l'on appellerait aujourd'hui un «homme de terrain», un praticien expérimenté, attentif et infatigable, déléguant le moins possible, n'hésitant jamais à «se transporter sur les lieux», selon l'expression alors consacrée, ne serait-ce parfois que pour observer et s'informer. Chargé plus particulièrement de la police des quartiers de l'Université et du Palais de la Cité, il est très tôt préposé, outre ses autres missions, à la surveillance de la librairie, où ses compétences et sa familiarité avec le monde du livre vont faire merveille de 1673 à 1718. Du reste, au livre I, chapitre VI, titre XII de son *Traité de la police*, Delamare définit lui-même concrètement la mission première des commissaires chargés de la librairie:

¹⁸ Ibid. T. 2. P. 697.

¹⁹ Cet «homme fort cultivé [...] mais aussi intelligemment énergique» (*Martin H.-J.* Op. cit. T. 2. P. 697) attend encore l'étude approfondie voire la biographie qu'il mérite. Outre la thèse d'École des chartes de Nicole Diament (*Diament N.* Recherches sur la police parisienne sous Louis XIV à travers l'œuvre et la carrière de Nicolas Delamare. Paris, 1974, dactylogr.) qui porte principalement sur son action dans le domaine de la police des grains et subsistances, on signalera les études particulières: *Sauvy A.* Livres saisis à Paris entre 1678 et 1701. La Haye, 1972 (qui a pour point de départ l'enregistrement des saisies effectuées sous son autorité pendant la période 1678–1686, BNF. Ms. fr. 21743); *Pacha B., Miran L.* Les Plans du *Traité de la police* de Nicolas Delamare (1705). Blois, 1993. Voir aussi les articles: *Bondois P.-M.* Le commissaire Nicolas Delamare et le *Traité de la police* // *Revue d'histoire moderne*. 1935. Septembre-octobre. P. 313–351; *Mellot J.* Delamare (Nicolas) // *Dictionnaire encyclopédique du livre / Sous la dir. de P. Fouché, D. Péchoin, Ph. Schuwer, et la responsabilité scientifique de J.-D. Mellot, A. Nave, M. Poulain.* Paris, 2002. T. 1. P. 738–739.

²⁰ Une grande partie de ses copieuses archives (mais non la totalité, on retrouve dans d'autres fonds — notamment celui du Châtelet de Paris aux Archives nationales, mais aussi dans le reliquat des archives de la chambre syndicale des libraires de Paris conservé à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris — de nombreuses pièces portant sa signature ou couvertes de son écriture bien reconnaissable et néanmoins fort peu lisible) se trouve rassemblée dans l'actuelle collection Delamare au département des Manuscrits de la BNF (Ms. fr. 21545–21808, en particulier 21739 à 21750 pour les affaires de librairie).

Ils font recherche de tous les livres et libelles imprimés contre la religion ou ceux mêmes qui <...> ne sont que suspects <...> Ils les font saisir et, après que sur leur rapport le Magistrat [*i. e.* le lieutenant général de police] en a ordonné la suppression, ils les font déchirer et mettre au pilon. Pour faire cette découverte et celle des autres mauvais livres, ils visitent les imprimeries... [et, s'il y a lieu, ils] dressent procès-verbal, font saisir les formes et les exemplaires; et en certains cas graves <...> ils ont quelquefois *d'office*²¹ fait emprisonner l'imprimeur <...>

Mais les archives du commissaire révèlent que cette description de ses attributions de police de la librairie est bien en deçà de leur étendue réelle. Sa tâche principale consiste en fait à *s'informer* avant d'*informer*, et pour cela il ne doit rien épargner: susciter les dénonciations et les témoignages, procéder à des interrogatoires soigneusement préparés (on en a parfois conservé les précieux canevas!) et exploités, dresser des listes et des procès-verbaux et rendre compte immédiatement de tout au lieutenant de police. Il n'y a pas de routine pour cet homme d'étude et d'action; le commissaire est sans cesse sur la brèche; à travers la documentation qu'il a laissée, on le voit enquêter, perquisitionner, interroger, recouper, «planquer», remonter les filières, lancer des coups de filet, saisir, arrêter, prendre éventuellement en flagrant délit trafiquants ou libraires clandestins, et se déplacer aux faubourgs de Paris ou sur les bords de Seine pour y dépister les caches de livres et les lieux de déchargement secrets de la librairie de contrebande²²...

Nicolas Delamare est l'un de ces rares policiers à la fois généralistes et spécialistes, capables de théoriser leur pratique et d'en être les acteurs concrets, l'un de ces praticiens accaparés par une foule d'affaires quotidiennes à démêler et en même temps dotés d'une remarquable érudition en fait de livres et d'auteurs anciens et modernes — et tout cela sans jamais manquer aux formes de la procédure écrite et sans cesser de croire au bien-fondé de ses tâches. Il n'est donc pas surprenant que le commissaire Delamare retienne notre attention, tout comme il a fait l'admiration de ses contemporains, y compris de Louis XIV qui lui aurait déclaré lors d'une audience: «Jamais je n'ai été servi avec plus d'exactitude, de zèle et de diligence»²³. On conçoit également qu'avec des personnages tels que lui, la police en général et la police du livre en particulier soient devenues d'une redoutable activité à Paris — avec des moyens et des effectifs (guet, exempts de robe courte) somme toute presque aussi limités qu'aparavant.

²¹ Nous soulignons.

²² Pour un échantillon des multiples missions dont s'acquitte le commissaire Delamare en matière de librairie, cf. *Mellot J.-D.* L'Édition rouennaise et ses marchés... P. 272–273, 281–282, 324, 335, 359–365, 386–387, 392–393, 400–401, 403, 496, 612–613, 617–623.

²³ «Eloge de Nicolas de Lamare» par Anne Lecler du Brillet, en tête du t. IV du *Traité de la police* (Paris, 1738). Lecler du Brillet relève en particulier sa «forte inclinaison <...> pour l'ordre et le bien commun», qui lui fait «prendre le parti des fonctions gratuites de la police préférentiellement aux fonctions lucratives de la juridiction contentieuse», en l'occurrence appositions de scellés et ouvertures de portes (cf. *Milliot V.* Saisir l'espace urbain: mobilité des commissaires et contrôle des quartiers de police à Paris au XVIII^e siècle // *Revue d'histoire moderne et contemporaine*. 2003. Janvier-mars. N 50–1. P. 54–80, citation P. 60). Un état des «Services rendus par le commissaire de Lamare» (BNF. Ms. Joly de Fleury 144. N 1325. Fol. 76–81) récapitule

Il ne faudrait pas toutefois que l'arbre cache la forêt. Des hommes comme La Reynie, d'Argenson et Delamare, malgré toute l'énergie et les qualités qu'ils ont su mettre au service de la monarchie absolue, ne sont pas parvenus à éteindre les contestations que cette même monarchie ne manquait pas de soulever. On est même en droit de penser que leur intense surveillance de la librairie et le début de spécialisation que l'on observe en la matière sont avant tout le signe, non de leur succès, mais de l'immensité nouvelle de la tâche, de l'ampleur des oppositions et mécontentements, de la multiplication des sources et filières d'approvisionnement, de la croissance du marché et, en définitive, de l'impérieuse doctrine politique qui suscite ces frustrations et ces audaces. Dans les dernières années du règne de Louis XIV, au plus fort de la rigueur absolutiste et du «silence» imposé sur maintes affaires et querelles, le zèle expert des pionniers de la police moderne n'empêche donc pas qu'une profusion d'ouvrages clandestins ou contrefaits s'introduisent jusque dans Paris, inondent le royaume et y entretiennent une forme invouable de liberté de la presse — même si cette liberté n'est plus désormais que rarement localisable dans la capitale. À Rouen, à Lyon, à Orléans, à Caen, à Avignon, aux Pays-Bas du Nord et du Sud, etc. roulent des presses qui, assurées de pouvoir écouler leur production grâce à des réseaux de colporteurs, de trafiquants et de protecteurs, mettent directement à profit la pénurie relative engendrée par les prohibitions et la surveillance draconiennes en vigueur à Paris²⁴. Comme par un effet pervers, les performances de la nouvelle police parisienne ont donc contribué, dans le domaine de la librairie, à démultiplier et à reporter à quelque distance de la capitale la source du problème. Et le nouvel ordre centralisateur et policier a surtout abouti, dans un premier temps, à encourager les ateliers provinciaux ou étrangers à exploiter un marché parisien devenu affamé d'informations et de publications non conformistes.

CARACTÉRISTIQUES POLICIÈRES LÉGUÉES PAR LE «SIÈCLE DE LOUIS XIV»

Si l'on tente à présent de typer la «police moderne» telle qu'elle a été façonnée par le règne de Louis XIV, on remarque qu'elle ne se caractérise pas par des effectifs copieux ou des moyens très nouveaux. En fait, si cette police apparaît d'une grande efficacité, particulièrement à Paris désormais, c'est pour quatre raisons principales, dont les trois premières vont marquer pour longtemps l'institution policière française.

par ailleurs les principales affaires dans lesquelles s'est illustré le zèle du commissaire: on y relève, outre les enquêtes et procédures de police de la librairie mais aussi de police des grains (notamment pendant les disettes de 1693–1694, 1698–1699 et 1709–1710), des poursuites contre 8 espions, 41 personnes suspectes d'intelligence avec les puissances ennemies, des prévaricateurs du chantier des Grandes Écuries à Versailles, des voleurs de meubles et de bijoux de la Couronne ou de papiers d'État, etc.

²⁴ Sur ces points, voir en particulier *Mellot J.-D.* L'Édition rouennaise et ses marchés... P. 359–366, 382–393, 400–405, 571–587, 616–628.

1/ Cette police, tout d'abord, ne devient un véritable appareil que parce qu'elle concentre les hommes et les moyens existants sous l'autorité d'un chef unique, en l'occurrence le lieutenant général de police de Paris, qui tire son pouvoir directement du roi et jouit en principe de son entière confiance, sans «parasitage» à craindre en général. *La centralisation et une chaîne hiérarchique stricte* sont ses traits essentiels, au point que la police de Paris donne même l'illusion — ce n'est qu'une illusion — de régir l'ensemble du royaume²⁵. Du reste, cette situation d'hypertrophie du rôle de la police parisienne perdurera pratiquement jusqu'au début du XX^e siècle.

2/ En outre, bien que le lieutenant de police soit appelé avec grande déférence «le Magistrat», bien qu'il siège au Châtelet de Paris, sa police se trouve dégagée de la stricte logique judiciaire et de son fonctionnement — fonctionnement judiciaire qui consiste à poursuivre une affaire, un crime, un délit dans les règles de la procédure pour aboutir *in fine* au prononcé solennel d'un jugement en conformité avec l'absolu d'une législation souveraine. Dans bien des cas, la police exercée par le lieutenant de police à Paris va viser au contraire à *éviter la procédure judiciaire et son éclat*, à préférer la «correction», à privilégier le plus discrètement possible le maintien de l'ordre quotidien, la tranquillité et la sécurité publiques, l'absence de troubles et de rumeurs. Delamare, on l'a vu, a déjà diagnostiqué ce tropisme dans son *Traité de la police*, et Montesquieu l'analysera remarquablement dans un passage fameux de *De l'esprit des lois*: «Dans l'exercice de la police, c'est plutôt le magistrat qui punit que la loi: dans les jugements de crime, c'est plutôt la loi qui punit que le magistrat. Les matières de police sont des choses de chaque instant, et où il ne s'agit ordinairement que de peu: il ne faut donc guère de formalités. Les actions de la police sont promptes, et elles s'exercent sur des choses qui reviennent tous les jours: les grandes punitions n'y sont donc pas propres. Elle s'occupe perpétuellement de détails, les grands exemples ne sont donc pas faits pour elle»²⁶.

La police moderne est un nouveau mode de gouvernement, un nouveau mode de rapport du souverain à ses sujets, qui consiste à «être au milieu des choses», comme l'écrira Albert Camus à propos du métier de policier au milieu du XX^e siècle. «Être au milieu des choses», en l'espèce, cela signifie pouvoir traverser en permanence l'épaisseur du corps social pour y corriger les déviances et les abus les plus criants, sans attendre qu'ils soient portés devant les différentes instances de la justice royale. D'où la métaphore de la *transparence de la société sous le regard de sa police*, métaphore récurrente dans la littérature du XVIII^e, deux siècles avant *Big Brother*. Fontenelle, dans son éloge du marquis d'Argenson, rappellera que le lieutenant de police était doué de la faculté d'«être

²⁵ M. Chassaing (Op. cit. P. 54) déclare, à propos du marquis d'Argenson: «Il fit de son administration un service national». Le lieutenant de police comble en cela les vœux initiaux de Louis XIV et de Colbert, «persuadés de l'importance prépondérante qu'avait la police de Paris pour la sûreté du royaume» (Ibid. P. 40).

²⁶ Montesquieu Ch.-L. de *Secondat de La Brède de. De l'esprit des lois, ou Du rapport que les lois doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement...* Genève: Barrillot, 1748. 2 vol. Livre XXVI. Ch. 24.

présent partout sans être vu»²⁷, et cette image s'appliquera tout autant à ses successeurs à ce poste, Antoine de Sartine (de 1759 à 1774) particulièrement, qui, disait-on proverbialement, «levait tous les toits et lisait dans les cœurs».

Ainsi la police de Paris sous Louis XIV et au XVIII^e siècle n'est-elle en fait judiciaire que par défaut. Par sa présence, par son immersion dans le «détail»²⁸ de l'organisation sociale, par sa mission fondamentale d'information, par ses capacités d'anticipation et d'intimidation, par l'usage (non négligeable) de la Bastille et des lettres de cachet, elle prive sans bruit les juridictions parisiennes voire provinciales d'une partie de leur matière justiciable et par conséquent de leur pouvoir.

3/ De plus, la police parisienne est à la pointe d'une logique colbertiste d'interventionnisme et de dirigisme. Dans l'esprit des gouvernants, en matière de grains et de subsistances comme en matière de livres et d'information, il n'est pas question de s'en remettre aux seules lois du marché — Roger Chartier l'a relevé à juste titre dans *Les Origines culturelles de la Révolution*²⁹ — : l'enjeu est trop important aux yeux d'un souverain qui se veut à la fois père nourricier³⁰ et garant de la cohésion de son royaume. Le lieutenant de police emploie donc toute son énergie à relever le défi quotidien de l'approvisionnement et de la chasse aux écrits condamnables. L'inspecteur Joseph d'Hémery le rappellera au milieu du XVIII^e siècle : «Rien de plus contraire au bien du gouvernement que de regarder la librairie comme un [pur] objet de commerce»³¹.

Cette idée en appelle une autre de plus grande portée encore. La police, en tant qu'instrument privilégié du renforcement de la cohésion urbaine, manifeste mieux que toute autre institution dorénavant la transcendance du pouvoir souverain : elle parvient à «attacher la société au pouvoir, assurer <...> une certaine homogénéité entre la décision réglementaire et la pratique réelle»³². Sans aller jusqu'à faire de la police une nouvelle panacée (cf. l'«utopie policière» dont les travaux d'Arlette Farge montrent qu'elle semble avoir traversé le XVIII^e siècle³³),

²⁷ Bernard Le Bovier de Fontenelle ajoute à cette idée une autre métaphore non moins significative sous sa plume d'astronome et d'académicien des sciences : «L'ordre d'une police ressemble <...> à celui des corps célestes <...> il est toujours d'autant plus ignoré qu'il est plus parfait» (cité par Napoli P. Op. cit. P. 56).

²⁸ Et sur cette attention nouvelle portée au «détail» ainsi qu'à la «vérification», on se doit évidemment de renvoyer à *Foucault M. Surveiller et punir. Naissance de la prison*. Paris, 1975.

²⁹ Chartier R. *Les Origines culturelles de la Révolution française*. Paris, 1990. P. 61–62.

³⁰ Cf. Roche D. *Le Peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au XVIII^e siècle*. Paris, 1981. P. 281–282 : «À l'aube du XVIII^e siècle, c'est un commissaire de police parisien, Nicolas Delamare, qui a formulé les principes d'une action assurant le maintien de l'ordre social : le roi, père nourricier, est responsable du sort de ses sujets, tous les organes de l'administration royale sont mobilisables pour exécuter cette politique <...> La police et le peuple sont unis par une tradition où le problème des grains est affaire non d'économie mais de politique».

³¹ Cité par Chartier R. Op. cit. P. 61–62, d'après Diderot D. *Sur la liberté de la presse / Texte partiel établi, présenté et annoté par J. Proust*. Paris, 1964. P. 24.

³² Napoli P. Op. cit. P. 56.

³³ Cf. Farge A., Revel J. *Logique de la foule : l'affaire des enlèvements d'enfants*. Paris, 1750. Paris, 1988 ; Farge A. *La Vie fragile. Violence, pouvoirs et solidarités à Paris au XVIII^e siècle*. Paris, 1986. Voir aussi Roche D. *Le Peuple de Paris*. P. 278–284 («Le peuple et les polices»).

il est incontestable qu'elle est devenue, à la faveur du règne de Louis XIV, un nouvel attribut légitime de la souveraineté, au point que, désormais, «gouverner le royaume signifie lui donner une police <...>, aussi légitime que la justice elle-même»³⁴. Le succès de l'institution policière autonome voulue par Colbert rend ainsi possible, au XVIII^e siècle, l'avènement d'un nouveau paradigme de pouvoir, celui de l'administration, qui se dégagera à la fin du siècle. Il permet en outre d'achever la construction conceptuelle de ce pouvoir de gouvernement que Montesquieu va qualifier d'«exécutif».

4/ Dernière caractéristique bien particulière au règne de Louis XIV: la police — qu'elle soit le fait du lieutenant général de police à Paris ou des intendants en province — s'exerce dans *un paysage politique notablement net et dégagé*. Les provinces, les parlements, l'Église, la communauté protestante, les grands féodaux, les États provinciaux, les corporations jusqu'à protégées par les cours souveraines et les juridictions locales, toutes ces entités potentiellement centrifuges ont été mises sous l'éteignoir ou assujetties à l'idéal absolutiste. La fameuse «tyrannie de la grandeur» bat son plein, et rares sont ceux qui songent, à moins de s'éloigner prudemment de la Cour et de la Ville, à en contester ouvertement le bien-fondé. Dans ce cadre, faire respecter interdits et «silence» est une tâche essentielle de la police qui, si elle s'avère plus efficace en la matière que l'appareil judiciaire, ne prétend pas pour autant substituer un arbitraire policier aux vides et inadaptations de la législation ou de la censure. Au contraire, l'action quotidienne d'un Delamare prouve que cette police première manière est — c'est net dans le domaine de la librairie — consciencieusement tendue vers l'objectif de faire correspondre la réalité aux lois et règlements en vigueur. L'idée louisquatorzienne qu'un ordre parfait et une autorité incontestable peuvent rendre inutile la logique imparfaite du compromis politique y est sans doute pour beaucoup. Comme la censure préalable que chapeaute la nouvelle direction de la Librairie à partir de 1699³⁵, la police parisienne a donc mis ses moyens au service d'une forme radicale de *consensus par exclusion* — et de son éventuel corollaire, la répression.

Mais il faut convenir que ses moyens et son champ d'action excèdent de beaucoup le filtrage plus ou moins statique que représente la censure préventive, si perfectionnée soit-elle devenue. Les censeurs royaux n'ont en effet à examiner en principe que des textes parvenus jusqu'aux bureaux parisiens de la Grande Chancellerie et ayant une chance de recevoir approbation et privilège (éventuellement «permission tacite») en vue d'une publication. Tandis que la police traque en tous lieux non seulement ce qui est expressément défendu, mais aussi ce qui est simplement *suspect* (Delamare) de contradiction ou de non-conformité vis-à-vis du bon ordre et de la cohésion du royaume, de quelque provenance, auteur ou époque que soient issus les écrits concernés³⁶.

³⁴ *Napoli P. Op. cit.* P. 57.

³⁵ Voir dans le présent volume la contribution de Françoise Bléchet.

³⁶ Il suffit pour s'en convaincre de se reporter à *Sauvy A. Op. cit., passim*.

De sorte qu'à bien des égards la police, qui apparaît sur un plan théorique comme l'auxiliaire et l'exécutante des décisions censoriales, peut être plutôt considérée, grâce à la sagacité et à l'omniprésence de ses responsables, comme une sorte de «*méta-censure*», capable de visualiser et d'atteindre partout les écrits et opinions répréhensibles puis de les réduire au silence ou à la conformité sans qu'un jugement préalable ou postérieur à la publication soit toujours nécessaire. D'où la tentation, qui ne sera manifeste qu'après le règne du Roi-Soleil, d'une autonomisation croissante du pouvoir *de facto* censorial de la police parisienne, au nom de l'efficacité, de la discrétion, mais aussi du réalisme.

Or ce réalisme (politique, économique) n'est pas encore officiellement de mise, en matière de librairie, pendant le règne personnel de Louis XIV. La Reynie, d'Argenson, Delamare restent avant tout les zélés serviteurs d'un ordre parfait et incontestable, d'un idéal politique exclusif, qui a banni le compromis et placé la mise en scène de l'autorité et la censure visible au centre de ses préoccupations. Ainsi la «*police du livre*» exercée à Paris à la fin du XVII^e et au début du XVIII^e siècle demeure-t-elle colbertienne en ce sens qu'elle trouve toujours sa raison d'être dans la mise en application rigoureuse d'une législation souveraine, de «*codes*» et de «*bons règlements*» — ce dont la correspondance administrative du temps se fait d'ailleurs l'écho à longueur de pages³⁷.

NOUVEAU CONTEXTE, NOUVELLES TENDANCES

À partir de 1715, en revanche, il s'avère bientôt que la police ne peut plus — ou plus seulement — mettre son énergie et ses moyens au service du modèle absolutiste et centraliste. Entre les parlements, l'Église gallicane et la noblesse qui redressent la tête, les querelles jésuites-jansénistes qui font rage de plus belle, les opinions qui se débrident, bientôt aussi l'antagonisme du «*parti des philosophes*» et de celui des dévots, le pouvoir royal semble n'avoir d'autre choix que celui du compromis permanent et de l'équilibre précaire entre les différents groupes de pression en présence. Dans ce contexte, l'instabilité ministérielle devient la règle, l'horizon politique n'est en rien dégagé et l'action de la police s'en ressent nécessairement. Certes, l'institution policière elle-même n'est nullement remise en cause — encore que son arbitraire soit épisodiquement dénoncé. Elle apparaît d'une légitimité et d'une utilité indiscutables à la monarchie en cette période de turbulences, l'essence du pouvoir exécutif s'y trouvant concentrée.

Mais le lieutenant général de police, ce «*ministre de Paris*», ne peut plus se contenter de servir au mieux l'autorité du roi et de ses lois. Il doit surtout désormais naviguer à vue, éviter de s'aliéner les favoris et favorites du jour,

³⁷ Voir en particulier *Depping G.-B.* Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV. Paris, 1850–1855. 4 vol., *passim*.

ménager les factions ascendantes et slalomer entre les coteries, s'il veut préserver ses prérogatives et le cours de sa propre carrière. Se maintenir durablement à ce poste — condition *sine qua non* pour espérer y déployer une action efficace et appréciée, voire s'y rendre indispensable — suppose de consacrer une énergie considérable à une juste information et appréciation du rapport des forces en présence, sous peine d'être sacrifié à la moindre évolution de ce rapport.

La conjoncture implique autrement dit de composer avec l'opinion (celle du moins à laquelle on s'accorde à reconnaître crédit et influence³⁸), de la contrôler, voire de la gouverner. Les responsables de la police parisienne en ont d'autant plus conscience que la viabilité de leur pouvoir et leurs carrières mêmes sont en jeu. En la matière, l'action de la police se rapproche plus qu'on ne croit de celle de la censure royale. Il serait en effet naïf de caractériser la censure préalable du XVIII^e siècle comme une institution simplement chargée de faire respecter une orthodoxie et d'entraver les déviances en maniant l'interdit et l'exclusion³⁹. Loin de trouver braqué face à elle le «tribunal» d'une opinion publique indépendante en marche vers la liberté (pour schématiser la thèse de Habermas), la censure royale, dès le début du XVIII^e siècle, a entrepris d'impliquer l'opinion dans ses propres jugements, de la rendre pour ainsi dire «coresponsable de l'action publique» (Napoli). Une fois encore Jean-Jacques Rousseau a finement perçu les enjeux de cette discrète dialectique: l'opinion publique «est l'espèce de loi dont le censeur est le ministre» (*Du contrat social*, livre IV, chapitre VII) et la censure une expression du jugement public. Dès lors, «au lieu de les considérer comme les antagonistes dans la lutte pour la liberté, il conviendrait de décrire l'opinion publique et la censure comme les deux facettes d'un même dispositif: ensemble elles forment un code qui opère sans un contrôleur identifié politiquement <...> tout en produisant un système pour sélectionner le discours «public» <...> [L'opinion] offre une possibilité discursive que l'autorité doit savoir transformer en consensus»⁴⁰.

L'action quotidienne du lieutenant général de police, en pareil contexte, apparaît comme un complément indispensable à celle de la censure royale, mais elle s'exerce de façon plus fluide, tant en amont qu'en aval des textes. En s'informant sans cesse sur les auteurs, leurs protecteurs, leurs diffuseurs, mais aussi sur la réception des idées et des écrits, dans les salons comme sur la voie publique (Fargé), la police parisienne tend à être la plus à même de se représenter l'état mouvant de l'opinion. Sur la pertinence de son diagnostic repose ainsi l'ajustement permanent de la *praxis* et de la norme censoriales: que peut approuver la censure compte tenu de la conjoncture? en quel sens peut-elle peser sur les discours afin de les rendre acceptables «dans les circonstances présentes»? Pas de barrage rigide et frontal pour la plupart des écrits,

³⁸ Pour une approche de ce que l'on pourrait en revanche appeler l'opinion populaire à Paris, cf. Fargé A. *Dire et mal dire. L'opinion publique au XVIII^e siècle*. Paris, 1992.

³⁹ Voir notamment à ce propos les contributions de Robert Darnton et de William Hanley dans le présent recueil.

⁴⁰ Napoli P. *Op. cit.* P. 140–141.

mais une négociation plus ou moins tacite entre les contenus et l'environnement prévisible de leur réception; toutes données sur lesquelles le travail de renseignement policier fournit constamment l'essentiel des actualisations et des éléments d'appréciation — en témoigne ce qui reste aujourd'hui de la correspondance des lieutenants de police (bibliothèque de l'Arsenal, archives dites de la Bastille). Dans la pratique concrète du siècle des Lumières, on pourrait même dire que ce n'est pas la police qui applique la norme censoriale, mais la censure royale qui enregistre le diagnostic de la police parisienne sur la situation de l'esprit public et des courants qui travaillent celui-ci. Le pouvoir royal est alors condamné à régner à la fois *avec, par* et *sur* l'opinion, et seule une police avisée peut l'aider à manœuvrer dans la recherche de cette forme instable de consensus.

Quelle que soit la façon dont la police subit ou gère les aléas politiques, il n'est donc plus question pour elle d'efficacité univoque. Son action ne saurait se réduire à pourchasser *les* «mauvais livres», *les* «mauvaises opinions», et ceux qui les répandent. Elle se doit de rechercher simultanément plusieurs efficacités, dans la mesure où il existe plusieurs catégories de «mauvais» écrits ou idées dont il faut alternativement ménager ou réprimer les propagateurs en fonction de la conjoncture. Pour donner une idée de la complexité de cette situation nouvelle, on peut se référer à la classification qu'opère explicitement l'inspecteur d'Hémery (que l'on présentera ci-après) au sein des colporteurs parisiens dont il a la surveillance, au milieu du XVIII^e siècle. À ses yeux, il en existe quatre groupes ou partis bien distincts: les jansénistes, les «molinistes» (autrement dit les pro-jésuites), les colporteurs de «mauvais livres» et de libelles satiriques, enfin les «hommes à tout faire»⁴¹, dénués de spécialité... mais non d'appétit pour le gain. Et derrière cette population de colporteurs plus ou moins flottante, il faut imaginer le groupe des imprimeurs et des libraires (parisiens ou non) qui les approvisionnent, et par-delà ces derniers, des auteurs, des protecteurs, des commanditaires, des zéloteurs et des groupes d'influence.

Dans le paysage institutionnel de l'époque, à quoi tend donc cette évolution conjointe de la police parisienne et de la censure royale? Cela transparaît notamment dans les *Mémoires sur la librairie* (1758–1759) du directeur de la Librairie Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes⁴². Puisqu'il n'est plus question de prétendre comme sous le Roi-Soleil fermer la bouche aux parlements, piliers restaurés de l'autorité souveraine, et au pouvoir judiciaire en général, il convient au moins de limiter leurs possibilités de réprobation — réprobation vis-à-vis de la police et de la censure préalable, deux institutions essentielles au régime parce qu'elles lui permettent, on l'a vu, de contrôler voire d'investir l'opinion publique. Pour ce faire, il importe de veiller à ce que

⁴¹ Cf. Pillorget S. Claude-Henri Feydeau de Marville, lieutenant général de police de Paris, 1740–1747. Suivi d'un choix de lettres inédites. Paris, 1978. P. 125.

⁴² Malesherbes Ch.-G. de Lamoignon de. *Mémoires sur la librairie. Mémoire sur la liberté de la presse* / Prés. par R. Chartier. Paris, 1994.

l'arbitraire policier, pratiqué de la façon la plus indolore et silencieuse, ne soit pas vécu comme un court-circuitage des prérogatives de la justice du Roi, et que la censure préventive ne paraisse pas cautionner, au nom du progrès des Lumières, des propositions contraires aux «lois fondamentales du royaume» et aux intérêts de l'Église gallicane. Sous peine de déchaîner la censure *a posteriori* des parlements et les protestations indignées de l'Assemblée du clergé. Dans maintes affaires, dont certaines retentissantes comme la publication contrariée de l'*Encyclopédie* de Diderot et d'Alembert⁴³, la censure royale, approbatrice d'écrits audacieux ou progressistes, est en effet mise en porte-à-faux par des arrêts de condamnation émanant des parlements et des dénonciations outrées de l'Église. Le scandale provoqué par ces «censures de censure»⁴⁴ est d'autant plus grave qu'il jette le discrédit sur le travail des services de la direction de la Librairie, organe du pouvoir central dépendant du chancelier de France. Si l'on veut éviter que les cours souveraines ne prennent prétexte de tels éclats pour contester le caractère régalien de la censure préventive, voire pour se faire attribuer cette prérogative et affaiblir d'autant la marge de manœuvre du pouvoir royal, il est impératif d'en user plus discrètement en amont. Malesherbes en est fermement convaincu. Persuadé également que la censure ne doit pas constituer un frein systématique aux idées nouvelles et aux avancées des connaissances, il propose donc d'étendre la pratique des *permissions tacites* — dont l'origine remonte déjà aux dernières années du règne de Louis XIV⁴⁵ —, afin d'autoriser une proportion croissante d'éditions nouvelles sans paraître en cautionner le contenu. Non moins pénétré de l'importance stratégique du lieutenant général de police de Paris, qui détient, admet-il, «tous les moyens d'action», Malesherbes n'imagine pas que lui soit retirée la faculté de délivrer de son côté des «tolérances verbales d'imprimer», qui excèdent pourtant la compétence de la simple «librairie de police». On l'aura compris: ces procédures expéditives et discrètes (*permissions tacites* et *tolérances*), qui brouillent le regard du pouvoir judiciaire sur le statut des éditions parues en France, ne sont cependant ni confuses ni innocentes. Elles relèvent d'une politique délibérée qui vise à empêcher les parlements et le clergé de dénoncer sur la place publique le relâchement de la doctrine monarchique et de se poser en piliers du conservatisme ou en uniques garants de l'ordre et des vertus du royaume. Il y a là un subtil jeu d'équilibre et de contrepoids politiques dont Malesherbes, fils de chancelier mais aussi haut magistrat, a parfaitement démonté les ressorts.

⁴³ Voir à ce propos dans le présent recueil la contribution de Barbara de Negroni.

⁴⁴ *Negroni B. de. Lectures interdites: le travail des censeurs au XVIII^e siècle, 1723–1774. Paris, 1995.*

⁴⁵ Sur la pratique des *permissions tacites* vue du côté des censeurs, voir dans le présent volume la contribution de William Hanley. Sur l'origine des *permissions tacites* (Rouen, 1709–1715), cf. *Mellot J.-D. L'Édition rouennaise et ses marchés. P. 596–602; sur leur identification, du même auteur: Pour une «cote» des fausses adresses au XVIII^e siècle: le témoignage des éditions sous permission tacite en France // Revue française d'histoire du livre. 1998. N 100–101. P. 323–348.*

ENTRE PRIMAT DE LA POLICE POLITIQUE ET SPÉCIALISATION:
LES HÉSITATIONS DE LA PRATIQUE
POLICIÈRE JUSQU'AU MILIEU DU XVIII^e SIÈCLE

Bien que cela soit difficile à dégager de la masse des affaires et des données factuelles, deux comportements apparemment contradictoires se font jour durant la plus grande partie du XVIII^e siècle en matière de police, et singulièrement de police du livre à Paris.

On discerne en premier lieu une tentation qui revient à vouloir gérer les affaires de presse et d'opinion, sur le fond comme un prolongement de la politique et de sa conjoncture, et quant à la forme comme une branche du renseignement politique (particulièrement développé à partir d'Argenson père). Des lieutenants de police comme le marquis d'Argenson (jusqu'en 1718), le comte d'Argenson (son fils, 1720 puis 1722–1724), René Hérault (1725–1739) puis Claude-Henri Feydeau de Marville (1739–1747), gendre de ce dernier, sont visiblement portés à jouer cette carte. La seconde lieutenance du comte d'Argenson, dans l'ombre de l'abbé Guillaume Dubois et du Régent⁴⁶, et celle d'Hérault⁴⁷ puis de Feydeau de Marville⁴⁸, sous le ministériat du cardinal Hercule de Fleury, sont notamment marquées par le souci de museler la presse et les libellistes, de pourchasser les publications jansénistes opposées à la constitution pontificale *Unigenitus* de 1713, de contrôler les colporteurs, et de faire appliquer le grand règlement imposé à la librairie parisienne par arrêt du Conseil du 28 février 1723, sous l'égide de l'abbé Dubois. Pendant ces périodes, le lieutenant de police est avant tout un homme de confiance du «principal ministre» — entretenant avec lui une correspondance détaillée dont les archives de la Bastille, bien que lacunaires, permettent de se faire une idée⁴⁹ —, mais ne présente pas une personnalité particulièrement éminente. Aussi l'aspect répressif et le manque d'initiative propre l'emportent-ils souvent. La librairie de Paris est directement gouvernée par la politique *via* la police. Le secret est le maître mot de ce temps où se multiplie l'usage des tolérances verbales qui viennent «doubler» à Paris les privilèges et permissions de la Grande Chancellerie. C'est l'époque où, comme en corollaire, on relève le plus grand nombre d'embastillements pour fait de librairie (production ou diffusion de publications prohibées ou simplement suspectes): le maximum du XVIII^e siècle est atteint en 1740–1741 avec plus de 45 internés sous ce chef d'inculpation⁵⁰.

⁴⁶ Cf. *Combeau Y.* Le Comte d'Argenson (1696–1764), ministre de Louis XV. Paris, 1999. P. 226 (Dubois «veut tout savoir de ce qui se dit, s'écrit et se fait. Très souvent, ses lettres demandent au comte [d'Argenson] d'espionner, de suivre, d'arrêter»), 229 et 266.

⁴⁷ Cf. *Chassaing M.* Op. cit. P. 61–64.

⁴⁸ Cf. *Pillorget S.* Op. cit.

⁴⁹ Voir par exemple Arsenal, Ms. Bastille 10297–10299: fréquentes correspondances entre le cardinal de Fleury et les lieutenants de police Hérault puis Feydeau de Marville à propos d'affaires de librairie, de permissions tacites même, années 1731–1743 environ.

⁵⁰ Cf. *Roche D.* La police du livre // Histoire de l'édition française / Sous la dir. d'H.-J. Martin, R. Chartier. Paris, 1984. T. 2. P. 84–91.

Une seconde tentation, plus durable mais non incompatible par ailleurs avec celle de l'intégration à la politique, amène à considérer la librairie comme un domaine spécifique nécessitant une forme appropriée de contrôle, en liaison avec la direction de la Librairie. Cette tendance à la spécialisation était, on l'a vu, déjà en germe, en la personne de Nicolas Delamare, sous le règne de Louis XIV. Mais succéder à un personnage aussi avisé, assidu et efficace n'est pas chose facile. Après lui, à partir de 1718, d'autres commissaires sont préposés avec plus ou moins de bonheur aux mêmes tâches⁵¹. Ainsi les commissaires Camuzet et René Le Comte — ce dernier, décédé en 1760, détenteur en outre d'une commission d'inspecteur de la librairie — sont chargés après Delamare de dresser périodiquement l'état des livres arrêtés à la chambre syndicale des libraires de Paris. Parallèlement, François Le Roux, huissier à cheval et exempt de la compagnie du lieutenant criminel de robe courte, est affecté après le commissaire Delamare, et par délégation du lieutenant de police, à l'«exécution des règlements de la librairie» et à la surveillance des colporteurs. Mais, en 1722, ce Le Roux est accusé de détourner le produit des saisies de livres pour en faire commerce; arrêté, il meurt à la Conciergerie après avoir été trop tardivement mis hors de cause. Le lieutenant de la compagnie de robe courte Tapin lui succède jusqu'en 1748, date à laquelle d'Hémery prendra le relais. En juin 1737, le lieutenant de police Hérault institue un troisième inspecteur de la librairie, chargé d'assister aux réunions bihebdomadaires des officiers de la chambre syndicale des libraires parisiens pour l'examen des livres envoyés de la douane. Ce poste est confié à un sieur Beauchamps, créature du comte d'Argenson, et peu zélé semble-t-il, qui sera remplacé en avril 1757 par les inspecteurs Jacques-Antoine Salley et Joseph d'Hémery. Par arrêt du Conseil du 14 septembre 1741, un inspecteur de la librairie est également institué et posté à Paris au port Saint-Nicolas pour surveiller le transport des «marchandises de librairie de Rouen à Paris»; Nicolas Néel est le premier titulaire de ce poste de mai 1742 à décembre 1743; il a pour successeur Tapin, lieutenant de la compagnie de robe courte, déjà chargé par ailleurs de l'inspection de la librairie, qui sera lui-même remplacé par d'Hémery en juin 1748.

Pendant toute cette première partie du XVIII^e siècle, la spécialisation de certains officiers de police dans les matières de la librairie ne se solde donc pas par des résultats particulièrement concluants. Elle se révèle même plutôt anarchique, sans grande efficacité pratique et même marginale. Car, faute d'hommes sûrs, capables et diligents — rappelons que Le Comte est accusé de malversation, que Beauchamps est taxé de négligence, ajoutons que Tapin, selon d'Hémery lui-même, a eu un commerce suspect avec une libraire, la veuve de Gabriel Amaulry⁵², et que l'inspecteur du port Saint-Nicolas est dénué de

⁵¹ Sur ces commissaires et inspecteurs spécialisés et ceux dont les noms vont suivre, cf. *Coyecque E.* Introduction // *Inventaire de la collection Anisson sur l'histoire de l'imprimerie et la librairie principalement à Paris.* Paris, 1900, en particulier P. IX–XII; *Herrmann-Mascard N.* Op. cit. P. 88–89.

⁵² BNF. Ms. fr. 22106. Fol. 221.

moyens —, le lieutenant de police doit souvent confier à d'autres parmi ses subordonnés les opérations délicates proprement relatives à la librairie.

Cette expérience de spécialisation n'est cependant pas abandonnée. Elle va même être relancée au milieu du siècle par le lieutenant de police Berryer, personnalité controversée en poste de mai 1747 à octobre 1757⁵³. Nicolas-René Berryer (1703–1762), fils d'un secrétaire du Conseil d'État, accède à la lieutenance de police par la faveur de M^{me} de Pompadour, dont sa femme est l'amie intime. Berryer est, au dire du marquis René-Louis d'Argenson dans ses *Mémoires*, un «pauvre petit magistrat assidu, travailleur, mais d'un esprit très médiocre»⁵⁴. Quant au comte d'Argenson (frère du précédent), qui a Paris dans son département et fait figure de ministre favori de Louis XV, il se méfie de lui et ne le laisse pas s'entretenir en tête à tête avec le roi — comme il est pourtant d'usage depuis La Reynie pour un lieutenant général de police de Paris. On accuse tour à tour Berryer d'avoir fait le jeu de la Pompadour, de s'être singularisé par sa dureté dans l'affaire des rafles pour la Louisiane en 1749–1750, et d'avoir usé de rigueur vis-à-vis de Diderot (emprisonné à Vincennes en 1749) et des encyclopédistes⁵⁵. Mais on ne peut lui contester le mérite d'avoir voulu réformer et perfectionner la machine policière, afin de mettre le plus possible ses performances au-dessus des aléas de la politique.

Aux yeux de Berryer, la spécialisation en effet n'est pas synonyme de dispersion et de déperdition des forces, c'est au contraire la clef de l'efficacité. Il est convaincu que «l'officier qui n'a à s'occuper que des mêmes choses y <...> acquiert des connaissances qui font qu'il s'en acquitte beaucoup mieux, plus facilement et avec plus de célérité»⁵⁶. Ce principe, Berryer le met en application avec succès en différents domaines, notamment en matière de sûreté, avec la création d'un «bureau de sûreté» gratuit pour les plaignants. Il encourage aussi la formation d'une bureaucratie policière plus stable et plus compétente, disposant d'archives bien ordonnées et généralisant l'usage de la fiche de renseignement. Berryer met également en avant le rôle des 20 inspecteurs de police, institués en 1708 — au nombre de 40, réduit à 20 en 1740 — et chargés de la «police active, exécutive et d'information». Enfin, toujours sur le plan des méthodes, il pousse à l'emploi systématique d'espions et de mouchards («mouches») recrutés parmi les repris de justice et les personnalités suspectes de chaque milieu. Dans la librairie, il utilise par exemple les services du compagnon imprimeur François Bonin, personnage trouble menant au moins double jeu, dont un certain nombre de lettres sont conservées parmi les archives de la Bastille et qui, selon d'Hémery, aurait fini par se brouiller avec Berryer en 1753⁵⁷.

⁵³ Sur Nicolas-René Berryer, voir entre autres *Shackleton R.* Deux policiers du XVIII^e siècle: Berryer et d'Hémery // *Thèmes et figures du siècle des Lumières. Mélanges offerts à Roland Mortier* / Éd. R. Trousson. Genève, 1980. P. 251–258.

⁵⁴ Cité par *Chassaigne M.* Op. cit. P. 66–67.

⁵⁵ Sur ces deux derniers points, voir *Combeau Y.* Op. cit. P. 346–347.

⁵⁶ Cité par *Chassaigne M.* Op. cit. P. 67.

⁵⁷ BNF. Ms. fr. 22065. P. 128–131.

Tous ces perfectionnements et innovations vont donc trouver leur application immédiate dans le domaine de la librairie, cher à Berryer et pour lequel il manifeste une information généralement sans faille. En cette matière, l'inspecteur d'Hémery va se révéler son digne élève. Avec d'Hémery, toutes les méthodes nouvelles promues par Berryer sont mises en œuvre, au service d'un principe de spécialisation renouvelé. Qu'il s'agisse de l'emploi de «mouches» et d'informateurs, de l'établissement de signalements, de fiches et d'archives, ou encore de la conception du rôle des inspecteurs, hommes d'information et d'action détachés de la filière juridictionnelle, toutes ces caractéristiques de l'exercice policier de d'Hémery sont directement issues des idées développées par le lieutenant de police Berryer.

JOSEPH D'HÉMERY (1722–1806)
ET L'«INSPECTION GÉNÉRALE DE LA LIBRAIRIE»

L'inspecteur d'Hémery est à partir de la mi- XVIII^e siècle un rouage incontournable de la machine policière parisienne dont il faut dire un mot⁵⁸. C'est d'abord un personnage assez mystérieux, ne serait-ce que par la naissance. Il a vu le jour à Stenay (aujourd'hui département de la Meuse) le 22 février 1722, d'un père inconnu, probablement d'un certain Davaux ou d'Avaux, fermier général du prince de Condé, propriétaire de terres à Stenay, et d'une servante de ce Davaux. D'abord promis à une carrière militaire, il entre à dix-sept ans à peine au régiment de Clermont-cavalerie en qualité de cadet, et s'en retire deux ans plus tard avec le grade de capitaine de dragons. Puis, en janvier 1741, il achète une charge d'exempt⁵⁹ de la compagnie du lieutenant criminel de robe courte au Châtelet de Paris et, en mars 1742, fait pour ainsi dire un mariage professionnel en épousant la fille de l'inspecteur de police Roussel.

Jeune officier de vingt ans, on peut supposer qu'il acquiert dès lors sur le terrain toute l'expérience des opérations ordinaires du métier d'exempt: notification des décisions de justice, arrestations, saisies, convoiement de prévenus, filatures, infiltration, renseignement... D'abord chargé notamment de l'inspec-

⁵⁸ Sur Joseph d'Hémery et sa carrière, voir, outre la contribution de Sabine Juratic et Jean-Pierre Vittu dans le présent recueil: *Coyecque E.* Op. cit. P. I–LI; *Shackleton R.* Op. cit.; *Darnton R.* Policing writers in Paris circa 1750 // *Representations*. 1984. N 5. P. 1–31; *Idem.* Le Grand Massacre des chats. Attitudes et croyances dans l'ancienne France / Trad. de l'américain par M.-A. Revellat. Paris, 1985. P. 137–175 («La République des lettres: les intellectuels dans les dossiers de la police», ch. 4); *Labarre A.* Hémery (Joseph d') // *Dictionnaire de biographie française*. Paris, 1989. T. XVII. Col. 888–889; *Mellot J.-D.* Hémery (Joseph d') // *Dictionnaire encyclopédique du livre*. Paris, 2005. T. 2. P. 465–466.

⁵⁹ Un exempt est un officier de police, en principe vêtu de bleu, chargé d'exécuter concrètement les ordres du roi; ce serait dans la France d'aujourd'hui à peu près l'équivalent d'un «lieutenant de police». La compagnie dite de robe courte du lieutenant criminel compte alors 6 lieutenants, 9 exempts et une cinquantaine d'«archers à pied et à cheval».

tion des jeux et tripots jusqu'en 1747⁶⁰, il devient coup sur coup, en succession du lieutenant Tapin, inspecteur chargé de la surveillance du transport des marchandises de librairie (10 juin 1748), puis inspecteur de la librairie préposé à l'«exécution des réglemens concernant la librairie et la conduite des colporteurs» (22 juin 1748). Très vite il a donc fait la preuve de ses dispositions au métier. En 1754, il acquiert en outre l'un des vingt offices d'inspecteur de police de Paris. Mais c'est dès 1748, sous l'autorité du lieutenant général de police Berryer, qu'il collecte et met en forme les matériaux de son *Historique des auteurs* (BNF, nouv. acq. fr. 10781–10783), fabuleux fichier de police recensant 501 hommes et femmes de lettres en activité à Paris entre 1748 et 1753.

C'est ce fameux fichier qui a, non sans raison, fait fantasmer les historiens du XVIII^e siècle et dont Robert Darnton a tiré son étude sur les «intellectuels dans les dossiers de la police»⁶¹. Mais ce n'est pas le seul morceau de choix que d'Hémery nous ait laissé. De janvier 1749 à 1752, il met aussi en fiches la population des imprimeurs et libraires parisiens (BNF, ms. fr. 22106 et 22107⁶²), et il recense également celle des colporteurs en activité à Paris jusqu'en 1752 (BNF, ms. fr. 21846 et 21848)⁶³. À partir de sources diverses (enquêtes, mémoires, aveux, dénonciations, rapports d'informateurs et de «mouches»), il tient à jour quotidiennement une documentation qui est aujourd'hui une mine pour l'historien. Et il faut encore citer son précieux *Journal de la librairie*, tenu à partir de 1750 (BNF, ms. fr. 22156–22165 et fr. 22038), qui fourmille de raretés bibliographiques et de détails curieux souvent introuvables ailleurs, et que présentent dans ce volume Sabine Juratic et Jean-Pierre Vittu.

Autrement dit, très vite, l'inspecteur d'Hémery ne se contente plus de seconder le «Magistrat», il devient le «Monsieur Librairie» de la capitale. Au point que Jean-Paul Belin n'a pas hésité à le qualifier, dans son ouvrage sur les livres prohibés, de « préfet de police de la librairie »⁶⁴.

Quoi qu'il en soit, à la disgrâce de Berryer, en 1757, non seulement il ne rentre pas dans le rang, mais il accroît le champ de ses compétences en recevant aussi, le 26 avril 1757, l'inspection des livres arrêtés à la chambre syndicale des libraires parisiens, attribution qu'il partage avec l'inspecteur Salley. Il concentre alors les pouvoirs d'un «inspecteur général de la librairie» bien qu'il n'en porte pas le titre officiellement (il ne s'en serait lui-même prévalu qu'en 1771 à l'oc-

⁶⁰ Cf. *Freundlich F.* Le Monde du jeu à Paris, 1715–1800. Paris, 1995 (en particulier p. 45 et note 112).

⁶¹ *Darnton R.* Le Grand Massacre des chats. Ch. 4: «La République des lettres: les intellectuels dans les dossiers de la police».

⁶² Ce fichier, intitulé *Historique des libraires et imprimeurs existans en 1752*, répertorie 273 imprimeurs et libraires, dont seulement 12 provinciaux (en l'occurrence personnages ayant eu maille à partir avec la police parisienne). Une édition critique de ce fichier a été entreprise par Jean-Dominique Mellot et Élisabeth Queval, au service de l'Inventaire rétrospectif de la Bibliothèque nationale de France.

⁶³ Nouveau recensement des colporteurs en 1757 (BNF. Ms. fr. 22115. Pièce 108).

⁶⁴ *Belin J.-P.* Le Commerce des livres prohibés à Paris de 1750 à 1789. Paris, 1913. Ch. V. P. 127.

casation d'une mission en province, à Rouen). En pratique, cependant, il surveille toute l'activité du livre à Paris. Production, entrepôts, débit, importation (il assiste deux fois par semaine à l'ouverture des ballots de librairie à la chambre syndicale), information, répression, tout passe par lui en cette matière. Il dirige lui-même les descentes, les perquisitions et les interrogatoires, traite avec les informateurs, etc.

Avec d'Hémery, la spécialisation policière fait donc la preuve de son efficacité, mais cette efficacité de spécialiste n'est pas sans ambivalence. À la différence en effet du commissaire Delamare un demi-siècle auparavant, l'inspecteur d'Hémery ne saurait mettre son zèle et ses lumières au service d'un seul maître. Le lieutenant de police Berryer a contribué à le lancer mais, du fait notamment de ses attributions auprès de la chambre syndicale des libraires, d'Hémery se doit de rendre compte aussi au directeur de la Librairie, lui-même dépendant du chancelier de France et/ou du garde des sceaux en fonction du crédit de ces ministres, ainsi qu'au secrétaire d'État de la Maison du Roi, chargé du «département de Paris». De ce fait, lorsqu'une personnalité active et réformatrice est aux commandes de la Librairie, comme c'est le cas avec Malesherbes, de 1750 à 1763, les compétences de d'Hémery sont particulièrement sollicitées. Malesherbes le consulte, n'hésite pas à l'envoyer en mission en province — aux foires de Beaucaire et de Montargis, à Rouen, à Nancy, Strasbourg, Rennes, Toulouse, etc. —, en fait son bras droit, et il lui arrive même de lui confier l'intérim de la direction de la Librairie. D'Hémery, en fait, réussit l'exploit de servir — au moins — deux maîtres que tout semble opposer. Berryer, homme de rigueur, n'hésite pas à sévir contre les auteurs et les écrits subversifs, tout au moins lorsqu'il n'en craint pas de retombées pour sa propre carrière; il fait emprisonner Diderot entre autres pour *Les Bijoux indiscrets*; il organise le coup de filet qui, en décembre 1748, permet l'arrestation et l'embastillement des diffuseurs sinon de l'auteur du succès érotique *Thérèse philosophe*, etc. L'idée de Berryer est clairement de se rendre indispensable au pouvoir royal grâce à son efficacité et à celle de ses subordonnés. Et il n'est pas mécontent de mettre ainsi en porte-à-faux Malesherbes, dont il réproouve les tolérances douteuses. En fait, le «système qu' <...> avoit conçu M. Berryer», au dire de d'Hémery lui-même⁶⁵, visait à court-circuiter Malesherbes dont il se méfiait et, à terme, à faire administrer la Librairie par le lieutenant général de police de Paris. Il semble même qu'en 1753 Berryer ait réussi à se faire confier l'octroi des privilèges, le roi ayant ôté pour un temps sa confiance au chancelier Guillaume de Lamoignon de Blancmesnil et à son fils Malesherbes⁶⁶.

De son côté, Malesherbes, ami des gens de lettres et personnalité éclairée, déplore cette dérive policière et l'opacité qu'elle implique. Dans ses *Mémoires sur la librairie* (1758–1759), après avoir souligné — sans le regretter tout à fait, on l'a vu — qu'en matière de librairie, à Paris, les moyens d'action se trouvent

⁶⁵ BNF. Ms. fr. 22114. N 22.

⁶⁶ *Belin J.-P.* Op. cit. P. 122, d'après les *Mémoires* du marquis d'Argenson.

entre les mains du lieutenant de police, il dénonce le fait que le «magistrat de la police», par ses pratiques occultes, ait «encouragé les libraires à échapper à la justice».

D'Hémery, lui, ne semble pas embarrassé outre mesure par cette situation apparemment inconfortable. Il sait qu'il est indispensable à la fois à la police de Paris et à l'administration de la Librairie; il peut se payer le luxe de jouer pour ainsi dire double jeu. Cette situation lui permet en effet de faire la pluie et le beau temps dans le milieu de la librairie parisienne dont il connaît tous les secrets, protégeant les uns, faisant pression sur les autres et espionnant consciencieusement tout le monde. D'où l'importance chez lui d'une documentation qui n'a pas seulement valeur archivistique ou juridique, mais permet surtout d'accumuler des informations monnayables afin de «tenir» délinquants et fauteurs de trouble potentiels par le chantage et l'intimidation. Autrement dit, compte tenu du contexte politique, c'est surtout au seul d'Hémery que profite la spécialisation policière telle qu'elle a été voulue par Berryer. La meilleure preuve, c'est que d'Hémery poursuit une carrière au moins aussi flatteuse sous les successeurs respectifs de Berryer et de Malesherbes.

À l'époque du lieutenant de police Sartine (1759–1774), d'Hémery parvient même à l'apogée de son «règne» sur la librairie. Par arrêt du Conseil du 22 avril 1760, il se fait attribuer la visite régulière des imprimeries, librairies et fonderies de caractères. En octobre 1763, à la disgrâce du chancelier de Lamoignon et de son fils Malesherbes, Antoine-Gabriel de Sartine (1729–1801) succède à ce dernier à la tête de la direction de la Librairie. Le fameux «système» de Berryer se trouve ainsi réalisé: la lieutenance de police va administrer directement la Librairie. Sartine, particulièrement apprécié pour son dynamisme et son zèle est aussi un homme des Lumières qui partage une grande partie des idées de Malesherbes en fait de librairie. Ami des philosophes, de Diderot en particulier depuis les années 1740, mais aussi de Voltaire, Beaumarchais, Rousseau⁶⁷, il est partisan d'un système plus fluide, plus libéral, plus en phase avec l'opinion éclairée et plus efficace tout à la fois. Un système qui entourerait la pratique censoriale d'une plus grande discrétion, générerait moins d'éclats et d'accrochages avec les parlements ou le clergé, et pour cela emploierait plus de permissions tacites et de tolérances verbales, plus d'anticipation et d'information policière que de répression et d'administration pure⁶⁸. D'Hémery est par excellence l'homme de cette nouvelle donne. «Légué» en quelque sorte par Berryer et Malesherbes à Sartine, il en devient le bras droit incontesté pour la librairie. Il est dans les meilleurs termes avec le nouveau lieutenant et directeur, dont il fait d'ailleurs réaliser l'un des portraits à ses frais⁶⁹. Sartine se repose en grande partie sur lui du «détail» de la librairie,

⁶⁷ Cf. *Michel J.* Du Paris de Louis XV à la marine de Louis XVI. L'œuvre de monsieur de Sartine. Paris, 1983. T. 1. P. 141–144 ; *Belin J.-P.* Op. cit. P. 123.

⁶⁸ *Michel J.* Op. cit. T. 1. P. 141–144.

⁶⁹ Cf. *Coyecque E.* Op. cit. P. XXXVIII–XL.

comme on dit alors. Ce qui permet au lieutenant de police de donner par ailleurs toute sa mesure dans des domaines sans doute plus vitaux à son gré: assurer les approvisionnements, développer la sûreté, le renseignement policier et politique, et ce que l'on appelle déjà la police «citoyenne» de Paris (secours, hospices, éducation, urbanisme...).

Si bien qu'en août 1768, les souverains impériaux Marie-Thérèse d'Autriche et son fils le futur Joseph II, alliés de la France et impressionnés par l'efficacité de la police parisienne, font demander par leur ambassadeur quelques éclaircissements au lieutenant de police sur les rouages de cette belle mécanique. Le commissaire Jean-Baptiste-Charles Le Maire, en poste depuis 1750⁷⁰, qui rédige le mémoire destiné à satisfaire leur curiosité, y réserve comme par hasard une place non négligeable à la police de la librairie. Son exposé, intitulé *Mémoire sur l'administration de la police en France. Contenant les éclaircissements demandés à ce sujet par LL. MM. Impériales et royales à M. de Sartine* et achevé au début de l'année 1771⁷¹, est le premier document à présenter de la façon la plus claire et pratique le fonctionnement de la police d'Ancien Régime — c'est en cela un important complément au traité pionnier de Nicolas Delamare. Or on peut légitimement supposer que c'est d'Hémery lui-même qui en a inspiré sinon écrit les passages traitant de la librairie. On y rappelle avec exactitude le système des privilèges, celui de la «librairie de police», le régime des métiers du livre et leur encadrement, la recherche des imprimeries clandestines et la surveillance des colporteurs, les saisies et confiscations, les punitions et peines applicables, etc.

Et le *Mémoire* rappelle aussi et peut-être surtout que la librairie n'est pas seulement sujette à une réglementation précise; elle tombe encore sous le coup de ce que l'on appelle alors la police d'inspection, les inspecteurs de police devant rendre compte au lieutenant de police des «nouvelles qui se répandent», des «discours et propos», imprimés ou non, qui leur apparaissent «séditieux, dangereux ou contraires au respect dû à l'autorité du gouvernement». Cela dit, la mission de la police, d'après le *Mémoire* de Le Maire, consiste à «ramener [les fautifs] à leur devoir plutôt par des avertissements [et] des corrections <...> salutaires données avec l'appareil toujours imposant de l'autorité publique <...> que par le poids d'une rigueur excessive plus propre à les révolter contre la loi qu'à leur en apprendre l'utilité <...> Dans les opéra-

⁷⁰ L'étude de V. Milliot (Op. cit. P. 60 et 77) permet de situer la carrière de ce commissaire, en charge du quartier de la place Maubert, promu «ancien» dès 1758 et distingué par le lieutenant de police Sartine.

⁷¹ Pour l'histoire et l'édition de ce mémoire, cf. *Gazier A.* La police de Paris en 1770. Mémoire inédit composé par ordre de G. de Sartine sur la demande de Marie-Thérèse // *Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Île-de-France*, t. V (1878). Paris, 1879. P. 1–131, et accessoirement *Michel J.* Op. cit., notamment. T. 1. P. 157. Sur la partie de ce mémoire consacrée à la police de la librairie, cf. *Mellot J.-D.* L'axe Paris-Vienne et la police du livre à la fin du XVIII^e siècle // *Libri prohibiti. La censure dans l'espace habsbourgeois, 1650–1850* / Éd. par M.-É. Ducreux, M. Svatos. Leipzig, 2005. P. 73–88. Achevé en janvier ou février 1771, le mémoire se trouve conservé en original à Vienne, au Haus- Hof- und Staatsarchiv (HHStA), Frankreich, Varia 34.

tions de la police, continue le *Mémoire* en prolongeant le raisonnement de Montesquieu dans *De l'esprit des loix*, la réussite dépend presque toujours <...> de n'avoir aucun obstacle ni aucune difficulté à prévoir ni à craindre, *ne pouvant admettre que très difficilement les formes juridiques qui par elles-mêmes sont longues et embarrassantes*⁷². Et le *Mémoire* confirme sans détour ce dont on se doute, à savoir que, «pour se procurer les découvertes et éclaircissements dont ils doivent» faire le rapport au «Magistrat», les inspecteurs «se servent de différentes sortes de personnes», vénales ou non; il s'agit, selon la terminologie de l'époque, que détaille le *Mémoire*, d'*observateurs*, d'*espions de société*, de *basses-mouches*, de *sous-mouches*, sans compter les dénonciateurs occasionnels et les plaignants. Ainsi «le Magistrat est instruit de ce qui se passe de plus secret de la part des particuliers <...> et <...> en conséquence il prend toutes précautions et mesures convenables pour empêcher tout ce qui pourrait troubler l'ordre public». Louis-Sébastien Mercier se bornera sans le savoir à «littériser» le texte même du *Mémoire* dans son *Tableau de Paris*, en une formule restée célèbre: «C'est de cette épouvantable lie que naît l'ordre public». Cette «lie», on l'évalue alors à près de 3 000 personnes à Paris, c'est-à-dire bien davantage que les effectifs dont dispose le lieutenant général de police dans la capitale⁷³.

Ce passage du *Mémoire* de Le Maire sur les auxiliaires officieux de la police parisienne a le mérite de nous rappeler que l'efficacité de la police d'Ancien Régime comporte, de l'aveu même de ses responsables, une large part d'opacité et d'arbitraire. Si la Ville est transparente sous le regard policier, les pratiques policières le sont quant à elles de moins en moins. D'Hémery, qui s'est taillé, par ses compétences, un domaine sur mesure et apparemment à l'abri des vicissitudes politiques, n'est pas pour autant un parangon de vertu. Avec lui, la police du livre sait admirablement étouffer les éclats et les désordres, prévenir discrètement les scandales, en un mot *anticiper et intimider*. Mais de telles méthodes peuvent aussi camoufler des menées plus troubles. À force de tirer les ficelles de la librairie, d'espionner, de démasquer, de faire chanter, de côtoyer les milieux interlopes, de «tolérer les petits abus pour en éviter de plus grands» selon la maxime de Malesherbes, la tentation est forte d'abuser de cette position occulte et dominante à la fois pour couvrir des trafics et des manœuvres intéressées — autrement dit, d'agir comme un «ripou», dirait-on aujourd'hui dans l'argot du milieu et de la police confondus. Et il est bien possible que d'Hémery ait succombé à pareille tentation. Ses façons sournoises l'avaient rendu odieux à certains, dont Rétif de La Bretonne. On sait aussi — faut-il voir là un héritage du temps où il surveillait les jeux d'argent? — qu'il se comportait un peu comme un «parrain» dans le milieu de la librairie,

⁷² Cf. l'édition du *Mémoire sur l'administration de la police en France. Contenant les éclaircissements demandés à ce sujet par LL. MM. Impériales et royales à M. de Sartine*, dans Gazier A. Op. cit. P. 27 et 36. Le passage souligné l'est par nous.

⁷³ En ce qui concerne notamment la «bureaucratie policière», rappelons qu'en 1789 les services du lieutenant général de police de Paris ne comptent que 9 bureaux et 34 commis.

préférant régner sur elle plutôt que de prétendre la corriger, prélevant sa dîme sur les nouveautés de livres, prohibées ou non, poussant ses protégés (souvent suspects) jusqu'à la maîtrise⁷⁴, prenant pour maîtresse une fille de libraire parisien — Marie-Marguerite Lesclapart (1756?–1799), fille de Pierre II Lesclapart —, qu'il épousera en secondes noces en 1789. Les *Mémoires secrets* de Bachaumont l'accusent, à la date de 1774, d'avoir «escamoté diverses pièces»⁷⁵. Il n'est donc pas invraisemblable qu'il ait pratiqué le trafic des livres interdits⁷⁶. Peut-être est-ce du reste ce qui explique son retrait anticipé et quasi complet de ses attributions en matière de librairie (1773). Jusqu'à la suppression des inspecteurs de la librairie, en 1790, d'Hémery ne conservera plus en effet de ses anciennes compétences en ce domaine que la visite des imprimeries et le contrôle des graveurs et fondeurs de caractères, tout en occupant par ailleurs divers emplois dans l'administration militaire et en devenant tout de même chevalier de l'ordre de Saint Louis en 1776. Il n'est pas indifférent que sa richissime bibliothèque, installée en 1766 dans un appartement de l'hôtel d'Évreux (Élysée actuel), ait été rachetée en 1773 pour la coquette somme de 400 000 livres. D'Hémery en récupérera une partie, revendue après sa mort, en janvier 1807.

L'expérience de d'Hémery est d'autant plus symptomatique de la gestion policière de la librairie à Paris que — ironie du sort — son successeur immédiat, l'inspecteur Goupil, serait tombé plus manifestement encore dans les mêmes travers et aurait dû se démettre en 1778, après avoir été surpris avec sa femme en train de faire commerce d'ouvrages prohibés saisis par lui⁷⁷. Confirmant ainsi le sévère diagnostic de Chassaing à propos des inspecteurs parisiens en général: «La police de la librairie et des colporteurs, les vérifications relatives à l'obtention des sauf-conduits constituaient un apanage fort copieux que son titulaire exploitait à merveille, commettant <...> force abus et vexations fructueuses»⁷⁸. Imagine-t-on leur lointain prédécesseur Delamare, pilier de la police louisquatorzienne, se permettre de tels écarts?

⁷⁴ Tel le Parisien Pierre-Nicolas Gauquery (1737?–1799?), successivement domestique d'ecclésiastiques, garçon de librairie et colporteur sous le manteau à partir de 1764, qui, après avoir été pris en faute et emprisonné en 1766 pour vente d'ouvrages prohibés, sera pourtant reçu maître libraire le 4 octobre 1767 grâce à l'appui de d'Hémery. Destitué en août 1770 pour un nouveau manquement, il sera néanmoins envoyé en mission d'espionnage en 1771 auprès des libraires de Rouen par le même d'Hémery et réhabilité dès cette année pour ses bons et loyaux services. On le trouve encore exerçant la librairie à Paris en 1790.

⁷⁵ *Bachaumont L. Petit de, et al. Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la République des lettres en France, depuis MDCCLXII...* «Londres, chez John Adamson», 1777. T. VII. P. 187.

⁷⁶ Hugues de Montbas l'en accuse explicitement dans son essai sur *La Police parisienne sous Louis XVI* (Paris, 1949. P. 134 et 136), mais sans apporter de preuve documentaire: «... comme deux de ses prédécesseurs <...> il faisait le commerce des livres prohibés saisis par ses soins et poussait la sollicitude jusqu'à fournir à ses clients des bibliothécaires recrutés parmi des collègues révoqués».

⁷⁷ *Belin J.-P.* Op. cit. P. 127; *Herrmann-Mascard N.* Op. cit. P. 91, d'après les *Mémoires secrets* de Bachaumont (Op. cit. 1779. T. XI. P. 202).

⁷⁸ *Chassaing M.* Op. cit. P. 266.

LA SANCTION D'UN SYSTÈME?
LEÇONS ET ÉPILOGUE

Aussi bien cet épisode ressemble-t-il à une double sanction pour l'expérience de spécialisation symbolisée par d'Hémery. Comme si une trop grande familiarité du policier avec le milieu qu'il était censé surveiller lui faisait fatalement contracter les vices mêmes qu'il devait réprimer. Après l'échec de cette expérience, le lieutenant général de police met fin en tout cas à la délégation jusqu'à confiée à d'Hémery.

Jean-Charles-Pierre Lenoir (1732–1807), accaparé par d'autres tâches, cherche même à se débarrasser de la direction de la Librairie, qu'il a héritée de son prédécesseur Sartine. «La multitude des affaires attachées à ma place, allègue-t-il, ne me permet pas de donner toute mon attention à l'administration de la librairie»⁷⁹. Beaucoup ont vu là une dérobade, le signe même que «le lieutenant général <... > n'osait plus répondre seul du sort de la monarchie»⁸⁰. Le garde des sceaux Armand-Thomas Hue de Miromesnil en profite en tout cas pour confier en août 1776 la direction de la Librairie à un jeune magistrat actif, François-Claude-Benoît-Brice Le Camus de Néville, avec qui il entreprend les importantes réformes du 30 août 1777, parmi lesquelles les premières mesures de «décentralisation» raisonnée de l'édition française. Cette étape marque donc la fin d'une gestion policière et parisienne de la librairie. Elle intervient aussi à une époque où grandit la dénonciation de l'arbitraire policier et de ses méthodes suspectes⁸¹, dont on retrouvera les échos pendant la Révolution, amplifiés notamment dans l'ouvrage de Pierre Manuel, *La Police de Paris dévoilée*. Le lieutenant de police Le Noir, malgré ses qualités de gestionnaire, est sacrifié en 1785, précisément à la suite d'une campagne de presse⁸². À la même époque, la tension répressive fait mine de faiblir: le nombre des embastillements pour fait de librairie chute dans la dernière décennie de l'Ancien Régime. Et il semble bien que la police, réduite en la matière à la tolérance de l'impuissance, ait en partie baissé les bras, du moins à Paris, pour se consacrer à des missions plus gratifiantes et «citoyennes». Et ce d'autant plus qu'à partir de l'annonce de la convocation des États généraux, au printemps 1788, une liberté de la presse quasi officielle s'est instaurée dans tout le pays. Il se peut aussi, et c'est l'idée

⁷⁹ Cf. *Belin J.-P.* Op. cit. P. 123–124, note 6; *Herrmann-Mascard N.* Op. cit. P. 37.

⁸⁰ *Belin J.-P.* Op. cit. P. 123–124, d'après *Manuel L.-P.* *La Police de Paris dévoilée...* Paris: Jean-Baptiste Garnery, [1790]. T. 2. P. 23–34.

⁸¹ *Chagniot J.* *La lieutenance générale de police de Paris à la fin de l'Ancien Régime // Les Institutions parisiennes à la fin de l'Ancien Régime et sous la Révolution française.* Colloque. Hôtel de ville, 13 octobre 1989 / Actes réunis par Y. Durand. Paris, 1990. P. 13–28, notamment P. 27.

⁸² Cf. *Montbas H. de.* Op. cit. P. 41–42; *Sars M. de.* *Le Noir, lieutenant de police, 1732–1807.* Paris, 1948. Sur le personnage et les conceptions de Lenoir, voir aussi *Milliot V.* *Jean-Charles-Pierre Lenoir (1732–1807), lieutenant général de police de Paris (1774–1785): ses «Mémoires» et une idée de la police des Lumières // Mélanges de l'École française de Rome.* 2003. T. 115. N 2. P. 777–806.

de Jean Chagniot⁸³, que la police de Paris, sa branche politique et d'opinion du moins, ait péché par autosatisfaction dans les deux décennies pré-révolutionnaires, se reposant notamment sur le travail inlassable effectué en amont: «Argus est devenu myope, peut-être parce que la situation n'inspirait plus aucune inquiétude à Paris. L'état de paix régnait en Europe, les factions religieuses s'étaient enfin calmées...»⁸⁴. On a probablement sous-estimé la capacité de nuisance de certains pamphlétaires ou gazetiers sans scrupules; Le Noir s'est moqué des sociétés secrètes; et «la police s'est contentée de rémunérer quelques publicistes comme le redoutable Brissot, sans parvenir d'ailleurs à maîtriser leur activité»⁸⁵.

C'est du moins une voie d'explication pour la conjoncture pré-révolutionnaire. Mais sur un plan plus structurel, peut-on avancer que se trouvent alors remises en cause les vertus cardinales de ce qui faisait l'efficacité et la fierté mêmes de la police de Paris, de ce qui pouvait la rendre fascinante pour les souverains de l'Empire et autres despotes éclairés, en matière de librairie notamment? Le fait, en particulier que, sans entraver la circulation des idées et les avancées des Lumières, la police informée de tout soit néanmoins à même d'éviter les excès et les scandales; le fait que, à la différence de l'institution censoriale, elle ne constitue pas un filtre identifiable et contestable; qu'à la différence de l'institution judiciaire, son action puisse être prompte, informelle, maîtrisée; le fait enfin qu'à la différence de l'institution administrative, alors en cours de conceptualisation, sa pratique soit mobile, directe, concrète. Sans oublier qu'une police ainsi conçue présente la particularité d'être un puissant instrument de centralisation. «La police de Paris seule, par sa vigilance, purge presque tout le royaume de ce qu'il peut renfermer de mauvais sujets et assure à cet égard la tranquillité générale» — point du plus haut intérêt pour les souverains Habsbourg, destinataires du *Mémoire* du commissaire Le Maire cité ici⁸⁶. Or la même idée, on le sait, prévalait en matière de librairie depuis le règne de Louis XIV. En favorisant sciemment la concentration de la vie de l'esprit à Paris, en assurant aux imprimeurs et libraires de la capitale l'exclusivité des nouveautés et des «livres de privilège», en limitant le nombre des presses concurrentes de province, on concentrait en même temps le «gibier» de la police parisienne, si puissante et si discrète qu'elle semblait être le mode de gouvernement idéal.

En cela pourtant on s'est sans doute doublement trompé. D'abord parce que la centralisation ainsi mise en place n'est qu'une «centralisation par défaut». Elle ne peut prétendre, même à l'aide d'une police parisienne si performante, compenser à l'échelle du royaume les concessions consenties par le pouvoir royal après 1715 face aux forces centrifuges que constituent les parlements de

⁸³ Chagniot J. Op. cit. P. 22.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid. Sur les autres espions littéraires utilisés par la police sous Louis XVI, cf. notamment Sars M. de. Op. cit. P. 35.

⁸⁶ Cité par Gazier A. Op. cit. P. 83.

province et les professionnels de l'imprimé que ceux-ci protègent — le premier président du parlement de Rouen, par exemple, est officiellement investi, dès les années 1720, du rôle de «directeur de la Librairie» dans l'étendue de son ressort, la province de Normandie. La police de Paris ne saurait par conséquent endiguer à elle seule le flot de contrefaçons et de livres prohibés imprimés en province qui submergent d'autant plus volontiers la capitale qu'ils sont bien meilleur marché que les productions parisiennes⁸⁷.

D'autre part, si le pouvoir royal croit maîtriser à son avantage un processus de centralisation qu'il a lui-même suscité, si sa police a l'œil sur les approvisionnements de Paris en grains et subsistances et veille à y enrayer l'agitation, d'autres périls menacent une capitale où se sont concentrés les élites et les enjeux de toute une nation. Car la centralisation contribue, que le pouvoir central le veuille ou non, à accélérer la circulation des idées et à en amplifier les répercussions — ce sera l'une des clairvoyantes analyses d'Alexis de Tocqueville dans *L'Ancien Régime et la Révolution*. Certes, la police du livre, par son adresse et son omniscience, a su prolonger avantageusement les dispositifs législatif et censorial. Certes, elle a su au quotidien étouffer bien des crises, assourdir bien des éclats. Mais elle n'a pu empêcher, dans les milieux éclairés et au-delà, la fermentation des esprits, la contestation diffuse de l'ordre établi et la mise en évidence de ses contradictions.

La meilleure police qui soit ne remplacera jamais une politique. Or, dans le cas de l'Ancien Régime, le concept de police avait fini par s'imposer massivement à la vie publique. La police représentait en quelque sorte la «main invisible du pouvoir» régulant la société à son insu et malgré elle, tout comme l'économie de marché alors théorisée par Adam Smith était cette autre «main invisible», assurant la «richesse des nations» en dépit et à cause même des égoïsmes en présence. En forçant le trait, on a donc pu caractériser l'Ancien Régime finissant comme un «État de police», auquel la Révolution serait venue substituer enfin un «État de droit» ne reconnaissant que la loi et la constitution et ayant banni tout arbitraire policier. C'est oublier un peu vite qu'aucun des deux paradigmes ainsi naïvement contrastés n'a évité le désaveu et l'échec au regard de ce qui constituait le cœur même de ses principes politiques. L'histoire particulière de la police du livre n'est-elle pas là pour nous l'enseigner?

L'Ancien Régime, en effet, malgré l'appareil de rigueur hérité du règne de Louis XIV, n'était plus au XVIII^e siècle ni absolu ni monolithique, mais pluraliste malgré lui, traversé de courants plus ou moins recevables et puissants avec lesquels censure et police devaient compter pour espérer contrôler, «gérer» l'opinion publique. Cette opinion publique elle-même n'était maîtrisable que négativement par la censure et la police, tant que la monarchie, prisonnière de son instabilité et de ses contradictions, ne l'investissait pas d'une véritable vision politique, ne restaurait pas la confiance, ne proposait pas de ligne de

⁸⁷ Cf. *Mellot J.-D.* Entre «librairie française» et marché du livre au XVIII^e siècle: repères pour un paysage éditorial // *Le Livre et l'historien. Études offertes en l'honneur du professeur Henri-Jean Martin*. Genève, 1997. P. 493–517.

réformes lisibles, cohérentes, remettant nettement en cause le blocage des privilèges, et susceptibles de dégager un consensus par adhésion. Sans cela, elle en était réduite, comme l'avait fort bien diagnostiqué Rousseau dès 1760 dans une lettre à Malesherbes, à cultiver l'illusion de la rigueur⁸⁸ et du consensus par exclusion — avec ses symboles visibles (Bastille, censure préalable, centralisation du contrôle de l'édition...) mais devenus inefficaces et critiquables à l'en-
vi. La police, malgré ses performances, restait un instrument, elle ne pouvait à elle seule entreprendre de réparer cette contradiction: jusqu'à la chute de la monarchie absolue, elle a servi les maîtres que le régime lui enjoignait de servir, sans prétendre se substituer à eux dans leurs choix ou non-choix politiques.

La Révolution, si l'on se risque à en résumer le cours, a proclamé en quelques mois une série de principes fondamentaux qui ont recueilli un large consensus et permis de lever une grande partie des contradictions qui grevaient le régime précédent. L'Assemblée, sensible à l'insistante dénonciation de l'action occulte de la police parisienne et soucieuse d'ancrer le dogme de la séparation des pouvoirs, a voulu faire disparaître toute trace d'arbitraire policier⁸⁹; elle a opté pour un démantèlement de la lieutenance de police de la capitale et pour une désétatisation de l'institution policière, désormais confiée aux administrations municipales. En matière de librairie⁹⁰, la proclamation de la liberté de la presse (été 1789), bien qu'elle ait entraîné de sérieux problèmes économiques, a répondu à une forte attente et placé l'information des citoyens au centre de la vie sociale et politique. Plus aucune institution n'a donc été censée contrôler les opinions et leur expression; plus de censure préventive, plus de privilèges pour publier livres et journaux, plus d'exclusivité des corporations d'imprimeurs et de libraires sur la production et la vente de l'imprimé. Mais si, sur les principes fondateurs, le consensus a été réel, la politique même du nouveau régime, notamment l'adoption de la Constitution civile du clergé (juillet 1790) et l'attitude vis-à-vis du roi n'ont pas tardé à faire apparaître de graves tensions. Tensions qui, sous ce régime de liberté de la presse, ont pu s'étaler dans une foule de journaux et de brochures d'information politique. Pour éviter d'avoir

⁸⁸ Rousseau J.-J., *Malessherbes Ch.-G. de Lamoignon de. Correspondance / texte préfacé et annoté par B. de Negroni*. Paris, 1991. P. 75–76, lettre datée de Montmorency, 5 novembre 1760: «Il [le gouvernement français] ne saurait, quand il le voudrait, adoucir cette rigueur [censuriale]; car un gouvernement qui peut tout ne peut pas s'ôter à lui-même les chaînes qu'il est forcé de se donner pour continuer de tout pouvoir <...> Suivant une des maximes du gouvernement de France, il y a [donc] beaucoup de choses qu'on ne doit pas permettre et qu'il convient de tolérer...».

⁸⁹ Pour une intéressante dénonciation contemporaine, sur le plan des principes, de l'écart entre loi et police, entre norme et action policière, entre garantie des libertés et logique de prévention, voir notamment l'article de *Peuchet J.* Réflexions sur l'institution des lieutenants de police avec faculté de prévenir les délits et d'en rechercher les auteurs // *Moniteur universel*. Mai 1790. t. IV, cité par *Napoli P.* Op. cit. P. 209–210.

⁹⁰ Voir notamment *Mellot J.-D., Queval É., Sarrazin V.* La liberté et la mort? Vues sur les métiers du livre parisiens à l'époque révolutionnaire // *Revue de la Bibliothèque nationale*. 1993. N 49. P. 76–90; *Kupiec A.* Le Livre-Sauveur: la question du livre sous la Révolution française, 1789–1799. Paris, 1997.

à user de compromis et à faire éventuellement marche arrière, le nouveau régime constituant a préféré laisser s'installer des rapports de forces. L'inefficacité de la nouvelle organisation policière a fourni le prétexte à des vagues successives d'intimidations militantes à l'égard notamment des périodiques les plus conservateurs⁹¹. Puis c'est par la voie des mouvements et «journées» populaires parisiennes que l'arbitraire s'impose en force.

Au *pluralisme subi* de la fin de l'Ancien Régime succède alors le *pluralisme nié* au nom de la «volonté du peuple» — en pratique les factions militantes parisiennes —, et la Révolution bascule dans l'unanimisme obligé, les solutions exclusives, la dénonciation institutionnalisée du «complot» et la chasse aux «traîtres». Tandis que l'on continue d'invoquer la liberté de la presse et d'y voir la pierre angulaire du nouveau régime⁹², les persécutions et les saccages d'imprimeries se multiplient. La Révolution se retrouve à son tour prisonnière de contradictions délétères («Pas de liberté pour les ennemis de la liberté»). Jamais les métiers du livre et de l'imprimé n'auront été si cruellement frappés et réprimés que sous la Convention (1792–1795) — pas moins de 29 professionnels de l'imprimé exécutés sur sentence du seul Tribunal révolutionnaire siégeant à Paris entre mars 1793 et mai 1795⁹³ —, en cette époque où la censure est théoriquement abolie, la liberté proclamée, et où l'état d'alerte, le zèle militant et les comités révolutionnaires ont remplacé la police. Sous le Directoire (1795–1799), cependant que, pour chasser le spectre de la Terreur, la ligne politique se résume au maintien des acquis des premières années de Révolution, la police fait un retour remarqué, avec la création même d'un ministère de la Police générale (1796), où s'illustrera Joseph Fouché de 1799 à 1810. Faut-il voir là l'idée implicite que l'échec de la liberté de la presse marque aussi une carence du côté de la police? Ou le fait que «le dépassement d'un processus révolutionnaire exténuant passe aussi par l'œuvre pacificatrice de la police»⁹⁴? Toujours est-il que la voie est dès lors tracée pour une réactivation des recettes de l'Ancien Régime, qui intervient un peu plus tard avec la restauration de la lieutenance de police sous l'aspect de la préfecture de police de Paris (1800), puis

⁹¹ Voir notamment *De Baecque A.* Le commerce du libelle interdit à Paris (1790–1791) // Dix-huitième siècle. 1989. N° 21 (numéro spécial: Le Commerce de l'imprimé pendant la Révolution. Actes du colloque de Montreuil, 6 mai 1989). P. 233–246; *Andries L.* Les imprimeurs-libraires parisiens et la liberté de la presse (1789–1795) // *Ibid.* P. 247–261. Les auteurs de ces contributions ont utilisé les Archives de la Préfecture de police de Paris pour la période révolutionnaire, notamment les procès-verbaux des commissaires de section.

⁹² On lit ainsi, sous la plume de Camille Desmoulins (*Le Vieux Cordelier*, N° 7, 15 pluviôse an II [i. e. 3 février 1794]): «Je suis <...> persuadé que, chez un peuple lecteur, la liberté illimitée d'écrire <...> même en temps de révolution, ne pourrait être funeste; par cette seule sentinelle, la République serait suffisamment gardée contre tous les vices, toutes les friponneries, toutes les intrigues, toutes les ambitions».

⁹³ *Mellot J.-D., Queval É., Sarrazin V.* Op. cit. P. 78. Victimes auxquelles il faudrait ajouter celles de Lyon (plus de 20), d'Avignon (2, exécutées à Orange), de Bordeaux, de Nîmes, etc., sans oublier les nombreux professionnels emprisonnés, persécutés, pénalisés ou simplement suspectés dans l'ensemble de la France et des territoires conquis par la République.

⁹⁴ *Napoli P.* Op. cit. P. 244.

sous l'Empire, le rétablissement d'une Direction générale de l'imprimerie et de la librairie, celle de la censure préventive sans le nom et enfin la remise en place d'un contingentement des métiers du livre à travers l'institution des brevets d'imprimeur et de libraire (1810). Le livre et l'imprimé sont alors redevenus l'objet d'une attention et d'une surveillance spécifiques. Signe des temps: une grande partie des professionnels de l'imprimé voient dans ce retour partiel à l'Ancien Régime une salutaire remise en ordre et même une protection contre la répression et les saisies arbitraires de la police de Fouché.

Ainsi l'expérience révolutionnaire semble-t-elle avoir démontré paradoxalement que l'intolérance et le sectarisme pouvaient fort bien prospérer en l'absence de censure formelle, de même que la réduction des compétences attribuées à la police et la disparition de la police du livre ne garantissaient en rien les libertés proclamées et singulièrement celle de la presse. Sans une politique et une police s'attachant à faire respecter un minimum de tolérance et de pluralisme, la liberté de la presse pouvait même ressembler à une sanglante chimère, au sein d'une nation nominalement démocratique. Cette leçon insolite de la Révolution française allait favoriser le conservatisme, repousser l'horizon de la liberté de la presse et retarder l'avènement d'un régime démocratique durant la majeure partie du XIX^e siècle, tandis qu'à l'ombre de la censure et de la police d'Ancien Régime avaient pu se développer, ne l'oublions pas, une pluralité d'idées et d'opinions plus ou moins avancées, audacieuses et contradictoires — les Lumières en somme.

ANNEXE:
LES LIEUTENANTS GÉNÉRAUX DE POLICE
DE PARIS DE 1667 À 1789

LA REYNIE (Gabriel-Nicolas de):

mars 1667 – janv. 1697

ARGENSON [père] (Marc-René de Voyer de Paulmy, marquis d'):

janv. 1697 – janv. 1718

MACHAULT d'ARNOUVILLE (Louis-Charles de):

janv. 1718 – janv. 1720

ARGENSON [fils] (Marc-Pierre de Voyer de Paulmy, comte d'):

janv. 1720 – juillet 1720

TASCHEREAU (Gabriel), seigneur de Linières et de Baudry:

juillet 1720 – avril 1722

ARGENSON [fils] (Marc-Pierre de Voyer de Paulmy, comte d'):

avril 1722 – janv. 1724

OMBREVAL (Nicolas-Jean-Baptiste Ravot d'):

janv. 1724 – août 1725

HÉRAULT (René), seigneur de Fontaine-l'Abbé et de Vaucresson:
août 1725 – déc. 1739

FEYDEAU de MARVILLE (Claude-Henri) [gendre du précédent]:
déc. 1739 – mai 1747

BERRYER (Nicolas-René), seigneur de Ravenoville:
mai 1747 – oct. 1757

BERTIN (Henri-Léonard-Jean-Baptiste), comte de Bourdeilles:
oct. 1757 – nov. 1759

SARTINE (Antoine-Raymond-Jean-Gualbert-Gabriel de):
nov. 1759 – août 1774

LE NOIR ou LENOIR (Jean-Charles-Pierre):
sept. 1774 – mai 1775

ALBERT (Joseph-François-Ildefonse-Raymond d'):
mai 1775 – juin 1776

LE NOIR ou LENOIR (Jean-Charles-Pierre):
juin 1776 – août 1785

THIROUX de CROSNE (Louis) [guillotiné le 28 avril 1794]:
août 1785 – juillet 1789

Жан-Доминик Мелло

**«Современная полиция» и полицейский надзор
за книгопечатанием и книготорговлей
от «века Людовика XIV» к веку Просвещения:
исходные рубежи и эволюция**

Полиция вообще и полицейский надзор за книгопечатанием и книготорговлей в частности существовали во Франции и в XVI, и в начале XVII в., но в то время полицейские функции осуществлялись совершенно различными инстанциями, зачастую конкурировавшими друг с другом, особенно в столице, как это ни парадоксально. Вплоть до начала самостоятельного правления Людовика XIV в распоряжении монархии не было единого учреждения, позволявшего ей вмешиваться в жизнь города, дабы заставить его обитателей соблюдать законы (в том числе акты о книгах и книжной торговле), обеспечивать порядок и безопасность. Создание ведомства генерального лейтенанта полиции Парижа (1667), во главе которого был поставлен усердный исполнитель монаршей воли, отразило назревшую потребность в нем. Король получил полицейское учреждение централизованного типа, эффективность которого вскоре была признана всеми. В сфере надзора над книгопечатанием и книготорговлей, как и в других областях (обеспечение продовольствием, безопасность, контроль над состоянием дорог и улиц), это учреждение опиралось в своей работе на персонал, как правило, преданный своему делу. Одним из таких людей был комиссар Никола Деламар, автор *Трактата о полиции*, особенно сведущий в вопросах, связанных с производством и распространением книг. Благодаря ему полиция добилась в этой сфере существенных успехов, причем как в наблюдении за ис-

полнением законов и регламентов, так и в репрессивных мерах, конфискациях и арестах. Вся ее энергия была направлена на службу единственной «максиме порядка» и монархической доктрине, казалось бы, не оставлявшей места для противоречий и компромиссов. Эти успехи стали особенно заметны в период, совпавший с реорганизацией и усовершенствованием другого централизованного учреждения – предварительной цензуры, подчинявшейся Королевской палате книгопечатания и книготорговли при канцлере Франции. Полиция служила как бы дополнением цензуры и обеспечивала выполнение ее решений, однако ее собственные характеристики (реальная власть, информированность, быстрота, вездесущность, способность действовать без огласки и предотвращать нежелательные события) обеспечивали ей автономию и делали ее ценным инструментом абсолютной монархии.

Абсолютизм передает парижскую полицию веку Просвещения, причем без всякого ущерба для ее репутации. Напротив, в эту эпоху полиция вновь доказывает свою эффективность и совершенствует свои методы: с конца 1740-х годов, при инспекторе Жозефе д'Эмери, специализация становится правилом организации полицейского надзора. Однако после 1715 г. полиции приходится приспосабливаться к новой ситуации, для которой характерны постоянные колебания королевской власти между реформами и консерватизмом, терпимостью и непреклонностью, уступками «посредствующим властям» (в частности парламентам) и группам влияния, с одной стороны, и бескомпромиссностью и авторитаризмом – с другой. В этих условиях монархия предпочитает использовать полицию как своего рода «метацензуру», более гибкую и незаметную, чем официальная цензура; ее целью становится скорее повседневное проникновение в сочинения и умы, нежели проведение принципиальной политической линии, направленной на установление в обществе долговременного консенсуса.

В итоге политическая система предреволюционной Франции, при всем ее плюрализме все более обвиняемая в абсолютизме, становится жертвой собственных противоречий. Революция отбросит оставленный Старым порядком набор эффективных полицейских инструментов, в том числе в сфере надзора над книгопечатанием и книготорговлей, позаимствовав лишь произвол и гипертрофию центральной исполнительной власти. Дезорганизованная полиция, брошенная государством на произвол судьбы, ничем не сможет обеспечить провозглашенной новым режимом свободы прессы, которая будет принесена в жертву иллюзии «общей воли» и станет игрушкой в руках парижских революционных группировок. Извлекая урок из этой ситуации, Директория (1795–1799) приступит к решительному восстановлению полиции. Этот процесс, растянувшийся на годы Консульства, Империи, Реставрации и значительную часть XIX в., приведет к ограничению свободы прессы и возрождению в совершенно новых политических условиях разнообразных средств контроля над печатью и общественным мнением, активно применявшихся при Старом порядке.

SABINE JURATIC, JEAN-PIERRE VITTU

SURVEILLER ET CONNAÎTRE:
LE *JOURNAL DE LA LIBRAIRIE* DE JOSEPH D'HÉMERY,
INSTRUMENT DE LA POLICE DU LIVRE À PARIS
AU XVIII^e SIÈCLE

Tout à la fois document d'archives et rapport administratif, le journal de la librairie parisienne produit par l'inspecteur Joseph d'Hémery entre 1750 et 1769 a attiré depuis longtemps l'intérêt des historiens de la littérature et de la culture, qui l'ont utilisé comme source documentaire pour cette période centrale de la production du livre philosophique et de l'encyclopédisme. C'est ainsi que Franco Venturi y puisa des informations pour *La Jeunesse de Diderot*, publiée en 1939, et que, plus récemment, Robert Shackleton et Robert Darnton y trouvèrent des éléments de leurs analyses: le premier sur les relations entre d'Hémery et le lieutenant général de police de Paris Nicolas-René Berryer, son supérieur jusqu'en 1757¹, et le second pour l'étude du fichier des auteurs constitué lui aussi par d'Hémery².

Jusqu'alors, cet intérêt n'a pourtant suscité la publication que des deux premières années de ce document dans le cadre d'un diplôme universitaire assez peu diffusé³: notre ambition est donc de donner, à terme, une édition intégrale des vingt années que couvre cette source. Si le travail éditorial n'en est encore qu'à ses débuts, l'achèvement de la première phase de transcription de l'ensemble du texte nous autorise déjà à interroger ce document comme témoignage de

©Sabine Juratic, Jean-Pierre Vittu, 2008

¹ *Shackleton R.* Deux policiers du XVIII^e siècle: Berryer et d'Hémery // *Thèmes et figures du siècle des Lumières. Mélanges offerts à Roland Mortier / Éd. R. Trousson.* Genève, 1980. P. 251–258.

² *Darnton R.* La République des lettres: les intellectuels dans les dossiers de la police // *Darnton R.* Le Grand Massacre des chats. Paris, 1985. P. 137–175; *Idem.* Les encyclopédistes et la police // *Darnton R.* Gens de lettres, gens du livre. Paris, 1992. P. 69–83.

³ *Bruno M. R.* The Journal d'Hémery, 1750–1751: an edition. Ph. D. Vanderbilt University, 1977.

l'activité d'un inspecteur de la librairie au moment où paraissent à Paris quelques-uns des principaux textes des Lumières. Nous pouvons donc situer le statut et le parcours de d'Hémery, puis analyser la forme et le contenu de ce *Journal* pour tenter d'en déterminer les finalités, la manière dont il rend compte de la surveillance de l'imprimé à Paris, et enfin estimer son apport à la connaissance des pratiques de la librairie dans l'espace de la ville.

JOSEPH D'HÉMERY
ET LA SURVEILLANCE DU LIVRE

Né en 1722, Joseph d'Hémery entre dans la carrière militaire en 1739 comme cadet au régiment de Clermont-cavalerie⁴. Après cette première expérience, les fonctions qu'il est appelé à exercer le placent sous les multiples patronages du Châtelet, de la lieutenance générale de police, de l'armée et de la maréchaussée d'Île-de-France. À partir de 1741, d'Hémery fait en effet l'acquisition de différents offices royaux, attachés au Châtelet, d'abord une charge d'exempt du lieutenant criminel de robe courte, puis celle de lieutenant dans la même compagnie en 1748. Sous l'autorité de Claude-Henri Feydeau de Marville, lieutenant de police jusqu'en 1747, il est spécialement chargé, avec l'inspecteur de Saint-Marc, de l'inspection des tripots et des jeux⁵. Marié depuis 1742 avec la fille de l'inspecteur Roussel, d'Hémery acquiert lui-même, en 1754, l'un des vingt offices d'inspecteur de police de Paris. Il exerce cette charge jusqu'en 1761, d'abord dans le quartier Sainte-Avoïe, puis dans celui du Luxembourg, à proximité du quartier des libraires sur lesquels il est déjà, à cette époque, chargé d'exercer une surveillance en vertu de plusieurs commissions particulières qui lui ont été attribuées à partir de 1748 et sur lesquelles nous reviendrons.

Les fonctions de d'Hémery ne se limitent pas pour autant au seul service de la police active, car il mène parallèlement carrière au sein de la maréchaussée et dans l'administration militaire⁶ et en retire une part notable de ses revenus, d'abord comme capitaine de première classe de l'hôtel des Invalides (1768),

⁴ La biographie et la carrière de d'Hémery ont été reconstituées pour l'essentiel par *Coyecque E.* Inventaire de la collection Anisson sur l'histoire de l'imprimerie et de la librairie. Paris, 1899. T. 1. P. II–LI. Depuis, R. Shackleton a élucidé les origines paternelles du futur inspecteur, né enfant naturel de Davaux, fermier et receveur général du prince de Condé à Stenay. Voir aussi la contribution de Jean-Dominique Mellot dans le présent recueil et, du même, «Hémery, Joseph d'» // Dictionnaire encyclopédique du livre / Sous la dir. de P. Fouché, D. Péchoin, P. Schuwer, et la responsabilité scientifique de J.-D. Mellot, A. Nave, M. Poulain. Paris, 2005. T. 2. P. 465–466 et bibliographie p. 1035.

⁵ *Freundlich F.* Le Monde du jeu à Paris, 1715–1800. Paris, 1995. P. 45.

⁶ Sur ces aspects de la carrière de d'Hémery, voir *Coyecque E.* Op. cit. P. XXXII; *Chagniot J.* Paris et l'armée au XVIII^e siècle. Étude politique et sociale. Paris, 1985. P. 110; *Brouillet P.* La Maréchaussée dans la généralité de Paris au XVIII^e siècle, étude institutionnelle et sociale. Thèse de doctorat. Paris, École pratique des hautes études, 2002, dactylogr.

puis à partir de mars 1770 comme trésorier payeur général des pensions militaires. Il obtient, en mai 1773, une commission de lieutenant en second de la prévôté et maréchaussée générale d'Île-de-France et, le 6 juillet 1773, devient aide major à l'hôtel des Invalides. Inspecteur général des brigades de la maréchaussée de 1775 à 1784, puis lieutenant de la première division de la maréchaussée en 1785, il est promu, en 1788, au grade de lieutenant-colonel d'infanterie.

Homme polyvalent, d'Hémery sut, selon toute apparence, jouer avec habileté de la position que lui conféraient ses multiples responsabilités d'officier, d'inspecteur et d'administrateur, pour se ménager la confiance de quelques-uns des plus hauts responsables du gouvernement: le chancelier, par l'intermédiaire de son représentant, le directeur de la Librairie; le garde des sceaux; le secrétaire d'État de la Maison du Roi, chargé du département de Paris, responsable à ce titre de la maréchaussée d'Île-de-France; enfin le lieutenant général de police de Paris. Sous l'autorité d'Antoine-Gabriel de Sartine, qui cumula à partir de 1763 les responsabilités de directeur de la Librairie et celles de lieutenant général de police, d'Hémery fut chargé de plusieurs missions politiquement sensibles. À cette époque, selon le témoignage du libraire Siméon-Prosper Hardy, apparemment bien informé des faits et gestes de d'Hémery, celui-ci était devenu un «homme de confiance pour toutes les expéditions secrètes et de quelque importance»⁷. L'inspecteur aurait été ainsi successivement chargé, en 1765, de superviser le transfert à Orléans des ursulines de Saint-Cloud opposées à l'archevêque de Paris⁸ et, en 1767, de procéder à l'arrestation du père Lavalette à Toulouse⁹. En mai 1771, il est envoyé en Bretagne pour arrêter le substitut du procureur général du parlement de Rennes, Du Brossay, et saisir ses papiers¹⁰. Enfin, au mois de septembre 1773, il est à Hambourg pour interpellier le colonel Dumouriez — l'un des protagonistes de l'affaire du secret du roi — et le conduire à la Bastille¹¹.

Ce dernier épisode, qui témoigne du haut degré de confiance que ses supérieurs accordaient à d'Hémery, s'accompagne d'un passage au second plan de ses responsabilités en matière de librairie. Au mois d'octobre 1773, d'Hémery reçoit en effet de Sartine l'autorisation de restreindre ses activités dans ce domaine, tout en conservant, jusqu'en 1789, le statut d'inspecteur et une partie

⁷ Hardy S.-P. Mes loisirs, ou Journal d'événemens tels qu'ils parviennent à ma connoissance, à la date du 20 février 1771 (BNF. Ms. fr. 6680. P. 253).

⁸ Ibid. BNF. Ms. fr. 6680. P. 69, 14 octobre 1765.

⁹ Ibid. BNF. Ms. fr. 6680. P. 136. Le jésuite Antoine Lavalette, établi en 1741 à La Martinique, où il était chargé de la gestion des affaires de la Compagnie de Jésus, avait été à l'origine d'une banqueroute retentissante qui fut l'un des prétextes avancés pour la suppression des Jésuites en France. Expulsé de la Compagnie en 1762, il était revenu en Europe, d'abord, semble-t-il, en Angleterre, puis à Toulouse.

¹⁰ BNF. Ms. fr. 22101. Pièces 38–52. À cette occasion, d'Hémery échoua dans la première partie de la mission qui lui avait été confiée. Malgré le secret qui entourait l'entreprise, Du Brossay, ayant eu vent de ce qui se tramait, avait réussi à prendre la fuite.

¹¹ Hardy S.-P. Op. cit. BNF. Ms. fr. 6681. P. 228, 19 septembre 1773.

des rôles de conseil et des capacités d'intervention qui y étaient attachés¹². Les éminents services qu'il avait rendus dans les affaires spéciales où il avait été appelé à intervenir furent, semble-t-il, appréciés à leur valeur. Plusieurs responsables, notamment le duc de La Vrillière, soutinrent, à partir de 1771 auprès du ministre de la Guerre, les démarches que d'Hémery effectua pour obtenir la croix de Saint Louis¹³. Il n'accéda cependant à cette dignité que le 23 février 1776, grâce à l'appui de Malesherbes, alors secrétaire d'État de la Maison du Roi, qui avait eu l'occasion, lorsqu'il était directeur de la Librairie entre 1750 et 1763, de bien connaître l'inspecteur chargé de coordonner la surveillance du livre à Paris.

Serviteur zélé de l'administration royale, d'Hémery était, en effet, parvenu à réunir entre ses mains, à partir de 1748 — Berryer étant lieutenant de police —, différentes commissions qui firent de lui le maillon central de l'appareil de contrôle de l'imprimé à Paris à cette époque. En juin 1748, il remplaça le lieutenant de robe courte Tapin dans les deux responsabilités d'inspection que celui-ci exerçait: en vertu d'un arrêt du Conseil, l'inspection sur les ports des livres et imprimés provenant de Rouen par voie fluviale, et, par une commission du lieutenant général de police, la surveillance de la librairie et des métiers du livre. En 1757, d'Hémery est aussi nommé par ordre du roi, conjointement avec le censeur Jacques-Antoine Salley, pour représenter l'autorité royale aux visites des ballots de livres provenant de la douane faites à la chambre syndicale des libraires de Paris par le syndic et les adjoints. Un arrêt du Conseil du 22 avril 1760, qui confirmait Salley et d'Hémery dans ces fonctions d'inspecteurs à la chambre, leur accorda en outre le droit «de perquisitionner dans toutes les dépendances de la librairie et imprimerie», une prérogative jusqu'alors réservée aux seuls officiers des libraires, lesquels tentèrent, sans succès, de s'opposer à ce nouveau droit accordé aux inspecteurs. Ces derniers avaient aussi hérité de la tâche, exercée antérieurement par le commissaire René Le Comte, de dresser, à l'occasion d'un changement de syndic, des états des livres suspendus et non retirés de la chambre syndicale.

Grâce au cumul de ces différentes commissions, d'Hémery était devenu un spécialiste de la police du livre et se désignait d'ailleurs lui-même par le titre d'«inspecteur général de la librairie» dans plusieurs procès-verbaux de perquisitions effectuées chez des libraires en Normandie en 1771¹⁴. Il exerça pleinement ses activités jusqu'à ce que, au mois d'octobre 1773, au lendemain de sa mission à Hambourg, il obtienne d'être déchargé d'une partie de ses tâches grâce à la nomination d'un autre inspecteur. Bien qu'il ait conservé, avec son titre,

¹² BNF. Ms. fr. 22063. Pièce 40. La variété des fonctions confiées à d'Hémery se lit aussi dans l'*Almanach royal*. Son nom figure ainsi à trois reprises dans l'édition de 1779: p. 407 comme inspecteur des brigades de la maréchaussée, p. 411 comme inspecteur de police honoraire et p. 455 comme inspecteur de la librairie.

¹³ *Chagniot J.* Op. cit. P. 153. Récompense militaire par excellence, la croix de Saint Louis n'était accordée qu'avec parcimonie aux officiers de maréchaussée, qui n'étaient pas considérés comme faisant partie des troupes. Cf. *Brouillet P.* Noblesse militaire ou noblesse policière? L'exemple de la famille Rulhière au XVIII^e siècle // Combattre, gouverner, écrire: études réunies en l'honneur de Jean Chagniot. Paris, 2003. P. 245–254.

¹⁴ Notamment chez plusieurs libraires de Rouen, ainsi qu'à Saint-Malo, Caen et Alençon (BNF. Ms. fr. 22101. Pièces 12–26, 49–71).

quelques-unes de ses anciennes responsabilités, les traces de ses activités en matière de police du livre se font dès lors beaucoup plus rares.

Les tâches de surveillance du livre confiées à l'inspecteur étaient très étendues et relevaient de plusieurs domaines d'intervention. Chargé de veiller à la bonne application des règlements, il assurait à Paris, conjointement avec le commissaire au Châtelet titulaire du département de la librairie — successivement Aignan-Philippe Miché de Rochebrune, puis Pierre Chénon père —, la poursuite des délits, les perquisitions et saisies, et les arrestations des contrevenants: auteurs, libraires, imprimeurs, colporteurs et autres vendeurs de livres. En plus de ces attributions, il appartenait aussi à d'Hémery de procéder aux visites des bibliothèques particulières transférées à Paris et il lui revenait, comme il l'indique dans un mémoire adressé au lieutenant général de police Sartine lorsque celui-ci entra en fonctions en 1759, de se charger des missions «les plus délicates» et de la recherche des auteurs de lettres et libelles anonymes¹⁵. L'exercice de ces différentes responsabilités inscrivait, au premier chef, la pratique de l'officier dans le cadre de Paris et de la région parisienne, mais ses investigations le conduisirent jusqu'en province et même à l'étranger. Ainsi, il effectua à plusieurs reprises des saisies chez des libraires de Rouen¹⁶ et se rendit en juillet 1766, avec le commissaire Mutel, à la foire de Beaucaire et à Toulouse pour saisir des livres subversifs et contrefaits¹⁷. En janvier 1767, il procéda à l'arrestation, à Nancy, de l'imprimeur-libraire Jean-Baptiste-Hyacinthe Leclerc et, en mars 1773, à celle de la veuve Stockdorff et de son commis Daniel Riss à Strasbourg¹⁸. Le champ d'investigation de l'inspecteur s'étendit même au-delà des frontières politiques du royaume lorsqu'il fut chargé, en novembre 1772, d'une perquisition dans les imprimeries de la principauté de Bouillon¹⁹.

À Paris, d'Hémery assistait deux fois par semaine à l'examen des livres provenant de la douane à la chambre syndicale. De plus, selon son mémoire à Sartine, il avait parmi ses attributions depuis 1750 la charge «de veiller à tout ce qui s'imprime sans permission ou avec permission tacite» et d'en «adresser quatre exemplaires de chacun au Magistrat, qui en garde un pour luy et envoie les autres à M. le comte de Saint-Florentin, à M. de Paulmy et à M. Moreau, procureur du Roy»²⁰. D'Hémery faisait donc l'acquisition de quatre exemplaires de

¹⁵ BNF. Ms. fr. 22080. Pièce 82, cité par *Coyecque E.* Op. cit. P. XX.

¹⁶ BNF. Ms. fr. 21858. Fol. 193 v°: compte rendu de la visite.

¹⁷ BNF. Ms. fr. 22098. Pièces 25–27.

¹⁸ BNF. Ms. fr. 22101. Pièces 121–143.

¹⁹ *Hardy S.-P.* Op. cit. 10 et 17 novembre 1772 (BNF. Ms. fr. 6681. P. 113).

²⁰ BNF. Ms. fr. 22080. Pièce 82, cité par *Coyecque E.* Op. cit. P. XX. Les trois personnes citées exerçaient, ou avaient exercé, à des titres divers, des responsabilités dans le maintien de l'ordre public à Paris: Louis Phélypeaux, comte de Saint-Florentin, puis duc de La Vrillière, fut secrétaire d'État de la Maison du Roi et ministre de Paris de 1749 à 1775; Antoine-René de Voyer d'Argenson, marquis de Paulmy, n'était plus en poste à Paris en 1759, mais il avait succédé en 1757–1758 à son oncle Marc-Pierre de Voyer de Paulmy, comte d'Argenson, comme secrétaire d'État de la Guerre, à un moment où l'administration de la ville de Paris dépendait de ce dernier secrétariat d'État et non de celui de la Maison du Roi; Claude-François-Bernard Moreau avait succédé en 1740 à son père comme procureur du Roi au Châtelet.

ces nouveautés et il avait obtenu de Berryer l'autorisation d'acheter un exemplaire supplémentaire pour sa propre collection. Tous les vendredis, il présentait au Magistrat — le lieutenant de police — «l'état de toutes ces nouveautés, avec les noms des auteurs et des imprimeurs, quand il est possible de les savoir». Lorsqu'il demanda à réduire ses activités, en 1773, le nombre d'exemplaires qu'il achetait était passé à sept²¹. Dans le mémoire qu'il adresse alors à Sartine, l'inspecteur demande la faveur de pouvoir continuer à en acheter deux, «un pour le Magistrat et un pour lui-même», tandis que son successeur, l'inspecteur Goupil, se chargera de la fourniture des cinq autres exemplaires. Cette requête de d'Hémery atteste de l'importance toute personnelle que l'inspecteur accordait à cette recherche des imprimés nouveaux, et il y a tout lieu de penser que cette pratique fut à l'origine de la tenue du *Journal de la librairie*, l'une des pièces maîtresses d'un fonds documentaire plus étendu constitué par l'inspecteur au cours de sa longue carrière de responsable de la police du livre.

UNE DOCUMENTATION POLICIÈRE

Conservé parmi les manuscrits de la collection Anisson-Duperron à la Bibliothèque nationale de France, le *Journal de la librairie* fait partie des archives que Joseph d'Hémery vendit, probablement vers 1792, au directeur de l'Imprimerie royale, Étienne-Alexandre-Jacques Anisson-Duperron²². La documentation acquise par ce dernier est formée des nombreux dossiers thématiques et chronologiques relatifs aux règlements de la librairie et aux affaires dont l'inspecteur avait eu connaissance. Dès les premiers temps de ses responsabilités sur la librairie parisienne, dans les années 1748–1750, d'Hémery avait aussi entrepris de collecter de façon systématique des informations sur le milieu qu'il avait à surveiller. Ce fut d'abord l'*Historique des auteurs*, un ensemble de dossiers composés de 1748 à 1753, qui forment un fichier alphabétique d'un demi-millier d'auteurs²³, et, de 1749 à 1752, un *Historique des libraires et imprimeurs* qui enregistre 273 professionnels du livre, essentiellement parisiens²⁴. La tenue du *Journal de la librairie* suivit de peu la réalisation de ces deux premiers instruments de travail, puisque le manuscrit conservé débute à la date du 12 novembre 1750. Cette année est aussi celle de la nomination de Malesherbes comme directeur de la Librairie, mais l'on ne peut établir un lien direct entre les deux événements, car, en juin 1750, d'Hémery,

²¹ BNF. Ms. fr. 22063. Pièce 40.

²² Coyecque E. Op. cit. P. III.

²³ BNF. Nouv. acq. fr. 10781–10783.

²⁴ BNF. Ms. fr. 22106–22107. Une douzaine de libraires établis hors de la capitale sont mentionnés. Quelques années plus tard, en 1757, au lendemain de l'attentat de Damiens, d'Hémery réalisera, selon des principes analogues, un recensement des colporteurs de la chambre syndicale, conservé sous la cote BNF Ms. fr. 22115. Pièce 108.

suivant les prescriptions données par Berryer à ses inspecteurs²⁵, avait aussi commencé à consigner dans un registre les lettres et rapports relatifs à la surveillance du livre qu'il adressait au lieutenant de police²⁶, et il continua cette pratique avec ses successeurs, Bertin puis Sartine. Dans le cours de sa carrière, d'Hémery introduisit d'autres pratiques d'enregistrement. Dans un projet de requête destinée au vice-chancelier, en janvier 1764, il informe ce dernier de l'une de ces innovations: «Ce qu'il y a d'essentiel, c'est que les inspecteurs ont établi des registres par le moyen desquels ils peuvent à chaque instant faire connoître à M. le vice-chancelier tous les privilèges qui ont été accordés et le temps de leur expiration»²⁷.

Le *Journal de la librairie* n'est donc pas un document isolé, mais il s'inscrit dans une pratique administrative qui produit des formes scripturales particulières. Sa tenue relève pour partie d'instructions supérieures et de l'obligation faite aux inspecteurs de rendre régulièrement compte des observations et des interventions auxquelles ils procèdent dans le cadre de leur département particulier, comme le font, à la même époque que d'Hémery, d'autres inspecteurs de police, tels Buhot pour la surveillance des étrangers ou Chassaing pour la police des jeux²⁸. Il répond aussi à des exigences de terrain, en particulier à la nécessité pour d'Hémery de disposer d'informations afin d'être en mesure de se procurer les ouvrages et les imprimés qu'il est chargé de fournir aux autorités. Toutefois, si le *Journal de la librairie* trouve vraisemblablement son origine dans ces contraintes, il ne s'y limite pas, car il enregistre d'autres types d'informations à destination peut-être plus personnelle.

Tel qu'il nous est parvenu, le *Journal* est formé d'un ensemble de onze volumes rassemblant une collection de rapports hebdomadaires, toujours datés d'un jeudi²⁹, et qui furent rédigés de 1750 à 1769³⁰. Le *Journal* s'achève donc plusieurs années avant que d'Hémery renonce à une partie de ses attributions,

²⁵ Cf. Chassaing M. *La Lieutenance générale de police de Paris*. Paris, 1906. P. 227: «Les inspecteurs avaient un registre coté et paraphé par première et dernière par le magistrat, sur lequel ils étaient tenus de transcrire les rapports qu'ils lui faisaient, tant pour les affaires de leur quartier que pour celles de leur département».

²⁶ BNF. Nouv. acq. fr. 1214, registre manuscrit de 628 p. Le registre s'interrompt au moment de la nomination de Jean-Charles-Pierre Lenoir en août 1774.

²⁷ BNF. Ms. fr. 22080. Pièce 143, cité par Coyecque E. Op. cit. P. XXXI.

²⁸ Dubost J.-F. *Les étrangers à Paris au siècle des Lumières // La Ville promise. Mobilité et accueil à Paris (fin XVII^e–début XIX^e siècle // Sous la dir. de D. Roche*. Paris, 2000. P. 227–229; Freundlich F. Op. cit. P. 26–27.

²⁹ L'exception apparemment constatée pour l'année 1752, dont le premier rapport daté du 4 janvier est suivi d'un autre rapport du 6 janvier, n'infirme pas cette règle. Elle est due en fait à une erreur dans l'assemblage des rapports, elle-même résultant d'une erreur de datation: le rédacteur a en effet indiqué 4 janvier 1752 au lieu de 4 janvier 1753, comme le confirment plusieurs indications du texte. D'Hémery cite en effet un *Discours de M. le premier président au Roy* du 21 décembre 1752 et il mentionne plusieurs éditions datant de 1753. En outre le rapport du 4 janvier est manquant à la place qui lui revient au début de l'année 1753, dont le premier rapport conservé est seulement celui du jeudi 11 janvier.

³⁰ BNF. Ms. fr. 22156–22165 et 22038.

sans que l'on puisse déterminer de façon certaine si cette interruption est volontaire ou si elle résulte de la disparition d'une partie des archives de l'inspecteur³¹. Le plus souvent, les rapports hebdomadaires sont écrits sur une feuille pliée en deux pour former un cahier de quatre pages, mais ils ne le remplissent pas toujours, et un certain nombre de pages sont demeurées vierges. En de rares occasions, l'abondance de la matière traitée conduit, au contraire, le rédacteur à ajouter des pages supplémentaires. Il lui arrive souvent par ailleurs d'insérer des notes autographes et d'autres documents manuscrits, surtout durant les premiers temps. Aussi le volume annuel varie-t-il sensiblement d'une année à l'autre: il avoisine en moyenne 160 pages par an, culmine autour de 400 pages en 1752 et 1753 et se réduit à moins de 100 pages en 1754, 1755 et 1756. Au total, les vingt années qui constituent le journal représentent près de 3 200 pages. Une majorité de rapports sont des autographes de d'Hémery, mais l'on repère d'autres mains, surtout après juillet 1767, l'écriture de l'inspecteur n'apparaissant plus alors que dans les notes ou les corrections. Les bilans hebdomadaires se présentent en effet le plus souvent comme des brouillons, de forme plus ou moins aboutie selon les périodes, qui comportent de nombreuses ratures et des ajouts marginaux, et sont manifestement destinés à être recopiés et mis au net.

L'organisation du document dénote un souci d'homogénéité que manifeste la disposition normalisée de chaque rapport: en tête figure le titre «Librairie» suivi, sur la même ligne, de la date; à la ligne suivante est indiqué le titre de la rubrique qui ouvre chacun des rapports: «Livres nouveaux». La présentation matérielle de la suite du texte n'est pas homogène dans le temps et se différencie selon les périodes. Toutefois, de 1750 à 1754, le *Journal*, alors particulièrement étoffé, comporte deux autres intitulés de rubriques, «Nouvelles d'auteurs» et «Nouvelles de libraires», et il fait place, aux côtés des rapports de d'Hémery, à de nombreuses pièces annexes: notes manuscrites, lettres, billets écrits par d'autres mains. À partir de l'année 1754, ces documents se raréfient et les titres des rubriques «Nouvelles de libraires» puis «Nouvelles d'auteurs» disparaissent respectivement en 1755 et en 1756. Ne subsiste plus alors que l'intitulé «Livres nouveaux», placé juste sous la date. Il est suivi de la série des notices décrivant chaque titre signalé, avec parfois un bref commentaire ou une note sur l'auteur ou le libraire. À partir du folio 35 de l'année 1759, qui contient le rapport daté du 20 septembre, en tête de chaque rapport apparaît une indication supplémentaire, dans la marge de gauche, en haut de la première page: un

³¹ L'hypothèse, formulée autrefois par Jean-Louis et Maria Flandrin (*Flandrin J-L., Flandrin M. La circulation du livre dans la société du XVIII^e siècle: un sondage à travers quelques sources // Livre et société dans la France du XVIII^e siècle / Sous la dir. de F. Furet. Paris: La Haye, 1970. T. 2. P. 39–72*), que le journal ait pu être tenu par d'Hémery jusqu'en 1789 paraît peu vraisemblable, compte tenu des nouvelles fonctions administratives exercées par lui pour le paiement des pensions militaires, de son éloignement de la police active après 1773 et du changement intervenu à la tête de la Librairie avec la nomination de Lenoir en 1774.

«f.», signifiant «fait» comme le précisent certains rapports plus tardifs. Cette indication, que l'on serait tenté d'interpréter comme une marque apposée par un secrétaire pour signifier qu'il avait procédé à la copie, semble plutôt résulter d'une pratique postérieure à la rédaction des notices³². Par la suite, d'autres indications figurent parfois dans la même marge: une numérotation en chiffres romains des douze premiers paragraphes de l'année 1762; un numéro qui semble renvoyer aux pages d'un autre registre entre août 1767 et septembre 1768, auquel s'ajoutent, à partir du 30 juin 1768, des mentions supplémentaires sous forme d'initiales³³.

Le simple examen matériel du document suggère donc qu'au fil des années, la nature du *Journal* et la sélection des informations qu'il retenait semblent avoir changé. D'abord produit mixte, associant des textes parents des nouvelles à la main et des gazetins de police³⁴ à des séries de notices bibliographiques, le *Journal* se restreint ensuite pour l'essentiel à ces dernières informations. Il tend parallèlement à évoluer vers un modèle de plus en plus administratif qui suggère l'existence de correspondances entre différents éléments dans un ensemble. Le document conservé sous l'intitulé *Journal de la librairie* apparaît alors à la fois comme la rédaction au brouillon de rapports à utilisation immédiate et comme un instrument d'archivage appelé à servir de référence pour des opérations ultérieures.

En début de période, l'un des premiers usages du document est probablement la fabrication des rapports destinés au «Magistrat», c'est-à-dire au lieutenant de police Berryer³⁵. La question de savoir si le directeur de la Librairie, Malesherbes, reçoit aussi ces états n'est pas tranchée. Elle se résout d'elle-même par la suite lorsque Sartine assume en parallèle les deux fonctions à partir de 1763. Les rapports que d'Hémery lui adresse ne sont pas de pure forme mais servent de support à son action, comme en témoigne ce billet adressé par le lieutenant général de police à l'inspecteur le 27 février 1767: «Vous m'avez annoncé, Monsieur, dans votre rapport du 5 de ce mois sur la librairie un Dialogue entre un auteur et un receveur de la capitation, imprimé pour le compte de l'auteur (le Sr. Gobreau) avec une espèce de tolérance. Je n'ai point vu cet ouvrage.

³² Et peut-être même postérieure à la réunion des rapports en registres. En effet, alors que les bilans de l'année 1759 ne sont pas classés suivant l'ordre chronologique, la présence du «f.» en marge suit l'ordre numérique des feuillets et non celui des dates: au rapport du 20 septembre succède ainsi celui du 13 septembre, suivi de celui du 6 septembre, etc., tous portant le «f.» en haut de page.

³³ Elles sont le plus souvent de la forme «t.m.», précédées ou suivies d'un nombre en chiffre arabe.

³⁴ Dans cette tradition, des hommes de lettres avaient déjà été employés, comme l'était peut-être Élie-Catherine Fréron par d'Hémery, pour rédiger des gazetins au service du lieutenant de police. Après avoir eu recours aux services d'un rédacteur nommé Gauthier, Feydeau de Marville avait ainsi engagé, à partir de 1742, le chevalier de Mouhy pour rédiger des gazetins intitulés «Petites nouvelles», que le lieutenant de police adressait ensuite, après les avoir visés et remaniés, au ministre Maurepas. Cf. *Boislisle A.-M. de. Lettres de M. de Marville, lieutenant général de police, au ministre Maurepas (1742-1747)*. Paris, 1896. P. LXXXVII-XCII.

³⁵ *Bruno M. R. The Journal d'Hemery...* P. 16.

Je vous prie de m'en envoyer un exemplaire afin que je voie s'il peut être permis; marqués moi aussi quel est l'imprimeur»³⁶.

Ernest Coyecque évoque aussi l'existence, parmi les tâches de d'Hémery, d'un service des nouveautés à la marquise de Pompadour et de celui des journaux au vice-chancelier René-Charles de Maupeou, mais on ignore si ces envois étaient accompagnés de listes récapitulatives sur le modèle du journal. D'autres utilisations du document semblent, en revanche, attestées. La correspondance de l'inspecteur indique par exemple qu'il fournissait au ministre de la Maison du Roi, le comte de Saint-Florentin, des états mensuels des ouvrages imprimés avec permission tacite ou sans permission³⁷. Un registre, conservé au département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France et signalé par François Moureau³⁸, le manuscrit Smith-Lesouef 105, témoigne d'un autre mode de traitement de l'information rassemblée pour le journal. Ce document qui, selon F. Moureau, provient des collections de Malesherbes, réunit en effet sous le titre «Anecdotes littéraires» certains passages choisis, extraits du journal lui-même ou tirés des «Anecdotes» de Fréron utilisées par d'Hémery dans les premières années pour enrichir les «Nouvelles d'auteurs». Homogène dans son aspect matériel et dans son écriture, ce registre reprend la scansion hebdomadaire du *Journal*, mais il ne présente pas de rupture de page aux changements de date, ce qui suggère une rédaction postérieure à celle de notre document. Par ailleurs, s'il s'inspire très directement des matériaux réunis par d'Hémery et reprend souvent sa formulation même, le recueil ne retient qu'une sélection d'extraits qu'il recompose différemment. Les informations font défaut pour déterminer par qui et à quel moment a été opéré ce traitement. Il semble bien, en tout cas, que le travail de l'inspecteur en ait fourni la matrice et il ne paraît pas invraisemblable, dès lors, qu'il ait pu aussi être utilisé pour réaliser d'autres versions non retrouvées à ce jour. Ces deux exemples d'utilisation accréditent en tout cas l'idée que la matière réunie dans le *Journal de la librairie* se prêtait à des usages diversifiés, selon des temporalités variables.

La collecte des renseignements rassemblés dans les rapports hebdomadaires reposait sur différentes sources d'information qui résultaient, en premier lieu, des multiples pratiques de surveillance imposées à l'inspecteur par ses responsabilités en matière de librairie. Sa familiarité avec les maîtres de la communauté et les officiers de la chambre syndicale lui donnait accès aux registres ser-

³⁶ BNF. Ms. fr. 22154. Pièce 3: billet avec signature autographe du 27 février 1767. Le billet de Sartine reprend textuellement le contenu de la notice insérée dans le journal à la date du 5 février qui indiquait: «Dialogue entre un auteur et un receveur de la capitation par Mad. D. L. R. 35 pages in 12° imp. pour le compte de l'auteur M Gobreau, vraisemblablement avec une espèce de tolérance» (BNF. Ms. fr. 22164. Fol. 72).

³⁷ BNF. Nouv. acq. fr. 1214. Fol. 199 v°, lettre au comte de Saint-Florentin, du 13 février 1757: «En conséquence des ordres de Votre Grandeur, j'ai l'honneur de luy adresser l'état des ouvrages imprimés qui ont paru dans le courant du mois dernier avec permission tacite ou sans permission que je renouvelleray exactement tous les mois».

³⁸ *Moureau F.* Répertoire des nouvelles à la main. Dictionnaire de la presse manuscrite clandestine, XVI^e– XVIII^e siècle. Oxford, 1999. P. 249–250. N 1750.2.

vant à consigner les privilèges et les permissions tacites. L'inspection sur les ports et l'assistance aux visites des livres apportés de la douane lui permettaient d'être informé des ouvrages introduits dans Paris. Enfin, les visites qu'il effectuait dans les imprimeries et les boutiques lui offraient l'occasion de découvrir quelques ouvrages interdits. Il tirait cependant une grande partie de sa connaissance des imprimés et de leurs auteurs d'informateurs recrutés dans le monde des lettres et du livre, réseau qui impliquait aussi bien de simples colporteurs que des maîtres libraires et imprimeurs ou des écrivains.

Interlocuteurs directs de l'inspecteur, les maîtres de la communauté des libraires et ses officiers, le syndic et les adjoints, investis eux-mêmes d'une part de la responsabilité de surveillance, côtoyaient régulièrement d'Hémery, soit à l'occasion de l'examen des livres à la chambre syndicale, soit lors des visites que l'inspecteur effectuait dans les boutiques ou les imprimeries. La plupart d'entre eux avaient tout intérêt à se concilier ses bonnes grâces pour leurs propres entreprises en coopérant avec lui. À l'échelon inférieur du métier, parmi les compagnons imprimeurs et les colporteurs se recrutaient quelques agents affidés du lieutenant de police, tels François Bonin ou Pierre-Nicolas Gauguery. Le premier, compagnon imprimeur et prote de la veuve de Christophe II David, déjà employé au service du lieutenant de police Feydeau de Marville, continuait, sous son successeur, à rendre fidèlement compte de toutes les impressions clandestines qu'on lui demandait de réaliser. Son nom, souvent associé à celui de Lamarche, est fréquemment mentionné dans le *Journal* entre 1750 et 1753. Bonin escomptait de sa collaboration avec les autorités une place de maître imprimeur, mais, loin d'y parvenir, il aurait, selon une note de d'Hémery, été obligé en 1753 «de désertier Paris pour s'être brouillé avec Mr. Berryer»³⁹. Le second personnage, Gauguery, ancien colporteur de livres devenu libraire en 1767 par acquisition d'un brevet royal grâce à la protection de d'Hémery, devint l'un de ses agents. Pris en flagrant délit de distribution d'imprimés relatifs à l'affaire La Chalotais en 1769, et après avoir été destitué de sa maîtrise en août 1770, il fut envoyé par d'Hémery en mission d'observation à Rouen en février 1771, «pour examiner tout ce qui se passe relativement à la librairie»⁴⁰. La reconnaissance des services rendus lui permit d'être rétabli dans l'exercice de son état de libraire en janvier 1775.

Aux côtés des agents issus des métiers du livre intervenaient des collaborateurs recrutés parmi les hommes de lettres. L'un des mieux connus est le journaliste Élie-Catherine Fréron, dont les liens étroits avec l'inspecteur et la responsabilité comme «espion» rétribué par la police ont été clairement établis⁴¹. Les lettres qu'il adresse très régulièrement à d'Hémery, au moins jusqu'en janvier

³⁹ BNF. Ms. fr. 22065. Pièces 128–131. Sur le rôle de Bonin et Lamarche, voir aussi *Shackleton R.* Op. cit. P. 253–254; *Benitez M.* *Éléments d'une sociologie de la littérature clandestine: lecteurs et éditeurs de Telliamed // De bonne main. La communication manuscrite au XVIII^e siècle / Éd. F. Moureau. Paris; Oxford, 1993. P. 71–96, notamment p. 87 et note 37.*

⁴⁰ BNF. Ms. fr. 22101. Pièce 14: note de d'Hémery en date du 27 février 1771. Gauguery séjourne à cette occasion quarante-cinq jours dans la capitale normande.

⁴¹ *Balcou J.* *Le Dossier Fréron: correspondances et documents.* Genève, 1975; *Bruno M. R.* *Fréron, police spy // SVEC. 1976. Vol. 148. P. 177–199.*

1754 — et dont un certain nombre sont demeurées annexées au journal⁴² — servent principalement à enrichir la rubrique des «Nouvelles d'auteurs» et à aider l'inspecteur à identifier les auteurs d'ouvrages anonymes. Elles nourrissent aussi cet autre instrument de travail qu'est l'*Historique des auteurs*. Au cours des années 1752 et 1753, d'Hémery n'insère pas toujours lui-même dans le texte du journal les informations fournies par Fréron, mais se contente souvent d'indiquer le titre de la rubrique «Nouvelles d'auteurs» à son emplacement, laissant peut-être au secrétaire chargé de la mise au net du document le soin de copier des informations directement extraites des lettres de Fréron. L'inspecteur procède cependant parfois à quelques aménagements du texte de son correspondant. Pour l'année 1752, on dispose quelquefois parallèlement des deux versions: celle de Fréron et celle du *Journal*. Le plus souvent les deux textes sont identiques, mais dans certains cas, d'Hémery est intervenu dans l'intention manifeste d'atténuer le caractère polémique des écrits du journaliste⁴³. À l'inverse, la présence dans le *Journal de la librairie* de corrections de la main de Fréron⁴⁴ confirme l'étroite collaboration instaurée entre le journaliste et d'Hémery. Celle-ci prend fin, semble-t-il, en 1754, peut-être parce que Fréron est accaparé par d'autres tâches au moment où il commence à faire paraître l'*Année littéraire*. Il continue cependant à renseigner ponctuellement l'inspecteur⁴⁵ et ses liens avec lui se perpétuent aussi par l'annonce, soigneusement consignée dans le *Journal*, de chacune des livraisons de son périodique. D'autres hommes de lettres ont vraisemblablement contribué à informer l'inspecteur, ainsi un nommé Corbie, signalé à de nombreuses reprises en 1752 comme agent de Voltaire et de M^{me} Denis et impliqué dans des entreprises de publications plus ou moins clandestines⁴⁶.

⁴² J. Balcou a publié les lettres autographes de Fréron adressées à d'Hémery en 1753 sous le titre «Nouvelles à la main pour l'inspecteur d'Hémery ou la pittoresque chronique de l'an 53», voir *Balcou J. Op. cit.* P. 49–134; M. R. Bruno, de son côté, a identifié des copies de lettres provenant de Fréron en 1752 et en 1753. F. Moureau signale cinq autres lettres autographes de Fréron, datant de 1754 et conservées dans les papiers de d'Hémery.

⁴³ Ainsi, alors que Fréron avait écrit à d'Hémery en août 1752: «Les feuilles de l'abbé de la Porte ont été supprimées jeudi dernier 17 de ce mois. Le prétexte de la suppression est l'article de La Condamine. Il n'y a rien cependant dans cet article qui passe les bornes d'une critique littéraire. Mais M. de Malesherbes ne veut absolument pas de feuilles. Il est entiché de son journal des sçavans qui est détestable, et qui le sera toujours. S'il y a quelque ouvrage périodique à supprimer, c'est ce journal même qui déshonore la nation. Mais par une bizarrerie singulière, on veut soutenir un journal qui ne réussit pas, et on supprime des feuilles qui réussissent», d'Hémery, dans son rapport daté du 24 août, se garde de reproduire les trois dernières phrases (BNF. Ms. fr. 22157. Fol. 108 et 159 v°).

⁴⁴ Cf. *Bruno M. R.* Fréron, police spy.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Corbi ou Corbie, représentant ou facteur en librairie à Paris, est mentionné à plusieurs reprises dans la correspondance de Voltaire à cette période. Par exemple dans les lettres de Voltaire à M^{me} Denis du 19 février 1752 (Best. D 3146) et du 4 avril 1753 (Best. D 3464). Il s'agit vraisemblablement de Julien Corby, né vers 1725, littérateur et éditeur de recueils de théâtre, qui, grâce à la protection de la duchesse de Choiseul dont il avait épousé l'une des femmes de chambre, obtiendra en 1758 une part dans la direction de l'Opéra-Comique. Cf. *Campardon É.* Les Spectacles de la foire, théâtres, acteurs, sauteurs et danseurs... depuis 1595 jusqu'à 1791... documents inédits recueillis aux Archives nationales. Paris, 1877. T. 1. P. 216.

Il reste encore difficile d'établir, à cette étape, si ce personnage renseigne directement l'inspecteur ou s'il est lui-même l'une des victimes de Fréron ou d'un autre informateur.

La personnalité des agents de d'Hémery n'est, en tout cas, probablement pas sans incidence sur l'orientation des renseignements enregistrés dans le *Journal*, surtout concernant les éditions clandestines. Celles qui sont connues de l'inspecteur sont celles qui lui ont été signalées. Ceci explique par exemple la fréquence — surprenante à première vue — des mentions d'impression attribuées à Bonin et Lamarche dans le *Journal* jusqu'en 1753. De même la part prise par Fréron comme informateur de d'Hémery contribue-t-elle peut-être à expliquer une forme de cristallisation du *Journal* sur la personne et les écrits de Voltaire, omniprésent dans les «Nouvelles d'auteurs» durant les premières années et toujours très largement représenté dans les éditions signalées tout au long du document.

LE LIVRE DANS LE *JOURNAL DE LA LIBRAIRIE*

Si le contenu du *Journal* évolue au cours du temps, sa caractéristique constante tout au long de la période est de présenter sous l'intitulé «Livres nouveaux» une liste hebdomadaire de titres d'ouvrages et d'imprimés récemment publiés ou mis en circulation et d'en identifier les auteurs. On doit alors étudier la finalité de ces listes, leur rapport avec l'ensemble de la production et leurs éventuels pôles d'intérêt.

Dans le corps des notices qui présentent ces titres d'ouvrages, d'Hémery se montre d'abord soucieux de bien établir le statut administratif de l'édition considérée. Ces notices commencent toujours par le titre de la publication, très précisément noté et parfois accompagné des citations latines placées en épigraphe. La suite de la description contient une indication du format de l'ouvrage, le nombre de pages, le nom du libraire éditeur, le statut de l'édition, et l'auteur, tout ceci sans ordre strict et sans que tous ces éléments soient toujours fournis.

Depuis la généralisation du principe de la censure préalable à pratiquement tous les types de publications, et de la nécessité d'obtenir une permission scellée par la Grande Chancellerie, assortie ou non d'un privilège, pour toutes les éditions de plus de deux feuilles d'impression, la mise en application de ces prescriptions avait été assouplie au début du XVIII^e siècle. Alors que le texte même des privilèges et des permissions du sceau devait être imprimé au début ou à la fin de l'ouvrage, une permission d'un type nouveau était apparue au début du XVIII^e siècle, la permission tacite. Comme les autres types d'autorisation, elle était octroyée après examen du manuscrit par un censeur, soit à une édition à la parution de laquelle les autorités ne s'opposaient pas, mais qu'elles ne souhaitaient pas cautionner officiellement en faisant figurer l'autorisation d'impression dans l'ouvrage imprimé, soit à des livres d'impression étrangère

destinés à être débités à l'intérieur du royaume. Les brochures de moins de deux feuilles d'impression échappaient à ces différents dispositifs, mais pas à l'examen préalable, puisqu'elles devaient être soumises à l'autorisation du juge local: à Paris, le lieutenant général de police. Avant 1763, d'Hémery signale ainsi quelques autorisations délivrées à de petites brochures par le lieutenant de police, par exemple en 1752 pour *Le Lis, ballet allégorique pour la convalescence de Mgr. le Dauphin*, une petite brochure de «vingt sept pages in 4°. imprimées avec p^{on} de M. Berryer par Jorry»⁴⁷ ou, le 23 septembre 1762, pour une «Lettre a Mr D^{xxx} sur le livre intitulé Emile ou de l'Education par Jean Jacques Rousseau citoyen de Geneve. 84 pages in 8° imprimées <...> sur l'approbation tacite du censeur de la police»⁴⁸.

Un certain nombre de publications parvenaient malgré tout à échapper aux mailles du contrôle et l'un des premiers enjeux du *Journal de la librairie* était d'assigner un régime d'édition à chacun des imprimés qu'il décrivait, comme l'atteste le cas exceptionnel d'une feuille du *Journal* consacrée à un mois entier, celui de juillet 1766, pendant lequel d'Hémery, envoyé en mission à la foire de Beaucaire, n'avait pu assurer l'envoi de ses rapports hebdomadaires. En effet, cette feuille regroupe les ouvrages parus au cours du mois selon leur statut soit, d'une part, «ceux imprimés avec privilège ou permission», et, d'autre part, «ceux imprimés avec permission tacite ou sans permission». Comme en témoignent les nombreuses corrections et ratures apportées par d'Hémery dans le corps du *Journal* pour les titres appartenant à cette seconde catégorie, la distinction entre les différents régimes n'était pas toujours facile à établir, et, en outre, les décisions des autorités pouvaient fluctuer. À différentes reprises, surtout au début du *journal*, les rapports hebdomadaires mettent l'accent sur leurs hésitations ou leurs revirements. Ainsi celui du 16 mars 1752 note-t-il: «M. de Malesherbes qui avoit fait arrêter le roman de Chevrier intitulé les Ridicules du siècle vient d'en permettre la vente sans avoir fait aucun changement», et ajoute dans une note marginale: «Ce magistrat a cependant fait empêcher l'impression d'un autre roman du même auteur intitulé Minakalis pour lequel il avoit accordé une permission tacite»⁴⁹. L'insertion de ces remarques dans la rubrique «Nouvelles d'auteurs», à un moment où Fréron en est la source principale, laisse toutefois penser qu'elles reflètent davantage l'opinion du journaliste que celle de d'Hémery.

Pour pallier les difficultés d'assignation d'un statut légal à certaines publications, les responsabilités étaient parfois partagées entre le directeur de la Librairie et le lieutenant de police, comme le note d'Hémery à l'occasion de la publication des «Pièces originales concernant la mort des S^{rs} Calas et le jugement rendu a Toulouze. 22 pages in 8° imprimées a Geneve et reimprimés icy de l'aveu de M. le L[iutenant]ⁱ de police sur les sollicitations de M. Dargental. M. de Malesherbes n'a pas voulu se mesler de cet ouvrage par rap[p]ort au par-

⁴⁷ BNF. Ms. fr. 22157. Fol. 116.

⁴⁸ BNF. Ms. fr. 22038. Fol. 73.

⁴⁹ BNF. Ms. fr. 22157. 16 mars 1752.

lement. C'est M. de Voltaire qui en est l'auteur et qui se propose de donner une suite pour met[t]re la V^e Calas <...> en état de porter au Conseil la cassation [*sic*] du jugement de son mary»⁵⁰. Plus généralement, les directeurs de la Librairie, Malesherbes puis Sartine, avaient introduit l'usage de catégories supplémentaires, hors règlement, que les notices du *Journal* désignent par diverses formules: «permission très tacite», «espèce de tolérance» ou encore «de la connaissance du Magistrat».

Dans le maquis réglementaire ainsi créé, il était essentiel, aussi bien pour les praticiens de la surveillance du livre qu'étaient les officiers de la communauté ou l'inspecteur de la librairie, que pour les magistrats chargés de juger les délinquants et d'interrompre la circulation des écrits jugés dangereux, de pouvoir se repérer et de faire le partage entre le licite et l'illicite. C'était là, probablement, l'un des objectifs de la tenue du *Journal*. Le recensement précis des ouvrages publiés sous permission tacite ou sans permission s'expliquait aussi par la responsabilité confiée à d'Hémery de rechercher ces imprimés pour en faire l'acquisition. Ces deux types de publications figurent donc en première place dans le *Journal*. Toutefois, celui-ci enregistre aussi, parallèlement, un certain nombre de titres publiés avec privilège ou permission du sceau, mais il le fait de façon beaucoup plus sélective⁵¹ et il ne représente donc pas une bibliographie courante de la production parisienne.

À quelles fins l'inspecteur incluait-il aussi dans ses listes certains ouvrages publiés en toute légalité et comment opérait-il la sélection? Les logiques qui orientent ses choix ne se livrent pas d'emblée et, faute d'avoir pu réaliser une analyse complète des titres retenus, il faut ici se contenter de quelques observations d'ordre général. Du point de vue des contenus, les ouvrages publiés sous privilèges signalés dans le *Journal* relèvent essentiellement des trois domaines des belles-lettres (avec une forte présence du théâtre), de l'histoire et des sciences et arts, face auxquels le droit et, surtout, la religion ont peu de poids: cette dernière catégorie ne concerne, par exemple, que 3 % des titres publiés avec permission du sceau cités par d'Hémery entre 1757 et 1759. Le *Journal* s'attache aussi à saluer la parution de réalisations de prestige dont il se plaît à souligner la qualité d'exécution. Il signale par exemple, le 3 janvier 1760, «Les saisons, poème traduit de l'anglois de Thompson par Mr Bontemps. Volume in 12 imp. par Hérisant avec privilège; c'est un chef d'œuvre de typographie, il y a aussi

⁵⁰ BNF. Ms. fr. 22038. Fol. 57, 29 juillet 1762.

⁵¹ Rapporté au nombre annuel de demandes de permissions du sceau, pour les années 1752, 1756 à 1759 et 1768, le nombre de titres bénéficiant d'une autorisation publique cités par d'Hémery n'excède pas le tiers des demandes, alors que le nombre d'ouvrages publiés sous permission tacite mentionnés dans le journal correspond toujours à plus de la moitié, et souvent à beaucoup plus, du nombre annuel de demandes pour ce type d'autorisation (comparaison établie, à titre de test, avec les dépouillements des registres de privilèges, BNF. Ms. fr. 21998 à 22001, et des registres de permissions tacites, BNF. Ms. fr. 21994, 21992, 21991 et 21993). Le nombre d'ouvrages avec permissions du sceau et privilèges cités par d'Hémery représente selon les années, entre 15 et 29 % du total des demandes annuelles, alors que celui des titres publiés sous permission tacite qu'il mentionne compte pour 55 à 87 % des demandes de ce type d'autorisation.

des estampes <...> qui sont d'une beauté charmante»⁵², et, le 27 octobre 1768, il indique, à l'occasion de la parution du *Voyage en Sibérie* de l'abbé Chappe d'Auteroche: «Si l'ouvrage répond à la beauté de l'impression et des gravures, c'est sans contours un livre précieux»⁵³. D'Hémerly semble attentif aussi à suivre la publication des collections et des périodiques, tels le *Journal étranger* ou *Le Conservateur*, mais il s'abstient de mentionner les livraisons du très officiel *Journal des sçavans*. On peut s'interroger enfin, mais sans être en mesure, à cette étape, de conclure de façon satisfaisante, sur le point de savoir si l'inspecteur ne privilégie pas dans ses choix certains libraires, dont il serait plus proche. La diversité des titres dotés de privilèges qu'il cite et la nature de certains de ses commentaires paraissent indiquer, en tout cas, que son intérêt n'est pas mû par les seuls impératifs d'inspection et de surveillance mais fait place aussi à des jugements intellectuels et à des considérations bibliophiliques dignes d'un amateur.

Le marché du livre à Paris tel qu'en témoignent les rapports hebdomadaires de d'Hémerly présente également diverses situations et circuits, sédentaires ou itinérants, établis et reconnus ou aux marges et de statut précaire. D'Hémerly suit attentivement la situation des boutiques des libraires inscrits dans la communauté, notant ici quelque fait marquant la vie de l'un d'entre eux qui témoigne de sa régularité morale ou de ses faiblesses, relevant là un décès et le passage d'une entreprise aux mains d'une veuve, d'un fils, ou d'un locataire: ainsi à la mort de la femme Mazuel «sous laquelle la femme Lamarche était sous le passage du Palais Royal», cette dernière se trouve «en possession de cette place qui est fort bonne»⁵⁴. Mais le journal renferme aussi, spécialement au cours de ses premières années, riches en «Nouvelles de libraires», quelques mentions de magasins particuliers, séparés des boutiques, ce qui peut permettre des infractions aux règlements, et même parfois l'indication d'imprimeries clandestines. Voici, dans la «feuille» du 30 janvier 1755, la découverte d'une imprimerie clandestine établie par un sergent aux gardes nommé Birebin (ou Baubin), à la suite de la plainte du propriétaire qui n'avait pas reçu son loyer: «Birebin l'ayant su n'a rien eu de plus pressé que de déménager son imprimerie et l'a fait porter chez Lamarche qui lui a donné cinquante écus pour payer le loyer»⁵⁵.

À côté des boutiques des libraires établis, d'Hémerly fait état, spécialement dans les années 1760, de l'activité des colporteurs, tolérés ou «sous le manteau»; notations qui sont sans doute à considérer dans la perspective des aménagements de la réglementation des libraires parisiens. Ainsi, le *Journal* montre que certains auteurs confient leurs ouvrages à des colporteurs pour qu'ils les distribuent, par exemple en 1769 *Le Temple du goût*, qui est «imprimé pour le compte de l'auteur et distribué par les colporteurs avec permission tacite»⁵⁶, et d'Hémerly mentionne aussi en 1751 le cas d'un auteur qui

⁵² BNF. Ms. fr. 22161. Fol. 67. 3 janvier 1760.

⁵³ BNF. Ms. fr. 22165. Fol. 62. 27 octobre 1768.

⁵⁴ BNF. Ms. fr. 22159. Fol. 120. 30 janvier 1755.

⁵⁵ BNF. Ms. fr. 22159. Fol. 98.

⁵⁶ BNF. Ms. fr. 22165. Fol. 147. 28 septembre 1769.

«a dédié cet ouvrage à Mademoiselle Caroline colporteuse, assez jolie fille qui vend dans les cafés ce roman»⁵⁷. Par ailleurs, il signale que des imprimeurs font distribuer leur production par un colporteur, le 6 mars 1766 *Les Passions des différents âges*, «imprimés avec permission tacite par Quilleau⁵⁸ et distribués par L'Escuyer colporteur», et qu'un *Parallèle entre Descartes et Newton*, brochure de 23 pages, a été «imprimé avec permission tacite pour le compte de Prévost colporteur»⁵⁹, ce qui marque bien la situation particulière de libraires non établis où se trouvent alors certains colporteurs au regard des règles corporatives.

On découvre ainsi dans ces feuilles que des colporteurs font imprimer des ouvrages pour leur compte, en général de la littérature, telle cette comédie de Desfontaines, *La Bergère des Alpes*, en 1766 pour le colporteur Le Jay⁶⁰, lequel aurait fait imprimer cette même année un roman licencieux, les *Mémoires d'une religieuse écrits par elle-même*, et qui est signalé l'année suivante pour sa relation avec un libraire: «distribué par Le Jay colporteur sous le nom de la Veuve Duchesne libraire», le 16 avril 1767⁶¹.

D'Hémery note aussi d'autres formes de distribution qui tournent la surveillance de la chambre syndicale, d'abord avec l'intervention de personnes étrangères à la librairie. Ainsi des prêtres pour les brochures jansénistes: le père Eustache, des Petits Pères, «fait depuis assez longtemps commerce du livre et est assez suspect de jansénisme»⁶²; ou «imprimées sans permission et distribuées au séminaire de Saint Sulpice»⁶³. C'est aussi la distribution à domicile ou encore l'expédition par la poste qui concerne principalement des brochures de Voltaire de petit format et de peu de pages («imprimé à Genève dont il y a icy quelques exemplaires venus par la poste. C'est encore une nouvelle production de Monsieur de Voltaire», indique le *Journal* du 25 août 1769 à propos de *Tout en Dieu. Commentaire sur Malebranche*)⁶⁴. Enfin, si la polémique parlementaire emprunte souvent cette voie de distribution, elle utilise parfois une forme plus spectaculaire: «on m'a assuré qu'on les jettoit dans les carrosses», note l'inspecteur en 1751 à propos d'une des multiples brochures intitulées *Remontrances*⁶⁵.

⁵⁷ BNF. Ms. fr. 22156. Fol. 92. 20 juillet 1751.

⁵⁸ Probablement l'imprimeur-libraire Jacques-François Quillau, en activité de 1742 à 1791 environ.

⁵⁹ BNF. Ms. fr. 22164. Fol. 17. 10 avril 1766. Il s'agit probablement d'Antoine Prévost, qui sera reçu libraire en août 1768 et exercera jusque vers 1791 à Paris.

⁶⁰ BNF. Ms. fr. 22164, fol. 4, 30 janvier 1766. Edme-Jean Le Jay ou Lejay (17...-1797?), ancien commis du libraire parisien Nicolas-Bonaventure Duchesne, fait le commerce des livres à son compte pendant plusieurs années sans parvenir à obtenir sa réception dans la communauté des libraires, dans laquelle il finit par être admis en décembre 1767.

⁶¹ BNF. Ms. fr. 22163. Fol. 43. Juillet 1766; Ms. fr. 22164. Fol. 86.

⁶² BNF. Ms. fr. 22156. Fol. 16. 14 janvier 1751.

⁶³ BNF. Ms. fr. 22158. 5 avril 1753.

⁶⁴ BNF. Ms. fr. 22165. Fol. 141.

⁶⁵ BNF. Ms. fr. 22156. Fol. 46. 18 mars 1751.

En aval du processus d'examen et de censure des textes imposé par les règlements, les rapports consignés dans le *Journal de la librairie* témoignent, au premier chef, de la difficulté rencontrée par les praticiens de la police du livre pour assurer — sur le terrain — une rigoureuse mise en œuvre de la surveillance des imprimés. Ils mettent en lumière les incertitudes des autorités à définir les limites du permis, du toléré et de l'interdit, mais aussi le pragmatisme et la capacité de correction des responsables, auxquels appartient le pouvoir de fermer les yeux sur la circulation de titres interdits ou de suspendre des ouvrages dûment autorisés. Dans cette optique, l'enjeu du journal est probablement moins répressif que préventif. Il s'agit d'informer les autorités pour leur permettre d'anticiper les réactions qu'une publication pourrait provoquer et d'être ainsi mieux en mesure d'intervenir pour «policer» la circulation de l'imprimé dans la ville.

Dans les commentaires qu'il consigne en marge d'un mémoire des maîtres de la communauté protestant contre l'autorisation donnée en 1760 aux inspecteurs de procéder à des visites chez les imprimeurs, libraires et fondeurs de caractères, Malesherbes évoque la nécessité «d'établir une police régulière où la police ancienne est insuffisante»⁶⁶, témoignant ainsi que la place de plus en plus large accordée aux inspecteurs de la librairie s'inscrit dans une volonté générale de moderniser l'organisation de la police. D'Hémery, formé à la surveillance de la librairie sous l'autorité du lieutenant de police Berryer, considéré comme l'un des promoteurs de cette conception de la police active, incarne par ses activités autant que par ses méthodes cette nouvelle manière d'assurer l'ordre public. Doté de pouvoirs accrus, il développe, à travers le *Journal de librairie*, un outil de référence qui a pour double finalité de constituer une mémoire de ses interventions et de diffuser auprès des administrateurs, selon des modalités que l'on souhaiterait mieux cerner, une information nécessaire à leur action.

Mesurer l'impact du *Journal de la librairie* supposerait donc d'étudier en complément les instructions données à l'inspecteur par ses supérieurs, après communication de ses rapports, ce qui pour autant n'épuiserait pas toutes les lectures possibles d'un document qui appelle bien d'autres analyses. La présence du livre dans la ville, les informations sur les auteurs et les textes cités ou celles consacrées au théâtre et à la vie culturelle parisienne constituent quelques-uns des nombreux thèmes que ces rapports devraient permettre d'éclairer d'un nouveau jour.

On observera enfin que les instruments sophistiqués élaborés par d'Hémery ne semblent pas avoir perduré au-delà de son propre exercice et sont restés attachés, conformément au modèle dominant dans l'administration d'Ancien Régime, davantage à sa personne qu'à un véritable service constitué. De ce point de vue, d'Hémery se situerait donc encore du côté de la «police ancienne».

⁶⁶ BNF. Ms. fr. 22080, cité par *Coyecque E.* Op. cit. P. XXIV.

Сабина Жюратик и Жан-Пьер Виттю

**Надзор и информация:
Journal de la librairie Жозефа д'Эмери,
инструмент полицейского контроля над изданием
и распространением книг в Париже XVIII века**

Отслужив в армии и проработав в военной администрации, Жозеф д'Эмери в середине XVIII в. стал инспектором парижской полиции, отвечавшим за надзор за изданием и распространением книг. Исполняя свои обязанности на этом посту, он собрал внушительную документацию, сохранившуюся до наших дней. В частности, до нас дошли его еженедельные рапорты за 1750–1769 гг., в которых содержатся сведения о литературных кругах, а также списки книг, запрещенных или разрешенных к распространению в столице Франции. Эти рапорты, известные как *Journal de la librairie*, образуют корпус из 11 рукописных томов, над изданием которого работают авторы этой статьи. В настоящее время ими завершена транскрипция всех текстов, что позволяет предпринять первую попытку характеристики этого источника и его автора, проанализировать эволюцию его формы и содержания, а затем попытаться понять особенности и оценить, насколько знакомство с ним обогатило наши представления о практиках книгоиздания и книготорговли в Париже XVIII в.

WILLIAM HANLEY

PRUDENCE EST MÈRE DE SÛRETÉ:
UN ARGUMENT CONTEMPORAIN POUR L'APPROBATION
ANONYME DES LIVRES DANS LA FRANCE
DU XVIII^e SIÈCLE

L'une des pierres angulaires de la législation qui gouvernait la publication légale des livres en France au XVIII^e siècle est un arrêt du Conseil du 28 février 1723 formulant une exigence capitale:

Aucuns libraires, ou autres ne pourront faire imprimer ou réimprimer, dans toute l'étendue du royaume, aucuns livres, sans en avoir préalablement obtenu la permission par lettres scellées du grand sceau; lesquelles ne pourront être demandées ni expédiées, qu'après qu'il aura été remis à M. le Chancelier, ou Garde des Sceaux de France, une copie manuscrite ou imprimée du livre, pour l'impression duquel lesdites lettres seront demandées¹.

Cet article est la reformulation de celui de la grande ordonnance de Moulins, rédigée par le chancelier Michel de L'Hospital et promulguée par Charles IX en février 1566 dans le but d'étendre le pouvoir du roi et de réformer fondamentalement l'administration du royaume: «Défendons à toutes personnes que ce soit d'imprimer, ou faire imprimer aucuns livres ou traités, sans notre congé ou permission, & lettres de privilèges expédiées sous notre grand scel, auquel cas aussi enjoignons à l'imprimeur d'y mettre & insérer son nom & le lieu de sa demeure»².

Par la suite, cette clause s'est vue renouvelée et réitérée à maintes reprises, notamment le 16 avril 1571, date à laquelle l'intervention du censeur est évoquée: «Défendons l'impression en notre royaume de tous nouveaux livres

© William Hanley, 2008

¹ [*Saugrain C.-M.*] Code de la librairie et imprimerie de Paris, ou Conférence du réglemant arrêté au Conseil d'État du Roy, le 28 février 1723, et rendu commun pour tout le royaume, par arrêt du Conseil d'État du 24 mars 1744. Paris, 1744. P. 357.

² Ibid. P. 357–358.

sans notre permission par lettres de notre grand scel, auxquels sera attachée la certification de ceux qui auront vû & visité le livre»³.

Par conséquent, le devoir essentiel des libraires et des auteurs était clair: les ouvrages devaient être munis d'une autorisation royale avant leur publication. En fait, l'État disposait de plusieurs formes d'autorisation pendant la plus grande partie du XVIII^e siècle⁴. Parmi ces possibilités figurait la *permission tacite*, utilisée pour les écrits auxquels les autorités accordaient leur approbation sans reconnaître le fait publiquement. Car, à la différence des ouvrages qui obtenaient un privilège, ceux qui se publiaient avec une permission tacite ne reproduisaient ni l'autorisation ni l'approbation signée par le censeur. En conséquence, ce dernier n'était ni identifié dans le livre ni connu du public.

À ce sujet, il se trouve à la Bibliothèque nationale de France un manuscrit inédit qui traite d'une question cruciale et qui pour cette raison mérite une analyse. Le titre annonce la prise de position de l'auteur: *Memoire sur les permissions tacites et sur la nécessité que dans tous les cas le nom du censeur soit inconnu*⁵. Il s'agit de l'un des trois rapports de l'époque préconisant des changements relatifs à la fonction des censeurs royaux⁶. Selon une note marginale inscrite sur la page initiale du premier mémoire et qui est datée du mois de janvier 1770, Claude-Geneviève Coqueley de Chaussepierre composa ces rapports, et une fois qu'ils furent terminés, ce censeur les rendit à Antoine-Raymond-Jean-Gualbert-Gabriel de Sartine, qui était non seulement lieutenant général de police de Paris mais aussi directeur de la Librairie, et à ce dernier titre responsable notamment de la censure préventive⁷. Les rapports avaient sans doute été rédigés dans le cadre d'une réévaluation de la censure en vue d'une réforme de cette institution envisagée par le chancelier et par le garde des sceaux de cette époque, René-Nicolas-Charles-Augustin de Maupeou⁸.

Dans l'étude présente, notre objectif est double. D'une part, nous examinerons les arguments développés par ce document en faveur de l'anonymat des censeurs. D'autre part, il nous faudra resituer le contexte historique, juridique et politique du mémoire pour mieux appréhender et évaluer ces arguments.

Les permissions tacites étaient destinées surtout à deux sortes de livres: ceux qui avaient été imprimés à l'étranger et que l'on voulait faire venir en France, et ceux que l'on avait l'intention de publier légalement en France mais

³ Ibid. P. 358–366.

⁴ Pour une présentation des diverses autorisations émises par les autorités, voir *Hanley W. The policing of thought: censorship in eighteenth-century France // SVEC. 1980. Vol. 183. P. 279–285.*

⁵ BNF. Ms. fr. 22123. Fol. 109–110.

⁶ Sur les deux autres mémoires, voir *Hanley W. Une réflexion de l'époque sur le nombre de censeurs royaux en place au XVIII^e siècle // Revue d'histoire littéraire de la France. 2005. N 105. P. 207–214; Idem. Une réclamation en faveur des censeurs royaux au siècle des Lumières // Bulletin du bibliophile. 2007 (à paraître).*

⁷ *Hanley W. Une réflexion de l'époque... P. 207–209.*

⁸ *Hanley W. Un rapport secret de 1768: les censeurs royaux sous surveillance // Sciences, musiques, Lumières: mélanges offerts à Anne-Marie Chouillet / Éd. par U. Kölvig, I. Passeron. Ferney-Voltaire, 2002. P. 564–568.*

dont le gouvernement ne voulait pas permettre la publication ouvertement. Dans ces deux circonstances, il fallait indiquer sur la page de titre que le lieu de publication était étranger, même si cette consigne n'était pas toujours respectée⁹. La situation de la librairie à Nancy – dont Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes parle dans une note qui ne porte pas de date mais qu'il écrivit pendant qu'il était directeur de la Librairie, entre 1750 et 1763 – était identique à celle de Paris avant même le rattachement de la Lorraine à la France (1766): «La lettre du roy de Pologne à esté imprimée à Nancy par les soins d'une personne attachée particulièrement au service de S. M. P. [Sa Majesté polonoise. Le titre porte qu'elle à esté imprimée à La Haye. Ainsi ce n'est que par permission tacite que l'édition à esté faite à Nancy, c'est a dire que le roy de Pologne à bien voulu que la lettre fut imprimée, mais qu'il n'a pas voulu y consentir publiquement]»¹⁰.

En outre, d'autres considérations pouvaient jouer un rôle dans le choix de cette autorisation, comme le montre une lettre de Malesherbes adressée à l'intendant de Lyon, Jean-Baptiste-François de La Michodière, le 19 février 1759: «L'ouvrage de M. Novere estant pressé et peu considerable je crois qu'une permission tacite suffira sans attendre les longueurs du sceau».¹¹ Et au paragraphe suivant: «Quant à l'histoire du Beaujolais la matiere est bien assés importante pour un privilege». Dans la même lettre, Malesherbes suggère également qu'il vaudrait mieux donner initialement une permission tacite à un écrit qui pourrait être controversé et ensuite seulement lui accorder un privilège «quand le livre aura fait son effet dans le public»¹².

L'histoire des permissions tacites s'avère nébuleuse pour Malesherbes lui-même. En 1759 il ne peut que spéculer sur leurs origines dans ses *Mémoires sur la librairie*:

Je ne sais pas avec certitude dans quel tems l'usage s'en est établi; il l'était depuis longtems quand je fus chargé de la *Librairie*. J'en parlai à M. d'Argenson, qui avait eu la même fonction dont on venait de me charger, et qui avait été presque depuis sa naissance dans tous les secrets de l'administration, puisqu'il avait été lieutenant de police dès le tems de la Régence. Il me dit qu'il en avait toujours vu donner. Ainsi je crois qu'elles ont commencé à peu près dans le tems de la mort de Louis XIV¹³.

⁹ Sur cette question, voir l'analyse fort riche de Jean-Dominique Mellot: *Mellot J.-D.* Pour une «cote» des fausses adresses au XVIII^e siècle: le témoignage des éditions sous permission tacite en France // *Revue française d'histoire du livre*. 1998. N 100–101. P. 323–348.

¹⁰ BNF. Ms. fr. 22150. Fol. 128 r^o. Même fautives (accents notamment), les graphies des documents cités ont été ici respectées. En revanche la majusculation et la ponctuation ont été modernisées.

¹¹ BNF. Ms. fr. 22147. Fol. 171 r^o.

¹² *Ibid.*

¹³ *Malesherbes Ch.-G. de Lamoignon de.* Mémoires sur la librairie et sur la liberté de la presse. Paris, 1809. P. 310–311. Les cinq *Mémoires sur la librairie* de 1759 se trouvent aux pages 1–256 et le *Mémoire sur la liberté de la presse* de 1788 aux pages 257–432. Marc-Pierre de Voyer de Paulmy d'Argenson fut lieutenant général de police de Paris du 16 janvier au 5 juillet 1720, puis à nouveau du 5 mai 1722 au 3 février 1724 et directeur de la Librairie de novembre 1737 à août 1740 (cf. *Lottin A.-M.* Catalogue chronologique des libraires et des libraires-imprimeurs de Paris... Paris, 1789. T. I, entre les p. 180, 181).

Dans une lettre du 22 mai 1760, Malesherbes prétendit que cette autorisation existait depuis cinquante ans¹⁴. Selon lui, les premières permissions tacites n'étaient accordées qu'oralement¹⁵. En tout cas, ce n'est qu'en mai 1718 que la direction de la Librairie commence à tenir des registres pour cette autorisation¹⁶. On en sait heureusement davantage aujourd'hui sur ses débuts. Une découverte importante et relativement récente nous apprend en effet qu'elle est née en 1709 au plus tard¹⁷.

D'après Malesherbes, deux facteurs déterminants leur donnèrent naissance:

Depuis que le goût d'imprimer sur toutes sortes de sujets est devenu plus général, et que les particuliers, surtout les hommes puissans, sont aussi devenus plus délicats sur les allusions, il s'est trouvé des circonstances où on n'a pas osé autoriser publiquement un livre, et où cependant on a senti qu'il ne serait pas possible de le défendre. C'est ce qui a donné lieu aux premières permissions tacites¹⁸.

L'exemple de deux écrivains célèbres et controversés illustre l'une des raisons d'être de ce type d'autorisation:

Il eût été à souhaiter qu'on eût pu persuader à Rabelais, à Lafontaine et aux autres de ne point donner ces ouvrages qui ont scandalisé les gens de bien; mais du moment qu'il y en a eu une édition ou qu'il y a des copies égarées du manuscrit, il est inutile de les défendre, et ce serait compromettre l'autorité, que de vouloir les empêcher. Il faut se restreindre à ce qu'exige la décence, c'est-à-dire, à ne pas autoriser expressément, et à empêcher le débit public. Cette espèce de tolérance est ce qu'on appelle *permission tacite*¹⁹.

Un autre élément serait entré en jeu dans la création des permissions tacites. En parlant des libraires qui «n'ont rien voulu faire à l'insu du chef de la justice ou de celui qui est préposé par lui, que les libraires nomment *le magistrat de la Librairie*», Malesherbes observe:

On ne voulait pas leur donner la permission prescrite par la loi, qui doit être scellée et imprimée avec le livre, ainsi que l'approbation du censeur. Cependant il y avait beaucoup de ces ouvrages qu'il fallait absolument qui parussent en France. Il n'était pas juste que le libraire de bonne foi, qui venait de faire sa confession au magistrat, fût privé du gain qu'un fraudeur ferait sur le même livre, et l'intérêt du commerce ne permettait pas non plus qu'on laissât tous les jours les libraires étrangers s'enrichir, par le débit de ces livres, au préjudice des libraires français. C'est ce qui a fait imaginer les *permissions tacites*²⁰.

¹⁴ BNF. Nouv. acq. fr. 3346. Fol. 227 v^o.

¹⁵ *Malesherbes Ch.-G. de Lamoignon de*. Op. cit. P. 245–246.

¹⁶ BNF. Ms. fr. 21990. Fol. 2 r^o. Pour un répertoire des registres de permissions tacites, voir *Estivals R. La Statistique bibliographique de la France sous la monarchie au XVIII^e siècle*. Paris; La Haye, 1965. P. 110–120.

¹⁷ *Mellot J.-D. L'Édition rouennaise et ses marchés (vers 1600 – vers 1730): dynamisme provincial et centralisme parisien*. Paris; Genève, 1998. P. 596–602.

¹⁸ *Malesherbes Ch.-G. de Lamoignon de*. Op. cit. P. 249.

¹⁹ *Ibid.* P. 91.

²⁰ *Ibid.* P. 310.

Autrement dit, des considérations économiques s'imposaient par-dessus le marché²¹. Enfin, selon Malesherbes, cette autorisation aurait constitué dès le départ une protection pour le libraire, l'auteur, le censeur et le gouvernement:

Je crois que cette forme a été introduite pour que, d'une part, le libraire et l'auteur eussent leur décharge, et que, d'autre part, les censeurs fussent à l'abri des plaintes importunes et souvent très-déraisonnables de tous les particuliers qui croient avoir à se plaindre d'un livre. Par ces permissions, dont il y a un registre, le censeur qui a eu tort n'est pas soustrait à la répréhension du gouvernement qui lui a donné sa mission; mais quand les plaintes sont ridicules, ce qui arrive souvent parce que personne n'est raisonnable sur l'intérêt de son amour-propre, le censeur n'a pas de querelle personnelle²².

Plus loin dans ce même *Mémoire sur la liberté de la presse*, il insistera sur l'idée de la protection des censeurs en attribuant partiellement l'existence des permissions tacites à la vulnérabilité de ces derniers: «J'ai vu souvent des censeurs faire, sur quelques livres, des difficultés que dans le fond de leur cœur ils ne trouvaient sûrement pas justes; mais ils craignaient de se faire personnellement des ennemis par leur approbation, et c'est en grande partie ce qui a fait établir les *permissions tacites*, où le censeur n'est pas nommé»²³.

Avec le temps, cette autorisation devint indispensable, au dire de Malesherbes. Cela étant, malgré le mécontentement de certains, les permissions tacites continuèrent à exister:

J'ai vu plusieurs personnes qui étaient persuadées que les abus de la *Librairie* venaient de l'usage de ces permissions tacites, et cependant aucun administrateur de la *Librairie* n'a renoncé à en donner. La raison en est que, dans la pratique, il est absolument impossible de s'en passer, et tous ceux qui y sont le plus opposés, finiraient par y recourir s'ils avaient été chargés quelques mois du détail de la *Librairie*²⁴.

La situation en 1759 était telle que le directeur de la Librairie écrit cette année-là à propos des permissions tacites: «Elles se sont multipliées au point d'être devenues aujourd'hui aussi communes que les permissions publiques»²⁵. Les registres de la Librairie pour l'année qui précéda celle du mémoire que nous étudions confirment qu'elle avait alors fréquemment recours aux permissions

²¹ Denis Diderot insiste sur l'importance de cet aspect de la question dans sa *Lettre historique et politique adressée à un magistrat sur le commerce de la librairie, son état ancien et actuel, ses règlements, ses privilèges, les permissions tacites, les censeurs, les colporteurs, le passage des ponts et autres objets relatifs à la police littéraire*, voir DPV. Paris, 1976. T. VIII. P. 551-556. Le philosophe y fait une longue et énergique apologie des permissions tacites (p. 547-557).

²² Malesherbes *Ch.-G. de Lamoignon de*. Op. cit. P. 311-312.

²³ Ibid. P. 408. Voir aussi le cinquième *Mémoire sur la librairie*, p. 250.

²⁴ Ibid. P. 245. À deux autres endroits de ses *Mémoires sur la librairie*, il qualifie les permissions tacites de nécessaires (p. 54 et 116).

²⁵ Ibid. P. 249.

tacites²⁶. Le registre des privilèges et des simples permissions du sceau contient en effet 559 demandes pour 1769, tandis que le registre des permissions tacites en renferme 456, soit presque 45 %. Quelle que soit la fréquence de cette autorisation, elle n'est cependant pas suffisante selon Denis Diderot dans sa *Lettre historique et politique adressée à un magistrat sur le commerce de la librairie*, qui date vraisemblablement de 1763: «Je pense donc qu'il est utile pour les lettres & pour le commerce de multiplier les permissions tacites à l'infini»²⁷.

Après ce rappel historique sur la permission tacite, considérons maintenant le mémoire.

Bien qu'il le fasse discrètement, Coqueley de Chaussepierre commence par jeter un doute sur la validité des permissions tacites. Étant donné que le pouvoir a jugé bon de les instituer, il se voit obligé de les accepter avec, toutefois, des réserves qu'il émet en ces termes:

Quoiqu'il semble qu'en général l'impression d'un manuscrit, doive être sans restriction, permise ou défendue, et qu'en conséquence de cette maxime générale, il ne dut y avoir que des privilèges ou des permissions du grand sceau, cependant puisqu'il a plu au ministère de former une troisième classe d'ouvrage d'un genre neutre, qu'il croit ne pouvoir ouvertement ni défendre ni permettre, on se gardera bien de rien proposer de contraire à cet égard²⁸.

En réalité, les permissions tacites n'avaient aucun statut officiel. On en chercherait en vain mention dans l'arrêt du 28 février 1723. En 1759 Malesherbes remarque dans une lettre administrative qu'elles manquent de «forme juridique»²⁹. Ailleurs, il va plus loin en affirmant qu'elles sont «contraires à la lettre des réglemens», qu'elles ne sont pas «régulières» et qu'elles sont même «contraires à la disposition de la loi»³⁰. Plus tard, il les qualifie encore plus explicitement d'illicites: «Il n'y a donc de différence entre ces permissions illégales et les autres, qu'en ce qu'elles ne passent pas au sceau, et que le public ne voit pas le nom du censeur»³¹. Ce qui est plus grave, c'est que, lorsqu'il les accordait, le gouvernement autorisait une transgression de la loi: «Ce fut le gouvernement qui apprit lui-même aux libraires et imprimeurs qu'ils pouvaient contrevenir à une loi précise»³². Par une complicité silencieuse, même les parlements acceptaient et reconnaissaient passivement cette réalité³³. Diderot partage le jugement de Malesherbes sur l'illégalité de l'autorisation, comme en témoigne son dialogue avec un magistrat fictif dans la *Lettre historique et poli-*

²⁶ Hanley W. Une réflexion de l'époque... P. 211. Sur la fréquence des permissions tacites au cours du siècle, voir *Estivals R.* Op. cit. P. 275–291; *Furet F.* La «librairie» du royaume de France au 18^e siècle // *Livre et société dans la France du XVIII^e siècle* / Éd. G. Bollème, J. Ehrard, F. Furet, D. Roche, J. Roger. Paris; La Haye, 1965–1970. T. I. P. 7–9.

²⁷ *Diderot D.* Op. cit. P. 556.

²⁸ BNF. Ms. fr. 22123. Fol. 109 r^o.

²⁹ BNF. Ms. fr. 22147. Fol. 171 r^o.

³⁰ *Malesherbes Ch.-G. de Lamoignon de.* Op. cit. P. 245, 252, 254.

³¹ *Ibid.* P. 311.

³² *Ibid.* P. 313.

³³ *Ibid.* P. 251, 255, 312–313.

tique: «La permission tacite, me direz-vous, n'est-elle pas une infraction de la loi générale qui défend de rien publier sans approbation expresse & sans autorité [?] Cela se peut. Mais l'intérêt de la société exige cette infraction»³⁴. La notion de manque d'autorité officielle de ces permissions est relevée par le censeur Michel Chrétien en 1776 lorsque, à l'occasion d'un mémoire justificatif, il les oppose aux autorisations authentiques: «Enfin j'approuvai l'ouvrage en trois volumes, non pas par une simple permission tacite; mais par une approbation authentique, destinée pour la solennité du sceau»; et «J'ai annexé au procès un état de tous les ouvrages que j'ai approuvés, soit tacitement, soit dans une forme authentique»³⁵. À ce propos, il est à remarquer qu'en énumérant les autorisations que pouvaient obtenir les écrivains, Antoine Perrin n'inclut pas dans son *Almanach de la librairie* de 1781 les permissions tacites, quoiqu'elles aient bel et bien existé et aient, du reste, été fréquemment sollicitées à l'époque³⁶.

Coqueley de Chaussepierre lance sa discussion proprement dite de la question énoncée dans le titre du mémoire en soulignant le péril que ce type d'autorisation représentait pour le censeur:

On observera seulement que dans ces cas la position du censeur est on ne peut plus dangereuse, puisqu'il n'a point de règle sûre pour fixer le point jusqu'auquel il doit porter son indulgence, d'où il résulte qu'il ne seroit pas juste de le rendre responsable et encore moins de le punir des prétendues fautes qu'il auroit faites, puisque n'ayant point de règles il n'a pas pû y contrevenir³⁷.

Incontestablement, les censeurs travaillaient sans prescriptions précises. Les critères selon lesquels les textes devaient être jugés restaient vagues, comme on peut le constater en se reportant à l'arrêt du Conseil du Roi du 28 février 1723: «Ceux qui imprimeront ou feront imprimer, vendront, exposeront, distribueront ou colporteront des livres ou libelles contre la religion, le service du roy, le bien de l'Etat, la pureté des mœurs, l'honneur & la réputation des familles & des particuliers, seront punis suivant la rigueur des ordonnances»³⁸. Malesherbes se trouve être d'accord avec Coqueley de Chaussepierre sur l'imprécision des consignes transmises aux censeurs: «Je sais que l'administration de la *Librairie* s'est ordinairement faite en rejetant tout sur le censeur, en lui recommandant vaguement de ne rien laisser passer de ce qu'il est dangereux de donner au public, ni de ce qui peut offenser les particuliers, et en se mettant encore à couvert par différens degrés de permissions plus ou moins tacites»³⁹.

³⁴ *Diderot D.* Op. cit. P. 547–548.

³⁵ *Chrétien M.* Mémoire à consulter et consultation pour le Sieur Chrétien, prêtre-chanoine de Lens, censeur royal, accusé d'avoir approuvé un ouvrage intitulé: De la philosophie de la nature [Paris, 1776]. P. 6, 23. De même, Diderot distingue entre «l'autorisation authentique & publique & la permission tacite» (Op. cit. P. 547).

³⁶ *Perrin A.* *Almanach de la librairie* / Éd. J. Vercruyssel, J.-M. Collins. Aubel, 1984. P. 9–14; BNF. Ms. Fr. 21983, 21984.

³⁷ BNF. Ms. fr. 22123. Fol. 109 r^o.

³⁸ [*Saugrain C.-M.*] Op. cit. P. 341.

³⁹ *Malesherbes Ch.-G. de Lamoignon de.* Op. cit. P. 53.

Or, s'il arrivait que cette situation fût problématique pour les censeurs en ce qui concernait les autorisations publiques, elle pouvait être encore plus épineuse dans le cas des permissions tacites. Là, normalement, le contenu des écrits examinés était par définition plus controversé et, de ce fait, éventuellement plus dangereux. La permission tacite autorisait une plus grande liberté, mais une liberté tout à fait indéfinie. C'est pour cette raison que, dans son premier paragraphe, le mémoire cherche à protéger les censeurs contre toute accusation de laxisme. Puisqu'ils n'avaient pas de directives détaillées pour les guider, personne ne pouvait les tenir responsables de ne pas les avoir respectées.

L'auteur du mémoire poursuit sa pensée logiquement en plaidant pour une discrétion quasi totale: «Par une consequence necessaire de ce qu'on vient de dire, il seroit tres convenable, que la permission etant tacite, le censeur ne fut absolument connu que du magistrat qui preside a la Librairie»⁴⁰. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Par conséquent, le censeur devint la victime de divers agents de harcèlement. D'ailleurs, on pouvait facilement avoir accès même à des documents de la Librairie qui auraient dû rester confidentiels, comme l'indique cet extrait du rapport de Coqueley de Chaussepierre:

Cependant, dans le fait, on donne communement dans ce cas le mandat et l'ouvrage a l'auteur meme, ou au libraire qui tourmentent par empressement ou par entetement le censeur; et quand le livre vient a paroître, et a exciter la curiosité des oisifs qui ne trouvant point d'approbation imprimée, sont curieux par inaction, ou par envie de nuire, de savoir le nom du censeur, ils vont voir le registre des permissions tacites qui devoient etre absolument inconnu a tous autres qu'au magistrat⁴¹.

Les lourdes conséquences pour le censeur sont d'autant plus inadmissibles que ce travail ingrat exige quelqu'un de sûr qui, d'ordinaire, ne reçoit aucune récompense pécuniaire: «Par la le censeur se trouve exposé a des tracasseries sans fins et souvent a des querelles ou des haines que rien ne compense, puisque pour l'ordinaire son travail est tout de confiance et purement gratuit»⁴². Malesherbes confirme le fait que les censeurs devenaient parfois l'objet de ce genre d'hostilité: «J'ai vu plus d'une fois des censeurs qui, par leur caractère, n'auraient jamais dû avoir de querelles avec personne, se trouver exposés au ressentiment implacable de gens avec qui ils n'avaient rien de personnel à démêler, uniquement pour avoir donné leur approbation à un livre qui leur déplaisait»⁴³.

Coqueley de Chaussepierre élargit ensuite l'horizon de sa réflexion. À la lumière de l'état de choses qu'il vient de décrire, il propose que le censeur tra-

⁴⁰ BNF. Ms. fr. 22123. Fol. 109 r^o.

⁴¹ Ibid. Fol. 109 r^o – 109 v^o. Le mandat (ou billet de censure) était le formulaire par lequel on demandait au censeur d'examiner un ouvrage précis. Expédié par le directeur de la Librairie, il était envoyé au censeur au nom du ministre responsable de la censure préalable.

⁴² BNF. Ms. fr. 22123. Fol. 109 v^o. Sur la rémunération des censeurs, voir *Hanley W.* Une réclamation en faveur des censeurs royaux...

⁴³ *Malesherbes Ch.-G. de Lamoignon de.* Op. cit. P. 340.

vaille sous le couvert de l'anonymat, quelle que soit l'autorisation demandée. Un tel changement aurait des bénéfices et pour le censeur et pour l'intégrité de son travail:

Il seroit à désirer aussi que pour tous les ouvrages en général, le nom du censeur fut toujours ignoré de l'auteur et du libraire. Ce secret utile épargneroit aux censeurs occupés d'ailleurs des visites et une perte de tems tres incommode, des sollicitations fatigantes, et souvent des complaisances dangereuses que les instances des auteurs ou de leurs amis leur arrache[nt]⁴⁴.

Ainsi souligne-t-il une faiblesse importante de la procédure courante. Pour sa part, Malesherbes approuve l'idée que le nom du censeur doit rester secret. Mais sa perspective est différente de celle de Coqueley de Chaussepierre. En 1759 il soutient le principe de la censure à une réserve près: «La loi qui défend d'imprimer sans une permission et une approbation écrite est une loi très-sage, pourvu qu'on n'en use que pour un petit nombre d'objets»⁴⁵. Cela dit, il s'oppose à la publication du nom du censeur dans les livres approuvés: «Mais la loi qui ordonne d'imprimer la permission et l'approbation est impraticable et inutile». Et il prévoit les objections éventuelles à son idée:

Il importe au magistrat chargé de l'administration de savoir pour quels ouvrages la permission a été accordée, et par qui ils ont été approuvés. Son registre et le paragraphe du censeur mis au manuscrit ou à un exemplaire imprimé suffisent pour cela. Il est aussi nécessaire que les juges du délit puissent savoir si un livre est permis, afin de connaître si le libraire est punissable; mais pour cela il suffit que le libraire ait sa permission scellée et enregistrée, et qu'il puisse la représenter pour sa décharge si on veut le traduire en justice. Il n'y a que les privilèges exclusifs qu'il faille absolument imprimer⁴⁶.

En fait, lorsqu'il fut nommé directeur de la Librairie, son premier acte fut de demander la suppression de l'article qui dans les règlements stipulait que l'approbation et l'autorisation seraient rendues publiques⁴⁷. Presque quarante ans plus tard, en 1788, il répète cette recommandation: «Je serais même d'avis de retrancher des anciens réglemens l'obligation de faire imprimer l'approbation du censeur à la suite des livres pour lesquels il y a permission publique et scellée; car puisque le censeur ne doit répondre de son jugement qu'à son ministre, je ne voudrais pas non plus qu'il s'en rendît en quelque sorte responsable au public»⁴⁸. Par cette prise de position il se montre encore plus radical que l'auteur du rapport.

Dans ce contexte, deux lettres écrites par des censeurs, l'une avant et l'autre après la rédaction du mémoire, s'avèrent pertinentes. Dans celle du 30 septembre 1752, François-Augustin Paradis de Moncrief demande à Malesherbes d'ac-

⁴⁴ BNF. Ms. fr. 22123. Fol. 109 v^o.

⁴⁵ *Malesherbes Ch.-G. de Lamoignon de*. Op. cit. P. 247.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.* P. 312.

⁴⁸ *Ibid.* P. 408.

cordier une autorisation pour la publication d'un livre de Jacques-François de La Baume-Desdossat uniquement parce qu'il veut éviter la rancune de l'écrivain, lequel sait qu'il en est le censeur:

Permet[t]ez moi de vous représenter que les censeurs n'ont plus leur jugement libre dès qu'ils sont connus des auteurs. M l'abbé de La Baume m'écrit que son sort est entre mes mains. Je ne suis pas à portée de vous donner un avis éclairé sur le mérite qui peut attirer à l'ouvrage la distinction d'être imprimé par souscription. C'est le censeur théologien seul qui peut décider de ce point cy comme il a fait à l'égard de l'autre. Mais dans cette situation plutôt que de m'attirer la haine d'un auteur qui croira pouvoir me haïr en conscience si vous ordonnez que je prononce sur la liberté d'imprimer par souscription je vous prierai très instamment de l'accorder⁴⁹.

Et en approuvant les *Mémoires du maréchal de Berwick* de Jacques Fitz-James de Berwick le 1^{er} mars 1778, Gabriel-Henri Gaillard dresse un catalogue des raisons pour lesquelles le garde des sceaux, Armand-Thomas Hue de Miromesnil, doit permettre que le nom du censeur ne figure pas dans le livre:

Comme les gens du monde ignorent les principes de la censure et les bornes de ce ministère, qu'ils regardent très injustement le censeur comme associé à toutes les opinions de l'auteur même les plus étrangères à la censure, qu'il peut se trouver des personnes qui prennent intérêt au nom et à la mémoire de quelques-uns de ceux que M. le maréchal de Berwick cite avec improbation, qu'il seroit injuste de rendre le censeur garant de ces jugemens, mais que cette injustice n'est que trop commune, et que j'ai vu naître de ce malentendu des haines secrètes et des dispositions fâcheuses, dont il est nécessaire de garantir le censeur, puisqu'il n'y a pas de lieu, je prends la liberté de supplier Monseigneur le Garde des Sceaux de permettre que mon approbation ne soit point imprimée (je ne sais pas même pourquoi elles le sont jamais) et que mon nom ne paraisse point dans cette occasion⁵⁰.

Coqueley de Chaussepierre trouve dans l'histoire relativement récente un précédent pour justifier sa proposition que le censeur reste inconnu pendant ses délibérations. En effet, dans le passé, la procédure suivie était différente:

On en usoit ainsi du tems de M. d'Aguesseau chancelier; l'auteur portoit au bureau son manuscrit, et l'y laissoit, on l'inscrivoit pendant la durée du bureau, le magistrat signoit à la fin du bureau dans son cabinet des mandats pour les censeurs qu'il jugeoit à propos de nommer, et leur envoyoit le manuscrit et le mandat par la poste⁵¹.

⁴⁹ BNF. Ms. fr. 22143. Fol. 98 r°. Pour les règlements sur les souscriptions, voir [*Saugrain C.-M.*] Op. cit. P. 126–130.

⁵⁰ BNF. Ms. fr. 22015. Fol. 158 v°.

⁵¹ BNF. Ms. fr. 22123. Fol. 109 v°. Henri-François d'Aguesseau, l'un des chanceliers les plus influents du siècle, fut en fonction du 2 février 1717 au 27 novembre 1750 (cf. *Maurepas A. de, Boulant A.* Les Ministres et les ministères du siècle des Lumières (1715–1789): étude et dictionnaire. Paris, 1996. P. 88–89). Pendant cette période, on lui enleva les sceaux à deux reprises.

Les avantages de ce *modus operandi* lui sont manifestes :

Le censeur examinoit tranquil[le]ment l'ouvrage sans prevention pour ou contre l'auteur dont il ignoroit le nom; si par hazard il trouvoit quelques observations a faire a cet auteur, il en faisoit part au magistrat qui dans ce cas avoit la bonté d'envoyer l'auteur chez lui. Par la, toutes sollicitations, toutes persecutions de la part des auteurs, toutes preventions ou predilection de la part des censeurs, se trouvoient prosrites; le Magistrat etoit moins troublé, son bureau moins long, l'expedition plus prompte, et le public, les colporteurs, les auteurs n'étoient pas instruits du secret de la Librairie un an ou deux avant que les ouvrages parussent⁵².

Il fallait donc reprendre cette pratique. C'est sur cette note nostalgique que se termine le mémoire.

En guise de conclusion, Coqueley de Chaussepierre s'attache à une question qui est de la plus grande importance pour les censeurs. Tout simplement, il cherche à les protéger contre les inconvénients considérables auxquels leur position les exposait. Leur travail devait selon lui se faire en grand secret. Nous ignorons l'influence de cette intervention. Quoi qu'il en soit, à en croire une rumeur qui circulait dans la République des lettres le 23 septembre 1776, un changement préconisé dans le mémoire fut mis en vigueur plus tard. D'après le journal de Louis Petit de Bachaumont, François-Michel-Claude-Benoît-Brice Le Camus de Néville, directeur de la Librairie de 1776 à 1784, avait adopté l'ancienne pratique du temps du chancelier d'Aguesseau :

M. le Camus de Neville, qui est aujourd'hui à la tête de la Librairie sous M. le Garde des Sceaux, exerce dans cette partie un despotisme qu'on n'auroit pas présumé d'un excellent patriote comme lui. Il a imaginé de ne plus laisser un auteur communiquer avec le censeur de son ouvrage, il ne veut pas même qu'il le connoisse; il se fait remettre le manuscrit & l'envoie personnellement à celui qu'il choisit pour l'examiner, lequel le lui remet de même. Cette méthode, bonne dans certains cas, où un censeur a besoin de l'incognito pour se livrer plus librement à ses fonctions, est mauvaise en général, par les longueurs qu'elle entraîne, l'auteur pouvant lever beaucoup de difficultés en conférant de vive voix avec son Aristarque, ce qui est presque impossible par écrit & doit faire perdre tout au moins beaucoup de tems⁵³.

Que cette information soit vraie ou pas, il est attesté par la suite, au moins dans certains cas, que les auteurs savaient qui examinait leurs ouvrages. Par exemple, la Librairie informa l'écrivain Hillerin en janvier 1789 que son livre serait lu par le censeur Pierre-Louis Goulliard⁵⁴. Et en juin 1789 le rédacteur en chef de la *Gazette des tribunaux*, Simon-Pierre Mars, écrivit que Jean-François Berthelot avait été désigné censeur de son journal en l'absence d'Armand-Gaston

⁵² BNF. Ms. fr. 22123. Fol. 109 v^o – 110 r^o.

⁵³ Bachaumont L. *Petit de*. Mémoires secrets. London, 1784. T. IX. P. 222–223.

⁵⁴ Hanley W. A Biographical Dictionary of French censors, 1742–1789. Ferney-Voltaire, 2005. T. 1. P. 37–38.

Camus⁵⁵. De toute évidence, ce sont des considérations jugées plus importantes que celles que Coqueley de Chaussepierre avait évoquées dans son rapport qui en fin de compte ont prévalu.

Уильям Хэнли

**Осторожность – мать безопасности:
рассуждение о необходимости анонимной апробации
книг во Франции XVIII века**

Во Франции XVIII в. королевские цензоры становились порой жертвами преследований. В одном из сочинений того времени прямо ставится вопрос о необходимости их защиты. *Записка о негласных разрешениях на печать и о недопустимости разглашения имени цензора* состоит из двух частей. В первой проблема защиты цензора анализируется в связи с так называемыми «негласными разрешениями на печать» («permissions tacites»). Во второй она рассматривается шире, во всех случаях выдачи цензурных разрешений. Утверждается, что личность цензора любого печатного издания не должна подлежать огласке и что автор книги и книгопродавец, безусловно, не должны иметь доступа к этой информации. Нам неизвестно, какое влияние оказало это сочинение на современников. По некоторым сведениям через несколько лет цензурная практика стала соответствовать изложенным в нем принципам. Тем не менее даже после этого для многих авторов личность цензоров их книг не составляла тайны.

⁵⁵ Ibid. P. 157.

А.Ю. САМАРИН

РАЗВИТИЕ КНИГОПЕЧАТАНИЯ И ЦЕНзуРА
В РОССИИ (1750-е – НАЧАЛО 1780-х ГОДОВ)

История русской цензуры второй половины XVIII столетия продолжает оставаться недостаточно изученной. Объяснений данного факта, видимо, несколько. Во-первых, исследования системы контроля за печатным словом не поощрялись ни в царское, ни в советское время¹. Во-вторых, материал для историков, желавших показать «зверства» царской цензуры, предоставляли, главным образом, события второй половины 1780-х–1790-х годов. Именно в это время происходят преследования Н.И. Новикова, затем А.Н. Радищева – после издания книги *Путешествие из Петербурга в Москву*, запрещение драмы Я.Б. Княжнина *Вадим*, а также общее ужесточение цензурного законодательства в последний год правления Екатерины II, усиленное в царствование Павла I.

В работах по истории цензуры Екатерининского времени в качестве одного из ключевых моментов рассматривается появление с 1771 г. частных типографий. Так, в обобщающих трудах А.М. Скабичевского и В. Якушкина отмечалось, что при существовании до 1771 г. исключительно казенных типографий надобности в специальной цензуре не было. Возникавшие по особым привилегиям частные полиграфические предприятия передавались под надзор Академии наук и Синода, а после указа от 15 января 1783 г. о «вольном» книгопечатании органом цензуры становятся Управы благочиния, осуществлявшие полицейские функции на местах².

© А.Ю. Самарин, 2008

¹ Множество конкретных примеров см.: Блюм А.В. Книговедение под цензурой // Книга: Исследования и материалы. М., 2005. Сб. 83. С. 277–299.

² См.: Скабичевский А.М. Очерки истории русской цензуры (1700–1863). СПб., 1892. С. 35–38; Якушкин В. Из истории русской цензуры // Русская печать и цензура в прошлом и настоящем. Статьи Вл. Розенберга и В. Якушкина. М., 1905. С. 8–9.

Дореволуционные историки опирались, главным образом, на материалы законодательного характера, опубликованные в *Полном собрании законов Российской империи*. Предложенная ими схема, излагаемая с большими или меньшими подробностями, до сих пор имеет хождение в отечественной и зарубежной историографии³.

Значительно продвинуть изучение истории русской цензуры Екатерининского времени позволяют архивные материалы, появившиеся в связи с попыткой создания второй частной типографии в России.

В сентябре 1772 г. от «иноземца» И.К. Шнора в Сенат поступило прошение о заведении «вольной» типографии. Вдохновленный опытом словолитного мастера И.М. Гартунга, получившего за полтора года до этого первую в России привилегию на создание частного полиграфического предприятия⁴, он писал:

Всепресветлейшая державнейшая великая государыня императрица Екатерина Алексеевна, самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая, бьет челом Иоганн Карл Шнор, а о чем мое челобитье тому следуют пункты.

1.

Ваше императорское величество всемилостивейше соизволили в прошлом 1771-м году находившемуся в типографии правительствующаго Сената словолитчику Гартунгу пожаловать всевысочайшую привилегию на печатание всяких книг на иностранных языках.

2-е.

А у меня нижайшаго имеются в готовности к печатанию разныя писы и сочинения, которые я за неимением собственной типографии к предосуждению казеннаго интереса и здешних бумажных фабрик по н(ы)не отчасти в чужих краях, отчасти в Лифляндии с великим коштом в печать издать принужден был; а как от заведения типографии никому не чинится притеснения, но паче чрез то умножится казенной интерес, так же и здешней бумаге будет большой росход, не упоминая о том что чрез большее число типографей науки разпространяются, то и я нижайший собственную типографию завести намерен.

И дабы высочайшим Вашего Императорскаго величества указом повелено было сие мое челобитье в правительствующи Сенат принять

³ См.: *Gesemann W.* Grundzüge der Russischen zensur im 18. Jahrhundert // Buch- und Verlagswesen im 18. und 19. Jahrhundert: Beiträge zur Geschichte der Kommunikation in Mittel- und Osteuropa. Berlin, 1977. S. 68; *Жирков Г.В.* История цензуры в России XIX–XX вв.: Учеб. пособие. М., 2001. С. 25–26; *Lehmann-Carli G., Schippan M., Brohm S., Brüne P.* Zensur in Rußland. Von der zweiten Hälfte des 18. bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts // Europa in der Frühen Neuzeit: Festschrift für Günter Mühlhpfordt. Bd 6: Mittel-, Nord- und Osteuropa. Köln; Weimar; Wien, 2002. S. 742 и др.

⁴ Историю создания типографии И.М. Гартунга см.: *Самарин А.Ю.* Первая в России частная типография И.М. Гартунга // Книга: Исследования и материалы. М., 2006. Сб. 85. С. 187–200.

и в разсуждении представленных мною резонов на печатание книг на всяких иностранных языках на таком основании как оно и вышепомянутому Гартвигу дозволено всемилостивейше пожаловать мне всевысочайшую Вашего Императорскаго величества привилегию.

Всемилолюбивейшая Государыня прошу Вашего Императорскаго величества о сем моем прошении решение учинить сентября дня 1772 года. К поданию надлежит в правительствующий Сенат в первый департамент. Челобитную писал канцелярии опекунства иностранных канцелярист Яков Смирной.

Johann Karl Schnoor⁵.

Последовавшая за появлением данного челобитья цепочка событий стала настоящим «моментом истины» для системы цензурного надзора за печатным словом, существовавшей в тот период на территории Российской империи. Первоначально ситуация развивалась благоприятно для просителя. Уже 15 октября 1772 г. сенаторы приказали: «Означенному иноземцу Шнору по прошению его завести здесь в Санкт-Петербурге для печатания на иностранных языках книг и протчих сочинений типографию и при ней словолитную на таком основании, как словолитчику Гартунгу велено дозволить; и для того дать ему из Сената отверстой указ»⁶. Тогда же был подготовлен соответствующий указ, текст которого являлся повторением привилегии, пожалованной Гартунгу⁷.

Однако 29 ноября 1772 г. Сенат вернулся к рассмотрению вопроса о разрешении новой частной типографии и отменил свое предыдущее решение. Теперь вердикт по делу гласил:

Помянутому иноземцу Шнору в прошении ево отказать, для того, во первых, что здесь ради печатания на иностранных языках книг не только казенные типографии есть, но одна и партикулярная словолитчиком Гартунгом по особливому сенатскому указу уже заведена, в которых и проситель Шнор свои пиесы и сочинении, буде оные христианским законам, добронравию и правительству не предосудительны, по добровольному условию свободно печатать может; а естли и ему Шнору как иностранцу, о состоянии котораго, ниже о нации, откуда выехал, и долго ли здесь пробыть намерен неизвестно, подобную ж типографию, какову и Гартунг имеет, завести дозволить, то чрез сие размножение не столько от издания полезных книг выгоды, сколько от тайного печатания запрещенных последовать может вреда; а при том и до ныне уже заведенным казенным и партикулярной типографиям причинится немалой подрыв. В разсуждении чего ему просителю таковую иностранную типографию завести дозволить не можно. И о том объявить, а по записанной в журнал минувшаго октября 15 дня по челобитной ево резолюции исполнения не чинить⁸.

⁵ РГАДА. Ф. 248. Оп. 43. Кн. 3790. Л. 244.

⁶ Там же. Л. 245.

⁷ Там же. Л. 245–246.

⁸ Там же. Л. 247–247 об.

Данный эпизод получил различные толкования в историографии. Если Б.П. Орлов еще в 1953 г. справедливо отмечал, что Шнор получил отказ на свое прошение об открытии частной типографии в 1772 г.⁹, то позднее другие авторитетные исследователи утверждали, что привилегия была сразу же получена¹⁰. И.Ф. Мартынов даже выдвинул предположение о том, что Шнор сам не стал использовать предоставленную возможность организовать частное полиграфическое предприятие, а предпочел взять в аренду типографию Артиллерийского и Инженерного кадетского корпуса. Он писал: «Правительство удовлетворило его просьбу, однако расчетливый предприниматель нашел тогда более выгодное применение своему капиталу, получив “обходным маневром” право печатать книги на любом, в том числе русском, языке»¹¹.

Думается, что история с принятым, а затем отмененным решением по «вольной» типографии Шнора свидетельствует о противоречиях и даже определенной борьбе по вопросу о путях развития книгоиздания и системе надзора за ним, имевших место в коридорах власти. Дело в том, что положения, заложенные в известный указ от 1 марта 1771 г. о создании частной типографии Гартунга для печатания книг на иностранных языках, были сформулированы «сверху», а не отражали идущую «снизу» инициативу. Сохранившийся текст прошения словолитного мастера показывает, что Гартунг первоначально хотел создать предприятие под особым покровительством высшей власти (о чем должен был свидетельствовать титул «императорского придворного типографщика и словолитца»), имеющее монопольные права на производство шрифтов для казенных типографий, освобожденное от налогов и повинностей. Он также хотел бесплатно получить от государства дом на Васильевском острове. По всей видимости, такой поворот не устраивал российские власти. На полях прошения появились замечания (вероятно, их автором был непосредственно генерал-прокурор А.А. Вяземский), отражавшие позицию представителя Сената. Большинство поправок отвергало возможность создания особых условий для деятельности типографии, ориентируя ее, говоря современным языком, на свободные рыночные отношения. Именно в замечаниях содержится и сам термин «вольная типография», который затем использовался в делопроизводственных документах для характеристики как книгопечатни Гартунга, так и полиграфических предприятий его последователей¹².

⁹ См.: Орлов Б.П. Полиграфическая промышленность Москвы: Очерк развития до 1917 года. М., 1953. С. 103, 105.

¹⁰ См.: Долгова С.Р. О первых владельцах частных типографий в России (И.М. Гартунг и И.К. Шнор) // Книга: Исследования и материалы. М., 1976. Сб. 32. С. 180; Мартынов И.Ф. Петербургский книготорговец и книгоиздатель XVIII века Иоганн Якоб Вейтбрехт // Книгопечатание и книжные собрания в России до середины XIX века. Л., 1979. С. 48.

¹¹ Мартынов И.Ф. Указ. соч. С. 48.

¹² Публикацию текста см.: Самарин А.Ю. Первая в России частная типография И.М. Гартунга. С. 192–193.

Требования Гартунга, скорректированные с учетом многочисленных поправок, и легли в основу указа от 1 марта 1771 г. Относительно цензуры в прошении говорилось: «Определить кого из Императорской Академии наук или из другого места, которому бы проситель прежде печатания подавал для разсматривания книги и сочинения, однако без всякой платы». Рядом появилась короткая резолюция: «Можно»¹³. Указ от 1 марта 1771 г. закрепил положение, согласно которому издания типографии Гартунга должны были проходить обязательную цензуру. Книги церковной тематики подлежали одобрению Синода, светской – Академии наук, а объявления – полиции. Документ особо оговаривал, что привилегия, данная Гартунгу, не может препятствовать созданию новых полиграфических предприятий другими лицами.

И вот, когда спустя полтора года нашелся еще один желающий организовать собственную книгопечатню, Сенат оказался на распутье, поскольку стала очевидной перспектива быстрого роста книгоиздательской отрасли при отсутствии четкой системы цензурного контроля. Логика подсказывала, что, прежде чем выдавать новые привилегии на печатание книг, необходимо оценить существующее положение вещей в данной сфере. И тогда было принято решение провести обследование типографий по всей стране:

1773-г(о) года генваря 29-г(о) дня правительствующему Сенату господин генерал-прокурор и кавалер при слушании заготовленного 29 ноября прошлого года по челобитью иноземца Иоганна Карла Шнора, коим просит о дозволении ему завести здесь для печатания на иностранных языках книг типографию, и о даче таковой же привилегии, какова дана словолитному мастеру Гартунгу, определения предлагал: что как здесь в Санкт-Петербурге, так в Москве и в других местах заведены многия для печатания, не только на российском, но и на прочих европейских языках, також и церковных книг, типографии, а на каком основании оные учреждены, под какою находятся ценсурою и присмотром в Сенате не известно; и для того не благоволит ли правительствующий Сенат принять сие в разсуждение, учинить сходственное с тою надобностию свое определение?

И по указу Ея Императорскаго величества правительствующий Сенат согласно с тем ево господина генерала-прокурора и кавалера предложением приказали: от всех тех мест, где типографии имеются (кроме Сенатских) в предъупреждение дабы иногда не могло выйтить какоголибо злоупотребления, потребовать изъяснения, на каком основании те типографии заведены, и под каким присмотром и ценсурою печатание в оных книг происходит? И о том в Военную коллегия, в Сухопутной и Морской шляхетные кадетские корпусы, в Московский университет и куды надлежит послать указы, а в Святейший Синод сообщить ведением; вышеозначенное ж.

Учиненное 29-го ноября прошлого года по челобитью иноземца Иоганна Карла Шнора определение, сообща к делу, оставить без исполнения¹⁴.

¹³ Там же. С. 192.

¹⁴ РГАДА. Ф. 248. Оп. 43. Кн. 3790. Л. 248–248 об.

Таким образом, вопрос о судьбе «вольной» типографии Шнора был отложен до общей оценки ситуации в книгоиздательской сфере. Результатом всероссийской «переписи» полиграфических предприятий стало появление целого ряда документов: рапортов из учреждений, имевших типографии, а также трех сенатских докладов (1773, 1775 и 1776 гг.)¹⁵, составленных на их основе.

Материалы эти никогда не изучались в совокупности. В 1947 г. Д.Д. Шамрай защитил кандидатскую диссертацию *Из истории цензурного режима Екатерины II. Архивно-библиографические разыскания (1762–1783)*. Фактически текст данного труда представляет собой не исследование в обычном понимании, а публикацию обширных фрагментов документов, которые сопровождаются краткими комментариями автора. Специальная глава диссертации посвящена сенатскому обследованию организации цензурного надзора, состоявшемуся в 1773–1774 гг. Ученый привел цитаты из рапортов, поступивших из типографий. Он также впервые опубликовал текст проекта о переустройстве цензуры, помещенного в заключении сенатского доклада 1775 г.¹⁶ Основная часть работы Шамрая, включая и вышеуказанную главу, не была опубликована в открытой печати, а потому осталась малодоступной для большинства ученых.

Значительный вклад в изучение цензуры внес В.А. Западов. В его статье, в частности, на основе сенатского доклада, поданного Екатерине II в 1776 г., охарактеризована организация цензуры в казенных, церковных и частных типографиях, имевшихся в то время¹⁷. На этот же документ опирались и последующие историки цензуры того периода, например А.Г. Болебрух¹⁸. Следует отметить, что в работах данных исследователей имеется путаница в оценке использованных архивных материалов. Так, Западов считал, что в 1776 г. Екатерине II был поднесен составленный в 1775 г. доклад, т.е. полагал, что существовал один документ, а не два, как на самом деле. Болебрух утверждал, что в 1776 г. Сенатом была проведена специальная ревизия типографий с целью выяснить, «хорошо ли в них налажена цензура»¹⁹. Ничего не говорят оба автора о первоначальных проектах реорганизации цензуры, появившихся после доклада 1773 г. Не привлек их внимание и проект 1775 г., хотя

¹⁵ Там же. Ф. 248. Оп. 43. Кн. 3790. Л. 259–305 об.; Ф. 17. Оп. 1. Д. 259.

¹⁶ Шамрай Д.Д. Из истории цензурного режима Екатерины II. Архивно-библиографические разыскания (1762–1783): Дис. ... канд. пед. наук. Л., 1947. С. 170–191.

¹⁷ См.: Западов В.А. Краткий очерк истории русской цензуры 60–90-х годов XVIII века // Учен. зап. ЛГПИ им. А.И. Герцена. Л., 1971. Т. 414. С. 99–103.

¹⁸ Болебрух А.Г. Борьба русского самодержавия с передовой общественно-политической мыслью во второй половине XVIII в. (На материалах деятельности цензурных органов): Дис. ... канд. ист. наук. Днепропетровск, 1972. С. 43–45; *Он же*. Передовая общественно-политическая мысль второй половины XVIII в. и царизм (на материалах деятельности цензурных органов): Учеб. пособие. Днепропетровск, 1979. С. 10–11.

¹⁹ Болебрух А.Г. Передовая общественно-политическая мысль... С. 10.

он был приведен еще в диссертации Шамрая. Американский исследователь Г. Маркер полагает, что были проведены три сенатских обследования типографий – в 1773, 1775 и 1778 г.²⁰

Сегодня есть все основания для того, чтобы вернуться к рассмотрению всего комплекса документов 1773–1776 г., появившихся в результате рассмотрения Сенатом ситуации в сфере книгопечатания и цензуры. Изучив их в совокупности, с привлечением тех документов, которые раньше находились вне поля зрения исследователей, а также сопоставив их с материалами по истории цензуры более раннего и более позднего времени, мы получаем целостную картину обсуждения проблем реформирования цензурного надзора в среде сенатской бюрократии в первой половине 1770-х годов. Кроме того, они позволяют конкретизировать наши представления об эволюции института цензуры в России в эпоху Просвещения.

В ответ на запрос Сената в период с февраля по сентябрь 1773 г. поступили данные о 12 типографиях, к ним была прибавлена выписка из привилегии на «вольную» типографию Гартунга, затем, уже в августе 1774 г., был получен рапорт о типографии при канцелярии Новороссийской губернии. От Санкт-Петербургской и Московской типографий Сената сведений не запрашивалось. Таким образом, к началу 1775 г. в Российской империи функционировали 16 типографий. Сведения из рапортов, легшие позднее в основу трех сенатских докладов, можно классифицировать следующим образом: история создания типографий, главное назначение деятельности, характер печатаемой продукции, наличие коммерческой составляющей, порядок управления, организация цензурного надзора. В каждом из рапортов они приведены с большей или меньшей полнотой.

Существовавшие в начале 1770-х годов типографии можно разделить на несколько групп. В первую входят три полиграфических предприятия, находившихся в прямом подчинении Святейшего Синода. О Московской Синодальной типографии сообщалось, что она «учреждена по указу благочестивейшаго государя, царя и великаго князя Иоанна Васильевича в 7061-м году». Таким образом, существовало историческое предание об основании первой русской типографии в 1553 г. (Следует напомнить, что именно этим годом принято датировать первые издания Анонимной типографии.) Далее приводились сведения из указа о переводе в Москву в 1727 г. всех полиграфических мощностей, печатавших церковные книги. Московская Синодальная типография должна «печатать токмо одне ц(е)рковныя книги, как издревле бывало». «В ней

²⁰ *Marker G.* Publishing, Printing and the Origins of Intellectual Life in Russia, 1700–1800. Princeton, 1985. P. 214, 280. Видимо, в данном случае произошло какое-то недоразумение, поскольку архивного дела с шифром (Ф. 3. Оп. 2. № 219), на которое ссылается автор, в РГАДА просто нет. Фонд 3 имеет всего одну опись, содержащую 166 единиц хранения.

печатаются книги с апробации С(вя)тейшаго Синода под присмотром определяемых от С(вя)тейшаго Синода директоров»²¹.

Совершенно фантастические сведения сообщались о дате основания типографии Киево-Печерской лавры, которая появилась в начале XVII в. В ведении из Синода читаем: «Оная типография учреждена из давних лет, на что и грамоты в Киево-Печерскую лавру пожалованы от всероссийскаго кн(я)зя Андрея Юрьевича Боголюбского в 6667-м [1159] году, и потом в разных годех от Константинопольских вселенских и российских патриархов также и от всероссийских г(осу)дарей императоров подтвердителные. В ней печатаются книги одни ц(е)рковные и те единственно, которые с апробации С(вя)тейшаго Синода печатаются в Московской типографии. Печатание ж производится под присмотром Киево-Печерскаго архимандрита»²².

О типографии Черниговского Троицкого Ильинского монастыря сообщается, что она создана в 1679 г. архиепископом Лазарем Барановичем, получившим изволение еще от царя Алексея Михайловича²³. Продукцию типографии, судя по рапорту, также составляли исключительно церковные издания, одобренные Синодом и опубликованные ранее в Московской Синодальной типографии. «Печатание производится под присмотром Черниговскаго архиерея»²⁴. Правда, стоит заметить, что историки книги установили, что в 1740–1760-х годах в Черниговской типографии активно перепечатывали манифесты, сенатские указы и прочие издания законодательного характера²⁵.

Как видим, все церковные типографии возникли еще в XVI–XVII вв., печатали исключительно религиозную литературу, одобренную Синодом. При этом две типографии, находившиеся за пределами столицы, могли лишь перепечатывать книги с московских изданий. Текущий цензурный контроль осуществлялся в Московской Синодальной типографии директорами, а в двух других книгопечатнях – местными церковными иерархами.

Типографии, функционировавшие в Прибалтике, работали по привилегиям, полученным еще от польских и шведских королей, подтвержденным российскими властями. Так, согласно рапорту из Лифляндской губернской канцелярии типография Рижского магистрата была создана в 1588 г. Николасом Маллином, который в 1590 г. получил привилегию от польского короля Сигизмунда III. В 1621 г. ее возобновил шведский король Густав Адольф. «Н(ы)нешний типографщик Готлоб

²¹ РГАДА. Ф. 248. Оп. 43. Кн. 3790. Л. 279.

²² Там же. Л. 279 об.

²³ См. о ее основании: *Клепиков С.А.* Издания Новгород-Северской типографии и ложночерниговские издания 1674–1679 годов // Книга: Исследования и материалы. М., 1963. Сб. 8. С. 258.

²⁴ РГАДА. Ф. 248. Оп. 43. Кн. 3790. Л. 280.

²⁵ См.: *Каменова Т.Н.* Черниговская типография, ее деятельность и издания // Труды ГБЛ. М., 1959. Т. 3. С. 246, 330–358.

Христьян Фрелих указом правительствующаго Сената от 24 июля 1763 года получил еще точное подтверждение» на право иметь типографию²⁶. К нему она перешла по наследству от отца Самуэля Фрелиха, бывшего рижским книгопечатником с 1713 по 1762 г.²⁷ Полиграфическое производство здесь носило коммерческий характер: «Печатание книг в Риге есть мещанской промысел и типографщики всегда бывают здешния мещаня, кои по привилегиям состоят под ведением магистратским»²⁸. Об организации цензурного надзора сообщается следующее:

Все что напечатается должно сперва отдат(ь) в ценсуру. Ныне из магистерских особ выбираемы бывали всегда два члена, один бургомистр и один раугер, коих должность есть все, что в печать издано быть должно наперед рассмотреть, и без апробации оных печатано ничево быть не может. Оным велено смотреть, чтоб ничего такого печатано не было, которое бы г(осу)дарству, добрым нравом и православию быть могло противно. При духовных сочинениях должны они приглашать к ценсуре городского протопрезвитера²⁹.

Крайне любопытно, что у типографии Рижского магистрата появился своеобразный филиал. В материалах сенатского опроса 1773 г. о нем говорится следующее:

Сверх вышеписанной в Риге типографии имеется еще небольшая типография с дозволения здешней типографии на мызе Обер Пален и оную типографию завел в 1766-м году майор фон Лау, а повод к тому подал некоторой медицинской доктор Вилде, которой небольшие медицинския и экономическия сочинения главнейшее в том намерении сочинил, дабы крестьянству на ихнем языке дать наставление, каким образом им неточию домостроительство свое вести разными выгодами, но и здравие свое сохранять всякими зелиями, произрастающими в здешней провинции, но сей опыт не имел успеха и н(ы)не толко печатается там Лексикон латыжскаго и эстинскаго языков, которую напечатать дозволение получила она в 1768-м году, но со оным еще ко окончанию не достигнуто³⁰.

В Ревеле типография была заведена в 1634 г. «партикулярным типографщиком Христофором Рейснером». «Оное художество производили после него наследники ево». Один из них, Адольф Симон Рейснер, получил в 1672 г. «именную привилегию» от шведского короля Карла XI. Данная привилегия «того Симона отраслю, а здешняго ратмана Линдфорса сыну ево Анселю Линдфорсу Ея Императорским величеством все милостивейшею нашею государынею указом из правительствующей

²⁶ РГАДА. Ф. 248. Оп. 43. Кн. 3790. Л. 275–275 об.

²⁷ См.: *Лацис М.А.* Книжное дело в Латвии в XVIII веке // Книгопечатание и книжные собрания в России до середины XIX века. Л., 1979. С. 63–64.

²⁸ РГАДА. Ф. 248. Оп. 43. Кн. 3790. Л. 275 об.

²⁹ Там же. Л. 276.

³⁰ Там же. Л. 276–276 об.

цаго Сената 1770 году июля от 27 дня конфирмована. Цензура же партикулярным писаниям чинится здешняго города суперынтендентом, которому то смотрение от онога ревельского магистрата препоручено»³¹.

Четыре полиграфических предприятия (Сенатские типографии в Санкт-Петербурге и Москве, типографии Академии наук и Морского Шляхетного кадетского корпуса) были созданы еще при Петре I, либо в первые послепетровские годы. Обе Сенатские типографии из переписи были исключены. Видимо, генерал-прокурор А.А. Вяземский, в ведении которого они состояли согласно штату 1764 г.³², и сенаторы достаточно хорошо представляли себе состояние дел в них.

Об академической типографии сообщалось:

Главное дело сей типографии или первая причина ее заведения суть книги академиков, как то выходящая ежегодно ком(м)ентарии и прочия ученые сочинения³³.

Далее говорилось о выполняемых здесь частных заказах (см. ниже).

Что ж касается до распоряжения и управления типографии, то зависит она от учрежденной при Академии наук комиссии; цензура ж сочиненей академических состоит под смотрением общаго собрания академиков; а цензура посторонних книг поручается одному человеку, по выбору и доверенности той же комиссии³⁴.

Из Морского Шляхетного кадетского корпуса доносили, что типография при нем «начало свое восприяла блаженныя и вечной славы достойныя памяти при государе императоре Петре Первом при установлении тогда Морской академи(и)». Далее сообщалось, что существование типографии было подтверждено в штатах Морского Шляхетного кадетского корпуса, принятых в 1752 и 1764 гг. Согласно последнему документу, «определено ея содержание иметь из ея доходов, почему она и состоит, и печатаются в ней как потребныя для кадетскаго училища, так и для флота книги и карты, а сверх того и полезныя для общества книги, коих при печатании содержится корректор». О цензуре говорилось следующим образом:

⟨...⟩ а главное над оным печатанием смотрение поручено, дабы как против закона, так против общества и благопристойности что-либо воить не могло, главному над классами инспектору и в потребных случаях иеромонаху³⁵.

Начиная с 1756 г. было открыто пять новых ведомственных типографий. Первой из них стала типография Московского университета.

³¹ Там же. Л. 272–272 об.

³² ПСЗ. Т. 16. № 12222. С. 862.

³³ РГАДА. Ф. 248. Оп. 43. Кн. 3790. Л. 281.

³⁴ Там же. Л. 281.

³⁵ Там же. Л. 277–277 об.

Из него в Сенат 5 марта 1773 г. поступил подробный рапорт, который, учитывая немногочисленность источников по истории университетского книгопечатания в доновиковский период, имеет смысл привести практически полностью:

Императорской Московской университет покорнейше представляет, что при оном университете типография учреждена по указу правительствующаго Сената по представлению университета 1756-го года марта от 5-го числа на таком основании, чтоб в оной сочинения и переводы университетских писателей печатать и продавать в пользу общую, почему сей типографии как Московские ведомости, так сочинения и переводы университетских и посторонних Авторов и переводчиков все без изъятия печатаются с апробации Университетских директоров. А в 1762-м году в бытность директором канцелярии советника, что ныне тайный советник и куратор, Ивана Ивановича Мелиссино, по представлению его господином генерал-порутчиком, действительным камергером, оного университета куратором и кавалером Иваном Ивановичем Шуваловым, цензором при университете определен был надворной, что ныне статской советник и государственной Берг-коллегии вице-президент Херасков, которой в 1763-м году по имянному Ея Императорскаго величества высочайшему Указу пожалован канцелярии советником и в университет директором, а марта со 2-го 1771-го года вышепомянутым господином тайным советником и куратором Мелиссино, по пожаловании его в университет куратором и по вступлении во оной, определен и находится ныне при университете цензором красноречия российского профессор господин Барсов с жалованьем по двести рублей на год из типографских доходов. Когда же случаются какия книги и сочинения до веры и закона касающиеся, таковыя не иначе, как только с апробации Святейшаго правительствующаго Синода и его конторы печатаются. В прочем есть ли из сих духовных, равно и из светских книг и сочинений по рассмотрении оказываются каковыя сумнительныя и не подлежащая к изданию в печать, те издателям оных обратно отдаются, чего ради упомятому цензору по данной инструкции строго наблюдать предписано, чтоб ничего противнаго христианской вере, закону божию, государственному правлению и благонравию отнюдь не было. Содержатся ж оная типография ныне в силу апробованных в 1763-м году декабря 15-го числа штатов и ордеров от господ кураторов собственными оной доходами³⁶.

Из Сухопутного Шляхетного кадетского корпуса прислали копию «Штата» типографии, утвержденного в 1761 г. великим князем Петром Федоровичем³⁷. В сопроводительном рапорте отмечалось: «Присмотр же над оною (типографией. – А.С.) и печатание книг зависит от генерал-директора корпуса»³⁸. «Штат» типографии Сухопутного корпуса явля-

³⁶ Там же. Л. 271–271 об.

³⁷ Там же. Л. 262–269 об. Текст «Штата» по другому списку опубликован автором настоящей статьи: *Самарин А.Ю.* «Штат» типографии Сухопутного Шляхетного кадетского корпуса 1761 г. // Книга в России. М., 2006. Сб. 1. С. 138–147.

³⁸ РГАДА. Ф. 248. Оп. 43. Кн. 3790. Л. 261.

ется многоплановым нормативным документом, регламентирующим все стороны ее жизни (количество служащих, их обязанности, выплату им жалования и денег, дополнительно зарабатываемых на частных заказах, номенклатуру необходимого оборудования, годовые объемы производства, правила приема заказов у частных лиц и их оплаты, продажу выпущенных изданий и др.). Вопросам организации предварительной цензуры в нем посвящены три пункта:

7. Все книги, отдаваемые в печать на казенном и на собственном коште пересматривать обер-профессору и еще четырем человекам, чтоб в оных закону, правительству и благопристойности ничего противного не было, а когда в тех книгах что-либо до веры или Священного писания касатся будет, то пересматривать оныя с ними и находящемся при Сухопутном Шляхетном кадетском корпусе иеромонаху или иеродиакону.

8. Оным определенным для пересматривания книг, также иеромонаху или иеродиакону давать за их труд каждому от всякой книги, хотя б она печаталась на казенном, хотя на собственном коште, по двенадцати экземпляров, фактору, корректору и старшему при наборе книги наборщику по одному экземпляру, да для типографии оставлять по одному ж экземпляру на календарной бумаге, которая семдесят шесть экземпляров, также для кадетской библиотеки по два экземпляра на любской бумаге, печатать сверх подписанного на регистрале числа.

9. Ежели какая книга будет печататся на казенной шет для обучения кадетов потребная, то им, пересмотря и подписав, отдавать для печати, когда же кто захочет печатать на своем коште такую книгу, пересмотри и если в ней не будет никакого сомнения, то по желание издателя подписать им, как число экземпляров, так какой бумаге, каким форматом и какими литерами оную печатать, а без подписки их никакой книги не печатать³⁹.

Репорт из Артиллерийского и Инженерного кадетского корпуса сообщал, что типография при нем была открыта в 1759 г. после прошения генерал-фельдцейхмейстера П.И. Шувалова «для печатания книг и прочаго (во всем на таком основании на каком она при Сухопутном Шляхетном кадетском корпусе состоит)». После основания типографии «в ней то печатание книг и прочаго некоторое время и происходило», но в 1767 г. «в разсуждении пришествия заготовленных станов, литер и других типографических вещей в ветхость», по приказанию нового начальника артиллерии князя Г.Г. Орлова, книгопечатня была «употреблением оставлена и находящиеся при ней служители тогда ж распущены». Возрождение типографии произошло в самом начале 1773 г. трудами несостоявшегося «вольного» типографщика И.К. Шнора:

³⁹ Самарин А.Ю. «Штат» типографии Сухопутного Шляхетного кадетского корпуса 1761 г. С. 139–140.

А минувшаго генваря 23-го числа сего году упоминаемая типография, дабы в праздности быть не могла, к печатанию в оной на российском и иностранных языках книг и других сочинений от кадетской канцелярии отдана на содержание книгопродавцу Иогану Карл(у) Шнору (на заключенных с ним полезных для корпуса кондициях) до тех пор, покамест корпус оную обратно на собственное свое содержание взять пожелает. Все же печатаемые на чьем-нибудь коште, а не для корпуса российские и иностранные книги прежде печатания оных велено ему Шнору представлять на рассмотрение канцелярии и определенных к тому тою канцеляриею трех человек, а без того рассмотрения, дабы не могло выттить какого-либо злоупотребления, отнюдь ничего не печатать, если же он Шнор напечатает что-нибудь без рассмотрения оного корпуса, то подвергается он и поручители по нем всему тому, что законами повелевается⁴⁰.

Типография при Военной коллегии, учрежденная указом от 16 апреля 1763 г., изначально предназначалась для печатания патентов и полиграфического размножения формуляров делопроизводственных документов⁴¹. Судя по представленному в апреле 1773 г. рапорту, в ней по-прежнему печатались, главным образом, патенты на чины, а также «приказным служителям по множеству тех дел облежания» тиражировались о «публичных делах посылаемые ис коллегии циркулярныя указы и экземплярны и всякия случающияся дела, кои к розсылке х командам и в протчия места об одной матери(и) случится могут, чего ради для напечатания оных сколко потребно будет давать в тое типографию из экспедиции за скрепою секретарскою верныя формулярны со опробации коллегии»⁴². Возможно было также и издание отдельных книг по профилю военного ведомства: «При той же типографии печатать разныя воинския книги, кои и в публичную продажу употреблять по надлежащей цене по рассмотрению коллегии. Сколко ж когда каких потребно будет напечатать и по какой цене в продажу назначено будет употреблять, тогда и о зборе той суммы и о записке в приход надлежащая в коллегии(и) определении чинить»⁴³. Рапорт также подробно информирует об управлении типографией:

Да в том же 763 году декабря 15 по высочайше подтвержденному о Военной коллегии штату положено учрежденной при той коллегии типографии быть на своем содержании, а к смотрению той типографии(и) по определениям коллегии присыланная при указах ис Правительствующаго Сената по требованиям оной коллегии определяемы были директорами и корректорами в 763 титулярной советник Данила Копиев, в 764 коллежской ассесор Федор Венцель, которой потом был и надворным советником, а в 772-м пожалован он коллежским советником и определен к Гороблагодатским заводам главным командиром. На место

⁴⁰ РГАДА. Ф. 248. Оп. 43. Кн. 3790. Л. 270–270 об.

⁴¹ ПСЗ. Т. 16. № 11795. С. 223.

⁴² РГАДА. Ф. 248. Оп. 43. Кн. 3790. Л. 283 об.

⁴³ Там же. Л. 283 об.

ж ево Венцеля тогда коллегиею определен и ныне находится при типографии в правлении директорской должности коллежской секретарь Логин Краузолд, да сверх того 766 года июля 15 по определению Военной коллегии(и) велено над тою типографиею главное смотрение иметь состоящему при коллегии в правлении обер-секретарской должности брегадиру Алексею Микешину⁴⁴.

Поскольку полиграфическое предприятие носило сугубо ведомственный характер, развитой системы цензуры в нем не было. Рапорт сообщает:

Находящемуся при типографии в директорской должности коллежскому секретарю подтверждено, чтоб кроме данных от Военной коллегии книг и протчаго без ведома и опробации господ присудствующих ничего ж отнюдь печатано не было под ответом его⁴⁵.

Типография в крепости святой Елизаветы была создана на основании штата Новороссийской губернии, утвержденного 22 марта 1764 г. В нем предписывалось для содержания школ для сирот и госпиталя «учредить типографию равную как в Киево-Печерском монастыре для печатания духовных и светских книг»⁴⁶. Инициатором создания книгопечатни был губернатор А.П. Мельгунов, который в апреле 1764 г. добился решения о передаче новому полиграфическому центру одного печатного стана и нескольких без ведомых служителей из типографии Сухопутного Шляхетного кадетского корпуса⁴⁷. Таким образом, произошел своеобразный культурный трансфер в провинцию. Мельгунов, бывший директором Сухопутного корпуса в годы создания там типографии и сам активный участник этого процесса, привез с собой печатный станок на новое место службы. Однако к 1774 г. Мельгунова уже не было в Новороссийской губернии и местная типография влачила жалкое существование: «В положенной здесь по штату типографии один стан на первый случай для печатания заведен и пред сим напечатаны были российская азбука и комедия кафейный дом, кои однако и поныне в продажу не вышли, а сверх того печатается здешним купцам и поселенцам пашпорты и карантинные свидетельства, печатания ж книг как духовных, так и гражданских, за неполучением о печатании первых от святейшаго правительствующаго Синода на представлении сей канцелярии резолюции, а последних за не сыском недостающего в число типографских служителей тередорщика не происходит». В случае преодоления данных трудностей

печатание книг производимо будет под цензурою находящегося здесь за обер-каменданта и присутствующаго в сей канцелярии генерал-майора Черткова, и присутствующаго ж подполковника Золотницкого, а к на-

⁴⁴ Там же. Л. 283 об.–284.

⁴⁵ Там же. Л. 283 об.

⁴⁶ Там же. Л. 299.

⁴⁷ Там же. Л. 295.

блюдению в тех книгах, касающагося до веры, тож и к надзиранию за напечатанием духовных книг не повелено ли будет употребить находящегося при штате сей канцелярии протопопа Ефимия Савурского, как ученого ч(е)л(о)в(е)ка⁴⁸.

И, наконец, «вольная» типография И.М. Гартунга. Она должна была работать в рамках привилегии от 1 марта 1771 г. Типографщик мог печатать книги на всех иностранных языках, а «на российском языке никаких книг, ни сочинений не печатать, дабы прочим казенным типографиям в доходах их подрыву не было». Вся издательская продукция должна была проходить через цензуру, которую для книг осуществляла Академия наук, а для объявлений – полиция. В области изготовления шрифтов Гартунгу дозволялось «всякие литеры, как Российские, так и иностранные лить, и в России продавать свободно во все казенные Типографии, а не кроме сих мест, да и то в одне те, кои требовать оных по своей надобности и по лучшей доброте литер будут и в цене добровольно согласятся; в противном же случае не возбраняется всякой Типографии литеры для себя выписывать и из иностранных мест»⁴⁹.

Таким образом, почти 2/3 существовавших к 1773 г. полиграфических предприятий были созданы государством на протяжении полувека для удовлетворения административных потребностей и распространения светских знаний. Вместе с тем продолжали работать типографии, возникшие в XVI–XVII вв. Постепенное складывание системы книгоиздания привело к разным формам управления и организации цензуры.

Не вызывает сомнения, что государство в XVIII в. всячески стремилось к развитию издательской сферы, видя в ней одну из форм пропаганды европейской культуры, способ приобщения к ней широких слоев населения. Вместе с тем никогда не ставился под сомнение сам принцип цензурной опеки со стороны власти.

Изучение сенатских материалов середины 1770-х годов, характеризующих состояние книгоиздания, позволяет предложить гипотезу, описывающую эволюцию цензуры в России в эпоху Просвещения. Общепринятым в современной историографии является утверждение, что в России XVIII в. «именно государство стало главным цивилизующим фактором, обеспечивающим “европеизацию” и “модернизацию” страны»⁵⁰. Оттолкнемся от него и мы. В Петровскую эпоху государство обладало монополией на распространение печатных текстов, с помощью которых оно стремилось привнести в общество не только технические усовершенствования, но и новые модели поведения. Тексты, направляемые в социум непосредственно от светской или церковной власти, не нуждались в специальном цензурном одобрении. Необходимость в нем по-

⁴⁸ Там же. Л. 299–299 об.

⁴⁹ ПСЗ. Т. 19. № 13572. С. 230–232.

⁵⁰ *Страда В.* Россия // Мир Просвещения: Исторический словарь / Под ред. В. Ферроне и Д. Роша; пер. с ит. Н.Ю. Плавинской, под ред. С.Я. Карпа. М., 2003. С. 419.

явилась тогда, когда власть начала делегировать функцию производства и распространения печатного слова научным и образовательным учреждениям (Академии наук, Московскому университету, кадетским корпусам), которые создавались государственной властью, но не были идентичны ей. Потребность в цензурном контроле, который долгое время считался имманентно присущим верховной власти и не ставился обществом под сомнение, возрастала по мере роста издательской сферы и развития частной инициативы в книжном деле.

С 1730-х годов типография Академии наук принимает заказы на выполнение полиграфических работ от частных лиц. По наблюдению Т.И. Кондаковой, она быстро переходит «от воспроизведения по частным заказам юбилейных билетов и однолисток к печатанию книг “на кошт” “партикулярных” лиц»⁵¹. Практика выполнения частных заказов развивается в большинстве казенных типографий (Московского университета, Сухопутного Шляхетного кадетского корпуса, Морского кадетского корпуса и др.). Таким образом, с одной стороны, делались попытки решить проблему окупаемости полиграфического производства⁵², а с другой – стимулировалась инициатива литераторов по созданию произведений, необходимых для просвещения общества. О первом красноречиво свидетельствует фрагмент из рапорта 1773 г., характеризующего деятельность типографии Академии наук, в котором говорится:

Хозяйство или экономия внутренняя Академии потребовала допустить, в праздное время от собственных академических сочинений, печатать также сочинения и переводы частных людей на их счет за получаемые от них в заплату печати деньги. И как она типография имеет свою прибыль, следовательно, и сумму и свое хозяйство; то из сих прибыльных денег почти вся она и содержится, заимствуя к сему малое число в прибавок некоторым типографским служителям из штатной академической суммы⁵³.

На вторую тенденцию указывает, например, система льготной оплаты частных заказов, заложенная в «Штат» типографии Сухопутного Шляхетного кадетского корпуса 1761 г. Согласно ему любой автор или переводчик мог напечатать книгу, уплатив лишь около 10% издательских и типографских расходов. Дальнейшее же распространение издания вплоть до полного погашения его себестоимости брал на себя сам Корпус. Вызванный таким подходом всплеск издательской активности в

⁵¹ Кондакова Т.И. Формирование профессии издателя в России в XVIII веке: Автореф. дис. ... канд. филолог. наук. М., 1979. С. 9.

⁵² В документах, регламентирующих деятельность государственных типографий, прямо говорилось о необходимости получения денег от частных заказов, чтобы добиться самоокупаемости. См.: Указ от 10 августа 1764 г. о Сенатской типографии (ПСЗ. Т. 16. № 12 222. С. 862); Штат Морского Шляхетного кадетского корпуса от 18 июня 1764 г. (Там же. Т. 44. Ч. 1. С. 115).

⁵³ РГАДА. Ф. 248. Оп. 43. Кн. 3790. Л. 281.

1760-е годы привел в начале 1770-х годов к масштабному экономическому кризису в деятельности корпусной типографии⁵⁴.

Цензура, судя по всему, воспринималась как естественная составляющая высшей власти. Прямые декларации этого положения требовались, видимо, редко. Одна из них содержится в устном указе Елизаветы Петровны от 7 марта 1743 г., сделанном по частному поводу: конфискации и сожжении вышедшей в Лейпциге на немецком языке книги, посвященной главным деятелям предыдущего царствования – А.И. Остерману, Б.Х. Миниху, Э.И. Бирону. В нем прямо предписывалось:

Все печатные в России книги, принадлежащие до церкви и до церковного учения, печатать со апробации Святейшего Правительствующего Синода, а гражданские и прочие всякие, также до церкви не принадлежащие, со апробации ж Правительствующего Сената⁵⁵.

Появление и постоянный рост числа печатных текстов, создаваемых учеными и преподавателями, действующими хотя и в рамках заданного государством дискурса, но зачастую развивающими собственные идеи, а также печатной продукции, результирующей творческие усилия растущей армии литераторов и переводчиков, требовали создания более разветвленных механизмов цензуры непосредственно при типографиях. И они появились.

Один из первых примеров передачи цензурных функций на места зафиксирован в регламенте Академии наук 1747 г. Специальный его пункт гласит:

Между прочим своим трудом академики сочинять должны в своей науке книги, которые бы в славу и пользу России могли на российской язык переведены быть и напечатаны. Однако ж никакая книга в печать отдана быть не может, пока вся не прочитана по листам в Собрании перед всеми академиками или от тех, кому сие поручено будет от президента. И для того при начале книги всегда печатать апробацию за подписанием президента и контрастигнациею конференц-секретаря⁵⁶.

Таким образом, цензура академических изданий передавалась непосредственно в руки президента и Канцелярии Академий наук⁵⁷. Поскольку типография Академии наук в этот период была практически

⁵⁴ См.: Самарин А.Ю. «Штат» типографии Сухопутного Шляхетного кадетского корпуса 1761 г. С. 136–137, 140; *Он же*. Типография Сухопутного Шляхетного кадетского корпуса и развитие частной инициативы в издательском деле России // Университетская книга. 2006. № 7. С. 48–50.

⁵⁵ Материалы для истории Императорской Академии наук. СПб., 1889. Т. 5: (1742–1743). С. 615; Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи. Елизавета. СПб., 1899. Т. 1: 25 ноября 1741–1743 гг. С. 316.

⁵⁶ Регламент Императорской Академии наук и художеств, 1747 г. // Уставы Российской академии наук. 1724–1999. М., 1999. С. 56.

⁵⁷ Толочев Д.В. Цензура изданий Академии наук в XVIII в. // Сборник статей и материалов Библиотеки АН СССР по книговедению. Л., 1970. Вып. 2. С. 93.

единственным местом в стране, выпускающим светские книги, возникает «естественная монополия» академического руководства на светскую цензуру. Однако регламент был документом, посвященным внутреннему устройству Академии, а потому о законодательном закреплении ее цензурных прав на всероссийском уровне говорить не приходится. Следовательно, трудно согласиться с мнением, что вновь организуемые типографии, например Московского университета, обходили Академию, создавая помимо нее собственные цензурные органы⁵⁸.

Инициаторами создания новых типографий во второй половине 1750–1760-х годов выступали просвещенные вельможи: И.И. Шувалов (при Московском университете), Б.Г. Юсупов (при Сухопутном Шляхетном кадетском корпусе), П.И. Шувалов (при Артиллерийском и Инженерном кадетском корпусе), А.П. Мельгунов (при Новороссийской губернской канцелярии). Они, безусловно, использовали свой высокий статус в государственной иерархии и связи при дворе, получая возможность создания подконтрольных полиграфических предприятий. Важно отметить, что ни в одном из указов, позволявших открыть ведомственные типографии, ничего не говорится об организации в них цензуры⁵⁹.

По предположению Д.Д. Шамрая, складывалось мнение, «что, право цензуры не есть прерогатива одного правительствующего Сената, – в сущности на этой точке зрения стояли и Мельгунов, и Юсупов, и Петр Федорович, и адмирал Талызин, и все они находили, что каждое главное управление, имеющее подведомственную типографию, может само организовывать цензурный надзор, наиболее быстрый и наиболее удобный. Монолитная цензурная власть Сената к 1763 г. раздробилась на несколько частей»⁶⁰. Рапорты 1773 г. из Сухопутного Шляхетного кадетского корпуса и Московского университета свидетельствуют о том, что цензурный надзор в них поручался непосредственно «директорам» учреждений. Изучение повседневной цензурной практики в этих типографиях, проведенное в работах Д.Д. Шамрая и Г.А. Космолинской⁶¹, позволяет дополнить эти сведения. Первоначально цензурную функцию выполняли первые лица данных учреждений, получившие право на заведение типографий, то есть И.И. Шувалов и Б.Г. Юсупов. Позднее они передают ее чиновникам более низкого ранга. Деятельность последних получает некоторую регламентацию, закрепленную в «Штате» типографии Сухопутного корпуса от 1 сентября 1761 г. или в упоминаемой в рапорте 1773 г. недошедшей до нас «инструкции», данной университетскому

⁵⁸ См.: Космолинская Г.А. Цензура в Московском университете XVIII века (доновиковский период) // Eighteenth-Century Russia: Society, Culture, Economy: Papers from the VII International Conference of the Study on Group Eighteenth-Century Russia, Wittenberg 2004. Berlin, 2007. P. 142–143.

⁵⁹ См.: ПСЗ. Т. 14. № 10515. С. 518; № 10718. С. 758; Т. 15. № 10961. С. 351.

⁶⁰ Шамрай Д.Д. Цензурный надзор над типографией Сухопутного Шляхетного кадетского корпуса // XVIII век. М.; Л., 1940. Сб. 2. С. 308.

⁶¹ Шамрай Д.Д. Цензурный надзор... С. 298–303; Космолинская Г.А. Указ. соч.

цензору профессору А.А. Барсову. При организации цензуры в новых типографиях использовался уже имевшийся опыт Академии наук. Об этом прямо свидетельствует одно из предложений по организации цензуры, с которым А.П. Мельгунов обратился к Б.Г. Юсупову в октябре 1758 г.⁶²

Таким образом, создавая новые типографии, Сенат как бы делегировал свое право цензурного контроля над светскими изданиями руководителям тех учреждений, при которых организовывались типографии. Последние, в свою очередь, могли передавать ее специально назначаемым нескольким (или одному) чиновникам. Однако цензура все же мыслилась как прерогатива первого лица в учреждении. Иногда они считали необходимым об этом напоминать. Например, директор Сухопутного Шляхетного корпуса М.М. Философов взял под личный контроль деятельность группы корпусных цензоров⁶³.

Таким образом, цензура приобрела к середине 1770-х годов ярко выраженный ведомственный характер, поскольку создавалась непосредственно в том учреждении или местности, в которых работала типография. Можно говорить, что цензура еще не была профессиональной. Для чиновников она являлась дополнительной нагрузкой, выполняемой сверх основных служебных обязанностей. Правда, в отдельных случаях, имевших место при типографиях с большим объемом издательской продукции, намечаются черты профессионализации цензурной деятельности, что определялось особым вознаграждением за нее. Так, исполнявший цензурскую должность в Московском университете «красноречия российского профессор» А.А. Барсов получал особое жалованье – «по двести рублей на год из типографических доходов»⁶⁴. «Штат» типографии Сухопутного Шляхетного кадетского корпуса предполагал «определенным для пересматривания книг, также иеромонаху или иеродиакону давать за их труд каждому от всякой книги, хотя бы она печаталась на казенном, хотя на собственном коште, по двенадцати экземпляров»⁶⁵.

Немаловажным является вопрос о том, какими в 1750-х – первой половине 1770-х годов представлялись границы цензурного контроля. Известный историк российского права О.А. Омельченко пишет, что в указах, посвященных регламентации печатного производства, «отмечаются попытки выразить общее законодательное представление о мере подразумеваемой дозволенной свободы печати: запрещалось печатать “предосудительные христианским законам, правительству, ниже благонравию” (указ 1771 г.), или “противное законам божеским и гражданским или же к явным соблазнам клонящееся” (указ 1783 г.). Тем самым

⁶² Шамрай Д.Д. Цензурный надзор... С. 299.

⁶³ Там же. С. 303.

⁶⁴ РГАДА. Ф. 248. Оп. 43. Кн. 3790. Л. 271 об.

⁶⁵ Самарин А.Ю. «Штат» типографии Сухопутного Шляхетного кадетского корпуса 1761 г. С. 140.

было выработано устойчивое – еще не строго нормативное, к тому же содержащее внеправовые критерии, но уже единое – доктринальное представление о границах вольности печатного слова и о гарантиях в интересах правительства и общества против “злоупотреблений” таковой»⁶⁶.

Действительно, в общероссийском законодательстве идея об обязательности цензуры и ее общих характеристиках появляется только в 1771 г., а затем развивается в указе о «вольных типографиях» 1783 г. Однако формулировки, вошедшие в эти законодательные акты, широко использовались в повседневной цензурной практике задолго до этого, а их устойчивое повторение свидетельствует о том, что они имели общепринятый характер.

Так, в «Штате» типографии Сухопутного Шляхетного кадетского корпуса от 1 сентября 1761 г. говорилось о том, что в издаваемых книгах «закону, правительству и благопристойности ничего противного не было»⁶⁷. Университетскому цензору профессору Барсову «по данной инструкции строго наблюдать предписано, чтоб ничего противного христианской вере, закону божию, государственному правлению и благонравию отнюдь не было»⁶⁸. Исполнявшим цензорские функции двум представителям рижского магистрата было «велено смотреть, чтоб ничего такого печатано не было, которое бы г(осу)д(а)рству, добрым нравом и православию быть могло противно»⁶⁹. «Штат» Морского Шляхетного кадетского корпуса предписывал печатать в его типографии «для общества полезные книги, с строгим рассмотрением, дабы в оных как против закона, так против общества и благопристойности ничего не было»⁷⁰, и т.д. Следовательно, идея о том, что в издаваемых книгах не должно содержаться ничего противоречащего православной вере, государству и благопристойности, получила свое воплощение в повседневной цензурной практике до ее закрепления в официальном общероссийском законодательстве.

Появление первой частной типографии Гартунга, рождение которой, как отмечалось выше, стало результатом государственного вмешательства в проект словолитного мастера, создало прецедент с поручением цензурной функции Академии наук. Передачу цензуры из рук государственных чиновников в крупнейшее научное учреждение страны, каким являлась Академия для России, можно рассматривать как

⁶⁶ *Омельченко О.А.* Закон и печать в дореволюционной России (историческая традиция правового регулирования) // Омельченко О.А. Традиции и наследие русского права: Очерки и статьи. М., 2006. С. 450. Первая публикация данной статьи в журнале «Советское государство и право» (1991. № 3.).

⁶⁷ Цит. по: *Самарин А.Ю.* «Штат» типографии Сухопутного Шляхетного кадетского корпуса 1761 г. С. 139–140.

⁶⁸ РГАДА. Ф. 248. Оп. 43. Кн. 3790. Л. 271 об.

⁶⁹ Там же. Л. 276.

⁷⁰ Там же. Л. 277 об.

проявление либеральной тенденции в сфере контроля за печатным словом. Таким образом, на первый план выходила не репрессивная сущность цензурного регулирования, а ее культурно-просветительские задачи и определяемые ими ограничения. Цензура как бы перемещалась из сферы чисто административных установок в область научно-просветительских проблем.

Следует сказать, что попытки сконцентрировать в Академии цензурные функции предпринимались и раньше. Об этом свидетельствуют два нереализованных проекта 1760-х годов. Оба они хорошо известны. Первый – это доношение 1763 г. о противодействии распространению вредных иностранных книг, составленное И. Таубертом. В исследованиях оно трактуется как проект о назначении цензоров, подчинявшихся академической канцелярии, для рассмотрения ввозимых из-за рубежа книг в каждый порт и таможеню⁷¹. Вместе с тем, внимательное чтение текста документа не оставляет сомнений, что его главное содержание заключается в обеспечении монополии Академической книжной лавки в деле продажи изданий, поступающих из-за границы⁷². Любопытно, что против проекта выступил М.В. Ломоносов, отстаивавший традиционную позицию о цензурных прерогативах Сената. Он отказался подписать доношение, заявив, что «в цензуру иностранных книг не вступается и представления о том подписать не может потому паче, что оное повеление единственно зависит от Правительствующего Сената»⁷³.

Второй проект содержится в черновом и окончательном вариантах текста наказа Академии наук своему депутату в Уложенную комиссию Г.Ф. Миллеру, подготовленных в 1767 г. Впервые их сопоставление было проведено Д.Д. Шамраем. В черновом варианте отмечалось:

Чтобы Академии Наук препоручено было рассмотрение всех издаваемых в печать книг, достойны ли они быть напечатаны или нет, выключая токмо российские духовные св. Синоду подлежащие да те светские сочинения, которые именем правительствующего Сената либо какой коллегии или канцелярии в публику выходят.

Окончательный вариант депутатского наказа гласил:

Можно, кажется, здесь так сделать, чтобы каждое место, а особливо Академия и университет, за те книги, которые они у себя печатают, и ответствовали. Когда же будут вольные тиснения, то находящийся в Москве университет, а в С.Петербурге Академия могут позволять, какие книги во оных печатать и в других местах, где заведутся вольные тиснения и в которых Академии и Университеты будут⁷⁴.

⁷¹ Западов В.А. Указ. соч. С. 96–97.

⁷² См.: Семенников В.П. К истории цензуры в екатерининскую эпоху // Русский библиофил. 1913. № 1. С. 54–55.

⁷³ Там же. С. 56.

⁷⁴ Шамрай Д.Д. Цензурный надзор... С. 308–309; Западов В.А. Указ. соч. С. 99.

Интересно отметить, что идея создания частных типографий во второй половине 1760-х годов просто витала в воздухе. Как видим, академики были абсолютно уверены в их скором появлении. Не исключено, что одной из причин, по которой они хотели получить контроль над цензурой издательской продукции частных типографий, было стремление иметь в руках инструмент, регулирующий деятельность конкурентов академического книгопечатания.

Вернемся к событиям, связанным с сенатским обследованием состояния книгопечатания и цензурного надзора за ним. Собранные к осени 1773 г. сведения о российских типографиях были обобщены в специальном докладе⁷⁵, дважды рассматривавшемся в Сенате. По итогам первого обсуждения, состоявшегося 28 октября 1773 г., «в журнале Правительствующего Сената записано»:

Слушано дело о типографиях как здесь, так в Москве и в других местах находящихся с учиненными, на каком они основании учреждены и под каким присмотром печатаются в них книги, справками. Приказали: Для цензуры печатаемых во всех типографиях книг учредить здесь в Петербурге и в Москве комитет, состоящий из четырех ценсоров, трех светских и одной духовной особы⁷⁶.

Результатом второго рассмотрения вопроса от 18 ноября 1773 г. стала новая запись в журнале первого департамента Сената:

При слушании ж журнала 28-го октября, по выписке учиненной из полученных на посланные указы представлений о типографиях, заведенных в России для печатания книг. Приказали: об определении для смотра за означенными типографиями из светских и духовных персон ценсоров сочинить план и предложить к разсуждению Сената; чего ради с сего пункта в экспедицию дать копию⁷⁷.

Данные сенатские резолюции, полностью проигнорированные в историографии, недвусмысленно свидетельствуют о том, что уже осенью 1773 г. в Сенате серьезно обсуждалась перспектива создания постоянных цензурных комитетов и была начата работа по подготовке проекта их организации.

Она затянулась более чем на полтора года. Чем объяснить подобную задержку, не совсем понятно. Как показали имеющиеся в деле документы, в марте 1774 г. сенатские чиновники обнаружили, что по штату Новороссийской губернии положено было организовать типографию. Был направлен особый запрос о судьбе данной книгопечатни. В ответ поступил рапорт, датированный 1 августа 1774 г.⁷⁸ Он был заслушан в Сенате в ноябре того же года. С учетом вновь появившейся информации был со-

⁷⁵ РГАДА. Ф. 248. Оп. 43. Кн. 3790. Л. 285–290 об.

⁷⁶ Там же. Л. 292.

⁷⁷ Там же. Л. 293.

⁷⁸ Там же. Л. 299–299 об.

ставлен новый доклад, обобщавший информацию о типографиях, работавших в России. Он слушался сенаторами 10 июня 1775 г. Содержавшийся в нем обзор сведений о типографиях повторяет материал, который был представлен в докладе 1773 г., он дополнен данными о книгопечатании в Новороссийской губернии. Решение же по докладу содержало проект реорганизации цензуры во всероссийском масштабе. Поскольку данный документ приводился лишь в неопубликованной диссертации Д.Д. Шамрая, считаем нужным обнародовать его текст:

Хотя из вышеписанного обстоятельства Сенат усматривает, что многие типографии для печатания книг из давних уже времен в России учреждены, но как изо всех собранных сведений не видно того, чтоб когда-либо точное и генеральное положение сделано под какою оным типографиям находится цензурою, дабы во оных закону, государственному правлению, благонаравию и благопристойности ничего противного вмещаемо не было; почему Сенат предупреждая чтобы иногда какого-либо злоупотребления выйтить не могло, за нужное ныне почел следующее распоряжение учинить, дабы печатание книг и протчаго происходило на таком основании: 1-е. Все духовные и церковные книги, касающиеся до веры и закона, печатать в Москве и Санктпетербурге под особливим ведением Святейшаго правительствующаго Синода и для того требовать, чтобы оный благоволил с стороны своей назначить ценсоров в Петербурге и Москве по одному, кого по своему рассмотрению к тому удостоит, и кто назначены будут о том бы не оставил Сенат без уведомления. 2-е. Светские, не касающиеся до веры и закона книги печатать же в Москве и Санктпетербурге под присмотром тех, кто по изобретению коллегии иностранных дел в цензуре назначатся, чего ради коллегии и предписать, чтобы она, выбрав к тому достойных людей, дала об них знать Сенату, почему Сенат и не оставит уведомить все те присутственные места, при которых в Москве и Петербурге типографии учреждены, с таким повелением, дабы без опробации определенных от коллегии иностранных дел ценсоров ни одна светская книга в печать издаваема не была. 3-е. Как в Киевской и Черниговской типографиях кроме церковных книг и то со опробации Святейшаго Синода ничего не печатается, то не разсудить ли Святейший Синод печатание тамо церковных книг препоручить еще под особое надзиране тамошним епархиальным архиереям, есть ли же впредь в тех типографиях потребуется или нужно будет светские книги печатать, то оные не издавать прежде в печат(ь), пока главными тамо находившимися светскими начальниками рассмотрены и апробованы не будут, а равномерно 4-е. и во всех протчих и новороссийской губерниях, где ныне типографии есть, или впредь учредятся поступать, чтобы духовные книги духовными, а светские – светскими главными тамо начал(ь)никами опробованы были, с таким еще дополнением, что есть ли иногда в светских книгах что-либо о законе и вере касается будет, то и к тому приглашать главных духовных особ в тех местах находящихся, а без их рассмотрения и ценсуры в печать не издавать. 5-е. Буде же во всех тех типографиях на иностранном языке какая книга удостоена будет к напечатанию, то прежде не издавая ее в печать вносить в Сенат, почему оный будет назначать в рассмотрение кому заблагораз-

судит; но как сие дело есть новаго положения, а именным 1763 года декабря 15 дня указом повелено всякие дела, кои вновь какого постановления или перемены требуют, имеют быт(ь) прежде разсуждаемы в департаменте, и потом в общем собрании делать точное положение к докладу Ея Императорскому величеству, то и сие правительствующаго Сената разсуждение предложить к докладу в общее собрание. Подлинное за подписанием правительствующаго Сената⁷⁹.

Представленный проект не вводил, как предполагалось ранее, особых цензурных комитетов. Однако он явно был направлен на усиление профессионализации цензурной деятельности в стране. Признавая монополию Синода на издание религиозной литературы, составители предложений требовали назначения специальных синодальных цензоров в главных центрах книгопечатания – по одному в Санкт-Петербурге и Москве. Цензурный контроль над светскими книгами в обеих столицах изымался из юрисдикции руководства учреждений, имеющих типографии, и должен был перейти к специальным цензорам, назначаемым Коллегией иностранных дел. Следует заметить, что каких-либо объяснений этому достаточно неожиданному решению не имеется. Два пункта проекта были посвящены организации цензуры в провинции. Они исходили из положения о том, что право цензурного одобрения должно принадлежать высшим представителям светской и церковной власти на местах. В уже существующих в Киеве и Чернигове типографиях печатание церковных книг должно было находиться под контролем местных епархиальных архиереев, а гражданских – апробироваться «главными тамо находившимися светскими начальниками». Во всех остальных городах, где уже имелись типографии (как в крепости св. Елизаветы) или планировалось завести их в будущем, цензура должна была принадлежать главным духовным и светским начальникам данного региона. И, наконец, Сенат предполагал самостоятельно осуществлять цензурирование изданий на иностранных языках. Последнее означало лишение Академии наук прав цензуры, которые она получила для иностранных книг «вольной» типографии Гартунга по указу от 1 марта 1771 г.

Однако данный вариант реорганизации цензуры не получил высшего одобрения. Имеющиеся в нашем распоряжении документы не содержат информации о причинах, побудивших его отвергнуть. Шамрай полагал, что Екатерину II напугала перспектива того, что цензура окажется в руках излишне либеральных чиновников Коллегии иностранных дел. Он пишет, что «обеспечить Панину и его сотрудникам, таким, как покойный Эмин или здравствующий Фонвизин, широкое влияние на русскую литературу и переводы с иностранного было не в планах» императрицы⁸⁰. Возможно, Екатерина считала, что существующие цензур-

⁷⁹ Там же. Л. 304–305 об.

⁸⁰ Шамрай Д.Д. Из истории цензурного режима Екатерины II... С. 186–187.

ные механизмы достаточны для проведения необходимой ей политики в сфере книгопечатания.

Точно же известно, что в 21 декабря 1775 г., то есть в разгар обсуждения сенатских проектов по реорганизации цензуры, был издан специальный указ, строго запрещающий продажу русских шрифтов частным лицам. Он не был включен в *Полное собрание законов*, а в научный оборот его ввел В.А. Западов. Разосланный в режиме секретности во все учреждения, имевшие типографии, он предписывал, «чтобы выливаемые при оных [типографиях] российских литер какого бы ни были сорта ни под каким видом на продажу партикулярным людям не отпускали, да и литер кроме настоящих их мест нигде в особых или партикулярных домах не отливали и не делали, наблюдая при том и сие, что если кто впредь из партикулярных людей, к покупке литер желатели, в которую типографию явятся, таковых, не давая виду, удерживать и неприметно выспрашивать, на какое точно употребление они их закупают и когда окажутся каким-либо образом подозрительными, о таковых тотчас объявлять командирам своих типографий, которые имеют отослать их в надлежащие места для дальнейшего исследования»⁸¹. По всей видимости, правительство опасалось свободного распространения полиграфических материалов и возможности бесконтрольного производства книг, но не считало необходимым совершенствовать существующую систему цензурного надзора за имевшимися типографиями. Запрет на продажу русских шрифтов частным лицам оставался актуальным вплоть до введения «вольного» книгопечатания в 1783 г. Он повторялся практически во всех законодательных актах, позволяющих создавать казенные и частные типографии в 1776–1782 гг.⁸²

В январе 1776 г. появился новый доклад Сената «о состоящих в России типографиях, на каком основании и под какою цензурою им быть надлежит»⁸³. Данный документ широко использовался в историографии. Его основная часть, суммирующая сведения об имеющихся полиграфических центрах, основана на материалах рапортов, полученных в ходе сенатского опроса в 1773–1774 гг. Она повторяет информацию докладов 1773 и 1775 гг. А вот выводы, делаемые из рассмотрения данных материалов, совершенно иные:

Сенат, усматривая, что при всех типографиях находятся определенные смотрители, хотя мнением своим и заключает, что нет надобности разрушать сей порядок и делать какое-либо новое постановление, а только нужно всем тем местам, в ведомстве которых типографии состоят, предписать, что имеющие смотрение должны ответствовать за всякую из печати выходящую книгу, и для того б подобно происходимому

⁸¹ Западов В.А. Указ. соч. С. 104.

⁸² Гордеева М.Ю. Зарождение частного книгопечатания в России (по материалам сенатских указов) // Книга в России. Сб. 1. С. 153.

⁸³ РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 259.

при иностранных типографиях обряду: прежде напечатания книги подписывали они, что читана и ничего недозволенного в ней не находится, а потом, издавая книгу в печать, припечатывать в конце ее и сие свидетельство с означением имени цензора. Однако ж в рассуждении, что по сему установлению исполнение происходит должно во всегдашнее время, и касается оное не до одних типографий, но и до всех, упражняющихся в сочинении и переводе книг, то Сенат, не приступая еще к точному о том предписанию, за должность поставляет всеподданнейше представить оное в высочайшее Вашего Императорского величества благоволение и просит указа⁸⁴.

Таким образом, проекты централизации и профессионализации цензуры были окончательно похоронены. Предполагалось сохранить существующую ведомственную систему цензурного надзора, формализовав саму процедуру получения разрешения на печать и усилив меру личной ответственности цензоров за выполняемые ими обязанности.

Однако и эти предложения не были приняты. Существовавшая в казенных типографиях цензурная практика была сохранена. А в отношении «вольных» типографий прецедентным стал указ от 22 августа 1776 г. о разрешении организовать частную книгопечатню И.Я. Вейтбрехту и И.К. Шнору⁸⁵. Вероятно, реализовать мечту Шнора о собственном полиграфическом предприятии помогли связи придворного книготорговца Вейтбрехта. Типографщикам разрешалось выпускать книги не только на иностранных, но и на русском языке. Они обязаны были цензуровать духовные книги в Синоде, светские – в Академии наук, а объявления – в полиции. Издаваться могли только книги, «кои непредосудительны Православной Грековосточной церкви, ни правительству, ниже добронравию». Таким образом, цензура новой «вольной» типографии не отличалась от той, что была предложена ранее для типографии Гартунга. Привилегия Вейтбрехту и Шнору содержала и новые пункты. В их числе – обязанность издавать каталог вышедших книг и запрещение перепечатывать книги, выпущенные ранее другими типографиями, то есть заниматься контрафакцией. Было повторено также положение декабрьского указа 1775 г., не позволявшего продавать шрифты частным лицам. Именно указ, разрешивший создание типографии Вейтбрехту и Шнору, как уже отмечали исследователи, стал основой для последующих аналогичных привилегий на открытие частных типографий⁸⁶.

Изучение доступных документов показывает, что указ о типографии И.Я. Вейтбрехта и И.К. Шнора использовался в качестве «рамочно-го» документа и при разрешениях на заведение новых казенных типографий. Прямая ссылка на эту привилегию имеется, например, в указе от 17 октября 1776 г., позволявшем белорусскому католическому епи-

⁸⁴ Там же. Л. 6 об.–7.

⁸⁵ ПСЗ. Т. 20. № 14495. С. 405–406.

⁸⁶ Гордеева М.Ю. Указ. соч. С. 153.

скопу С. Сестреничичу печатать в заведенной им типографии книги на русском языке. За епископа ходатайствовал белорусский генерал-губернатор граф З.Г. Чернышев. Именно ему и было поручено «надзирание сего или исправление цензуры». Для руководства ему послали «с данной ныне привилегии иностранцам Вейтбрехту и Шнору для заведения здесь в Санктпетербурге типографии точную копию, дабы во всем сходственно с тем учреждением поступано было»⁸⁷. Основные положения привилегии Вейтбрехту и Шнору повторяются и в указе «О учреждении типографии при училище бомбардирской роты Лейб-гвардии Преображенского полка» от 9 сентября 1779 г. О цензуре ее изданий в нем сказано:

Дабы в печатаемых книгах ничего предосудительного вкрасться не могло, оное наблюдать и предостерегать Лейб-гвардии Преображенского полку Полковой Канцелярии⁸⁸.

3 октября 1779 г. последовал указ, разрешавший Шнору организовать «вольную» типографию в Твери⁸⁹. Для ее организации он заручился поддержкой новгородского, тверского и псковского наместника Я.Е. Сиверса. Как в свое время Гартунг, Шнор рассчитывал получить от государства финансовую и организационную помощь для создания типографии. Однако в указе прямо говорилось: «Позволить оную [типографию] завести на таких правилах, на каких и другие вольные типографии заведены». Следовательно, к этому времени возникновение частных типографий рассматривалось как привычное явление. О цензуре тверской типографии говорилось:

Дабы в печатаемых книгах ничего предосудительного вкрасться не могло, оное наблюдать и предостерегать в рассуждении духовных книг тому, кто от Святейшего Синода определен будет, а светских, Тверскому Наместническому правлению⁹⁰.

В начале 1780-х годов было выдано еще несколько привилегий на открытие частных типографий: 23 декабря 1780 г. – Ф.И. Брейткопфу, 22 августа 1782 г. – Е.К. Вильковскому и Ф.А. Галченкову, 7 декабря 1782 г. – О.Г. Мейеру⁹¹.

Нам удалось разыскать в архиве Сената материалы, связанные с выдачей привилегии Брейткопфу⁹². Среди них имеется и текст соответст-

⁸⁷ ПСЗ. Т. 20. № 14520. С. 434.

⁸⁸ Там же. № 14911. С. 860.

⁸⁹ В.А. Западов ошибочно датировал данный указ 1778 г. (*Западов В.А. Указ. соч.* С. 106).

⁹⁰ ПСЗ. Т. 20. № 14927. С. 872–873.

⁹¹ См.: *Западов В.А. Указ. соч.* С. 106.

⁹² Подробнее об истории основания типографии см. мою статью: *Самарин А.Ю. Возникновение «вольной» типографии Ф.И. Брейткопфа // Г.Ф. Миллер и русская культура.* СПб., 2007. С. 364–371.

вующего указа⁹³. Он практически дословно повторяет положения привилегии, данной в 1776 г. Вейтбрехту и Шнору. Исключение составляют преамбула, рассказывающая о содержании прошения Брейткопфа, а также упоминание о возможности получать шрифты из лейпцигской типографии, принадлежавшей отцу издателя. Вероятно, из-за совпадения в содержании в *Полное собрание законов Российской империи* не были включены тексты привилегий Брейткопфа, Вильковского и Галченкова, Мейера. Цензура духовных книг из типографии Брейткопфа поручалась Синоду, а светских – Академии наук.

Таким образом, законодательные акты второй половины 1770-х–начала 1780-х годов о создании новых типографий, с одной стороны, опирались на привилегию, выданную 22 августа 1776 г. Вейтбрехту и Шнору, а с другой – учитывали опыт обобщения цензурной практики в сенатских докладах 1773, 1775 и 1776 гг. Мы видим, что столичные «вольные» типографии передавались под цензуру Синода и Академии наук. В провинции цензурные функции сохраняли органы местного управления, в новых ведомственных типографиях цензура возлагалась на руководство соответствующих учреждений.

Вплоть до января 1783 г. правительство полагало вполне достаточной существующую ведомственную цензуру. Ярким свидетельством этого является сенатский указ от 31 мая 1780 г. Он был инициирован Синодом, выражавшим опасения по поводу возможности выхода книг духовного содержания без его одобрения⁹⁴. Ссылаясь на законодательство прошлых лет, Синод требовал:

Чтоб всем тем местам, при коих имеются Типографии, также и вольным типографщикам чрез кого надлежит учинить подтверждение, дабы все переведенные или сочиненные книги и письма, в которых упоминаются какие-либо Богословские, до веры закона Христианского принадлежащие до рассуждения, когда оные будут для печатания, прежде присылаемы были для рассмотрения и апробации из С. Петербургских Типографий в Святейший Синод, а из Московских в Синодальную Контору; без апробации же Святейшего Синода или его Конторы печатать их, на сновании вышеозначенных указов, строжайше запретить⁹⁵.

В принятом Сенатом указе подробно рассматривалась система организации цензуры в стране:

Как по собранным в Сенат из всех тех Присутственных мест, в ведомстве коих состоят казенные Типографии, в 1775 г. справками видно, что при всех оных Типографиях определенные смотрители, кои обязаны

⁹³ РГАДА. Ф. 248. Оп. 50. Кн. 4221. Л. 240–241.

⁹⁴ Следует заметить, что Синод всегда активно отстаивал свои цензурные права. Некоторые примеры см.: *Цапина О.А.* Войны за Просвещение? Московский университет и духовная цензура в конце 50-х – начале 70-х гг. XVIII в. // *Eighteenth-Century Russia: Society, Culture, Economy: Papers from the VII International Conference of the Study Group on Eighteenth-Century Russia*, Wittenberg 2004. Berlin, 2007. P. 157–171.

⁹⁵ ПСЗ. Т. 20. № 15019. С. 944.

смотреть, чтоб в печатаемых книгах и прочих сочинениях ничего противного, а особливо закону, Правительству и благопристойности не было; и для того когда что до веры и Священного Писания касается, пересматривают духовные персоны, а в Московском Университете все такие книги и сочинения, до веры и закона касающиеся, не иначе печатаются, как с апробации Святейшего Синода и его Конторы.

Далее в указе подробно описывалась процедура цензурного контроля за «вольными» типографиями Гартунга, Вейтбреха и Шнора. Затем Сенат делал вывод:

Следовательно, за таковым постановлением и не было бы нужным вновь делать предписания⁹⁶.

Вместе с тем, идя навстречу пожеланиям церковных властей, было указано во все типографии разослать предписания, напоминающие о цензурных прерогативах Синода в отношении религиозной литературы.

Следует отметить, что указ 31 мая 1780 г. получил совершенно неправильную трактовку в историографии. С легкой руки А.М. Скабичевского и В.П. Семенникова, из работы в работу кочует мнение о том, что согласно этому акту к типографиям были приставлены особые смотрители, назначавшиеся Синодом и Академией наук⁹⁷. Однако указ говорит не о назначении новых цензоров, а о сохранении цензурной системы, сложившейся к 1775 г., в основе которой – назначение в каждом учреждении, имеющем типографию, особых чиновников, ответственных за цензуру. Указ не оставляет сомнений, что Сенат считал ее достаточно эффективной, что и было прямо декларировано.

В свете вышеизложенного появление указа от 15 января 1783 г. о «вольных» типографиях можно рассматривать как кардинальное изменение цензурной политики. Передача функций цензуры местным полицейским властям в лице Управ благочиния не соответствовала ни одному из ранее принятых подходов. Цензура переставала быть ведомственной в казенных учреждениях, на местах ею не руководили более высшие представители властных структур, а «вольные» типографии выводились из-под «ученой» цензуры Академии наук. Тем не менее, из-за отсутствия какого-либо положения о цензурной деятельности Управ благочиния характер контроля над печатным словом не мог быть слишком строгим⁹⁸. О цензуре в период «вольного книгопечатания» (1783–1796)

⁹⁶ Там же. С. 945.

⁹⁷ Скабичевский А.М. Указ. соч. С. 37; Семенников В.П. Указ. соч. С. 52; Жирков Г.В. Указ. соч. С. 26 и др.

⁹⁸ Следует заметить, что есть сведения, позволяющие усомниться в том, что все цензурные функции после указа от 15 января 1783 г. оказались сосредоточенными в руках Управ благочиния. Так, В.П. Семенников отмечал, что «в типографии Академии наук, до 1793 г., для печатания книг не требовалось разрешения управы благочиния, а после известной истории с сожжением трагедии Княжнина “Вадим Новгородский”, Академия стала требовать от посторонних лиц, желающих печатать книги, разрешение на

часто судят по известным публицистическим филиппикам А.Н. Радищева, которыми наполнена глава «Торжок» в *Путешествии из Петербурга в Москву*⁹⁹. Именно отсюда берутся обвинения в адрес «мундирных цензоров» и «несмысленных урядников благочиния». Вместе с тем, имеются мемуарные свидетельства и иного рода. Так, Н.С. Селивановский, сын известного типографа конца XVIII – начала XIX в. С.И. Селивановского, характеризуя этот период, писал: «Цензуры не было. Книги рассматривались при Управе или обер-полицеймейстером, т.е. представлялись, но не читались. В ту пору книга была нечто пустое, неважное, и еще не думали, что она может быть вредна»¹⁰⁰. Автору было с чем сравнивать, ибо он сам активно продолжал дело отца, занимаясь выпуском книг вплоть до 1859 г.

Думается, что дореволюционные ученые справедливо указывали на отсутствие регламентации в деятельности полицейских чиновников, осуществлявших цензорские функции, мягкость цензурного режима. Так, Скабичевский писал: «За все время действия указа 1783 г. мы не видим ни одного запрещения книги непосредственно полицейскими цензорами. Все преследования авторов и конфискации книг (...) были производимы по предписаниям свыше и касались книг, пропущенных уже цензурою, напечатанных и выпущенных в свет беспрепятственно»¹⁰¹.

Изучая систему надзора за печатью в 1750-х – начале 1780-х годов, нельзя не вспомнить характеристику Семенникова, утверждавшего в 1913 г.: «Вообще, в цензурном отношении эпоха Екатерины II представляет картину полной беспорядочности»¹⁰². На первый взгляд, с этим мнением трудно не согласиться. Особенно интересно, что в самый разгар сенатской проверки была организована новая ведомственная типография при Горном училище. Основанием для ее открытия, как отмечено во многих документах, стал не специальный указ, а «Устав Горного училища». В нем было зафиксировано положение о том, что студенты должны переводить необходимые для горнодобывающей отрасли кни-

печатание их от управы благочиния» (*Семенников В.П.* Указ. соч. С. 52). В контракте, заключенном 13 июля 1783 г., на аренду И.Ф. Гиппиусом московской Сенатской типографии о цензуре говорилось: «Позволяется ему в праздное время, когда казенного печатания не будет, печатать всякия партикулярные книги в собственную ево пользу, но дабы в печатанных книгах ничего предосудительного вкрасть не могло, то оные печатать з дозволения ниже писанных мест, а именно, духовные книги з дозволения определеннаго от Святейшаго Синода, или его канторы, светския книги з дозволения Университета, а объявления всякия с дозволения управ благочиния, и иметь о таком дозволении писменные от тех мест виды, которые прежде печатания объявлять учрежденному над типографиею директору» (РГАДА. Ф. 248. Оп. 80. Кн. 6548. Л. 312; опубл.: *Самарин А.Ю.* Арендатор московской Сенатской типографии И.Ф. Гиппиус // Федоровские чтения, 2007. М., 2007. С. 430).

⁹⁹ *Радищев А.Н.* Путешествие из Петербурга в Москву. Вольность. СПб., 1992. С. 79–92.

¹⁰⁰ *Селивановский Н.С.* Записки // Библиографические записки. 1858. № 17. Стб. 518.

¹⁰¹ *Скабичевский А.М.* Указ. соч. С. 38.

¹⁰² *Семенников В.П.* Указ. соч. С. 52.

ги, а корпус обязан их, «печатая, раздавать заводчикам за положенную по мере трудов и важности книг цену»¹⁰³. Типография начала работу уже в октябре 1775 г., то есть в момент обсуждения реформирования цензуры в Сенате, а в 1776 г. из нее вышли и первые книги¹⁰⁴. В связи с ликвидацией типографии в 1782 г. появилось множество документов, характеризующих ее деятельность. Из них становится ясно, что ею руководил гофмейстер, осуществлявший надзор и за остальным хозяйством корпуса. Однако о том, что издания проходили какую-либо цензуру, упоминаний нет¹⁰⁵.

Более детальный анализ свидетельствует о том, что цензура развивалась параллельно с ростом числа типографий, приспосабливаясь к конкретным условиям. При всей хаотичности данного процесса имелось четкое представление о цензуре как функции центральной власти, делегируемой от нее конкретным руководителям учреждений; были найдены общие формулировки, описывающие границы дозволенного в печати. Наметилось противостояние двух линий развития цензуры: ведомственно-чиновнического и учено-академического. Расширение книгопечатания поставило вопрос о необходимости централизации и профессионализации цензорской деятельности. Итогом сенатского обследования типографий 1773 г. стал ряд предложений по модернизации системы цензурного контроля, включая создание специальных цензурных комитетов. Во второй половине 1770-х–1780-е годы они реализованы не были. По всей видимости, данный опыт был использован в самом конце царствования Екатерины II и в правление Павла I, когда цензура окончательно оформилась как самостоятельный институт в системе государственного управления.

Alexandre Samarine

**Le développement de l'imprimerie
et la censure en Russie:
dès années 1750 au début des années 1780**

L'auteur étudie l'évolution de la censure en Russie dans le cadre du développement de l'imprimerie ministérielle et privée à partir de la seconde moitié des années 1750 et jusqu'au début des années 1780. Son analyse est fondée sur les documents relatifs à l'inspection des imprimeries, entreprise par le Sénat en 1773–1774, et sur les rapports qui en ont résulté (1773, 1775, 1776) et contenaient diverses propositions de réforme de la censure dans l'empire (ces documents sont conservés aux Archives d'actes anciens, à Moscou), ainsi que sur les sources imprimées (actes, décrets, etc.). Cet éventail de

¹⁰³ Устав Горного училища. СПб., 1774. С. 22.

¹⁰⁴ РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Кн. 1391. Л. 378–379.

¹⁰⁵ Там же. Ф. 248. Оп. 52. Кн. 4315. Л. 391–402 об.

sources, en partie inconnues ou peu utilisées, a permis de préciser le caractère de la censure de cette époque.

L'imprimerie russe de l'époque catherinienne avait derrière elle une préhistoire longue de deux siècles, c'est pourquoi elle englobait des imprimeries organisées de différentes façons et sous des régimes de censure différents. Le décret d'Élisabeth Péetrovna signé le 7 mars 1743 avait placé la censure entre les mains du Sénat et du Synode, mais celle-ci avait été ensuite subdéléguée aux administrations des établissements, auprès desquelles fonctionnaient les imprimeries (Académie des sciences, université de Moscou, Corps des cadets de terre, Corps des cadets de l'artillerie et du génie, etc.). Les fonctions de la censure y ont été exercées soit directement par les chefs des établissements, soit par des clercs spécialement nommés. Le caractère de cette censure dépendait donc du type de l'établissement. On peut dire qu'elle n'était pas «professionnelle»: le métier de censeur n'existait pas encore, bien que le travail de ces clercs ait été parfois rémunéré.

L'apparition en 1771 de la première typographie «libre» ou privée (celle de Johann Michael Hartung) a désorienté tout le système, car la maison Hartung publiait à la fois des livres profanes, censurés par l'Académie des sciences, et des livres de contenu religieux, censurés par le Synode. La tentative de Johann Karl Schnoor de créer une seconde imprimerie «libre» en 1772 a porté le problème de la censure à l'échelle nationale. Cela a abouti à une décision importante, celle d'élaborer le projet de deux comités de censure, l'un à Moscou, l'autre à Saint-Pétersbourg (1773).

Un autre projet – de 1775 – proposait de laisser toute la production à caractère religieux sous la responsabilité de la censure du Synode et de soumettre les livres profanes à l'attention de censeurs spéciaux nommés par le ministère des Affaires étrangères. Dans les provinces ces fonctions devaient être confiées aux autorités ecclésiastiques et laïques. La censure des livres en langues étrangères devait rester entre les mains du Sénat.

En 1776 on voit apparaître de nouvelles propositions, tendant à accentuer la responsabilité personnelle des censeurs. Pourtant ces initiatives n'ont pas vu le jour. En 1776 Johann Jakob Weitbrecht et Johann Karl Schnoor obtiennent des «privilèges» et ouvrent deux nouvelles typographies «libres». Le régime y est le même que chez Johann Michael Hartung: livres profanes – censure de l'Académie des sciences, livres religieux – censure du Synode. Un régime identique sera appliqué à toutes les imprimeries privées apparues entre 1776 et 1783. Les imprimeries «institutionnelles» resteront sous la censure de leurs institutions. Cet état de choses sera confirmé par le décret du 31 mai 1780.

Ainsi le décret du 15 janvier 1783 (sur l'imprimerie «libre»), qui confie la censure aux organes policiers locaux, se présente comme une vraie révolution dans ce domaine. Quant aux projets de centralisation et de professionnalisation de la censure élaborés en 1773 et 1775, ils seront probablement utilisés lors de la réorganisation de la censure pendant la dernière année du règne de Catherine II et sous Paul I^{er}.

В.А. СОМОВ

ФРАНЦУЗСКАЯ КНИГА В РУССКОЙ ЦЕНЗУРЕ
КОНЦА XVIII ВЕКА*

Цензура иностранной книги как особое установление была введена в Российской империи в конце XVIII в.¹ До того времени регистрируются лишь отдельные случаи запретов, касающиеся, прежде всего, сочинений о России². На протяжении почти всего XVIII столетия иностранные книги свободно ввозились на территорию империи, что было одним из направлений просветительской политики русского абсолютизма. В целом они не вызывали опасений властей: узкий круг читателей, владевших иностранными языками, состоял в основном из дворян, а также иностранцев. Спрос на зарубежные издания был не велик, а вся иностранная книготорговля долгое время, до 1760-х годов, была сосредоточена в Императорской Академии наук, то есть легко контролировалась.

Успешное развитие частной книготорговли во второй половине столетия было ответом на рост образованности населения, увеличивалось и число читателей, владевших иностранными языками, в первую очередь французским³. События Французской революции вызвали повы-

© В.А. Сомов, 2008

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант 06-04-00338а) и стипендии Библиотеки Герцога Августа (Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel Deutschland).

¹ См., например: *Скабичевский А.М.* Очерки истории русской цензуры (1700–1863). СПб., 1892. С. 65–85; *Сиповский В.В.* Из прошлого русской цензуры // *Русская старина*. 1899. № 4. С. 161–175; № 5 С. 435–453. (Далее: *Сиповский*).

² *Сомов В.А.* Французская «Россика» эпохи Просвещения и царское правительство (1760-е–1820-е гг.) // *Русские книги и библиотеки в XVI – первой половине XIX века*. Л., 1983. С. 105–120.

³ *Зайцева А.А.* Книжная торговля в Санкт-Петербурге во второй половине XVIII века. СПб., 2005. С. 128–177; *Копанев Н.А.* Французская книга и русская культура в середине XVIII в. (Из истории международной книготорговли). Л., 1988. С. 116–144.

шенное внимание русского общества к иностранной книге и беспокойство властей. В 1790-е годы учащаются предписания изъять ту или иную книгу, появляются проекты переустройства цензуры, которая в это время осуществляется полицией и Синодом⁴.

В конце правления Екатерины II и в начале царствования Павла I издается ряд указов, формирующих специальные органы контроля за книгой – «цензуры», которые занимались как русской, так и, особенно, иностранной книгой⁵. Они находились в ведении Сената (III департамента) и подчинялись непосредственно генерал-прокурору. Каждая «цензура» состояла из «трех особ, из одной духовной, из одной гражданской, и одной ученой»; «духовного» цензора назначал Синод, «гражданского» – Сенат, «ученого» – Академия наук и Московский университет⁶. Иностранная книга проходила, прежде всего, через Петербург и Ригу, два крупных морских порта, и через пограничную Радзивилловскую таможенную (в незначительной мере)⁷.

Основной целью нового государственного института провозглашалась борьба с распространением идей революции, причем сказалась роль внешнеполитических факторов – цензура вводилась в момент открытого столкновения с Францией, дипломатические отношения с которой были разорваны еще в 1792 г. В 1793 г., после казни Людовика XVI был издан именной указ «о прекращении сообщения с Францией» и о высылке французов – за исключением тех, «которые под присягою отрекутся от революционных правил, во Франции распространившихся». Отдельный пункт указа касался печатной продукции: «11. Запрещается ввозить в Россию ведомости, журналы и прочия периодические сочинения во Франции издаваемые»⁸.

В 1798 г., когда Россия участвовала в очередной антифранцузской коалиции, ввоз французских товаров оказался под запретом⁹, тогда же на-

⁴ Западов А.В. Краткий очерк истории русской цензуры 60–90-х гг. XVIII века // Русская литература и общественно-политическая борьба XVII–XIX веков. Л., 1971 (Учен. зап. Ленинградского пед. ин-та им. А.И. Герцена. 1971. Т. 414). С. 116, 134–135.

⁵ 16 сентября 1797 г. (ПСЗ. Т. 23. № 17508); 22 октября 1796 г. (Там же. № 17523); 16 февраля 1797 г. (Там же. Т. 24. № 17811); 30 июня 1797 г. (Там же. № 18023). Позднее установлены должности цензоров в Кронштадте и Ревеле.

⁶ ПСЗ. Т. 23. № 17508.

⁷ ПСЗ. Т. 25. № 18367. Радзивилловская цензура имела свой штамп, о чем можно судить по сохранившимся книгам, прошедшим контроль в Радзивилове. См., например: *Philipon de la Madelaine L. Géographie élémentaire de la République française. Nouvelle édition. Paris: Dentu, An VII [1799]* – экземпляр РНБ (12.38.6.32); на титульном листе – черная овальная печать «Штемпель Радзивилловской Цензуры». Благодарю за эти сведения С.В. Королева.

⁸ ПСЗ. Т. 23. № 17101. 8 февраля 1793 г.

⁹ 1798 г. «Указ из коммерц-коллегии об удержании товаров французских на чьих бы кораблях привезены ни были и кому бы ни принадлежали» (РГИА. Ф. 138. Оп. 6. Д. 60. Л. 621; в связи с тем, что РГИА в течение долгого времени закрыт, сверить текст ранее выявленных документов не представлялось возможным).

чали преследоваться любые напоминания о революции, вплоть до водяных знаков на бумаге¹⁰. Подобные запреты воспринимались обществом очень болезненно, так как именно французские товары были популярны в дворянских кругах. Однако учреждение цензуры было вызвано, в первую очередь, факторами внутривосточными; об этом свидетельствует даже ее «запоздалое» введение, пришедшее на тот период, когда «революционная буря, свирепствовавшая во Франции, затихла»¹¹. Русские власти были не одиноки в своей политике, например, в середине 1790-х годов цензура иностранной книги была ужесточена в Австрийской империи¹².

Контроль за печатной продукцией осуществлялся следующим образом: цензоры на местах (в Петербурге, Риге и Радзивиловке) рассматривали всю поступившую литературу, а книги, сочтенные сомнительными, представляли в Совет Его Императорского Величества, во главе которого стоял генерал-прокурор Сената¹³. Совет рассматривал цензорские рапорты, утверждал запрет (за редким исключением) и представлял свое решение Павлу I. Таким образом, Совет Е.И.В. играл роль главного цензурного комитета¹⁴, его члены получили функции цензоров, а император выступал в роли верховного цензора, что подчеркивает важность нового установления в глазах властей. Вместе с рапортами цензоры представляли и сами книги, сначала только один экземпляр, остальные должны были храниться на месте до окончательного решения и затем сжигаться, но очень скоро, уже в октябре 1797 г., власти потребовали доставлять все экземпляры запрещенных книг для уничтожения¹⁵.

Книги рассматривались на заседаниях Совета Е.И.В. в течение трех лет – с 25 июня 1797 г. до 19 апреля 1800 г., пока не был полностью запрещен ввоз иностранных изданий по указу от 18 апреля 1800 г.¹⁶ За это время, судя по сохранившимся документам Совета Е.И.В., запрещено около 750 иностранных книг (более 1000 томов). Хотя эти сведения не полны (не все рапорты цензоров сохранились, и не все запреты были зафиксированы в документах Совета), они отражают общую картину деятельности цензуры, круг запретов и книжный репертуар, привлекавший внимание властей.

¹⁰ Бумага «с знаками французской вольности»: Эпизод из царствования Павла I-го // Русская старина. 1899. № 5. С. 340.

¹¹ Каратыгин П.А. Цензура времен императора Павла I: 1796–1801 // Исторический вестник. 1885. № 10. С. 151–160. С. 152.

¹² Granasztói O. Lecteurs hongrois de livres français: Diffusion et réception de la littérature française en Hongrie vers la fin du XVIII^e siècle // Est – Ouest: Transferts et réceptions dans le monde du livre en Europe (XVII^e–XX^e siècles) / Ed. par F. Barbier. Leipzig, 2005. P.249.

¹³ ПСЗ. Т. 24. № 18032. Рапорты подавались на имя генерал-прокуроров (поочередно): А.Б. Куракина, затем П.В. Лопухина, А.А. Беклешова, П.Х. Оболянинова.

¹⁴ Клочков М.В. Очерки правительственной деятельности времен Павла I. Пг., 1916. С. 175.

¹⁵ Архив Государственного Совета. СПб., 1888. Совет в царствование императора Павла I-го (1796–1801 гг.). Вып. 2. Стб. 434–435. (Далее: Протоколы).

¹⁶ ПСЗ. Т. 26. № 19387.

К опасным темам относятся события революции, европейские политические реалии и военные действия, любые недоброжелательные упоминания о России, высказывания о религии, монархическом образе правления, личностях монархов, дворянстве, любые рассуждения о вольности и равенстве, в том числе в сфере нравов¹⁷.

Среди запрещенных книг в основном фигурируют издания конца 1780–1790-х годов, то есть новейшие, на немецком, французском, реже – английском языках, имеется несколько на других языках. Французские книги (см. Приложение*) составляют меньшую часть – ок. 150 названий (ок. 350 томов), но среди немецких и английских изданий есть переводы французских авторов; кроме того, цензоры пристрасно отмечают в немецкой и английской периодике цитаты из французских книг, отклики на политические события во Франции. Запрещение книг, датированных календарем Французской революции, повлекло за собой повеление «все привезенные в Россию книги без означения года, которой из них выдирается или наклеивается другой для утайки времени настоящего их издания, в цензурах останавливать и поступать как с запрещенными»¹⁸.

Французская книга, имевшая в то время всеевропейское значение, представляла в глазах властей главную опасность. Императорский указ от 17 мая 1798 г., направленный на ужесточение цензуры, специально посвящен французским газетам и в целом печатной продукции на французском языке:

Правительство, ныне во Франции существующее, желая распространить безбожные свои правила во все устроенные государства, ищет развращать спокойных обитателей оных сочинениями, наполненными зловредными умствованиями, стараясь, те сочинения разными образами рассеивать в обществе, наполняя даже оными и газеты свои. Подтверждая ныне прежде сего состоявшиеся указы о сочинениях французских, под именем Монитера известных, да и других такого рода, издаваемых вообще в областях под обладанием французским состоящих, видя также, что многие газетчики отступают от прямой цели должности своей и ищут, по подущению ли французов, или по собственным своим дурным расположениям, подражать им, и что, к сожалению, власти некоторые взирают на сие спокойным духом, за нужное признаем повелеть Сенату Нашему:

(...) 3) Сенат наш имеет обнародовать во всей Империи, что кто получит газету, какую бы то ни было, или иное периодическое сочинение посредством вояжиров, курьеров, или же почты, и оное передаст из рук своих в другие, не представя предварительно оныя цензорам: то подвергнет себя неминуемо суду, яко ослушник законов и 4) что начальствующие в почтамтах и цензоры, установленные в портах, подвергаются подобному же наказанию, коль скоро пропустят вообще сочинения, в мес-

* Далее в скобках указывается № в Приложении.

¹⁷ Ситовский. С. 448–449.

¹⁸ ЦГИА Латвии. Ф. 11. Оп. 1. Д. 150. Л. 23.

тах под обладанием французским составленные, или же другие, в коих найдется что-либо оскорбляющее закон Божий, верховную власть и общее устройство¹⁹.

По цензурам «опасные» французские книги распределяются следующим образом: в Петербурге было задержано более 80 названий (ок. 180 томов), в Риге – ок. 60 названий (ок. 140 томов), в Радзивилове – 10 названий (ок. 30 томов).

Парадоксально, однако, что цензоры, призванные бороться с французской «заразой», занимались в основном рассмотрением немецких книг, их было около 530 (примерно 750 томов)²⁰. Кроме того, и среди французских были издания, вышедшие в немецких землях: Берлине, Дрездене, Брауншвейге, Гамбурге, Гёттингене, Готе, Лейпциге, Веймаре. Такое обилие немецкой книги в реестрах объясняется разными причинами: прежде всего, интенсивной работой цензуры, установленной в Риге – городе, куда в основном поступала немецкая книга, а также тем, что московские и петербургские торговцы сократили заказы на «опасную» французскую книгу, а если ввозили ее, то в обход цензуры.

В качестве примера укажем на ситуацию, которая сложилась на петербургской портовой таможне после полного запрета иностранной книги (18 апреля 1800 г). Императорский указ последовал в самый разгар навигации, и в портовых складах скопилось множество книг, которые продолжали поступать на прибывающих в Кронштадт кораблях. Для их учета в декабре 1800 г. был подготовлен «Реестр состоящим в Санктпетербургской портовой таможне налице книгам печатным на иностранном диалекте»²¹. Всего в этом «Реестре» перечислено ок. 900 изданий (примерно 2200 томов). В основном это немецкие и французские книги (примерно поровну), но большинство французских книг принадлежало только одному пассажиру (о нем скажем ниже). Остальные книги – на английском (несколько десятков), а также русском, голландском, шведском, португальском, латинском языках. Лучше всего представлены издания XVIII в., преобладали книги 1780–1790-х годов.

Владельцы этих книг – иностранцы и русские подданные, которые в основном, судя по их именам, также были иностранцами по происхождению: немцами, англичанами, французами. Всего примерно 50 человек, из них два десятка персон декларировали французские книги, причем понемногу. Даже в багаже знаменитого библиофила, в прошлом сотрудника русского посольства в Париже, Петра Петровича Дубровского было всего лишь два французских сочинения. Однако его парижский сослу-

¹⁹ ПСЗ. Т. 25. № 18524.

²⁰ Сомов В.А. Немецкая книга в русской цензуре // Немцы в России: Проблемы культурного взаимодействия. СПб., 1998. С. 192–196.

²¹ РГИА. Ф. 1374. Оп. 1. Д. 356. См.: Сомов В.А. О книгах, изъятых на петербургской таможне в 1800 году, и их владельцах // Цензура в России: История и современность: Сб. научных трудов. СПб., 2006. Вып. 3. С. 90–98.

живец Михаил Семенович Новиков, который оказался последним поверенным в делах во Франции перед разрывом отношений (1792 г.), привез более 300 изданий (более 600 томов), и почти все – французские книги. Этот список производит впечатление хорошо подобранной библиотеки, в которой много изданий по истории, философии, книг, касающихся политических вопросов, вышедших в XVII–XVIII вв. Следует отметить, что среди трех сотен книг есть лишь несколько изданий революционной эпохи. Вероятно, Новиков, как и другие пассажиры, предвидел трудности, которые могли возникнуть при ввозе подобных книг в Россию.

Довольно странный, на первый взгляд, перекос во внимании павловской цензуры в сторону немецкой книги объясняется тем, что мы располагаем, прежде всего, документами, поступившими из Риги. Они значительно преобладают среди дошедших до нас материалов не только потому, что лучше сохранились, а потому, что их было гораздо больше²². Заметим, что ситуация в Риге имела свои особенности: будучи морским портом, через который поступали книги в другие города России, Рига сама являлась одним из крупнейших книжных рынков империи. Цензура, установленная здесь, отличалась особенной активностью и строгостью, благодаря ее фактическому руководителю – «гражданскому» цензору Федору Осиповичу Туманскому, литератору, выпускнику Гёттингенского университета²³.

Цензурные органы в России находились в стадии формирования, и Туманский оказывал значительное влияние на их деятельность, причем ему удавалось это делать, несмотря на то что он географически был дальше от властей, чем его петербургские коллеги. Туманский составил расписание занятий цензоров на каждый день недели, предлагал печатать списки дозволенных книг, обмениваться реестрами запрещенных (что предусматривало рассылку рижских реестров, поскольку их было значительно больше, чем реестров других цензур), советовал все документы, реестры книг, прошения и т.п. представлять в цензуру только на гербовой бумаге и т.д. – многие из этих предложений Совет Е.И.В. принимал. В.В. Сиповский справедливо писал, что «направление Туманского вполне отвечало намерениям правительства, и потому, следовательно, может служить верным выражением правительственных взглядов на книгу»²⁴.

Всего в Риге было запрещено более 500 изданий (более 800 томов). Из них на французском языке – малая часть, приблизительно 60 названий (ок. 140 томов). Остальные книги, их подавляющее большинство,

²² Сиповский. С. 166–167, 171, 445.

²³ Сомов В.А. Цензура иностранных изданий в Риге в конце XVIII века // Известия АН Латв. ССР. Рига, 1990. № 4. С. 53–58; Гринченко Н.А., Измозик В.С., Патрушева Н.Г., Сомов В.А., Эльяшевич Д.А. История цензурных учреждений Прибалтийских губерний, конец XVIII в. – 1917 г. // Книжное дело в России в XIX – начале XX века: Сб. научных трудов. СПб., 2003. Вып. 11. С. 121–172.

²⁴ Сиповский. С. 445.

были в основном на немецком языке. Это соотношение свидетельствует, прежде всего, о преобладании немецкой книги в городе, который в то время являлся одним из центров немецкой культуры. Сам Туманский 1 февраля 1798 г. писал в Совет Е.И.В. по поводу газеты *Stadts- und Gelehrte Zeitung des hamburgischen unparteyischen Correspondenten* (или *Hambürger unpartheyscher Correspondent*, как называют ее цензоры), сообщавшей о волнениях базельских крестьян: «Таковы выражения, при нынешнем направлении мыслей и распространении духа нового в Европе, могут быть вредны, поелику здесь гамбургские газеты все простые и малосмысленные читают и толкуют»²⁵.

В Петербурге было задержано значительно меньше книг: ок. 220 изданий (ок. 300 томов), из них примерно 80 названий (ок. 180 томов) на французском языке. Даже учитывая неполноту корпуса документов петербургской цензуры, можно говорить об относительной мягкости столичных цензоров. Любопытно, что их отзывы более сдержанны по тону, чем эмоциональные суждения Туманского.

Сравним цензорские рапорты о книге И.Б. Шерера (Scherer) *Тайные и занимательные анекдоты русского двора* (см. № 126, 127), посланные из Петербурга и Риги.

Рижская цензура докладывала 29 января 1798 г.:

В 1 томе на стр. 3. В примечании, якобы икона есть Российский бог; стр. 8 о переименовании морских судов и якобы покойный император был в темнице содержим и обвиняем, стр. 28, 29. Якобы орден св. Анны продаваем был; на стр. 34 будто русские инако удостоверять не могут яко сквернословием. Стр. 69, 70 в особе блаженной памяти государыни императрицы Елизаветы Петровны порочит всех государей в несправедливости. Стр. 165, 166, последний анекдот в обиду знатной особы. Стр. 173 и 184 хулит устав государя императора Петра Великого. На стр. 196 явная ложь, будто всего легче подкупить россиянина к лжесвидетельству, воровству, убийству.

Во 2-м томе: на стр. 214, 215 последний анекдот якобы царь Иван Васильевич мучительством девице вынуждал у их родителей богатство; и при конце: якобы он клятву свою считал ни за что; а на стр. 225 в конце изобразил его яко безчеловечнейшаго и страшнейшаго тирана. На стр. 166, 167 анекдот и суждение о государе императоре Петре Великом несправедливы, стр. 265 не меньше несправедлива. Стр. 272 до 276 анекдот неизвестный. В 3-м томе. Сей том начиная тайными анекдотами именует государя Петра Великого похитителем престола. На стр. 206 пишет неправду о знатной фамилии; стр. 211 неправды; стр. 213, 214 площадные бредни в обиду всей нации. В 4 томе от стр. 46 до 98 при жизнеописании императрицы Екатерины Первой многое в охуление ея памяти и памяти государя императора Петра Великого. На стр. 172 пункты подписанные императрицею Анною Иоановною, ограничивающие власть

²⁵ ОР РНБ. Ф. 859. Н.К. Шильдер. К. 33. № 3. Л. 1 об. В личном фонде историка Н.К. Шильдера (1842–1902) сохранились подлинники документов конца XVIII в., взятых им из государственных хранилищ.

самодержавия. В 5 томе стр. 189, 190, 195, 248–252; на стр. 262 выражение обидное для государей. В 6 томе стр. 2, 4, 20, 22, 43, 74, 78, 91, 92, 93, 101, в примечании; 109–110, 113–116, 159, 160, 203, 206, 207, 220, 223, 232, 233, 246, 247, 254, 255, 260, 261, 276²⁶.

Петербургские цензоры, задержавшие в 1800 г. другой вариант книги Шерера, который отличался лишь титульным листом (см.: № 127), ограничились кратким замечанием:

Сие собрание анекдотов наполненное большею частию ложных и безосновательных преданий к хуле российского народа заключает в себе между прочим разные черты, государей российских касающиеся, кои по содержанию одобрены быть не могут. Главнейшие из таких мест суть следующие. Части I. На стр. 125 и 126, части VI на стр. 101, 102, 109, 112, 198 и далее 203, 205, 207, 210 и далее. В прочих же частях также множество находится анекдотов неосновательных и к выпуску сумнительных²⁷.

Как правило, издания, представленные в рапортах, не дублируются. Цензоры получали информацию от генерал-прокурора, и сами обменивались списками запрещенных книг. Особенно настаивал на этом Туманский, многочисленные рапорты которого, по сути дела, были руководством для Петербурга и Радзивилова²⁸.

Нам известны лишь редкие случаи запрета одного и того же издания разными цензурами. Например, в ноябре 1797 г. сначала рижские, а затем петербургские цензоры поспешили доложить в Совет о задержании анонимного памфлета *L'Ombre de Catherine II aux Champs-Élysées (Au Kamtchatka le 1. Janvier 1797)*²⁹, посвященного царствованию скончавшейся императрицы (см. № 103). В рапорте рижской цензуры от 17 октября 1797 г. перечислены два десятка страниц, которые были «наполнены бредней и лжей о лучших государях». Петербургская цензура доносила:

На странице 6 и 19й рассуждение в сих местах о покойной императрице изображено по мнению цензуры не основательно, и в непристойных и дерзких выражениях. На стр. 26 автор влагает в уста императрицы предосудительные речи о государе императоре Петре III и о Российском духовенстве. Меньшей важности сомнительные места [зачеркн.: «слова»], на стран.: 44, 51, 53, 54, и далее³⁰.

Если подавляющее большинство иностранных книг было прислано в Совет из Риги, то французских было запрещено больше в Петербурге (см. выше). Это не удивительно: французская книга преобладала на сто-

²⁶ РГИА. Ф. 1146. Оп. 1. Д. 163. Л. 116 об. – 117.

²⁷ Там же. Л. 317 об.

²⁸ ЦГИА Латвии. Ф. 11. Оп. 1. Д. 150.

²⁹ Об этом памфлете см.: Сомов В.А. Французская «Россика» эпохи Просвещения и русский читатель // Французская книга в России в XVIII в. Л., 1986. С. 198–200.

³⁰ РГИА. Ф. 1146. Оп. 1. Д. 163. Л. 61 об., 68.

личном книжном рынке, о чем свидетельствуют торговые каталоги того времени³¹. Она была востребована высшими слоями общества, не говоря уже о многочисленных иностранцах, среди которых находилось множество французов – губернеров и учителей, представителей других специальностей, обслуживающих аристократию, актеров. Вероятно, именно последним или русским любителям предназначался десяток французских театральных пьес, запрещенных в декабре 1798 г. (см. № 5, 11, 17, 19, 21, 37, 81, 109, 135, 136)³². Кроме того, через Петербург поступали книги, направлявшиеся в Москву и даже в Ригу (когда рижские торговцы пытались избежать контроля местных цензоров). Удивляет примерно равное соотношение французских и немецких книг среди запрещенных в Петербурге, которое свидетельствует, прежде всего, о попытках торговцев обойти цензурный контроль и о сокращении ввоза французской книги в эти годы.

Обратимся к репертуару запрещенных изданий. Наглядно он представлен в списке, который публикуется в приложении к статье и включает книги на французском языке, рассмотренные Советом Е.И.В. в 1797–1800 гг. Этот список не претендует на исчерпывающую полноту, поскольку документы Совета Е.И.В. (протоколы заседаний, реестры книг, рапорты цензоров и т.д.) сохранились не полностью, и не все запреты были отражены в них. Например, в описании посылок, то есть в сопроводительных ведомостях книг, посланных цензорами на уничтожение, мы встречаем те, что отсутствуют в дошедших до нас реестрах. Так, в реестрах нет сочинений Дидро на языке оригинала, а только немецкие переводы. Но из Риги в 1798 г. в Петербург посылают *Jacques le fataliste et son maître* (6 экземпляров; см. № 34) и *Essais sur la peinture* (1 экземпляр; см. № 36), а в 1799 г. – *La Religieuse* (1 экземпляр; см. № 35)³³. Другой пример: в переписке между рижской и радзивиловской цензурами находим упоминание о книге *Le petit neveu de Vadé* ([Paris]: Aux Porcherons; см. № 64), которой нет в реестрах. 3 июля 1800 г. радзивиловская цензура сообщает в рижскую о том, что эта книга «по представлению сей цензуры высочайшим Его Императорского Величества Советом истреблена»³⁴. Вероятно, книга рассматривалась уже после апрельского указа о всеобщем запрете.

Другой недостаток реестров и цензорских рапортов как источника заключается в том, что они не дают сведений о числе экземпляров. Об этом мы узнаем только из тех же сопроводительных ведомостей к посылкам. Характерно, что из Риги французские книги отправлялись чаще всего в одном экземпляре (значит, они и привозились в Ригу в малом

³¹ Немецкая книга, безусловно, пользовалась спросом среди многочисленных немцев, живших в Петербурге.

³² Протоколы. Стб. 482–483.

³³ РГИА. Ф. 1374. Оп. 7. Д. 6.

³⁴ ЦГИА Латвии. Ф. 11. Оп. 1. Д. 150. Л. 32.

числе), тогда как немецкие – по несколько экземпляров. Петербургская цензура представляла французские книги, как правило, в нескольких экземплярах, однако их число все же невелико – 2, 3, 5, 6 экземпляров³⁵. (Может быть, их специально отправляли небольшими группами?) Как исключение отметим: из Риги в 1798 г. журнал *Paris pendant l'année* (1797, № 106–108) послан в 13 экземплярах (см. № 107); в 1799 г. книга Ксавье де Местра *Nouveau voyage autour de ma chambre* – в 10 экземплярах (см. № 87), сочинение Л.С. Мерсье *L'an 2440* – в 12 экземплярах (см. № 91).

Нужно признать, что характеристика – «книга, запрещенная в павловское царствование» – без уточнения, когда именно был наложен запрет, мало содержательна. Позиция властей быстро ужесточалась, а круг запретов постоянно расширялся, что влекло за собой возрастающую придирчивость цензоров и увеличение объема их работы. Если ранние запреты несут в себе какой-то смысл, последние, особенно по представлению рижской цензуры, вызваны лишь желанием наложить запрет на как можно большее число книг. Книги, разрешенные в 1797 г., запрещаются уже в 1798 г.

25 июля 1797 г. на первом заседании, посвященном цензуре, Совет Е.И.В. рассмотрел три книги – одну французскую и две немецкие:

Mallet Du Pan, Jacques. Du Péril de la balance politique de l'Europe ou Exposé des causes qui l'ont altérée dans le Nord, depuis l'avènement de Catherine II au trône de Russie. Londres, 1789 [См.: № 88].

Frankreich im Jahr 1796 : Aus den Briefen Deutscher Männer in Paris, 10 – tes Stück. Album. 1796.

Merkwürdige Lebensgeschichte Peter des 3 – ten, Kaisers und Selbsthalters aller Reussen, nebst einer Erläuterung zweier bereits seltener Münzen, welche dieser Herr hat prägen lassen; dritte Auflage, Frankfurt und Leipzig. 1763³⁶.

Таким образом, с самого начала были четко обозначены основные направления цензурной политики: сообщения о событиях во Франции и «Россика».

Следующий запрет 2 июля 1797 г. (16 июля подтвержденный Павлом I) относился также к «Россике» – *Œuvres posthumes* (Paris: Lavillette, 1792) К.К. Рюльера (см. № 123), изданию, содержащему очерки, посвященные русской внешней политике, торговле, петербургскому двору. Рассмотренная в тот же день книга аббата Баррюэля (Barruel) *Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme* (Londres; Hambourg, 1797; см. № 9) была разрешена, поскольку направлена «против зловредных правил так называемого якобинства»³⁷. Однако позднее, в 1799 г., книга Баррюэля была задержана в Кронштадте как «сомнительная», среди

³⁵ РГИА. Ф. 1374. Оп. 7. Д. 6.

³⁶ Протоколы. Стб. 425.

³⁷ Там же. Стб. 426.

вещей капитан-лейтенанта И.Ф. Крузенштерна, будущего знаменитого мореплавателя³⁸.

Примеров разрешений, данных Советом, очень мало – всего лишь единицы, они относятся, как правило, к книгам, поступившим из Риги.

10 сентября 1797 г. была «дозволена» книга *Histoire et anecdotes de la Révolution française* (Amsterdam, 1796. Т. 5; см. № 68), хотя рижская цензура указывала веские основания для запрета: «Описывая революцию французскую, сообщает слово от слова все акты национального собра-

³⁸ 29 октября 1799 г. кронштадтский цензор Григорий Андреевич Глинка представляет книгу Баррюэля генерал-прокурору Сената Александру Андреевичу Беклешову (РГИА. Ф. 1374. Оп. 7. Д. 29. Л. 46–48):

29 октября 1799 № 33

Его высокопревосходительству господину генералу от инфантерии, генерал-прокурору Алексею Андреевичу Беклешеву

От кронштадского цензора

Рапорт

Каковое сомнение примечено Кронштадским цензором в книге состоящей в трех томах, под заглавием *Mémoires pour servir à l'histoire du Jacobinisme, par Mr l'abbé Barruel*, принадлежащей к числу 149 книг г. капитан-лейтенанта Крузенштерна; то как оно сомнение, так и те книги на разрешение Вашему высокопревосходительству почтеннейше честь имеет при сем представить

Кронштадский цензор Григорий Глинка

(Л. 47) *Mémoires pour servir à l'histoire du Jacobinisme, par Barruel.*

Автор издавая в публику записки, касательныя истории якобинства, где он со тщанием изследовае главнейшие их системы, виды и намерения, их всякого рода злоухищрения и все употребленные средства и пособия, чтоб постановить всеобщую свободу в равенство, по своим правилам образованныя. Автор с жарким негодованием порицая развратности, соблазны и окаянства сего распутного братства, старается всеми силами предохранить и избавить будущия племена от помешательства на вольности по новому вкусу.

Цель и мысли Г. Аббата Баррюэля заслуживают всякую похвалу, и в своем роде прекрасное сочинение его с пользою может служить для такой публики, какова французская; но не только что сомневаюсь, чтоб можно было тоже самое сказать о российской публике; но еще и думаю, что метода многих в древности народов, чтоб величайших преступников злодеяния таить и укрывать от общества, а письменные о них дела предавать огню и забвению, что такая метода совершенно может взята быть за образец в подобном сем случае.

Автор записок, сообразуясь с планом сочинения, разбирает те секты, по порядку времен (Л. 47 об.) и первых выводит на сцену софистов религии, которые так сказать бунтовали против Бога, Евангелия и церкви Христовой; а за ними поступают авторы, которые поручаясь святостию вечанных голов, стояли всеми силами за так называемое республиканское правление по последнему вкусу. И для сего приводит места их писаний, правда для того чтобы их обругать: но они могут бывает иногда помешать в разуме легкого молодого человека, не имеющаго, так сказать, никаких положительных начал о Религии, Правительстве и проч. – молодого человека, для котораго самыя основательныя истины кажутся быть сухи и не довольно противоположны софизмам, когда сии выражены со всевозможною ловкостию и с острою, такой бойкой головы, какую имели Волтер, Дидерот, Даламбер, Гельвеций, Реналь, Ламетри, Лагарп, Бриссо, Кондорсе и столько еще других известных в просвещенном мире по своему необычайному уму. – Для подтвержденья сказанного примером ссылаюсь [далее указывается ряд страниц, в основном из второго тома книги].

ния и прочие дипломатические известия ⟨...⟩ и поступки двора Российского»³⁹. Но Павел I разделил мнение Ф.О. Туманского и, несмотря на решение Совета, запретил книгу⁴⁰.

22 октября 1797 г. «дозволены» журнал *Le Spectateur du Nord* (janvier 1797; см. № 131) и *Histoire de Charles XII* (Dresde: Walther, 1797) Вольтера (см. № 137).

В январе 1799 г. – историческая сказка мадам де Жанлис *Les Chevaliers du Cygne, ou La cour de Charlemagne* (Hambourg: P.F. Fauche, 1795; см. № 58).

Одной из причин подобных уступок была известность разрешенных книг в России: их хорошо знали члены Совета и сам император.

19 октября 1797 г. Совет рассмотрел *Du Contrat social ou principes du droit politique* (Leipsick: Fleischer, 1796) Ж.-Ж. Руссо (см. № 119). Рижские цензоры указывали, что «мнимое равенство во французской революции большею частию из сей книги заимствовано»⁴¹. Но книга была разрешена, «яко принадлежащая к сочинениям Руссовым, которых привоз и продажа были равномерно свободны, а потому, конечно, и есть уже они здесь во многих собраниях книжных»⁴².

18 марта 1798 г. обсуждалась другая, еще более известная в России книга – *Histoire de Russie* П.Ш. Левека (Paris: Debure, 1782; см. № 84). Петербургская цензура в своем рапорте генерал-прокурору князю А.Б. Куракину писала по поводу 5-го тома книги:

Сочинение сие давно здесь известно, в рассуждение ныне вступаемых оной экземпляров представляется на разрешение по сумнительству повествований и рассуждений, помещенных в сем томе от страницы 99 до 105⁴³.

На этих страницах содержится описание переворота 1762 г. – темы запретной в России на протяжении почти полутора столетий, вплоть до революций начала XX в. Совет все же позволил выпуск, обосновав свое решение пространном рассуждением о недостатках писаний историков:

⟨...⟩ книга под названием: *Histoire de Russie par Levesque*, как давно всем известная, может быть выпущена, тем паче, что нет почти ни одного исторического сочинения, в котором не нашлось бы места сомнению подверженные, поелику известно, что историки не о всех описываемых ими происшествиях могут иметь верное сведение, и что они, заменяя сей недостаток часто основывают свои повествования на собственных своих

³⁹ Там же. Ф. 1146. Оп. 1. Д. 163. Л. 16 об.

⁴⁰ Протоколы. Стб. 434.

⁴¹ *Репинский Г.К.* Цензура в России при императоре Павле: 1797–1799 // *Русская старина*. 1875. Т. 14. Ноябрь. С. 458. (Далее: *Репинский*).

⁴² Протоколы. Стб. 443.

⁴³ РГИА. Ф. 1146. Оп. 1. Д. 163. Л. 123–124; Протоколы. Стб. 462.

догадках, или на посторонних слухах, по времени и обстоятельствам, рассеивающихся к чему причесть можно и замеченные цензурой места в сей истории⁴⁴.

Заметим, что все члены Совета наверняка читали книгу Левека, а некоторые способствовали ее изданию. Генерал-прокурор А.Б. Куракин, подписавший протокол, даже поставил свое имя в списке подписчиков, помещенном в первом томе «Российской истории». Возглавляли же список сам император, в ту пору – великий князь Павел Петрович, и его супруга Мария Федоровна, заказавшие по 25 экземпляров книги⁴⁵.

Исключения были возможны даже после полного запрета на ввоз иностранных изданий в апреле 1800 г. Все зависело от того, кто заказывал книги и каковы они были. Так, в мае 1800 г. барон Генрих-Людвиг (Андрей Львович) Николаи, президент Петербургской Академии наук, безуспешно просил генерал-прокурора Петра Хрисанфовича Оболянина выпустить иностранные книги, привезенные для Академии наук, «подвергая их цензуре правительственных учреждений, когда сюда будут доставлены»⁴⁶. Напротив, в ноябре 1800 г. иезуиту патеру Груберу, имевшему большое влияние на Павла I, было разрешено получить книги, необходимые для богослужения, поскольку в дело вмешался сам император⁴⁷.

Это были:

«Missale Romanum cum festis recentioribus in folio» – 20 экземпляров.

«Breviarium Romanum Quadripartitum kampidanense cum festis polonicis et suecicis in octavo» – 20 экземпляров.

Catéchisme, ou Abrégé de la foi, dressé par l'ordre de Mgr François de Harlay, archevêque de Paris, adopté par Mgr Louis Charrier de La Roche, évêque de Versailles, pour être enseigné dans son diocèse, ... Versailles: Vitry, (s. d.) – 5 экземпляров.

«Heures nouvelles dediée à la Reine contenant des prières et instruction sur toutes les actions de la journée et sur les sacremens les Messei: etc: à Paris par les associés 1778» – 10 экземпляров.

«L'Office de l'Eglise en françois et en latin contenant l'office de la vierge pour toute l'année» – 10 экземпляров.

«L'imitation de Jesus Christ du Vénéralé Thomas à Kempis, par le R: P: de Gonnelieu de la Compagnie de Jesus Ausburg et Insprug: 1765» – 10 экземпляров.

⁴⁴ РГИА. Ф. 1146. Оп. 1. Д. 20. Л. 16,16 об.; Протоколы. Стб. 462.

⁴⁵ Сомов В.А. Книга П.Ш. Левека «Российская история» (1782 г.) и ее русский читатель // Книга и библиотеки в России в XIV – первой половине XIX века: Сб. научных трудов. Л., 1982. С. 90–92.

⁴⁶ РГИА. Ф. 1374. Оп. 7. Д. 220. Л. 1–2.

⁴⁷ ОР РНБ. Ф. 859. Н.К. Шильдер К. 33. № 17 – «№ 6025^и О пропуске в Россию книг на латинском и французском языке потребных для католического богослужения. 1800 года 26 ноября». В публикации книги перечислены в том порядке, в каком они записаны в архивном деле. В случае, когда не удалось определить точно, о каком издании идет речь, описание приводится согласно документу.

«Epitres et Evangiles de dimanches et fêtes de toute l'année de l'avent et du carême, à Paris chez Humblot» – 10 экземпляров.

Giraudeau, Bonaventure (S.J., pseud. Issimedrasc de Serdnol, Le P.). L'Évangile médité et distribué pour tous les jours de l'année... Par le P.B. Giraudeau, revu par le P. [Arnaud-Bernard d'Icard] Duquesne. Paris: C.-P. Berton, 1773. 12 vol. – 3 экземпляра.

La Hogne, Louis Gilles de. «La journée du Chretien 1 vol : par Mr l'abbé de la Hogne 2de l'édition à Londres» – 3 экземпляра.

«Le Paraphrase des Pseaumes du P. Berthier Jésuite et tous ses ouvrages» – 1 экземпляр.

П.Х. Обольянинов сообщал волю императора Президенту Коммерц-коллегии князю Гавриилу Петровичу Гагарину:

Его императорское величество выписываемая для католического богослужения на латинском и французском языках книги, которых названия в прилагаемом при сем каталоге означены, и, которые будут адресованы на имя патера Грубера, высочайше указать изволил, при привозе в Россию, при таможенных осмотрах, пропустить; с тем однакож, чтобы оных не впускать, хотя бы были таково же самого содержания, если бы будут адресованы на других чьи имена. Каковую высочайшую волю сообщая Вашему сиятельству к точному ее исполнению; честь имею быть с совершенным почтением.

Ноября 26^{го} дня
1800 года⁴⁸

Г.П. Гагарин отвечал ему:

Милостивый государь мой Петр Хрисанфович!

Во исполнение сообщенного мне вашим Высокопревосходительством высочайшего государя императора повеления в почтеннейшем письме от 26^{го} истекающего месяца касательно выписываемых для католического богослужения латинских и французских книг, сносился предварительно с патером Грубером, дабы узнать, чрез которую таможенную оную провезены будут, для сделания ей о том моего предписания; и получил от него в отзыве, что книги сии будут отправлены из Любека на первом корабле. Вследствие чего и дал я надлежащее предписание дешевой таможене о точном и непременно высоко-монаршей Его императорского величества воли исполнении. О чем за долг себе вменяю уведомить Ваше высокопревосходительство, имея честь впрочем пребыть навсегда с отличным почитанием и совершенною преданностию.

Милостивый государь мой!
Вашего высокопревосходительства
Покорнейшим слугою
Князь Гавриил Гагарин.

[н]оября 29^{го} дня
1800 года

[Е]го высокопреву П.Х. Обольянинову⁴⁹.

⁴⁸ Там же. Л. 4.

⁴⁹ Там же. Л. 5.

25 декабря 1800 г. генерал-адъютант, граф Федор Васильевич Ростопчин направил Обольянинову «во исполнение высочайшей воли» для передачи в петербургскую цензуру книгу Ж. Неккера (Necker) *Cours de morale religieuse* (1800). 7 февраля 1801 г. цензоры докладывали: поскольку книга «содержит в себе единственно нравственные наставления до христианских и общественных должностей касающиеся, основанные на текстах священного писания, и не заключающая в себе ничего противного данным о рассмотрении книг предписаниям, то сия цензура и одобряет оную»⁵⁰. Вместе с этим отзывом книга была возвращена Ростопчину.

Хронологически запреты французской книги в России в конце XVIII в. распределяются следующим образом: в 1797 г. – ок. 30 названий; 1798 г. – ок. 60; 1799 г. – ок. 20; 1800 (до указа о полном запрете на ввоз) – ок. 30. Очевидно, что большинство запретов относится к 1798 г., затем их число уменьшается. Но это не означает, что цензура стала мягче. В 1798 г. цензура прочно установлена и набирает силу, но книги продолжают поступать обычным путем, поскольку торговцы еще не приспособились к новым жестким условиям; таким образом, книги попадают в руки цензоров. Позднее торговцы заказывают их уже меньше и выбирают осторожнее.

Усиливаются и наказания. Так по поводу пяти книг, представленных петербургской цензурой и рассмотренных Советом 24 мая 1798 г., император повелевает: «Книги, содержащая выражения для веры или для властей оскорбительныя, сжечь; а с теми, кто их выписывал, поступить по законам»⁵¹.

Среди них были три французские:

1. Gorani, Giuseppe. *Mémoires secrets et critiques des cours, des gouvernements, et des moeurs des principaux états de l'Italie*. Paris: Buisson, 1793. 3 t. (см. № 60).

2. *Le vieux cordelier, journal rédigé par Camille Desmoulins, député à la convention, et doyen des jacobins*. Paris: Desenne, (5 frimaire-pluviôse an II) (см. № 33).

3. Dupuis, Charles François. *Origines de tous les cultes, ou Religion universelle*. Paris: H. Agasse, an III. 3 t. avec 1 atlas de pl. (см. № 44).

Большинство задержанных изданий новейшие, либо совсем недавние – 1790-х годов, они пользуются спросом, их заказывают книгопродавцы, к ним проявляют пристальное внимание цензоры. Крайние даты книг в реестрах – 1760-е годы – 1800 г., но издания вышедшие до 1789 г. составляют меньшую часть – их всего три десятка (названий).

Судя по датам запретов, мы можем сказать, что некоторые книги поступают очень быстро.

⁵⁰ РГИА. Ф. 1374. Оп. 7. Д. 363.

⁵¹ Протоколы. Стб. 465–466.

19 ноября 1797 г. запрещена по представлению петербургской цензуры книга К.К. Рюльера *Histoire ou anecdotes sur la révolution de Russie en l'année 1762* (Paris: Desenne, an V. 1797; см. № 123).

В марте 1799 г. запрещен присланный из Радзивилова эротический роман Ж.А. Реверони *Paulisca, ou la perversité moderne, mémoires recents d'une polonoise* (Paris, Lemierre, Pigoreau, an VII [1799]; см. № 116).

Из новейших изданий нужно выделить периодику, содержащую известия о политических событиях, литературных новинках, слухи и т.п. В реестрах значится полтора десятка газет, журналов и альманахов, как парижских, так и выходящих за пределами Франции. Среди них политические издания: *Le vieux cordelier* (см. выше), *Almanach national de France* (см. № 3); *Journal d'économie publique, de morale et de politique* (rédigé par Pierre-Louis Roederer; см. № 73). А также известные эмигрантские журналы: *Paris, pendant l'année... 1795–1799*, издаваемый в Лондоне Жаном Габриелем Пельтье (Peltier) (см. № 107); *Le Spectateur du Nord, journal politique, littéraire et moral* (Hambourg; P.F. Fauche, 1797–1799; см. № 131) и сопутствующий ему *Journal littéraire et bibliographique* (Hambourg, P.F. Fauche, 1799–1800; см. № 75). В реестрах значатся литературные и художественные альманахи: *Cahiers de lecture* (см. № 20), *Nouveaux cahiers de lecture* (см. № 101), *Le Nord littéraire* (см. № 102), *Magasin encyclopédique, ou Journal des sciences, des lettres et des arts*. (см. № 86)⁵².

В декабре 1798 г. запрещен парижский литературный ежегодник *Almanach des Muses*, сразу восемь выпусков за 1791–1798 гг. (см. № 1). Представляя его, петербургские цензоры писали: «Во всех сих сочинениях помещены многие оды в похвалу революции и в честь многих лиц действовавших в оной; при чем монархическое правление и коронованные главы поносимы непристойными выражениями, что видно из следующих означенных мест»⁵³.

Среди публикаций отмеченных как особо вредоносные: *Hymne pour la fête de la Révolution, 14 juillet 1790*. A. Chénier (1791); *La mort de Mirabeau, poème*. Lu au Lycée du Palais Royal, le 11 avril 1791, et adressée aux Citoyens de mon Département. de Cubières (1792); *Hymne des Marseillais*, par M. Rougez, *La suppression des cloîtres ou la superstition abolie*. Poème de Saint-Ange (1793); *Dithyrambe pour la Fédération*. A. Chénier, *Vers pour le buste de*

⁵² Комплект этого парижского журнала запрещен в октябре 1797 г. Рижская цензура отметила многие опасные места: автор, «якобы с сожалением говоря о России, бредит: le despotisme ecrase cette nation». «Дерзкое сравнение человека с Богом: Tu m'as fait libre comme Toi». «Открытие потаенных и легких отрав вредно, ежели дойдет до сведения людей злобных». «Употребление казней в Англии, Германии и других государствах порочит». «Описание причин французской революции, с обвинением короля страдальца и многих его министров по нынешнему вкусу». «Говоря неправду о России, может возбудить любопытных к чтению». «Выражения только нынешним французам свойственные». «Чудное изображение о блаженстве Франции и о переселении душ умерших их владык» (РГИА. Ф. 1146. Д. 163. Л. 32; *Репинский*. С. 456).

⁵³ РГИА. Ф. 1146. Оп. 1. Д. 163. Л. 224.

Marat. Sade (1794); Ode revolutionnaire. Theveneau (1795); Chant de neuf Thermidor. Th. Désorgues. Musique de Lesueur. Le vaisseau le vengeur : Ode républicaine. Lebrun, Le chant républicaine du dix aout. Musique de Chérubini. (1796); Les amis de la Patrie : Hymne pour le 14 juillet (1797); Ode sur la paix. Desgranges fils; Epitre à Buonaparte. 5 ventose. J. Despaze (1798)⁵⁴.

Среди запрещенных книг мы видим политические трактаты, памфлеты, мемуары и переписку деятелей эпохи: Correspondance politique et anecdotique (см. № 29); Correspondance secrète de la cour pendant le règne de Louis XVI (см. № 95); Fastes de la République française (см. № 51); Le Despotisme dévoilé, ou Mémoires de Henri Masers de Latude, détenu pendant trente-cinq ans dans diverses prisons d'État (см. № 90); Mémoires du Général Dumouriez (см. № 40); Lettres originales de Mirabeau (см. № 96); Observations sur la contestation entre les États-Unis et la France (см. № 63).

По поводу книги *Les crimes des reines de France depuis le commencement de la monarchie jusqu'à Marie-Antoinette* (Лондres, 1792; см. № 118) рижские цензоры докладывали: «Титул книги, мотто⁵⁵ под заглавную карикатурою и приложенные изображения, доказывают дерзкую и злобную цель, так что ни единой страницы без содрогания читать нельзя, следственно выписывать дерзости – было бы переписывать книгу»⁵⁶.

В реестрах представлены исторические труды (Васон-Тасон, Bonneville, Fantin-Desodoards, Roustan; см. № 7, 14, 50, 121), описания путешествий (Forster, Salaberry; см. № 52, 125), мемуары, жизнеописания (Pithou de Loinville, Richer; см. № 110, 117). Из философских трактатов упомянем сочинения Гольбаха, Вольтера, Руссо, Томаса Пейна (Paine), П.С. Дюпона (Dupont de Nemours), Фрепе (Fréret), Лемерсье де Ларивьера (Le Mercier de La Rivière) и т.д. (см. № 43, 56, 79, 69, 106, 119, 120, 138). О книге Мабли *Des Droits et des devoirs du citoyen* (Paris: Louis, 1793; см. № 85), запрещенной в августе 1798 г., в отзыве рижской цензуры говорилось: «В предисловии (...) издатель уверяет, что сия книга есть un des ouvrages majeurs, qui a amené la révolution française»; автор «хулит королей», дает «советы о устройении правлений в подрыв существующим уже», «подает правила к революции»⁵⁷.

Однако большую часть списка занимают не политические трактаты и не революционные журналы, а беллетристика (Champfort, Nogaret, Retif de la Bretonne, Mercier de Compiègne, Sénac de Meilhan; см. № 22, 93, 94, 100, 114, 115, 128). Здесь цензоры особо выделяли эротику (Chorier, Du Laurens, Duvernet, Nerciati, Reveroni; см. № 24, 25, 39, 45, 98, 116). О французском переводе *Искусства любви* Овидия (см. № 105), запрещенном в сентябре 1799 г., рижские цензоры писали: «Хотя сочинение Ови-

⁵⁴ РГИА. Ф. 1146. Оп. 1. Д. 163. Л. 224–224 об.; Протоколы. Стб. 483.

⁵⁵ девиз (итал.)

⁵⁶ Репинский. С. 458.

⁵⁷ РГИА. Ф. 1146. Оп. 1. Д. 163. Л. 153 об. – 154; см. также: *Исколь С.Н.* Мабли в России // Книга в России в эпоху Просвещения: Сб. научных трудов. Л., 1988. С. 40–41.

диевы и считаются в числе классических, но его творение *Ars amandi* с великою осторожностью было тогда читаемо, и в руки юношества, поелику на латинском языке, редко или никогда попасться не могло, почему переводы сей книги на живых языках европейских пропускать сумнительно, дабы юношество не соблазнилось, ибо соблазнительных мест весьма много»⁵⁸.

В реестрах есть театральные пьесы (см. выше), музыкальные издания (см. № 5). В сборнике французских романсов, запрещенном в январе 1800 г. (см. № 113), рижская цензура выделяла № 2. *La marchande d'amour* (N.M. Audinot) и, конечно, № 3. *Chanson des Marseillais* (Cl.J. Rouget de Lisle):

В № 2 почти все соблазнительно:

куплет второй:

chacune sera satisfaite grands ou petits les voulez-vous?

Un petit amour à nourrir

Est un passe-temps, qui soulage.

То же пятый и шестой куплеты.

№ 3 есть известная бунтовщицкая песня к возбуждению французского народа противу государей⁵⁹.

Характерно, что и в эти годы объектом пристрастного внимания властей как всегда оставалась «Россика», несмотря на декларированную борьбу против «французской вольности». Не все подобные книги, преодолевшие границу империи, попадали в руки цензоров, но властям они были хорошо известны: русские дипломаты держали их в курсе всех новинок, а некоторые из книг преследовались даже за пределами России.

Именно в 1797 г., в первый год существования новых цензурных учреждений, появилась череда книг, посвященных недавно скончавшейся Екатерине II. Самая знаменитая из них – *Histoire ou anecdotes sur la révolution de Russie en l'année 1762* (Paris, 1797; см. № 122) К.К. Рюльера, изданию которой Петербург сумел воспрепятствовать при жизни императрицы. Сначала в поле зрения властей попал ее немецкий перевод, который значился как «Книга запечатанная и подписанная секретно», затем 31 октября 1797 г. петербургская цензура представила английский перевод⁶⁰, а 12 ноября 1797 г. была запрещена сама книга. Петербургские цензоры напоминали, что «сего самого автора сочинение под заглавием *Oeuvres posthumes de Rulhière* по рассмотрению Совета найдено уже к выпуску недозволенным. А сия, вновь вышедшая под его именем История, также наполнена повествований ложных и оскорбительных для императорских лиц»⁶¹. В тот же день запрещается несколько номе-

⁵⁸ Репинский. С. 468.

⁵⁹ РГИА. Ф. 1146. Оп. 1. Д. 163. Л. 312 об.

⁶⁰ Протоколы. Стб. 439, 450–451; РГИА. Ф. 1146. Оп. 1. Д. 163. Л. 37.

⁶¹ РГИА. Ф. 1146. Оп. 1. Д. 163. Л. 68 об.

ров журнала *Paris pendant l'année 1797* (см. № 107), в которых содержатся выписки из книги. Петербургские цензоры писали:

Издатель извещая публику о вышеобъявленной истории Рулиера, делает из оной выписку двух мест замеченных в помянутой истории ⟨...⟩, в коих автор сей говоря об императоре Петре III изъясняется не с должным к монарху уважением ⟨...⟩, делая рецензию вышеобъявленной Истории Рулиера, кроме того, что выписал из оной анекдот до короля польского касающийся, заключающий в себе непристойность порицание заслуживающую и оскорбление высокого лица, заключает, наконец, собственным рассуждением об государе императоре Петре III, но в выражениях местами язвительных и не почтительных⁶².

Другая знаменитая книга о русской императрице *Vie de Catherine II* (Paris: Vuisson, 1797. 2 t.) Ж.А. Кастера, видимо, не была задержана цензурой, хотя сведения о ней поступали, в том числе и со страниц периодики. Столичная цензура доносила 4 апреля 1798 г.:

Имею честь представить Вашему сиятельству два нумера 136 и 140 журнала в Лондоне издаваемого под заглавием *Paris pendant l'année 1797* с донесением, что Санкт-Петербургская цензура почитает оные на выпуск в публику сомнительными, по причине помещения в оных выписки из жизни покойной императрицы, изданной в Париже и приписываемой графу Сегюру, в которой автор, касаясь разных императрицы деяний не везде повествования свои основывает на точной истине и изъясняется не должным к знаменитости лишь уважением. В 136м номере помещено еще письмо, опровергающее известные уже анекдоты Рулиера, сочинение наполненное оскорбительнейших клевет при изобличении коих самая те нелепая лжи изображены тут точными словами автора⁶³.

Эти номера журнала *Paris pendant l'année 1797* были запрещены 12 апреля 1798 г. (см. № 107).

Гораздо менее опасная книга эмигранта Фортиа де Пиля (Fortia de Piles) *Voyage de deux Français en Allemagne, Danemarck, Suède, Russie et Pologne fait en 1790–1792* (Paris: Desenne, 1796. 5 t.; см. № 53), содержащая одно из лучших французских описаний России того времени, была запрещена в январе 1798 г. по представлению рижской цензуры:

В сем описании встречаются многие колкие выражения и дерзкая критика на разные в России заведения, учреждения и постановления, как то: воспитание, духовенство, императорский двор, сенат, воинство сухопутное и морское, науки, художества, рукоделие и проч. Сверх того помещены предосудительные, неизвестные и потому сомнительные анекдоты о разных особах⁶⁴.

⁶² Там же. Л. 68 об. – 69.

⁶³ Там же. Л. 128–128 об.

⁶⁴ РГИА. Ф. 1146. Оп. 1. Д. 163. Л. 91; Протоколы. Стб. 458.

Всякие упоминания о России отслеживались. Представляя книгу *Histoire de la révolution de Pologne en 1794, par un témoin oculaire* (Paris: Magimel, an V [1797]; см. № 140), петербургская цензура доносила 16 июля 1798 г.: «Наипаче же ненавистными красками описывает и самые благонамеренные российского двора предприятия, злословя министерство, генералов, войско и самую нацию»⁶⁵.

Один из томов *Histoire de France, depuis la mort de Louis XIV jusqu'à la paix de Versailles de 1783* А.Э.Н. Фантен-Дезодоара (Fantin-Desodoards) (Paris: Nicolas-Leger Moutard, 1789. Т. 6; см. № 50) был запрещен в марте 1800 г. по представлению петербургской цензуры, которая отмечала рассказ о царствовании Петра III и высказывания, «не основательные к предосуждению сего государя личности, по чему одному и почитается книга сия сумнительной к выпуску»⁶⁶.

Среди запретных имен, которые повторяются в рапортах цензоров, есть личности самого разного масштаба – от Вольтера, Руссо, Дидро, Фридриха Великого до авторов «вольнодумных» эротических сочинений Нерсиа (Nerciat), Дюлорана (Du Laurens), Мерсье де Компьеня (Mercier de Compiègne).

Вольтер, столь популярный тогда в России⁶⁷, опережает всех других авторов по числу запрещенных книг: их насчитывается два десятка. Отношение к этому властителю умов быстро менялось, как и вся цензурная политика. Вначале его сочинения еще дозволялись, несмотря на представления цензоров. Так, 22 октября 1797 г. Совет счел возможным разрешить *Histoire de Charles XII* (Dresden: Walther, 1791; см. № 137), хотя рижские цензоры сожалели, что «книга сия по училищам употребляется для образования учеников в переводах». Ими были отмечены суждения автора о том, что без помощи Лефорта Россия, возможно, осталась бы варварской страной, о пьянстве Петра I и его жестокости, о его супруге Екатерине I⁶⁸. Позднее, в 1800 г. тот же Ф.О. Туманский, разбирая недостатки одной из немецких книг (*Hullmann K.D. Geschichte von Dänemarck*. Warschau: Wilke, 1796), ставил в вину автору то, что он рекомендует чтить Вольтера в истории, хотя известно, что Вольтер «историю перепортил»⁶⁹. В октябре 1797 г. был разрешен немецкий перевод Кандида, по той причине, что сочинений Вольтера было «много здесь в государстве», кроме того, роман «давно издан и в переводе на российском языке»⁷⁰.

Но вскоре, уже в декабре 1797 г., одних доводов здравого смысла было не достаточно. Петербургская цензура обратилась с вопросом:

⁶⁵ РГИА. Ф. 1146. Оп. 1. Д. 146. Л. 174 об.

⁶⁶ РГИА. Ф. 1146. Оп. 1. Д. 163. Л. 372 об.; Протоколы. Стб. 509.

⁶⁷ Заборов П.Р. Русская литература и Вольтер. XVIII – первая треть XIX века. Л., 1978.

⁶⁸ РГИА. Ф. 1146. Д. 163 Л. 52 об.; Протоколы. Стб. 445.

⁶⁹ РГИА. Ф. 1146. Оп. 1. Д. 163. Л. 373; книга была представлена на рассмотрение Совета Е.И.В. 19 апреля 1800 г., т.е. после полного запрета ввоза иностранных изданий. См.: Протоколы. Стб. 511–512, 514.

⁷⁰ Протоколы. Стб. 443.

«выпуск полных эдичий Волтера безудержно дозволить или же поступать в разсуждении сего автора по предписанным цензорам правилам»? Совет согласился на «безудержный выпуск», «ибо действительно творения Волтеровы до сего в великом множестве экземпляров привозимы были и находятся во всех почти книжных лавках и частных библиотеках, и, что потому не полным их выпуском распространение их в публике весьма мало преграждено будет, а для книгопродавцев и других особ последует ненаградимый убыток»⁷¹. Но Павел I рассудил иначе: «не пускать более и поступать как с прочими запрещенными»⁷².

В соответствии с волей императора по цензурам были разосланы отношения генерал-прокурора от 31 декабря 1797 г. «о запрещении провоза Вольтеровых сочинений»⁷³. Уже 21 января 1798 г. по представлению рижской цензуры были запрещены два тома из Полного собрания сочинений, так называемого «Кельского» издания (Т. 34 и 35; см. № 138). Они содержали:

Т. 34. *La Bible enfin expliquée par plusieurs aumôniers de S. M. L. R. D. P.*

Т. 35. *Nouveau testament*, в том числе *Histoire de l'établissement du christianisme*⁷⁴.

В октябре 1798 г. по представлению петербургской цензуры были запрещены еще несколько томов из Кельского собрания⁷⁵, а именно:

Т. 11. *Poésies épiques, héroïques et lyriques etc. La Pucelle.*

Т. 12. *Poèmes et discours en vers*. Особо отмечено: *Le pour et le contre.*

Т. 27. *Mélanges historiques*. Особо отмечено: *Le Pyrrhonisme de l'histoire. L'histoire Juive.*

Т. 28. *Mélanges historiques*. Особо отмечено: *Sur les dissensions des églises de Pologne.*

Т. 29. *Politique et législation*. Особо отмечено: *De la paix perpétuelle. Par le docteur Goodheart. Traduction de M. Chambon.*

Т. 30. *Politique et législation*. Особо отмечено: *Des suites de l'esprit de parti et du fatalisme.*

Т. 33. *Philosophie générale, Métaphysique, Morale et Théologie*. Особо отмечено: *Examen important de milord Bolingbroke.*

Т. 35. *Philosophie générale, Métaphysique, Morale et Théologie*. Особо отмечено: *Sommaires historiques des quatre Évangiles.*

⁷¹ Там же. 453.

⁷² Протоколы. С. 455; Репинский. С. 457.

⁷³ ЦГИА Латвии. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1839. Л. 400; даже письма Вольтера к Екатерине II были сочтены «сомнительными» (Протоколы. Стб. 481). В 1798 г. по представлению петербургского духовного цензора была запрещена публикация рукописи «в двух частях под названием письма Российской императрицы Екатерины Второй»; причина запрета – содержащиеся в ней письма философа.

⁷⁴ Протоколы. Стб. 457–459. Названия произведений Вольтера приводятся по Кельскому изданию.

⁷⁵ Там же. Стб. 478–479.

Т. 36. *Dialogues et entretiens philosophiques*. Особо отмечено: *Entre un prêtre et un ministre protestant*.

Т. 38. *Dictionnaire philosophique*. Особо отмечено: *Athée. Athéisme*.

Т. 40. *Dictionnaire philosophique*. Особо отмечено: *Foi*.

Т. 41. *Dictionnaire philosophique*. Особо отмечено: *Inondation* [рассказ о Великом потопе].

Т. 42. *Dictionnaire philosophique*. Особо отмечено: *Moïse. Miracles* «и далее».

Т. 43. *Dictionnaire philosophique*. Особо отмечено: *Tolérance*.

Т. 46. *Facéties*. Особо отмечено: *Questions sur les miracles. Des miracles du nouveau Testament*.

Т. 48. *Mélanges littéraires*. Особо отмечено: *Commentaire historique sur les œuvres de l'auteur de la Henriade, «fragment épistolaire de Boneval, devenant Pacha turc»*⁷⁶.

Из этого перечня вольтеровских сочинений можно заключить, что петербургские цензоры осудили, прежде всего, критику христианства и церкви. Спустя несколько месяцев те же цензоры задержали жизнеописание Вольтера, составленное Дюверне (Duvernet) (запр. 14 февраля 1799 г.; см. № 138).

Таков по содержанию репертуар «опасных» книг.

Документы цензуры позволяют судить и о широких связях, сложившихся к концу XVIII столетия между русскими и европейскими книжниками.

Большинство книг (примерно половина) составляет продукция парижских издателей, таких, как Jean-Nicolas Barba (см. 11, 17, 37, 61, 135), Mayeur et Barba (см. № 109), Briand (см. № 27), Garnery (см. № 96, 115), Didot (см. № 7, 78), Pierre Sébastien Leprieur (см. № 12), Desenne (см. № 33, 53, 57, 110, 122), Buisson (см. № 36, 46, 52, 60, 77, 92, 127), Louis (см. № 28, 51, 82, 85), Maradan (см. № 81, 125), Debure (см. № 84), Froullé (см. № 19, 111), Belin (см. № 57, 117), Desray (см. № 121), Lavillette (см. № 123). Отметим, что других французских городов в списке практически нет, зато хорошо представлены европейские центры французского книгопечатания. В первую очередь это немецкие города: Hambourg (Fauche; см. № 9, 32, 58, 87, 128, 131; Chateauneuf; см. № 41), Kiel (см. № 102), Leipzig (Fleischer; см. № 119), Berlin (Unger; см. № 2), Dresde (Walther; см. № 137), Göttingen, (Dieterich; см. № 49, 130), Weimar (см. № 101), Francfort (см. № 8, 30, 132), а также нидерландские: La Haye (см. № 10, 15), Amsterdam (см. № 68, 69, 139), швейцарские: Genève (см. № 14, 30, 115), Neuchatel (см. № 114), Lausanne (Jean-Pierre Heubach; см. № 62 и F. Grasset; см. № 133), есть, разумеется, и лондонские издания (см. № 9, 13, 27, 62, 63, 69, 80, 83, 88, 89, 91, 98, 107, 118, 126, 127, 133). Однако в этом последнем (как и в других) случае указанию титульного листа не всегда можно доверять, в

⁷⁶ Claude Alexandre, comte de Bonneval (1675–1747), французский генерал, перешедший на австрийскую службу, затем бежавший в Турцию, где принял мусульманство.

реестрах много книг с вымышленным типографским адресом: как традиционным – «Londres», так и более редкими и даже фантастическими: «Au Kamtchatca»; «Venise: Pierre Arretin»; «Cythère»; «A Salomonopolis, chez Androphile, à la colonne inébranlable. MMMMM.DCC.LXXXIV» (см. № 24, 25, 101, 103, 132).

Среди имен издателей, которые повторяются, парижане – Barba, Bélin, Buisson, Didot, Desenne, Froullé, Gaurnery, Louis, Maradan, а также Dieterich⁷⁷ из Геттингена и Fauche из Гамбурга.

В цензурных реестрах не меньше десятка книг, изданных домом «Пьер Франсуа Фош и К^о». П.Ф. Фош ((Fauche), родом из Невшателя, в 1780-е годы обосновался в Гамбурге, затем в Брауншвейге. Здесь он издавал и печатал французскую литературу; его торговая сеть охватывала не только немецкие земли, но и северную Европу, а в годы революции его дом в Гамбурге был весьма популярен у эмигрантов. Фош распространил свою книготорговлю и на Россию. Помимо старых связей с петербургскими и московскими книжниками, доставшихся ему по наследству от отца, Самюэля Фоша, члена Невшатальского типографического общества, он и сам имел контакты с русскими – писателями, дипломатами, аристократами⁷⁸. А его родной брат, невшательский книжник Абрахам Фош-Борель (Fauche-Borel), деятельный агент роялистов, бывал в России⁷⁹.

В начале 1798 г. П.Ф. Фош сам поехал в Петербург. Его журнал *Le Spectateur du Nord* в декабре 1797 г. извещал читателей, что Фош готовится совершить многомесячное путешествие на Север, связанное с его книжной торговлей, и ищет спутника для поездки в Россию через Берлин, Данциг, Кенигсберг, Мемель, Ригу и Петербург⁸⁰.

Представление о том, что именно Фош мог предложить своим российским партнерам, дает каталог его фондов, изданный в Гамбурге в

⁷⁷ Дитрих был поставщиком рижского издателя и книготорговца Гарткноха. Именно заказанный у Дитриха *Revolutions Almanach* был поводом к аресту Гарткноха в 1797 г.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. Д. 3067; РГИА. Ф. 1146. Оп. 1. Д. 163 Л. 21–24, 54, 172–173; *Суповский*. С. 445.

⁷⁸ По поручению П.П. Дубровского, тогда сотрудника русской миссии в Гамбурге, он напечатал в 1797 г. поэтический сборник, посвященный памяти Екатерины II.

⁷⁹ Книготорговцы, имевшие тесные связи между собой, сеть корреспондентов в различных странах и много путешествующие, нередко выполняли роль политических агентов. В 1799 г. русские власти объявили розыск лозаннского книжника Виктора Дюрана (Durand), известного «давно по мятежным его правилам», который по слухам должен был появиться в России с рекомендательными письмами Фр. С. Лагарпа (РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. Д. 3333).

⁸⁰ *Le Spectateur du Nord*. 1797. Т. 4. Р. [3–4]. То же объявление было помещено в газете *Stads- und Gelehrte Zeitung des hamburgischen unparteyischen Correspondenten* (1797. № 206; 1798. № 8).

1798 г. (возможно, перед самой поездкой)⁸¹. Он содержит около 8 тыс. книг по различным областям знания, и подавляющее большинство, более 7 тыс., – французские. В основном это книги второй половины XVIII в., прежде всего 1770–1790-х годов. В «Уведомлении» Фош предупреждает (во избежании неприятностей в чужих землях), что будет уважать «законы, правительства и власти различных стран, с которыми он находится в отношениях»:

La Maison de Pierre-François Fauche et Compagnie (Imprimeurs et Libraires à Hambourg) ayant fait faire le catalogue qu'elle met en ce moment sous les yeux du Public, tel qu'il lui est permis de l'imprimer dans la ville qui est le principal siège de son commerce, n'en déclare pas moins que, d'après son respect pour les loix, les gouvernemens et les autorités des différens pays avec lesqueles elle se trouve en relation, elle ne fournira, expédiera, vendra aux particuliers et libraires de ceux de ces pays dans lesquelles une censure est établie, que les ouvrages qui n'y seront pas déffendus; déclare en son particulier le sieur P.F. Fauche se conformer, pendant le voyage qu'il va faire dans le Nord, à toutes les ordonnances de ces pays qui concernent la librairie, et y regarder comme rayé de son catalogue tous les articles prohibés qui pourraient s'y trouver, et qui lui seraient désignés comme tels par la censure⁸².

Вряд ли стоит сомневаться, что, говоря о своем подчинении правилам цензуры, Фош имеет в виду прежде всего Россию.

О русских контактах Фоша свидетельствует список распространителей *Le Spectateur du Nord*. На журнал можно было подписаться в Петербурге у Г. Клостермана (Klostermann), у Ге младшего (Gay jeune) и у Ж. Роспини-племянника и К° (Rospini neveu & C°); в Москве – у Ф. Куртенера (Courtener), Рисса и Соце (Riss et Sausset), Энгельсбаха (Engelsbach), в Риге – у И.Ф. Гарткноха (Hartknoch)⁸³.

Le Spectateur du Nord действительно доходил до России, но отдельные его номера запрещались цензурой, прежде всего из-за материалов о русском дворе. В октябре 1797 г. Совет Е. И. В. рассмотрел январский номер *Le Spectateur du Nord*, представленный рижскими цензорами. Они писали:

Хотя и кажется, что [автор] хотел писать в охуление революции французской, однако же (...) подает мысли к обвинению и европейских держав воззывать к соединению политики с человечеством, начальствования с нравственностью, страстей с разумом, как будто бы противное тому существует. Описывая же военные и политические деяния, сам намерению своему часто противуречит, и слабыми доводами больше вредит.

⁸¹ Catalogue des livres français, anglais, italiens et latins, qui composent les divers dépôts de la librairie de Pierre-François Fauche et Comp. imprimeurs-libraires à Hambourg. Hambourg : chez Pierre-François Fauche et Comp. imprimeurs-libraires. 1798 (экз. РНБ – 16.33.9.55). Далее: Catalogue.

⁸² Ibid. P. [2].

⁸³ Stadts= und Gelehrte Zeitung des hamburgischen unparteyischen Correspondenten. См., например, 1797. № 37 (Beilage).

Рядом с отзывом стоит помета карандашом: «взято князем Александром Бор. Куракиным в Гатчину». Очевидно, что журнал читали и сам император и генерал-прокурор. Скорее всего, именно по высочайшему повелению *Le Spectateur du Nord* был разрешен⁸⁴.

Это разрешение вселило оптимизм в создателей журнала. В 1798 г. его редактор (Jean Louis Aimable de Baudus) опровергал сообщение профессора Оливариуса из Киля о том, что журнал запрещен и в Петербурге, и в Париже:

Mes correspondants avec la Russie me garantissent que le *Spectateur du Nord* y est admis, et les éditeurs (Фопш. – В.С.) de ce Journal m'assurent que depuis peu il leur en a été fait plusieurs demandes de Pétersbourg et de Moscou⁸⁵.

Статья в журнале Оливариуса *Nord littéraire*, о которой шла речь, была специально посвящена русской цензуре:

Censure d'ouvrages littéraires en Russie.

Si l'on est étonné de trouver dans notre journal peu d'articles sur la Russie, notre excuse sera dans l'article suivant extrait des *Nouvelles annonces de l'année courant* publié en Allemand. Un ukaze redoutable a supprimé toutes les imprimeries particulières. Dans cet immense empire il n'y aura d'imprimeries, que dans les plus grandes villes; dans cinq seulement se trouvent des tribunaux de censure, et l'on sera obligé d'y envoyer à l'examen les manuscrits que de deux à trois cents miles de distance [quand] on voudra faire imprimer. Tous écrits venant de l'étranger et paraissant dangereux aux censeurs seront brûlés sur le champ, et pour les livrer à la censure on les fera traduire auparavant en langue russe. (...) On ne s'arrêtera pas à remarquer qu'un des plus légers inconveniens, qui ait résulté de ces nouveaux arrangemens, a été de reduire à la misère des milliers de personnes, qui vivoient au travail de l'imprimerie, mais on ne peut s'empêcher de remarquer que par un contraste singulier tel ouvrage (le *Spectateur du Nord* par exemple) est proscrit à Petersbourg et à Paris, malgré la différence des principes; tant il est vrai que les extrêmes se touchent.

La pièce suivante tirée du *Mercur allemand* de Wieland⁸⁶ va jeter de nouvelles lumières sur cette prohibition; elle est datée de Königsberg du 18 août. «Il n'est point encore assez clair jusqu'à quel point la censure des livres à Riga étendra sa faculté de lier et délier; mais ce qui est bien certain, c'est que M. Hartknoch, premier libraire de cette ville, a encore sept ballots de l'envoi de la dernière foire de Leipzig en dépôt sur la frontière sans avoir reçu aucune réponse à sa requette relative, laquelle ayant été écrite en Allemand (langue du pays) lui a été renvoyée pour être traduite en langue russe»⁸⁷.

Эта статья была замечена не только в Гамбурге, но и в Петербурге, где 21 января 1799 г. запретили сразу несколько выпусков *Nord littéraire*.

⁸⁴ РГИА Ф. 1146. Оп. 1. Д. 163 л. 51 об.

⁸⁵ *Le Spectateur du Nord*. 1798. Т. 5. P. [165].

⁸⁶ *Der neue Deutsche Mercur* 9 stück. September 1797. S. 91.

⁸⁷ *Le Nord littéraire, physique, politique et moral ouvrage périodique par le Professeur Olivarius de l'Université de Kiel et Holstein*. 1798. № 3. P. 253–254.

Петербургские цензоры докладывали:

Журнал сей содержит описание различных новейших происшествий на Севере между прочим под № 1 на стр. 46 и далее помещена выписка из сочинения под заглавием: *Catherine seconde devant le tribunal de l'humanité*⁸⁸, где автор изливает дерзкую хулу на деяния покойной императрицы, почему ценсура и почитает номер сей к выпуску неудобным. Под № 111 на стр. 253 и далее находится критика на учреждение ценсур, причем наипаче рижская ценсура с насмешкою опорочивается почему и сей номер почитается к выпуску неудобным⁸⁹.

В январе 1799 г. был запрещен *Le Spectateur du Nord* за июнь 1797 г., представленный рижской цензурой, а 25 января 1800 г. запрещены полученные из той же Риги *Le Spectateur du Nord* за июнь 1799 г. и служивший приложением к нему *Journal littéraire et bibliographique* за май 1799 г.⁹⁰ Как видим, Фош явно поторопился опровергнуть сведения Оливареса и вообще выбрал крайне неудачный момент для развития своей торговли в России: книги, поставленные им в кредит петербургским и московским продавцам, не могли быть распроданы, и Фош понес значительные убытки⁹¹.

Нужно признать, что в первое время существования цензуры разорительными для книжников были не столько сами запреты, которых было еще не так много, сколько медлительность в рассмотрении книг. Цензоры не успевали обрабатывать поток изданий, по-прежнему идущий из-за границы, книги скапливались на таможах и в цензурах. Зная о возможных запретах, книгопродавцы и их комиссионеры за границей стали более осторожны в выборе книг, но не успевали уследить за быстрым расширением круга запретов. Ввоз книг сокращался, менялся и сужался репертуар. Опасные книги просто ввозились в обход цензуры, и тому существует немало свидетельств современников. Хотя общее число запретов, наложенных на французскую книгу (ок. 150 названий), кажется незначительным по сравнению с сотнями и тысячами изданий, зафиксированных в торговых каталогах, выпущенных до и после царствования Павла I⁹², книготорговля в культурных центрах Российской империи (Петербург, Москва, Рига) была после введения цензуры крайне нарушена, что вызывало резкое недовольство просвещенных слоев общества. Но иностранная, в том числе французская, книготорговля, про-

⁸⁸ Catharina II vor dem Richterstuhle der Menschheit. St. Petersburg, 1797.

⁸⁹ Ф. 1146. Оп. 1. Д. 163. Л. 147 об. 21 января 1799 г. к протоколу от 14 февраля 1799 г.

⁹⁰ Протоколы. Стб. 445, 484, 485, 498, 502, 503, 511, 512, 514.

⁹¹ Например, в 1798 г. московский торговец Франсуа Куртнер получил семь ящиков и тюков на сумму в 4400 гамбургских марок, петербургский купец Герман Клостерман – 4 тюка и ящика на сумму в 2871 марок (Niedersächsisches Staatsarchiv Wolfenbüttel. 2 Alt 14284. Fol. 61–62 v.).

⁹² Somov V. La librairie française en Russie au XVIII^e siècle // Est – Ouest: Transferts et réceptions dans le monde du livre en Europe (XVII^e–XX^e siècles) / Éd. par F. Barbier. Leipzig, 2005. P. 102.

тив которой прежде всего и были направлены преследования, продолжала существовать в 1797 – начале 1800 г. Материалов для ее изучения, например торговых каталогов, которых сохранилось немного от всего XVIII столетия, недостаточно, тем более что иностранные каталоги были запрещены к ввозу 2 ноября 1797 г., а те, что печатались в Петербурге и Москве, должны были проходить предварительную цензуру⁹³. В данной ситуации документы деятельности цензуры (протоколы Совета Е. И. В., переписка генерал-прокурора Сената, рапорты цензоров, жалобы книгопродавцев и владельцев книг) являются ценным источником для изучения присутствия французской и вообще западноевропейской книги в России. Они позволяют судить не только о политике властей, но и о состоянии книготорговли, положении книгопродавцев, их международных связях, а также об интересах русских читателей.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Здесь публикуется список книг на французском языке, рассмотренных Советом Е. И. В. в 1797–1800 гг. Список составлен на основе документов Совета Е. И. В., а именно протоколов его заседаний, реестров запрещенных книг⁹⁴, рапортов цензоров⁹⁵ и дополнен по документам Канцелярии генерал-прокурора Сената⁹⁶. Используются также отдельные документы из этих фондов, еще в XIX в. попавших в личный архив историка Н.К. Шильдера⁹⁷.

Хотя в документах цензуры приводится довольно полное описание книг, иногда все же отсутствует имя автора, не всегда сообщается полный типографский адрес. Все библиографические описания сверены нами по каталогам крупнейших библиотек, что дает возможность получить более полные сведения о запрещенных книгах. Тем не менее установить, о каком издании того или иного сочинения идет речь, не всегда возможно: для книжной культуры всего XVIII в. и, особенно, революционной эпохи характерно наличие множества анонимных сочинений, перепечаток, изданий без типографского адреса или с ложными сведениями на титульном листе. В некоторых случаях можно лишь предполагать, какое издание имеется в виду, например: трагедия *Virginie*, запрещенная петербургской цензурой, могла принадлежать различным авторам. В списке под литерными номерами приводятся допустимые варианты, которые соединены с основным описанием перекрестными отсылками.

⁹³ Протоколы. Стб. 448–449.

⁹⁴ РГИА. Ф. 1146. Оп. 1. Д. 20–21; опубл. в изд.: Архив Государственного Совета. СПб., 1888. Совет в царствование императора Павла I-го (1796–1801). Вып. 2. Стб. 425–514.

⁹⁵ РГИА. Ф. 1146. Оп. 1. Д. 163.

⁹⁶ Там же. Ф. 1374.

⁹⁷ ОР РНБ. Ф. 859.

Вслед за сокращенным библиографическим описанием в списке приводится (в скобках) дата рассмотрения в Совете. Лишь в отдельных случаях дается дата апробации императором Павлом I, что оговорено особо. Указание на Санкт-Петербург (СПб.), Ригу, Радзивилов говорит о том, какая цензура представила книгу в Совет Е. И. В. Если приведенные нами библиографические описания имеют значительные разночтения по сравнению с документами, сведения из цензурных материалов даются в конце записи в кавычках.

ФРАНЦУЗСКИЕ КНИГИ, РАССМОТРЕННЫЕ
И ЗАПРЕЩЕННЫЕ В 1797–1800 ГГ.
СОВЕТОМ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА

1а. Almanach de Goettingue: pour l'année ... См.: Etrennes pour l'utilité et l'agrément du lecteur (№ 49).

1. Almanach des muses: ou choix des poésies fugitives. Paris: Delalain 1791–1798 (СПб., запр. 2 декабря 1798).

2. Almanach historique et généalogique. Avec l'approbation de l'Académie Royale des Sciences et Belles Lettres. Berlin: Unger, [1799? 1800?] (Рига, запр. 6 февраля 1800. «Almanach historique et généalogique pour l'année commune 1800. Histoire du massacre de la St. Barthélemi. 2^{de} partie. Berlin, cher Unger»).

3. Almanach national de France, l'an cinquième de la République française une et indivisible. Paris, [1796/1797] (Рига, запр. 21 января 1798).

4. Anandria ou Confession de Mademoiselle Sapho, contenant les détails de sa réception dans la secte anandrine, sous la présidence de Mlle Raucourt, et ses diverses aventures. En Grèce, 1789 (СПб., запр. 19 ноября 1797).

5. Arnault, Antoine Vincent (paroles); Méhul, Étienne Nicolas (musique) Horatius Coclés acte lyrique. [S. l.], 1794 (СПб., запр. 2 декабря 1798).

6. Art (L') de bien baiser. (S. l.), 1781 (Рига, запр. 18 января 1798).

7. Bacon-Tacon, Pierre Jean Jacques. Recherches sur les origines celtiques, principalement sur celles du Bugey considéré comme berceau du delta celtique. Paris : Didot, VI [1797/1798]. 2 t. (СПб., запр. 25 января 1800).

8. Baraguey d'Hilliers, Louis. Mémoires posthumes du Général François Comte de Custine. 1^{ère} partie rédigés par un de ses aides de camp Louis Baraguey d'Hilliers. Hambourg; Francfort, 1794 (Рига, запр. 17 января 1799). См. также: № 30а.

9. Barruel, Augustin, abbé. Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. Londres: Le Boussonnier – Dulau- De Boffe; Hambourg: P.F. Fauche, 1797. 4 t. (СПб., разр. 2 июля 1797. «Première partie»).

10. Bergamasque (Le): ou l'homme bon, doutant sans le vouloir et ennemi malgré lui de la vie sociale. La Haye, 1791 (СПб., запр. 14 марта 1800).

11. *Bizet*. Les boîtes, ou La conspiration des mouchoirs, divertissement-vaudeville, en un acte. Paris: Jean-Nicolas Barba, 1796 (СПб., запр. 2 декабря 1798).

11a. *Blanc (dit Le Blanc de Guillet), Antoine*. Virginie, tragédie en cinq actes, etc. Paris: Veuve Duchesne, 1786. См.: Virginie; tragédie (№ 136).

12. *Blanchard, Pierre*. Le Réveur Sentimental par P. Blanchard, auteur du Catéchisme de la Nature, de Félix et Pauline, et de la petite Bibliothèque des enfans. Paris: Pierre Sébastien Leprieur, IV^e année républicaine [1795/1796] (СПб., запр. 24 сентября 1799).

13. *Vossace*. Contes... (trad. par Antoine Sabatier de Castres). Londres, 1779. 10 t. (Рига, запр. 4 октября 1798. «Contes de J. Vossace, traduction nouvelle. A Londres, 1791. T. 1-er jusqu'au 10-me inclusivement. A под другим титулом: Le décameron de Jean Vossace. Londres, 1777, также в 10 томах»).

14. *Bonneville, Nicolas de*. Histoire de l'Europe moderne, depuis l'irruption des peuples du Nord dans l'Empire romain jusqu'à la paix de 1783. Genève, 1789–1792. 3 t. (СПб., запр. 19 августа 1798).

15. *Borde, Charles*. La paresse Jeanne: poème en dix chants. La Haye, 1778 (СПб., запр. 14 марта 1800).

16. *Boufflers, Stanislas-Jean de*. Oeuvres. Nouvelle édition augmentée. Paris, 1797 (СПб., запр. 19 ноября 1797).

17. *Bourlin, Antoine Jean*. Isaure et Germance, ou les réfugiés religieux: comédie en trois actes, en prose. Paris: Barba, III année [1795] (СПб., запр. 2 декабря 1798).

18. *Brothers, Richard*. Prophéties de Jacques Brothers, ou la connoissance révélée des prophètes et des temps. Trad. de l'orig. angl. Paris: Marchands de nouveautes, [1795/1796] (СПб., запр. 14 января 1798).

19. *Beffroy de Reigny, Louis-Abel*. Le club des bonnes-gens, ou le curé français: folie en vers, mêlée de vaudevilles et d'airs nouveaux par le Cousin Jacques. Paris: Froullé, 1791 (Paris et se trouve à Bruxelles: Chez J.L. de Boubers, 1792) (СПб., запр. 2 декабря 1798).

20. Cahiers de lecture. [Reichard, Heinrich August Ottokar] Gotha, 1784–1794. (Рига, запр. 21 января 1798: 1791. № IX, 1792. № VII, VIII).

21. *Cammaille-Saint-Aubin M.C.* L'Ami du peuple, ou les Intrigans démasqués, comédie en trois actes, en vers, etc. Paris, 1793 (СПб., запр. 2 декабря 1798. «Les amis du peuple; comédie»).

22. *Champfort, Sébastien Roch Nicolas*. Œuvres de Chamfort recueillies et publiées par un de ses Amis [Pierre Louis Ginguené]. Paris: L'Imprimerie des Sciences et Arts, l'an 3 de la République. [1794/1795]. 4 t. (Рига, запр. 18 января 1798: 3 t).

23. Chef-d'oeuvres politiques et litteraires de la fin du dix-huitieme siecle, ou, choix des productions les plus piquantes que les lumieres & le ridicule, la philosophie & la gâité, la raison & la bisarrerie ont fait eclorre dans cette époque intéressante. [Paris], 1788. 3 t. (Рига, запр. 17 января 1799).

24. *Chorier, Nicolas*. L'Academie des dames. Venise: Pierre Arretin [après 1770]; Académie des dames, ou Mersius français. Cythère, 1793. 2 t.; Académie des dames, ou le Mersius français. Au Bazar, 1797. 3 t. (СПб., запр. 19 ноября 1797. «L'Académie des dames»).

25. *Chorier Nicolas*. Nouvelle académie des dames. [Nouvelle traduction de Meursius, connu sous le nom d'Aloisa, ou l'Académie des dames]; A Cythère, dans l'imprimerie de la volupté, [Paris], 1774. 2 t. (СПб., запр. 19 ноября 1797. «La nouvelle académie des dames»). См. также: № 101а.

26. *Choudard-Desforges, Pierre Jean Baptiste*. Les mille et un souvenirs, ou Les veillées conjugales, etc. Hambourg, 1799. 5 t. (СПб., запр. 14 марта 1800. «4 t.»).

27. *Clement, Jean Mari Bernard*. Petit dictionnaire de la cour et de la ville. Londres; Paris : Briand, 1788. 2 vol. (Радзивилов, запр. 25 января 1800).

28. Concerts (Les) de Romainville ou Choix de romances, chansons, ariettes, rondes, vaudevilles, etc. Paris: Louis, 1794 (Рига, запр. 5 августа 1798).

29. Correspondance politique et anecdotique sur les affaires de l'Europe, et particulièrement sur celles de l'Allemagne depuis l'année 1780 jusqu'à présent. [Neuwied], 1789–1790. 5 t. (Радзивилов, запр. 24 сентября 1799).

30. *Coxe, William*. Voyage en Pologne, Russie, Suède, Danemarck, etc. Genève, 1787. 4 t. (СПб., запр. 28 декабря 1797).

30а. *Custine, Adam Philippe de*. Mémoires posthumes du général français, comte de Custine. Rédigés par un de ses aides de camp. Hambourg; Francfort, 1794. 2 parties. См.: *Baraguey d'Hilliers, Louis* (№ 8).

31. *Dampmartin, Anne-Henri Cabet, vicomte de*. Un provincial à Paris, pendant une partie de l'année 1789. Strasbourg : impr. de la Société typographique; Paris: La Villette, (s. d.) (Рига, запр. 19 августа 1798).

32. *David, Pierre*. Histoire chronologique des opérations de l'armée du Nord et de celle de Sambre-et-Meuse. Hambourg: P.F. Fauche, 1796 (Рига, запр. 17 января 1799).

33. *Desmoulins, Camille*. Le vieux Cordelier, journal rédigé par Camille Desmoulins, député à la convention, et doyen des jacobins. [5 frimaire-pluviôse an II (1793/1794)] Paris: Desenne, (s. d.). 7 t. (СПб., запр. 24 мая 1798).

34. *Diderot, Denis*. Jacques le Fataliste et son maître. Précédé d'un hommage aux mânes de l'auteur, par M. [Jacques Henri] Meister. Paris: Pierre-Charles-Augustin Gueffier, André-François Knapen, an V [1796/1797]. 3 t. (Рига, запр. 1798).

35. *Diderot, Denis*. La Religieuse, ouvrage posthume. Paris, 1797 (Рига, запр. 1798–1799).

36. *Diderot, Denis*. Essais sur la peinture. Paris: Fr. Buisson, an IV [1795/1796] (Рига, запр. 1798).

37. *Dorvigny, Louis Archambault*. La parfaite égalité, ou les tu et toi, comédie en trois actes, en prose; par le citoyen Dorvigny. Représentée, pour la première fois, sur le Théâtre national, rue de la Loi, le 3 nivôse, l'an second de la République. Prix, 30 sols. Paris: Barba, 3^e année de la République [1794] (СПб., запр. 2 декабря 1798).

38. *Du Laurens, Henri Joseph*. Les abus dans les cérémonies et dans les moeurs développés par Mr. L.***, auteur du Compère Mathieu, trouvés en manuscrit dans son portefeuille après sa mort. Paris, 1788 (СПб., запр. 25 января 1800).

39. *Du Laurens, Henri-Joseph*. Le Compère Mathieu ou les bigarrures de l'esprit humain. Paris: Bouqueton, 1793. 4 t. (Рига, запр. 4 октября 1798 г.).

40. *Dumouriez, Charles François*. Mémoires du Général Dumouriez: Ecrits par lui-même. Hambourg; Leipzig, 1794. 2 parties (Рига, запр. 10 февраля 1799).

41. *Dumouriez, Charles-François*. Etat présent du royaume de Portugal, en l'année 1766. Hambourg: P. Chateaufort, 1797 (СПб., запр. 14 января 1798).

42. *Dumouriez, Charles-François*. Tableau spéculatif de l'Europe. (S. l.), février 1798 (СПб., запр. 29 ноября 1798).

43. *Dupont de Nemours, Pierre-Samuel*. Philosophie de l'univers. 2^e éd. Paris: Dupont, An IV [1795/1796] (СПб., запр. 19 августа 1798).

44. *Dupuis, Charles François*. Origines de tous les cultes, ou Religion universelle. Paris: H. Agasse, an III [1795]. 3 t. avec 1 atlas de pl. (СПб., запр. 24 мая 1798).

45. *Duvernoy, Théophile-Imarigeon*. Les Dévotions de Mme de Bethzamoith et les pieuses facéties de M. de Saint-Ognon. [Paris], 1789 (СПб., запр. 19 ноября 1797).

46. *Duvernoy, Théophile Imarigeon*. Vie de Voltaire, suivie d'anecdotes qui composent sa vie privée. Par T. I. D. V. Paris: Buisson, an V [1796/1797] (СПб., запр. 14 февраля 1799).

47. *Echard, Lawrence*. Dictionnaire géographique, portatif ou description des républiques, royaumes... traduit de l'anglais sur la 13^e éd... par le C. Vosgien. Lausanne: Giegler : Koenitzer et Hignon; Berne: Emman. Haller, 1795 (Рига, запр. 25 января 1800).

48. *Esprit (L') dupe du coeur, ou Histoire véritable du philosophe Touler*, écrite par lui-même, ouvrage édifiant et orthodoxe. [S. l.], 1790 (СПб., запр. 25 января 1800).

49. *Etrennes pour l'utilité et l'agrément du lecteur*. Goettingen: Dieterich, 1800; (Рига, запр. 6 февраля 1800). См. также: № 1а.

50. *Fantin-Desodoards, Antoine Etienne Nicolas*. Histoire de France, depuis la mort de Louis XIV jusqu'à la paix de Versailles de 1783. Paris: Nicolas-Leger Moutard, 1789. 8 t. (СПб., запр. 14 марта 1800: т. 6).

51. *Fastes de la République française*. Ouvrage ornée des gravures d'après les dessins de Monnet, etc. Paris: Louis; 1793. 2 t. (Рига, запр. 21 января 1798).

52. *Forster, Johann Georg Adam*. Voyage philosophique et pittoresque, sur les rives du Rhin, à Liège dans la Flandre, le Brabant, la Hollande, etc. Paris: F. Buisson, 1794. 2 t. Или: То же. Trad. de l'Allemand, avec des notes critiques ... par [Marie Charles Joseph de] Pougens. Paris, an 3 [1795]. 2 t. (СПб., запр. 25 января 1800).

53. *Fortia de Piles, Alphonse Touissant Joseph André Marie Marseille de*. Voyage de deux Français en Allemagne, Danemarck, Suède, Russie et Pologne: fait en 1790–1792. Paris: Desenne, 1796. 5 t. (Рига, запр. 18 января 1798).

54. *Frédéric II le Grand*. Considérations sur l'état de la Russie sous Pierre le Grand: envoyées en 1737, à Voltaire par le prince royal de Prusse, depuis le roi Frédéric II ... pour servir de supplément aux différentes éditions des Oeuvres posthumes. Berlin, 1791 (СПб., запр. 14 марта 1800).

55. *Frédéric II le Grand*. Matinées royales. [Berlin], 1767. Или: [Leipzig: Hartknoch], 1766 (приписывалось также: Voltaire, Benedetto baron de Patono, Wilhelm Friedrich Karl, Graf von Schwerin) (Радзивилов, запр. 24 сентября 1799).

56. *Fréret, Nicolas*. Oeuvres complètes. Paris: Dandré, an IV [1795/96]. Т. 19, 20 (Philosophie) (СПб., запр. 2 декабря 1798).

57. *Gautier-Lacépède, Madame*. Sophie; ou mémoires d'une jeune religieuse : écrits par elle-même; adressés à la Princesse de L*** & publ. par Madame G.... Paris : Belin, Desenne, 1790 (Рига, запр. 7 марта 1799).

58. *Genlis, Stéphanie-Félicité Du Crest de Saint-Aubin*, comtesse de. Les Chevaliers du Cygne, ou La cour de Charlemagne: Conte historique et moral pour servir de suite aux Veillées du château, et dont tous les traits qui peuvent faire allusion à la révolution françoise, sont tirés de l'histoire. Hambourg: P.F. Fauche, 1795. 3 t. (Рига, разр. 17 января 1799).

59. *Genlis, Stéphanie-Félicité Du Crest de Saint-Aubin*, comtesse de. Leçons d'une gouvernante à ses élèves, ou Fragmens d'un journal qui a été fait pour l'éducation des enfans de Monsieur d'Orléans par Mme de Sillery-Brulart. Paris: Onfroy, 1791. 2 t. (Рига, запр. 21 октября 1798).

60. *Gorani, Giuseppe*. Mémoires secrets et critiques des cours, des gouvernemens, et des moeurs des principaux états de l'Italie. Paris: Buisson, 1793. 3 t. (СПб., запр. 24 мая 1798).

61. *Gouffé, Armand*. La nouvelle cacophonie ou faites donc aussi la paix: impromptu pacifique en un acte, mêlé de vaudevilles: représenté sur le Théâtre de la Cité, le 15 floréal, an cinquième. Paris: Varba, an V [1797] (СПб., запр. 25 января 1800).

62. *Guibert, Jacques Antoine Hippolyte, comte de*. Eloge du Roi de Prusse par l'auteur de l'Essai général de tactique. Londres [Lausanne]: [Jean-Pierre Heubach], 1787 (СПб., запр. 25 января 1800).

63. *Harper, Robert Goodloe*. Observations sur la contestation entre les Etats-Unis et la France. Trad. de l'Anglais. Londres, 1798 (СПб., запр. 25 января 1800).

64. *Harvant N.J.* Le Petit neveu de Vadé. [Paris]: Aux Porcherons, 1791 (Радзивилов, запр. май-июнь 1800).

65. *Hertzberg, Ewald Friedrich von*. Nouveau dictionnaire politique à l'usage du Cabinet de Berlin: trouvé parmi les ouvrages manuscrits de feu Mr. le comte de Herzberg et adressé en forme d'instruction à l'un de ses élèves. [S. l.], 1796 (Рига, запр. 5 августа 1798).

66. Heures (Les) de Pahos. Contes moraux par un Sacrificateur de Venus. (S. l.), 1787 (СПб., запр. 19 ноября 1797).

67. Histoire de la secte anandryne. Paris, l'an 2^e de la République française [1793 ou 1794] (СПб., запр. 19 ноября 1797. «La Nouvelle Sapho, ou Histoire de la secte anandryne»).

68. Histoire et anecdotes de la révolution française depuis l'avènement de Louis XVI au trône jusqu'à l'époque de sa mort. Amsterdam, 1794 (Рига, разр. 10 сентября 1797 г. Советом Е. И. В., но запр. Павлом I 28 сентября 1797. «Tome cinquième»).

69. *Holbach Paul-Henri-Thiery (Dietrich), baron d' (?)*; *Mirabaud Jean-Baptiste de (?)*. Système de la nature, ou des Loix du monde physique et du monde moral, par M. Mirabaud. Nouvelle édition. Londres, (Amsterdam), 1793. 2 t. (СПб., запр. 25 января 1798).

70. *Hourcastremé, Pierre*. Les Aventures de messire Anselme, chevalier des loix. Seconde édition, enrichie de quinze gravures. Paris: Lemierre, 1796. 4 t. (Рига, запр. 19 августа 1798).

71. *Imbert, Guillaume*. La chronique scandaleuse ou Mémoires pour servir à l'histoire de la génération présente.... 3^e éd. Paris: dans un coin d'où l'on voit tout, 1788–1791. 5 t. (Рига, запр. 4 октября 1798).

72. Jean Clergeot: ou le danger de changer de nom. Paris: 1799 (СПб., 25 января 1800).

73. Journal d'économie publique, de morale et de politique, rédigé par [Pierre-Louis] Roederer. Paris: Imprimerie du Journal de Paris, an V [1796/1797]. 5 t. (СПб., запр. 8 октября 1797: № 1; 10 fructidor an 4, N 21; 30 ventôse an 5, N 24; 30 germinal an 5).

74. Journal des révolutions de l'Europe en 1786 & 1790. Neuwied sur le Rhin; Strasbourg: Treutel, 1789–1790. 14 t. (Радзивиллов, запр. 21 июля 1799).

75. Journal littéraire et bibliographique. Hambourg, P.F. Fauche, 1799–1800 (Рига, запр. 25 января 1800. «1799, mai»; Рига, запр. 19 апреля 1800. «1800, février»).

76. *Kerverseau, François Marie de; Clavelin G.* Histoire de la révolution de 1789, et de l'établissement d'une constitution en France: précédée de l'exposé rapide des administrations successives qui ont déterminé cette Révolution mémorable par deux amis de la liberté. Paris, Clavelin, 1790–1792. 7 vols. (Радзивиллов, запр. 21 июля 1799. «2 тт.»).

76а. *La Harpe, Jean François de*. Virginie, tragédie, en cinq actes et en vers, représentée pour la première fois au Théâtre français du faubourg Saint-Germain, le 11 juillet 1786, et reprise sur le Théâtre de la république le 9 mai 1792. Par le citoyen La Harpe. Paris: Girod et Tessier, 1793. Или: Paris : Duchesne, 1767. См.: Virginie; tragédie (N 136).

77. *La Rochefoucauld-Liancourt, François Alexandre Frédéric de*. Voyage dans les États-Unis d'Amérique, fait en 1795, 1796 et 1797. Paris: Du Pont, Buisson, Charles Pougens. L'an VII de la République, [1799]. 8 t. (СПб., запр. 25 января 1800).

78. *Labene, Jean-Gervais*. De l'éducation dans les grandes républiques. Paris: Didot jeune, an III [1794/1795] (СПб., запр. 19 августа 1798).

79. *Le Mercier de La Rivière, Pierre François Joachim Henri*. L'heureuse nation, ou, relations du gouvernement des féliciens; peuple souverainement libre sous l'empire absolu de ses loix. Paris, 1792. 2 t. (Рига, запр. 5 августа 1798).

80. *Le Roux, Pierre; La Fite de Pelleport, Anne Gédéon; Aubert, Jean-Louis*. Le Diable dans un bénitier et la métamorphose du gazetier cuirassé en mouche, ou tentative du sieur receveur, inspecteur de la police de Paris... pour établir à Londres une police à l'instar de celle de Paris... par Pierre Le Roux, ingénieur des grands chemins; rev., corr. et augm. par M. l'abbé Aubert, censeur royal. Londres : [ca 1791] (Рига, запр. 1 октября 1797).

81. *Legouvé, Gabriel Marie Jean Baptiste*. Epicharis et Néron, ou conspiration pour la liberté: tragédie en cinq actes et en vers. Paris: Maradan, Année 2 [1794] (СПб., запр. 2 декабря 1798).

82. *Lesuire, Robert Martin*. Les Quatre Aventures. Paris: Louis, VII [1797/1799] (СПб., запр. 14 марта 1800. «Les quatres aventures, recueillies par le professeur de legislation à l'école centrale de Moutin à Paris. 4 tomes»).

83. Lettre au Général Dumourier sur son Tableau spéculatif de l'Europe. Par L'Abbé J. P. T. L. S. Londres, 1798 (Радзивилов, запр. 28 марта 1799).

84. *Levesque, Pierre Charles*. Histoire de Russie. Paris: Debure, 1782. 5 t. (СПб., разр. 18 марта 1798).

85. *Mably, Gabriel de*. Des Droits et des devoirs du citoyen, par Mably, édition augmentée d'un Discours préliminaire par l'auteur de la Philosophie de la nature [J.-B.-C. Delisles de Sales]. Paris: Louis, 1793. 2 t. (Рига, запр. 5 августа 1798).

86. Magasin encyclopédique, ou Journal des sciences, des lettres et des arts rédigé par Millin, Noël et Warens (Millin, Aubin-Louis. Noël, François-Joseph-Michel. Warens, Israël). Paris, N 1 (1792) – N 53 ([1793]); Tome 1^{er} (an 3e [1795]) – tome 6^{me} (Рига, запр. 1 октября 1797: № 1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 19–21, 24; t. 1–6).

87. *Maistre, Xavier de*. Voyage autour de ma chambre. Hambourg: P.F. Fauche, 1796 (Рига, запр. 19 апреля 1800).

88. *Mallet Du Pan, Jacques*. Du Péril de la balance politique de l'Europe ou Exposé des causes qui l'ont altérée dans le Nord, depuis l'avènement de Catherine II au trône de Russie. Londres, 1789 (СПб., запр. 25 июня 1797).

89. *Marguerite d'Angoulême, reine de Navarre*. Contes et nouvelles de Marguerite de Valois, reine de Navarre, faisant suite aux Contes de J. Vocace... Londres, 1784. 8 t. (Рига, запр. 4 октября 1798. «Contes et nouvelles de Marguerite de Valois, Reine de Navarre, faisant suite aux contes de J. Vocace. A Londres, 1787. Tome 1^{er} jusqu'au 8^{me}. A под другим титулом: L'heptaméron ou contes de la Reine de Navarre, восемь томов»).

90. *Masers de Latude, Henri*. Le Despotisme dévoilé, ou Mémoires de Henri Masers de Latude, détenu pendant trente-cinq ans dans diverses prisons d'état; rédigés sur les pièces originales, par M. Thierry. Paris, 1792. 3 t. (Рига, запр. 19 августа 1798. «A Paris, Tome I. 1791. Tome II et III, 1792»).

91. *Mercier, Louis-Sébastien*. L'an deux mille quatre cent quarante. Rêve s'il en fut jamais. Nouvelle édition exactement corrigée et augmentée d'un volume. Londres, [Neuchâtel: S. Fauche?] 1785. 2 t. (Рига, запр. 19 августа 1798).

92. *Mercier, Louis-Sébastien*. Fragmens de politique et d'histoire. Paris : Buisson, 1792. 3 t. (СПб., запр. 19 августа 1798).

92а. *Mercier, Louis Sébastien*. Virginie: tragédie en 5 actes. Paris: Duchesne, 1767. См.: Virginie; tragédie (N 136).

93. *Mercier de Compiègne, Claude-François-Xavier*. Nouvelles galantes et tragiques.... Deuxième édition, revue, corrigée et augmentée. Paris, 1795 (Рига, запр. 5 августа 1798).

94. *Mercier de Compiègne, Claude-François-Xavier*. Les nuits de la Conciergerie: rêveries mélancoliques, et poésies d'un proscrit. Paris: Veuve Girouard [etc.], an III [1795] (СПб., запр. 14 марта 1800. «A Paris, 1797. 2 tomes»).

95. *Métra, François; Imbert de Boudeaux, Guillaume*. Correspondance secrète de la cour: pendant le regne de Louis XVI, ci-devant roi des François. Paris: Fr. Dufart, 1793 (СПб., запр. 2 декабря 1798).

96. *Mirabeau, Honoré-Gabriel Riqueti, comte de*. Lettres originales de Mirabeau, écrites du donjon de Vincennes, pendant les années 1777, 78, 79 et 80, contenant tous les détails sur sa vie privée, ses malheurs et ses amours avec Sophie Ruffei, marquise de Monnier, recueillies par [Louis] P.[ierre] Manuel. Paris: J.-B. Garnery, 1792. 4 t. (СПб., запр. 19 августа 1798).

97. *Mirabeau, Honoré-Gabriel Riqueti, comte de*. Vie privée, libertine et scandaleuse de feu Honoré-Gabriel Riquetti, ci-devant Cte de Mirabeau. Paris, 1791 (СПб., запр. 19 ноября 1797).

98. *Nerciat, André-Robert Andréa de*. Felicia ou mes fredaines. Londres: [Carin], 1776. 4 t. en 1 vol. (СПб., запр. 19 ноября 1797).

99. *Nerciat, André-Robert Andréa de*. Julie philosophe ou le bon patriote: Histoire à peu près véritable, d'une Citoyenne active qui a été tour-à-tour agent et victime dans les dernières révolutions de la Hollande, du Brabant et de la France. S. l., 1791 (Рига, запр. 17 января 1799).

100. *Nogaret, François Félix*. Contes en vers. Paris, An VI [1797/1798] (СПб., запр. 14 марта 1800. «Contes en vers de Felix Nogaret, auteur de l'Aristenette française. Paris, 1788»).

101. Nouveaux cahiers de lecture rédigés par l'auteur du Guide des voyageurs [Reichard, Heinrich August Ottokar]. Tome premier (-second). Weimar: bureau d'industrie, 1796. 2 t. (Рига, запр. 8 октября 1797).

101а. Nouvelle (la) académie des dames, ou Histoire de Mlle В*** D. C. D. L. [Brion, dite comtesse de Launay]. Cythère, 1774. См.: *Chorier, Nicolas* (N 25).

102. *Olivarius, Holger de Fine*. Le Nord littéraire, physique, politique & moral, ouvrage périodique par le Professeur Olivarius. Kiel, 1797–1799 (СПб., запр. 14 февраля 1799).

103. Ombre (L') de Catherine II. aux Champs Elysées. Au Kamschatca le 1. Janvier, 1797 (Рига, запр. 12 ноября 1797; СПб., запр. 19 ноября 1797).

104. *Orfon d'*. Histoire d'une famille. An VI de la République [1797/1798]. (СПб., запр. 24 сентября 1799) (издание не обнаружено в каталогах крупнейших библиотек).

105. *Ovide*. Traduction nouvelle de l'Art d'aimer d'Ovide. Nouvelle édition. Paris, 1795 (Рига, запр. 24 сентября 1799).

106. *Paine, Thomas*. Le siècle de la Raison, ou recherches sur la vraie théologie et sur la théologie fabuleuse: traduit de l'Anglais de Thomas Paine par François-Xavier Lanthenas. Paris, an II [1794] (СПб., запр. 25 января 1798).

107. *Peltier, Jean-Gabriel*. Paris, pendant l'année... 1795–1799. Londres: 1795–1799 (СПб., запр. 8 октября 1797: 1795 № 15; СПб., запр. 19 ноября 1797: 1797 № 98, 101, 102; Рига, запр. 21 января 1798: 1797 № 106–108; СПб., 12 апреля 1798: 1797 № 136, 140; Рига, запр. 19 апреля 1800: 1799 № 187).

108. *Petit fils (Le) d'Hercule*. (S. l.), 1701 [1781] (СПб., запр. 19 ноября 1797).

109. *Pigault-Lebrun, Charles Antoine Guillaume*. Le blanc et le noir: drame en quatre actes et en prose.; représenté et tombé sur le théâtre de la Cité le 14 brumaire de l'an IV. Paris: Mayeur et Barba, an IV [1795–1796] (СПб., запр. 2 декабря 1798).

110. *Pithou de Loinville, Jean Joseph*. Abrégé de la vie et des travaux de M. de Mirabeau. Paris; Maestricht, [1791]. Или: Abrégé de la vie et des travaux de M. de Mirabeau: avec son portrait: suivi de son testament, de son oraison funèbre et de son épitaphe. Paris: chez l'auteur: Desenne, [1791] (Радзивиллов, запр. 24 сентября 1799).

111. *Plaisant de La Houssaye*. La Constitution des Amours, ou leur nouveau et meilleur régime, pour le bonheur des amans. Paris: Froullé, 1793 (Рига, запр. 4 октября 1798).

112. *Précis des événements militaires ou essai historique sur la guerre presente*. Hambourg, 1799 (Рига, запр. 6 февраля 1800. «N IV, suivie d'une carte de la frontière entre la France, la Suisse et la Savoie»; Рига, запр. 19 апреля 1800. «N X ou Decembre 1799»).

113. *Recueil des romances françaises par différens auteurs*. Offenbach sur le Mein: André, (s. d.) (Рига, запр. 25 января 1800. «Recueil de romances françaises. N 2. [Audinot, Nicolas Médard] La marchande d'amour. N 3 [Rouget de Lisle, Claude Joseph] Chanson des Marseillais»).

114. *Rétif de La Bretonne, Nicolas-Edme*. Les Parisiennes; ou, XL caractères généraux pris dans les moeurs actuelles, propres à servir à l'instruction des personnes-du-sexe; tirés des memoires du nouveau Lycée-des-moeurs Neufchâtel: Guillot, 1787. 4 t. (Рига, запр. 4 октября 1798. «1 volume. Les jeunes filles et les filles à marier. A Neufchatel, 1787»).

115. *Rétif de La Bretonne Nicolas-Edme*. Les provinciales: ou histoires des filles et femmes des provinces de France, dont les aventures sont propres à fournir des sujets dramatiques de tous les genres. Paris: Garnery, [1796] (ранее выходило под заглавием: L'Année des dames nationales, ou Histoire, jour par jour, d'une femme de France. Ouvrage particulièrement destiné à fournir aux auteurs des sujets dramatiques de tout genre, légèrement esquissés. Genève;

Paris, 1792–1794. 4 t.) (Рига, запр. 19 августа 1798. «A Paris, chez Garnery. XII Tomes, Janvier-December. A под другим титулом: *Années des dames nationales*»).

116. *Révéroni Saint-Cyr, Jacques Antoine de*. Paulisca, ou la perversité moderne, mémoires recents d'une polonoise. Paris, Lemierre, Pigoreau, an VII [1799]. 2 t. en 1 vol. (Радзивиллов, запр. 28 марта 1799).

117. *Richer, Adrien*. Les Caprices de la fortune ou les Vies de ceux que la fortune a comblés de ses faveurs et de ceux qui ont essuyé ses plus terribles revers, dans les temps anciens et modernes. Paris: Belin, 1786–1789. 4 t. (Радзивиллов, запр. 11 апреля 1800).

118. *Robert, Louise-Félicité Guinement de Keralio*. Les crimes des reines de France depuis le commencement de la monarchie jusqu'à Marie-Antoinette publ. par Louis Marie Prudhomme. Londres, 1792 (Рига, запр. 29 октября 1797).

119. *Rousseau, Jean-Jacques*. Du Contrat social ou principes du droit politique par J.J. Rousseau. Leipsic [Leipzig]: Gerard Fleischer, 1796 (Рига, разр. 19 октября 1797).

120. *Rousseau, Jean-Jacques*. Œuvres complètes. [Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Lettre à Monsieur Philopolis. Discours sur l'économie politique.] Paris: Béliin, 1793. T. 1 (Рига, запр. 7 марта 1799).

121. *Roustan, Antoine Jacques*. Abrégé de l'histoire universelle. Paris, Desray, 1790. 9 t. (Радзивиллов, запр. 21 июля 1799).

122. *Rulhière, Claude-Carloman de*. Histoire ou anecdotes sur la révolution de Russie en l'année 1762. Paris: Desenne, an V [1797] (СПб., запр. 19 ноября 1797).

123. *Rulhière, Claude-Carloman de*. Œuvres posthumes de M. de Rhulière [sic!]. [Tableau esquissé de la fermentation qui agite actuellement l'Empire ottoman, la Russie et la Pologne. Commerce de Russie. Marée de la mer Germanique. Moscou. Palais impérial de Moscou. La cour de Russie. Lettre I (–II). Examen d'un problème arrivé de la Haye, le... 5 septembre 1735. Anecdotes sur M. de Richelieu]. Paris : Lavillette, 1792 (СПб., запр. 2 июля 1797).

124. *Saint-Martin, Louis Claude de*. Des erreurs et de la vérité ou les hommes rappelés au principe universel de la science. Par un Ph[ilosophe] Inc[onnu]. Edimbourg, 1782 (Рига, запр. 25 января 1798).

125. *Salaberry, Charles-Marie d'Irumberry, comte de*. Voyage à Constantinople, en Italie, et aux îles de l'Archipel, par l'Allemagne et la Hongrie. Paris : Maradan, an VII [1798] (Радзивиллов, запр. 11 апреля 1800).

126. *Schérer, Jean-Benoît*. Anecdotes et recueil de coutumes et de traits d'histoire naturelle particuliers aux différens peuples de la Russie par un voyageur qui a séjourné treize ans dans cet empire. Londres, 1792. 6 t. (Рига, запр. 15 марта 1798).

127. *Schérer, Jean Benoît*. Anecdotes intéressantes et secrètes de la cour de Russie : tirés de ses archives; avec quelques anecdotes particulières aux différens peuples de cet empire. Publiées par un voyageur qui a séjourné

treize ans en Russie. Londres, Paris : Buisson, 1792. 6 t. (СПб., запр. 25 января 1800).

128. *Sénac de Meilhan, Gabriel*. L'Emigré, publié par M. de Meilhan, intendant-général de la guerre... du roi de France. Brunswick: P.F. Fauche & Comp., 1797. 4 t. (Рига, запр. 19 апреля 1800).

129. *Smith, Charlotte*. Desmond ou L'amant philanthrope. Traduit de l'anglais... par L. C. D... Paris, 1793. 4 t. (СПб., запр. 14 марта 1800).

130. *Snetlage, Léonard*. Nouveau dictionnaire français contenant les expressions de nouvelle création du peuple français. Goettingue: J.C. Dieterich, 1795 (Рига, запр. 23 ноября 1797).

131. Spectateur (Le) du Nord, journal politique, littéraire et moral. Hambourg: P.F. Fauche, 1797–1799 (Рига, разр. 22 октября 1797. «Janvier 1797»; Рига, запр. 17 января 1799. «Juin 1797»; Рига, запр. 25 января 1800. «Juin 1799»).

132. *Suze, Charles de (?)*; *Saint-Martin, Louis-Claude de (?)*. Suite des Erreurs et de la vérité ou Développement du livre des Hommes rappelés au principe universel de la science par un ph... inc... A Salomonopolis [Francfort ?], chez Androphile, à la colonne inébranlable. МММММ.ССС. LXXXIV [1784] (Рига, запр. 5 августа 1798).

133. *Vernes, Jacob*. Confidence philosophique. Londres [Lausanne]: [F. Grasset], 1788 (СПб., запр. 14 марта 1800).

134. *Villeterque, Alexandre Louis*. Les veillées philosophiques: ou essais sur la morale expérimentale et la physique systématique. Paris, an 3. (1795). 2 t. (СПб., запр. 14 марта 1800: t. 1).

135. *Villiers (Viller), Pierre A.*; *Gouffé, Armand*. Les bustes, ou Arlequin sculpteur: comédie en 1 acte et en prose, mêlée de vaudevilles; représentée, pour la 1. fois, à Paris, sur le théâtre des Variétés, au Palais de l'Egalité, le 17 ventôse, 3. année républicaine [1795]. Paris: Barba, l'an III [1794/1795] (СПб., запр. 2 декабря 1798).

136. Virginie. Tragédie (СПб., запр. 2 декабря 1798.). См. также: № 11а, 76а, 92а.

137. *Voltaire, François Marie Arouet de*. Histoire de Charles XII, roi de Suède. Dresde : Walther, 1791 (Рига, разр. 22 октября 1797).

138. *Voltaire, François Marie Arouet de*. Oeuvres complètes. [Kehl]: De l'imprimerie de la société littéraire typographique, 1785–1789. 70 t. (Рига, запр. 21 января 1798: t. 34, 35; СПб., запр. 14 октября 1798: t. 11, 12, 27–30, 33, 35, 36, 38, 40–43, 46, 48).

139. *Williams, Joh*. Histoire des gouvernemens du Nord, ou de l'origine et des progrès du gouvernement des Provinces-Unies, de Danemark, de la Suède, de la Russie et de la Pologne jusqu'en 1777, ouvrage traduit de l'anglois de M. Williams (par Jean-Nicolas Demeunier), dans lequel on développe les ressources et l'état actuel des gouvernemens du Nord. Amsterdam, 1780. 4 t. (СПб., запр. 19 ноября 1797. «Т. IV»).

140. *Zajaczek, Józef (G^{al})*. Histoire de la révolution de Pologne en 1794, par un témoin oculaire. Paris: Magimel, an V [1797] (СПб., запр. 19 августа 1798).

Vladimir Somov

Le livre français et la censure russe à la fin du XVIII^e siècle

Jusqu'à la fin du XVIII^e siècle tous les livres français, même s'ils sont interdits en France, traversent la frontière de Russie presque sans obstacles, à l'exception des ouvrages attentatoires au pouvoir russe. Les organismes de surveillance chargés du contrôle des livres étrangers ne sont établis en Russie qu'à la fin du siècle, dans les derniers moments du règne (1762–1796) de Catherine II, en réaction aux événements de la Révolution française. À l'époque de Paul I^{er} (1796–1801), la censure est soumise au Conseil de Sa Majesté Impériale et à l'Empereur lui-même. Les documents de ce Conseil et de la Chancellerie du procureur général du Sénat (Archives Historiques russes d'État, Bibliothèque Nationale de Russie) nous permettent d'établir la liste des livres français interdits en 1797–1800. Quelques postes de contrôle («les censures») ont été établis, et l'activité de ceux de Riga et de Saint-Pétersbourg, deux grands ports maritimes, est la plus importante. En quatre ans (1797–1800 – au mois d'avril 1800 l'importation d'ouvrages étrangers est totalement défendue), les censeurs russes saisissent quelque 1 000 éditions étrangères, surtout des livres allemands et quelque 150 ouvrages français. On constate alors une situation paradoxale: les pouvoirs tentent de surveiller l'influence française, mais en réalité les censeurs ont à s'occuper principalement de livres allemands. On peut expliquer ce paradoxe par l'activité énergique des censeurs de Riga, ville balte où domine la culture allemande, et par l'attitude des libraires, qui n'importent plus de livres suspects ou réorientent leur assortiment en s'efforçant d'éviter un contrôle de leurs magasins et de leurs marchandises.

Ce sont les ouvrages traitant d'événements politiques (périodiques en premier lieu), les *Russica*, les écrits des philosophes, les ouvrages érotiques que l'on surveille, ainsi que ceux de belles-lettres, de théâtre, d'histoire, les relations de voyages, etc. Parmi les auteurs de livres supprimés, on relève les noms de Voltaire, Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Frédéric II, Mallet du Pan, Louis-Sébastien Mercier, Rétif de La Bretonne, Théophile-Imarigeon Duvernet, Andréa de Nerciat, etc. Les éditions des années 1780–1790 dominent les listes de proscription; ainsi l'ouvrage de Rulhière sur Catherine II, paru en 1797, est supprimé à Saint-Pétersbourg la même année. La plupart des ouvrages sont produits par des éditeurs parisiens (les Barba, Garnéry, Didot, Duchesne, Buisson, Maradan, etc.); nombreux aussi sont ceux publiés en Allemagne, à Hambourg (Fauche, Châteauneuf), Berlin (Unger), Leipzig (Fleischer), Göttingen (Dietrich), Dresde (Walther), etc.; quantité de livres portent également de fausses adresses («Londres», «Kamtchatka», «Salomonopolis», etc.). Par suite de l'activité des censeurs (les proscriptions elles-mêmes mais aussi la lenteur du contrôle, etc.), les libraires russes et étrangers subissent de grandes pertes. C'est le cas du libraire hambourgeois Pierre François Fauche, qui tente de mettre un pied dans le marché russe précisément en 1797–1798. Malgré tout, les documents de la censure et les actes de proscription de tel ou tel ouvrage enregistrent la présence de ces livres en Russie et notamment celle de librairie française dans les années 1797–1800.

WALLACE KIRSOP

CENSEURS RUSSES ET LIVRES ÉTRANGERS,
1815–1821

Le hasard d'un achat fait chez le libraire néerlandais Martinus Nijhoff en novembre 1979 a apporté à l'Australian National Library un document égaré des archives russes à une date incertaine. En effet le manuscrit 6145 de la grande bibliothèque de Canberra porte au dos le titre *Liste des rapports, présentés au Ministre de la Police, sur les livres examinés par la Censure attachée à ce Ministère. (Pour les années 1815–1821)*. On avait cru à tort avoir affaire à une pièce parisienne¹, mais il s'agit bien d'un catalogue partiel des appréciations et des décisions concernant les livres étrangers soumis à la censure officielle de Saint-Pétersbourg durant sept années du règne de l'empereur Alexandre I^{er}. Ce qui donne un certain piment à un outil surtout administratif, c'est qu'à côté de simples indications selon lesquelles tel ou tel ouvrage est «permis», on trouve des résumés succincts et acerbes des motifs de refus d'autres textes. En fin de compte c'est ce qui permet à l'historien d'esquisser les grandes lignes d'un régime de répression qui restera plus doux que ce qui va suivre sous Nicolas I^{er}².

D'un point de vue purement matériel, le manuscrit se présente comme un registre recouvert d'une demi-reliure et mesurant 37 cm sur 24 cm. 60 feuillets montés sur onglet donnent un total de 120 pages dont les deux premières et la

© Wallace Kirsop, 2008

¹ *Burmester C.A.* National Library of Australia: guide to the collections. Canberra, 1982. T. 4. P. 229.

² L'attention des commentateurs occidentaux se porte avant tout sur les règnes de Nicolas I^{er} et de ses successeurs. Voir *Choldin M.T.* A Fence around the Empire: Russian censorship of Western ideas under the tsars. Durham (North. Carolina), 1985; *The Diary of a Russian censor: Aleksandr Nikitenko* / Abridged, ed., trans. by H.S. Jacobson. Amherst (Mass.), 1975; *Ruud C.A.* Fighting Words: imperial censorship and the Russian press, 1804–1906. Toronto; Buffalo (New York); London, 1982.

dernière ne sont pas chiffrées. Les pages 22, 42, 43 et 44 sont blanches pour des raisons qui ne sont pas expliquées. En dehors du feuillet liminaire chaque page comporte deux colonnes: la première donnant le titre et les détails bibliographiques de l'ouvrage en question, la seconde indiquant la décision des censeurs.

Déjà lacunaire du fait des pages manquantes, le manuscrit 6145 n'a nullement la prétention d'être un relevé complet des avis de la censure. Un numéro est affecté à chaque titre mentionné, mais il s'agit d'un classement adopté dans les documents dont la liste n'est qu'un résumé. La série recommence chaque année et, dans trois cas (1817, 1820 et 1821), elle représente le contenu de deux ou trois tomes distincts de rapports originaux. Or là aussi on remarque des omissions sérieuses (beaucoup de numéros sautés) qu'on n'essaie pas d'éclaircir ou de justifier. Cette simple constatation souligne le fait qu'une étude exhaustive du phénomène doit se fonder sur les archives conservées en Russie. On découvre également que la formule «Liste des rapports, présentés au Ministre de la Police, sur les livres examinés par la Censure attachée à ce Ministère», utilisée en 1815 (p. 1) et en 1818 (p. 45), est remplacée en 1820 par «Liste des rapports, présentés à S. E. le Ministre de l'Intérieur, sur les livres examinés par le Comité de Censure attaché à la Chancellerie privée du Ministère» (p. 76), traduisant ainsi un changement important intervenu dans l'administration de cette fonction du gouvernement impérial³. Ce qui reste constant, c'est le caractère de la liste. En dépit des numéros absents, nous disposons d'un échantillon assez large (près de 850 titres) dont il est possible de tirer quelques conclusions.

Avant d'entamer une analyse des différentes catégories d'ouvrages rejetés, il convient de présenter les procédés imposés aux libraires importateurs de livres étrangers. Les deux pages liminaires du manuscrit 6145 proposent une «Traduction» de la «Cirulaire du 10 juillet 1816»⁴:

Le Comité de Censure établi près du Ministère de la Police d'après l'assentiment de S. M. I. en Date du 1^{er} Mai 1816 et remplissant ses fonctions d'après le Cadastre déterminé par le Règlement du Ministère de la Police et l'arrêté du Comité des Ministres de 1814 concernant l'examen des Livres arrivant de l'Etranger. Ayant observé que la révision faite dans les Librairies Etrangères en 1811 ne s'accorde point avec les principes prescrit maintenant pour la Censure des dits Livres, Ordonne que les Dispositions suivantes à cet égard soient mises en exécutions.

1^o Tout Libraire faisant le Commerce de Livres Etrangers ainsi que tout entrepreneurs de Cabinet de Lecture, est obligé de présenter incessamment, et a deux exemplaires, le Catalogue Complet de tous les Livres de son Magasin ou Cabinet de Lecture, Après l'examen du Catalogue, l'un des deux Exemplaires lui sera rendu muni de l'attestat et du Timbre de la Censure du Ministère de la Police, et

³ Voir *Ruud C.A.* Op. cit. P. 32–33; *Choldin M.T.* Op. cit. P. 23–24.

⁴ Même fautives, l'orthographe, la majusculation et la ponctuation originales du document ont été intégralement respectées, ici comme dans la suite de la présente contribution.

l'autre exemplaire sera déposé au Comité au dit ministère, pour servir de contrôle et être consulté en cas de besoin.

2^o. Il n'y a que des Livres marqués dans leur Catalogue ainsi timbré et attesté que les Libraires ou entrepreneurs de Cabinet de Lecture, sont en droit de vendre, ou mettre en circulation: Les Catalogues timbrés précédemment n'ont plus de vigueur.

3^o. Un Libraire, ou entrepreneur de Cabinet de Lecture desirant dorénavant faire Imprimer son Catalogue ou un Supplément à ce Catalogue, est obligé de le présenter auparavant en Manuscrit à l'approbation de la Censure du Ministère de la Police. Tout Catalogue imprimé sans cette permission sera censé illégit et sera aneanti.

4^o. Dans les Catalogues et Listes de livres présentées à l'examen de la Censure, les Titres des Livres doivent être annoncés tout entier afin d'éviter des peines et informations superflues, également incommodes pour la Censure et pour les Libraires.

On rappelle à cette occasion, que les Règlements en vigueur jusqu'ici en égard des Livres arrivant de l'Etranger et Notamment la présentation et Ouvertures des Caisses et ballots plombés au bureau de la Censure meme restent en Pleine vigueur.

Signé de Wiasmitinoff
command: en Chef de St. Petersbourg
Signé De Focht
directeur de la Chancellerie privée

Conforme à l'Original

Ch. Aug: de Lerch. J.
Secrétaire de la Censure
pour les Langues étrangères.

Signatures de Libraires

Ce qui n'est pas clair, c'est la part d'appréciations antérieures en ce qui concerne les titres portés sur les catalogues ou d'examens nouveaux de livres retirés des caisses et des ballots. Peut-être que la documentation de base indique la provenance précise de chaque ouvrage considéré. Cependant il est évident que nous avons affaire non seulement aux importations des années suivant la chute de Napoléon mais aussi à des textes parvenus en Russie bien avant 1815.

Les listes elles-mêmes ont été rédigées ou transcrites par plusieurs personnes, fait qui explique un certain manque d'uniformité. Au départ les dates des rapports sont indiquées dans la première colonne. En 1817 on y rajoute les initiales des censeurs responsables. En 1818 on constate une absence de ces renseignements dans la plupart des cas, tandis qu'en 1819 on revient en partie aux pratiques adoptées deux ans auparavant. En 1820 on commence par supprimer toutes indications de cette espèce, puis, à partir du mois d'août, les dates des rapports sont données dans la deuxième colonne. C'est ce dernier usage qui sera

suivi en 1821, mais il n’y a aucune décision postérieure au 22 août. De nouveau on se heurte au caractère problématique du manuscrit.

Partout on découvre des renvois d’un numéro à un autre. Les censeurs s’efforcent de noter des décisions déjà prises et d’être conséquents dans leurs jugements. Y a-t-il un index des titres examinés, ou est-ce que les fonctionnaires se fient à leur mémoire?

Les termes utilisés pour signaler un refus définitif ou temporaire varient: «défendu», «retenu», «prohibé», «supprimé». En majorité les ouvrages sont «permis» (466 cas sur 840⁵), mais un avis favorable n’exclut pas la possibilité de «corriger» ou de «rayer» des passages indésirables. De même des feuillets peuvent être «arrachés» avant la mise en vente du livre. En général l’approbation ne comporte pas de conditions, et elle ne s’appuie sur aucune justification, à la différence des suppressions.

Normalement ce sont les censeurs eux-mêmes qui décident du sort des textes arrivant de l’étranger. Toutefois d’autres instances ou personnalités jouent un rôle non négligeable dans le processus, comme l’indiquent les listes. Déjà le 5 août 1815 un ouvrage consacré à Alexandre I^{er} affiche l’avis: «a Soumettre a la decision Suprême de Sa Majesté L’empereur en attendant la vente de cet ouvrage a été interdite» (1815, n° 27)⁶. L’année suivante le n° 104 de la *Gazette littéraire universelle de Halle* est annoté: «les reflections Sur la Censure du royaume de pologne qui se trouvent insérées dans cette feuille ont ete lues à S. E. le Ministre de la Police» (1816, n° 15). À la même date on rapporte à propos du numéro d’avril 1816 du *Journal politique* de Hambourg: «un article de ce cahier Sur lexpulsion des jesuites de S^t petersbourg a été lu a Son E[xcellence] le Ministre de la pologne» (1816, n° 16). Les interventions d’en haut peuvent être favorables. C’est ainsi que les *Lettres sur quelques particularités secrètes de l’histoire pendant l’interrègne des Bourbons* d’Antoine-Joseph de Barruel-Beauvert (Paris, 1815, 3 vol.) ont été «permis après une decision de Sa Majeste l’empereur» (1816, n° 75). À divers moments les censeurs attendent des instructions plus précises. Parmi d’autres traités en apparence anodins, l’*Atlas historique, généalogique, chronologique et géographique* d’A. Le Sage (alias le comte Emmanuel de Las Cases), «les deux editions de paris en 1805–1806 en 1807–1808 et celle de florence en 1807. G. infolio», est «a retenir jusqu a ce que les regles a Suivre soient plus precisement determinees» (1816, n° 140). En fin de compte l’ouvrage est «a permettre» l’année suivante (1817, n° 152). Les démarches de la Poste sont prises en considération aussi, par exemple au sujet de deux livraisons de *La Minerve française* (1819, nos 45 et 97). On cherche constamment à ménager les susceptibilités d’autres fonctionnaires. *La Sainte Bible vengée des attaques de l’incrédulité* de l’abbé Joseph-François Du Clot (Lyon et Paris, 1816, 3 tomes) est «a permettre en Communiquant une Copie du rapport

⁵ C.A. Burmester (Op. cit. P. 229) indique 386 suppressions sur 1 458 ouvrages examinés, mais ce dernier chiffre est le total des sept séries de numéros courants. Peut-on être sûr que les 600 passés sous silence ont tous été autorisés?

⁶ Les références au manuscrit 6145 se feront dorénavant sous cette forme.

a S. E. le prince Galitzin» (1817, n° 124). Le même ministre reçoit d'autres rapports (1817, n° 128; 1817, n° 34; 1820, n° 35), se voit soumettre un livre douteux (1819, n° 147) et fait condamner l'*Essai sur l'indifférence en matière de religion* de Félicité de Lamennais (Paris, 1820) (1820, n° 328).

Après le transfert de la censure au ministère de l'Intérieur, il y a de temps en temps une plus grande souplesse. Certes, le chef peut agir contre les conseils de ses subordonnés: le premier volume de *Londres en 1819* d'Auguste-Jean-Baptiste Defauconpret (Paris, 1820) porte la mention «S. E. Le Ministre a ordonné que cet ouvrage soit *défendu*, malgré l'avis favorable de la censure, a cause d'une expression contre les *Sociétés de la Bible*» (1820, n° 131). En même temps il ne s'agit pas de fermer la cage quand les oiseaux se sont envolés. A propos de «De la Monarchie prussienne sous Frédéric le Grand par le Comte de Mirabeau Londres 1788 4.v.4^o. atlas f^o», on voit la note «S. E. Le Ministre a ordonné: 'd'examiner si cet ouvrage se vendait ici auparavant et s'il était inséré dans les catalogues des libraires. En ce cas il n'y aurait aucune utilité a le défendre.' L'ouvrage ayant été autrefois annoncé il est par conséquent permis» (1820, n° 157). En ce qui concerne «Nouvelles annales des Voyages par Eyriès & Maltebrun tome 4. 1^{ère} et 2^e parties Paris 1820–8^o.», on lit a un regret: «S. E. le Ministre de l'intérieur a bien voulu écrire sur ce rapport: 'Il est fâcheux de devoir défendre la 1^{ère} partie des annales des Voyages, ouvrage d'un si grand intérêt, & de rompre par là en quelque manière la suite de cette collection instructive; mais il n'y a pas moyen d'agir autrement'» (1820, n° 163). Pourtant, trois ans plus tôt la deuxième édition de l'*Histoire générale et raisonnée de la diplomatie française* par Gaëtan de Raxis de Flassan avait suscité le jugement: «quoique a la rigueur ce ne soit que le Sixieme volume de cet ouvrage qui nous presente des dates reprehensibles tout l'ouvrage doit malheureusement estre prohibé parce que nous n'avons plus le droit de depareiller les volumes» (1817, n° 211). La censure elle-même a recours à une certaine discrimination. Les tomes 15, 16 et 17 des *Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français* (Paris, 1819 et 1820) sont «a défendre pour la librairie; 'mais si quelqu'officier desire avoir cet ouvrage pour des recherches de son métier, il peut lui être permis'» (1820, n° 266). Malgré les lacunes et les anomalies qu'on peut remarquer, il est indéniable que le système repose sur le travail consciencieux et intelligent des censeurs des différents ministères. Cela dit, on est très loin d'un libéralisme éclairé.

Si l'on se fie au manuscrit 6145, la matière soumise aux censeurs de Saint-Pétersbourg chargés des livres étrangers est curieusement limitée. D'abord et surtout on note une prépondérance d'ouvrages français dans les listes. Laissant de côté des cas ambigus (titres français émanant de villes germaniques), les relevés contiennent huit ouvrages allemands et le même nombre en anglais (exclusivement à partir de 1818). Il est vrai qu'il y a une quantité respectable de textes traduits de l'allemand, de l'anglais et de l'italien en français, mais l'hégémonie culturelle de Paris reste très visible. Les numéros sautés gardent évidemment leurs secrets.

Sur les seize titres allemands et anglais, quatre, y compris le poème du pasteur Charles Caleb Colton, *The Conflagration of Moscow* (Londres, 1817,

in-8° — 1818, n° 189), sont permis sans conditions. Trois autres, tous en allemand, doivent être corrigés: passages ou articles «arrachés», «effacés» et «rayés» pour des raisons politiques. Le reste — trois en allemand, six en anglais — est bloqué pour des motifs analogues. Trois brochures de M^{me} de Krüdener «sont défendues *pour les Librairies*: vu que l'on y trouve le nom de l'Empereur mêlé aux Erreurs d'une tete exaltée et fanatique» (1818, n° 49). La cinquième édition de *The Fudge Family in Paris* de Thomas Moore est «à retenir; vu que ce poëme est un infame libelle contre les Souverains de l'Europe» (1818, n° 223). Même «the Philosophy of nature; or the influence of Scenery on the mind and heart. London 1813 2 volumes 8°.»), livre de Charles Bucke, est «Retenu; a cause d'une violente sortie contre quelques souverains, parmi lesquels se trouvent Pierre & Catherine» (1820, n° 303). On retrouve là un des fils conducteurs de la campagne que les censeurs mènent contre les éditeurs de l'Europe de l'Ouest.

Quant aux livres imprimés au XVIII^e siècle, ils sont plus nombreux, 51 au total. Quelle que soit leur origine — importations récentes ou stocks de librairies et de cabinets de lecture existants —, ces textes très mélangés rendent plus complexe encore la tâche de la censure russe face aux Lumières. Il y a plus de condamnations que d'autorisations, surtout si l'on tient compte du fait que sept de ces dernières concernent différents volumes de rééditions in-douze du *Discours sur l'histoire ecclésiastique* de Claude Fleury et de l'*Histoire ecclésiastique* elle-même (1817, nos 169, 183, 212, 225, 248, 258; 1818, n° 58). Par ailleurs, ce qui est perçu comme innocent englobe un certain nombre de matières plus ou moins liées entre elles: voyages, histoire, mémoires, littérature, apologétique. Les *Lettres d'un voyageur anglais* de Martin Sherlock (Neuchâtel, 1781 — 1817, n° 40) côtoient les *Observations d'un voyageur sur la Russie, la Finlande, la Livonie, la Curlande et la Prusse* d'Abel Burja (Berlin, 1785 — 1817, n° 57) et l'*Apologie de la Révolution française et de ses admirateurs anglais* de James Mackintosh (Paris, 1798 — 1817, n° 54⁷). Neuf mois plus tard, changement de position: l'édition de Mackintosh publiée en 1792 est «Supprimé précisément parce que c'est l'apologie d'une révolution» (1817, n° 291). De toute évidence il serait utile de disposer des rapports détaillés sur les permissions accordées pour comprendre ce genre d'évolution ou d'incohérence. On s'explique d'autant plus facilement l'acceptation de l'*Examen du matérialisme, ou Réfutation du Système de la nature* de l'abbé Nicolas Bergier (Paris, 1771 — 1821, n° 37) que d'Holbach continue à inspirer beaucoup de méfiance. Toujours en 1821 une édition parisienne de *La Morale universelle ou les Devoirs de l'homme fondés sur la nature*⁸ est retenue «comme étant la même chose que le Système de la nature

⁷ Mackintosh est mentionné avec approbation par La Harpe dans une lettre envoyée à Alexandre I^{er} en octobre 1802: Correspondance de Frédéric-César de La Harpe et Alexandre I^{er}... / Publ. par J.-C. Biaudet, F. Nicod. Neuchâtel, 1978. T. I. P. 665.

⁸ 1820: A1 (Paris, Masson, 3 vol. in-8°). Cf. *Vercruyse J.* Bibliographie descriptive des écrits du Baron d'Holbach. Paris, 1971. La prohibition visant le *Système de la nature* avait été réaffirmée à Saint-Pétersbourg en 1820 (n° 278).

de l'auteur, ouvrage prohibé» (n° 111). L'imprécision de la science bibliographique du censeur ne change rien à l'affaire. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'on laisse passer un petit nombre d'ouvrages de caractère historique portant sur l'Europe (1817, nos 149, 156; 1818, n° 143; 1821, nos 157, 159), mais peut-être qu'on ne se sent pas menacé par des points de vue remontant aux années 1750 et 1780.

Lorsqu'on se tourne vers les livres déjà anciens qui ont été supprimés, on découvre une susceptibilité extrême à l'égard de toute ce qui critique la Russie. Les *Annales de la Petite-Russie, ou Histoire des cosaques* de 1788 sont défendues «a cause des erreurs historiques dont cet ouvrage fourmille» (1815, n° 17) tandis que l'*Histoire raisonnée du commerce de la Russie* de Jean-Benoît Schérer attire le commentaire «la vente publique de cet ouvrage a été défendue a cause d'une quantité de réflexions sur l'esclavage des Paysans et Sur ce que l'auteur appelle les vices du Gouvernement Russe» (1815, n° 31). Dans le même registre on peut citer les *Mémoires du règne de Catherine, impératrice et souveraine de toute la Russie* de Jean Rousset de Missy (édition d'Amsterdam-Leipzig, 1742), qui sont défendus «a cause de quelques endroits ou le Caractere National des Russes est représenté sous un faux jour et de la manière dont la cause de la Mort de Catherine 1^e y est rapportée» (1817, n° 102), ou alors le *Voyage au Nord de l'Europe, particulièrement à Copenhague, Stockholm et Pétersbourg* de Nathaniel William Wraxall (Rotterdam, 1777): «ce Livre contenant les récits trop de fois répétés sur la fin Tragique de l'Empereur Pierre III et des phrases mal sonnantes sur les Cérémonies de l'église russe a été Supprimé» (1821, n° 113).

La religion aussi est un terrain dangereux. Le texte *Formules religieuses et extraits d'un manuscrit intitulé le Culte des adorateurs* (Paris, an IV) est pros crit, «vu que cette brochure renferme des blasphèmes contre le Christianisme et l'écriture Sainte» (1819, n° 144). Quant aux *Mystères du christianisme approfondis radicalement et reconnus physiquement vrais* de Bebescourt (Londres, 1775, 2 vol. in-8°), ils sont défendus «vu que l'ouvrage est contraire aux dogmes de la religion chretienne» (1820, n° 18).

Des objections d'ordre moral frappent surtout les romans et les ouvrages facétieux, même ceux d'une autre génération. Une édition de 1796 des *Liaisons dangereuses* suscite la remarque: «Ce roman trop célèbre, dangereux par le charme du style, est enfin Défendu, comme contraire a la morale & aux bonnes mœurs» (1820, n° 364). La première édition de *Monrose ou le Libertin par fatalité* d'André-Robert Andréa de Nerciat (1792, 4 vol. in-12) est encore plus condamnable: «Retenu par ceque les acteurs dans ce Mauvais roman, rempli du libertinage le plus Sale n'ont pas plus de Respect pour les liens du Sang que pour la religion et les Mœurs» (1817, n° 178). Parfois il y a des griefs quasi esthétiques. Ainsi *La Diabotanogamie ou les Noces de Diabotanus, poème héroï-comique* de Claude-Marie Giraud est «Retenu, comme la Betise la plus Sale» (1818, n° 96).

Les critiques adressées aux auteurs étrangers et à ceux du siècle précédent sont — comme on peut s'en douter — un simple reflet de celles que les censeurs

invoquent lorsqu'ils s'occupent de la production contemporaine. Par conséquent, quand on analyse les jugements consignés dans le manuscrit 6145, on peut difficilement éviter trois domaines principaux: la politique, la religion et la morale.

S'il s'agit avant tout de défendre la réputation de la Russie, de ses institutions et de ses souverains, les fonctionnaires de Saint-Petersbourg se méfient également de livres qui subvertissent l'ordre monarchique établi de quelque pays que ce soit. À l'issue des époques révolutionnaire et napoléonienne on est très sensible aux dangers perçus dans des tendances novatrices émanant de la France ou des régions gagnées aux principes de 1789. D'où une série de décisions sans appel d'un bout à l'autre de la période étudiée.

La *Relation circonstanciée de la campagne de Russie* d'Eugène Labaume (Paris, 1814) est défendue «parceque cet ouvrage contient la proclamation de Napoleon beaucoup de faits defigures et qu'il est trop en faveur des Français» (1815, n° 5). *L'Histoire de la campagne de 1814 et de la restauration de la monarchie française* d'Alphonse de Beauchamp (Paris, 1815, 2 vol.) est supprimée «a cause des injures contre les allies et particulièrement contre les Russes, que l'on y trouve inserées et empruntees des Bulletins français» (1815, n° 20). Le genre romanesque n'y échappe pas: *Anna Petrowna, fille d'Elisabeth, impératrice de Russie, histoire véritable* (Paris, 1813, 2 vol.) est retenue, «vu que le but de ce roman ne paroît être que de rendre odieux les Russes et leur Gouvernement» (1815, n° 22).

De telles objections sont constantes, et un patriotisme outré se maintient sans faute. Le *Tableau de la campagne de Moscou* de René Bourgeois (Paris, 1814) est «defendu vu que cet ouvrage presente la campagne de 1812 sous un jour absolument faux, donnant tous les torts aux Russes et toute la bravoure aux francais» (1816, n° 30). *Beautés de l'histoire de Russie* de Pierre-Jean-Baptist Nougaret (Paris, 1814) est «a retenir jusqu'a nouvel ordre vu que ce livre renferme plusieurs endroits injurieux pour la Russie et ses souverains» (1816, n° 52). Les chefs alliés sont protégés eux aussi: la «Lettre d'un officier au Lord Welington sur ses dix dernieres campagnes Paris 1814 in 8°» est défendue «vu que L'auteur traite Lord Welington avec trop peu de Menagement» (1816, n° 80). De même la cause légitimiste est sacro-sainte: *Le Nain jaune réfugié de Bruxelles* est «retenu a cause de la tendance de ce journal qui est redigé par des Bonapartistes exiles, en faveur des idees revolutionnaires et contre la legimité et les bons principes» (1817, n° 74).

Il va de soi que nulle critique dirigée contre l'empereur et ses conseillers n'est permise: le «Precis historique des differentes Missions dans lesquelles M^r. L. Fauche Borel a ete employé pour la cause de la Monarchie 2^e edit. Bruxelles 1816 in 8» est «retenu a cause de quelques expressions equivoques sur la conduite de M^r delaharpe et Sur les opinions de S. M. L'emp. Alexandre» (1817, n° 77). La même protection est accordée aux ancêtres et aux héros nationaux: dans la *Galerie historique des hommes les plus célèbres* de Charles-Paul Landon (édition de 1811) sont «à Supprimer les Biographies de Catherine 11 Catherine 1 Pierre 1 Potemkin Suwarow a cause de plusieurs expressions reprehensibles»

(1817, n° 135). Des avis prononcés à une date antérieure sont maintenus: les cinq volumes de la *Correspondance littéraire* de Grimm et de Diderot (édition de 1813) sont permis, mais le *Supplément* est «retenu comme renfermant des passages dont l'impératrice Catherine II avoit exigé la Suppression dans les œuvres de Voltaire» (1817, n° 242). Reprenant un thème qui parcourt toutes les listes, l'*Histoire de France depuis la mort de Louis XVI* (Paris, 1820, 3 tomes) est prohibée «à cause de la manière dont M. Gallais raconte la mort de l'empereur Paul 1^{er}.» (1820, n° 260). Les lecteurs russes sont privés de la traduction française de l'autobiographie de Vittorio Alfieri (Paris, 1809, 2 vol.) «à cause de quelques expressions répréhensibles sur Catherine II & les Russes» (1821, n° 47). On est fier d'un système dénoncé par les libéraux. C'est ainsi que *Des conspirations & de la justice politique* par François Guizot (Paris, 1821) est «à retenir; parceque l'auteur attaque le despotisme & le pouvoir arbitraire» (1821, n° 95).

Quelquefois la censure russe se conforme d'une façon explicite à des décisions déjà prises ailleurs. À propos de l'ouvrage de Charles-Arnold Scheffer, *De l'état de la liberté en France* (Paris, 1817), on fait remarquer: «Cette brochure ayant été Supprimée en France, doit Subir le meme sort ici; vu qu'elle offense les puissances alliées et cherche à ruiner les principes de la légitimité» (1818, n° 13)⁹. Il arrive aussi qu'on exprime une certaine confiance à l'égard du bon sens des libraires: «Louis XVIII assassin de son frere Louis XVI et fleau de la France» (Paris, 1816) inspire le commentaire «cette pasquinade aussi infame que bête est à retenir si contre toute vraisemblance elle paroît ici chez les libraires» (1817, n° 209).

Les questions politiques l'emportent de très loin dans la statistique des proscriptions. La religion se situe en deuxième position avec moins de cinquante exemples. Ce qui ne veut pas dire que les censeurs négligent cette partie de leur mission. Au contraire, la défense de l'Église orthodoxe russe (ou grecque) et la condamnation de l'athéisme sont des préoccupations constantes. Parfois aussi on se mêle de querelles plus proprement occidentales.

Deux histoires ecclésiastiques dues à l'abbé Antoine-Henri de Bérauld-Bercastel et à Pastorini sont supprimées «parce que toutes les religions excepté la religion Catholique Romaine y sont traitées d'heresies et par consequent le rît Grec» (1815, n° 30). *Moscou avant et après l'incendie* par G. Lecoinge de Laveau (Paris, 1814) est «Retenu en attendant à cause de quelques passages sur les prejuges religieux des Russes» (1815, n° 48). L'*Histoire abrégée de l'Eglise* de Charles-François Lhomond (Paris, 1809) est retenue «à cause de la maniere indecente dont l'auteur parle du patriarche Photius en traitant le Rit Grec de Schisme et d'heresie» (1816, n° 31). Le thème grec réapparaît quand le *Voyage à Constantinople* de Guillaume Martin (Paris, 1819) est «Supprimé à cause de quelques expressions contre Photius premier auteur du Schisme de l'eglise Grecque» (1819, n° 109).

⁹ Voir *Drujon F.* Catalogue des ouvrages, écrits et dessins de toute nature poursuivis, supprimés ou condamnés depuis le 2 octobre 1814 jusqu'au 31 juillet 1877. Nouv. éd. Paris, 1879. P. 152.

La campagne en faveur de la religion en général se manifeste dans plusieurs avis de la censure. *La Récolte de l'hermite, ou Choix de morceaux d'histoire peu connus* de Pierre-David Lemazurier (Paris, 1813) est retenue «vu que l'on y trouve des anecdotes ou la religion est traitée avec une légèreté reprehensible» (1815, n° 73). Plus sèchement *Les Crimes de la philosophie* (Paris, 1804) sont défendus «comme offensant la religion» (1818, n° 69). Le troisième volume de *L'Industrie* de Claude-Henri de Saint-Simon «est supprimé vu qu'il renferme des doctrines qui tendent à détruire le Christianisme et la morale basée sur les vérités de la religion» (1818, n° 124). À propos du *Diable peint par lui-même* de Jacques-Auguste-Simon Collin de Plancy (Paris, 1819) il est décrété: «cet ouvrage qui ne respecte pas assez la religion et où l'évangile se trouve expliqué d'une manière reprehensible est à retenir» (1819, n° 75). D'autres dangers attendent ceux qui lisent des traités de magie: il est fait obstacle à la *Réalité de la magie et des apparitions* de l'abbé Simonnet (Paris, 1819) «parce que cet ouvrage pourrait servir d'appui au fanatisme» (1820, n° 113). Même la poésie a ses périls: *Violette ou le Conservateur déchiré* de Jean-Baptiste Gouriet (Paris, 1819) est retenue «vu que dans ce poème qui n'est pas d'une très saine moralité, il est un peu trop question de la bible» (1820, n° 230). Un détail peut faire retenir un livre: «à cause d'une expression irréfléchie sur 'la morale du Dieu nourri chez un charpentier de la Judée'» (1821, n° 2) les *Mémoires historiques sur la vie de M. Suard* de Garat (Paris, 1820, 2 vol.) sont rejetés par un censeur. La phrénologie elle aussi est suspecte: *l'Essai philosophique sur la nature morale et intellectuelle de l'homme* de Johann Gaspar Spurzheim (Paris, 1820) est «Défendu; parce que l'auteur attaque toutes les institutions sacrées sans aucun égard» (1821, n° 53).

L'apologétique n'est pas non plus exempte de problèmes. Tel *Examen critique de l'Essai sur l'indifférence en matière de religion* de Lamennais est retenu «parce que l'auteur, en combattant les erreurs du p^e de Lamennais touche de trop près aux objets sacrés» (1821, n° 100). Sur *l'Essai sur l'action du philosophisme et sur celle du christianisme* du comte de Robiano de Borsbeek (Paris, 1820), l'avis est net: «Cet ouvrage d'un fanatique qui prêche l'intolérance est Supprimé» (1820, n° 101).

De temps en temps la censure intervient dans des débats qui dépassent la simple opposition entre orthodoxes et catholiques. Certes, il faut y voir non seulement l'influence des territoires polonais de la Russie, mais aussi l'orientation spirituelle d'Alexandre I^{er} lui-même. En 1815 deux livres sur les Jésuites sont «Retenus vu que ces deux ouvrages renferment des accusations très fortes contre les jésuites» (n° 46). Quatre ans plus tard une *Histoire des sociétés secrètes en Allemagne et dans d'autres contrées* (Paris, 1819) est condamnée: «cet ouvrage contenant les rêves les plus absurdes d'un visionnaire, et où les Sociétés Bibliques sont classées parmi les Sociétés Secrètes affiliées à celles des Illuminés est à défendre» (1819, n° 116). Enfin, une autre réponse à Lamennais, les *Observations sur l'unité religieuse* du pasteur Jacques-Louis-Samuel Vincent (Paris, 1820), est retenue «vu que cet ouvrage défend le protestantisme contre le catholicisme».

Dans l'ensemble les jugements purement moraux sont encore moins nombreux, à peine une trentaine. Ils concernent surtout la littérature romanesque, fait qui n'étonnera personne. Les censeurs de Saint-Pétersbourg s'alignent grosso modo sur leurs confrères de Paris.

Divers ouvrages consacrés au Palais-Royal et à la prostitution parisienne sont frappés par une «mesure ordonnée pour tout ouvrage licencieux» (1816, n° 27; 1818, nos 141 et 146). En revanche *La Crépionomie, ou l'Art des pets, poème didactique* de Ducastel (Paris, 1815) est retenue «comme une indigne Saleté» (1819, n° 26). Ce qui est moins prévisible, c'est la décision de retenir les *Œuvres complètes* d'André Chénier (Paris, 1819) «à Cause de plusieurs passages qui ont été jugés trop libres sous les rapports de la Morale et de la politique» (1820, n° 1). Pourtant *Des divinités génératrices, ou Du culte du Phallus* de Jacques-Antoine Dulaure (Paris, 1805) rentre tout à fait dans la catégorie douteuse en question: «Contenant des recits Scandaleux d'un Culte impur et indécent, cet ouvrage a été déffendu» (1818, n° 115).

Le gibier habituel des censeurs moraux se trouve ailleurs. À cette époque on affecte de mépriser Pigault-Lebrun. La troisième édition de *La Folie espagnole* (Paris, 1812) est défendue «comme contraire au bon goût & aux bonnes mœurs» (1820, n° 159). *Jérôme*, dans une nouvelle édition (Paris, 1818), est «Supprimé; parceque cet ouvrage est un blasphème et une saleté» (1820, n° 170). Un peu contre toute attente, *Le fût-il, ne le fût-il pas? ou Jules et Charles, suite et conclusion de l'Egoïsme* (Paris, 1821) est permis (1821, n° 81).

D'autres textes s'attirent une réprobation analogue. *La Vie de garçon dans les hôtels-garnis de la capitale, ou De l'amour à la minute...* de P. Cuisin (Paris, 1820) est supprimée «comme l'obscenité la plus dégoûtante» (1820, n° 231). Quant à *Vénus à l'encan, ou les Bolivariennes du Palais Royal, par un pâtre de l'île d'Otaïti* (Paris, 1819), «Cette production grossière & Scandaleusement immorale, a été retenue» (1820, n° 234). *L'Anneau de Salomon* d'Adrien-Nicolas La Salle (Paris, 1812) est un «Mauvais roman défendu, parcequ'il offense les mœurs & le bon goût» (1820, n° 284). L'année suivante *Le Visir, ou Histoire du premier ministre, favori du roi de Kaboul* (Paris, 1820) est «Supprimé, pour l'immoralité des récits & l'indécence du Style» (1821, n° 18). Contre *Le Moine et le philosophe* de Ricard de Saint-Hilaire (Paris, 1820) les objections sont multiples: «Cet affreux roman immoral et irréligieux au Suprême degré, est Sévèrement *prohibé*» (1821, n° 51). La traduction française du *Moine* de Matthew Gregory Lewis, livre qui a été édité plusieurs fois à partir de 1797, n'échappe pas dans sa dernière version (Paris, 1819) à une condamnation: «Supprimé, comme immoral & offensant les mœurs» (1821, n° 130).

La dimension esthétique des jugements de romans ne devrait pas non plus nous surprendre. En effet les censeurs sont sensibles à la qualité de l'écriture, et même dans les résumés de rapports on constate un certain souci de la rhétorique sinon du beau style. Un mémoire de la campagne russe de 1812 est «Retenu vu que cet ouvrage merite d'etre fletri par l'improbation publique puisquil est compose dans le but de defigurer la verite de repandre des men-

songes de se moquer de la Religion de noircir les plus sublimes vertus et d'insulter aux noms les plus augustes» (1816, n° 150). Un peu auparavant, *Du congrès de Vienne*, du baron de Pradt (Paris, 1815), «a été retenu jusqu'à des ordres Suprêmes, vu qu'il est écrit dans un esprit libre et contient des raisonnemens propres à nourrir aiguiser et augmenter les plaintes des malheureux les murmures des mécontents et les vociférations des frondeurs» (1816, n° 76). Le censeur devient correcteur quand il donne son avis sur *Les Calamités ou le Bombardement de Copenhague; la Paix de Tilsit; poèmes historiques* de Moussard: «retenu cette misérable production d'un plus que misérable poète ne mériterait pas la moindre attention si elle n'était remplie de Sorties indécentes contre la Russie» (1817, n° 290). Ailleurs on pratique la concision: d'une certaine *Ligue des nobles et des prêtres contre les peuples et les rois* il est écrit «Le titre suffit pour supprimer cet ouvrage, Son contenu en prouve la nécessité» (1821, n° 21).

Comme dans le cas des *Liaisons dangereuses*, on reconnaît les périls et le pouvoir séducteur de ce qui est bien exprimé. La traduction française de *L'Allemagne et la révolution* de Joseph von Görres (Paris, 1819) est prohibée «comme un ouvrage dangereux, où les idées révolutionnaires sont exposées avec charme & énergie» (1821, n° 1). Une autre traduction, *Les Dernières Lettres de Jacopo Ortis* d'Ugo Foscolo (Paris, 1819), est défendue «parce que ce roman traite d'un suicide, & qu'il est trop bien écrit pour ne pas pouvoir égarer» (1820, n° 307). On ne saurait mieux suggérer l'intelligence, la finesse et la subtilité qui sont les attributs souhaitables d'un censeur efficace.

Il est bon d'apprendre que des recherches récentes viennent compléter le travail effectué naguère sur le milieu si intéressant des censeurs de Saint-Petersbourg¹⁰. Un document isolé comme le manuscrit 6145 est incapable de révéler toute la complexité d'un système qui a continué à évoluer. Mais en même temps les résumés de rapports laissent voir les tensions, les contradictions et les préoccupations d'un régime autoritaire en butte à l'innovation venant de l'Ouest. En miniature on découvre comment le gouvernement d'Alexandre I^{er} réagit devant un mouvement mis en marche par les Lumières du siècle précédent¹¹.

¹⁰ Voir surtout, avec ses références bibliographiques, *Grinchenko N.A. The Foreign censorship and the book trade in Russia in the second quarter of the nineteenth century // Solanus, international journal for Russian and East European bibliographic, library and publishing studies. 2006. Vol. 20. P. 46–54. Je remercie M^{me} Grinchenko de m'avoir envoyé un certain nombre de tires à part pertinents.*

¹¹ Pour une étude plus rapide du manuscrit 6145, voir *Kirsop W. «... trop bien écrit pour ne pas pouvoir égarer»: a note on Russian censorship of foreign books under Alexander I // Australian Journal of French studies. 1993. Vol. 30/3. P. 384–390. Les citations du manuscrit 6145 sont reproduites avec l'autorisation de la National Library of Australia.*

À des titres divers je remercie pour leurs conseils M^{mes} Marie-Louise Ayres, Judith Amory, Bronwyn Ryan et Joan Lindblad Kirsop, ainsi que MM. Graeme Powell, Russell Cope et Hugh M. Olmsted.

Уоллас Кирсон

**Русские цензоры и иностранные книги,
1815–1821**

В Национальной библиотеке Австралии в Канберре хранится рукопись, озаглавленная *Liste des rapports, présentés au Ministre de la Police, sur les livres examinés par la Censure attachée à ce Ministère (Pour les années 1815–1821)* [*Перечень докладов министру полиции о книгах, изученных цензурой, состоящей при этом министерстве (за 1815–1821 годы)*]. В этом документе, приобретенном в 1979 г., приводится краткое содержание большинства докладов и решений Санкт-Петербургской цензуры иностранных изданий за период, последовавший за окончанием наполеоновских войн. Составленный на французском языке, перечень дает представление о мерах, принятых властями для того, чтобы предотвратить распространение иностранных сочинений, содержание которых представлялось им предосудительным по причинам политического, религиозного или морального характера. Большинство книг, фигурирующих в этом списке, напечатано на французском языке; не более двух десятков – на немецком или английском. Речь идет, прежде всего, о свежих публикациях; лишь около пяти десятков упомянутых в списке сочинений вышли в свет в XVIII в. Этот источник позволяет судить о том, чего именно опасались цензоры и к каким приемам они прибегали. Он показывает, как при Александре I цензура иностранных книг служила инструментом ограничения свободы слова.

Н.А. ГРИНЧЕНКО

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНЗУРЫ В РОССИИ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА¹

С конца XVIII в. цензура в России подразделялась на внутреннюю и иностранную: внутренняя рассматривала все произведения печати, издававшиеся в России на любых языках; иностранная контролировала издания, ввезенные в Россию из-за границы.

Организация цензурных учреждений как самостоятельных подразделений государственного аппарата Российской империи относится к 1780–1790-м годам². Сначала в 1783 г. по указу Екатерины II, предоста-

© Н.А. Гринченко, 2008

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке РФНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Цензуры Российской империи, конец XVIII – начало XX в.: Биобиблиографический справочник». Проект № 05–01–01192а. К настоящему времени опубликованы следующие материалы этого исследования, в которых также содержатся сведения об организации цензуры в конце XVIII столетия в отдельных городах и регионах России: *Гринченко Н.А., Патрушева Н.Г.* Цензуры Москвы, 1804–1917: (Аннот. список) // Новое лит. обозрение. 2000. № 44. С. 409–433; *Гринченко Н.А., Измозик В.С., Патрушева Н.Г., Сомов В.А., Эльяшевич Д.А.* История цензурных учреждений Прибалтийских губерний. Конец XVIII в. – 1917 г. // Книжное дело в России во второй половине XIX – начале XX в.: Сб. научных трудов. СПб., 2003. Вып. 11. С. 121–172; *Гринченко Н.А., Патрушева Н.Г., Фут П.П.* Цензуры Санкт-Петербурга (1804–1917): (Аннот. список) // Новое лит. обозрение. 2004. № 69. С. 364–392; *Патрушева Н.Г.* История цензурных учреждений на Кавказе в XIX – начале XX века // Книжное дело на Северном Кавказе: История и современность: Сб. статей. Краснодар, 2004. Вып. 2. С. 170–195; *Гринченко Н.А., Измозик В.С., Патрушева Н.Г., Эльяшевич Д.А.* Цензуры Вильно XIX и начала XX века // Белорусский сборник: Статьи и материалы по истории и культуре Белоруссии. СПб., 2005. Вып. 3. С. 209–235; Комитет цензуры иностранной в Петербурге, 1828–1917: Документы и материалы / Сост. Н.А. Гринченко, Н.Г. Патрушева. СПб., 2006. 264 с.

² С начала XVIII в. и до 1783 г. цензуру в России осуществляли лица, возглавлявшие те ведомства и учреждения, в том числе и учебные заведения, которые имели типогра-

вившему всем желающим право заводить вольные типографии³, цензура оказалась сосредоточенной в управах благочиния (полиции), а с 1796 г. в соответствии с указом императрицы⁴, подтвержденным Павлом I год спустя⁵, – в цензурных комитетах (так называемых цензурах), учрежденных (как реакция на Французскую революцию) в Петербурге, Москве, Риге, Одессе и при Радзивилловской таможене. Они состояли из трех цензоров: «гражданского», «ученого» и «духовного», назначаемых Сенатом, Академией наук, Московским университетом и Синодом⁶. Чиновники выполняли обязанности по внутренней и иностранной цензуре, что было отражено в указе 1797 г.:

верситет, Артиллерийский, Морской и Сухопутный кадетские корпуса и некоторые другие). Об организации цензуры в XVIII в. см.: [Шебальский П.К.]. Исторические сведения о цензуре в России. СПб., 1862. С. 1–6; *Репинский Г.К.* Цензура в России при императоре Павле I, 1796–1801 // *Русская старина*. 1875. № 11. С. 454; *Скабичевский А.М.* Очерки по истории русской цензуры, 1700–1863. СПб., 1892. С. 70; *Синовский В.В.* Из прошлого русской цензуры // *Русская старина*. 1899. № 4. С. 161–175. № 6. С. 435–453; *Розожин В.Н.* Дела «московской цензуры» в царствование Павла I как новые материалы для русской библиографии и словаря русских писателей. Вып. I. 1797 // Сборник отделения русского языка и словесности Академии наук. 1902. Т. 72. № 1. С. V–XXXIV; *Рождественский С.В.* Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения, 1802–1902. СПб., 1902. С. 99–100; *Лемке М.К.* Пропущенный юбилей: Столетие первого русского устава о цензуре, 1804 – 9 июля 1904 г. // *Русская мысль*. 1904. № 11. С. 34–44; *Энгельгардт Н.А.* Очерк истории русской цензуры в связи с развитием печати (1703–1903). СПб., 1904. С. 25–31; *Якушкин В.Е.* Из истории русской цензуры // *Розенберг В.А., Якушкин В.Е.* Русская печать и цензура в прошлом и настоящем. М., 1905. С. 18–20; *Западов В.А.* Краткий очерк истории русской цензуры 60–90-х годов XVIII века // *Учен. зап. Ленинградского пед. ин-та им. А.И. Герцена*. 1971. Т. 414. С. 94–135; *Болебрух А.Г.* Передовая общественно-политическая мысль 2-ой половины XVIII века и царизм (на материалах деятельности цензурных органов): Учеб. пос. Днепропетровск, 1979. С. 34–38; *Он же.* Цензурные органы России в XVIII в. // *Правовые идеи и государственные учреждения: Историко-юридические исследования*. Свердловск, 1980. С. 57–70; *Омельченко О.А.* Формирование и развитие законодательного регулирования печати в России // *Право и культура: Проблемы исторического взаимодействия: Сб. научных трудов*. М., 1990. С. 17–26; *Сомов В.А.* Цензура иностранных изданий в Риге в конце XVIII в. // *Latvijas PSR Zinatnu Akademijas Vestis = Известия АН Латвийской ССР*. Рига, 1990. № 4. С. 53–54.

³ ПСЗ. Т. 21. № 15634.

⁴ Там же. Т. 23. № 17508.

⁵ Там же. Т. 24. № 17811.

⁶ На цензорские должности были назначены: в Петербурге – С.К. Котельников, М.В. Туманский, ректор Санкт-Петербургской семинарии Антоний; в Москве – А.А. Прокопович-Антонский, Д. Стратимович, иеромонах Владимир; в Риге – протоиерей С. Тихомиров, П.Б. Иноходцев, Ф.О. Туманский (двоих последних сменили Х. Рот и Х.К. Зон), а также цензоры для изданий на еврейском языке – Е.Д.Л. Бамбергер, М. Гезекиль и Л. Элкан; в Одессе – Я.Д. Захаров. В 1798 г. при Радзивилловской таможене была создана цензура для Волынской, Подольской и Минской губерний (ПСЗ. Т. 25. № 18367) в составе А. Лагановского, Т. Добржанского, А.Т. Свенске. Чиновникам было установлено жалование: в Петербурге и Риге – по 1800 р., в Москве – по 1000 р. серебром в год каждому (Там же. № 18738, 18922, 19010).

Никакие книги, сочиняемые или переводимые в государстве нашем, не могут быть издаваемы, в какой бы то ни было типографии, без осмотра от одной из цензур, учреждаемых в столицах наших, и одобрения, что в таковых сочинениях или переводах ничего закону божию, правилам государственным и благонравию противного не находится; учрежденные (...) цензуры должны наблюдать те же самые правила и в рассуждении привозимых книг из чужих краев, так что никакая книга не может быть вывезена без подобного осмотра, подвергая сожжению те из них, кои найдутся противными закону божию, верховной власти или же развращающие нравы⁷.

Кроме того, опасаясь влияния событий во Франции на русское общество, в 1798 г. для заграничных изданий⁸ была введена цензура при всех российских портах⁹. Однако из-за затруднений при подборе чиновников, способных занимать цензорскую должность¹⁰, последовал новый указ 1799 г.¹¹, в соответствии с которым цензура учреждалась только при Кронштадтском, Ревельском, Выборгском, Фридрихсгамском и Архангельском портах. Доступ иностранных изданий в другие порты был запрещен. К этому же году относится организация цензурного комитета в Вильне¹² для контроля над печатной продукцией, ввозимой через сухопутную границу. Такое ужесточение цензуры иностранной в период царствования Павла I завершилось полным запретом доставлять в Россию зарубежные издания на основании указа от 18 апреля 1800 г.¹³

В конце XVIII столетия высшей цензурной инстанцией был Совет Его Императорского Величества, который возглавлял генерал-прокурор Сената (сначала А.Б. Куракин, затем П.В. Лопухин). Решения Совета докладывались самому императору¹⁴.

⁷ ПСЗ. Т. 24. № 17811.

⁸ Впервые мысль о необходимости введения контроля за ввозом зарубежных изданий в Россию высказал в 1792 г. главнокомандующий Москвы князь А.А. Прозоровский, который писал Екатерине II о необходимости «положить границы книгопродавцам книг иностранных и отнять способы еще на границах и при портах подобные сему книги вывозить, а паче из растроенной ныне Франции, служащие только к заблуждению и разврату людей, не основанных в правилах честности» (Цит. по: *Ситовский В.В.* Из прошлого русской цензуры // Русская старина. 1899. № 4. С. 164).

⁹ ПСЗ. Т. 25. № 18524.

¹⁰ *Ситовский В.В.* Из прошлого русской цензуры // Русская старина. 1899. № 6. С. 450–451. Все же состоялись некоторые назначения. На цензорскую должность были утверждены: в Архангельске – Миклашевич, в Одессе – Карпов и Мариус (*Болебрух А.Г.* Передовая общественно-политическая мысль 2-ой половины XVIII века. С. 36).

¹¹ ПСЗ. Т. 25. № 18939.

¹² Там же. № 19010. В его состав вошли: ксенз А. Томашевич, К. Герсдорф и И. Коссаковский. Должность секретаря занял К. Контрим. Для просмотра книг на еврейском языке был назначен К. Тиле.

¹³ Там же. Т. 26. № 19956.

¹⁴ Там же. Т. 24. № 18032.

* * *

Эпоха Александра I внесла существенные перемены в организацию цензуры. В 1802 г. было восстановлено право заводить типографии, были уничтожены ранее организованные цензурные комитеты, разрешен свободный ввоз зарубежных изданий¹⁵. Внутренняя цензура передавалась гражданским губернаторам, которые поручали чтение рукописей директорам училищ.

После учреждения в 1802 г. Министерства народного просвещения и создания учебных округов¹⁶ указом 1803 г. была декларирована передача внутренней цензуры учебному ведомству: «Цензура всех печатаемых в губернии книг имеет принадлежать единственно университетам, коль скоро они в округах учреждены будут»¹⁷. А после подписания Александром I 19 июля 1804 г. первого цензурного устава¹⁸ управление цензурой было оформлено законодательно. В этом документе, а также в университетских уставах¹⁹ была сформулирована ее цель и определена организационная основа. Назначение цензуры состояло в том, чтобы «доставить обществу книги и сочинения, способствующие к истинному просвещению ума и образованию нравов, и удалить книги и сочинения, противные сему намерению»²⁰. Таким образом ее учредители, воплощая свое представление о просвещении, старались избежать требований, препятствовавших развитию наук, литературы, книгоиздания в России.

В соответствии с уставом цензура передавалась в ведение Министерства народного просвещения (с 1817 по 1824 г. – Министерства духовных дел и народного просвещения)²¹. В 1804–1826 гг. цензура подчинялась

¹⁵ Там же. Т. 27. № 20139.

¹⁶ Тогда территория Российской империи была разделена на шесть учебных округов: Петербургский, Московский, Дерптский, Харьковский, Казанский, Виленский (Там же. № 20598). Со временем их число увеличилось.

¹⁷ Там же. № 20597.

¹⁸ Устав о цензуре. СПб., 1804. См. также: ПСЗ. Т. 28. № 21388.

¹⁹ ПСЗ. Т. 27. № 20551; Т. 28. № 21498–21500; Т. 37. № 28302; Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. СПб., 1862. С. 200, 208; Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. СПб., 1864. Т. 1. Царствование императора Александра I. Стб. 8, 50, 169 – 171, 257, 265, 1299 – 1301.

²⁰ Устав о цензуре. СПб., 1804. С. 3.

²¹ Об организации цензуры в первой четверти XIX в. см.: [Шебальский П.К.]. Указ. соч. С. 6–12; Сухомлинов М.И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. СПб., 1889. Т. 1. С. 398–404; Скабичевский А.М. Указ. соч. С. 91–97, 115–116, 129; Рождественский С.В. Указ. соч. С. 100–104; Лемке М.К. Пропущенный юбилей... С. 44–58; Описание дел архива Министерства народного просвещения / Под ред. А.С. Николаева и С.А. Переселенкова. Пг., 1921. Т. 2. С. XI–XXXVII; Раскин Д.И. Исторические реалии российской государственности и русского гражданства в XIX веке // Из истории русской культуры. М., 1996. Т. 5. С. 720–721; Гринченко Н.А. Цензура в Прибалтике в первой половине XIX в. // Vārda brīvība, cenzūra, bibliotēkas. Konferenču materiālu krājums. Rīga, 14–17.10.1998. Рига, 1998. Pl. 33–35; Эльяшевич Д.А. Правительственная политика и еврейская печать в России: 1797–1917: Очерк истории цензуры. СПб.; Иерусалим, 1999. С. 96.

Главному правлению училищ²², осуществлявшему руководство всем учебным ведомством. Его членами становились государственные деятели: сенаторы, попечители учебных округов, представители Военного министерства и Министерства внутренних дел, духовного ведомства; были среди них литераторы и ученые, в том числе академики. Возглавляли цензурное ведомство министры народного просвещения.

По уставу 1804 г. основное место в организации цензуры отводилось университетам²³ – учреждениям просвещения и науки, располагавшим высоко интеллектуальными кадрами, которые, как подразумевалось, были способны в интересах государственной власти, прогресса науки и распространения образования в России оценить сочинения, предназначенные для печати. Профессор Дерптского университета Э.Г. Брекер, бывший цензором периодических изданий, писал по этому поводу:

Священная обязанность наблюдать за движением умов весьма справедливо вручается ученому сословию: ибо люди, получившие ученое образование, приобретают с тем вместе и уважение к просвещению и наукам, и способность оценивать их по достоинству, при том же, по роду занятий своих, они бывают более прочих беспристрастны и отдалены от мирских дел и интересов, и для того с большею основательностью могут содействовать к соделанию гласными явлений жизни государственной²⁴.

Внутренняя цензура возлагалась на цензурные комитеты, организованные при Московском²⁵, Дерптском²⁶, Виленском²⁷, Казанском²⁸, Харьковском университетах. Они подчинялись ректорам, которые получали все необходимые инструкции из Министерства народного просвещения через попечителя соответствующего учебного округа.

²² См.: *Матвеева М.В.* Главное правление училищ как цензурная инстанция // Вопросы отечественной истории. М., 2003. Вып. 3. С. 49–62.

²³ Издания Академии наук, Академии художеств и Российской академии подлежали собственной цензуре этих учреждений. В отдаленных городах для просмотра периодических изданий привлекались директора гимназий.

²⁴ *Брекер Э.Г.* Взгляд на цензуру и наблюдения над нею, собранные в течение восьмилетнего отправления цензурской должности // ЖМНП. 1835. Ч. 7. С. 495–496.

²⁵ *Сидоров А.А.* Московский комитет по делам печати: Исторический очерк. М., 1912. С. 7–9; *Гарьянова О.А.* Документальные материалы Московского цензурного комитета в государственном историческом архиве Московской области: Обзор материалов фонда за 1798–1865 гг. // Труды историко-архивного института. М., 1948. Т. IV. С. 2.

²⁶ *Петухов Е.В.* Императорский Юрьевский, бывший Дерптский университет за сто лет его существования (1802–1902): Исторический очерк. Юрьев, 1902. Т. 1. С. 207–211.

²⁷ *Крачковский Ю.Ф.* Исторический обзор деятельности Виленского учебного округа за первый период его существования: 1803–1832. Вильна, 1903. Отд. 1: 1803–1824. С. 255; *Умецкая Е.С.* История книгопечатания в Белоруссии в первой трети XIX века (1801–1832 гг.). Автореф. дис. ... канд. ист. наук / АН БССР. Институт истории. Минск, 1977. С. 6–12; *Куль-Сильвестрова С.Е.* Цензура в Белоруссии в первой трети XIX века (1795–1830) // Книга в пространстве культуры. М., 2000. С. 86.

²⁸ *Загоскин Н.П.* История Казанского университета за первые сто лет его существования, 1804–1904. Казань, 1902. Т. 2. С. 349–361; *Булич Н.Н.* Из первых лет Казанского университета (1805–1819): Рассказы по архивным документам. 2-е изд. СПб., 1904. Ч. 1. С. 550–554.

Цензорами становились деканы, каждый из которых рассматривал сочинения, относившиеся к его отделению. Должность секретаря занимал магистр. Состав комитетов был разным: в Дерпте в него входило пять чиновников, в Москве и Вильне — по четверо, в Харькове и Казани — по трое. Преподаватели не получали жалование за выполнение цензорских обязанностей.

Контролю этих комитетов подлежали сочинения, издававшиеся от университетов и ими получаемые из-за границы, а также все выходявшие в соответствующем учебном округе книги. Цензор просматривал рукопись, отмечал места, не соответствовавшие, по его мнению, цензурным правилам, затем отдавал ее на исправление автору, после чего подписывал к печати и в дальнейшем нес за нее ответственность.

В Петербурге цензурный комитет был образован из «ученых особ», проживавших в столице. Он подчинялся попечителю Петербургского учебного округа. В штате состояло три чиновника, каждый получал по 1200 р. серебром в год. На содержание комитета ежегодно выделялось 5350 р. серебром. В 1819 г., после основания Петербургского университета, комитет перешел под его управление²⁹, но без изменения состава: прежние цензоры не были заменены университетскими профессорами.

В первой четверти XIX в. наблюдается частая смена цензоров Министерства народного просвещения. Для преподавателей высших учебных заведений цензурные обязанности были дополнительным бременем, не связанным с их научной и педагогической деятельностью. Как правило, они не имели опыта работы в цензуре. Только двое занимали цензорские должности в конце XVIII столетия: А.А. Прокопович-Антонский в Москве и Х.К. Зон в Риге. Вместе с тем, некоторые чиновники, среди них и университетские преподаватели, продолжили службу в цензуре позднее: К.А. Ливен и С.С. Уваров – на посту министра народного просвещения, Л.Л. Карбоньер д'Арсит, А.С. Бируков, В.Д. Комовский, А.И. Красовский, К.К. фон Поль – в Главном цензурном комитете (так в 1826 – 1828 гг. назывался Санкт-Петербургский цензурный комитет), Л.С. Боровский, Н.М. Юргевич – в Виленском, Г. фон Эверс и И.Ф. фон Эрдман – в Дерптском, Ф.И. Эрдман – в Казанском цензурных комитетах, А.Ф. Спада – в Одессе.

* * *

Организация цензуры иностранной в первой четверти XIX в. находилась в стадии обсуждения и разработки³⁰.

²⁹ ПСЗ. Т. 36. № 27675.

³⁰ См.: *Рыжов А.И.* К вопросу о цензурном уставе // Отечественные записки. 1862. № 7. С. 3–4; *Скабичевский А.М.* Указ. соч. С. 115–117; Сборник исторических материалов, извлеченных из архива Собственной Его Императорского Величества Канцелярии / Под ред. Н.Ф. Дубровина. СПб., 1896. Вып. 8. С. 189–194; *Дубровин Н.Ф.* К истории русской цензуры (1814–1820 гг.) // Русская старина. 1900. № 12. С. 644–646, 652–654;

Александр I, восстановив свободный ввоз заграничной печатной продукции, возложил ответственность за ее распространение на книгопродавцев, которые обязывались подписками не продавать книг, «законам Божиим и гражданским противных и к соблазну явному клонящихся под опасением строгого ответа и взыскания по законам»³¹. Эти правила были закреплены и в цензурном уставе 1804 г., предоставившим российским читателям возможность свободно знакомиться с развитием европейской науки и литературы. В начале XIX в. просмотр книг, изданных за пределами Российской империи и ввезенных в страну, не являлся обязательным³². Параграф 27 устава гласил: «Книги и эстампы, выписываемые из-за границы книгопродавцами, не рассматриваются цензурой»³³. Все торговавшие зарубежными изданиями обязывались подписками не продавать то, что было запрещено. Книгопродавцы представляли в цензурные комитеты каталоги своих магазинов и обращались в цензурные органы только в случае сомнения: продавать книгу или нет.

Но уже в 1811 г. Александр I утвердил в составе образованного тогда Министерства полиции штат цензурного комитета³⁴, в ведении которого находилась «цензурная ревизия»: надзор за книгопродавцами и типографиями, цензура театральные сочинений и «вновь пропущенных из-за границы книг». С этого времени цензура иностранная стала подчиняться Особенной канцелярии – сначала Министерства полиции, а после его упразднения в 1819 г. – Министерства внутренних дел.

В 1810-е годы вопрос контроля за ввозимой в Россию зарубежной печатной продукцией рассматривался в ходе дискуссий о разграничении обязанностей в области цензуры между Министерством народного просвещения и полицией³⁵. Имелись две точки зрения на организацию цензуры иностранной. Сторонники одной (министры народного просвещения А.К. Разумовский и сменивший его А.Н. Голицын) считали, что меры контроля за европейскими изданиями в России, установленные уставом 1804 г., достаточны и не требуют изменений. К тому же обеспечить та-

Середонин С.М. Исторический обзор деятельности комитета министров. СПб., 1902. Т. 1. С. 392–393; *Семевский В.И.* Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909. С. 648–654; Описание дел архива Министерства народного просвещения. С. XXI–XXVII; *Федоров А.* Книги Гёте и «комитет цензуры иностранной» // Литературное наследство. 1932. Т. 4/6. С. 928; *Он же.* Генрих Гейне в царской цензуре // Там же. 1935. Т. 22/24. С. 637; *Оксман Ю.Г.* Очерк истории цензуры зарубежных изданий в России в первой трети XIX века // Учен. зап. Горьковского гос. ун-та им. Н.И. Лобачевского. 1965. Вып. 71. С.341–365; *Гринченко Н.А.* Организация цензуры иностранной в I четверти XIX в. // Книжное дело в России в XIX – начале XX века: Сб. научных трудов. СПб., 2004. Вып. 12. С. 75–89.

³¹ ПСЗ. Т. 27. № 20210.

³² Периодические издания, выписанные через почтамты, рассматривались учрежденной при них цензурой.

³³ Устав о цензуре. СПб., 1804. С. 11.

³⁴ ПСЗ. Т. 31. № 24687.

³⁵ О содержании этих дискуссий см. подробнее: Описание дел архива Министерства народного просвещения. С. XXV–XXVI; *Оксман Ю.Г.* Указ. соч. С. 350–353.

кой контроль, с их точки зрения, было практически невозможно из-за отсутствия квалифицированных и образованных сотрудников. Помимо этого, потери времени при прохождении книг через цензуру могли бы отрицательно сказаться на развитии отечественной книжной торговли, которая в то время рассматривалась как один из основных источников просвещения в России. Отстаивая свою позицию, Разумовский писал:

Привоз иностранных книг в России не есть обыкновенная отрасль торговли. Он есть один из больших источников добра и зла, просвещения и невежества; одна из главнейших пружин Высочайше вверенного мне Департамента. Если, с одной стороны, мы обязаны заимствовать у других народов, то, с другой, мы должны сильною рукою отклонять все опасное, избирая одно полезное, почитать отечественным все, что может служить к образованию духа народного и к распространению глубокого чувства общественного благоустройства³⁶.

Заслушав это мнение, Государственный совет в заседании 23 июля 1815 г. постановил оставить без изменения статьи цензурного устава.

Иной точки зрения придерживался министр полиции С.К. Вязмитинов. В 1814 г. он обратил внимание Комитета министров на отсутствие правил рассмотрения зарубежных изданий и надлежащего контроля за их распространением в России. По его предложению 17 октября 1814 г. было принято распоряжение, чтобы торгующие иностранными книгами представляли каталоги ранее не рассмотренных книг «политического, романического и исторического содержания»³⁷ через гражданских губернаторов в Министерство полиции, которому надлежало принимать решение о разрешении или запрете того или иного издания.

Несмотря на то что указ об организации цензурного комитета при Министерстве полиции датирован 1811 г., его открытие из-за событий Отечественной войны 1812 г. и разногласий по вопросам организации цензуры в целом состоялось только в мае 1816 г.³⁸ На содержание комитета выделялось ежегодно 14 500 р. серебром. Его возглавлял директор Особенной канцелярии Министерства полиции (затем – внутренних дел). До 1826 г. эту должность занимал Максимилиан (Максим) Яковлевич фон Фок (1774?–1831)³⁹. Комитет состоял из двух отделений⁴⁰. Одно осуществляло надзор за изданиями, вышедшими на русском языке; в его ведении находилась также театральная цензура. В обязанности другого

³⁶ РГИА. Ф. 733. Оп. 118. Д. 308. Л. 76.

³⁷ Там же. Ф. 733. Оп. 118. Д. 308. Л. 33 об.; Ф. 1163. Оп. 1 (1825). Д. 1. Л. 442.

³⁸ Там же. Ф. 1163. Оп. 1 (1825). Д. 1. Л. 452.

³⁹ Сведения о нем см.: Видок Фиглярин : Письма и агентурные записки Ф.В. Булгарина в III отделение / Изд. подготовил А.И. Рейтблат. М., 1998. С. 13; Война 1812 года и русское общество («Осведомительные письма» тайной полиции) / Публ. С.Н. Исколюя // Русско-французские культурные связи в эпоху Просвещения: Материалы и исследования. Памяти Г.С. Кучеренко / Отв. ред. С.Я. Карп. М., 2001. С. 244–359.

⁴⁰ РГИА. Ф. 1163. Оп. 1 (1825). Д. 1. Л. 452–459. В состав комитета входила также библиотека, в которую передавался один экземпляр каждого запрещенного издания.

входил просмотр зарубежных книг. Комитет состоял из двух секретарей (должность цензора как таковая отсутствовала), библиотекаря и четырех писцов⁴¹. В конце 1810-х годов цензуру иностранную осуществлял Г.В. Лерхе⁴², в 1820 г. его сменил Д.И. Гуммель⁴³.

В 1810–1820-е годы чиновники не имели четких инструкций по цензурованию иностранных книг, при составлении рапортов они опирались на общие положения устава. По свидетельству Фока,

⟨...⟩ цензурный комитет не получал в руководство постоянное никаких правил ни в рассуждении устройства внутреннего, ни касательно рассмотрения книг. Обсуждая книги, чиновники следовали внушениям рассудка и общим началам всякой благонамеренной цензуры. Они обращали строгое внимание на все то, что могло казаться противным религии, нравственности, благочиния, государственному правлению, политическим соотношениям и Священной Особе Государя. В сочинениях исторических старались они предотвращать обращение ложных повествований, вымышленных нередко иностранцами, дабы возмутить презрение к народу русскому и помрачить славу и счастье онаго. Мода конституций, фанатизм либералов, возмутительные мысли и рассуждения, привлекающие в многообразных личинах и скрывающиеся даже в романах, вся, наконец, современная политическая система наносили многотрудные заботы цензуре ⟨...⟩⁴⁴

В эти годы порядок рассмотрения заграничных изданий был следующий. Книгопродавцы были обязаны представить списки (фактуры) полученных ими книг местному гражданскому начальству, которое передавало их на рассмотрение в Министерство полиции (затем – внутренних дел). Цензурный комитет, установив названия книг, которые ранее не были рассмотрены, требовал их представления в цензуру. Запрещенные издания высылались за границу.

⁴¹ Персональный состав этого комитета см.: *Гринченко Н.А.* Организация цензуры иностранной в I четверти XIX в. С. 83–87.

⁴² Густав Васильевич Лерхе (1790 – после 1861) окончил Геттингенский университет со званием доктора права. С 1810 г. состоял на российской службе. В 1811 г. определен в Особенную канцелярию Министерства полиции. В 1816 – 1820 гг. – цензор цензурного комитета Министерства полиции (затем – внутренних дел). Потом состоял на службе в Министерстве финансов и Комиссариатском штате (РГИА. Ф. 735. Оп. 7. Д. 102. Л. 7–16; Ф. 1163. Оп. 1 (1825). Д. 1. Л. 522. См. также: *Затворницкий Н.М.* Указатель биографических сведений, архивных и литературных материалов, касающихся чинов общего состава по канцелярии Военного министерства с 1802 до 1902 г. включительно. СПб., 1909. С. 171–172).

⁴³ Давид Иванович (Арвид Давид) Гуммель (1789?–1836) в 1805 г. был принят на российскую службу. Затем состоял секретарем-переводчиком шведской миссии в России. В 1812 г. принимал участие в переговорах о мире между Россией и Портой Оттоманской. В 1813 г. определен в Министерство народного просвещения. С 1816 г. состоял библиотекарем, а с 1820 г. – цензором по иностранной части в цензурном комитете Министерства внутренних дел (РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Д. 194, 334, 1452; Ф. 779. Оп. 1. Д. 1).

⁴⁴ Там же. Ф. 1163. Оп. 1 (1825). Д. 1. Л. 580 об.–581.

Фактуры содержали только названия книг без указания количества экземпляров, которое могло быть объявлено любое. Поэтому в случае запрета книги невозможно было установить, все ли экземпляры изъяты из торговли. Рассматривая только фактуры, цензоры полагались на верность показаний торговавших:

Неясные правила оставляли многое для произвола и [на] добрую волю книгопродавцев. Цензура привыкла их принимать за честных людей и не имела способов принудить (подчеркнуто в тексте. – Н.Г.) их быть откровенными, она полагала, что даваемыми позволениями она уменьшит в них желание к обману, если они о том помышляли⁴⁵.

Продажа запрещенных книг частным лицам осуществлялась через книгопродавцев, которые подавали прошение в комитет и тем самым брали на себя ответственность за распространение запрещенного издания. После получения цензорского разрешения книга могла быть продана, но только «лицу известному и благонамеренному»⁴⁶.

Неэффективность цензурного контроля за зарубежными изданиями в тот период⁴⁷ иллюстрирует пример распространения в России энциклопедии *Conversations Lexicon* (позднее – *Real Encyclopedie*)⁴⁸, неоднократно переизданной в начале XIX в. в Лейпциге⁴⁹.

До 1815 г. издание свободно продавалось в России. Затем по распоряжению С.К. Вязмитинова оно было запрещено. Но и тогда возможна была продажа энциклопедии, только после изъятия отдельных страниц. С 1816 г. запрету подлежало все издание.

На основании доноса М.Л. Магницкого в 1825 г. против энциклопедии и лиц, причастных к ее распространению, было возбуждено расследование. По распоряжению Александра I оно было поручено Комитету охранения общей безопасности (так называемому Комитету 13 января 1807 г.). В протоколе его первого заседания, состоявшегося 20 июля 1825 г., издание характеризовалось следующим образом:

⁴⁵ Там же. Л. 554–554 об.

⁴⁶ Там же. Л. 558.

⁴⁷ Вполне очевидно, что запрещение того или иного зарубежного издания в России было условным, так как с ним можно было ознакомиться за границей или нелегально доставить в страну. См.: *Сиповский В.В.* Указ. соч. С. 164; *Лемке М.К.* Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. СПб., 1904. С. 237; *Айзеншток И.Я., Полянская Л.И.* Французские писатели в оценках царской цензуры // Литературное наследство. М., 1939. Т. 33/34. С. 788–789; *Гусман Л.Ю.* История несостоявшейся реформы: Проекты преобразований цензуры иностранных изданий в России (1861–1881 гг.). М., 2001. С. 123–132.

⁴⁸ *Conversations-Lexicon oder Handwörterbuch.* Leipzig, 1796–1811. 6 Bde.; 2-е Aufl. Leipzig, 1796–1811. 7 Bde.; 3-е Aufl. Leipzig, 1814–1818. 10 Bde.; *Conversations-Lexicon oder Handwörterbuch = Real-Encyclopädie.* 4-е Aufl. Leipzig, 1818–1819. 10 Bde.; 5-е Aufl. Leipzig, 1820–1821. 10 Bde.; 6-е Aufl. Leipzig, 1823–1824. 10 Bde.

⁴⁹ См. подробнее: *Гринченко Н.А.* «Conversations-Lexicon» и его цензурная история в России // Книга: Исследования и материалы. М., 2005. Сб. 83. С. 245–253.

По тому примеру, как перед французской революцией издана была энциклопедия, ныне в Германии вышла энциклопедия под названием *Real Encyclopedie*. Ужаснейшей книги никогда не выходило. В ней всевозможные материи по алфавитному порядку объаты, потравлены самым смертным ядом нечестия и возмутительности. Божество Иисуса Христа и девство пречистой Его Матери открыто отвергаются, а после Царя Небесного и Наш Царь Земной самую адскою клеветою поруган⁵⁰.

В энциклопедии содержались сведения о смерти Петра III, Павла I, упоминания которых были запрещены в России, а также недопустимые отзывы о других российских монархах.

Следовало выяснить, на основании чьих распоряжений действовали цензоры, допустившие эту энциклопедию к распространению; в каких книжных магазинах она имела; сколько экземпляров было продано и кому. Предписывалось открыть и «вывести ясно» главных виновников. К ответу были привлечены книгопродавцы (В. Грефф, Ш. Фе, Ф. де Сен-Флоран), директор Особенной канцелярии М.Я. фон Фок, а также цензоры Г.В. Лерхе и Д.И. Гуммель.

Следствие обнаружило неразработанность правил по цензуре иностранной⁵¹. Делопроизводство в комитете отсутствовало: рапорт на энциклопедию не обнаружили, по-видимому, он не был составлен. Книгопродавцы не имели расписок о продаже запрещенных томов, не знали, кто и сколько купил экземпляров. Когда в ходе следствия выяснилось, что распространение энциклопедии, по сути незаконное, осуществлялось на основании цензурных разрешений, правда передававшихся в устной форме, цензоры были арестованы и заключены в Петропавловскую крепость, где содержались 23 дня⁵². Но поскольку, как установило расследование, цензура иностранная не была регламентирована законом, они были признаны невиновными⁵³ и освобождены⁵⁴.

⁵⁰ РГИА. Ф. 1163. Оп. 1 (1825). Д. 1. Л. 4.

⁵¹ По словам Фока, «правила по цензуре утверждены не были и не были приняты в руководство. Все действия цензуры основывались на личных приказах министра» (Там же. Л. 568 об.).

⁵² См.: *Греч Н.И.* Записки о моей жизни. М.; Л., 1930. С. 420–421.

⁵³ Вина за незаконное распространение энциклопедии была возложена на С.К. Вязмитинова (1744–1819), который допустил, по мнению следствия, беспорядки в цензуре.

⁵⁴ РГИА. Ф. 1163. Оп. 1 (1825). Д. 1. Л. 706–709 об. После освобождения из крепости Лерхе и Гуммель продолжили службу в России. Лерхе в 1828 г. был определен в Комитет для начертания проекта общего устава евангелическо-протестантской церкви в России, а в 1832 г. переведен чиновником особых поручений в Департамент духовных дел иностранных исповеданий. В 1833 г. назначен членом евангелическо-лютеранской генеральной консистории. С 1836 по 1847 г. – юрист-консульт Военного министерства. Затем состоял постоянным членом от правительства при управлении Главного немецкого училища евангелическо-лютеранской церкви св. Петра в Петербурге и председателем совета этой церкви (Там же. Ф. 735. Оп. 7. Д. 102. Л. 7–16). Гуммель в 1826 г. был уполномочен из цензурного комитета и определен чиновником особых поручений при министре внутренних дел. Затем снова продолжил службу в цензурном ведомстве. С 1828 по 1831 г. был старшим цензором Комитета цензуры иностранной.

Лерхе и Гуммель дали подписку о невыезде из Петербурга, обязуясь не сообщать никому, где они были и по какому поводу. Вскоре Николай I «повелел считать дело (арест. – *Н.Г.*) как бы не существовавшим»⁵⁵.

В первые годы царствования Николая I был разработан и принят устав для цензуры иностранной⁵⁶, прошла ее реорганизация: до 1917 г. контроль зарубежной печатной продукции в России осуществлял Комитет цензуры иностранной.

С 1828 г. внутренняя и иностранная цензура были объединены и подчинены Министерству народного просвещения, а с 1863 по 1917 г. находились в ведении Министерства внутренних дел⁵⁷.

* * *

Ниже публикуются списки членов центральных цензурных учреждений Министерства народного просвещения и цензурных комитетов при университетах за 1804–1826 гг. – период действия первого цензурного устава. Фамилии министров и председателей комитетов приводятся в хронологической последовательности, фамилии цензоров – в алфавите. Списки чиновников цензурного ведомства расположены в алфавите городов.

⁵⁵ Там же. Ф. 772. Оп. 1. Д. 194. Л. 10.

⁵⁶ Все положения, относящиеся к цензуре иностранной, отражены в цензурном уставе 1828 г. (Устав о цензуре. СПб., 1829. С. 39–58).

⁵⁷ См. подробнее: *Патрушева Н.Г.* История цензурных учреждений в России во второй половине XIX – начале XX века // Книжное дело в России во второй половине XIX – начале XX века. Сб. научных трудов. СПб., 2000. Вып. 10. С. 7–48; *Гринченко Н.А.* История цензурных учреждений в России в первой половине XIX в. // Цензура в России: История и современность: Сб. научных трудов. СПб., 2001. Вып. 1. С. 15–46; Комитет цензуры иностранной в Петербурге, 1828–1917: Документы и материалы / Сост. Н.А. Гринченко, Н.Г. Патрушева. СПб., 2006. 264 с.

МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ.
ЦЕНЗУРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 1804–1826.
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ⁵⁸.

Руководители цензурного ведомства⁵⁹

Завадовский Петр Васильевич (1738–1812) – министр в 1802–1810.
Разумовский Алексей Кириллович (1748–1822) – министр в 1810–1816.

Голицын Александр Николаевич (1773–1844) – министр в 1816–1824.

Шишков Александр Семенович (1754–1841) – министр в 1824–1828.

Главное правление училищ

Адеркас Эммануил Богданович (1782– ?) – член Главного правления училищ в 1810–1826.

Бороздин Константин Матвеевич (1781–1848) – член Главного правления училищ в 1826–1827.

Виельгорский Михаил Юрьевич (1788–1856) – член Главного правления училищ в 1826–1827.

Голенищев-Кутузов Павел Иванович (1767–1829) – член Главного правления училищ в 1810–1816.

Дивов Павел Гаврилович (1765–1841) – член Главного правления училищ в 1810–1826.

Иннокентий (Смирнов Илларион Дмитриевич, 1784–1819) – член Главного правления училищ в 1818–1819.

⁵⁸ Источниками списка цензурного ведомства Министерства народного просвещения за 1804–1826 гг. являются фонды РГИА и справочные издания: Адрес-календарь: Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской империи. СПб., 1804–1826; Биографический словарь профессоров Московского университета за истекающее столетие со дня учреждения 12 января 1755 г. по день столетнего юбилея 12 января 1855 г., составленный трудами профессоров и преподавателей, занимавших кафедры в 1854 г., и расположенный по азбучному порядку. М., 1855. Ч. 1–2; Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Юрьевского, бывшего Дерптского университета за сто лет его существования (1802–1902) / Под ред. Г.В. Левицкого. Юрьев, 1902–1903. Т. 1–2; Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского университета за сто лет (1804–1904) / Под ред. Н.П. Загоскина. Казань, 1904. Ч. 1–2; Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905). Харьков, 1908; Медицинский факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905). Харьков, 1908; Физико-математический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905). Харьков, 1908; Юридический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905). Харьков, 1908.

⁵⁹ Биографические данные и сведения о службе министров народного просвещения см.: *Шилов Д.Н.* Государственные деятели Российской империи: Главы высших и центральных учреждений, 1802–1917: Биобиблиографический справочник. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2002. С. 185–187, 273–276, 620–622, 842–846.

Казадаев Александр Васильевич (1776 или 1781–1854) – член Главного правления училищ в 1825–1826.

Карбоньер д' Арсит Лев Львович (1770–1836) – член Главного правления училищ в 1825–1826.

Клинггер Федор Иванович (1752–1831) – член Главного правления училищ в 1805–1816.

Корнеев Захар Яковлевич – член Главного правления училищ в 1818–1824.

Крузенштерн Иван Федорович (1770–1846) – член Главного правления училищ в 1825–1826.

Лаваль Иван Степанович (?–1846) – член Главного правления училищ в 1818–1826.

Ливен Карл Андреевич (1767–1844) – член Главного правления училищ в 1819–1826.

Магницкий Михаил Леонтьевич (1778–1844) – член Главного правления училищ в 1819–1825.

Мартынов Иван Иванович (1771–1833) – член Главного правления училищ в 1818–1826.

Мещерский Петр Сергеевич (1778–1856) – член Главного правления училищ в 1817–1826.

Муравьев Михаил Никитович (1757–1807) – член Главного правления училищ в 1805–1807.

Муравьев-Апостол Иван Матвеевич (1762–1851) – член Главного правления училищ в 1824–1826.

Новосильцев Николай Николаевич (1762–1838) – член Главного правления училищ в 1804–1810.

Оболенский Андрей Петрович (1769?–1852) – член Главного правления училищ в 1817–1825.

Озерецковский Николай Яковлевич (1750–1827) – член Главного правления училищ в 1805–1826.

Перовский Алексей Алексеевич (1787–1836) – член Главного правления училищ в 1825–1826.

Платер Логин Казимирович (?–?) – член Главного правления училищ в 1806–1826.

Потоцкий Северин Осипович (1762–1829) – член Главного правления училищ в 1805–1816.

Разумовский Алексей Кириллович (1748–1822) – член Главного правления училищ в 1807–1809.

Рикорд Петр Иванович (1776–1855) – член Главного правления училищ в 1825–1826.

Румовский Степан Яковлевич (1734–1812) – член Главного правления училищ в 1805–1812.

Рунич Дмитрий Павлович (1778–1860) – член Главного правления училищ в 1819–1825.

Салтыков Михаил Александрович (1767–1851) – член Главного правления училищ в 1813–1818.

Сарычев Гаврила Андреевич (1764–1831) – член Главного правления училищ в 1825–1826.

Свистунов Петр Семенович (1732–1808) – член Главного правления училищ в 1805–1807.

Соколов Петр Иванович (1764–1835) – член Главного правления училищ в 1825–1826.

Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) – член Главного правления училищ в 1810–1812.

Строганов Павел Александрович (1772–1817) – член Главного правления училищ в 1805–1816.

Стурдза Александр Скарлатович (1791–1854) – член Главного правления училищ в 1818–1826.

Уваров Сергей Семенович (1786–1855) – член Главного правления училищ в 1810–1821.

Филарет (Дроздов Василий Михайлович, 1783–1867) – член Главного правления училищ в 1818–1821.

Фитингоф-Шель Борис Иванович (1767–1829) – член Главного правления училищ в 1822–1826.

Франк Петр Николаевич (?–?) – член Главного правления училищ в 1806–1808.

Фус Николай Иванович (1755–1825) – член Главного правления училищ в 1805–1825.

Хитрово Николай Федорович – член Главного правления училищ в 1805–1819.

Чарторыжский Адам Адамович (1770–1861) – член Главного правления училищ в 1805–1822.

Шихматов Сергей Александрович (1783–1837) – член Главного правления училищ в 1825–1826.

Штер Матвей Петрович (1775–1847) – член Главного правления училищ в 1819–1826.

Янкович де Миреево Федор Иванович (1741–1814) – член Главного правления училищ в 1805–1814.

ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТ
ПРИ ВИЛЕНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Председатели

Стржемен-Стройновский Иероним Бенедиктович (1752–1815) – председатель в 1805–1806.

Мицкевич Иосиф Иванович (1741 или 1744–1817) – председатель в 1807.

Снядецкий Иван Андреевич (1756–1830) – председатель в 1808–1815.

Лобенвейн Иван Францевич (1758–1820) – председатель в 1816.

Малевский Семен Андреевич (1759–1832) – председатель в 1817–1821.

Твардовский Осип Петрович (1786–1840) – председатель в 1822–1823.

Пеликан Венцеслав Венцеславович (1790–1873) – председатель в 1824–1826.

Цензоры

Бекю Август Логинович (1771–1824) – профессор патологии и физиологии, цензор в 1807–1810, 1817–1823.

Бобровский Михаил Кириллович (1784–1848) – профессор философии, цензор в 1823.

Боровский Лев Севастьянович (1784 или 1785–1846) – профессор филологии, цензор в 1823–1825.

Богуславский Константин Игнатъевич (1754–1819) – профессор богословия, цензор в 1805–1806.

Голянский Филипп Осипович (1753–1824) – профессор богословия, цензор в 1805–1813, 1817–1822.

Гроддек Эрнест Вениаминович (1762–1825) – профессор греческого языка и словесности, цензор в 1809, 1814–1816.

Жуковский Семен Иванович (1782–1834) – преподаватель греческого и еврейского языков, цензор в 1824–1825.

Изоицкий Виталис Антонович – секретарь цензурного комитета в 1805–1806.

Клонгевич Андрей Михайлович (1765 или 1767–1841) – профессор богословия, цензор в 1821.

Матусевич Андрей Михайлович (1760? –1816) – доктор медицины, цензор в 1805–1806, 1811–1813.

Мержеевский Феликс Иванович (1783?–?) – секретарь цензурного комитета в 1808–1814, 1819–1822.

Мицкевич Иосиф Иванович (1741 или 1744–1817) – профессор физики и математики, цензор в 1808–1811.

Немчевский Захарий Яковлевич (1766 или 1768–1820) – профессор математики, цензор в 1814–1818.

Нишковский Фридрих Павлович (1774–1816) – профессор хирургии, цензор в 1814–1816.

Порчанко Константин Иванович (1793–1841) – профессор общей терапии, цензор в 1824.

Решка Игнатий Яковлевич (1756 или 1760–1830) – профессор философии, цензор в 1805–1806, 1812–1813, 1818–1825.

Томашевский Август Тимофеевич (1759–1814) – профессор богословия, цензор в 1807–1808, 1810–1813.

Ходани Иван Яковлевич (1769–1823) – профессор богословия, цензор в 1814–1818.

Юргевич Норберт Матвеевич (1791?–?) – магистр права, секретарь цензурного комитета в 1825.

ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТ
ПРИ ДЕРПТСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Председатели

Балк Даниэль Георг (1764–1826) – председатель в 1804.

Гаспари Адам Христиан (1752–1830) – председатель в 1805.

Паррот Георг Фридрих (1767–1840) – председатель в 1806.

Мейер Карл Фридрих (1757–1817) – председатель в 1807–1808.

Дейч фон Христиан Фридрих (1768–1843) – председатель в 1809–1810.

Гриндель Давид Иероним (1776–1836) – председатель в 1811–1812.

Паррот Георг Фридрих (1767–1840) – председатель в 1813.

Стикс Мартин Эрнст (1759–1829) – председатель в 1814.

Рамбах Фридрих Эбергард (1767–1826) – председатель в 1815–1816.

Гизе Иоганн Эмануэль Фердинанд (1781–1821) – председатель в 1817.

Эверс фон Иоганн Филипп Густав (1781–1830) – председатель в 1818–1828.

Цензоры

Балк Даниэль Георг (1764–1826) – профессор патологии и клиники, цензор в 1805, 1809, 1812, 1816.

Бартельс Иоганн Мартин Христиан (1769–1836) – профессор математики, цензор в 1821, 1825.

Белендорф Герман Леопольд (1773–1828) – профессор богословия, цензор в 1808, 1810, 1812, 1815, 1817–1819, 1822.

Бурдах Карл Фридрих (1776–1847) – профессор анатомии и физиологии, цензор в 1813.

Гаспари Адам Христиан (1752–1830) – профессор истории, статистики и географии России, цензор в 1807.

Генци Самуил Готлиб Рудольф (1794–1829) – профессор богословия, цензор в 1821, 1823–1824.

Герман Готфрид Альберт (?–1809) – профессор естественной истории, цензор в 1807.

Гецель Вильгельм Фридрих (1754–1824) – профессор богословия, цензор в 1807, 1809, 1811, 1814.

Гизе Иоганн Эмануэль Фердинанд (1781–1821) – профессор химии, цензор в 1816, 1818.

Глинка Григорий Андреевич (1774–1818) – профессор российской словесности, цензор в 1805.

Горн Иоганн (1779–?) – профессор богословия, цензор в 1806.

Гриндель Давид Иероним (1776–1836) – профессор химии и фармацевции, цензор в 1808.

Гут Иоганн Сигизмунд (1763–1817) – профессор математики, цензор в 1813, 1816.

Дабелов фон Христофор Христиан (1768–1830) – профессор права, цензор в 1819–1820, 1822–1823, 1825.

Дейч фон Христиан Фридрих (1768–1843) – профессор акушерства и ветеринарии, цензор в 1807, 1811, 1814, 1820.

Еше Готлиб Вениамин (1762–1842) – профессор философии, цензор в 1806, 1809, 1814, 1817–1819, 1824.

Залеман Бернгард Георг (1770–1835) – секретарь цензурного комитета в 1823–1826.

Зегельбах Христиан Фридрих (1763–1842) – профессор богословия, цензор в 1813, 1816, 1818, 1820.

Изенфлам Генрих Фридрих (1771–1825) – профессор анатомии, физиологии и судебной медицины, цензор в 1806.

Кехи Христиан Генрих Готлиб (1769–1828) – профессор права, цензор в 1806–1807, 1810.

Клосиус Вальтер Фридрих (1795 или 1796–1838) – профессор права, цензор в 1824.

Краузе Иоганн Вильгельм (1757–1828) – профессор сельского хозяйства, технологии и гражданской архитектуры, цензор в 1811.

Лампе Фридрих (1781–1823) – профессор права, цензор в 1815, 1821.

Ледебур Карл Христиан Фридрих (1785–1851) – профессор естественной истории, цензор в 1814, 1815, 1819.

Мейер Карл Фридрих (1757–1817) – профессор права, цензор в 1804, 1809, 1812–1814, 1816–1818.

Мойер Иоганн Христиан (1786–1858) – профессор хирургии, цензор в 1822.

Моргенштерн Карл (1770–1852) – профессор классической филологии, цензор в 1804, 1811, 1815, 1818, 1820.

Мютель Иоганн Людвиг (1763–1812) – профессор права, цензор в 1808, 1811.

Озани Готфрид Вильгельм (1797–1866) – профессор химии и фармацевции, цензор в 1823, 1825.

Паррот Георг Фридрих (1767–1840) – профессор физики, цензор в 1804, 1809, 1814, 1817–1818, 1823.

Первошиков Василий Матвеевич (1785–1851) – профессор русской словесности, цензор в 1823.

Петерсен Карл Фридрих Людвиг (1775–1822) – заместитель лектора немецкого языка, секретарь цензурного комитета в 1802–1822.

Пешман Георг Фридрих (1768–1812) – профессор всеобщей истории, статистики и географии, цензор в 1810.

Пфафф Иоганн Вильгельм (1774–1835) – профессор математики, цензор в 1808.

Рамбах Фридрих Эбергард (1767–1826) – профессор камеральных наук, финансов и торговли, цензор в 1805, 1812, 1820.

Розенмюллер Христиан Даниэль (1762–1823) – профессор права, цензор в 1805.

Сарториус Эрнст Вильгельм Христиан (1797–1859) — профессор богословия, цензор в 1825.

Стикс Мартин Эрнст (1759–1829) – профессор анатомии и судебной медицины, цензор в 1804, 1808, 1810, 1815, 1819, 1825.

Струве Людвиг Август (1795–1828) – профессор терапии, цензор в 1824.

Франке Иоганн Валентин (1792–1830) – профессор классической филологии, цензор в 1821.

Цизориус Людвиг Эмиль (1770–1829) – профессор анатомии, физиологии и судебной медицины, цензор в 1821.

Эверс фон Иоганн Филипп Густав (1781–1830) – профессор истории, географии и статистики России, цензор в 1812.

Эверс Лоренц (1742–1830) – профессор богословия, цензор в 1805.

Эльснер фон Фридрих Готлиб (1771–1832) – профессор военных наук, цензор в 1806, 1810.

Энгельгардт фон Мориц Фридрих (1779–1842) – профессор естественной истории, цензор в 1821, 1822, 1824.

Эрдман фон Иоганн Фридрих (1778–1846) – профессор терапии, цензор в 1818.

ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТ
ПРИ КАЗАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ⁶⁰

Председатели

Браун Иван Осипович (1777–1819) – председатель в 1813–1818.

Солнцев Гавриил Ильич (1786–1866) – председатель в 1819–1820.

Никольский Григорий Борисович (1785–1844) – председатель в 1820–1823.

Фукс Карл Федорович (1776–1846) – председатель в 1824–1826.

⁶⁰ Несмотря на то что указ об открытии университета в Казани был подписан в 1804 г., его организация затянулась, и несколько лет он существовал вместе с гимназией под руководством ее директора. Первый ректор был назначен только в 1813 г. Тем не менее по распоряжению попечителя Казанского учебного округа Цензурный комитет при Казанском университете был открыт в 1807 г. (*Загоскин Н.П.* История Императорского Казанского университета за первые сто лет его существования: 1804–1904. Казань, 1902. Т. 2. Ч. 2: 1814–1819. С. 360).

Цензоры

Алехин Николай Михайлович (1794–1819) – адъюнкт правоведения, цензор в 1815, 1816–1818.

Бартельс Мартин Федорович (1769–1836) – профессор математики, цензор в 1814, 1816–1818.

Булыгин Владимир Яковлевич (1789–1838) – профессор российской истории, географии, статистики, секретарь цензурного комитета в 1819, 1821, 1822, 1823, цензор в 1824.

Вердерамо Эммануил Осипович (1778–?) – профессор хирургии, цензор в 1817–1819.

Герман Мартин Иванович (1755–1822) – профессор филологии, цензор в 1807 – 1815.

Городчанинов Григорий Николаевич (1772–1852) – профессор российской словесности, цензор в 1807–1814, 1818–1826.

Грацинский Иван Фролович (1804–?) – преподаватель географии, секретарь цензурного комитета в 1826.

Ерохов Иван Калининкович (1794–?) – профессор ветеринарии, цензор в 1825.

Запольский Иван Ипатович (1773–1810) – профессор прикладной математики и опытной физики, цензор в 1807–1810.

Караблинов Яков Минич (1789–?) – профессор древностей и латинского языка, цензор в 1825.

Краузе Иван Федорович (1787–?) – адъюнкт французской словесности, секретарь цензурного комитета в 1824–1825.

Лобачевский Николай Иванович (1793–1856) – профессор математики, цензор в 1821, 1823–1826.

Пальмин Михаил Архипович (1783–?) – профессор философии и политической экономии, цензор в 1820–1821.

Симонов Иван Михайлович (1794–1855) – профессор астрономии, цензор в 1822.

Солнцев Гавриил Ильич (1786–1866) – профессор права, цензор в 1818.

Срезневский Иосиф Евсеевич (1780–?) – профессор философии, секретарь цензурного комитета в 1812–1814.

Фогель Людовик Лаврентьевич (1772–1840) – профессор хирургии, цензор в 1823–1824.

Френ Христиан Данилович (1782–1851) – профессор восточной словесности, цензор в 1816.

Фукс Карл Федорович (1776–1846) – профессор терапии, цензор в 1820–1822.

Цеплин Петр Андреевич (1772–1832) – профессор всеобщей истории, географии и статистики, цензор в 1815–1818.

Эрдман фон Иоганн Фридрих (1778–1846) – профессор терапии, цензор в 1815–1816.

Эрдман Франц (Федор) Иванович (1793–1863) – профессор восточной словесности, цензор в 1822–1826.

Эрих Иван Иванович (1755–?) – профессор греческого языка и древностей, цензор в 1810–1814, 1817–1818.

ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТ
ПРИ МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Председатели

Чеботарев Харитон Андреевич (1746–1815) – председатель в 1804–1805.

Страхов Петр Иванович (1757–1813) – председатель в 1806–1807.

Баузе Федор Григорьевич (1752–1812) – председатель в 1808.

Гейм Иван Андреевич (1758–1821) – председатель в 1809–1818.

Прокопович-Антонский Антон Антонович (1762–1848) – председатель в 1819–1825.

Цензоры

Баузе Федор Григорьевич (1752–1812) – профессор права, цензор в 1804–1806.

Брянцев Андрей Михайлович (1749–1821) – профессор философии, цензор в 1809, 1812–1813, 1818.

Буле Иоганн Теофил (1763–1821) – профессор права и теории изящных искусств, цензор в 1805.

Венсович Иван Федорович (1769–1811) – профессор анатомии, физиологии и судебной медицины, цензор в 1810.

Гейм Иван Андреевич (1758–1821) – профессор всемирной истории, статистики и географии, цензор в 1806–1808, 1819.

Гильтебрандт Федор Андреевич (1773–1845) – профессор хирургии, цензор в 1812–1813.

Двигубский Иван Алексеевич (1771–1839) – профессор физики и естественной истории, цензор в 1810, 1818–1826.

Каченовский Михаил Трофимович (1775–1842) – профессор русской и всеобщей истории и статистики, цензор в 1814.

Керестури Франц Францевич (1735–1811) – профессор анатомии и хирургии, цензор в 1804, 1805.

Котельницкий Василий Михайлович (1770–1844) – профессор фармацеи, цензор в 1810, 1815–1816, 1826.

Маттеи Христиан Фридрих (1744–1811) – профессор греческой и латинской словесности, цензор в 1809–1810.

Мерзляков Алексей Федорович (1778–1830) – профессор филологии, цензор в 1818, 1820–1826.

Мудров Матвей Яковлевич (1772–1831) – профессор патологии, терапии и клиники, цензор в 1814, 1819.

Мухин Ефрем Осипович (1766–1850) – профессор анатомии, физиологии и судебной медицины, цензор в 1817, 1820–1825.

Панкевич Михаил Иванович (1757–1812) – профессор математики, цензор в 1806–1808, 1812.

Победоносцев Петр Васильевич (1771–1843) – профессор российской словесности, секретарь цензурного комитета в 1811–1827.

Политковский Федор Герасимович (1756–1809) – профессор натуральной истории, медицины и химии, цензор в 1806–1807.

Прокопович-Антонский Антон Антонович (1762–1848) – профессор истории, цензор 1804, 1805, 1809, 1814–1817.

Рейнгард Филипп Христиан (1764–1812) – профессор философии, цензор в 1807–1808.

Рихтер Вильгельм Михайлович (1767–1822) – профессор медицины, цензор в 1808–1809.

Сандунов Николай Николаевич (1769–1832) – профессор законовения и судопроизводства, цензор в 1815–1816, 1819–1820.

Снегирев Михаил Матвеевич (1760–1820) – профессор права, цензор в 1805, секретарь цензурного комитета в 1806–1810, 1814.

Страхов Петр Иванович (1757–1813) – профессор физики, цензор в 1804, 1805, 1810.

Тимковский Роман Федорович (1785–1820) – профессор римской и греческой словесности, цензор в 1815–1817.

Цветаев Лев Алексеевич (1777–1835) – профессор права, цензор в 1810, 1817, 1821–1826.

Черепанов Никифор Евтропиевич (1763–1823) – профессор всемирной истории, географии и статистики, цензор в 1804, 1805, 1810.

Шлецер Христиан Август (1774–1831) – профессор политической экономии и дипломатики, цензор в 1810.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТ

Председатели

Новосильцев Николай Николаевич (1762–1838) – председатель в 1804–1810.

Уваров Сергей Семенович (1786–1855) – председатель в 1810–1821.

Рунич Дмитрий Павлович (1778–1860) – председатель в 1821–1826.

Цензоры

Бируков Александр Степанович (1774–1844) – цензор в 1821–1826.

Василевский Степан Васильевич (1778–?) – секретарь цензурного комитета в 1815–1822.

Греч Николай Иванович (1787–1867) – педагог, филолог-славист, издатель, публицист, секретарь цензурного комитета в 1813–1815.

Журавлев Александр Николаевич (1772?–1831) – секретарь цензурного комитета в 1821.

Зон Христиан Карлович (1758?–1827) – цензор в 1804–1819.

Комовский Василий Дмитриевич (1803–1851) – критик, переводчик, библиограф, секретарь цензурного комитета в 1824–1826.

Красовский Александр Иванович (1776 или 1780–1857) – цензор в 1821–1826.

Красовский Василий Иванович (1782–1824) – поэт, переводчик, секретарь цензурного комитета в 1804–1813.

Пенинский Иван Степанович (1791–1868) – переводчик, писатель, секретарь цензурного комитета в 1822–1824.

Поль фон Карл Карлович (1795?–?) – цензор в 1820–1826.

Спада Антон Францевич (1779?–1843) – цензор в 1814–1819.

Тимковский Иван Осипович (1769–1837) – врач, цензор в 1804–1821.

Ястребцов Иван Иванович (1776–1839) – писатель, переводчик, цензор в 1820–1821.

Яценков Григорий Максимович (1778–1852) – переводчик, издатель, цензор в 1804–1820.

ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТ
ПРИ ХАРЬКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Председатели

Рижский Иван Степанович (1759–1811) – председатель в 1805–1806.

Стойкович Афанасий Иванович (1775–1832) – председатель в 1807–1808.

Рижский Иван Степанович (1759–1811) – председатель в 1809–1810.

Стойкович Афанасий Иванович (1775–1832) – председатель в 1811–1813.

Осиповский Тимофей Федорович (1765–1832) – председатель в 1814–1820.

Джунковский Василий Яковлевич (1767–1826) – председатель в 1821–1825.

Цензоры

Дегуров Антон Антонович (1765–1849) – профессор истории, географии и статистики, цензор в 1810–1811.

Делавинь Франц Александрович (1767–1826) – профессор ботаники, цензор в 1810–1821.

Джунковский Василий Яковлевич (1767–1826) – профессор греческой словесности, цензор в 1820.

Дрейсиг Василий Федорович (1770–?), профессор патологии, терапии и клиники, цензор в 1814.

Дудрович Андрей Иванович (1782–1830) – профессор философии, цензор в 1821.

Книгин Иван Дмитриевич (1773–1830) – профессор анатомии, физиологии и судебной медицины, цензор в 1817–1825.

Комлишинский Василий Сергеевич (1785 – после 1837) – профессор физики, цензор в 1822–1825.

Кронеберг Иван Яковлевич (1788–1838) – профессор латинской словесности, цензор в 1822–1825.

Куницкий Павел Алексеевич (1788–1831) – кандидат изящных наук, лектор греческого языка, секретарь цензурного комитета в 1818–1825.

Могилевский Афанасий Григорьевич (1774–1850) – профессор богословия, цензор в 1823.

Паулович Константин Павлович (1781–?) – профессор права, цензор в 1821–1825.

Райдоровский – кандидат юридического факультета, секретарь цензурного комитета в 1817–1818.

Рейт Бернгард Осипович (1770–1824) – профессор права, цензор в 1817–1820.

Роммель Христофор Филиппович (1781–1859) – профессор древней и латинской словесности, цензор в 1812–1814.

Стойкович Афанасий Иванович (1775–1832) – профессор физики, цензор в 1806–1807, 1809.

Тимковский Илья Федорович (1773–1853) – профессор права, цензор в 1809–1811, 1813.

Умлауф Леопольд Адамович (1758–1807) – профессор латинской словесности и эстетики, цензор в 1807–1808.

Успенский Гавриил Петрович (1765–1820) – профессор русской истории, статистики и географии, цензор в 1817–1819.

Шад Иван Егорович (1758–1834) – профессор философии, цензор в 1806–1808, 1812.

Швейкарт Фердинанд Львович – профессор права, цензор в 1814.

Шумлянский Павел Михайлович (1750–1821) – профессор хирургии, цензор в 1807–1816.

Natalia Grinchenko

Censorship in Russia in 1800–1825

During the reign of Alexander I, Russian censorship was shaped by the Emperor's views, conditioned by the Enlightenment ideas on education, science and publishing. As defined by the Censorship Statute (1804), censorship was divided into domestic and foreign works. The former, assigned to the Ministry of Public Education, and carried out by a professor of Moscow University, dealt with all printed works, regardless of the language, published within the Russian Empire. The latter covered all imported publications and was subject to the Police Ministry and its regulations. These regulations, however, were inconsistent and often fell short of their goals. In 1828, both domestic and foreign censorship were put under the single authority of the Ministry of Public Education.

ROBERT DARTON

POUR UNE APPROCHE COMPARATIVE DE LA CENSURE:
FRANCE, 1789 – ALLEMAGNE DE L'EST, 1989¹

Le problème, avec l'histoire de la censure, c'est qu'elle paraît très simple: elle oppose les enfants de lumière aux enfants des ténèbres; en un mot elle souffre de manichéisme — et c'est compréhensible, car comment prendre en sympathie quelqu'un qui défigure un texte en le caviardant ou un film en le mutilant? Il ne s'agit pas ici de bousculer une tradition qui mène de Milton et Locke au *Bill of Rights* de la Constitution américaine. Nous avons cependant besoin de comprendre la censure, pas seulement de la déplorer; et, pour la comprendre, il est nécessaire de la mettre en perspective. Dans cette contribution, je propose d'examiner la censure en adoptant une perspective comparative, je la regarde fonctionner sous deux «anciens régimes»: d'abord celui qui prit fin voici plus de deux siècles en France, puis un régime qui n'a disparu que récemment encore, celui de l'Allemagne de l'Est.

LA CENSURE DANS LA FRANCE
DES LUMIÈRES

Je me borne ici à envisager la censure des livres, en commençant par un ouvrage assez ordinaire et bien représentatif de la France du XVIII^e siècle, le *Nouveau Voyage aux isles de l'Amérique* de Jean-Baptiste Labat (Paris, 1722). Les indices témoignant du régime autoritaire de publication établi sous le règne de

© Robert Darnton, 2008

¹Cette contribution reprend pour l'essentiel un article publié par l'auteur en anglais, voir: *Darnton R. Censorship, a comparative view: France, 1789 – East Germany, 1989 // Representations. Winter 1995. N 49. P. 40–60. Traduction française assurée par Jean-Dominique Mellot (Bibliothèque nationale de France, Paris), été-automne 2006.*

Louis XIV apparaissent dès la page de titre. Celle-ci étale son texte plein, plutôt à la façon d'une jaquette que d'une page de titre de livre moderne. En fait, sa fonction est analogue à celle de la jaquette d'aujourd'hui: elle résume et promet à la fois le contenu de l'ouvrage, à l'intention de toute personne que sa lecture pourrait intéresser. L'élément manquant, au moins pour le lecteur moderne, est tout aussi frappant: il s'agit du nom de l'auteur. Non que l'auteur ait tenté de dissimuler son identité: son nom apparaît en première page de texte. Mais la personne qui a réellement à répondre du livre, l'homme qui en porte la responsabilité juridique et financière, figure ostensiblement au pied de la page de titre, non sans décliner son adresse: «A Paris, rue S. Jacques, chez Pierre-François Giffart, près la ruë des Mathurins, à l'Image Sainte Therese». De fait, à partir du XIII^e siècle, les libraires parisiens ont été assujettis à la tutelle de l'université et ont eu par conséquent à tenir boutique dans le Quartier latin. Ils s'étaient particulièrement concentrés rue Saint-Jacques, où leurs enseignes de fer forgé (et parmi elles l'«Image Sainte Thérèse») se présentaient le plus souvent suspendues en l'air à la façon d'une forêt de branches. La confrérie des imprimeurs et des libraires, dédiée à saint Jean l'Évangéliste, s'assemblait en l'église des pères mathurins, rue des Mathurins, près de la Sorbonne. De sorte que l'adresse de ce livre le situe pour ainsi dire au cœur de la librairie officielle, son statut on ne peut plus légitime se manifestant de toute façon par la formule imprimée au bas de la page de titre: «Avec approbation et privilège du Roi».

C'est là précisément que nous nous trouvons confrontés au phénomène de la censure, du fait que les approbations consistaient en consentements formels délivrés par des censeurs royaux. On a affaire, dans le cas qui nous occupe, à quatre approbations, toutes imprimées au début du livre et rédigées par les censeurs ayant approuvé le manuscrit. L'un d'eux, par exemple, a relevé à l'occasion de son approbation: «J'ai eu du plaisir en le lisant. Il y a une infinité de choses très curieuses». Un autre, professeur de botanique et de médecine, souligne l'utilité du livre pour les voyageurs, les négociants et les étudiants en histoire naturelle; et il loue tout particulièrement son style. Un troisième censeur, théologien, atteste simplement que l'ouvrage est de bonne lecture. Il n'a pu le reposer avant de l'avoir fini parce qu'il lui a inspiré «cette douce quoiqu'avidité curiosité qui nous porte à poursuivre». Est-ce là le langage que l'on attendrait d'un censeur? Pour reprendre la question dont Erving Goffman fait le point de départ de toute enquête sociologique: «Que se passe-t-il donc là?»

Un début de réponse est à rechercher dans le privilège lui-même, lequel se trouve imprimé à la suite des approbations. Ce texte prend la forme d'une lettre du roi, adressée aux officiers de ses juridictions pour leur notifier que le souverain, par grâce, a accordé à l'auteur du livre le droit exclusif de le faire reproduire. Le privilège est un texte long et complexe, comportant notamment des clauses relatives aux caractéristiques physiques du livre. Celui-ci doit être en effet imprimé sur un bon papier et au moyen de beaux caractères, conformément aux règlements de la librairie, qui imposent des critères détaillés de qualité. Et

le privilège se conclut comme toutes les lettres patentes royales par la formule: «Car tel est nostre plaisir.» Juridiquement, le livre imprimé existait en vertu du plaisir du roi; il était le produit d'une «grâce» royale. Le mot «grâce» lui-même est récurrent dans les principaux textes de loi relatifs à la librairie; et, de fait, la direction de la Librairie, autrement dit l'administration centrale chargée de cette branche d'activité, était divisée en deux sections: la «librairie contentieuse» (pour le règlement des litiges) et la «librairie gracieuse» (pour ce que nous appellerions aujourd'hui le *copyright* et la propriété littéraire). Enfin, après le texte même du privilège, vient une série de paragraphes indiquant que ce privilège a été inscrit sur les registres de la communauté des libraires, mais aussi que, cédé par l'auteur à deux libraires, il a été de plus partagé avec deux autres de leurs confrères.

Aux yeux de nos contemporains, tout ceci peut paraître plutôt étrange: on est en présence de censeurs louant le style et la lisibilité du livre au lieu d'en retrancher les éventuelles hérésies; d'un roi qui lui accorde sa grâce; et de membres de la communauté des libraires qui se partagent cette grâce ou la revendent comme s'il était question d'une sorte de propriété. Décidément, que peut-il bien se passer là?

Une explication sensée pourrait consister à comparer le livre du XVIII^e siècle avec quelque chose comme ces bocaux de confiture et ces boîtes de biscuits anglais qui semblent si curieux aux Américains parce qu'ils sont censés exister «*by special appointment to her Majesty the Queen*». Le livre était un produit de qualité; il recevait une approbation royale; et en délivrant cette approbation, les censeurs se portaient garants de son excellence. La censure n'était pas seulement affaire d'hérésies à éradiquer. Elle était *positive* — appui royal pour le livre et invitation officielle à le lire.

Le mot dominant dans ce système était *privilège* (étymologiquement «loi privée»). En fait, c'est dans le privilège que résidait le principe organisateur de l'Ancien Régime en général, non seulement en France mais aussi dans la majeure partie de l'Europe. La loi ne concernait pas tout un chacun de la même façon: elle était conçue comme une dispense spéciale accordée à des individus ou à des groupes en vertu de la tradition et de la grâce du roi. Dans l'édition, le privilège s'exerçait (au moins) à trois niveaux: le livre lui-même était privilégié; le libraire l'était également (en qualité de membre d'une communauté de métier, il jouissait d'un droit exclusif pour pratiquer la librairie); et la communauté était elle aussi privilégiée (en tant que corporation, elle bénéficiait de certains droits exclusifs, notamment d'exemptions fiscales). Bref, la monarchie d'Ancien Régime avait développé un système élaboré pour canaliser le pouvoir de l'imprimé; et le livre, en tant que produit de ce système, résumait pour ainsi dire l'ensemble du régime.

Telles étaient les caractéristiques formelles de l'Ancien Régime typographique. Mais à quoi ressemble ce système si l'on étudie son fonctionnement par-delà la façade des pages de titre et des privilèges? Par chance, trois gros registres de la Bibliothèque nationale de France fournissent d'abondantes informations sur la façon dont les censeurs s'acquittaient de leurs tâches dans les

années 1750. Des dizaines de lettres et de rapports adressés au directeur de la Librairie, Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, révèlent les motivations qui inspiraient leurs approbations ou leurs refus de manuscrits. Les acceptations se présentent souvent comme les approbations imprimées dans les livres. Voici par exemple une recommandation typique en vue d'un privilège: «J'ai lu, par ordre de Monseigneur le Chancelier, les Lettres de M. de La Rivière. Elles m'ont paru bien écrites, pleines de raison et de réflexions édifiantes»². Les rejets de manuscrits offrent une vision plus complète du raisonnement des censeurs; et, comme les approbations, ils concernent autant la qualité de l'ouvrage que son contenu idéologique. Un censeur condamne ainsi le «ton léger et gaillard» d'un traité de cosmologie³. Un autre n'émet pas d'objections théologiques à l'égard d'une biographie du prophète Mahomet, mais il la juge superficielle et insuffisamment recherchée⁴. Un troisième refuse un manuel de mathématiques parce qu'il n'entre pas de façon assez approfondie dans le détail des problèmes et omet de donner les cubes ainsi que les carrés de certaines sommes⁵. Un récit des campagnes de Frédéric II de Prusse choque un quatrième censeur, non pas en raison d'un examen irrespectueux de la politique étrangère française, mais plutôt parce qu'il s'agit d'une «compilation sans goût et sans discernement»⁶. Et un cinquième rejette une défense de l'orthodoxie religieuse contre les attaques des libres penseurs en se fondant principalement sur des considérations esthétiques:

Ce n'est point un livre. On ne sait quel est le but de l'auteur que lorsqu'on a lu l'ouvrage: il avance; il revient; plusieurs de ses raisonnements sont faibles et superficiels; son style est pétulant à force d'être vif... Très souvent il tombe dans le ridicule et dans la sottise à force de vouloir dire de jolies choses⁷.

Bien sûr, les rapports contiennent aussi quantité de commentaires réprouvant les idées hétérodoxes. Les censeurs assurément défendaient l'Église et le roi. Mais ils portaient du postulat qu'une approbation était la sanction positive d'un ouvrage et qu'un privilège reflétait cette caution de la couronne. Ils écrivaient eux-mêmes en qualité d'hommes de lettres, soucieux de défendre «l'honneur de la littérature française», comme le notait l'un d'eux⁸. Aussi adoptaient-ils souvent un ton supérieur, se posant en Boileau ou en Saint-Simon pour déverser leur mépris sur des œuvres qui n'avaient pu se hausser au niveau des canons du Grand Siècle. «Le sujet est frivole, et ce défaut essentiel n'est point

² Rapport de l'abbé Geinos, 24 novembre 1750 (BNF. Ms. fr. 22137. Fol. 103).

³ Rapport de l'abbé Foucher [s. d.] (BNF. Ms. fr. 22137. Fol. 90).

⁴ Rapport de Déguigneux [s. d.] (BNF. Ms. fr. 22137. Fol. 135).

⁵ Rapport de Le Blond, 2 octobre 1752 (BNF. Ms. fr. 22138. Fol. 38).

⁶ Rapport de Delaville, 23 novembre 1757 (BNF. Ms. fr. 22138. Fol. 19).

⁷ Rapport daté 17 janvier 1754 (BNF. Ms. fr. 22137. Fol. 94).

⁸ Rapport de Rémond de Sainte-Albine, 29 avril 1751 (BNF. Ms. fr. 22138. Fol. 78). Pour un exemple d'argument formellement politique et religieux contre l'octroi d'un privilège, voir le rapport de Bonamy en date du 18 décembre 1755 (BNF. Ms. fr. 22137. Fol. 23).

racheté par les détails», déclarait un censeur en réprouvant le manuscrit d'un roman. «Je n'y vois que de fades moralités entremêlées d'aventures communes, des plaisanteries froides, des tableaux sans coloris, des réflexions triviales... Je crains qu'un pareil ouvrage ne serait pas digne de paraître avec une marque publique d'approbation»⁹.

Ce type de censure posait un problème: si les manuscrits ne devaient pas se contenter d'être inoffensifs, mais avaient aussi à mériter le sceau d'une approbation de type louisquatorzien, la majeure partie de la littérature ne courait-elle pas le risque de se trouver disqualifiée? Le censeur du roman précité optait quant à lui pour une manière conventionnelle de tourner la difficulté:

Mais comme, malgré ses défauts et sa médiocrité, il ne renferme rien de dangereux, ni de condamnable, et qu'il n'attaque après tout ni la religion, ni les mœurs, ni l'État, je pense qu'on risque peu d'en tolérer l'impression, et qu'on peut avec une permission tacite le donner au public, qui ne sera pas beaucoup flatté d'un présent de cette espèce¹⁰.

Bref, le régime créait lui-même des brèches dans le système légal. «Permissions tacites», «permissions simples», «tolérances», «permissions de police» – les responsables de la Librairie avaient mis au point toute une gamme de catégories à utiliser pour permettre la parution de livres sans caution officielle. Étant donné la nature du système des privilèges, ils ne pouvaient agir autrement, à moins de déclarer la guerre à la plus grande part de la littérature contemporaine. Comme Malesherbes le notait en se remémorant ses années à la direction de la Librairie, «un homme qui n'aurait lu que les livres publiés avec la caution explicite du gouvernement, comme la loi le prescrit, serait en arrière de ses contemporains de près d'un siècle»¹¹. Malesherbes allait jusqu'à fermer les yeux sur quantité d'ouvrages ouvertement illégaux qui s'imprimaient hors du royaume et s'y diffusaient par des voies clandestines. C'est grâce à cette forme de flexibilité que le système intégrait le changement et que les Lumières étaient rendues possibles.

Ce serait une histoire longue et complexe que de relater précisément comment les Lumières s'introduisaient par les fissures du système et se répandaient dans la société française. Sans la présenter dans le détail, je voudrais me borner à y relever un point: cette histoire n'était pas simplement celle de la liberté contre l'oppression, mais celle plutôt de la complicité et de la collaboration. Depuis l'organisation d'une censure préalable centralisée, au début du XVII^e siècle, le nombre des censeurs n'avait cessé d'augmenter. On en comptait une dizaine en 1660, 60 en 1700, 120 en 1760 et 180 en 1789. Vers 1770, ils traitaient près d'un millier de manuscrits par an, et leur taux de rejet était bas: 10 à 30 % des ouvrages présentés. (Mais il est évident que l'auteur d'une œuvre réellement

⁹ Rapport de Bougainville, 26 août 1751 (BNF. Ms. fr. 22138. Fol. 33).

¹⁰ Ibid.

¹¹ *Malesherbes Ch.-G. de Lamoignon de. Mémoires sur la librairie et sur la liberté de la presse.* Paris, 1809 (réédités en 1758–1759 et 1788; réimpression: Genève, 1969. P. 300).

dangereuse ne se risquait pas à la faire passer par la censure et s'adressait directement à l'édition interlope¹².)

La flexibilité et le peu de tension du système n'étaient pas dus uniquement à ses brèches et à ses clauses de sauvegarde, mais également à une complicité grandissante entre censeurs et auteurs. Ils étaient en effet issus du même milieu. La plupart des censeurs étaient eux-mêmes des auteurs – par exemple Bernard Le Bovier de Fontenelle, Prosper Jolyot de Crébillon et son fils Claude, Alexis Piron, Étienne Bonnot de Condillac et Jean-Baptiste Suard. Loin d'être des bureaucrates, ils ne recevaient pas de véritable salaire de censeurs et subvenaient généralement à leurs besoins en travaillant en qualité de professeurs, de précepteurs, de bibliothécaires et de secrétaires. Souvent ils connaissaient les auteurs dont ils avaient à examiner les textes, et les auteurs, bien souvent aussi, s'arrangeaient pour être censurés par leurs amis. Voltaire envoyait ses demandes de censeur directement au garde des sceaux et au lieutenant général de police. Malesherbes, directeur de la Librairie, confia l'approbation de la *Lettre à d'Alembert* de Rousseau à d'Alembert lui-même. Malesherbes fit également le nécessaire pour que parût une édition française clandestine de l'*Émile* de Rousseau, allant jusqu'à avaliser les dispositions du contrat d'édition; et il agit encore comme agent virtuel de Rousseau pour la publication de *La Nouvelle Héloïse*. Piquet, le censeur de *La Nouvelle Héloïse*, ne demanda que vingt-trois modifications dans le texte, mineures pour la plupart. Deux seulement visaient des points sérieusement «hérétiques», et Malesherbes ferma les yeux sur l'existence d'une édition non expurgée importée d'Amsterdam. En fait, la plus grande menace pesant sur les Lumières venait de l'Église, non de l'État. C'est en cédant à des pressions religieuses que Malesherbes fit révoquer le privilège de l'*Encyclopédie*; mais il sauva le livre en protégeant secrètement Diderot et les libraires¹³.

Les progrès de l'indulgence produisaient des scandales. Le cas de la caution censoriale donnée à une traduction du Coran comme à un ouvrage «ne contenant rien de contraire à la foi catholique»¹⁴ et l'affaire du *De l'esprit*, traité de métaphysique antichrétien dû à Claude-Adrien Helvétius, sont bien connus. Helvétius usa de ses relations à Versailles pour obtenir un censeur

¹² Parmi les études générales sur la censure en France sous l'Ancien Régime, voir *Herrmann-Mascard N.* La Censure des livres à Paris à la fin de l'Ancien Régime. Paris, 1968, ouvrage qui s'est abondamment inspiré d'une étude plus ancienne: *Belin J.-P.* Le Commerce des livres prohibés à Paris de 1750 à 1789. Paris, 1913. Voir aussi *Shackleton R.* Censure and censorship: impediments to free publication in the Age of Enlightenment. Austin (Texas), 1975; *Hanley W.* The policing of thought: censorship in eighteenth-century France // SVEC. 1980. Vol. 183. P. 265–295; *Roche D.* La censure // Histoire de l'édition française / Sous la dir. d'H.-J. Martin, R. Chartier. Paris, 1984. T. 2. P. 76–83. Je n'ai pu consulter la thèse de Catherine Blangonnet, *Recherches sur les censeurs royaux et leur place dans la société au temps de Malesherbes (1750–1763)*. Paris, École nationale des chartes, 1975, dactylogr.

¹³ Cf. *Grosclaude P.* Malesherbes: témoin et interprète de son temps, Paris, 1961; *Idem.* Jean-Jacques Rousseau et Malesherbes: documents inédits. Paris, 1960.

¹⁴ *Mercier L.-S.* Tableau de Paris. Nouvelle édition, corrigée & augmentée. Amsterdam, 1783. T. 2. P. 53. Je n'ai pas été à même de confirmer que la version donnée par Mercier de cet incident était bien exacte.

complaisant, Jean-Pierre Tercier, premier commis du secrétaire d'État des Affaires étrangères et lui-même homme de lettres peu en vue, censeur à ses heures mais ne connaissant rien à la métaphysique. Tercier reçut les pages du manuscrit par petits paquets et en désordre, de sorte qu'il ne put suivre le propos de l'ouvrage. Lors d'un dîner, M^{me} Helvétius, femme d'une grande beauté, employa sur lui tout son charme et le persuada de presser les choses de façon que son mari pût remettre le manuscrit à l'imprimeur avant de partir séjourner sur ses terres. Lorsqu'il fut question d'approuver les épreuves, Tercier, dont le principal souci était la politique étrangère de la France, en pleine guerre de Sept Ans, parapha toutes les feuilles à la fois, sans vraiment prendre le temps de les lire. Puis, dès la parution du livre, les ennemis des philosophes firent entendre un terrible concert de protestations: voilà que l'athéisme le plus effronté montrait sa face sous la caution d'un privilège royal. L'ouvrage fut condamné et livré au bûcher par le parlement de Paris. Helvétius dut le désavouer. Tercier fut révoqué. Et le texte reparut sur le marché clandestin du livre avec un statut de best-seller¹⁵.

Il serait possible de produire suffisamment d'anecdotes de ce genre pour suggérer que les administrateurs d'Ancien Régime accordaient à la presse une liberté de fait. Mais on peut également citer assez d'histoires épouvantables pour prouver le contraire: libraires envoyés aux galères, carrières ruinées par l'embastillement. La Bastille n'était certes pas une maison de torture, mais ce n'était pas non plus un hôtel trois étoiles, comme tendent à le croire certains historiens. Près d'un millier de personnes liées à la librairie y furent emprisonnées entre 1659 et 1789, et parmi elles trois cents écrivains environ. Voltaire y fut envoyé deux fois, pour une durée totale de onze mois. À la suite de quoi il passa la majeure partie de sa vie en exil. Après avoir été enfermé dans le donjon de Vincennes, Diderot abandonna l'idée de faire paraître certains de ses ouvrages les plus importants, *Le Neveu de Rameau* en particulier. La Bastille était plus qu'un symbole. C'était un puissant moyen de dissuasion, qui contribua à une autocensure multiforme, d'autant plus insidieuse qu'elle était intériorisée.

Aussi conclurai-je par une contradiction. L'Ancien Régime, en France, fut à la fois humain et brutal. Lorsque le roi François I^{er} s'aperçut que l'invention des caractères mobiles pouvait ébranler son trône¹⁶, il tenta de résoudre le problème en défendant à quiconque, par un édit de 1535, d'imprimer quelque livre que ce fût, sous peine de mort. Cela n'aboutit pas – le roi finit par retirer la mesure –, de même que l'édit de 1757 menaçant de mort¹⁷ tout auteur d'écrits irréligieux ou séditieux. Le système demeura implacablement répressif, dans le

¹⁵ *Ozanam D.* La disgrâce d'un premier commis: Tercier et l'affaire de *De l'esprit* (1758–1759) // Bibliothèque de l'École des chartes. 1955. Vol. 113. P. 140–170; *Smith D. W.* Helvétius: a study in persecution. Oxford, 1965.

¹⁶ À la suite de l'affaire dite des Placards (affiches imprimées dénonçant la messe et placardées jusque sur la porte de la chambre du roi, en octobre 1534) [NdT].

¹⁷ À la suite de l'attentat de Robert-François Damiens (1715–1757) sur la personne du roi Louis XV [NdT].

principe. Mais, en pratique, il devint de plus en plus souple, grâce à des administrateurs éclairés qui tordirent les règles et qui, de ce fait, ménagèrent suffisamment d'espace dans cette structure archaïque pour y accueillir une grande part de la littérature moderne – au moins jusqu'à ce que l'édifice vînt à s'effondrer, en 1789.

LA CENSURE EN ALLEMAGNE DE L'EST
JUSQU'EN 1989

Franchissons à présent deux siècles et portons le regard sur l'Allemagne de l'Est (République démocratique allemande, RDA) de 1989. Un simple coup d'œil sur la page de titre d'une autre publication représentative, *Dichtungen und Fragmente*, recueil d'écrits de Novalis, nous démontre que l'on a ici affaire à un système littéraire bien différent, qui ne livre aucune indication explicite sur l'exercice de la censure. En fait, la censure était interdite par la constitution de la RDA. Aussi faut-il, pour voir comment elle a pu fonctionner, passer derrière la façade des livres et des constitutions, et interroger les personnes qui ont fait tourner le système.

Heureusement pour nous, ces personnes sont restées en poste, au sein d'une administration en sursis, pendant les quelques mois qui ont séparé la chute du Mur de Berlin et l'unification des deux Allemagne. Par l'entremise d'un ami travaillant dans une maison d'édition de Leipzig, j'ai pu faire la connaissance de deux d'entre elles, Hans-Jürgen Wesener et Christina Horn, qui ont accepté de parler. Ces censeurs m'ont même fait visiter leurs bureaux du 90 Clara-Zetkin Strasse, situés à deux blocs d'immeubles à l'est du Mur, et m'ont exposé comment tout cela fonctionnait.

Le terme «censure» ne plaisait guère aux censeurs; il sonnait trop négativement, m'a expliqué M^{me} Horn. Leurs services portaient en fait le titre d'«Administration centrale pour l'édition et la librairie», et leur principale mission, telle qu'eux-mêmes la définissaient, était de «faire arriver la littérature» — c'est-à-dire de superviser le processus par lequel des idées devenaient des livres et les livres atteignaient des lecteurs. Au début des années 1960, M^{me} Horn et M. Wesener étaient sortis diplômés en littérature allemande de l'université Humboldt. Ils étaient entrés au ministère de la Culture et peu après avaient été affectés à l'Administration de l'édition et de la librairie, où ils avaient gravi les échelons dans les secteurs de la littérature de la RDA et de l'étranger.

Il m'a fallu quelque temps pour me faire une idée claire de l'organisation de cette bureaucratie, car au début je n'ai vu que des couloirs et des portes fermées, toutes pareilles — marron uni sans rien d'autre indiqué à l'extérieur qu'un numéro. La fiction est-allemande portait le numéro 215, quarante portes disposées le long d'un corridor jaune moutarde au second étage d'un immeuble qui semblait devoir durer à jamais et s'enroulait pour envelopper une cour centrale. La bureaucratie était organisée en segments hiérarchiques: secteurs, divisions,

administrations, et ministères, eux-mêmes placés sous la direction du gouvernement ou conseil des ministres. Et l'ensemble de cette structure était subordonné au Parti communiste (connu formellement comme Parti socialiste unifié d'Allemagne), lui-même structuré suivant sa propre hiérarchie: divisions, secrétariats du Comité central et enfin Politburo, sous la direction d'Erich Honecker, secrétaire général du Comité central et pouvoir suprême de la RDA¹⁸.

On m'a expliqué brièvement comment tout cela fonctionnait. À ma première visite, M^{me} Horn et M. Wesener ont paru désireux de me montrer qu'ils étaient comme moi des universitaires, non pas des bureaucrates anonymes et encore moins des stalinistes. Les cadres des services appartenaient parfois à des milieux extérieurs à cette bureaucratie, m'ont-ils appris. Un chef de division pouvait avoir dirigé une maison d'édition, ou la rédaction d'une revue ou encore avoir été responsable de la Société des auteurs. La littérature était un système à imbrication qui couvrait de nombreuses institutions et différents cercles littéraires, lesquels se recoupaient souvent. M^{me} Horn et M. Wesener eux-mêmes pourraient à la fin bifurquer vers le journalisme ou l'édition, dont toutes les rédactions et maisons étaient tenues par le Parti – or ils avaient toujours été des membres loyaux du Parti.

Bien sûr la loyauté avait ses limites. M. Wesener et M^{me} Horn avaient participé l'un comme l'autre à la grande manifestation du 4 novembre 1989, qui avait précipité la chute du Politburo et l'ouverture du Mur. Ils s'étaient identifiés aux réformateurs du Parti et même à des auteurs dissidents comme Christoph Hein et Volker Braun, dont ils avaient pourtant contribué à la censure. Ils étaient partisans d'un «socialisme à visage humain», d'une «troisième voie» entre les systèmes soviétique et américain. Et néanmoins ils regrettaient la chute du Mur.

Je me rendais bien compte qu'un tel autoportrait comportait une grande part d'autojustification. Personne ne voulait apparaître comme un apparatchik en juin 1990, époque de notre conversation. Mais pourquoi défendaient-ils le Mur? M. Wesener m'a surpris par sa réponse à cette question: le Mur avait contribué à faire de la RDA un «*Leseland*», un pays de lecteurs, m'a-t-il expliqué. Il l'avait tenue à l'écart de la corruption de la culture consumériste. Une fois percé, il ne pourrait contenir le flot de sous-littérature — publications pornographiques, livres pratiques et minables romans à l'eau-de-rose — qui à coup sûr allait inonder la RDA. C'est de l'Ouest que provenait la sous-littérature; c'était là l'essentiel de ce que produisait le système littéraire de l'autre côté du Mur, parce que, pour nous aussi, la censure existait: simplement elle était exercée par la pression du marché.

Me sentant quelque peu acculé à une impasse, je lui ai demandé ce qu'était exactement la censure telle qu'il l'avait pratiquée. M. Wesener m'a fait une réponse qui tenait en un seul mot: «planification». Dans un système socialiste, m'a-t-il dit, la littérature était planifiée comme toute autre chose et, à l'appui de

¹⁸ Pour une description plus complète de l'organisation et du fonctionnement des services de la censure, voir *Darnton R. Berlin Journal, 1989–1990*. New York, 1991. Ch. 8.

son propos, il m'a tendu un document remarquable, intitulé *Themenplan 1990* (*Plan 1990: Littérature de la RDA*). C'était, en 78 pages, la présentation de toute la production de fiction dont la publication était prévue pour 1990, une année littéraire qui jamais n'advint.

M. Wesener m'ayant remis un exemplaire du plan, j'ai pu ensuite l'étudier en détail. À ma grande surprise, j'en ai trouvé le style plat et méthodique. Il répertoriait tous les livres projetés, dans l'ordre alphabétique des noms de famille de leurs auteurs. Chaque entrée comportait le titre de l'ouvrage, l'éditeur, proposait un tirage, dans certains cas le genre, ou la collection dans laquelle il paraîtrait, ainsi qu'un bref descriptif de contenu.

Après avoir lu ces descriptifs, je me suis demandé si la littérature est-allemande ne contenait pas plus de sous-littérature que M. Wesener ne l'admettait. La production programmée pour l'année 1990, 202 nouveaux titres (dans le domaine de la fiction et des belles-lettres, sans compter les réimpressions), devait inclure une bonne dose d'histoires d'amour, de romans policiers, historiques, de romans de guerre, de westerns, de science-fiction («romans utopistes» dans le jargon des censeurs). On ne peut évidemment prétendre évaluer leurs qualités littéraires sans les lire; et cette lecture même est impossible car la plupart de ces titres ont été mis au rebut en même temps que la censure, dès le début de l'année 1990. Cependant les courts textes de présentation accompagnant chaque titre du plan suggèrent une sorte de kitsch socialiste. Voici par exemple *Le Poids de la proximité* d'Erika Paschke:

Tandis qu'Ina Scheidt voyage de pays en pays, accaparée par sa carrière de traductrice, sa mère et sa fille de dix-sept ans, Marja, sont de plus en plus contrariées de devoir tenir seules la maison. Un jour Ina ramène un homme avec elle, et des complications surviennent au sein de la famille du fait de cette relation triple. L'homme se rend compte qu'Ina est trop intéressée par des valeurs extérieures et se détourne d'elle. Dans ce court roman comme dans ses autres œuvres, l'auteur s'attache aux questions éthiques que pose la vie privée. Elle met en avant des notions de valeur humaine et de respect mutuel face au manque de compréhension à l'égard d'autrui.

Voilà qui ressemble étonnamment à la veine du «*soap opera*» et qui paraît certes très éloigné du réalisme socialiste ou de la marque de fabrique sévère que l'on attendrait d'un pays de travailleurs et de paysans. Mais l'Allemagne de l'Est était également connue comme une *Nischengesellschaft* (société de niches), société dans laquelle la population se retranchait dans la sphère privée; de sorte que les romans moralisant les relations personnelles pouvaient sembler appropriés aux planifications littéraires, surtout si, comme dans l'exemple cité, ils mettaient en garde les lecteurs contre les voyages — autrement dit, contre l'exposition aux séductions de l'Ouest.

Tandis que la planification de la littérature s'élaborait, des milliers d'Est-Allemands fuyaient à l'Ouest, et la RDA entière passait la plupart de ses soirées à regarder la télévision ouest-allemande. Le fait que plusieurs des romans projetés présentent des drames familiaux dans le contexte des relations entre les

deux États allemands n'était donc peut-être pas une pure coïncidence. Le *Quelque part en Europe* de Wolfgang Kroeber devait aborder «un problème actuel: pourquoi quitte-t-on son propre pays?» *J'entends un chemin* de Rita Kuczynski devait raconter l'histoire de Suschen et de sa famille dans les deux moitiés d'un Berlin divisé. *Signes de séparation* de Kurt Nowak se proposait de retracer l'histoire d'une famille des deux côtés de la frontière germano-allemande. Et *Le Dernier Courrier* de Lothar Günther devait montrer comment un jeune ouvrier, pris en tenaille entre un avis d'incorporation et une invitation à rejoindre son père à l'Ouest, reçus par le courrier du même jour, se décidait pour un choix héroïque.

Bien qu'il ne contienne guère de propagande bruyante, le plan se conforme rigoureusement au politiquement correct en vigueur en Allemagne de l'Est. Ainsi, lorsqu'ils s'embrassent et se réconcilient, les amants témoignent de la plus grande qualité des relations personnelles dans un système affranchi des futilités du consumérisme. Lorsque les Indiens repoussent les envahisseurs des Dakotas ou de l'Amazonie, c'est contre l'impérialisme qu'ils portent leurs coups. Le combat lui-même apparaît résolument antifasciste même dans le domaine de la science-fiction. *La Menace* d'Arne Sjoeborg devait ainsi narrer la chute d'un «Führer» qui s'était emparé du pouvoir sur la planète Palmyre sous le faux prétexte d'une catastrophe imminente. Quant aux romans policiers, ils permettaient de dévoiler la pathologie des sociétés capitalistes. Ainsi *Le Bruissement d'une robe* de Wolfgang Kohrt devait explorer toute la gamme de la criminalité en Amérique, afin de mettre à nu «la vacuité des relations entre les sexes, les violences de la vie quotidienne, le désir de revanche, la soif d'argent, la spéculation autour des héritages et les envies inassouvies».

Toutes ces fictions faisaient ensuite l'objet d'un autre texte, un *Themenplaneinschätzung*, ou rapport idéologique, qui parvenait avec le plan annuel au Comité central du Parti. Ce document était aussi remarquable que le plan lui-même, je suis pour cette raison particulièrement reconnaissant à M. Wesener de m'en avoir remis une copie classée «Confidentiel». Celle qu'il m'a donnée avait été approuvée par le Comité central au milieu de l'année 1988 et présentait le plan de 1989, dernière année littéraire de l'ancien régime est-allemand. On y voit les censeurs exposer, à l'intention des patrons du Parti, leurs jugements sur le cru de livres à venir, et on y entend la voix bien reconnaissable de la bureaucratie étatique. Le socialisme progresse alors partout; tout indique l'avancée et l'ascension; la production s'accroît: 625 titres sont programmés, pour un total de 11 508 950 exemplaires, représentant une progression significative par rapport au plan précédent (559 titres pour 10 444 000 exemplaires).

1989 devait être une année de célébration pour les quarante glorieuses années de gouvernement socialiste de l'Allemagne de l'Est. C'est pourquoi la littérature de 1989 devait se consacrer avant tout au passé et au présent de la RDA, ainsi que le camarade Erich Honecker l'avait proclamé: «Notre parti et notre peuple se situent dans une tradition révolutionnaire et humaniste comptant à son actif des siècles de lutte pour le progrès social, la liberté, les droits et valeurs d'humanité.» Puis, dans le langage chargé de pieuse rhétorique propre

au discours de la RDA, le rapport passait en revue les points principaux du plan. Ainsi par exemple il soulignait le fait que, pour l'année, la production de romans historiques manifesterait un «antifascisme énergique», tandis que les romans s'attachant au temps présent se conformeraient au principe du réalisme socialiste et tendraient à promouvoir «la mission historique de la classe ouvrière dans la lutte pour le progrès social». Les auteurs du plan admettaient qu'ils n'étaient pas parvenus à une production suffisante de fictions ayant trait aux ouvriers d'usine et aux conducteurs de tracteurs, mais, assuraient-ils, cela serait compensé par la publication d'anthologies de l'ancienne littérature prolétarienne. À ce défaut près, tout allait bien et pour le mieux. Le rapport ne faisait pas état de la plus petite manifestation de dissension. Au contraire, il indiquait que les auteurs, les éditeurs et les responsables étaient tous fermement attelés à leurs tâches, portant la littérature vers de nouveaux sommets, au moment même où l'ensemble du système était en passe de s'effondrer.

Il peut sembler étrange aujourd'hui de lire ces protestations de pureté idéologique et de bonne santé institutionnelle, émanant des rouages internes d'un régime sur le point de s'écrouler. Toute cette paperasserie n'était-elle qu'un délire d'apparatchik, juste bon à remplir les cases prévues par la bureaucratie et n'ayant que peu à voir avec l'expérience effective de la littérature qui pouvait être celle des Allemands de l'Est?

M. Wesener et M^{me} Horn m'ont assuré que le plan déterminait réellement la production et la consommation de livres en RDA. Ils m'ont ensuite décrit chaque étape du système, un processus long et complexe qui impliquait de négocier les propositions de livres avec les auteurs, les éditeurs et un comité spécial formé de représentants des librairies, des bibliothèques, du monde universitaire et du syndicat des auteurs. Deux étapes dans ce processus étaient critiques pour le destin d'un livre: premièrement, lorsque les censeurs soumettaient leurs projets aux idéologues du Comité central du Parti chargés de les surveiller; deuxièmement, lorsque, en bout de course, les censeurs recevaient un texte fini et l'examinaient en le caviardant le cas échéant.

D'après M. Wesener et M^{me} Horn, le premier obstacle était le pire. Ils se regardaient eux-mêmes comme des amis de la littérature, des intermédiaires décisifs qui menaient les livres jusqu'à parution en les incorporant à un plan acceptable auprès des Béotiens du Comité central: quinze idéologues farouches appartenant à la «division Culture» du Comité, travaillant sous l'autorité d'un dragon nommé Ursula Ragwitz. Chaque année, le patron des censeurs, Klaus Höpcke, se rendait avec son plan sous le bras à la «Culture» pour y batailler avec M^{me} Ragwitz. À son retour, il pouvait seulement dire ce que la «Culture» avait autorisé et ce qu'elle avait rejeté. Il n'y avait ni explications ni refus sous forme écrite. M. Wesener devait alors relayer les refus auprès des dirigeants des maisons d'édition, qui à leur tour les feraient suivre auprès des auteurs; et il ne pouvait ajouter aucun commentaire sinon qu'il s'agissait là d'un ordre supérieur — «*Das ist so*» («C'est ainsi»).

Il existait néanmoins des voies de contournement de ces Béotiens de la «Culture». N'avais-je donc pas remarqué toutes les cases vides figurant dans le

plan de 1990? Il y en avait par exemple 41 à la suite des 202 entrées consacrées aux nouveaux ouvrages de fiction. Les personnels de Höpcke pouvaient remplir ces cases avec des livres relativement «chauds». Ils devaient bien entendu en obtenir l'autorisation auprès de la Culture, mais cela se pratiquait plus aisément dans un contexte improvisé que lors d'une réunion formelle, au cours de laquelle les membres du groupe de M^{me} Ragwitz tendaient à faire de la surenchère pour manifester leur militantisme. N'avais-je pas non plus remarqué que le plan comportait davantage d'entrées pour les réimpressions (315) que pour les nouveaux titres (202)? C'était là qu'ils rangeaient les articles «les plus chauds» — livres dus à des auteurs est-allemands qui avaient paru en Allemagne de l'Ouest, avaient causé quelque bruit (mais pas du côté des services de censure) et que l'on avait pu publier (le plus discrètement possible et d'ordinaire par petits tirages) en RDA une fois le calme revenu.

À condition que leurs propres critiques restent implicites et qu'ils s'enveloppent dans une couverture protectrice faite d'ironie, Höpcke laissait volontiers quelques livres de cette sorte filtrer à travers la bureaucratie et jusque dans le corps politique. Il prenait tant de risques, en fait, qu'il était devenu une sorte de héros, non seulement aux yeux de ses subordonnés des services de censure, qu'il protégeait toujours, mais aussi vis-à-vis de certains des éditeurs et écrivains que j'ai moi-même rencontrés en Allemagne de l'Est. Ceux-ci le dépeignaient comme un coriace, un journaliste pur et dur qui avait repris l'Administration de l'édition et de la librairie en 1973, avec en tête les pires idées qui soient sur l'ordre à imposer à la vie intellectuelle. Mais plus il passa de temps à batailler avec la bureaucratie du Parti, plus il se prit de sympathie pour les auteurs d'esprit indépendant. Dans les années 1980, il était devenu expert dans l'art de faire accepter au Comité central des livres peu orthodoxes. Deux d'entre eux, *Die Neue Herrlichkeit* de Günther De Bruyn et *Hinze-Kunze-Roman* de Volker Braun, causèrent un tel scandale au sein du Parti que cela faillit lui coûter son poste. Un membre du Comité central dénonça même *Hinze-Kunze-Roman* en le qualifiant de «bombe intellectuelle». Höpcke se retrouva sur la sellette et reçut un blâme en bonne et due forme. Il se débrouilla cependant pour se maintenir à son poste en assumant le blâme et en pliant sous le vent. Quelques années après, lors d'une réunion de l'organisation PEN est-allemande, en février 1989, il soutint une résolution condamnant l'arrestation de Václav Havel en Tchécoslovaquie.

La seconde phase critique du processus de censure se situait après l'approbation du plan et la rédaction même des livres. À ce stade, un texte parvenait au bureau de M^{me} Horn et de M. Wesener, et ils avaient à en examiner chaque mot. Eux-mêmes soulignaient le fait qu'ils maniaient fort peu les ciseaux, car l'essentiel du travail effectif de censure avait déjà eu lieu — au cours du processus de planification et dans l'esprit même des auteurs. M^{me} Horn me dit qu'elle-même et les cinq censeurs travaillant sous son autorité ne rejetaient ordinairement qu'environ 7 ouvrages de fiction sur les 200 à 250 qu'ils examinaient chaque année.

Elle avait appris à discerner certaines «allergies» propres aux membres du Comité central, aussi faisait-elle toujours disparaître certains mots susceptibles

de provoquer une réaction d'hostilité — par exemple «écologie» (mot tabou, car mettant en cause la pollution massive qu'entraînait le dirigisme étatique de la RDA) et «critique» (adjectif lui aussi tabou, évoquant en effet les dissidents qu'il fallait vouer au silence). Les références au stalinisme étaient si défavorables qu'elle devait tourner l'expression «opposant au stalinisme» en «contra-dicteur de son époque»; elle avait même remplacé «les années 1930» par une formule plus rassurante et plus vague, «la première moitié du vingtième siècle». Une décennie auparavant, tout ce qui concernait les États-Unis était sensible. On eut beaucoup de mal à faire passer une traduction de *The Catcher in the Rye* auprès de Kurt Hager, responsable de l'idéologie au Comité central. Hager estimait en effet que Holden Caulfield était «un bien mauvais modèle pour la jeunesse de notre RDA». Mais après l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev, en 1985, c'est l'Union soviétique qui devint le sujet le plus délicat dans les bureaux de M^{me} Horn, et les censeurs durent se montrer particulièrement vigilants avec ce qui était classé «SU Lit.», autrement dit «écrit soviétique» dans le jargon maison des services de censure.

Une fois que le texte avait franchi ce dernier obstacle, il recevait une autorisation d'impression. M. Wesener m'en a montré une, petit bout de papier portant sa signature ainsi qu'une formule enjoignant à l'imprimeur de réaliser le travail en question. Cela me semblait assez insignifiant, jusqu'à ce que M. Wesener m'apprenne qu'aucun imprimeur ne pouvait entreprendre un travail si le manuscrit à reproduire n'était pas accompagné d'un tel bout de papier, et que la plupart des imprimeurs du pays appartenaient au Parti communiste.

À cette étape encore les choses pouvaient mal tourner. Mes relations dans la presse est-allemande avaient un répertoire complet d'histoires à me raconter à propos de changements opérés par des correcteurs au zèle outrancier et des typographes mauvais plaisants. L'une de ces histoires avait trait à un poème sur la nature dont une ligne évoquait un groupe de jeunes oiseaux: «Leurs têtes tournées vers le nid» («*Die Köpfe nestwärts gewandt*»). Intentionnellement ou non, le compositeur avait transformé «vers le nid» («*nestwärts*») en «vers l'ouest» («*westwärts*»), et le correcteur, flairant l'hérésie, s'était couvert en optant finalement pour «vers l'est» («*ostwärts*»).

Les livres finalement atteignaient les lecteurs, mais pas de la même façon qu'à l'Ouest. Les imprimeurs expédiaient les exemplaires reliés vers un unique entrepôt situé à Leipzig, qui desservait l'ensemble du pays. Les livres y attendaient en caisses pendant des mois avant de le faire dans les magasins, et leur distribution ne correspondait pas à une demande parce qu'il n'y avait pas de véritable marché littéraire, de mécanisme par lequel la demande pouvait se faire sentir. La publicité n'existait pas et il se rédigeait peu de comptes rendus de livres — en général quelques notices seulement dans l'organe du Parti, *Neues Deutschland*, et dans des revues littéraires comme *Sinn und Form*. Les livres étaient simplement expédiés aux magasins, où les passants s'arrêtaient pour jeter un coup d'œil au contenu des étagères. Souvent ils prenaient des paniers à l'entrée et les remplissaient de tout ce qui pouvait attirer leur attention. Je les ai vus fréquemment, alignés devant la caisse, en train de commencer à lire le contenu

de leurs paniers, de la même façon que les Américains dans les supermarchés se mettent à grignoter la nourriture dont ils ont rempli leurs chariots. L'Allemagne de l'Est était bel et bien un «pays de lecteurs», pensais-je. Mais comment les lecteurs lisaient-ils?

La lecture est un mystère partout. Les psychologues, les sociologues et les philosophes ne la comprennent pas alors même qu'elle a lieu sous leurs yeux; et les historiens ont mis un temps diablement long pour débrouiller son passé. Bien que l'on ne puisse s'introduire dans le cerveau des lecteurs, on a collecté une grande quantité d'informations sur ce qui en constitue l'environnement. La plupart des recherches se sont concentrées sur les textes, en utilisant des notions telles que lecteur implicite, horizons d'attente, stratégies rhétorique et typographique.

Or, pour revenir une fois encore à la France du XVIII^e siècle, il est bien connu que la littérature des Lumières avait développé des complicités secrètes entre écrivains et lecteurs et que celles-ci servaient souvent à circonvenir la censure. Montesquieu fit parler la critique sociale par la bouche de ses Persans faussement naïfs. Voltaire projeta ses audaces dans des cadres exotiques — la Chine, l'Inde, l'Eldorado, des planètes éloignées — qui ressemblaient étrangement à la France. Et Diderot apprit aux lecteurs à saisir son propos entre les lignes, voire dans les renvois de son *Encyclopédie*, ainsi le renvoi figurant à la fin de l'article «Anthropophagie» dans le volume I, «Voir: Eucharistie», trouve-t-il son pendant à la fin d'«Eucharistie»: «Voir: Anthropophagie».

Quelque chose de semblable a-t-il existé en Allemagne de l'Est? Là au moins les historiens pouvaient enquêter auprès de lecteurs de l'Ancien Régime pendant que leurs souvenirs étaient encore frais. En juin 1990, j'ai été invité à faire une conférence à la Pierckheimer Gesellschaft (société de bibliophiles de Magdebourg) sur les livres interdits dans la France du XVIII^e siècle. Et voilà qu'après la conférence, mes hôtes — pour la plupart médecins, juristes, enseignants — se sont engagés dans une discussion animée sur les livres interdits par la RDA et la façon dont ils avaient pu les lire.

Dans les années 1950 et au début des années 1960, m'ont-ils expliqué, il était dangereux de posséder des ouvrages d'auteurs comme Freud ou Nietzsche. Mais ces livres circulaient grâce à des réseaux d'amis de confiance. Un ami venait vous voir avec un volume à la main et vous donnait un temps limite, souvent deux jours, pour le lire. Vous vous enfermiez en lieu sûr et vous plongiez dans le texte, jour et nuit. L'effet était saisissant: «Cela pénétrait en vous comme un couteau», dit l'un de mes hôtes. Vers 1970, les choses sont devenues plus faciles. Des annonces codées pour des livres sont apparues dans la presse, et on pouvait se procurer des copies en morceaux dans certains cafés. Des auteurs dissidents contemporains — Stefan Heym avec *David*, Christa Wolf avec *Kassandra* — ont été quittes de leurs audaces en les situant dans des contextes étrangers, exactement comme Montesquieu et Voltaire l'avaient fait avant eux. Et chacun a appris à lire entre les lignes.

Au lieu de se concentrer sur le contenu, les lecteurs ont écouté le ton, tout particulièrement en poésie, et ils ont guetté d'un œil attentif les astuces

typographiques telles que les alignements de lettres en début de ligne, qui parfois contenaient un message provocant, à condition de le lire verticalement. Ils n'ont pas lu passivement mais ont scruté les textes, en quête de lacunes ou d'irrégularités qui pouvaient être l'indice de significations cachées. Ils ont souvent comparé les textes, pour discerner ce qui avait pu y être coupé ou altéré et qui, de ce fait, était d'autant plus digne d'attention. Trois traductions de la *Perestroïka* de Gorbatchev ont circulé, l'une à partir de la RDA, l'autre produite en Union soviétique, la dernière étant la version allemande d'une édition américaine. Les Allemands de l'Est les ont toutes parcourues, à la recherche du plus petit signe de déstalinisation, en une époque où eux-mêmes ne pouvaient chez eux critiquer ouvertement Staline.

Ils connaissaient tous également les fameux passages manquants de la *Kassandra* de Christa Wolf. Les Allemands de l'Ouest avaient publié le texte complet du livre, tandis que ceux de l'Est en avaient sorti une version censurée avec des points de suspension pour les passages expurgés — concession probable à Wolf elle-même, qui jouissait d'une influence suffisante pour réclamer un traitement spécial aux censeurs. Quelques Allemands de l'Est ont pu se procurer un exemplaire de l'Ouest, en ont extrait les passages incriminés et les ont fait circuler sur des bouts de papier que l'on pouvait insérer aux emplacements correspondants. On m'a donné tout un jeu de ces papillons. Après en avoir enrichi un exemplaire est-allemand de *Kassandra*, j'ai trouvé qu'en effet le texte brusquement prenait vie.

Par de tels moyens, les Allemands de l'Est ne se contentaient pas de lire entre les lignes; ils maîtrisaient aussi les significations des espaces blancs. Ils lisaient de façon critique, polémique, en combinant sophistication et aliénation d'une façon inimaginable à l'Ouest, même parmi les plus hardis de nos «déconstructeurs». Certes, rares ont été les Allemands de l'Est capables d'approcher le niveau de sophistication atteint par les bibliophiles de Magdebourg. Mais tous, même ceux qui ne faisaient rien de plus que de zapper des chaînes de l'Est vers celles de l'Ouest sur leurs postes de télévision, ont appris à considérer avec scepticisme les messages officiels.

* * *

Après avoir examiné la censure à l'œuvre sous deux anciens régimes très différents, il reste à voir si l'on peut arriver à certaines conclusions en comparant ces systèmes.

D'abord, bien sûr, il faut tenir compte des différences, tant culturelles que politiques. Dans la France du XVIII^e siècle, le livre était le moyen de communication dominant, l'oralité mise à part, et l'État était relativement faible. Les conditions étaient inverses en RDA: le livre y était faible (chacun regardait la télévision) et l'État tout-puissant.

Mais même dans un système de parti unique, les censeurs de la RDA trouvaient des espaces de flexibilité. Comme en France, il existait en réalité deux systèmes, l'un rigide et formel, l'autre souple et humain. Sous l'un et l'autre

régimes, les responsables de la librairie créèrent suffisamment de fissures dans leur propre bureaucratie pour que des livres non-conformistes se fraient un chemin jusqu'au lectorat. Les cases vides de Höpcke dans le plan annuel équivalaient fonctionnellement aux permissions tacites du temps de Malesherbes. D'aucuns pourraient prétendre que Höpcke lui-même était un Malesherbes moderne, même si j'ai le sentiment qu'il restait au fond un apparatchik. Quelles que soient les similitudes entre leurs responsables, les deux administrations du livre étaient confrontées à une tendance analogue: la permissivité se muait en laxisme, et le laxisme entraînait des scandales. *Hinze-Kunze-Roman* a secoué le système est-allemand de même que *De l'esprit* avait ébranlé la France des Lumières. Et dans les deux cas, les responsables de la librairie se tirèrent de l'onde de choc de la même manière — par un tour de passe-passe bureaucratique.

Il est évident que la censure affectait quiconque était lié à la littérature et non simplement les censeurs. Elle influait sur la façon dont les auteurs écrivaient. Elle déterminait les relations entre l'écrivain et le lecteur et entre le lecteur et le texte. De ce fait, elle modelait les manières pour les femmes et les hommes de faire sens. La fabrique du sens est une mystérieuse affaire, que les historiens commencent seulement à appréhender et que l'on ne peut guère réduire à une formule telle que «lire entre les lignes». Mais il se pourrait que les systèmes autoritaires portent en eux leur propre principe contradictoire lorsqu'ils s'efforcent de monopoliser le pouvoir: en contrôlant les moyens de communication, ils provoquent des contre-réactions et stimulent l'esprit critique; sans y prendre garde, ils enseignent le scepticisme et par là même sapent leur propre légitimité.

Je ne crois donc pas pertinent d'orienter l'histoire de la censure autour du truisme selon lequel les censeurs prennent part à la tâche commune d'éradiquer les hérésies. Je ne défends pas non plus l'idée que la censure doive être envisagée seulement pour elle-même, comme un phénomène isolé mais toujours identique partout, comme la pure antithèse de la liberté de pensée. Ma thèse est plutôt que la censure est l'ingrédient des cultures politiques autoritaires et qu'elle varie en fonction du système auquel elle appartient. La tâche de l'historien doit donc consister à mettre au jour les principes organisateurs de tels systèmes, que l'on peut dans certains cas étudier de l'intérieur, du point de vue des censeurs eux-mêmes. Dans le cas de l'Ancien Régime, la censure présentait pour principe de base le *privilege*; du côté de la RDA, c'était une affaire de *planification*.

Lorsqu'on la considère dans une perspective comparative, l'histoire de la censure relève donc de l'histoire de la culture et de la communication. Elle a ses moments dramatiques, ses héros et ses martyrs, mais elle se déroule généralement dans des endroits obscurs, gris, où l'orthodoxie se fond dans l'hérésie et où les manuscrits bruts prennent consistance jusqu'à devenir des textes imprimés. Une partie de l'histoire de la censure passe par la Bastille et par le goulag; mais elle se situe surtout dans la zone critique de la contestation culturelle, là où le censeur peut devenir un collaborateur de l'auteur et l'auteur un complice du censeur. Il nous faut explorer cette zone pour l'appréhender; et une

fois que nous aurons trouvé un chemin à travers ses broussailles, nous devrions y gagner une nouvelle appréciation de ses grands et imposants monuments, tels que l'*Areopagitica* de Milton et le premier amendement de la Constitution américaine.

Роберт Дарнтон

**За сравнительный подход в изучении цензуры:
Франция, 1789 – ГДР, 1989**

Вместо того чтобы развивать аргументацию, исходящую из определения цензуры как таковой, данная статья исходит из антропологического предположения: цензура – не вещь в себе, а элемент культурной системы. Следовательно, она должна меняться в соответствии с принципами, лежащими в основе организации культурной жизни изучаемого общества. Изучать практику повседневной работы цензоров означает изучать систему функционирования ограничений и санкций, выстроенную в соответствии с запросами властей, будь то Палата книгопечатания и книжной торговли во Франции Старого порядка или Управление книгоиздания и книготорговли Министерства культуры ГДР или Отдел культуры Политбюро ЦК СЕПГ. Ключевым принципом старой французской системы была привилегия. Прежде чем согласиться на предоставление королевской привилегии, цензоры дотошно вчитывались в рукописи не только для того, чтобы выискать в них выражения, способные запятнать репутацию церкви и короля и повредить нравы, но и для того, чтобы определить качество того или иного текста. Привилегия являлась положительной санкцией королевской власти, и в своих отзывах цензоры охотно говорили о достоинствах представленных рукописей. Опасались же они, прежде всего, пропустить в печать намеки, пусть даже закамуфлированные, на важных особ. В бывшей ГДР цензоры считали себя приверженцами плановой системы. Ежегодно они составляли планы, в которых фигурировали книги, планируемые к выпуску на следующий год. Затем они должны были защищать эти планы от критики идеологов партии, будучи вынужденными порой сражаться за каждое слово текста, утвержденного к печати. Таким образом, они также опасались скрытых аллюзий, особенно тех, что могли навести на мысль о ФРГ и западном обществе потребления.

ИНСТРУМЕНТЫ ЦЕНЗУРЫ, ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРАКТИКИ, ОБХОДНЫЕ МАНЕВРЫ

О.А. ЦАПИНА

ЦЕРКОВНАЯ ЦЕНзуРА И СВЕТСКИЕ ТИПОГРАФИИ В РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1770-Х – НАЧАЛЕ 1790-Х ГОДОВ

Долгое время историки российского XVIII в. рассматривали книгопечатание исключительно с точки зрения его вклада в распространение научного знания и идей Просвещения, а контроль над издательской деятельностью – как средство идеологического и политического давления. Цензура была предметом не столько исторических исследований, сколько полемических обличений. Неслучайно наиболее популярным аспектом истории цензуры в XVIII в. остается роль Екатерины II, а уровень цензурного надзора выступает в качестве своеобразного индикатора уровня «просвещенности» императрицы¹. При этом выработалось нечто вроде квазиагиографии (в свое время блестяще спародированной Салтыковым-Щедриным в «глуповском мартирологе»): деятельность книгоиздателей, неустанно трудившихся на ниве просвещения, представлялась как апостольская миссия, немислимая без мученичества. В роли главного злодея представлялось абсолютистское государство, а церкви неизменно отводилась роль его верной союзницы.

Усилиями отдельных исследователей удалось скорректировать эту картину. Оказалось, что книгоиздатели и книгопродавцы руководствовались не только идеалами культуртрегерства, но и коммерческими соображениями, а государство беспокоило не только проникновение

© О.А. Цапина, 2008

¹Marker G. Publishing, Printing, and the Origins of Intellectual Life in Russia. 1700–1800. Princeton; New Jersey, 1985. P. 4; Lehman-Carli G., Schippan M., Brohm S., Brüne P. Zensur in Rußland. Von der zweriten Hälfte des 18. zu Beginn des 19. Jahrhunderts // Europa in der Frühen Neuzeit: Festschrift für Günter Mühlfordt / Hrsg. E. Donnert. Köln; Weimar; Wien, 2002. Bd. 6. S. 739–773.

«вредных» философских и политических идей, но и растущий поток развлекательной литературы, а также контрафакция и нарушение издательских прав². Более того, критической переоценке подверглось и традиционное отождествление Просвещения с современными либеральными ценностями, в частности с секуляризмом и приверженностью свободе слова³.

Такой реалистический подход, тем не менее, не распространяется на церковную цензуру, которая по-прежнему рассматривается как одно из главных орудий в борьбе с Просвещением. Между тем наши знания об организации и деятельности церковной цензуры в XVIII в. остаются довольно ограниченными: единственным специальным исследованием является серия обзорных статей известного канониста Т.В. Барсова, опубликованных в 1901 г. в связи с обсуждением вопроса о церковной реформе⁴. Настоящая статья, посвященная церковному надзору за светскими типографиями в период, который с легкой руки Ключевского известен в литературе как «новиковский», является попыткой несколько заполнить этот пробел⁵.

Представления о природе и деятельности церковной цензуры в XVIII в. основываются на стереотипах, возникших в результате несколько механического транспонирования категорий (как выяснилось, довольно спорных) Просвещения и контр-Просвещения на российскую почву, которые к тому же активно использовались для нужд политической публицистики, а в советское время и атеистической пропаганды⁶. Одним из таких клише является расхожее представление о том, что синодальная цензура была частью единой государственной машины. Как известно, до сентябрьского указа 1796 г. цензорские функции выполняли многие учреждения – Сенат, Синод, Академия наук, Сухопутный Шляхетный корпус, Московский университет, а также полицейские органы, такие, как Управа благочиния, и, разумеется, сама императрица.

² *Шамрай Д.Д.* К истории цензурного режима Екатерины II // XVIII век. М.; Л., 1958; *Знапатов В.А.* Краткий очерк истории русской цензуры 60–90-х гг. XVIII в. // Русская литература и общественно-политическая борьба XVII–XIX веков. Л., 1971 (Учен. зап. Лeningradского пед. ин-та им. А.И. Герцена. 1971. Т. 414).

³ *Sheehan J.* Enlightenment, Religion, and the Enigma of Secularization: A Review Essay // *American Historical Review*. 2003. October. Vol. 108. N 4. P. 1061–1080; *Smith J.*, (ed.) What is Enlightenment? Eighteenth-Century Answers and Twentieth-Century Questions. Berkeley; Los Angeles; London : University of California Press, 1996. P. 2–6. Знаменитая декларация «Я не согласен с Вашей точкой зрения, но готов отдать свою жизнь за Ваше право высказывать ее» была приписана Вольтеру Эвелин Халл, которая писала под псевдонимом С.Дж. Таллентайр (*Tallentyre S.G.* The Friends of Voltaire. London, 1906. P. 199; цит. по: The Oxford Dictionary of Quotations. 3rd ed. P. 561).

⁴ *Барсов Т.В.* О духовной цензуре в России // Христианское чтение. 1901. Вып. 5, 7, 9. 11.

⁵ Период 1720–1770-х годов рассмотрен в моей статье: *Цапина О.А.* Войны за Просвещение? Московский университет и духовная цензура в конце 50-х – начале 70-х гг. XVIII в. // Eighteenth-Century Russia: Society, Culture, Economy. Papers from the VII International Conference of the Study Group on Eighteenth-Century Russia. Wittenberg, 2004 / Ed. by R. Bartlett, G. Lehman-Carli. Münster, 2007. P. 157–171.

⁶ См., например: *Богданов А.П.* Перо и крест: Русские писатели под судом духовной цензуры. М., 1990.

Теоретически главным цензурным органом церковной цензуры был Синод; однако уже к середине 1750-х годов стало очевидно, что его члены были не в состоянии справиться с увеличивающимся потоком «освидетельствований». Попытки создания особого цензурного комитета при Синоде, предпринятые в 1750-е и 1760-е годы, ничем не кончились⁷. В результате цензурные решения также принимались Московской конторой Синода, отношения которой с епархиальными архиереями, ректорами духовных академий и семинарий, архимандритами монастырей и другим духовным начальством были далеко не идиллическими⁸.

Анахронизмом является и представление о послепетровской церкви как о государственном департаменте. Церковная реформа Петра I пришла на то время, когда призраком, бродившим по Европе, был «папизм», отождествлявшийся с церковной узурпацией прерогатив светской власти. Поэтому реформа носила не столько антиклерикальный, сколько антитеократический характер. Поскольку отделение церкви от государства представлялось наиболее логичным способом предотвращения ее вмешательства в политику, реформа по существу разделила правовое поле на два домена – «духовный» и «гражданский», – управлявшихся, соответственно, «правительствующими» органами – Синодом и Сенатом, которые подчинялись непосредственно императору. На бумаге такое разделение выглядело вполне логично. На практике граница между духовным и светским оказалась иллюзорной. С одной стороны, многие дела, традиционно относившиеся к ведомству «духовной команды», например проблемы церковного имущества, юридического статуса белого духовенства, брака и развода, все более интерпретировались как «относящиеся до гражданства». С другой стороны, некоторые аспекты уголовного и гражданского законодательства, например следствие по обвинениям в богохульстве, кровосмешении или незаконных браках, предусматривали тесное взаимодействие светских и духовных властей, а потому зависели и от Церкви. Разбирательства о пределах церковной и светской юрисдикции, зачастую довольно запутанные, составляли значительную долю деятельности Синода⁹.

К числу подобных «пограничных» проблем принадлежал надзор за печатанием религиозной литературы в светских типографиях. Вопреки распространенному мнению (историки главным образом интересовались конфликтами между Синодом и светскими авторами и издателями, которые на самом деле случались сравнительно редко), светская литература как таковая не была объектом духовной цензуры. Цензурные

⁷ Барсов Т.В. О духовной цензуре... Вып. 11. С. 973.

⁸ О конфликтах между Московской синодальной конторой и Синодом см.: Барсов Т.В. Синодальные учреждения настоящего времени. Вып. 1. Московская синодальная контора. СПб., 1899.

⁹ См., например: Полное собрание постановлений по ведомству православного исповедания Российской Империи за 25 ноября 1741 г. – 28 июня 1762 г. СПб., 1899–1912. № 51, 69, 86, 151, 947, 958, 959, и др. (Далее: ПСПиР. Елизавета).

привилегии Синода и его *modus operandi*, заложенные Духовным регламентом и выработанные законодательством 1720–1760-х годов, обеспечивали миссию защиты догматической целостности Православия и казались книг, «относящихся до богословия». Подавляющее большинство цензурных дел, проходивших через Синод, было связано с деятельностью по стандартизации церковной печати по московскому образцу, редактированием библейского, литургического, агиографического и патристического канона, а также с борьбой против изданий старообрядческих и униатских печатен.

Первой попыткой провести границу между церковной и гражданской печатью стала азбучная реформа 1708–1710 гг., создавшая особый, «гражданский» шрифт для печатания «исторических и мануфактурных» книг и закрепившая церковную печать в качестве монополии Церкви¹⁰. Однако проблема разграничения между духовным и светским книгопечатанием оказалась значительно сложнее. Согласно статье 3, пункту 3 *Духовного регламента*, любые «богословские письма», сочиненные как духовными, так и светскими авторами, подлежали цензуре Синода¹¹. Цензурные прерогативы Синода неизменно оговаривались при выдаче типографских привилегий, а также при договорах на аренду государственных и ведомственных печатен¹². Категория же «богословских писем» могла включать самые разные произведения, напечатанные гражданским шрифтом, – не только собственно богословские сочинения, но и философские диссертации, в которых упоминался Создатель, юриди-

¹⁰ Ср. интерпретацию азбучной реформы как конфликта «старой» и «новой» культуры (см.: *Живов В.М.* Азбучная реформа Петра I как семиотическое преобразование // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту, 1986. Т. 720. С. 55–66). Гражданские шрифты, которыми располагала Синодальная типография в Москве, долгое время оставались без применения. В 1756 г. оборудование и книги, «к гражданству принадлежащие, а не духовные», были переданы во вновь основанную типографию Московского университета (РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 39. Л. 45 об., 62 об.–78; ПСПиР. Елизавета. № 1470). В 1765 г., когда в Петербурге была открыта небольшая синодальная печатня, в ней был заведен один печатный стан с гражданскими шрифтами, который использовался для печатания бланков и распоряжений, а также церковных служб, заказанных Екатериной (Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи в царствование императрицы Екатерины Второй. СПб., 1910–1915. № 134. (Далее: ПСПиР. Екатерина); РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 14. Д. 111). Единственным светским учреждением, которое обладало правом использовать «церковные литеры», была Комиссия о учреждении народных училищ. Книги печатались в типографиях Брейткопфа, Вильковского и Брункова (*Зернова А.С., Каменева Т.Н.* Сводный каталог русской книги кирилловской печати XVIII века. М., 1968. С. IV).

¹¹ ПСЗ. Т. 6. № 3718. Гл. 2. Ст. 1–7; Гл. 3. Ст. 1–3.

¹² Сборник постановлений и распоряжений по духовной цензуре Ведомства православного исповедания с 1720 по 1870 г. СПб., 1870. С. 18–20. (Далее: Сборник); ПСЗ. Т. 20. № 14495; *Самарин А.Ю.* Ф.И. Брейткопф – содержатель петербургской Сенатской типографии // Век Просвещения. Вып. 1: Пространство европейской культуры в эпоху Екатерины II / Под ред. С.Я. Карпа. М., 2006. С. 460.

ческие трактаты, содержавшие ссылки на памятники канонического права, «душеполезные» сочинения, исторические произведения, затрагивавшие историю Церкви, а также духовная поэзия¹³. Согласно формулировке самого Синода (1756), его апробации подлежало «всякое то издание, в котором рассуждение о божестве находится»¹⁴. Именно эта неопределенность категории «богословских писем» и породила первые конфликты между Синодом и Московским университетом, закончившиеся в 1770 г. официальным запретом печатать религиозную литературу без синодальной апробации¹⁵.

Этот запрет, разумеется, не остановил поток «душеполезной» литературы, который возрастал по мере коммерциализации книгопечатания¹⁶. Помимо оригинальных сочинений и переводов, значительную долю репертуара ведомственных и частных типографий составляли произведения духовных лиц, желавших, чтобы их сочинения, главным образом проповеди и речи, печатались гражданским шрифтом. Среди постоянных клиентов университетской типографии, как, впрочем, и Московской Сенатской печатни, были Московская академия, Троице-Сергиев монастырь, Троицкая Лаврская семинария, а также епархиальные архиереи и духовенство столичных церквей и монастырей¹⁷. Все большую заинтересованность в литературном труде проявляло ученое духовенство. В 1773 г. Синод, дав Ивану Харламову, священнику Московского Покровского собора, разрешение заниматься переводческой деятельностью, признал нужным «обнадежить прочих ученых священников, ежели из них кто способность имеет к переводу книг Святых Отец и из оных какую книгу переводить желает»¹⁸. Синод, тем не менее, оговаривал, что деятельность ученых священников должна была контролироваться Синодом или Московской Синодальной конторой, которые должны были давать разрешение и на сам перевод (рассмотрев «не были ль они прежде кем переведены или не переводятся ли уже кем»), и на печатание¹⁹.

¹³ Marker G. Op. cit. P. 104.

¹⁴ ПСПиР. Елизавета. № 1507.

¹⁵ ПСПиР. Екатерина. № 645.

¹⁶ Röhling H. Observations on Religious Publishing in Eighteenth Century Russia // Russia and the World of the Eighteenth Century. Columbus, 1988. P. 91–110. Благодаря тому, что исследователи книгопечатания 1770–1780-х годов уделяли преимущественное внимание Н.И. Новикову, сложилось впечатление, что значительная доля религиозной литературы в репертуаре его типографий была связана с его личной религиозностью и масонскими интересами. Между тем, Новиков был явно не одинок. Например, доля религиозных изданий, вышедших из типографии Иоганна Фридриха Гиппиуса (36%), значительно превышает 20%, которые И.Ф. Мартынов привел по Новиковским типографиям (*Мартынов И.Ф.* Книгоиздатель Николай Новиков. М., 1981. С. 72); подсчеты проведены по данным Сводного каталога русской книги гражданской печати.

¹⁷ Мельникова Н.Н. Издания, напечатанные в типографии Московского университета. XVIII век. М., 1966. № 568, 569, 604, 641, 657–659, 761 и др.; СК. № 2666, 6287, 4858, 4895 и др.

¹⁸ ПСПиР. Екатерина. № 682.

¹⁹ Там же.

Синод, как впрочем и Сенат, начал проявлять все большее беспокойство по поводу контроля за деятельностью светских типографий. В декабре 1779 г. Синод, «усмотря, что в состоящих при разных светских командах и вольных типографиях печатаются и выходят в публику такие сочинения, кои заключают в себе богословские рассуждения», потребовал, чтобы Сенат запретил всем светским типографиям печатать переводы и оригинальные сочинения, «в которых упоминаются какие либо богословские, до веры и закона христианского принадлежащие, рассуждения» без предварительной цензуры Синода в Петербурге или Синодальной конторы в Москве²⁰.

Между тем, Екатерина, которая была склонна рассматривать книгопечатание преимущественно как область коммерции, предприняла попытку ограничить синодальные привилегии. Еще в середине 1770-х годов Г.Н. Теплов, выполняя распоряжение императрицы, попытался, правда безуспешно, приватизировать Синодальную типографию, ссылаясь на то, что книгопечатание было отраслью коммерции, которой церкви было заниматься «не прилично»²¹. Когда в августе 1781 г. Синод, отмечая возросшее распространение старообрядческих книг, в особенности напечатанных в Польше, потребовал, «чтобы печатаемые вне России книги ввозить попускаемо не было», Екатерина указала, что надзор за ввозом «в Империю запрещенных товаров, не исключая из того и книг, есть дело Сената»²². Указ о вольных типографиях 15 января 1783 г., который приравнивал типографии к «прочим фабрикам и рукоделиям», поручил цензуру книг, печатавшихся в частных типографиях, в том числе и тех, в которых «явится противное законам Божиим», Управе благочиния, никак не оговаривая ни условия использования церковных шрифтов, ни цензурные обязанности Синода²³.

В результате ситуация с цензурой религиозной литературы становилась все более запутанной, особенно в Москве; авторы и издатели иногда вообще не представляли произведения духовным цензорам; многие публикации, носившие явно религиозный характер, были одобрены московским обер-полицмейстером или университетом. Университет также самостоятельно апробировал книги, написанные ду-

²⁰ ПСПиР. Екатерина. № 962; ПСЗ. Т. 20. № 15019; Сборник. С. 23–24. Ср. проверку типографий по запросу Сената, итоги которой были подведены в 1775 г. в докладе Екатерине «О состоящих в России типографиях. На каком основании и под какой цензурою им быть надлежит» (РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 259; ПСПиР. Екатерина II. № 695).

²¹ РГАДА. Ф. 18. Д. 174. Л. 27–28; *Завьялов А.* Вопрос о церковных имениях при императрице Екатерине II. СПб., 1900. С. 175–182.

²² ПСПиР. Екатерина. № 1026. Согласно указу от 9 марта 1743 г., распространение книг духовного содержания, напечатанных за границей, а также переводов, сделанных без санкции Синода, был запрещен и все подобные издания подлежали конфискации (ПСЗ. Т. 11. № 8832).

²³ ПСЗ. Т. 21. № 15634.

ховными лицами²⁴. Явная неразбериха наблюдалась и в организации церковной цензуры. Теоретически цензура всех духовных книг должна была осуществляться исключительно Московской Синодальной конторой. Члены конторы, тем не менее, без особого восторга относились к этой обязанности. Весной 1780 г. контора обратилась в Синод с предложением о назначении особой постоянной цензорской комиссии «на всегдашнее время для разсматривания переводов и сочинений» в составе ректора Московской академии Дамаскина (Семенова-Руднева), который в то время входил в состав Синодальной конторы, и академического префекта Амвросия (Серебрянникова). Создание подобной комиссии, наделенной правом принимать цензурные решения самостоятельно, без представления в контору, позволило бы предотвратить «с светскими типографиями и с вольными типографщиками в переписках затруднения» и тем самым избежать «продолжения времени, которое тем типографиям не терпимо»²⁵. Синод, однако, отказался утвердить этот план. Он лишь разрешил Дамаскину и Амвросию «по доверенности синодальной конторы» освидетельствовать тексты. Решение о дозволении печатать должно было приниматься по-прежнему коллегиально²⁶.

Хотя Синод подтвердил, что печатание книг должно было проводиться не иначе как с санкции Конторы, в 1780-е годы многие издания выходили с одобрения действующих и даже бывших академических ректоров, без пометы о конторской «апробации»²⁷. Все большая роль принадлежала московскому архиепископу Платону (Левшину). Платон зачастую просто ставил собственный «имприматур», без ссылок на обсуждение в Конторе, которая, впрочем, с 1782 по 1795 г. состояла из самого Платона и его брата, протоиерея Успенского собора Александра Левшина²⁸.

²⁴ В апреле 1792 г. Новиков показывал, что, «когда же были заведены вольные типографии, тогда духовные чины не стали принимать цензуровать, а он отдавал обер-полицейстеру и университетскому цензору» (*Лонгинов М.Н.* Новиков и московские мартинисты. СПб., 2000. С. 473. Прилож. 23). Путаница, впрочем, началась еще до публикации Указа о вольных типографиях: журнал Новикова *Московское ежемесячное издание* (1781) проходил цензуру Конторы Синода, а его же *Вечерняя заря* (1782) была одобрена университетским цензором. Интересно, что издание Фирмиана Лактанция (1783) было санкционировано Г.В. Козицким, который умер в 1775 г. (*Лонгинов М.Н.* Указ. соч. С. 424–440. Прилож. 10. № 151, 222, 258).

²⁵ *Барсов Т.В.* О духовной цензуре... Вып. 7. С. 240–241.

²⁶ Там же.

²⁷ *Лонгинов М.Н.* Указ. соч. Прилож. 10. № 2, 38, 65, 92, 97, 181, 114, 118, 124, 150, 174, 179, 181, 232, 242, 248, 259, 257, 274, 276, 280, 323, 341, 344, 348; 1, 12, 22 (в типографии Лопухина).

²⁸ К числу подобных изданий относится и двенадцатый том *Поучительных слов* самого Платона; он был не одинок – митрополит Гавриил также самостоятельно, без ссылок на синодальное одобрение, разрешил некоторые издания университетской типографии и типографии Лопухина. См.: *Лонгинов М.Н.* Указ. соч. Прилож. 10. № 77, 115, 233, 256, 316; 10 (в тиснении); 15, 27, 28 (в типографии Лопухина).

В феврале 1785 г. Платону удалось добиться права самостоятельно апробировать переводы и оригинальные произведения, созданные преподавателями и студентами «училищ ведомства Преосвященного Московского»²⁹. Учитывая, что многие такие книги печатались в университете, а авторы и переводчики – воспитанники провинциальных духовных училищ, питомцы Педагогической и Переводческой семинарий – также находились в ведомстве Платона, эта привилегия по существу освобождала целый ряд публикаций университета от синодальной цензуры. Платон установил довольно тесные отношения с Новиковым и его кругом. Дружеское ученое общество, заручившееся, между прочим, благословением Платона еще до получения санкции из Петербурга, ставило своей целью не только «печатание духовных и наставляющих в нравственности книг», но оказание помощи духовным училищам, в которых Платон принимал участие³⁰. В частности, Дружеское общество обязалось бесплатно рассылать книги в провинциальные семинарии³¹.

Не без влияния Платона университетская типография начала печатать произведения патристики, в частности труды Василия Великого, Макария Египетского и Иоанна Златоуста³². Синод, чьи переводчики работали над новым переводом корпуса патристики еще с 1750-х годов, забил тревогу³³. На заседании 5 июля 1784 г. Синод, указав, что «греческих Святых Отец книги прежде печатаемы были по рассмотрению Святейшим Синодом в Московской онаго типографии, так и впредь та-

²⁹ РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 23. Д. 38; ПСПиР. Екатерина. № 1200; *Розанов Н.П. История Московского епархиального управления со времени учреждения Св. Правительствующего Синода*. М., 1871. Ч. 3. Кн. 1. С. 174. Примеч. 599. Книга, которая послужила поводом к обращению Платона, – *Сокращение историческое жизни Иисуса Христа* (М., 1785), – перевод с французского, сделанный учителем французского языка Троицкой семинарии Иваном Сокольским, действительно была напечатана у Н. Новикова.

³⁰ О деятельности Платона в области духовного образования см.: *Papmehl K.A. Metropolitan Platon of Moscow (Petr Levshin, 1737–1812). The Enlightened Prelate, Scholar, and Educator*. Newtonville (Mass.), 1983. P. 61–66.

³¹ *Лонгинов М.Н.* Указ. соч. Прилож. 2. С. 413.

³² П.И. Протасов вспоминал, что Платон «с удовольствием назначал Новикову для переводов те или иные из отеческих сочинений» (цит. по: *Мартынов И.Ф.* Указ. соч. С. 98; СК № 683, 842, 843, 1902, 2612, 2616, 3999, 4646, 8745). Помимо Университетской типографии, сборник произведений Златоуста был издан в Сенатской типографии у Гиппиуса, а также в петербургской типографии у Геннинга, на иждивение купца В.А. Сыромятникова (СК № 2613, 2614, 2617, 2618), а *Беседы на Шестоднев* Василия Великого, в переводе Л.И. Сичкарева, были напечатаны в типографии Военной коллегии в 1785 г., возможно, по поручению Г.А. Потемкина.

³³ Решение об издании полного корпуса произведений Иоанна Златоуста было принято в августе 1756 г. (ПСПиР. Елизавета. № 1502). В 1760 – начале 1780-х годов Синодальная типография выпустила новые издания *Маргарита* и *Бесед*, а в начале 1780-х годов священник Иоанн Иоаннов работал над новым переводом поучительных бесед, которые вышли в 1787–1791 гг. (*Зернова А.С., Каменева Т.Н.* Указ. соч. № 669, 705, 778, 784, 804, 817, 852, 860, 861, 951, 988, 1075, 1043).

ковья, в коих усмотреться надобность, в той же типографии печатаемы будут», запретил Московской конторе допускать к печати подобные издания без согласования с Петербургом³⁴. Синод был также обеспокоен тем, что в вольных типографиях выходили издания, подобные книге И. Арндта *О истинном христианстве* (М., 1784), запрещенной именным указом от 9 марта 1743 г.³⁵

К началу 1785 г. в Петербурге, где у Платона были влиятельные недоброжелатели, в их числе митрополит Гавриил и духовник императрицы Иоанн Памфилов, стали раздаваться голоса, что в Москве при попустительстве или явном покровительстве московского преосвященного печатаются книги, не просто контрафактные, но и вредные, ведущие «к соблазну немощных совестей»³⁶. Сведения о «странных» книгах дошли до императрицы. 23 декабря 1785 г. Екатерина отправила именные указы московскому главнокомандующему Я.А. Брюсу и московскому архиепископу. Ведомству Брюса поручалось изъять подозрительные книги из лавки Новикова, а Платону – освидетельствовать их. Платон также должен был испытать самого Новикова «в законе нашем». Инспекция университетской типографии и книжной лавки была завершена уже через неделю, а к середине января Платон закончил просмотр книг, отобрав 23 названия, которые он признал подозрительными. Указом Екатерины II от 27 марта 1786 г. пять масонских публикаций, которые Платон признал «сомнительными и могущими служить к разным вольным мудрованиям», плюс *Парацельса химическая псалтирь*, одобренные, кстати, светскими властями, а именно московским обер-полицмейсте-

³⁴ ПСПиР. Екатерина. № 1174.

³⁵ РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 23. Д. 12. Синод действительно бдительно следил за тем, чтобы издания, запрещенные предыдущими указами, в продаже не появлялись. Когда в 1784 г. обнаружилось, что в лавке купца Овчинникова продается *Феатрон*, запрещенный особым указом от 24 апреля 1749 г., Синод направил предписание Санкт-Петербургской управе благочиния немедленно конфисковать издание (ПСПиР. Екатерина. № 1191; ПСПиР. Елизавета. № 1110).

³⁶ 17 февраля 1785 г. Петр Алексеев, давний недоброжелатель Платона, препроводил своему покровителю, Иоанну Памфилову, экземпляр *Братских увещаний к некоторым братьям [свободным каменщикам]* (1784). Алексеев обращал внимание своего корреспондента не столько на саму книгу (кстати, одобренную к печати московским обер-полицмейстером), сколько на книгопродавческий список Типографической компании, который свидетельствовал «и о прочих сего рода сочинениях, здесь печатаемых, и тем самым, кому бы запрещать надлежало, одобряемых» (Русский архив. 1872. Кн. 1. С. 218). Алексеев был не одинок в своем беспокойстве; см., например, проповедь, посвященную разоблачению «лжепророцев», произнесенную священником Василием Прокопиевым, будущим членом комиссии, освидетельствовавшей Новиковскую библиотеку в 1792–1793 гг. (Слово в день Иоанна Богослова (23 сентября 1783 г.) // Слова поучительные, проповеданные в Москве Сретенского сорока церкви трех Святителей, что у Красных ворот Василием Прокопиевым. М., 1786. С. 12–17). Я.А. Брюс в письме к А.А. Безбородко заметил, что «видитца мне, что наши духовные с вашими не единомыслены, и что из них один находит для просвещения, то другой – для розвращения» (ЧОИДР. 1876. Кн. 4. Отд. 5. С. 43).

ром, были изъяты из продажи и опечатаны. Характерно, что Екатерина II полностью проигнорировала заключение Платона о тех светских книгах, которые были им признаны «вредными» и «для церкви оскорбительными»³⁷.

Указ от 23 декабря 1785 г. предусматривал не только инспекцию университетской книжной лавки, но и программу реорганизации надзора за духовной литературой, печатавшейся в вольных типографиях. Напомнив Платону, что «нужное притом есть, да и с полицейскими нашими учреждениями сходственно, чтобы книги из его, Новикова, и прочих вольных типографий выходили не иначе, как по надлежащей цензуре», императрица распорядилась, чтобы впредь все книги, выходившие из частных типографий, «где что касается веры и дел духовных», свидетельствовались смешанной комиссией, состоявшей из «одного или двух духовных особ вместе с светскими», с тем, чтобы не допустить «таковых, в коих какие-то колобродства, нелепые умствования и раскол скрываются»³⁸. То есть Екатерина полагала, что надзор над духовной литературой, издававшейся светскими типографиями, как и надзор над религиозным образованием в училищах ведомства Приказа общественного призрения, должен был производиться не духовными властями, а смешанной духовно-гражданской комиссией, подобной той, что в свое время обсуждала судьбу юридического статуса духовного сословия и церковных имений³⁹.

Попытка создания смешанной цензорской комиссии, тем не менее, не удалась. Указ от 23 декабря 1785 г. по существу противоречил существующему законодательству, в том числе и указу о вольных типографиях, и только усилил цензурную неразбериху⁴⁰. Когда в конце 1786 г. вышло новое периодическое сочинение *Беседы с Богом*, издаваемое Иваном Харламовым, выяснилось, что Платон, которому Новиков поднес первый выпуск издания, самостоятельно дал одобрение на печатание, вероятно, полагая, что переводчик, священник московского собора, принадлежал его «ведомству». Московский главнокомандующий П.Д. Еропкин ограничился тем, что предписал цензорам иметь более «строгое наблюдение о подобных сему книгах»⁴¹.

³⁷ Лонгинов М.Н. Указ. соч. С. 440–442; Западов В.А. Указ. соч. С. 39–43.

³⁸ Лонгинов М.Н. Указ. соч. С. 423; ПСПиР. Екатерина. № 1252.

³⁹ Лонгинов М.Н. Указ. соч. С. 422; Омельченко О.А. Церковь в правовой политике «просвещенного абсолютизма» в России // Историко-правовые вопросы взаимоотношения государства и церкви в истории России. М., 1988.

⁴⁰ В апреле 1786 г. в ответ на запрос петербургского генерал-губернатора П.П. Коновницына, который сомневался «отсылать ли книги к духовным особам, вопреки указу, повелевавшему книги в типографиях печатать по свидетельству от Управы благочиния», Екатерина подтвердила старый принцип разделения цензуры – «книги, касающиеся закона посылать, а о прочих поступать по Уставу благочиния» (ПСЗ. Т. 22. № 16378; Барсов Т.В. О духовной цензуре... Вып. 7. С. 243; ПСПиР. Екатерина. № 1273).

⁴¹ Мартынов И.Ф. Указ. соч. С. 121–122.

Церковные власти незамедлительно воспользовались указом в своих интересах. Платон сделал неудачную попытку назначить духовных цензоров из числа ставропигиальных архимандритов, тем самым подчинив их своей юрисдикции⁴². Синод, который до сих пор не имел права самостоятельно, без ведения Сената, заниматься делами светских типографий, распорядился, чтобы ему были представлены сведения о всех вольных типографиях, «где и в которой Епархии и кем именно оныя заведены», а также о вновь заводимых печатнях, потребовав немедленного закрытия «потаенных» старообрядческих типографий⁴³.

Полная монополия Синода на религиозную литературу была восстановлена именным указом от 27 июля 1787 г. Указ подтверждал принцип разделения литературы и цензуры на светскую и духовную: Екатерина оговаривала, что «свобода от нас дарованная печатанию книг в светских публичных и частными людьми заводимых типографиях» простирается исключительно «на книги светские» и «пользе общественной служащие»⁴⁴. Подтвердив, что «по установлениям предков наших» печатание «книг церковных и до закона нашего православного вообще относящихся» принадлежало исключительно Синоду, указ запрещал к продаже «молитвенники, таже книги церковные или к священному писанию, вере, либо к толкованию закона и святости относящиеся», изданные помимо Синода. Единственным исключением были издания Комиссии народных училищ⁴⁵.

Со времен М.Н. Лонгинова историки рассматривали указ от 27 июля 1787 г. и последовавшие ревизии книжных лавок как часть антиновиковской кампании. Между тем, в отличие от указа от 23 декабря 1785 г. предметом этих инспекций были не «сомнительные» книги, а любые издания, «к святости относящиеся», напечатанные помимо Синода и Комиссии народных училищ. Среди арестованных книг были не только издания Новикова и Типографической компании, но Академии наук, Сухопутного Шляхетного кадетского корпуса, Овчинникова, Вейтбрехта, Геннинга, Гиппиуса, Пономарева, Клейна, Клаудия, а также ранние издания Московского университета. Кроме того, были конфискованы львовское издание *Анфологиона* (1651), а также издания, «неизвестно где напечатанные»⁴⁶. Под действие указа попадала и продукция старообрядческих типографий. Инспекции 1787–1788 гг. были, по существу, актом ретроспективной цензуры, предусмотренным действующим законодательством, например указами от 20 марта 1720 г. и 9 марта 1743 г. Протокол подобных проверок неоднократно применял-

⁴² *Рартмелл* К.А. Op. cit. P. 45–46.

⁴³ ПСПиР. Екатерина. № 1267.

⁴⁴ *Лонгинов* М.Н. Указ. соч. С. 444; ПСПиР. Екатерина. № 1349.

⁴⁵ Там же.

⁴⁶ *Лонгинов* М.Н. Указ. соч. С. 444–461.

ся, в частности, при проверках книжных лавок на Спасском мосту⁴⁷. Итоги инспекций, проведенных в Москве, Петербурге и провинциальных городах, были подведены на заседании Синода от 25 апреля 1789 г. Митрополит Гавриил как председательствующий Синода рассмотрел книги и задержал 14 названий (среди них – не только издания Новикова, но и Мейера, и Гиппиуса), «которые заслуживают быть оставленными под сохранением Синода», «под печатью»; «прочие книги по оному ж высочайшему повелению отданы хозяевам для продажи обратно», в том числе и издания, не значившиеся в реестрах и издательских каталогах⁴⁸.

Синод не терял времени в практическом применении указа. Был положен конец деятельности клинцовских старообрядческих типографий⁴⁹. 17 сентября 1787 г. Синод, ссылаясь на результаты инспекций книжных лавок и положения июльского указа, запретил духовным лицам печатать свои сочинения в светских типографиях без синодальной санкции, а епархиальным архиереям и архимандритам ставропигиальных монастырей – давать собственную апробацию, без представления в Синод или Московскую синодальную контору⁵⁰. Наконец, в январе 1790 г., ссылаясь на то, что после указа от 27 июля 1787 г. в Синод стали поступать многочисленные просьбы от авторов и переводчиков о напечатании книг на свой кошт в Синодальной типографии, в «чем их и удовлетворить надлежит, поелику сие и обществу может быть небесполезно», Синод даровал право синодальным типографиям печатать книги гражданским шрифтом по частным заказам. Разумеется, все сочинения и переводы должны были проходить синодальную цензуру. Кроме того, обязательный экземпляр всех изданий предоставлялся в библиотеку Синода⁵¹.

Тем не менее неподцензурные издания продолжали выходить. Несмотря на запрет на деятельность старообрядческих типографий, тайная типография Ф. Карташова в Клинцах и униатская типография в Супрасле продолжала печатать книги, которые продавались и в книжных лавках, и на ярмарках. Распространение неподцензурной литературы, напечатанной церковными шрифтами, явно беспокоило и духовные, и светские власти. При этом А.А. Прозоровский, назначенный московским

⁴⁷ Сборник. С. 4–5; ПСЗ. Т. 6. № 3765; РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 16. Д. 68 (1766 г., февраль 17). Арестованные книги отдавались в Синод, где они держались под печатью «до указа», книгопродавцы подлежали допросу, «от кого оныя к продаже получают и кем сочинены и писаны», а протоколы допросов и образцы конфискованных книг, составив «обыкновенный тому реэстр», направлялись в Синод, в обязанности которого входило освидетельствование арестованных изданий.

⁴⁸ Западов В.А. Указ. соч. С. 115–116.

⁴⁹ Вознесенский А.В. Издания тайных старообрядческих типографий конца XVIII – первых двух десятилетий XIX в. в фондах ГПБ // Коллекции. Книги. Автографы. Л., 1989. Вып. 1. С. 16–30.

⁵⁰ ПСПиР. Екатерина. № 1356.

⁵¹ ПСПиР. Екатерина. № 1454; РГАДА. Ф. 1184. Д. 12592 (1790 г.).

генерал-губернатором в феврале 1790 г., интересовался деятельностью не только новиковских типографий, но и печатни Троице-Сергиевой лавры⁵².

Ходили и слухи о том, что неподцензурные книги печатались и в типографии Новикова. В августе 1790 г. П.А. Алексеев, удовлетворяя «любопытство» гражданского прокурора М.П. Колычева по поводу судьбы семинаристов, обучавшихся в Московской академии на кошт Н.И. Новикова, счел необходимым уведомить Колычева о том, что «у господина Новикова в доме, что на Чистом пруде, в приходе Гавриила Архангела в переулке печатают книги потаенно»⁵³.

Ход этим слухам, однако, был дан только через полтора года, в апреле 1792 г. Когда Екатерина II узнала, что в продаже появилось издание *Истории об отцах и страдальцах соловецких*⁵⁴, наполненное «ложными чудесами, и при том искажениями во многих местах дерзкими и как благочестивой нашей церкви противными, так и государственному правлению поносительными», она отметила, что «подобные книги издаются в Москве, в партикулярных типографиях». (Екатерина отмела предположение о том, что книга, продававшаяся с «выдранием главного листа», могла быть напечатана в Польше, поскольку это «по разным соображениям быть не уповательно».) В указе Прозоровскому от 13 апреля 1792 г. Екатерина указала на Новикова, «которой, как слышно, сверх типографии, имеющейся в Москве, завел таковую и в подмосковной его деревне». Прозоровскому предписывалось провести «нечаянные» обыски и в московском доме Новикова, и в его деревне, «не найдется ли у него таковая книга либо другие ей подобные, или же по крайней мере литеры церковные»⁵⁵.

Как известно, ни церковных литер, ни книг церковной печати при обыске, произведенном 22 апреля 1792 г. в имении Новикова, не оказалось. Зато были обнаружены двадцать две мистические, духовные и масонские книги, без переплетов, в основном издания Лопухина и Тайной масонской типографии, спрятанные от инспекции в 1785–1786 гг. Обнаружение неподцензурных и запрещенных изданий повлекло обыски не только в бывшем Гендриковском доме и книжной лавке Новикова, но и

⁵² РГАДА. Ф. 18. Д. 312 (1791 г.); к сожалению, дело, которое значится в описи фонда как ветхое, в момент подготовки статьи было недоступно.

⁵³ Алексеев, который, как и многие другие московские и петербургские священники, был озабочен растущей популярностью мистических сочинений, полагал, что духовная цензура, чья обязанность состояла в том, чтобы «порочных книг не пропускать к печатанию, а хорошие бы у себя долговременно не удерживать», должна была осуществляться «гражданскими лицами благоразумными» (ОР РГБ. Ф. 557. Д. 90. Л. 144; Русский архив. 1882. Кн. 3. С. 78–79).

⁵⁴ Об издании см.: *Вознесенский А.С.* Старообрядческие издания XVIII – начала XIX века: Введение в изучение. СПб., 1996. С. 101–104. Книга была напечатана в Почаевской типографии в 1794 г.

⁵⁵ *Лонгинов М.Н.* Указ. соч. С. 339.

во всех московских «вольных» лавках, в результате чего были изъяты издания, запрещенные в 1786 и 1789 гг.⁵⁶ Следствие обращало особое внимание на книги церковной печати: когда в ходе проверок были изъяты экземпляры *Размены* епископа Питирима, Прозоровский запросил Московскую Синодальную контору о происхождении книги «для донесения ея императорскому величеству», «как ея величество не позволяет нигде, кроме духовных типографий, подобным тиснением печатать, то есть церковными буквами»⁵⁷.

Обвинения в печатании церковной литературы с Новикова были сняты довольно скоро; взамен были выдвинуты новые, значительно более серьезные. Ход следствия и приговор по «делу» Новикова показывал, что Екатерина, как, впрочем, и многие ее современники, в том числе и духовные лица, рассматривала «мартинистов» как своего рода тоталитарную «фанатическую» секту, организованную в квазицерковную иерархию, основанную на суровой дисциплине и запугивании рядовых членов, финансово поддерживаемую из-за границы и активно вербующую неопитов, в том числе с помощью «непозволенных, развращенных и противных закону православному книг»⁵⁸.

Подтверждение этой теории было, казалось бы, найдено в ходе инспекций библиотеки Новикова в Авдотьино и книгохранилища в Гендриковом доме, где было обнаружено множество книг и рукописей мистического содержания, в том числе и сочинений хилиастического характера. В мае 1792 г. Платон по просьбе Прозоровского назначил двух духовных цензоров – академического ректора Мефодия (Смирнова) и протопопа Трехсвятительской церкви Василия Прокопиева – для «разсмотрения» русских книг. Для инспекции иностранных книг в феврале 1793 г. была назначена смешанная духовно-гражданская комиссия, состоявшая из профессоров Московского университета и преподавателей Московской академии. «Вредными» признавались «мистические толкования», которые, по заключению Мефодия и Прокопиева, «могут по нынешнему критическому времени и опасны быть для малопросвещенных»; «разсматриватели» рекомендовали: «лучше пресечь и самой к тому случай»⁵⁹.

Указом Екатерины от 11 февраля 1793 г. запрещенные и неподцензурные книги, как отобранные у Новикова, так и конфискованные в

⁵⁶ Там же. С. 468–471.

⁵⁷ Товарищ директора Типографской конторы Ульяновский подтвердил, что книга действительно была напечатана в Московской Синодальной типографии на кошт Сыромятников, согласно указу Синода, полученного 1 сентября 1782 г. Экземпляр, конфискованный Прозоровским, был сверен с экземпляром, находящимся в Конторе, и оказался идентичным, «кроме куншта в самом начале положенного, коего в типографском оригинале не находится» (РГАДА. Ф. 1183. Оп. 10. Ч. 1. Д. 9).

⁵⁸ *Smith D. Working the Rough Stone: Freemasonry and Society in Eighteenth-Century Russia.* DeKalb, Ill., 1999. P. 136–175.

⁵⁹ РГАДА. Ф. 1183. Оп. 24 а. Д. 16. Л. 12–12 об.

1786–1789 гг., до сих пор хранящиеся «под печатью» в Московской Синодальной конторе, поручалось «предать огню все без изъятия»⁶⁰. Поскольку иностранные книги и рукописи не входили в юрисдикцию Синода, его согласия на уничтожение не потребовалось; книги были сожжены, согласно инструкции Прозоровского, «неприметным образом» управляющим Приказа общественного призрения А.П. Курбатовым и адъютантом Прозоровского С.С. Кушниковым⁶¹. Что же касается изданий, запрещенных в 1786 и 1789 гг., то они были переданы гражданским властям для уничтожения только в июне 1794 г. Светские власти не имели права самостоятельно уничтожать их: согласно указу от 9 декабря 1793 г., книги, конфискованные у книгопродавцев или частных лиц, подлежали передаче в Московскую Синодальную контору. Именно так поступили с экземпляром *Карманной книжки вольных каменщиков*, конфискованным в 1794 г. у поручика Василия Левашова⁶². Между тем, в Москве ходили самые невероятные слухи, в которых, в частности, фигурировал некий «архимандрит», швырявший в огонь православные книги, ссылаясь на то, что они «заблошились» от изданий Вольтера и прочих безбожных сочинений⁶³.

Цензурные конфликты 1780-х – начала 1790-х годов продемонстрировали не только противоречия между потребностями коммерческого книгопечатания и монополией Церкви на богословскую мысль, но и искусственный характер границы между «светской» и «духовной» литературой. Представление о том, что «гражданские» типографии будут печатать исключительно «исторические и мануфактурные книги», оказалось несколько наивным. К глубокому разочарованию императрицы, которая не только предоставила свободу частным типографщикам, но и попыталась существенно ограничить традиционные прерогативы Синода, издатели, писатели и книгопродавцы, преследуя собственные интересы, использовали вновь обретенную свободу не для создания «книг светских и пользе общественной служащей», а сочинений, либо уже печатавшихся в типографиях Синода, либо и вовсе наполненных «колобродствами, нелепыми умствованиями и расколом»⁶⁴.

В 1780–1790-е годы основным предметом беспокойства Церкви было не столько распространение «французской философии» или даже не идей розенкрейцерства, сколько поползновения на цензурные привилегии Синода со стороны коммерческих типографий и государства. Синод

⁶⁰ Лонгинов М.Н. Указ. соч. С. 550.

⁶¹ Мартынов И.Ф. Указ. соч. С. 149–150.

⁶² РГАДА Ф. 1183. Оп. 4. Д. 1; Оп. 24 а. Д. 16. Карманная книжка для В*** К*** [вольных каменщиков] и для тех, которые не принадлежат к числу оных; с присовокуплением: 1) из высочайшей философии для размышления и 2) поучительных изречений, разделенных на три ступени. Изд. 2-е М.: Унив. тип., у Н. Новикова, 1783 (см.: СК № 2852).

⁶³ Русский литературный анекдот конца XVIII – начала XIX в. М., 1990. С. 76.

⁶⁴ Лонгинов М.Н. Указ. соч. С. 423.

довольно успешно отстоял свою монополию на богословскую мысль, покончив с существованием легальных старообрядческих типографий, усилив контроль над изданием религиозной литературы в светских, в том числе и «вольных», типографиях, положив конец чересчур самостоятельной политике московского архиерея, поставив под свой надзор литературную деятельность духовенства и покончив с ограничением на использование гражданских шрифтов.

Синод также успешно отразил попытки правительства Екатерины II отдать надзор над религиозной печатью в светских типографиях под контроль смешанной духовно-гражданской комиссии. Последняя попытка подобного рода была предпринята указом от 16 сентября 1796 г., который предусматривал учреждение цензорских комиссий, состоявших из «одной духовной и двух светских особ» в Москве и Санкт-Петербурге, а также при таможенных пунктах в Риге, Одессе и Радзивилове, и подчинение всех цензоров, в том числе и духовных, юрисдикции Сената, а в провинции – губернской администрации⁶⁵. Эта последняя попытка секуляризации церковной цензуры была перечеркнута указом Павла от 14 марта 1799 г., когда устанавливалась специализированная Духовная цензура, а указ Александра I от 9 февраля 1802 г., восстановив нормы закона о вольных типографиях, также восстановил и монополию Синода на издание духовной литературы, гарантированную указом 1787 г.⁶⁶

Ol'ga Tsapina

Church Censorship and Secular Presses in Russia in the late 1770^s – early 1790^s

The article based on the materials of the Holy Synod and its Moscow Office, deals with the problem of church control over religious publications put out by commercial presses. The main object of church censorship in Russia was theological and devotional literature in Russian; the legislation of the 1720 – early 1760^s put «secular» literature outside the purview of the Church. In the reign of Catherine the Great the Synod found itself in a situation when its authority was challenged by the government trying to restrict ecclesiastical jurisdiction over secular presses, publishers and entrepreneurs, striving to capitalize on a growing market for devotional literature, learned clergy increasingly interested in literary pursuits, and Moscow archbishop endeavoring to consolidate his own authority in the diocese. Responding to these pressures, the Synod managed to restore and even tighten its control over religious literature.

⁶⁵ Барсов Т.В. О духовной цензуре... Вып. 7. С. 246–253; под юрисдикцией Синода оставались только синодальные типографии.

⁶⁶ Рогожин В.Н. Дела «Московской цензуры» в царствование Павла I, как новые материалы для русской библиографии и словаря русских писателей. СПб., 1902. Вып. 1. С. 14–15; Котович А.Л. Духовная цензура в России 1799–1866. СПб., 1900.

Г.А. КОСМОЛИНСКАЯ

ДВА КУРАТОРА МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА –
ДВЕ ЦЕНЗУРЫ: И.И. ШУВАЛОВ И В.Е. АДОДУРОВ

До появления первого цензурного устава 1804 г. цензура в России не обладала ни базовым законодательством, ни четкой регламентацией¹, при том, что необходимость контроля над печатным словом – представление, прочно укоренившееся в общественном сознании, – ни у кого сомнения не вызывала. Цензура являлась обязательной составляющей книгоиздательской деятельности XVIII в., а ее формы и характер в значительной степени определялись руководителями тех учреждений, где эта деятельность осуществлялась. На примере Московского университета 1750-х – начала 1770-х годов попытаемся показать, в какой степени цензурная практика здесь зависела от личности куратора – организатора цензуры – и какие последствия имела «кураторская цензура» для внутрикорпоративного устройства университетской жизни.

Книгоиздательская деятельность Московского университета началась вскоре после его основания. Уже весной 1756 г. появляются первые образцы университетской печати (объявления, программы лекций, тезисы), а в апреле – первый номер газеты *Московские ведомости*, отныне ставшей неотъемлемой частью московской жизни. История создания университетской типографии, завершившаяся появлением сенатского указа «об учреждении при оном Университете типографии и книжной лавки» (1756)², сейчас уже более или менее хорошо

© Г.А. Космолинская, 2008

¹ Подробнее об этом см. статью А.Ю. Самарина в настоящем издании.

² ПСЗ. Т. 14. № 10515. 5 марта 1756 г.: «О порядке сношений Московского университета с Коллегиями, Канцеляриями, Приказами и Канторами (...) и об учреждении при оном Университете типографии и книжной лавки» (опубликован 8 марта).

известна³. Указ последовал незамедлительно в ответ на «доношение» куратора И.И. Шувалова и директора А.М. Аргамакова в Сенат от 4 марта 1756 г., где мотивировалась необходимость заведения при университете типографии и книжной лавки, «в которых происходимые университетские писателей сочинении и переводы печататся и продаются в ползу общую могли б»⁴.

Однако ни в одном из известных нам документов, связанных с основанием университетского книгоиздательства, ничего не говорится о цензуре книг. Ни в доношении Шувалова–Аргамакова с его пафосом общественной пользы, ни в «привилегии», подтвержденной сенатским указом, этот вопрос не затрагивался. Что касается Проекта об учреждении Московского университета (1755), то, поскольку о собственном книгопечатании речь пока не шла, цензура книг в нем не упоминалась, зато пункт 8 Проекта накладывал строгую цензуру на профессорские лекции⁵.

На чем же основано общепринятое мнение о наделении Московского университета изначально правом цензуровать книги, которые печатались в его типографии?

Попытка ответить на этот вопрос⁶ еще раз подтвердила справедливость слов А.М. Скабичевского, который утверждал, что у нас нет «никаких сведений» о том, на каких основаниях и принципах осуществлялась университетская цензура⁷. Фактически мы должны признать, что нам не известно, когда университет получил право цензуры и в каких документах это право было закреплено.

³ *Кацпржак Е.И.* Начало издательской и типографской деятельности Московского университета // Книга: Исследования и материалы. М., 1965. № 11. С. 199–222; *Мельникова Н.Н.* Издания, напечатанные в типографии Московского университета. XVIII век. М., 1966. С. 3–14 (Предисловие); из новейших работ см.: *Костышин Д.Н.* Неопубликованные документы по истории создания типографии Московского университета // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1997. № 6. С. 102–103.

⁴ РГАДА. Ф. 248. Д. 2875. Л. 160. «Доношение» было рассмотрено в Сенате в тот же день, на следующий – решение о «привилегии» на книгопечатание подтверждено указом. Поспешность в принятии решения, вероятно, объясняется тем, что, на самом деле, подготовительный этап организации типографии к этому времени был закончен; см.: *Костышин Д.Н.* Указ. соч. С. 91–94, 102–103.

⁵ «Пункт 8. Ни кто ис Профессоров не должен по своей воле выбрать себе Систему или Автора и по оной науку свою слушателям предлагать, но каждый повинен последовать тому порядку и тем Авторам, которые ему Профессорским собранием и от Кураторов предписаны будут» (ПСЗ. Т. 14. № 10346). Иначе обстояло дело в Академии наук, где университетские профессора согласно Уставу 1747 г. имели в этом смысле больше свободы (ПСЗ. Т. 12. № 9425).

⁶ См.: *Космолинская Г.А.* Цензура в Московском университете XVIII века («доновиковской» период) // Eighteenth-Century Russia: Society, Culture, Economy. Papers from the VII International Conference of the Study Group on Eighteenth-Century Russia. Wittenberg, 2004 / Ed. by R. Bartlett, G. Lehmann-Carli. Münster, 2007. P. 139–156.

⁷ «Насколько строга была эта университетская цензура, и что она преследовала или вымарывала, об этом у нас не сохранилось никаких сведений» (*Скабичевский А.М.* Очерки истории русской цензуры (1700–1863). СПб., 1892. С. 35).

Юридические основания университетской цензуры принято связывать с ноябрьским ордером куратора И.И. Шувалова 1762 г., согласно которому в университете официально вводилась должность «особливого цензора». Но интерпретировать этот документ как основополагающий, то есть положивший начало цензуре в стенах университета, было бы неверно, как неверно считать период университетского книгопечатания до 1762 г. бесцензурным. Несмотря на значительные лакуны в документальной истории Московского университета XVIII в.⁸, дошедшие до нас свидетельства в какой-то мере позволяют представить себе рутинную работу механизма цензуры, которая осуществлялась внутри университета на начальном этапе его книгоиздательской деятельности.

Легко заметить, что механизм этот не был отлажен. Отсутствие четких инструкций, замена их частными распоряжениями куратора, волей которого собственно и осуществлялась цензура, – все это делало цензурную практику беспорядочной, громоздкой, малоэффективной и даже препятствующей развитию книгопечатания. Книг, прошедших апробацию, то есть готовых для печатания, не хватало для бесперебойной работы типографии; в 1761 г. она все еще не была рентабельна. Это обстоятельство беспокоило кураторов, и они предпринимали меры к тому, «дыбы типография праздна не была», прежде всего стараясь найти способ избежать тормозящей процедуры. Например – заполнять пустующие станы изданиями латинских авторов: цензуры они, по сути, не требовали, а доход принести могли⁹. Одни и те же проблемы, правда с разной степенью остроты, что немало зависело от объемов печатной продукции, стояли и перед первым куратором И.И. Шуваловым, и перед сменившим его в 1762 г. В.Е. Адодуровым.

В целом, если сравнивать цензуру в университете при Шувалове и Адодурове, нужно признать – различий в формах ее осуществления было немного, собственно две: единоличная цензура и коллективная. Обе формы с тем или иным результатом были ими опробованы. Тем не менее, несмотря на то что формальные основания университетской цензуры, казалось бы, оставались без существенных изменений, на практи-

⁸ Архив Московского университета сгорел в пожаре 1812 г.; уцелевшие 15 томов документов (протоколы профессорской Конференции, кураторские и директорские ордера и пр.), хранящиеся в Библиотеке МГУ, опубли.: Документы и материалы по истории Московского университета второй половины XVIII века / Сост. Н.А. Пенчко. М., 1960–1963. Т. 1–3. Недавно в свет вышел сборник университетских документов 1754–1755 гг. из архивов Москвы и Санкт-Петербурга (РГАДА, РГИА, ПФА РАН, РГБ, НБ МГУ, БАН), среди которых – ранее не опубликованные: История Московского университета (вторая половина XVIII – начало XIX века): Сб. документов. Т. 1. 1754–1755 / Сост. Д.Н. Костышин, отв. ред. Е.Е. Рычаловский. М., 2006. 471 с.

⁹ «Как ныне при типографии университетской мало печатается книг, то изволите, ваше высокоблагородие, приказать печатать латинские классические авторы, дабы типография праздна не была, а оные книги впредь употреблены быть могут во учреждаемые в городах гимназии и школы» – ордер куратора Ф.П. Веселовского от 8 января 1761 г. (Документы и материалы... Т. 1. № 154).

ке при разном руководстве она осуществлялась по-разному. Присущее же цензуре свойство порождать специфические, спорные ситуации неизбежно отражалось на атмосфере внутренней жизни университета, особенно когда контролировалась научная деятельность – «ученая часть». На начальном этапе университетского книгопечатания это было именно то поле деятельности, где при отсутствии общей регламентации слишком многое зависело от личности куратора¹⁰.

Два куратора – И.И. Шувалов (1727–1797) и В.Е. Адодуров (1709–1780) – люди, сформировавшиеся в разные эпохи (Елизаветинскую и Аннинскую), имеющие разный социальный статус и положение, по сути, антиподы, демонстрировавшие две различные модели управления университетом – просветительско-вельможную и бюрократическую¹¹.

Иван Иванович Шувалов, всесильный фаворит императрицы Елизаветы Петровны, основатель и первый куратор Московского университета. Эта должность сохранялась за ним даже тогда, когда, с приходом к власти Екатерины II, он был вынужден уехать из России на долгие 14 лет (1763–1777). Наиболее значительную роль при дворе Шувалов играл в последние семь–восемь лет правления Елизаветы: в ту пору она все меньше появлялась на людях, часто болела и жила уединенно в Царском Селе, а он фактически был первым лицом в государстве¹². Именно в эти годы делает первые шаги основанный им в 1755 г. Московский университет. «Ученая прихоть» вельможи¹³ – характерный феномен века Просвещения – приобрела грандиозные масштабы, оказав влияние и на дальнейший ход развития России. Историки отмечают, что «роль мецената» была для Шувалова даже более лестной, чем роль вершите-

¹⁰ Ср. характеристику, которую В.П. Семенников дал академической цензуре Екатерининского царствования: «Порядок цензурования книг в Академии зависел от усмотрения лиц, правивших этим учреждением: с переменой директора менялся и порядок цензуры (...) Книги то цензуровались особо назначенным для этой цели лицом, несшим известное время обязанности цензора, то поручались для цензуры различным русским академикам, а иногда и академическим переводчикам, то, наконец, печатались без всякой цензуры» (*Семенников В.П.* К истории цензуры в Екатерининскую эпоху // Русский библиофил. 1913. № 1. С. 53).

¹¹ См.: *Кулакова И.П.* Университет и роль культурного политика (по материалам деятельности кураторов и попечителей Московского университета XVIII – первой половины XIX в. // История Московского университета 1755–2004 гг. Ломоносовские чтения 2004 г. к 250-летию Московского университета: Материалы V научных чтений памяти проф. А.В. Муравьева. М., 2004. С. 123–127.

¹² «Он вмешивается во все дела, не нося особых званий и не занимая особых должностей. (...) Одним словом, он пользуется всеми преимуществами министра, не будучи им», – писал в 1761 г. в своих записках («Observations sur la cour de Russie, le Ministère et le système actuel») Ж.-Л. Фавье, бывший секретарь французского посольства в Санкт-Петербурге (Записки Фавье / Пер. Ф.А. Бычкова // Исторический вестник. 1887. Т. 29. С. 392; см. также: *Бартенев П.И.* И.И. Шувалов // Русская беседа. 1857. Кн. 1. С. 10).

¹³ Ср.: «Ученая прихоть». Коллекция князя Николая Борисовича Юсупова: [Каталог выставки]. М., 2001. Т. 1–2.

ля государственных дел»¹⁴. Его просветительские устремления – в значительной мере плод глубокого восхищения Петром I как преобразователем России «через науку». Государственный деятель Елизаветинского царствования Шувалов во многом действовал с оглядкой на своего кумира; одну из главных своих задач видел, как и Петр, в создании «премудрых учреждений» – университета, академии художеств, гимназий, – способных победить суеверие, невежество и привести к благополучию государства¹⁵. Он был убежденным сторонником «фундаментальных и непрременных законов», которые должны «открыть путь к общему благосостоянию»¹⁶. Необходимость цензуры не вызывала у него никаких сомнений, однако в стенах университета эта важная сфера деятельности фактически была оставлена им без четкой регламентации.

Василий Евдокимович Адодуров – человек совершенно иного типа. Талантливый и разносторонний ученый, имевший большой педагогический опыт работы в Академии наук, первый русский академик¹⁷. Впрочем, это звание ничего существенно не добавляло к «статусу ученого» в России, где, в отличие от Западной Европы, его просто не существовало¹⁸. То, что русские ученые долгое время находились вне *Табели о рангах*¹⁹, вынуждало многих, особенно дворян, искать чинов вне Академии. Принадлежал к ним и Адодуров. В 1741 г. он начал свою чиновную карьеру с должности

¹⁴ Анисимов Е.В. И.И. Шувалов – деятель Российского Просвещения // Вопросы истории. 1985. № 7. С. 96.

¹⁵ Бумаги И.И. Шувалова // Русский архив. 1867. № 1. Стб. 73 и др. Свое отношение к Петру I Шувалов выражал неоднократно, например – в известном письме к Гельвецию от 27 июля 1761 г. (*Бартенев П.И.* Указ. соч. С. 39); имя Петра I не раз упоминается и в тексте указа об учреждении Московского университета, составленного самим Шуваловым.

¹⁶ Бумаги И.И. Шувалова. Стб. 83–85; анализ черновых записок Шувалова, составленных «для памяти» императрицы Елизаветы, см.: Анисимов Е.В. Указ. соч. С. 103–104.

¹⁷ В Академии Адодуров изучал математику у Бернулли и Эйлера, много переводил с немецкого (в том числе труды Эйлера), был автором грамматики русского языка и других учебников (см.: РБС. СПб., 1896. Т. 1. С. 79–81; Словарь русских писателей XVIII века. Л., 1988. Вып. 1 (А–И). С. 21–23).

¹⁸ «Невозможно предстать себе, как здесь обращаются с учеными и художниками, урожденными подданными империи. Ими командуют, словно простыми рабочими. Они столь же плохо оплачиваемы, сколь мало уважаемы (...) Ученое сообщество так же находится здесь под гнетом деспотизма, как и все, что тут есть, а потому мало кто из здешних ученых не мечтает о моменте, когда покинет Россию, что подданным этой страны делать запрещено, несмотря на свободу, дарованную Указами», – писал в краткой биографии ученого К.И. Габлица шевалье де ля Колиньер, находившийся в России в 1780-е годы (*Чудинов А.В.* Французские агенты о положении в Крыму накануне русско-турецкой войны 1787–1791 гг. // Русско-французские культурные связи в эпоху Просвещения. М., 2001. С. 214).

¹⁹ О безуспешной борьбе Ломоносова за государственный статус и улучшение материального положения ученых в России в 1750-е годы см.: *Иванов А.Е.* Ученые степени в Российской империи XVIII в. – 1917 г. М., 1994. С. 10–16; см. также: *Петров Ф.А.* Зарождение системы университетского образования в России // Университет для России. Взгляд на историю культуры XVIII столетия. М., 1997. С. 83.

ассессора Герольдмейстерской конторы и к началу 1750-х стал герольдмейстером. С приходом к власти Екатерины II он получил пост куратора Московского университета и президента Мануфактур-коллегии (1762), а вскоре стал сенатором (1763). Назначения Адодурова были прямо связаны со сменой власти: одним из первых он был востребован новой императрицей²⁰ (в доверие к Екатерине он вошел, когда преподавал будущей великой княгине русский язык). Известно, что Екатерина II прислушивалась к его мнению и называла своим «другом», но такого статуса, каким при дворе обладал Шувалов, у него не было никогда.

В отличие от Шувалова Адодуров большую часть своего кураторства прожил в Москве вблизи управляемого им университета²¹. Тем не менее, как справедливо пишет И.П. Кулакова, университет не стал для него «делом жизни», и, «пробыв куратором около 16 лет, он не вошел в университетскую “мифологию” как просвещенный покровитель университета, подобный Шувалову»²². И это понятно: при нем в университете усилился бюрократический дух, а права профессорской Конференции заметно сократились. Адодуров – выходец из Академии наук Аннинского царствования, где господствовал характерный бюрократический стиль управления и где ученый сформировался как личность, привнес в управление университетом личный опыт, мало соответствовавший учебному заведению нового типа, к тому же совершенно другой эпохи. Не менее важен и тот факт, что академический ученый был вынужден «пожертвовать наукой»²³ ради того, чтобы обеспечить себе карьерный рост и достойное существование. «Ученая прихоть» вельможи для него оставалась явлением, скорее всего, неприемлемым: позволить себе он, разумеется, ничего подобного не мог. В этом смысле его первые шаги в университете симптоматичны: он начал с обвинений Шувалова²⁴.

²⁰ В это время Адодуров служил в Оренбурге, куда был сослан в апреле 1759 г. по «делу канцлера Бестужева».

²¹ С 1770 г. Адодуров почти все время живет в Петербурге, фактически исполняя должность куратора до апреля 1778 г., когда был уволен по собственному желанию.

²² Кулакова И.П. Указ. соч. С. 127.

²³ Успехи, которые Адодуров, по мнению Бернулли и Эйлера, выказывал в математике, в дальнейшем не были реализованы. Он вынужден был в основном заниматься переводами и преподаванием различных наук, что приносило необходимую прибавку к жалованию, старательно и безотказно выполнял различные предписания начальства (например, в 1739 г. переводил бумаги Вольнскому, из-за чего чуть не пострадал). Высказанное им в 1737 г. пожелание заниматься естественными науками и последующий переход от математики Эйлера в адъюнкты к профессору теоретической и экспериментальной физики Г.Ф. Крафту в итоге обернулись еще одним переводческим трудом, теперь своего нового мэтра, – *Краткое руководство к познанию простых и сложных машин* (опубл. в 1739); а с апреля 1741 г. он уже служит в Герольдмейстерской конторе.

²⁴ РГАДА. Ф. 248. Оп. 63. № 2944. Л. 200–240; опубл.: Сенатский архив. СПб., 1907. Т. 12. С. 317–332. Адодурову было за что не любить Шувалова: в апреле 1759 г. он был арестован и сослан в Оренбург в связи с делом канцлера А.П. Бестужева-Рюмина, чье свержение произошло в 1758 г. с согласия Шувалова.

Доношение куратора В.А. Адодурова «о непорядках и финансовых нарушениях в Московском университете» было подано в декабре 1762 г., а уже 1 января 1763 г. началось слушание дела в Сенате. Как ни странно, служебное рвение Адодурова, за которым, очевидно, стояло нежелание или даже боязнь взять на себя «грехи» предшественника, не получило поддержки двора. Екатерина II, которую трудно заподозрить в любви к бывшему всесильному фавориту покойной императрицы, вынесла следующую резолюцию по делу: Шувалов, «на которого, как всем известно, можно смотреть как на основателя онаго места [Московского университета]», по-видимому, «больше добра установил, нежели худова находится, по новости места»²⁵.

В своем доношении в Сенат Адодуров, среди прочего, обвинял Шувалова в том, что тот самочинно добавил 100 рублей к жалованью М.М. Хераскова, который был «определен от него [Шувалова] цензором обоих гимназий»²⁶. Действительно, согласно упомянутому выше ноябрьскому ордеру 1762 г., прибавка к жалованию Хераскову полагалась за исполнение должности «особливого цензора», но не «обоих гимназий», а всей печатной продукции, выходившей из типографии университета.

Ордер куратора И.И. Шувалова директору И.И. Мелиссино с канцелярской пометой «получен 16 ноября 1762 года» – по-видимому, единственный дошедший до нас «полноценный» документ начальной истории цензуры в Московском университете²⁷. Опубликованный Н.А. Пенчко в примечаниях к *Документам и материалам по истории Московского университета второй половины XVIII века* (1960), он вошел в историографию как документ, ознаменовавший собой «начало университетской цензуры»²⁸.

Однако ордер Шувалова, безусловно, заслуживает более пристального внимания: документ, согласно которому в университете устанавливался новый порядок цензуры, неизбежно есть результат всего

²⁵ РГАДА. Ф. 248. Оп. 63. № 2944. Л. 233–233 об.; цит. по: Сенатский архив. Т. 12. С. 331; ценность этого признания была в том, что оно было сделано в трудное для Шувалова время: фактическая отставка от дел и предстоящая «почетная ссылка».

²⁶ РГАДА. Ф. 248. Оп. 63. № 2944. Л. 201 об.; Сенатский архив. Т. 12. С. 322. Вполне вероятно, что такую прибавку, да еще и с освобождением от других обязанностей, Адодуров посчитал несправедливой, ведь сам он, будучи в Академии, получал столько же («прибавку жалованья по 100 рублей в год») за обучение будущих академических пенсионеров немецкому и латинскому языкам, математике, истории, географии и риторике, да еще за перевод на немецкий язык *Уложения царя Алексея Михайловича* (РБС. Т. 1. С. 79).

²⁷ Ордер Шувалова был приложен в качестве обвинительного документа к доношению Адодурова (РГАДА. Ф. 248. Оп. 63. № 2944. Л. 209–210).

²⁸ Документы и материалы... Т. 1. С. 325. Примеч. 254; ср.: *Кацнржак Е.И.* Указ. соч. С. 212; *Западов В.А.* Краткий очерк истории русской цензуры 60–90-х годов XVIII века // Русская литература и общественно-политическая борьба XVII–XIX веков. Учен. зап. Ленинградского пед. ин-та им. А.И. Герцена. 1971. Т. 414. С. 100.

предшествующего опыта цензурной работы. На его содержании, достаточно противоречивом, и даже на стиле изложения, непривычном для Шувалова, не могла не отразиться та непростая ситуация, которая собственно его и породила.

В Москве ордер был получен накануне двух важных событий: первого посещения университета новым куратором В.Е. Адодуровым (19 ноября) и первого празднования тезоименитства новой императрицы Екатерины II (25 ноября). Вопрос о фактической отставке самого Шувалова к этому времени был по существу уже решен²⁹. Нетрудно представить себе ту непростую обстановку, которая царила в «предпраздничные» дни в университете. Разумеется, в интересах Шувалова было, чтобы торжества прошли на надлежащем уровне. Его идея – выдвинуть на ответственную должность сочинителя и одновременно цензора «поздравительных подношений» Хераскова, к поэтическому дару которого, как известно, благоволила Екатерина, – явно не лишена здравого смысла. В некотором роде Херасков должен был заменить в университете фигуру самого Шувалова. Недаром недруг опального куратора Адодуров негодовал по этому поводу, всячески умаляя значение новой должности, упорно называя ее «цензор обоих гимназий».

Хотя первым и, видимо, главным долгом «особливого цензора» было контролировать, чтобы «в особливые торжественные дни» от имени всего университета ко двору были приносимы «без отлагательства» поздравления, на самом деле, круг его обязанностей, согласно ордеру, предполагался значительно шире. Хераскову, помимо сочинения торжественных од и рассмотрения чужих подношений, поручалась цензура всех «книг и протчих сочинений, которые отдаются печатать ото всякого звания людей в типографию Московского университета»³⁰. После «тщательного прочтения» книги на предмет, «не содержит ли в себе чего противного законам и здравому рассудку», и «наблюдения по возможности штиля» цензор должен был дать свое письменное заключение и отослать его вместе с книгой «куда надлежит», то есть директору. Сверх того, от него требовалось «засвидетельствовать своеручно: не имеет ли которая книга чего запрещенного». Но и столь, казалось бы, подробная инструкция не исчерпывала всех обязанностей цензора. Остается только догадываться, что еще имел в виду Шувалов, когда в заключении писал: «А каким образом ему [Хераскову] производить цензуру, о том вашему высокоблагородию [т.е. директору И.И. Мелиссино], переговоров с ним, снабдить его особливым наставлением»³¹.

²⁹ О резкой перемене в положении Шувалова после прихода к власти Екатерины II красноречиво свидетельствует его письмо к графу Г.Г. Орлову (Бумаги И.И. Шувалова // Русский архив. 1867. № 1. Стб. 90–93).

³⁰ Ранее цензуру изданий «со стороны» согласно ордеру 1761 г. осуществлял сам Шувалов (см.: Документы и материалы... Т. 1. № 207).

³¹ РГАДА. Ф. 248. Оп. 63. № 2944. Л. 209–210.

Полномочия «особливого цензора», при всей их широте и новизне, имели обычные ограничения. С одной стороны, решение о том, «какие книги и сочинения в цензуру отдавать», принимал директор; с другой – право позволять печатать оставалось за куратором. Даже поздравления «к случаю», которые для ускорения дела поступали сразу, минуя директора, к Хераскову, обязаны были получить апробацию куратора. Сочинения самого Хераскова как будто освобождались от цензуры – их должны были «печатать без задержания на ево коште», но предварительное уведомление начальства было обязательно и для него³².

Обращает на себя внимание необычное многословие ордера, довольно путаное, особенно в части идеологического обоснования цензуры, где Шувалов трижды в одном пространном предложении пытается сформулировать мысль о необходимости контроля над книгопечатанием:

⟨...⟩ дабы не оказалось что-нибудь не благопристойное или противное доброму разумению, изданным от такова места, которое к общей пользе основано ⟨...⟩ не содержат ли [отдаваемые в печать книги] в себе чего противного законам и здравому рассудку ⟨...⟩ не имеет ли которая книга чего запрещенного³³.

Ясно, что он старается придать больший вес новой должности, которую до того исполнял самолично. Ясно и то, что его озабоченность состоянием цензуры в университете не была беспочвенной: Шувалов, опытный царедворец, был в курсе не только того, что происходило при дворе, но и того, что «витало в воздухе».

При дворе в то время зрело раздражение, вызванное появлением первых «пасквилей» на июньские события 1762 г. (*Мемории Петра III*), которое вскоре вылилось в первых репрессивных рескриптах Екатерины II в области цензуры – «Манифесте о неболтании лишнего» (4 июня 1763) и рескрипте о «недозволенных иностранных сочинениях» (6 сентября 1763), нацеленном на ограничение числа ввозимых из-за границы книг³⁴. Беспокойство Екатерины, связанное с появлением все новых слухов об обстоятельствах ее вступления на престол, подвигло власти на цензурное вмешательство и побудило Шувалова к наведению порядка в университете.

Итак, ордер 1762 г. можно трактовать двояко. С одной стороны, он был нацелен на необходимую реорганизацию университетской цензуры, поскольку стало очевидным, что со своими задачами она не справляется и процесс книгопечатания начинает тормозиться. С другой стороны, в его появлении явно не последнюю роль сыграла ситуация «наверху» – все усиливающееся внимание к превентивной функции цен-

³² «Ежели же от него [Хераскова] какие книги и сочинения присылаемы будут, то по объявлении о том главным командирам Московского университета, печатать без задержания на ево коште» (Там же).

³³ Там же. Л. 209.

³⁴ Текст рескрипта см.: *Занатов В.А.* Указ. соч. С. 96.

зуры. Однако ни нормативной, ни идеологической четкостью этот, в общем-то своевременный, документ не отличался.

Неудивительно, что о должности «особливого цензора», введенной при столь необычных обстоятельствах, в университете как будто постарались забыть; во всяком случае, упоминаний о ней в документах больше не встречается. Записка «О типографии университетской», составленная Адодуrowым в ответ на запрос из Сената, свидетельствует: и в середине 1770-х годов «главное смотрение» над университетской типографией и книжной лавкой все еще имел «ассессор, один по данной ему инструкции»³⁵. Херасков с июня 1763 г. занял пост директора университета (в связи с уходом Мелиссино), и хотя был обязан иметь попечение над всем университетом³⁶, включая типографию, на цензурном поприще никак особенно себя поначалу не проявлял. Сам Шувалов, когда ему пришлось давать объяснения в Сенате по обвинениям Адодуrowа, счел за нужное умолчать о предполагавшихся широких полномочиях «особливого цензора» в лице Хераскова, ограничив его обязанности сочинительством «поздравительных приношений» и редактированием чужих творений³⁷. По-видимому, это представлялось более обоснованным: одическая поэзия всегда вызывала повышенное внимание властей как жанр, входивший в ритуал праздничной жизни двора и совершенно неизбежно затрагивавший «первые лица»³⁸.

Курс цензурной политики куратора Адодуrowа, проводником которой становится директор Херасков, обозначился более отчетливо в середине 1760-х годов. Характерно, что ордера, которыми Шувалов в 1761–1762 гг. пытался регламентировать университетскую цензуру, не были отменены или заменены новыми. Формально Адодуrow как будто принял шуваловскую схему 1761 г., по которой апробацию университетских трудов должна была осуществлять профессорская Конференция, а куратор занимался цензурой сочинений и переводов «со стороны»³⁹.

³⁵ РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. № 38. Л. 83. Можно предположить, что имелась в виду та самая, не дошедшая до нас инструкция, составленная еще в 1757 г., согласно ордеру Шувалова, для ассессора Хераскова, которому тогда было поручено «иметь дирекцию над типографией» (Документы и материалы... Т. 1. № 39, 43; С. 303. Примеч. 38).

³⁶ Круг обязанностей директора очерчен в пункте 3 Проекта об основании Московского университета (ПСЗ. Т. 14. № 10 346).

³⁷ В доношении в Сенат от 20 декабря 1762 г. он писал: «⟨...⟩ определение ево [Хераскова] сенсором учинено, дабы он ко всем торжественным дням сочинял поздравительные приношения, и просматривал подаваемые другими, признавая в нем довольную к тому способность, а более всего зная высочайшую Ея Имп. Величества апробацию ево сочинений» (РГАДА. Ф. 248. Оп. 63. № 2944. Л. 217; Сенатский архив. Т. 12. С. 322).

³⁸ См.: *Шамрай Д.Д.* К истории цензурного режима Екатерины II // XVIII век. М.; Л., 1958. № 3. С. 188.

³⁹ Ордер Шувалова, август 1761 г.: «Естьли подано будет что от собрания апробованное для печатания, то приказать печатать, какие же будут поданы переводы или сочинения, присылать ко мне и об них уведомлять» (Документы и материалы... Т. 1. № 207).

На самом деле, ситуация все больше напоминала «архаический» вариант этой схемы с централизацией всей университетской цензуры в одних руках. Но теперь это выглядело следующим образом: переложив ответственность за цензуру всех видов университетской продукции на самих профессоров, Адодуров установил жесткий административный контроль за их деятельностью. Между куратором и Конференцией на почве цензуры все чаще возникают конфликты, вплоть до отмены ранее принятых решений. На заседании 20 августа 1765 г. профессор И.Ф. Эразмус вынужден был с горечью констатировать:

Ясно одно, что совещания господ профессоров в конференциях – ни к чему, и они становятся смешны, когда его превосходительство г. куратор то, что сегодня по апробации профессоров постановлено, на другой день вопреки их воле, то ли по собственному побуждению, то ли по чьему-нибудь совету, переменяет⁴⁰.

Не исключено, что подобные высказывания могли вызвать личную неприязнь Адодурова; во всяком случае, у Эразмуса проблемы цензурного характера возникали все чаще. В сентябре 1766 г. представленные им на апробацию профессорской Конференции предисловие и «дедикация» к его переводу на латинский язык *Анатомических таблиц Шааршмидта*⁴¹ получили одобрение к печати, поскольку в них не было найдено «ничего, что было бы написано против религии, государства и добронравия»⁴². Однако через два месяца по решению куратора из уже отпечатанного издания они были изъяты. Орденом от 4 ноября 1766 г. директор Херасков разъяснял: поскольку таблицы «печатаны казенным коштом, то и приписать следовало бы Е.И. Высочеству государю цесаревичу Павлу Петровичу, а не партикулярной по благоизобретению Вашему (особе)»; положительная апробация предисловия была отменена куратором из-за «некоторых находящихся в нем нарекательных изображений»⁴³.

Не только книжные предисловия и посвящения требовали, по мнению куратора, особой бдительности. Орденом от 10 августа 1765 г. Адодуров приказал назначить «особых сенсоров» из студентов старших курсов, для того чтобы «над поступками протчих студентов и учеников в каждой камере иметь смотрение»⁴⁴. А в 1768 г. в университете была введена обязательная предварительная апробация профессорских речей⁴⁵.

Как известно, кроме преподавания в обязанности профессоров входило чтение публичных лекций перед началом нового учебного года, а

⁴⁰ Там же. Т. 2. № 91.

⁴¹ *Schaarschmidt A. Tabulae anatomicae.* [M.]: typis Caesariae Moscvensis Universitatis, 1767; Мельникова Н.Н. Указ. соч. № 372.

⁴² Документы и материалы... Т. 2. № 159.

⁴³ Там же. № 173.

⁴⁴ Там же. № 87.

⁴⁵ Цензура университетских лекционных курсов была предусмотрена еще Проектом об учреждении Московского университета (1755), см. примеч. 5.

также произнесение по разным случаям – перед началом экзаменов, в дни рождения императрицы, тезоименитства и восшествия на престол и пр. – торжественных речей. Понятно, что эта сфера университетской жизни как наиболее публичная вызывала повышенное внимание со стороны кураторов.

Так, Шувалову не раз приходилось выражать свои критические замечания по поводу формы и содержания профессорских «ораций». В 1757 г. он не без основания указывал на то, что речи перед началом экзаменов слишком длинны, а подчас и бессодержательны, что не только профессора, но и учителя пристрастились пространные речи говорить, в то время «как не всякой к оному способен»⁴⁶. Хотя директор Мелиссино незамедлительно рапортовал, что поступать будет впредь по ордеру, «а учителя к тому [к речам] допущены уже не будут», похоже, что после этого мало что изменилось. И лишь в начале 1760 г. профессор И.Г. Керштенс засвидетельствовал в письме к Г.Ф. Миллеру: «Прежнему нашему прилежанию в говорении публичных речей более тесные пределы положены». Характерно, что кураторская «цензура» признавалась профессорами справедливой; в том же письме Керштенс писал: «Господин куратор наш не одобрил многие орации, каковые и в самом деле нечто весьма педантское содержат»⁴⁷.

Совершенно иной оборот принимает ситуация с речами при кураторе Адодурове в середине 1760-х годов. Директор Херасков старался следить за этой важнейшей сферой университетской деятельности, как о том ему неоднократно напоминал куратор, однако в какой-то момент ситуация вышла из-под его контроля. В университете разразился скандал: речи профессоров Третьякова⁴⁸ и того самого Эразмуса⁴⁹, опубликованные без личной апробации директора, оказались предметом цензурного разбирательства. Университетское начальство усмотрело в них «многие сумнительства и дерзновенные выражения», и на очередном заседании Конференции (7 мая 1768 г.) уже в присутствии директора Хераскова разыгралась настоящая баталия. Эразмус, задетый голословным обвинением директора, заявил, что даст «обстоятельные разъяснения, как подобает ученому, лишь тогда, когда» ему «будут указаны ясно

⁴⁶ Документы и материалы... Т. 1. № 46; адресатом этих высказываний, по-видимому, был Шарль Людовик Филипп Менвильер (ум. 1776), преподававший в университете «начатки политической геральдики» (о нем см.: Там же. С. 361).

⁴⁷ Костышин Д.Н., Рычаловский Е.Е. Лейпцигские ученые в Московском университете и их письма академику Г.Ф. Миллеру // Памятники культуры. Новые открытия. М., 1999. С. 44.

⁴⁸ В *Слове о происшествии и учреждении университетов в Европе...* (1768) И.А. Третьякова имелись высказывания антиклерикального характера (Документы и материалы... Т. 3. № 83. С. 427).

⁴⁹ В *Слове о нынешнем состоянии врачебной науки в России...* (1768) И.Ф. Эразмуса начальству, по-видимому, не понравился вывод о том, что «врачебное искусство в России ниже прочих почитается» и что «в России находятся как врачи, так и хирурги незнающие» (Там же).

места в ⟨его⟩ речи, которые сочтены оскорбительными»⁵⁰. На его прямой вопрос, какие именно места в его речи подверглись осуждению, Херасков не ответил, но вопрос о предварительной цензуре речей был поставлен.

3 мая 1768 г. последовало официальное предписание директора о введении предварительного чтения и рассмотрения профессорских речей общим собранием университетской Конференции: «дабы не вышло чего противного благопристойности»; лишь после того, как речи будут подписаны и подтверждены, «кем надлежит», они могли быть напечатаны⁵¹. Представление речей на предварительную цензуру должно происходить за три недели до торжественного акта, а решения Конференции протоколировать⁵². Среди профессоров это вызвало волнение. Хотя в ордере Хераскова слово «цензура» ни разу упомянуто не было, характер нововведения сомнений ни у кого не вызывал. Реакция профессоров на это предписание была неоднозначной; они обратились к Хераскову с пространной петицией, суть которой состояла в следующем: цензура речей нужна и полезна, но предварительное публичное их чтение в Конференции – явно лишнее, так как подает повод к «спорам, перебранкам и происходящим отсюда злосчастным волнениям», а в конце концов, профессорам, состоявшим на государственной службе (что само по себе является гарантией их добронравия) можно и вовсе избавиться от всякой цензуры⁵³.

Судя по всему, меньше всего профессорам хотелось отвечать за то, «чтобы не произносилось чего-нибудь противного благопристойности и государственной пользе». Ситуация складывалась пикантная: Херасков явно хотел снять с себя ответственность, а они, хорошо понимая это, не желали брать ее на себя. Дипломатично намекая на не состоявшегося в его лице «особливого цензора», они предложили назначить еще одного цензора, который бы, не вникая в научное содержание профессорскихopusов, имел бы единственно в виду не пропустить какой-нибудь крамолы (поручить «университетскому цензору, **кто бы он ни был** [выделено мной. – Г.К.], частным образом принять меры, дабы в речи не содержалось ничего, оскорбляющего благопристойность и противного государственному благу»⁵⁴).

Профессорский «бунт» ни к чему не привел. Практика предварительного чтения речей в Конференции утвердилась. Профессора должны были по очереди на каждом акте читать свои речи, предварительно рассмотрев их в Конференции, «дабы каких противностей или чего непристойного в выражениях ⟨...⟩ случиться не могло». Решение протоко-

⁵⁰ Протокол Конференции от 3 мая 1768 // Там же. № 88, пункт 2.

⁵¹ Там же. № 87.

⁵² Там же. № 85.

⁵³ Там же. № 88.

⁵⁴ Там же.

лировалось, и речи после надлежащей конфирмации отдавались в печать. Отпечатанные экземпляры раздавались присутствующим на торжествах «знатным особам и любителям наук» и отсылались в Петербург «для всеподданнейшего поднесения». За соблюдением всей этой процедуры строго следил сам куратор⁵⁵.

Официальное закрепление за Конференцией функций цензуры осложнило и без того непростые отношения между профессорами. Участились те самые «споры, перебранки» и происходящие отсюда «злосчастные волнения», избежать которых так хотелось профессорам. При этом цензуру стали откровенно использовать в качестве силового аргумента. Если раньше дебаты в Конференции нередко заканчивались решением профессоров отправить книгу своего коллеги «какому-нибудь цензору на рассмотрение, не содержится ли в ней чего-либо противного государству или религии» (как это было в 1766 г. в случае с *Греческой азбукой* и *Основанием универсальной истории* профессора Ф.Г. Дильтея, против которого Конференция была настроена явно недоброжелательно⁵⁶), то теперь, сводя счеты, все чаще профессора должны были делать это своими руками. Правда, в случае необходимости можно было всегда прибегнуть к помощи синодальной цензуры. Например, двадцатилетняя история с диссертацией Д.С. Аничкова, цензором которой выступал Синод, берет свое начало на заседаниях университетской Конференции 1769 г.⁵⁷ В донесении архиепископа Амвросия содержатся ссылки на то, что диссертация была осуждена профессорами и, особенно, профессором Рейхелем, который написал на нее опровержение⁵⁸.

Рассмотрим еще один аспект университетской издательской практики при Шувалове и Адодурове – печатание в типографии университета книг «сторонних авторов». Аprobация этого рода изданий формально всегда оставалась за куратором.

Шувалов активно пользовался правом направлять в университет по своему усмотрению книги для перевода и публикации. Если самую первую книгу – *Орбис пиктус* Я.А. Коменского – в печать «для употребления во всех классах» рекомендовала профессорская Конференция (23 ноября 1756 г.)⁵⁹, то уже летом следующего года в университете был объявлен ордер куратора «о печатании воинских записок графа Монтекукули»⁶⁰, а в декабре – *Опытов военного искусства* Тюрпена де Криссе (*Turpin de Crissé*)⁶¹. Цензуры в этих случаях как таковой не было.

⁵⁵ См.: Ордер куратора Адодурова от 12 апреля 1770 // Там же. № 212.

⁵⁶ См.: Протокол Конференции от 6 мая 1766 // Там же. Т. 2. № 141.

⁵⁷ См.: Протокол Конференции от 24 августа 1769 // Там же. Т. 3. № 161.

⁵⁸ Пенчко Н.А. Первый в России труд по истории религии и его загадочная судьба // Наука и жизнь. 1964. № 11; см. также: Документы и материалы... Т. 3. С. 432–433.

⁵⁹ Документы и материалы... Т. 1. № 12; см. также: Мельникова Н.Н. Указ. соч. С. 20. № 19.

⁶⁰ Документы и материалы... Т. 1. № 57.

⁶¹ Документы и материалы... Т. 1. № 100; СК № 7429.

Шувалов, конечно, имел свое представление, что полезно и что пристойно печатать под маркой Московского университета. Однако известно, что инициатива печатать в университете военные книги исходила от графа Петра Ивановича Шувалова, человека военного и очень влиятельного при дворе, к тому же двоюродного брата Ивана Ивановича, которому тот был обязан своим «случаем»; известно и то, что И.И. Шувалов «не редко покорялся брату, вопреки своему убеждению»⁶².

Любопытно, что издание *Записок* австрийского полковника Раймондо Монтекукколи, несмотря на заинтересованность в нем куратора, встретило неожиданные трудности. Надзиравший в то время над типографией ассессор Херасков осмелился высказать мысль о нецелесообразности издания («мнение о неспособностях и следующих убытках при печатании оной книги»); его поддержал директор Мелиссино⁶³. Хотя Шувалов и отверг их возражения, указав Хераскову на необходимость «печатать с прилежанием»⁶⁴, но важен сам факт, что такого рода отношения между университетом и куратором были возможны. Печатавшиеся в то же самое время в университете (с немалыми трудностями, но другого характера) сочинения М.В. Ломоносова и *Опыт о человеке* А. Попа были также инициированы Шуваловым; книги уже успели выйти в свет (1757–1758), а *Записки* Монтекукколи все никак не удавалось напечатать⁶⁵. И причина заключалась, конечно, не в том, что для университета издание было «непрофильным», а в тех сложностях, которые испытывала молодая университетская полиграфия.

Как уже было сказано, цензура изданий, инициированных самим Шуваловым, не предполагалась. Отслеживался лично куратором сам процесс печатания – сроки, чистота и качество печати, шрифты, бумага, иллюстрации и т.д. Однако столкнуться с цензурными затруднениями Шувалову все-таки пришлось. Философскую поэму А. Попа *Опыт о человеке* в переводе Н.Н. Поповского он собственноручно направил в Синод, испрашивая «указу о дозволении оной напечатать», и получил отказ⁶⁶. В обычной же практике кураторские ордера – «перевести и напечатать» – отменяли всякую апробацию. Так было и с *Библейским словарем* (*Dictionnaire abrégé de la Bible*) Пьера Шомпре (P. Chompré),

⁶² Об этом свидетельствовали многие современники; см., например, *Записки* того же Фавье: «(...) впрочем, влияние на дела он [Шувалов] имеет, действуя только сообща со своими двоюродными братьями» (Исторический вестник. 1887. Т. 29. С. 392–393; см. также: *Бартенев П.И.* Указ. соч. С. 11–13).

⁶³ Документы и материалы... Т. 1. № 57.

⁶⁴ Там же. № 68.

⁶⁵ Издание вышло только в 1760 г. (СК № 4328); о трудностях с его печатанием см.: Там же. № 57, 68, 91 и др.

⁶⁶ Подробнее см.: *Цапина О.А.* Войны за Просвещение? Московский университет и духовная цензура в конце 50-х – начале 70-х гг. XVIII в. // Eighteenth-Century Russia: Society, Culture, Economy. Papers from the VII International Conference of the Study Group on Eighteenth-Century Russia. Wittenberg, 2004 / Ed. by R. Bartlett, G. Lehmann-Carli. Münster, 2007. P. 163–166; *Космолинская Г.А.* Указ. соч. P. 144–145.

который Шувалов прислал в университет из своей личной библиотеки, упоая, что книга «в народе не без пользы употреблена быть может»⁶⁷. Забавно, как быстро эта просветительская мотивация отошла на второй план при изменении политической конъюнктуры. В ожидании близкого конца Елизаветы Петровны и вступления на престол Петра Федоровича Шувалов, известный своим франкофильством, вынужден был приказать «немедленно, оставя все прочее ненужное» (то есть тот самый *Словарь* Шомпре!), печатать посланную в типографию книгу «Инструкций» ненавистного ему Фридриха II⁶⁸. Цензура и в этом случае была заменена корректурой, которую держал он сам: «отпечатываемые же листы, каждого по одному, пересылать сюда»⁶⁹.

Если роль Шувалова в делах университетского книгоиздания была довольно активной, что соответствовало не только его политическим убеждениям и гражданской позиции, но и амбициям, и сугубо личным интересам, то об издательских инициативах Адодурова нам ничего не известно. Зато в его кураторство заметно участилась практика использования университетских типографских станок верховной властью – то есть роль «книгоиздателя» отчасти взяла на себя императрица.

Екатерина II широко раздавала указания печатать те или иные сочинения в различных типографиях «на щет Кабинета», и за каждым из них хорошо видны определенные внутривластные задачи, поставленные новой властью. Дело «О печатании разных книг при Московском университете», хранящееся в РГАДА⁷⁰, хорошо отражает эту направленность издательских инициатив двора; уже в первые годы правления Екатерины II в университетскую типографию были посланы для печатания «по высочайшему повелению» рукописи следующих переводов:

Торг Амстердамской Жана Пьера Рикара (Ч. 1–2, 1762–1763)⁷¹ – книга, с которой императрица начала свою «книгоиздательскую» деятельность сразу по вступлении на престол и публикация русского перевода которой являлась, по сути, частью широковещательной политики «просвещенной монархии». Любопытно, что о намерении печатать эту книгу «при Императорском Московском университете» было объявлено еще в 1760 г.⁷²; называлась даже ее цена – «пять рублей, за оба тома вместе без переплету, а каждому тому особливо два рубля с полти-

⁶⁷ Ордер Шувалова от 6 марта 1761 г. // Документы и материалы... Т. 1. № 181.

⁶⁸ Ордер Шувалова от 24 сентября 1761 г. // Там же. № 210; *Инструкция, или Воинское наставление короля прусского его генералитету* в переводе М. Философова вышла в том же, 1761 г. (СК № 7910); Академия также поспешила издать эту книгу – в переводе А. Нартова она вышла чуть позже, в 1762 г. (СК № 7908).

⁶⁹ Документы и материалы... Т.1. № 210.

⁷⁰ РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. № 39. Л. 1–48.

⁷¹ СК № 5985.

⁷² Санкт-Петербургские ведомости. 1760. № 50. 23 июля. Объявление, по-видимому, исходило от переводчика 1-го тома и издателя книги Х.Л. Вевера.

ною»⁷³. Однако в университетских документах сведений о подготовке этого издания не сохранилось. Известно, что оно печаталось университетским книжным комиссионером Вевером «на свой кошт». Расходы на него были полностью возмещены Веверу из средств Кабинета, а весь тираж пожалован Екатериной II для раздачи повсеместно «для пользы купечества Российскаго без денежно»⁷⁴.

Известие о заводах коровьих в герцогстве Шлезвиг-Голштинском (1763)⁷⁵ касалось весьма актуального для России вопроса о «скотском падеже», который не раз решался в Сенате; недаром в 1787 г. книга была переиздана.

Повивальная бабка Иоганна Ван дер Горна (1764)⁷⁶ относится к той сфере деятельности, которой в то время активно занималась Екатерина II, – устройству родовспомогательной больницы при Московском Воспитательном доме⁷⁷.

Наставления политическия барона Бильфельда (Ч. 1–2, 1768–1775)⁷⁸ – книга, в переводе которой пыталась участвовать сама императрица⁷⁹, широко используя ее положения (особенно гл. 7, параграфы 1–4, 6–8, 15, 17, 19) в своем *Наказе* (гл. 21)⁸⁰.

Записки герцога Сюлли (1770–1776)⁸¹, всесильного первого министра Генриха IV, предшественника физиократов, отражали определенный интерес Екатерины II к этому учению, дань которому она отдала в *Наказе* и в законотворческой работе первых лет царствования. Земледелие и скотоводство, к развитию которых побуждал в своей книге Сюлли, всегда оставались в центре экономической политики русской императрицы, даже после ее охлаждения к физиократам.

Рукописные переводы, посланные таким образом в Московский университет, цензуре не подвергались. Максимум, чего требовала от

⁷³ Московские ведомости. 1760. № 78. 29 сентября. В объявлении Вевер назван еще и «гофмаклером», что отчасти объясняет позицию Адодурова, упорно его поддерживающего, несмотря на возмущение профессоров недобросовестностью книжного комиссионера (о «деле Вевера» 1765–1766 гг. см.: Документы и материалы... Т. 2. № 91, 125, 126, 128, пункты 6, 152, а также: С. 310, примеч. 120 и С. 321).

⁷⁴ РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. № 39. Л. 20; указание статс-секретарю А.В. Олсуфьеву было дано Екатериной II 9 июня 1763 г.

⁷⁵ СК № 2437.

⁷⁶ СК № 1564.

⁷⁷ В июне 1763 г. вышел указ об основании Московского Воспитательного дома с родовспомогательной больницей, уже в апреле 1764 г. состоялось его открытие.

⁷⁸ СК № 574.

⁷⁹ См. письма В.Е. Адодурова к Г.Ф. Миллеру от 27 февраля и 13 марта 1763 (РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. П. 546. Ч. 1. Л. 92, 93). Благодарю Е.Е. Рычаловского за содействие в архивном поиске.

⁸⁰ См.: Плавинская Н.Ю. Новые сведения о французских источниках «Наказа» Екатерины II // Россия и Франция. XVIII–XX века / Отв. ред. П.П. Черкасов. М., 1998. Вып. 2. С. 12–13.

⁸¹ СК № 7097.

университета Екатерина II, это «освидетельствовать» в необходимых случаях перевод, сравнив его с подлинником и исправив «в слоге и в правописании»⁸². Без особых цензурных процедур происходило печатание «по высочайшему повелению» и в других типографиях, например в Московской синодальной⁸³.

Такое «печенение» властей никаких доходов типографии Московского университета не приносило. Напротив, расходы на печатание покрывались с большим опозданием, деньги постоянно задерживались, их приходилось «выбивать». Так, профессору Барсову за правку перевода *Повивальной бабки* заплатили только через четыре года⁸⁴. Мало того, что книги раздавались «безденежно», но и те, что поступали в продажу, не приносили прибыли, так как по распоряжению Кабинета должны были продаваться «без отягощения народного, а только б та сумма [затраченная на издание] могла возвратиться в казну»⁸⁵. Убытки типографии происходили и «по весьма малой продаже» книг, не пользовавшихся читательским спросом (например – *Политические наставления Я.Ф. Бильфельда*)⁸⁶, а также из-за затрат на переплет тех книг, которые по 30 экземпляров рассылались губернаторам⁸⁷.

Подведем итоги. Начальный этап книгоиздательской деятельности Московского университета (1757– начало 1770-х годов) характеризуется, с одной стороны, отсутствием законодательной базы и четкой регламентации цензурной практики. С другой – централизацией цензуры в руках куратора. При таком положении вещей, естественно, характер цензуры во многом зависел от личных качеств того, кто занимал пост первого куратора, – сначала это был И.И. Шувалов, затем В.Е. Адодуров.

Понимая, что единоличная цензура не может быть ни эффективной, ни жизненной, Шувалов предпринял в 1762 г. попытку создать в университете специальную цензурную службу. Но его усилия были, в сущности, сведены на нет сменившим его на этом посту Адодуровым, который еще более десяти лет продолжал формально придерживаться все той же единоличной схемы. Единоличная цензура Шувалова и единоличная цензура Адодурова различались, прежде всего, по степе-

⁸² РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. № 39. Л. 2. Адодуров лично наблюдал за ходом работ, требуя, чтобы, «как наискорее возможно, окончанием оной книги поспешать»; отпечатанные листы должны были присылаться ему «для апробации» (Документы и материалы... Т. 2. № 7, пункт б).

⁸³ В январе 1763 г. велено печатать проповеди епископа Тверского Афанасия и епископа Новгородского Димитрия, «говоренные» в придворной церкви (ПСПиР. Екатерина II. Т. 1. № 84, 89); о ситуациях, которые возникали при этом в Синодальной типографии, см.: *Ципина О.А.* Указ. соч. Р. 166–167.

⁸⁴ РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. № 39. Л. 13.

⁸⁵ Там же. Л. 11.

⁸⁶ Там же. Л. 43 об.

⁸⁷ Там же.

ни напряженности (и даже скандальности) атмосферы, которая складывалась в конкретных ситуациях в связи с апробацией речей и трудов университетских ученых. При этом цензурная практика Шувалова может показаться вполне либеральной в противовес адодуровской, которая вносила во внутреннюю жизнь университета явный элемент дестабилизации.

С другой стороны, активная позиция «университетского книгоиздателя», свойственная Шувалову, практически отменяла цензуру для инициированных им изданий «посторонних авторов». Та же ситуация «цензурной стагнации» повторяется и при Адодурове; разница в том, что издательская инициатива теперь исходит не от куратора, а от верховной власти и лично Екатерины II.

Таким образом, цензура при Шувалове и при Адодурове отражала две различные модели управления университетом, которые соответствовали различным ролям, взятым на себя тем и другим: Шувалов – «просвещенного покровителя» и мецената основанного им учебного заведения; Адодуров – исполнительно-рачительного чиновника, серьезно озабоченного тем, чтобы в университете «все в надлежащем порядке и с ревностью производимо было»⁸⁸. То, что эти роли были отнюдь не случайными, а соответствовали особенностям личностей этих деятелей, подтверждает дальнейший ход событий. Шувалов, вернувшийся в 1777 г. из-за границы (где не прекращал заниматься благотворительностью⁸⁹), сразу же активно принимается за реформирование университета, беря на себя рассмотрение «замороженных» проектов⁹⁰. Адодуров – президент Мануфактур-коллегии и сенатор, оставаясь в должности куратора пожизненно, в 1778 г. по собственному желанию отходит от университетских дел.

⁸⁸ Документы и материалы... Т. 2. № 8.

⁸⁹ Например, известно о намерении Шувалова создать в Риме особую академию для обучающихся русских художников по образцу действующей здесь Французской академии; проект, направленный ко двору, не был поддержан И.И. Бецким, тогдашним директором Петербургской Академии художеств (см.: *Бартенев П.И.* Указ. соч. С. 60).

⁹⁰ В 1778 г. Сенат направил ему для апробации проекты по университетскому устройству, в частности план усовершенствования университета, составленный профессорами еще в 1775 г.; в том же году от куратора университета Мелиссино было послано «Краткое начертание для приведения Императорского Московского университета в совершенно цветущее состояние» (см.: *Рубинштейн Е.И.* Новый источник по истории Московского университета 70-х гг. XVIII в. // *Вестник Московского ун-та.* Сер. 8. История. 1986. № 2. С. 65–79).

Galina Kosmolinskaya

**Two University Curators – Two Censorships:
Ivan Shuvalov and Vasilii Adodurov**

When the Moscow University Press was opened in 1756, shortly after the school was established, it received no official regulations regarding the censorship of its publications. Censorship was also conspicuously absent from in the University charter or any other official documents. By default, it remained the exclusive prerogative of the University Curator. Even though in November 1762, the University's first Curator Ivan Shuvalov established a position of an «executive censor», no special censor was ever hired. When Vasilii Adodurov, a protégé of Catherine the Great, replaced Shuvalov as the new Curator, he also assumed the censor's duties. Since there were no legal or procedural statutes, censorship was shaped by the Curator's personal preferences. Shuvalov and Adodurov possessed strikingly different personalities, which translated into different styles of censorship. Adodurov, with his propensity to micromanagement, significantly curtailed the privileges of the Conference of the University faculty, which resulted in rather noisy scandals. This made the censorship under Shuvalov appear much more liberal.

JEAN-DANIEL CANDAUX

VOLTAIRE, AUTEUR PERMIS, APPROUVÉ,
PRIVILÉGIÉ HORS DE FRANCE

La dimension européenne de l'imprimerie est à la fois bien connue et mal étudiée. Certes l'apparition des premiers imprimeurs et la géographie des incunables ont suscité nombre de recherches et de publications. Mais l'imprimerie des XVI^e, XVII^e et XVIII^e siècles est étudiée la plupart du temps pays par pays, région par région, ville par ville et les bilans comparatifs sont rares¹.

En me limitant aux ressources offertes par les bibliothèques genevoises, je me suis récemment attaché à rechercher les œuvres de Voltaire qui avaient bénéficié du vivant de l'auteur et jusqu'à la fin du XVIII^e siècle d'un privilège d'impression. Pour les ouvrages imprimés en France, la moisson était abondante et j'ai tenté, à titre tout à fait provisoire, de proposer un premier essai de classification de ces privilèges et permissions².

Au cours de cette rapide enquête, je suis tombé également sur une soixantaine d'éditions faites hors de France avec privilège ou permission. Il m'a semblé qu'il y avait là une mosaïque curieuse qui pouvait mériter de retenir l'attention et dont les diverses pièces pouvaient conduire à d'intéressantes comparaisons.

© Jean-Daniel Candaux, 2008

¹Il convient de signaler cependant le premier chapitre de l'ouvrage d'Elizabeth Armstrong (*Armstrong E. Before copyright: the French book-privilege system, 1498–1526. Cambridge, 1990*) qui fait un fascinant tour d'Europe des privilèges d'impression au début du XVI^e siècle; et l'article «privilège» de Jean-Dominique Mellot, à paraître dans le *Dictionnaire encyclopédique du livre* (Paris, éd. du Cercle de la Librairie, t. III).

²«Voltaire, auteur permis, approuvé, privilégié», à paraître sous l'égide de la Société Voltaire dans les actes du colloque *Voltaire et le livre, Paris, 27–28 octobre 2005*.

Mais avant d'en arriver là, mon réflexe d'historien m'a fait poser la question des sources. Quelles étaient au siècle des Lumières, dans les divers pays de l'Europe, les autorités et les procédures qui conduisaient à l'octroi d'une permission ou d'un privilège d'imprimer? Et les archives de ces procédures existent-elles encore?

Dans un premier temps, j'ai lancé à la ronde un questionnaire par courrier. Les renseignements que j'ai recueillis se sont avérés très disparates. J'ai pu les compléter parfois par d'autres moyens, mais l'ensemble demeure purement exploratoire. J'ai pourtant cédé à la tentation de présenter ici ces premiers résultats, dans l'espoir d'éveiller un intérêt collectif et d'amorcer, qui sait, une exploration coordonnée et systématique des fonds. À dire la vérité et comme on va le voir, je me suis contenté de donner une version française des renseignements que j'avais reçus, non sans conserver aux divers établissements et fonds leurs noms d'origine.

Puisque j'avais entrepris ce tour d'Europe au bras de Voltaire, j'ai fait figurer en tête de chaque étape, sans aucun souci d'exhaustivité et sans autre commentaire, le tableau des éditions permises ou privilégiées de ses ouvrages, telles que je les avais repérées dans les collections genevoises que j'avais sous la main.

Qu'il me soit néanmoins permis, avant de présenter ces matériaux, de livrer quelques impressions générales – au risque d'enfoncer des portes ouvertes!

Tout d'abord, je me suis aperçu, mais ce n'est pas une découverte, que le terme de *privilège* est ambigu, car, selon les États, on trouve des *imprimeurs-libraires* privilégiés ou des *ouvrages imprimés* privilégiés, les deux catégories pouvant d'ailleurs se superposer.

Il est tout aussi évident et bien connu que la procédure d'octroi des privilèges aux ouvrages imprimés est fort différente d'un pays à l'autre. Tantôt il s'agit d'un acte souverain, daté, signé et scellé, tantôt il s'agit simplement de l'aboutissement d'une pure procédure administrative.

Le privilège supposant presque nécessairement un contrôle préalable, il existe, au XVIII^e siècle surtout, une imbrication entre la procédure d'octroi des privilèges et l'organisation de la censure. Comme la censure, presque partout, est faite notamment pour protéger la religion établie et que, presque partout, les autorités ecclésiastiques ont acquis des droits à l'exercer, il en résulte que, dans certains États, privilège et *imprimatur* sont plus ou moins confondus. Le siècle des Lumières a marché d'ailleurs vers une laïcisation générale de la censure, que le déclin et la suppression des Jésuites semblent avoir accélérée.

La publicité du privilège ou de la «licence» diffère également d'un État à l'autre. Tantôt on les trouve simplement et anonymement mentionnés, en trois ou quatre mots, au bas du titre. Tantôt au contraire, il faut une page entière pour énumérer les noms des diverses instances et des multiples responsables qui sont intervenus dans l'octroi de l'acte. En outre la durée des privilèges varie sensiblement, de deux à soixante ans pour le moins.

La géographie européenne des privilèges, si elle est complètement établie un jour, révélera des détails et des nuances dont le présent *digest* ne peut donner l'idée. C'est ainsi que l'Empire germanique connaissait des procédures dif-

férentes selon qu'il s'agissait des États héréditaires des Habsbourg ou d'autres territoires de l'empire. C'est ainsi que, dans la sphère des Pays-Bas autrichiens (l'actuelle Belgique), le Conseil de Brabant avait le droit d'octroyer *motu proprio* des privilèges d'impression parallèlement à ceux que donnait le Conseil privé des Pays-Bas. C'est ainsi encore que dans Avignon, ville d'imprimeurs et terre papale, on ne suivait pas forcément toutes les règles édictées par le Saint-Siège³. On pourrait multiplier de tels exemples.

Cette diversité est mon excuse pour avoir laissé de côté, dans mon enquête de l'automne 2006, non seulement un certain nombre de villes italiennes où pourtant Voltaire avait été imprimé (Ferrare et Modène notamment), mais également, à ma honte, les Cantons évangéliques de la Confédération helvétique qui octroyaient des privilèges aux imprimeurs de Bâle. Je dois à l'honnêteté d'avertir en outre que mes enquêtes auprès des archives du Danemark, de Gênes, de Milan, de Parme, du Vatican n'ont pas encore complètement abouti.

Pour en finir avec ces remarques introductives, qu'il me soit permis de relever que les registres et répertoires de privilèges n'ont fait l'objet, jusqu'à présent, que de rares publications, mais que ces publications, celle des privilèges de la principauté de Liège en est l'illustration⁴, sont extrêmement éclairantes. Il est dès lors facile d'imaginer le fruit que l'on pourrait retirer d'autres publications analogues, mais de plus grande envergure, qui porteraient notamment sur les privilèges octroyés par l'Empereur, par le roi de France, par les États généraux des Provinces-Unies ou par la Sérénissime République de Venise.

A) BAVIÈRE

Année	Ouvrage	Imprimeur bénéficiaire
1774	<i>L'Enriade tradotta in ottava rima dal conte Tommaso Medini</i>	Monaco [= München], Stamperia dell'Accademia
1776	<i>Alzire, oder Die Amerikaner</i>	München [sans autre adresse]

Imprimatur du Churfürstliches Büchercensurcollegium.

D'après la réponse du *Bayerisches Hauptstaatsarchiv*⁵, ce sont les Jésuites qui jusqu'en 1769 exerçaient en Bavière la censure des livres et les actes relatifs à cette censure, remontant jusqu'aux années 1600, se trouvent sous la cote *Jesuitica 713 – 883/2*.

Dès 1769 fonctionnent simultanément un collège et une commission spéciale pour la censure des livres (*Bücherzensurkollegium*, *Bücherzensur-*

³ Voir à ce propos la contribution de René Moulinas dans le présent volume.

⁴ Cf. *Gobert T. L'imprimerie à Liège sous l'Ancien Régime* // Bulletin de l'Institut archéologique liégeois. 1922. Vol. XLVII. P. 15–128.

⁵ Lettre du 21 novembre 2006, signée du *Dr. R. Höppl, Archivoberrat*.

Spezialcommission). Leurs actes, longtemps répartis en plusieurs fonds, ont été réunis depuis 2002, grâce à un nouveau classement, dans le fonds intitulé *Kurbayern Bücherzensurkollegium*. Les sections 3 et 4 de ce fonds (subdivisées elles-mêmes en une douzaine de titres) contiennent plus de 700 dossiers relatifs aux imprimés. Ces dossiers renferment souvent plusieurs pièces (demande, rapport de censure, réponse, lettre d'envoi de l'exemplaire justificatif, etc.), mais il n'est pas possible de déterminer clairement dans tous les cas si la permission d'imprimer a été accordée ou refusée.

Il semble résulter de ces renseignements que l'électorat de Bavière n'accordait pas de privilèges d'imprimer à proprement parler.

Belgique voir Liège et Pays-Bas autrichiens

B) DEUX-SICILES

Licenza de' Superiori ou privilège.

Année	Ouvrage	Ville et imprimeur bénéficiaires
1755, 13 septembre	<i>Storia di Carlo XII</i>	Napoli, libreria di Cristoforo Migliaccio
1774	<i>Marianna, tragedia tradotta da Anna Gentile detta fra gli Ereini Licore Pacicoatica</i>	Palermo, stamperia de' SS. Apostoli
1774	<i>Il Tancredi, tragedia tradotta dal francese dal duca Ignazio Lucchesipalli, conte di Villarosata</i>	Palermo, stamperia del Rapetti
1777	<i>Sémiramis, tragédie</i>	Naples, imprimerie de Jean Gravier

D'après la réponse de l'*Archivio di Stato di Napoli*⁶, il n'existe pas aux Archives de Naples de registre spécial pour les permissions d'imprimer. Les approbations et privilèges donnés aux livres imprimés sont à rechercher dans le fonds de la *Camera di Santa Chiara*, tandis que les licences ou concessions accordées aux imprimeurs eux-mêmes pour exercer leur métier sont de la compétence de la *Segreteria dell'Ecclesiastico*, du *Cappellano maggiore* et de la *Real Giuridizione*.

⁶ Lettre du 9 novembre 2006, signée *Il Direttore, Dott.^{SSA} Felicita De Negri*.

C) ESPAGNE

D'après la réponse des services du *Patrimonio nacional*⁷, la documentation relative aux privilèges d'impression se trouve à l'*Archivo histórico nacional* de Madrid, dans le fonds du *Consejo de Castilla*, et plus particulièrement dans les dossiers 50627–50678 (*Privilegios, licencias y tasas*).

D) HOLLANDE

Privilegie, soit privilège des États de Hollande et de West-Frise (*Staten van Holland en Westvriesland*).

Date	Ouvrage	Imprimeur bénéficiaire ⁸
1736, 30 mars	<i>Œuvres de Voltaire</i>	Jaques Desbordes
1737, 2 mars	<i>De Dood van Cesar treurspel</i>	Izaak Duim
1747, 25 janvier	<i>Henrik de Grootte</i>	Sybrand Feitama
1757, 1 avril	<i>Herodes en Maramne treurspel</i>	Izaak Duim
1764, 3 février	<i>Olimpia treurspel</i>	Izaak Duim
1781	<i>Alzire of de Amerikanen treurspel</i>	Erven P. Meijer & G. Warnars
1782, 17 février	<i>Het Weeskind van China treurspel</i>	Jan Helders
1782, 15 mai	<i>Olimpia treurspel</i>	Jan Helders
1782, 23 juillet	<i>Mahomet treurspel</i>	J. Helders & A. Mars
1789, 3 octobre	<i>Zaire treurspel</i>	J. Helders & A. Mars

D'après une communication manuscrite du *Nationaal Archief*⁹, il existe dans le fonds des *Staten van Holland en West-Friesland*, sous la cote *T 3.01.04.01*, un registre chronologique des privilèges couvrant les années 1650–1800 avec un index alphabétique. Il existe également des privilèges con-

⁷ Lettre du 8 janvier 2007, signée de *Valentin Moreno Gallego, técnico superior*.

⁸ Tous les imprimeurs cités ici sont établis à Amsterdam.

⁹ Courrier non signé du 10 novembre 2006.

cédés par les États généraux des Provinces-Unies et valables sur l'ensemble du territoire des sept provinces.

E) LIÈGE

D'après la réponse des *Archives de l'État à Liège*¹⁰, s'il n'existe pas à proprement parler de registre des privilèges d'impression accordés par les princes-évêques de Liège, le fonds du *Conseil privé de Liège* en revanche renferme une série *Dépêches*, allant de 1547 à 1792, et qui comporte régulièrement la mention de l'octroi de tels privilèges.

Naples voir **Deux-Siciles**

Pays-Bas voir **Hollande**

F) PAYS-BAS AUTRICHIENS

D'après une lettre de l'*Allgemeen Rijksarchief*¹¹, les privilèges, accordés sur requête, ont laissé une trace dans les *Registres du Conseil privé*, qui s'étendent de 1552 à 1794 (nos 256–298), mais ces enregistrements sont en général très succincts. On trouve en outre dans les fonds du Conseil privé (nos 1055–1058 et 1059–1064) des documents concernant les imprimeurs et libraires pour les années 1725–1794 (7 portefeuilles) et des pièces relatives à la censure des livres pour les années 1731–1794 (10 portefeuilles).

G) POLOGNE

Königliches Polnisches und Churfürstliches Sächsisches Privilegium, soit privilège de Sa Majesté le roi de Pologne et électeur de Saxe.

Année	Ouvrage	Ville et imprimeur bénéficiaires
1749	<i>Elemens de philosophie</i>	Dresde, George Conrad Walther
1753	<i>Essai sur l'histoire universelle + Le Siècle de Louis XIV</i>	Leipzig-Dresde, George Conrad Walther

¹⁰ Lettre du 30 novembre 2006, signée du conservateur *Bruno Dumont*.

¹¹ Lettre du 10 novembre 2006, signée de *Michel Oosterbosch*, chef de travaux, chef de service section IV: Archives publiques de l'Ancien Régime.

Année	Ouvrage	Ville et imprimeur bénéficiaires
1761	<i>Geschichte Carls des Zwölften</i>	Frankfurt am Mayn, Johann Gottlieb Garbe
1761	<i>Histoire de l'empire de Russie</i>	Leipzig, Freder. Lankisch
1761	<i>Geschichte des Russischen Reichs</i>	Leipzig, Lankische Buchhandlung
1769	<i>Précis du siècle de Louis XV</i>	Dresde, George Conrad Walther
1778	<i>Die Zeiten Ludwigs des XIV</i>	Dresden, Waltherische Hofbuchhandlung

D'après la réponse du *Sächsisches Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv Dresden*¹², les privilèges pour les imprimés se trouvent surtout dans le fonds 10088 *Oberkonsistorium*, où sont conservés sous *Loc. 10757–10759 Bücherprivilegien* onze registres de privilèges couvrant les années 1610–1831, pourvus de plusieurs index alphabétiques pour les années 1701–1789 cotés *Loc. 10756*.

Il convient de relever que des documents relatifs aux privilèges d'imprimés ainsi qu'à la censure des livres figurent également dans les fonds suivants:

10024 *Geheimer Rat (Geheimes Archiv)*

10025 *Geheimes Konsilium*

10026 *Geheimes Kabinett*

10036 *Finanzarchiv*

10078 *Landesregierung*.

H) PORTUGAL

Licença da Real Meza censoria.

Année	Ouvrage	Ville et imprimeur bénéficiaires
1769	<i>Historia de Carlos XII traduzida na portugueza por Francisco Xavier Freire de Andrade</i>	Lisboa, José de Aquino Bulhoens
1772	<i>Historia de Carlos XII</i>	Lisboa, Manoel Antonio Monteiro
1781	<i>Os Scythes, tragedia da idioma francez para o portuguez por Albino de Sousa Coelho e Almeida</i>	Lisboa, Jozé de Aquino Bulhoes

¹² Lettre du 21 novembre 2006, signée simplement *Tonert, Sachbearbeiterin*.

Année	Ouvrage	Ville et imprimeur bénéficiaires
1783	<i>Zaira, tragedia traduzida por Pedro Antonio</i>	Lisboa, Domingos Gonsalves
1786	<i>Merope, tragedia</i>	Lisboa, Antonio Gomes
1789	<i>Henriada, poema epico traduzido por Thomaz de Aquino Bello Freitas</i>	Porto, Antonio Alvarez Ribeiro
1790	<i>Orestes : tragedia</i>	Lisboa, Simão Thaddeo Ferreira
1790	<i>Sofonisba : tragedia</i>	Lisboa, Simão Thaddeo Ferreira

D'après la lettre de l'*Instituto dos Arquivos nacionais / Torre do Tombo*¹³, la documentation se trouve dans le fonds de la *Real Mesa censoria*, qui est organisé par régions (*paises*) et à l'intérieur de chaque région, chronologiquement. Le fonds contient des pièces des années 1769–1799.

Provinces-Unies des Pays-Bas voir Hollande

J) SAINT EMPIRE

Privilège de Sa Majesté Impériale.

Année	Ouvrage	Ville et imprimeur bénéficiaires
1741	<i>Examen du Prince de Machiavel</i>	La Haye, Jean van Duren
1748	<i>Œuvres de M. de Voltaire</i>	Dresde, George Conrad Walther
1752	<i>Œuvres de M. de Voltaire</i>	Dresde, George Conrad Walther
1754	<i>Essai sur l'histoire universelle</i>	Leipzig-Dresde, George Conrad Walther
1773	<i>Orest und Elektra, ein Trauerspiel nach Voltaire und Crebillon</i>	Wien, Logenmeister

D'après les indications de l'*Österreichisches Staatsarchiv*¹⁴, les documents se rapportant aux privilèges impériaux pour l'impression des livres se trouvent pour la plupart au sein du département appelé *Haus-, Hof- und Staatsarchiv*,

¹³ Lettre du 13 novembre 2006, signée A *Chefe de Divisão de Comunicação e Relações externas, Maria de Lurdes Henriques*.

¹⁴ Lettre des 20–21 novembre 2006, signée du *Direktor HR Prof. Dr. Leopold Auer*. Je dois également de précieuses précisions à mon éminent ami autrichien Helmut Watzlawick.

dans les archives du Conseil aulique (*Reichshofrat*). La série *Impressoria* de ces archives (80 cartons) renferme les demandes de privilèges et les autorisations accordées pendant les XVI^e, XVII^e et XVIII^e siècles, mais son classement n'est pas chronologique, puisque les pièces y sont rangées dans l'ordre alphabétique des noms des auteurs ou des imprimeurs. D'autres privilèges accordés aux libraires se trouvent dans la série *Gewerbe, Fabriks- und Handelsprivilegien*. On trouve encore dans ce même fonds les archives, lacunaires, de la *Bücherkommission* de Francfort.

Saxe voir Pologne

K) SUÈDE

Imprimatur.

Année	Ouvrage	Imprimeur bénéficiaire
1760	<i>Zadigs Historia</i>	Stockholm, David Segerdahl
1764	<i>La Mort de César, tragédie / Caesars Död, sorge-spel</i>	Stockholm, Lars Salvius

D'après la lettre du *Riksarkivet*¹⁵, le régime du livre imprimé a sensiblement évolué en Suède, où dès 1749 une permission formelle, dite *Imprimatur*, est exigée pour toute publication. Les documents nécessaires étaient réunis, jusqu'en 1801, par le Secrétariat royal (*Kanslikollegium*) et les privilèges étaient octroyés par lettres royales dûment enregistrées jusqu'en 1718 dans le *Riksregistraturet*, et depuis lors dans le *Statsexpeditionerna*.

L) TOSCANE

Licenza de' Superiori ou *Approvazione*.

Année	Ouvrage	Ville et imprimeur bénéficiaires
1755	<i>La Zaïra, tragedia tradotta in versi toscani</i>	Lucca, Vincenzo Giuntini
1756	<i>L'Alzira, tragedia portata dal francese nel verso italiano da Orambo Mirteno Albo</i>	Lucca, Filippo Maria Benedini

¹⁵ Lettre en anglais du 7 novembre 2006, signée d'*Ingrid Eriksson Karth, Senior Archivist*.

Année	Ouvrage	Ville et imprimeur bénéficiaires
1783	<i>Secolo di Luigi XIV</i>	Siena, Alessandro Mucci
1786	<i>Il Giuno Bruto, tragedia trasportata in versi toscani da un Accademico fiorentino</i>	Firenze, stamperia Bonducciana
1789	<i>La Semiramide, tragedia tradotta dal francese dall' abate Melchior Cesarotti</i>	Livorno, Carlo Giorgi
1792	<i>Oreste, tragedia trasportata dal francese in versi toscani da un Accademico fiorentino</i>	Pisa, Ranieri Prosperi

Les dispositions relatives à l'impression des livres, comme on sait, ont été profondément modifiées en Toscane par l'édit du 28 mars 1743, valable dans toute l'étendue du grand-duché.

D'après une lettre de l'*Archivio di Stato di Firenze*¹⁶, la documentation relative aux livres imprimés se trouve, pour les années 1746–1793, dans les dossiers 619–628 des *Revisioni di scritti da stamparsi* qui font partie du fonds *Consiglio di reggenza*. En outre, la *filza* 240 renferme un index alphabétique des imprimeurs toscans 1743–1767.

D'autre part, il existe à l'*Archivio di Stato di Lucca*, dans le fonds *Magistrato de' segretari* une sous-série *Scritture* dont les nos 98–192 contiennent des notices relatives aux ouvrages imprimés à Lucques au XVIII^e siècle¹⁷.

M) VENISE

Licenza de' Superiori (non datée) ou *Privilegio* (daté).

Date	Ouvrage	Imprimeur bénéficiaire ¹⁸
1736, 16 juin	<i>Storia di Carlo XII</i>	Francesco Pitteri, libraio

¹⁶ Lettre du 2 décembre 2006, signée *Il Direttore, dott.ssa Rosalia Manno Tolu*.

¹⁷ Selon une lettre du 4 décembre 2006, signée *Dr.ssa Maria Trapani* pour le directeur Dr. Giorgio Tori. Une autre lettre, du 8 novembre 2006, de l'*Archivio di Stato di Siena*, signée de la *Dott.ssa Carla Zarrilli*, m'informe que les affaires de censure et de permissions d'imprimer sont à rechercher dans le portefeuille *Governatore della Città e Stato di Siena*.

¹⁸ Tous les imprimeurs cités ici sont établis à Venise même, sauf Remondini, qui demeure à Bassano.

Date	Ouvrage	Imprimeur bénéficiaire
1738, 15 juin	<i>Elementi della Filosofia del Cavalier Neuton</i>	Sebastiano Coleti, stampatore
1758	<i>Zadig, storia orientale, accresciuta del Memnone e del Micromega</i>	Bartolommeo Occhi
1762	<i>Il Caffé, o la Scozzese, comedia</i>	Bartolommeo Occhi
1762	<i>Il Cesare e il Maometto, tragedie</i>	Giambatista Pasquali
1768	<i>Panegirico di Luigi XV, tradotto dal conte Giorgio di Polcenigo</i>	Giammaria Bassaglia
1771, 16 septembre	<i>Tragedie di Saverio Bettinelli con la traduzione della Roma salvata di Mr de Voltaire</i>	Gio. Battista Remondini, stampatore
1779	<i>Zaira, tragedia ridotta dal francese dal co. Gasparo Gozzi</i>	Giammaria Bassaglia
1780	<i>La Semiramide</i>	Bartolommeo Occhi
1785, 16 janvier	<i>Zadig, storia orientale, accresciuta del Memnone e del Micromega</i>	Giammaria Bassaglia
1787	<i>Il Fanatismo o sia Maometto tragedia ridotta dal francese dall'abate Melchiorre Cesarotti</i>	Giammaria Bassaglia
1792, 12 juin	<i>Storia di Carlo XII</i>	Giuseppe Rossi, stampatore

D'après la réponse détaillée de *l'Archivio di Stato di Venezia*¹⁹, la République de Venise connaissait deux catégories de privilèges d'imprimer.

D'une part, les privilèges dont, à partir de 1632, les imprimeurs eux-mêmes ont eu besoin pour exercer leur art, sont conservés dans les archives de leur corporation, sous la cote et dans la *busta* ou dossier *Arti 166*, pour les années 1632–1785.

D'autre part, les licences pour les livres imprimés à Venise sont conservées pour les années 1673–1801 dans les dossiers 284–333 du fonds *Riformatori allo studio di Padova*, où les dossiers 291–333 intéressent le XVIII^e siècle. De plus, une série de mandats pour de telles licences, datés des années 1739–1791, se trouve dans les dossiers 340–343.

¹⁹ Lettre du 27 novembre 2006, signée *Il Direttore dott. Raffaele Santoro*.

En outre, un répertoire général des livres imprimés à Venise et dans les États vénitiens de 1725 à 1789 avait été dressé par ordre alphabétique des imprimeurs, mais il n'en subsiste que le tome des lettres R–Z (dossier 359).

Enfin, et ce n'est pas là le moins intéressant, les licences pour les livres destinés à être imprimés à Venise sous une adresse fictive sont conservées à part, pour les années 1740–1795, dans les dossiers 335–339²⁰.

Жан-Даниель Кандо

Вольтер – «разрешенный» автор за пределами Франции

Изучая книги Вольтера, вышедшие во Франции с королевской привилегией на издание, автор обратил внимание на множество публикаций вольтеровских текстов, изданных за пределами Франции на французском языке или в переводе с упоминанием о «лицензии», *imprimatur* или привилегии. У него возникли два вопроса: 1) Какие именно инстанции и процедуры санкционировали в различных странах Европы выдачу подобных разрешений? 2) Сохранились ли до наших дней архивы этих инстанций и процедур? В конце 2006 г. автор разослал эти вопросы в виде циркулярного листа по многим хранилищам, а затем, опираясь на полученные ответы, попытался создать набросок картины европейской географии привилегий и разрешений на издание произведений Вольтера, учитывая при этом и те сведения, которыми он уже располагал. Предлагаемый вниманию читателя обзор дает представление о ситуации в Баварии, королевстве Обеих Сицилий, Испании, Голландии (вместе с Западной Фризией), Льеже, Австрийских Нидерландах, Польше (вместе с Саксонским курфюршеством), Португалии, Священной Римской империи, Швеции, Тоскане и Венеции. Несмотря на очевидные лакуны (Дания, Генуя, Милан, Рим, Швейцарская Конфедерация), этот обзор свидетельствует как о величайшем разнообразии учреждений и процедур, так и о редкости их архивных фондов. Он позволяет судить также о характерной для XVIII в. тенденции к выводу книжной цензуры из под контроля церкви. Перспективу дальнейших исследований автор видит в составлении и публикации общего перечня привилегий и разрешений на издание, выданных авторам и/или издателям на протяжении XVIII в.

²⁰ À noter aussi qu'un relevé des permissions d'imprimer des années 1700–1705 et 1765–1770, établi par Mario Infelise, est accessible sur le site <<http://www.storiadivenezia.it>> à l'adresse Internet <<http://venus.unive.it/riccdst/fracerca.htm>>. Qu'il me soit permis de remercier très vivement Mesdames et Messieurs les archivistes susnommés pour leurs précieuses communications et M. Jean-Dominique Mellot pour son attentive relecture.

SILVIO CORSINI

LIVRES INTERDITS EN FRANCE ET IMPRIMÉS
À LAUSANNE AU SIÈCLE DE VOLTAIRE:
UN PREMIER BILAN

Le Bonheur, poème en six chants, avec des fragments de quelques épîtres, ouvrage posthume de M. Helvétius, vient d'être imprimé en pays étranger, et il s'en est glissé quelques exemplaires dans Paris au grand regret de M. l'archevêque, qui n'a pas manqué de crier au scandale. Heureusement, ces cris sans cesse répétés deviennent *vox clamantis in deserto*, sans quoi, si l'on voulait y faire attention, ce prélat dépeuplerait la France de livres et d'auteurs¹.

Un *topos* de l'histoire du livre au siècle des Lumières voudrait que les éditeurs et imprimeurs suisses, à l'instar de leurs confrères hollandais ou liégeois, aient bénéficié d'une liberté accrue leur ayant permis de mettre sous presse quantité de livres interdits destinés à être diffusés sous le manteau en France. Cette situation constituerait, avec l'activité de contrefaçon, une des principales causes de l'état florissant des presses situées aux portes de la France, en comparaison avec l'anémie supposée de l'imprimerie dans la province française.

La présente contribution tente de vérifier ce *topos* en étudiant le cas de Lausanne, et plus largement de la Suisse romande (Yverdon, Neuchâtel et Genève), à la lumière d'une enquête en cours relevant de l'archéologie du livre et qui a pour ambition de reconstituer la production imprimée des ateliers concernés, avec l'aide des techniques d'identification chères à la bibliographie matérielle.

Au XVIII^e siècle, Lausanne compte au mieux de son activité quatre imprimeries, Genève une dizaine, Neuchâtel trois et Yverdon deux. La période la plus active se situe dans les années 1770 et 1780, avant que les soubresauts révolutionnaires bouleversent le marché du livre. Une bonne partie de la production imprimée dans les villes romandes consiste alors en réimpressions d'ouvrages destinés principalement au marché français, qu'il s'agisse de contrefaçons pures et simples de livres protégés par un privilège ou de reprises de nouveautés parues en France, le plus souvent à Paris, sous couvert de permissions tacites ne garantissant pas officiellement de propriété légale à leurs éditeurs. Située dans une zone floue entre légalité et illégalité, cette activité nécessitait la

mise sur pied de réseaux de diffusion empruntant les chemins de contrebande. Forts de cette situation, les éditeurs suisses romands en ont-ils profité pour écouler des livres interdits par la censure française ou pour publier des ouvrages dont l'impression à l'intérieur du royaume était trop risquée?

Avant de répondre à cette question, il n'est peut-être pas inutile de préciser le régime de surveillance auquel sont soumis les imprimeurs actifs dans les principaux centres typographiques de Suisse française. Contrairement à la Grande-Bretagne ou aux Provinces-Unies, où régnait le principe de la seule censure répressive (*a posteriori*), aujourd'hui en vigueur dans la plupart des États démocratiques, les professionnels du livre sont, dans tous les cantons helvétiques, soumis à la censure préalable. Pour prendre le cas précis de Lausanne, alors régie par les lois de la république de Berne, plusieurs ordonnances édictées au cours du XVIII^e siècle réaffirment l'interdiction faite aux imprimeurs d'imprimer quoi que ce soit sans l'accord des censeurs établis; le dernier règlement édicté, en 1768, précise même que l'approbation doit être imprimée à la fin des livres concernés. La réalité du terrain montre cependant que seule une très faible partie des ouvrages mis sous presse par les éditeurs lausannois entre dans ce cadre légal. Dans les faits, la situation est très proche de celle qu'on relève en France: une quantité croissante de livres non autorisés paraissent aux frontières de la légalité, les imprimeurs bénéficiant d'une certaine marge de manœuvre pour autant que leur nom et leur adresse ne figurent pas en clair sur les pages de titre. L'absence dans les archives bernoises de tout registre d'autorisations officielles comparable aux permissions tacites françaises montre toutefois que la pratique, dans les cantons suisses, s'apparente plus à une tolérance de fait qu'à un système codifié. Rien n'empêchait donc un libraire lausannois de mettre sous presse un ouvrage sans en référer à la censure, hormis la crainte de payer son audace au plein tarif en cas de dénonciation ou de plainte, ou encore si l'ouvrage venait à indisposer très fortement les autorités.

Les professionnels lausannois étaient tout à fait conscients de la liberté toute relative dont ils disposaient. Lors de la mise sous presse, par l'auteur lui-même, Jean-Henri Maubert de Gouvest, du livre intitulé *Histoire politique du siècle*, le libraire Marc-Michel Bousquet écrit à Albert de Haller:

<...> au mois de juin 1747 que j'étais à Berne, on me recommanda fort, et notamment Monseigneur le conseiller Lentulus, de ne jamais rien imprimer qui pût faire de la peine à la France et commettre les deux États. Aussi m'en suis-je bien gardé, et je n'ai lâché au public le *Testament politique d'Alberoni* qu'après en avoir envoyé par la poste à Paris chaque feuille à mesure qu'elle était faite, et j'ai bien eu de la peine de retenir M. Maubert sur cet article-là et sur celui du roi de Sardaigne.

M. Maubert, qui avait toute prête la matière pour augmenter ce *Testament politique*, qu'on lui a refusé en plus d'un endroit, l'a convertie en une *Histoire politique du siècle depuis 1648 à 1748* et l'a dédiée à un seigneur anglais qui lui a fait un présent d'avance de deux cents écus. M. Maubert a dit que cette somme était fort peu de chose en comparaison du risque où il s'exposait, ayant été obligé de prendre le ton anglais, et assurément ce ton-là n'est pas celui de la Cour

de France dans une histoire d'un siècle, quelque concise qu'elle soit. M. Maubert s'avise de faire imprimer son ouvrage dans une ville où il n'y a que moi de connu à l'étranger, et par conséquent on n'aurait jamais douté que ce ne fût moi qui l'eût imprimé, quoi qu'on eût pu dire ou faire, et M. Maubert agit de plus de son chef sans avoir communiqué son manuscrit aux censeurs, ni obtenu une permission souveraine.

On pourra me demander si j'observe toutes ces précautions pour ce que j'imprime. Non, réponds-je, mais j'ai feu et lieu dans Lausanne, je suis libraire depuis 30 ans, connu dans le monde pour tel, et je suis en état de répondre de ma conduite, et responsable des suites d'une imprudence si j'en commets à cet égard; M. Maubert n'est pas dans ce cas-là; il n'a aucun établissement, il est aujourd'hui ici et demain il peut être ailleurs, et il n'a rien à risquer ni à perdre².

Il convient à présent de tenter de mesurer la part de l'illicite dans le corpus des ouvrages imprimés à Lausanne entre 1725 et 1780. Nous concentrerons notre attention sur les titres interdits en France, en excluant d'emblée deux catégories non opérantes pour mesurer le degré de subversivité de cette production: les ouvrages saisis en leur qualité de contrefaçons et les ouvrages de dévotion et d'édification destinés aux protestants français, deux spécialités reconnues des typographes helvétiques. En l'absence d'un véritable catalogue raisonné des livres censurés par les différents pouvoirs en France (parlements, universités, autorités ecclésiastiques et administratives, etc.), je me suis basé pour cette enquête sur la documentation réunie par divers spécialistes³.

Et j'ai pris le parti de scinder le corpus ainsi réuni en trois groupes:

- les livres interdits en France ayant fait l'objet d'une ou plusieurs réimpressions à Lausanne;
- les livres publiés à Lausanne en édition originale et interdits en France;
- les productions lausannoises dont le statut est ambigu.

² Extrait d'un mémoire joint à une lettre datée du 9 mars 1754 (Bern. Bürgerbibliothek. Mss. H.H. XVIII.49. № 22).

³ En l'occurrence, dans l'ordre chronologique: *Peignot G.* Dictionnaire critique, littéraire et bibliographique des principaux livres condamnés au feu, supprimés ou censurés. Paris, 1806; *Rocquain F.* L'Esprit révolutionnaire avant la Révolution, 1715–1789. Paris, 1878; *Jammes P.* Le Bücher bibliographique: collection de livres condamnés, poursuivis et détruits. Paris, [v. 1960]; *Darnton R.* The Corpus of clandestine literature in France, 1769–1789. New York; London, 1995; *Weil F.* Livres interdits, livres persécutés, 1720–1770. Oxford, 1999. Ce dernier ouvrage signale les titres (environ 200) recensés dans le *Répertoire des titres prohibés dans l'ordre alphabétique* conservé au département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France sous la cote ms. fr. 21928. L'utilisation de ces divers répertoires est délicate, car ils mêlent aux ouvrages interdits par les différents organes impliqués, ou considérés comme indésirables par la police de la librairie, des livres saisis, sans qu'on puisse toujours déterminer les motifs de la saisie: par exemple les *Lettres juives* du marquis d'Argens, mises à l'Index par Rome mais apparemment pas interdites en France (le libraire parisien Paul-Denis Brocas a même obtenu un privilège en 1756 pour ce livre), *Le Moyen de parvenir*, de Béroalde de Verville (privilège accordé au libraire parisien Jean-Baptiste-Claude II Bauche) ou encore les *Sermons* de Jacques Saurin (privilège détenu par Michel Lambert, cédé en 1762 à Charles-Joseph Panckoucke).

LIVRES INTERDITS EN FRANCE
ET RÉIMPRIMÉS À LAUSANNE

Un premier groupe, dans cette catégorie, renferme quatre titres saisis à diverses reprises par la police sans cependant figurer dans les listes de livres censurés; il s'agit de toute évidence d'ouvrages entrant dans le cadre de la prohibition des romans qui caractérise le marché du livre français dans les années 1730 et 1740⁴:

– *Mémoires du comte de Bonneval* (ouvrage saisi en 1738 et en 1743). Parus en Hollande en 1737 sous l'adresse fictive de Londres, ces Mémoires romanesques dont l'auteur réel n'a pas été identifié⁵ ont été réimprimés à trois reprises à Lausanne, sous l'adresse de Londres également (en 1737, deux fois, puis en 1755); ils ont aussi été mis sous presse à Rouen.

– *Amours de Sainfroid, jésuite, et d'Eulalie, fille dévote* (ouvrage saisi en 1732 et en 1757). Ce livre, publié à La Haye en 1729, a été réimprimé à Lausanne sous l'adresse de La Haye en 1743, 1748 et 1760.

– *Le Conte du tonneau*, par Jonathan Swift (saisi à diverses reprises entre 1723 et 1754). Parue à La Haye chez Hendrik Scheurleer en 1721, la traduction française de ce livre a connu deux éditions lausannoises, en 1742 et en 1756; inscrit à l'Index à Rome le 17 mai 1734, ce titre de toute évidence ne réunit pas l'ensemble des caractéristiques d'un livre défendu en France, en dépit des saisies dont il a été victime; les éditions hollandaises et lausannoises portent en clair l'adresse de l'éditeur responsable, et en 1763 le libraire parisien Michel-Antoine David revend une fraction d'un privilège relatif à cet ouvrage⁶.

– *Lettres d'une Péruvienne*, par M^{me} de Graffigny (ouvrage saisi en 1748 à Bayonne). Ces *Lettres* ont été réimprimées à Lausanne en 1748 sous l'adresse fictive «A Peine», sous laquelle la veuve de Noël Pissot les avait publiées la même année à Paris; leur proscription n'a été que momentanée, puisque le livre figure dans un privilège général daté du 20 décembre 1751⁷.

La publication de ces quatre ouvrages est imputable à Marc-Michel Bousquet, libraire d'origine genevoise établi à Lausanne en 1736, seul éditeur d'envergure internationale actif dans cette dernière ville pendant plus de vingt ans, et faisant rouler pour lui les deux ateliers typographiques locaux. Un cinquième titre, *Les Mœurs*, ouvrage attribué à François-Vincent Toussaint, constitue la seule contribution lausannoise effective au corpus des ouvrages

⁴ Cf. Weil F. *L'Interdiction du roman et la librairie, 1728–1750*. Paris, 1986.

⁵ Corsini S. *Autour des Mémoires du comte de Bonneval // C'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau*: recueil anniversaire pour Jean-Daniel Candaux / Textes réunis et édités par R. Durand. Genève, 1997. P. 61–69.

⁶ Weil F. *Livres interdits...* N 542.

⁷ *Ibid.* N 264.

considérés comme dangereux en France dans la première moitié du XVIII^e siècle⁸; condamné au feu par le parlement de Paris le 6 mai 1748, peu après sa parution, ce livre a fait l'objet de plusieurs contrefaçons lausannoises, à deux reprises en 1748 encore, puis en 1749, par Marc-Michel Bousquet, enfin en 1760 par François Grasset; ces éditions ont paru sous des adresses muettes, tronquées ou fictives, excepté la première, de toute évidence mise sous presse avant l'interdiction du livre. Il convient de souligner qu'aucun de ces cinq titres n'a été interdit par la censure bernoise.

La situation change sensiblement au seuil des années 1760. Marc-Michel Bousquet cède la place à une nouvelle génération de libraires; c'est tout d'abord François Grasset, son ancien commis, qui s'établit à son compte, avant que ne se fixe à Lausanne, en 1763, Jean-Pierre Heubach, un relieur allemand appelé à devenir, en moins de dix ans, une des figures marquantes de l'édition en Suisse romande (on lui doit notamment, sous l'enseigne des Sociétés typographiques de Lausanne et de Berne, la réimpression en format de «poche», in-octavo, de l'*Encyclopédie* de Diderot et d'Alembert). Ces libraires-éditeurs qui prétendent donner à leurs activités une dimension européenne doivent faire face à une situation critique: le commerce des livres d'enseignement en latin destinés aux collèges du sud de l'Europe, une des principales sources de revenus des libraires genevois et lausannois dans la première moitié du XVIII^e siècle, cesse pratiquement avec la suppression des Jésuites. La production se réoriente vers le livre en français, en mettant assez nettement l'accent sur les nouveautés littéraires, dont le public européen semble de plus en plus friand⁹. L'établissement de Voltaire aux Délices, puis dans les environs immédiats de Genève, à Ferney, dynamise ce mouvement. Gabriel et Philibert Cramer, devenus les éditeurs en titre du philosophe, y impriment la plupart de ses ouvrages, à commencer par *Candide*. La relation privilégiée entretenue avec Voltaire et la mise sous presse d'ouvrages proscrits en France — quand ce n'est pas à Genève même, comme c'est le cas pour *L'Ingénu!* — ne sont pas incompatibles avec le rôle joué par les frères Cramer sur le plan politique dans la cité de Calvin; quand le cadet, Philibert, accède en 1767 au Petit Conseil (exécutif), on assiste toutefois à un transfert des ouvrages les moins avouables de Voltaire sur les presses de Gabriel Grasset, frère de l'éditeur lausannois¹⁰. Mais certains livres condamnables — et condamnés —, comme les *Questions sur l'Encyclopédie*, continuent néanmoins à sortir de l'officine des frères Cramer...

Hormis les *Lettres persanes* et *La Pucelle*, livres déjà anciens, les ouvrages interdits imprimés à Lausanne dès 1759 sont tous des nouveautés littéraires en

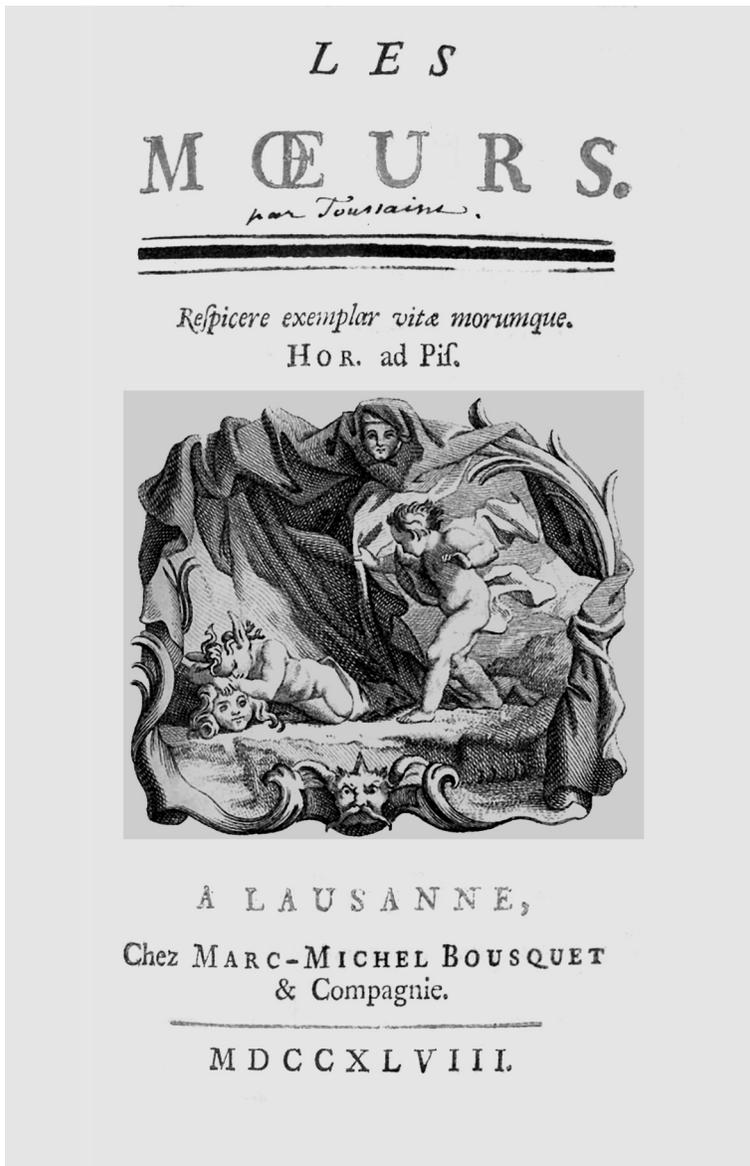
⁸ Sur l'importance dans le débat des Lumières de ce livre, qui valut l'exil à son auteur, voir Mornet D. *Les Origines intellectuelles de la Révolution française: 1715–1787*. Paris, 1933. P. 99–100.

⁹ Corsini S. XVIII^e siècle: un petit âge d'or // *Le Livre à Lausanne: cinq siècles d'édition et d'imprimerie, 1493–1993* / Sous la dir. de S. Corsini. Lausanne, 1993. P. 49–69.

¹⁰ Brown A., Kölvig U. *Voltaire and Cramer? // Le Siècle de Voltaire: hommage à René Pomeau* / Éd. par Ch. Mervaud, S. Menant. Oxford, 1987. P. 149–183.



Frontispice de la première édition lausannoise des *Mœurs*, de F.-V. Toussaint, probablement imprimée dans le sillage immédiat de l'édition originale parisienne interdite par le Parlement



Page de titre de la première édition lausannoise des *Mœurs*, de F.-V. Toussaint

vogue. En voici la liste, présentée dans l'ordre chronologique de leur impression:

– *Candide*, par Voltaire. Proscrit en France¹¹, ce livre emblématique eut l'honneur d'être contrefait une bonne vingtaine de fois en 1759, année de sa publication, et 1760¹². Selon un avis inséré dans le périodique littéraire *Excerptum totius italicae nec non helveticae literaturae*, une de ces contrefaçons aurait vu le jour à Lausanne¹³; l'ouvrage y a été réimprimé en 1772 par François Grasset sous l'adresse de Londres.

– *Lettres persanes*, par Montesquieu. Publiées clandestinement en Hollande en 1721 suite au refus opposé à une demande de permission tacite, les *Lettres persanes* ont été saisies à plusieurs reprises par la police française, en 1724 et 1737 notamment. François Grasset en a mis sous presse successivement deux éditions à Lausanne en 1760 et 1770, à une époque où, manifestement, ce livre était sorti de l'ombre, le libraire parisien Laurent Durand ayant même obtenu un privilège en 1763.

– *Code de la nature ou le Véritable Esprit des loix*, ouvrage attribué à Étienne-Gabriel Morelly. Ce livre, dans lequel certains spécialistes voient une anticipation des thèses communistes, a paru en 1755 à Liège chez Jean-François I Bassompierre, à l'enseigne de «Par-Tout, chez le Vrai Sage»¹⁴. François Grasset l'a réimprimé à Lausanne en 1760 sous la même adresse. Selon P. Jammes, il aurait été condamné par le parlement de Paris¹⁵.

– *L'Ingénu*, par Voltaire. Publié par les frères Cramer à Genève, où il a été condamné à être publiquement lacéré et brûlé, ce livre a paru à Paris au bénéfice d'une permission tacite sous le titre *Le Huron ou l'Ingénu* et sous l'adresse fictive de Lausanne (!), avant d'être interdit en septembre 1767 à la suite de protestations du clergé français. L'édition genevoise a servi de modèle à Jean-Pierre Heubach, qui a réimprimé *L'Ingénu* à Lausanne en 1767 sous l'adresse d'Utrecht; en 1772, c'est au tour de François Grasset d'en proposer une édition, sous l'adresse de Londres¹⁶.

¹¹ L'intendant de Lyon Jean-Baptiste-François de «La Michodière avait refusé de laisser entrer ici l'impression de *Candide* [faite] dans les provinces étrangères» (lettre de Seynas à Malesherbes, citée par Weil F. *Livres interdits...* N 579).

¹² Barber G. *Modèle genevois, mode européenne: le cas de Candide et de ses contrefaçons // Cinq siècles d'imprimerie genevoise: actes du colloque international sur l'histoire de l'imprimerie et du livre à Genève, 27–30 avril 1978 / Publ. par J.-D. Candaux, B. Lescaze. Genève, 1981. T. II. P. 49–67.*

¹³ *Excerptum totius italicae nec non helveticae literaturae. T. III (juillet-septembre 1759); cette édition supposément imprimée à Lausanne n'a pas été identifiée à ce jour.*

¹⁴ Droixhe D. *Voici un livre qu'on dit imprimé à Liège: le Code de la nature de Morelly // Revue d'histoire littéraire de la France. 1996. N 5. P. 943–965.*

¹⁵ Jammes P. *Op. cit.* N 780.

¹⁶ Il s'agit, comme pour l'édition de *Candide* imprimée la même année et citée plus haut, ou encore pour *La Princesse de Babylone*, d'un tirage à part des pages imprimées dans le cadre de la *Collection complète des œuvres de Voltaire* publiée par Grasset à Lausanne de 1770 à 1781.

– *L'Homme aux quarante écus*, par Voltaire. Imprimé à Genève par Gabriel Grasset, ce livre a été condamné au feu le 24 septembre 1768 par le parlement de Paris; Jean-Pierre Heubach l'a réimprimé la même année sous l'adresse de Londres.

– *Bélisaire*, par Jean-François Marmontel. Publié avec la bénédiction des autorités, ce livre fut censuré par la Sorbonne peu après sa parution, en 1767, puis condamné par l'archevêque de Paris en 1768. Il a été réimprimé à Lausanne en 1767, 1769, 1771 (François Grasset) et 1784 (Jules-Henri Pott), ainsi qu'à Yverdon (Fortuné-Barthélemy de Felice) en 1767.

– *Histoire du parlement de Paris*, par Voltaire. Rédigé à la demande du ministère et à l'instigation d'un prince français, cet ouvrage fut cependant attaqué et proscrit par le parlement dès sa parution, en 1769; il a été réimprimé par François Grasset à plusieurs reprises à Lausanne, en 1769, 1770 et 1773, sous l'adresse mensongère d'Amsterdam ou de Londres.

– *La Philosophie de l'histoire*, par Voltaire. Sorti des presses de Gabriel Grasset en 1765, ce livre figure au *Répertoire des titres prohibés* (BNF, ms. fr. 21928); il a été interdit par l'Assemblée du clergé de France en 1765 et plusieurs saisies sont attestées dans les années qui suivent (à Évreux, le 14 octobre 1766, puis à Nancy en janvier 1767). Il a été réimprimé à Lausanne par François Grasset sous le titre *Discours philosophique ou la Philosophie de l'histoire* («Londres», 1770)¹⁷.

– *Ericie ou la Vestale*, par Joseph-Gaspard Dubois-Fontanelle. Absent des diverses listes d'ouvrages censurés, ce drame, paru sous l'adresse de Londres (probablement pour Paris) en 1769, a cependant été pourchassé: « Le prélat [l'archevêque de Paris], devenu censeur de pièces de théâtre, opine que non seulement cette *Vestale* ne peut être représentée, mais qu'elle ne doit pas même être imprimée; et voilà mon pauvre diable de poète pour ses frais de composition; et lorsqu'il parvient à la faire imprimer clandestinement, on envoie son colporteur aux galères pour en avoir vendu»¹⁸. François Grasset en a donné une édition sous son nom à Lausanne la même année.

– *Essai général de tactique, précédé d'un Discours sur l'état actuel de la politique et la science militaire en Europe*, par Jacques-Antoine-Hippolyte de Guibert. Cet ouvrage, publié à Bouillon en 1772, a été prohibé pour la dénonciation de la décadence de l'esprit militaire en France qui figure au discours préliminaire¹⁹; ce dernier a été réimprimé à Lausanne en 1773 par François Grasset sous l'adresse de Londres.

– *La Princesse de Babylone*, par Voltaire. Imprimé à Genève en 1768 par Gabriel Grasset, ce texte figure lui aussi au *Répertoire des titres pro-*

¹⁷ Tirage à part du premier volume de la *Collection complete des œuvres de Voltaire* imprimée à Lausanne.

¹⁸ CL. Paris, 1879. T. 8, p. 471 (voir aussi p. 43).

¹⁹ Ibid. T. 10. P. 15, 55–57.

hibés (BNF, ms. fr. 21928). Il a été réimprimé à Lausanne par François Grasset en 1772, sous l'adresse de Londres.

– *L'An deux mille quatre cent quarante*, par Louis-Sébastien Mercier. Paru en Hollande en 1771, cet ouvrage a été réimprimé à de nombreuses reprises dans les années 1770 et 1780, notamment à Lausanne par François Grasset sous l'adresse de Londres (deux éditions en 1772, une en 1774) et à Neuchâtel par Samuel Fauche (1785). Bien qu'aucun document officiel n'atteste une censure en bonne et due forme de ce livre, on le dit «très rigoureusement défendu»²⁰, et il figure dans diverses saisies opérées par la police.

– *Jean Hennuyer, évêque de Lisieux*, par Louis-Sébastien Mercier. Publiée en 1772 par le libraire Edme-Jean Le Jay à Paris sous l'adresse de Londres, cette pièce de théâtre faisant l'apologie du seul prélat français à s'être opposé au massacre des protestants en 1572 ne figure pas dans les diverses listes de livres censurés. Sa qualité de livre défendu ne fait cependant aucun doute: «Vous pensez bien que ce drame, tel qu'il est, ne se vend point à Paris, et qu'on n'en a que quelques exemplaires échappés à la vigilance de la police»²¹; Robert Darnton signale d'ailleurs diverses saisies. Le livre a été réimprimé à Lausanne la même année par François Grasset, sous l'adresse de Londres.

– *De l'Homme*, par Helvétius. Coédité par Pierre II Gosse, de La Haye, qui en a assumé l'impression, et David Boissière, de Londres, cet ouvrage posthume paru en 1773 a été condamné par le parlement de Paris le 10 janvier 1774. Il a été réimprimé en 1775 en société par Jean-Samuel Cailler à Genève et Jean-Pierre Heubach à Lausanne, sous l'adresse de Londres²².

– *La Pucelle d'Orléans, poème héroïco-comique*, par Voltaire. Paru en 1755 dans une édition en quinze livres désavouée par l'auteur et censurée par le parlement de Paris et la Sorbonne, ce texte fut republié en 1762 par Voltaire dans une nouvelle version qui, elle, ne semble pas avoir fait l'objet d'une censure. *La Pucelle* a été réimprimée à de nombreuses reprises dans les années qui suivent, notamment en Suisse romande, à Lausanne, à Genève et à Neuchâtel. Le texte publié par François Grasset en 1774 à Lausanne (tantôt sous son nom, tantôt sous l'adresse fictive de Londres, probablement en fonction de la destination des exemplaires) compte vingt et un chants; il reprend celui de l'édition des *Œuvres complètes* donnée par les frères Cramer à Genève.

– *Histoire de Jenni*, par Voltaire. Cet ouvrage, cité en bonne place par Gabriel Peignot dans son *Dictionnaire critique... des principaux livres condamnés...*, a été saisi à plusieurs reprises. Paru à Genève sous

²⁰ Cité par Wilkie E. C. Mercier's *L'An 2440: its publishing history during the author's lifetime*. Cambridge (Mass.), 1986. P. 9.

²¹ CL. T. 10. P. 53–55.

²² Smith D. *Bibliography of the writings of Helvétius*. Ferney-Voltaire, 2001. P. 289 sqq.

l'adresse de Londres en 1775, il a été contrefait à Lausanne par François Grasset la même année et en 1776, ainsi qu'à Lyon²³.

– *Questions sur l'Encyclopédie*, par Voltaire. Le *Dictionnaire philosophique* a été condamné à être brûlé à Genève, en Hollande et par le parlement de Paris (19 mars 1765). Une version complètement remaniée a paru en 1770–1771 à Genève, chez les frères Cramer, sous le titre *Questions sur l'Encyclopédie*. L'ouvrage a été censuré par l'Assemblée du clergé de France en 1775. De nombreuses réimpressions des *Questions* ont vu le jour dans les années 1770, en Suisse (Neuchâtel, Lausanne), en Hollande, et probablement aussi en France; l'édition parue en 1777 sous l'adresse de Londres sort des presses lausannoises de Jean-Pierre Heubach, qui a imprimé ce livre pour le compte de François Grasset²⁴.

– *Annales politiques, civiles et littéraires du dix-huitième siècle*, par Simon-Nicolas-Henri Linguet (1777–1792). Publiées à Londres, puis à Bruxelles, avec la complicité du publiciste genevois Jacques Mallet Du Pan dès 1778, interrompues du 27 septembre 1780 au 19 mai 1782 pendant l'embastillement de Linguet, les *Annales politiques* ont été réimprimées à Lausanne, tantôt sous l'adresse de Londres, tantôt sous celle, réelle, de Jean-Pierre Heubach. En dépit de son succès à la Cour comme à la Ville, le caractère séditieux ce périodique ne fait aucun doute; c'est à cause de lui que Linguet fut emprisonné, et plusieurs livraisons ont été censurées, bien après sa libération, en 1788 (numéros 109, 110, 111, 116)²⁵.

– *Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les Deux Indes*, par l'abbé Guillaume-Thomas Raynal. Pourchassé dès sa parution, en 1770²⁶, ce livre a connu de nombreuses réimpressions, notamment à Liège et à Lyon, sous des adresses fictives. Une nouvelle édition publiée à Genève sous le millésime de 1780 a été interdite par arrêt du Conseil du Roi du 19 décembre 1779, et dès le début de l'année suivante, le garde des sceaux aurait prié le ministre des Affaires étrangères de faire pression sur les autorités genevoises pour qu'elles proscrivent ce livre, brûlé à Paris au pied du grand escalier du parlement le 29 mai 1781. En dépit de ces censures réitérées,

²³ Voir les notices consacrées à ces éditions dans: Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale. Auteurs. Paris, 1978. T. 214 (II). «Voltaire». N 2782 à 2784.

²⁴ Les mêmes volumes constituent les tomes 40 à 47 de la *Collection complète des œuvres de Voltaire* publiée par Grasset.

²⁵ C'est dans les *Annales politiques* que parurent, au début de 1783, les *Mémoires sur la Bastille*, en tête desquels figure la célèbre estampe qui anticipe la destruction de la Bastille: représenté avec les attributs de la royauté au beau milieu des ruines, Louis XVI se tourne vers des prisonniers et leur lance «Soyez libres, vivez!» Présentant son ouvrage comme «édition secondaire» imprimée d'après l'originale de Londres avec l'accord de Linguet, le directeur de la Société typographique de Lausanne, Heubach, a essuyé dès 1779 les reproches de Mallet Du Pan, qui l'accusait publiquement de contrefaçon; s'ensuivit une brouille dont plusieurs avis et contre-avis émanant des deux parties illustrent la virulence.

²⁶ «L'auteur a été décrété de prise de corps, mais on lui donna le temps de s'évader et de se rendre aux eaux de Spa» (*Peignot G. Op. cit. T. 2. P. 71*).

plusieurs réimpressions de l'*Histoire des Deux Indes* ont été réalisées, certaines en Suisse romande: à Genève et Lausanne en 1781 (impression partagée entre J.-A. Nouffer et J.-P. Heubach, parue sous l'adresse de Genève), ainsi qu'à Neuchâtel en 1783 (Société typographique).

– *La Bible enfin expliquée*, par Voltaire. En 1779, François Grasset a réimprimé cet ouvrage prohibé dans le cadre de la *Collection complète des œuvres de Voltaire* publiée par ses soins; il en a diffusé quelques exemplaires séparément.

À la lecture des titres qui composent cette liste, une première constatation s'impose: la figure de Voltaire domine largement, même en tenant compte du fait que plusieurs des ouvrages prohibés sortis de sa plume ont paru à Lausanne dans le cadre de la *Collection complète des œuvres* publiée par François Grasset, qui ne le cède en rien aux éditions concurrentes de Panckoucke à Paris, Plomteux à Liège, Cramer puis Bardin à Genève, ou encore des contrefacteurs lyonnais de ce dernier. Force est également de relever que les imprimeurs lausannois ne brillent pas par leur originalité. Les titres qu'ils mettent sous presse sont ceux que leurs concurrents européens proposent également à la clientèle: les ouvrages des auteurs qu'on se plaît à regrouper sous l'étiquette de «philosophes», Voltaire, Helvétius, Raynal, connaissent une vogue que leur interdiction ne parvient pas à endiguer, quand elle ne l'alimente pas...

Il y a fort à parier que des recherches ultérieures permettront d'établir que les ateliers français situés en province ont joué leur rôle dans ce commerce florissant, en dépit des risques encourus. Les Lyonnais, de ce point de vue, semblent de tous les «bons coups», comme l'ont démontré les recherches menées par Claudette Fortuny sur les réimpressions de l'*Histoire des Deux Indes*²⁷, ou celles de Dominique Varry sur divers ouvrages de Voltaire. Et les imprimeurs et libraires de Rouen ne sont pas en reste...

Il n'en demeure pas moins vrai qu'à de rares exceptions près (*Bélisaire* ou *Jean Hennuyer*), l'essentiel des éditions originales des titres relevés a paru à l'extérieur des frontières du royaume. Cette constatation renforce l'idée selon laquelle les auteurs désireux de publier un ouvrage susceptible d'être interdit en France ont préféré s'adresser à des éditeurs étrangers, ce qui n'a pas empêché les imprimeurs régnicoles de mettre sous presse bon nombre des ouvrages en question.

Sur le plan strictement suisse, il convient enfin de signaler que quatre des titres cités plus haut figurent en bonne place dans la liste des ouvrages censurés par Leurs Excellences de Berne: *La Pucelle*, condamnée en 1759 en même temps que *De l'esprit* (d'Helvétius)²⁸, les *Questions sur l'Encyclopédie*, en

²⁷ Fortuny C. Les éditions lyonnaises de l'*Histoire des Deux Indes* de l'abbé Raynal // Histoire et civilisation du livre: revue internationale. 2006. N 2. P. 169–188.

²⁸ Selon la légende, le bailli Albrecht von Tscharnher, en charge de la police du livre, aurait envoyé à cette occasion aux autorités bernoises un rapport dans lequel il précisait qu'en dépit des investigations menées, il n'avait trouvé à Lausanne ni *Esprit* ni *Pucelle*...

1771, *L'An deux mille quatre cent quarante* en 1772, et *La Bible enfin expliquée*, «ouvrage infâme et abominable proscrit expressément par un rescrit souverain» et dont la publication causa à son éditeur lausannois quelques soucis²⁹.

LIVRES PUBLIÉS À LAUSANNE
ET INTERDITS EN FRANCE

Si, comme on vient de le constater, de nombreux livres défendus en France ont connu leur première publication sur des presses étrangères, la part des typographes lausannois à ce marché reste modeste. Voici la liste des ouvrages concernés:

– *La Vie de monsieur l'abbé de Choisy*, ouvrage attribué à l'abbé d'Olivet.

Publié par Marc-Michel Bousquet en 1742, ce livre a été interdit en France (saisies opérées en 1745 et 1765); il a toutefois été contrefait à Paris en 1748 selon Weller³⁰; le papier, provenant du Limousin, semble confirmer l'origine française de cette contrefaçon.

– *Mémoires de M. l'abbé de Montgon, publiés par lui-même...*

Mis sous presse par Marc-Michel Bousquet sans adresse ni nom d'imprimeur en 1748 et 1749 en cinq tomes, ce livre critique à l'égard de l'administration du cardinal de Fleury, «très défendu» selon Peignot, a été saisi en mars 1749 en France. L'édition originale lausannoise a fait l'objet d'au moins deux contrefaçons en 1750, dont l'une imprimée à Paris, que Bousquet prétend avoir fait arrêter par Malesherbes³¹, l'autre à Amsterdam chez François Changuion si l'on se réfère à la liste établie par F. Weil. Le libraire lausannois a publié sous son nom en 1752 et 1753

²⁹ Selon les termes d'Alexandre-César Chavannes dans son rapport du 2 décembre 1779. Le censeur saisit l'occasion de cette dénonciation pour faire le procès du libraire Grasset, accusé de ne pas se conformer aux règlements souverains et de vendre «des livres contraires aux bonnes mœurs», entre autres *La Fille de joie*, proposé dans son catalogue; invité à s'expliquer devant le bailli, Grasset tente de se tirer d'affaire en arguant du fait qu'il «pouvait s'être glissé dans son catalogue le titre de quelques livres qui méritent répréhension, parce qu'il ne les connaît pas, ou n'a pas le tems de les lire», et que d'ailleurs les livres en question ont été imprimés hors du pays. Quant à la suite des *Œuvres* de Voltaire contenant *La Bible enfin expliquée*, elle serait essentiellement destinée à l'étranger, seuls une vingtaine de souscripteurs, sur 1 200, étant suisses. Ces explications peu convaincantes n'auront aucun effet, et le libraire, fait relativement rare à Lausanne, sera condamné à acquitter une amende de 50 écus blancs (Archives cantonales vaudoises. Bdd 51/10. P. 13–14, 18; Bdd 9. P. 186, 539).

³⁰ Weller E.O. Die falschen und fingierten Druckorte: Repertorium der seit Erfindung der Buchdruckerkunst unter falscher Firma erschienenen deutschen, lateinischen und französischen Schriften. Leipzig, 1864. Bd. II. S. 111.

³¹ Bürgerbibliothek Bern. Mss. H.H.XVIII.49. N 22 (Marc-Michel Bousquet à Albert de Haller).

une nouvelle édition augmentée, en huit volumes, une permission tacite ayant entre-temps été accordée aux libraires parisiens Jean Desaint et Charles Saillant, en 1751³².

– *Œuvres complètes d'Antoine Arnauld*.

Projetée en 1758 par les libraires Sigismond d'Arnay et François Grasset avec l'appui du pape Benoît XIV, cette édition confiée aux soins de l'abbé Goujet fut suspendue en 1759 après l'accession au trône pontifical de Clément XIII, favorable aux Jésuites; le prospectus publié par Grasset sous l'adresse d'Avignon fut publiquement condamné par la Curie romaine et les libraires qui souscriraient à l'édition menacés d'excommunication. Considéré alors comme indésirable en France³³, cet ouvrage parut finalement de 1775 à 1781 sous l'adresse de «Paris, et se vend à Lausanne, chez Sigismond d'Arnay et Compagnie», en 42 volumes in-4° établis par Jean Hautefage, installé à Lausanne pendant plusieurs années. La suppression de l'ordre des Jésuites en 1773 ayant changé la donne, la diffusion de cette monumentale édition ne semble pas avoir rencontré d'obstacles en France³⁴.

– *Lettres chrétiennes et spirituelles sur divers sujets qui regardent la vie intérieure*, par Madame Guyon. Il s'agit de la réédition lausannoise d'un ouvrage publié en 1717 et 1718 en 4 tomes à Amsterdam sous l'adresse fictive de Cologne, due aux soins du pasteur Jean-Philippe Dutoit-Membrini, qui ajouta un cinquième tome contenant la correspondance de Fénelon avec Madame Guyon, dûment annotée, ainsi qu'un essai sur les abus de la raison en matière de grâce intitulé *Anecdotes et réflexions*, rédigé par ses soins; ce livre a été imprimé à Lausanne de 1767 à 1768 sous l'adresse de Londres. Dutoit a publié en 1780 sous la même adresse les *Discours chrétiens et spirituels* de Madame Guyon. Ces livres participent des travaux des Âmes intérieures, secte fondée au milieu du XVIII^e siècle, en réaction aux progrès de l'incrédulité et de l'athéisme, et dont Dutoit était un des maîtres à penser³⁵. En dépit de la condamnation globale des productions de Madame Guyon prononcée par l'archevêque de Paris à la fin du XVII^e siècle, ces ouvrages ne semblent pas avoir été réellement pourchassés en France.

– *L'Esprit de Saurin*. Cette anthologie réalisée par François-Jacques Durand, professeur à l'académie de Lausanne, a paru chez Jean-Pierre Heubach en 1767; la direction de la Librairie refusa en janvier 1768 d'en permettre la vente en France, probablement en raison du caractère réformé de l'ouvrage.

³² «Permis à des personnes connues» (BNF. Ms. fr. 21994. № 172).

³³ Arch. dép. Gironde. C 1463 (*Weil F. Livres interdits...* N 40).

³⁴ *Bugnon-Secretan P.* L'édition des *Œuvres complètes* d'Antoine Arnauld: Paris ou Lausanne? // *Chroniques de Port-Royal: bulletin de la Société des amis de Port-Royal.* 1995. N 44. P. 409–410.

³⁵ Sur l'activité de Dutoit-Membrini, voir *Chavannes J.* Jean-Philippe Dutoit, sa vie, son caractère et ses doctrines. Lausanne, 1865.

– *Le Monarque accompli*, par Joseph Lanjuinais. Bénédictin originaire de Rennes converti aux idéaux réformés, Joseph Lanjuinais s'était établi à Moudon, près de Lausanne, en 1765. Son *Monarque accompli* (Lausanne, Jean-Pierre Heubach, 1774), véritable dithyrambe à la gloire de l'empereur Joseph II, considéré comme le parfait modèle du monarque éclairé, fut bien mal reçu en France; considéré comme séditieux et appelant à la guerre civile, ce livre fut interdit par le parlement de Paris le 3 mai 1776³⁶. Il a donné lieu à une contrefaçon, peut-être imprimée en France (papier originaire d'Auvergne).

– *L'Esprit du pape Clément XIV mis au jour*, attribué à Joseph Lanjuinais. Imprimée par Heubach en 1775 dans la foulée du précédent et sous l'adresse fictive d'Amsterdam, cette seconde production de Lanjuinais n'a pas eu plus de succès auprès des autorités françaises: Peignot fait état de sa proscription à Paris par le lieutenant général de police.

Sur les sept titres répertoriés, seuls deux se signalent par leur caractère évidemment «philosophique», ceux rédigés par le renégat breton Joseph Lanjuinais³⁷.

J'ai volontairement écarté deux autres ouvrages censurés. Il s'agit des *Poésies diverses* de Grécourt, parues en 1747 sous l'adresse de Lausanne — de toute évidence fictive — et plusieurs fois réimprimées (1748, 1750, 1755, 1756)³⁸, et de *l'Apologie générale de l'institut et de la doctrine des Jésuites*, attribuée à Louis-Antoine Cérutti, publiée à Nancy sous la fausse adresse de

³⁶ «L'avocat général Séguier a reproché à l'auteur d'avoir prêché la sédition, la guerre civile, la vengeance contre les tyrans, et de mettre ses projets sanguinaires dans la bouche de Sa Majesté impériale. En conséquence le livre a été proscriit comme séditieux, tendant à la révolte et à soulever les esprits contre toute autorité légitime, attentatoire à la souveraineté des rois et destructeur de toute subordination, en cherchant à anéantir dans l'esprit des peuples les sentiments d'obéissance, de respect et d'amour qu'ils doivent à leurs souverains» (Peignot G. Op. cit. T. I. P. 230). «L'auteur <...> traçait un tableau lugubre de la misère des peuples, et, appelant ceux-ci à la révolte, les poussait à égorger les monstres qui devaient leur substance. <...> L'avocat général, en flétrissant cette "doctrine meurtrière", l'imputa à l'effervescence "que l'amour de la liberté indéfinie avait fait naître dans tous les cœurs". Le pays doit les secousses qui l'agitent "à ces génies entreprenants qui ne consultent que leurs propres lumières, à ces novateurs dangereux qui, sans avoir étudié la marche de l'esprit humain, pensent qu'ils sont en état de le conduire, à ces prédicants insensés et furieux qui osent se permettre de détruire les gouvernements sous prétexte de les réformer"» (Rocquain F. Op. cit. P. 351–352; les passages cités entre guillemets sont tirés de l'*Arrêt du Parlement du 3 mai 1776 condamnant au feu un ouvrage intitulé «Le Monarque accompli»*).

³⁷ La personnalité de Joseph Lanjuinais n'est probablement pas complètement étrangère à la vocation de son neveu, Jean-Denis, juriste et constitutionnaliste remarquable qui mettra toute son éloquence à combattre l'arbitraire et le despotisme dans la France du premier XIX^e siècle (voir à son propos les travaux récents de Yann-Arzel Durelle-Marc, universités Paris-I et Rennes-I, et du groupe de travail sur les archives de la famille Lanjuinais).

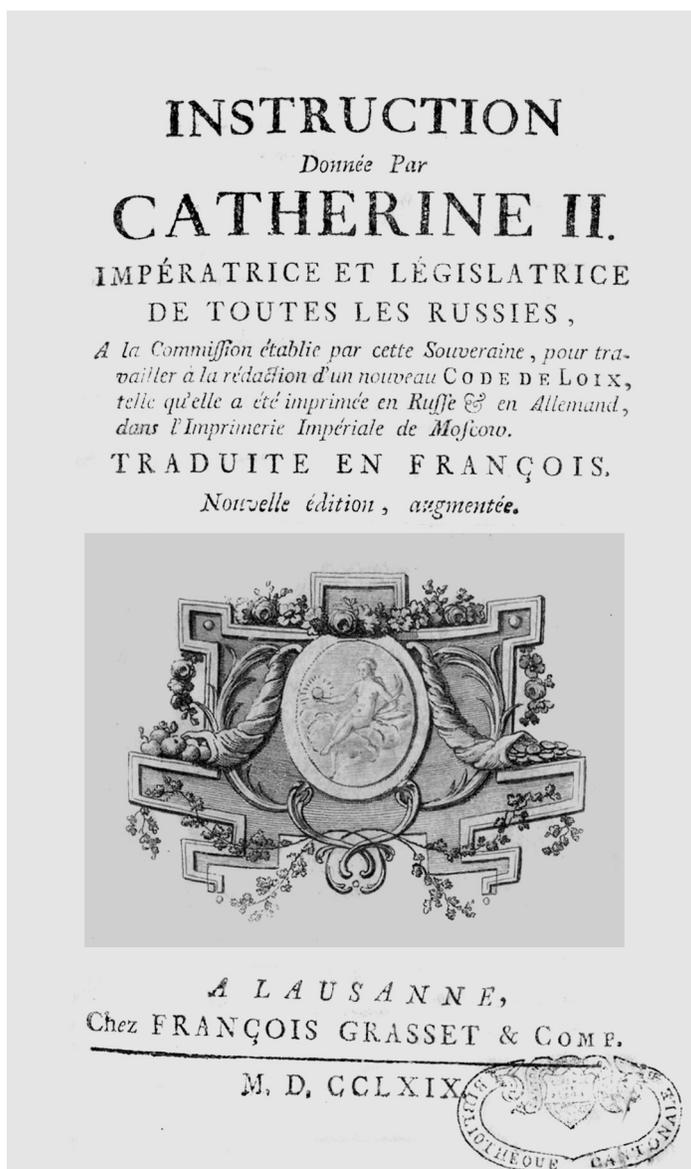
³⁸ Les *Œuvres de Grécourt* figurent au *Répertoire des titres prohibés* (BNF. Ms. fr. 21928); plusieurs saisies sont attestées (1740, 1749, 1769).



Frontispice de l'*Instruction donnée par Catherine II*, publiée à Lausanne par F. Grasset

Soleure en 1762 et réimprimée à plusieurs reprises en 1763 et 1764 sous l'adresse de Lausanne, chez Sigismond d'Arnay ou François Grasset, sans que ces derniers semblent y avoir eu une quelconque part³⁹.

³⁹ La plupart de ces éditions semblent d'origine française. À en croire la *Correspondance littéraire* (CL. Paris, 1878. T. 5. P. 274–275), l'ouvrage n'a pas été réellement défendu: «Cette



Page de titre de l'*Instruction* donnée par Catherine II, publiée à Lausanne par F. Grasset

apologie se trouve difficilement. Ce n'est pas que les parlements aient mis aucun obstacle à la distribution de cet ouvrage, comme les Jésuites voudraient le faire croire; mais la Société ne le confie qu'à ses vrais amis. Par ce moyen, elle conserve un air d'oppression avec lequel elle voudrait bien exciter notre pitié en même temps qu'elle exempte son apologie du danger de soutenir le grand jour».

PRODUCTIONS LAUSANNOISES
DONT LE STATUT N'EST PAS CLAIR

Plusieurs des ouvrages publiés par les libraires lausannois (en général des réimpressions) figurent dans les répertoires consultés en raison soit de leur saisie, soit de leur présence dans des listes de livres «philosophiques» proposés par les libraires. Leur caractère défendu n'étant pas établi avec certitude, il a paru préférable de les regrouper dans une section particulière.

Au rang des titres signalés comme saisis, plusieurs ont été restitués à leur propriétaire, ce qui pourrait indiquer qu'ils n'ont été proscrits que préventivement: l'*Histoire des amours de Valérie et du noble vénitien Barbarigo*, de Jean Galli de Bibiena (Lausanne, Marc-Michel Bousquet, 1741, contrefait en France sous la même adresse)⁴⁰, les *Lettres de messire Jean Soanen, évêque de Senez* («Cologne», 1750)⁴¹, l'*Histoire politique du siècle*, attribuée à J.-H. Maubert de Gouvest ([s. l.,] 1754)⁴², ou encore l'*Art de faire des garçons*, par Michel Procope-Couteaux⁴³.

Parmi les ouvrages victimes de saisies figurent l'*Eclaircissement sur les mœurs* de François-Vincent Toussaint⁴⁴, *L'Heureux Jour, épître à mon ami*, attribué à Alexandre-Frédéric-Jacques Masson de Pezay⁴⁵, *Le Bonheur*, par Helvétius⁴⁶, ainsi que plusieurs ouvrages de Voltaire: *La Méprise d'Arras*⁴⁷, les *Épîtres satires, contes, odes et pièces fugitives du poète philosophe*⁴⁸, *La*

⁴⁰ Saisi à Lyon le 11 juin 1756, cet ouvrage a été rendu aux libraires parisiens Hippolyte-Louis Guérin et Louis-François Delatour (*Weil F. Livres interdits...* N 74).

⁴¹ Édition publiée par Marc-Michel Bousquet en deux formats, in-4° et in-12; découverts dans un ballot en provenance de Hollande et saisis, des exemplaires de cet ouvrage furent rendus à leur propriétaire après versement de 200 livres, moyennant quoi ils purent entrer dans Paris (*Journal de la librairie* de l'inspecteur Joseph d'Hémery, 1750–1751. Fol. 159 v°).

⁴² Imprimé en partie à Lausanne à compte d'auteur, cet ouvrage a été contrefait en 1757, probablement en territoire français; les exemplaires de ce livre saisis en 1759 ont été restitués à leur propriétaire (*Weil F. Livres interdits...* N 408). On trouve des informations utiles à propos de cette publication dans la *Correspondance littéraire* (CL. Paris, 1877. T. 2. P. 188–189, 416–421).

⁴³ Publié en 1748 à Montpellier, ce livre a fait l'objet de saisies en 1748 et 1755, les exemplaires ayant toutefois été rendus à leur propriétaire (*Weil F. Livres interdits...* N 484). L'ouvrage a été réimprimé à Lausanne en 1770 par Jean-Pierre Heubach sous l'adresse fictive de Montpellier.

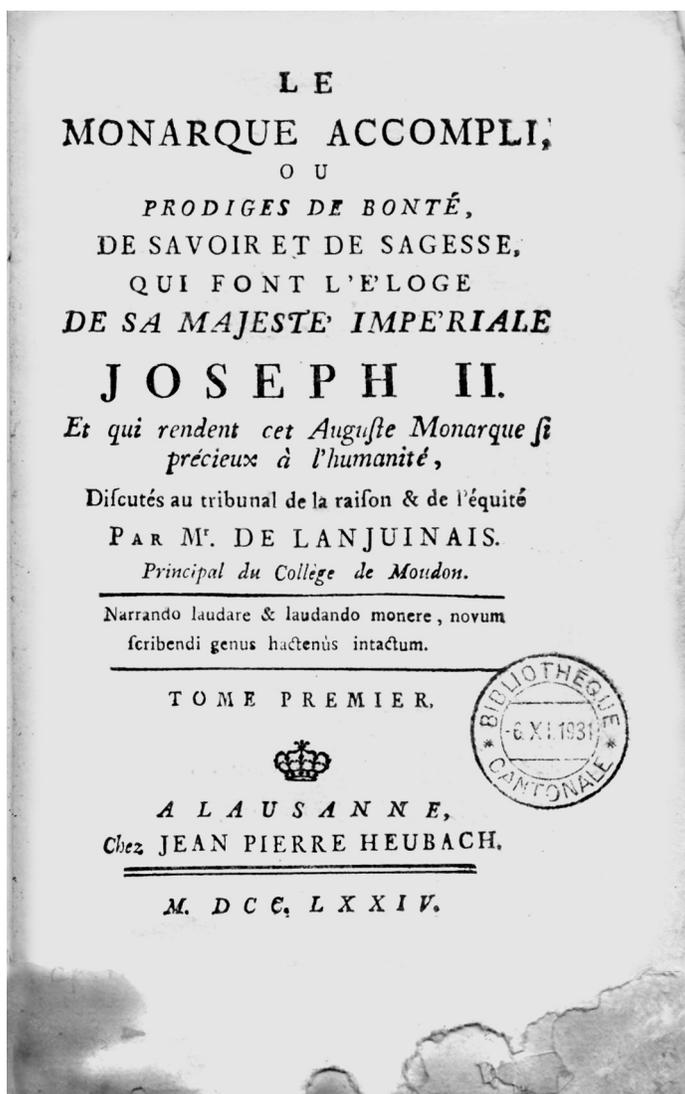
⁴⁴ Cet ouvrage, publié par Marc-Michel Rey à Amsterdam en 1762, a été réimprimé à Lausanne par Jean-Pierre Heubach l'année suivante; des exemplaires ont été saisis aux frontières en 1771 (*Darnton R. Op. cit.* N 181).

⁴⁵ Paru à Paris en 1768 chez la veuve de Nicolas-Bonaventure Duchesne, ce texte a été contrefait à Lausanne par François Grasset; les exemplaires mis au pilon appartenaient sans doute à cette contrefaçon lausannoise (*Ibid.* N 283).

⁴⁶ Paru aux Deux-Ponts en 1772 (cf. *Smith D. Op. cit.* P. 244 sqq.), ce livre a été réimprimé l'année suivante à Lausanne par François Grasset. Il n'a pas été interdit en France.

⁴⁷ L'édition originale de cette pièce, parue en 1771 à Lausanne chez François Grasset, a été contrefaite, probablement en France; une confiscation suivie d'une mise au pilon est attestée (S. Corsini, étude en cours, <<http://dbserv1-bcu.unil.ch/biblos/ouvrage.php?No=-1533269245&AuteurID=1&Relation=tous>>).

⁴⁸ Il existe deux éditions datées 1771 de ce recueil, l'une imprimée à Lausanne, l'autre à Lyon; les exemplaires confisqués et mis au pilon ont-ils été considérés comme contrefaits?



Le Monarque accompli, rédigé par J. de Lanjuinais et publié en toute légalité à Lausanne, a été condamné par le Parlement de Paris et âprement recherché par la Police du livre française

*Défense de mon oncle*⁴⁹, *Les Lois de Minos*⁵⁰. On peut ajouter à ce groupe les

⁴⁹ Publié par les frères Cramer à Genève en 1767, ce texte a été réimprimé à Lausanne en 1773 par François Grasset.

⁵⁰ Cette pièce a été publiée par François Grasset en 1773, probablement à l'instigation de Voltaire, désireux de contrer une édition non autorisée de ce texte parue la même année à Paris.

Lettres d'Amabed et *Zadig*⁵¹, considérés par Peignot comme illicites, sans justification à l'appui.

Enfin toute une série de livres sont suspectés en raison de leur présence au sein de listes d'ouvrages philosophiques établies par des libraires du temps: le *Discours sur l'économie politique* de Jean-Jacques Rousseau⁵², l'*Instruction donnée par Catherine II... à la commission établie par cette Souveraine pour travailler à la rédaction d'un nouveau code de lois*⁵³, le *Siècle de Louis XV*⁵⁴, *Les Trois Épîtres*⁵⁵, et les *Fragments sur l'Inde*⁵⁶, tous trois de Voltaire, les *Recherches philosophiques sur les Égyptiens et les Chinois*, par Cornélius de Pauw⁵⁷, *Le Vrai Sens du système de la nature*, ouvrage généralement attribué, sans fondement, à Helvétius⁵⁸, le *Discours du roi de Suède sur la liberté de la presse*⁵⁹, enfin *La Guzmanade*, de Mirabeau⁶⁰.

* * *

Que conclure de ce tour d'horizon?

En premier lieu, il me paraît important de replacer la production des typographes lausannois, et plus largement celle des presses actives en Suisse romande, dans le contexte qui caractérise la librairie pendant les trois dernières décennies de l'Ancien Régime. Le fameux tournant de la fin des années 1750

⁵¹ Ces deux ouvrages ont été réimprimés à Lausanne en 1772 par François Grasset sous l'adresse de Londres. Il s'agit, comme pour pratiquement toutes les productions voltairiennes imprimées à Lausanne, de tirages à part des pages publiées dans le cadre de la *Collection complète des œuvres* du philosophe.

⁵² Publié à Genève en 1758, cet ouvrage a été réimprimé par François Grasset à Lausanne en 1765 (sous l'adresse de Genève), avec un titre distinct: *Le Citoyen, ou Discours sur l'économie politique*.

⁵³ Traduction nouvelle publiée à Lausanne par François Grasset en 1769; d'après Paul Nordmann (*Nordman P. Seigneux de Correvon, ein schweizerischer Kosmopolit, 1695–1775*. Firenze, 1947. P. 132), elle serait l'œuvre de Johann Rudolf Frey. D'après les recherches récentes, cette édition se base en réalité sur l'édition allemande publiée par August Ludwig von Schlözer chez Hartknoch à Riga et Mitau en 1768. Le traducteur semble être Joseph Antoine Félix de Balthasar qui apparemment a eu l'occasion de consulter aussi la traduction française parue à Saint-Pétersbourg en 1769 (*Плавинская Н.Ю. «Наказ» Екатерины II во Франции в конце 60-х – начале 70-х годов XVIII в.: переводы, цензура, отклики в прессе // Русско-французские культурные связи в эпоху Просвещения: Материалы и исследования. Памяти Г.С. Кучеренко / Отв. ред. С.Я. Карп. Москва, 2001. С. 7–36, особенно С. 14–16*).

⁵⁴ Réimprimé à Lausanne en 1769 par Jean-Pierre Heubach.

⁵⁵ La première édition collective des *Trois Épîtres* a été publiée à Lausanne en 1769 par François Grasset, apparemment sans l'aveu de l'auteur, qui s'est empressé d'en faire donner une nouvelle édition à son imprimeur genevois Gabriel Grasset, frère du précédent (S. Corsini, étude en cours).

⁵⁶ Imprimés par François Grasset en 1773.

⁵⁷ Réimpression à Lausanne en 1774 par François Grasset de l'édition originale publiée l'année précédente.

⁵⁸ Paru à Maastricht chez Jean-Edme Dufour et Philippe Roux sous l'adresse de Londres en 1774, ce livre a été contrefait en 1775 par François Grasset (*Smith D. Op. cit. A.5*).

⁵⁹ Escorté d'une *Épître de M. de Voltaire au roi de Danemark sur le même sujet*, ce texte a de toute évidence été proposé à l'impression par Voltaire à François Grasset, qui l'a publié en 1775.

⁶⁰ Publié en 1778 par M.-M. Rey à Amsterdam, cet ouvrage a été contrefait à Lausanne par François Grasset.

trouve bel et bien son expression dans la production imprimée. Les ouvrages situés aux limites du tolérable se succèdent, cristallisés surtout autour des figures de Voltaire, d'Helvétius, d'Holbach, puis de Mercier et de Raynal. Leur prohibition, parfois ostentatoire, cache une réalité plus floue, qui laisse une liberté d'action certaine aux imprimeurs. Le fait que ces derniers soient situés à l'étranger ou en France ne change pas fondamentalement la donne. La part prise à ce commerce par les acteurs de province, lyonnais notamment, commence à peine à émerger, à la faveur d'études fouillées mettant en œuvre des techniques d'identification éprouvées que n'aurait pas reniées le personnel chargé de la police du livre si la photocopie et les scanners avaient existé à l'époque!

Ensuite il convient de nuancer quantitativement l'importance de ce type d'ouvrages dans la production globale des éditeurs suisses romands. Sur l'ensemble des livres imprimés à Lausanne entre 1725 et 1780, qu'on peut estimer en gros à 800 titres formant 1 200 éditions, la trentaine de livres illicites ne représente qu'un pourcentage relativement modeste, d'autant plus si l'on considère que l'essentiel consiste en réimpressions de volumes publiés ailleurs en Europe (seulement sept ouvrages défendus parus en édition originale à Lausanne, dont deux appartiennent à la littérature dite philosophique). Il n'en reste pas moins que les Suisses n'ont pas dédaigné ce marché, loin s'en faut, en dépit de l'implication directe de personnalités politiques à la tête des principales maisons d'édition, que ce soit à Lausanne, où le bourgmestre (maire) Antoine Polier de Saint-Germain est pendant plusieurs années associé à l'entreprise de François Grasset et où la Société typographique comprend un membre influent de l'aristocratie bernoise, Samuel Kirchberger, à Genève (on a évoqué plus haut le rôle joué par les frères Cramer dans les Conseils de la ville) ou encore à Neuchâtel, avec la présence à la tête de la Société typographique du banneret Frédéric-Samuel Ostervald et du pasteur Jean-Élie Bertrand. En bons commerçants, les libraires romands vendaient tout ce qui était susceptible de se vendre, y compris les livres philosophiques et les livres licencieux, qui se partageaient les honneurs des listes d'ouvrages prohibés⁶¹. En prenant parfois de gros risques: à Neuchâtel, l'impression des *Questions sur l'Encyclopédie* et du *Système de la nature*, en 1771, suscita une polémique qui aboutit à la destitution du pasteur Bertrand et à la démission d'Ostervald de sa charge de banneret⁶².

⁶¹ R. Darnton a étudié les modalités de ce commerce particulier dans plusieurs ouvrages rédigés à partir des archives de la Société typographique de Neuchâtel (STN). Le réseau de diffusion et les ventes de la STN font actuellement l'objet d'une thèse de Frédéric Inderwildi (université de Neuchâtel).

⁶² Guyot C. Imprimeurs et pasteurs neuchâtelois: l'affaire du *Système de la nature* // Musée neuchâtelois. N. s. 1946. P. 74–81, 108–116. Sur l'activité de la STN, voir: Le rayonnement d'une maison d'édition dans l'Europe des Lumières: la Société typographique de Neuchâtel 1769–1789. Actes du colloque organisé par la Bibliothèque Publique et Universitaire de Neuchâtel et la Faculté des lettres de l'Université de Neuchâtel, Neuchâtel, 31 octobre – 2 novembre 2002 / Textes publiés par R. Darnton et M. Schlup avec la collaboration de J. Rychner. Neuchâtel, 2005.

De tels exemples montrent que la marge de manœuvre n'était pas illimitée. Le rôle plus discret de la censure ecclésiastique en Suisse, où les pasteurs entretenaient avec le monde des philosophes des rapports à géométrie variable et se montrent moins ouvertement hostiles aux idées nouvelles, explique peut-être, en partie, qu'on ait pu sans trop de difficulté publier à Genève de nombreux ouvrages de Voltaire jugés indésirables en France. Ici encore, la tendance à schématiser ne doit cependant pas occulter la complexité d'un paysage dont on ne perçoit pour l'heure que les contours les plus saillants.

Сильвио Корсини

**Книги, запрещенные во Франции
и изданные в Лозанне в век Вольтера:
первый итог**

У историков книги века Просвещения получили широкое распространение представление о том, что издатели Романской Швейцарии пользовались куда большей свободой, чем их собратья по ремеслу по другую сторону Юрских гор, и что эта свобода позволила им выпустить множество книг, запрещенных к печати во Франции. Изучение книг, изданных в Лозанне в XVIII в., позволяет несколько уточнить это представление. Книги, запрещенные во Франции, составляли лишь небольшую часть общей печатной продукции лозаннских издателей: с 1725 по 1780 г. таковых насчитывалось три десятка из 800 наименований (примерно 1200 изданий). К их числу принадлежали главным образом перепечатки книг, изданных в других местах – в Голландии, Женеве, а иногда и в самой Франции. С этой точки зрения Лозанна мало чем отличалась от других центров издания книг на французском языке, находившихся как на территории королевства (например, Лион или Руан), так и за его пределами (Льеж, Амстердам и т.д.). Наиболее плодотворным в этом отношении стало последнее тридцатилетие Старого порядка. Если рассматривать Романскую Швейцарию в целом, то становится заметна особая роль женеvских издателей, которые непосредственно участвовали в распространении сочинений Вольтера, поселившегося по соседству. В любом случае издание запрещенных книг в Швейцарии было постоянно сопряжено с риском, поскольку власти кантонов бдительно следили за этой сферой деятельности. Промышлявшие этим издатели постоянно балансировали на грани закона и не могли обходиться без тайной или явной санкции властей, как и их французские коллеги, имевшие дело с режимом негласных разрешений на печать (*permissions tacites*).

RENÉ MOULINAS

CENSURE ET POLICE DE L'IMPRIMERIE
ET DE LA LIBRAIRIE À AVIGNON
ET DANS LE COMTAT VENAISSIN AU XVIII^E SIÈCLE

Avignon, pendant toute la durée de l'Ancien Régime, et jusqu'à sa réunion à «l'empire français» votée par l'Assemblée nationale en septembre 1791, ne faisait pas partie du royaume de France. Depuis 1348, date à laquelle la reine de Naples Jeanne I^e, comtesse de Provence, avait cédé tous ses droits sur cette ville au pape Clément VI qui y résidait, elle appartenait au patrimoine de Saint-Pierre c'est-à-dire aux États du pape, tout comme le Comtat Venaissin voisin, dont la capitale était Carpentras et qui relevait de la même domination depuis le XIII^e siècle. Après le retour des papes à Rome, ces deux territoires avaient continué à vivre sous l'autorité des Souverains Pontifes, représentés sur place par un légat, puis par un vice-légat. Depuis que la Provence, après le Dauphiné, était devenue française, en 1481, ils constituaient donc une enclave à l'intérieur des frontières du royaume.

Cette situation politique avait pour conséquence immédiate que les lois et règlements édictés par les rois de France ne s'appliquaient pas à Avignon ni dans le Comtat, pays étrangers dépendant d'un autre souverain, tout en restant étroitement liés à la vie économique et culturelle du royaume. C'est là, certainement, la raison essentielle qui explique la fulgurante expansion que l'art de l'imprimerie et le commerce de la librairie connurent dans la ville d'Avignon, à partir des années 1730.

En 1700, on pouvait y repérer au mieux sept imprimeurs, dont les ateliers étaient en général bien pauvrement équipés. Pour l'année 1720, on n'en connaît que six mais, en 1730, la liste commence à s'allonger: à cette date, il y a déjà probablement 10 imprimeurs en activité à Avignon. On passe ensuite très rapidement à 12 en 1740, 15 en 1745, 19 en 1750, 27 en 1755. Quand il sera question d'établir à Avignon, dans les années 1750, un corps d'imprimeurs-

libraires semblable à ceux qui existent en France, le nombre des places disponibles sera fixé au chiffre très élevé de 30: non seulement elles seront toutes immédiatement pourvues, mais des candidats évincés réclameront d'y être admis en surnombre.

Cette prolifération étonnante contraste avec les limites imposées à l'imprimerie provinciale, au XVIII^e siècle, en France, où des villes aussi importantes que Lyon, Rouen ou Toulouse ne disposent théoriquement que de 10 ou 12 ateliers. Marseille n'en a que six au début du siècle, trois à partir de 1739, et leurs presses sont souvent au chômage. Cette langueur de l'édition provinciale¹ est le résultat, pour une large part, de l'écrasante domination des entrepreneurs parisiens qui, forts de leur proximité vis-à-vis du centre du pouvoir et de leurs relations faciles avec les responsables des indispensables autorisations d'imprimer, monopolisent aussi bien les rééditions des classiques que la publication des ouvrages nouveaux. Elle est également la conséquence de l'application sévère des règlements royaux qui, depuis la fin du XVII^e siècle, ont limité, ville par ville, le nombre des imprimeurs afin de mieux surveiller l'activité de ce secteur hautement sensible.

Avignon, ville étrangère, n'a évidemment pas été atteinte par cette restriction autoritaire de l'effectif des imprimeurs, et elle en a été la bénéficiaire. Au XVIII^e siècle, alors que l'alphabétisation progresse rapidement et que la prospérité croissante de l'économie rend l'acquisition de cet objet de luxe qu'était encore le livre de plus en plus accessible et courante, les effets favorables de la situation d'enclave se révèlent avec force: non seulement les originaires des États pontificaux ont pu multiplier librement leurs établissements et accroître leur activité en copiant allègrement les ouvrages à succès couverts en France par un privilège, mais ils ont aussi accueilli parmi eux beaucoup de Français entreprenants que les ordonnances royales empêchaient de s'établir dans leur propre patrie.

L'installation à Avignon, ville de culture essentiellement française, ne leur posait aucun problème: si les sujets avignonnais et comtadins du pape jouissaient dans le royaume, en vertu de leurs privilèges de «régnicoles», des mêmes droits que les Français naturels, la réciproque était également vraie et les sujets du roi n'avaient aucune autorisation à demander à qui que ce fût pour venir habiter et travailler dans les terres du pape. En outre, les coûts de production, le prix du papier en particulier, et les salaires des ouvriers y étaient notoirement moins élevés qu'en France, tandis que la localisation d'Avignon au beau milieu de la grande voie de communication de la vallée du Rhône, à proximité du port de Marseille et de la grande foire internationale de Beaucaire, offrait des conditions très favorables pour la diffusion des livres imprimés sur place ou échangés avec les autres grands centres de production tant en France (Paris, Lyon ou Rouen) qu'à l'extérieur (Genève, Neuchâtel ou la Hollande).

C'est ainsi qu'Avignon, îlot de liberté dans une France où l'activité des imprimeurs et des libraires est étroitement bridée par des règlements draconiens

¹ Cf. *Quéniant J. L'anémie provinciale // Histoire de l'édition française / Sous la dir. d'H.-J. Martin, R. Chartier. Paris, 1984. T. 2. P. 282.*

et sévèrement contrôlée par une administration sourcilleuse, voit, en quelques décennies, le nombre de ses ateliers atteindre un niveau auquel aucune autre ville de France, en dehors de Paris, ne peut prétendre. Au milieu du XVIII^e siècle, leur prospérité insolente soulève même l'indignation des grands libraires de Paris auxquels ils font une concurrence aussi redoutable que les presses de la Suisse ou de la Hollande.

Pour lutter contre les entreprises de ces rivaux, les éditeurs de la capitale, leurs avocats et leurs porte-parole multiplient les mémoires accusateurs, imputant aux imprimeurs d'Avignon toutes sortes de pratiques délictueuses. Des ateliers de la ville pontificale sortiraient par milliers des livres interdits en France qui sont destinés à être introduits frauduleusement dans le royaume, par des procédés de contrebande qui permettent d'éviter le contrôle exercé par les inspecteurs de la librairie et les chambres syndicales établies dans les principales villes. Un auteur contemporain, le chevalier Ange Goudar, qui prétend appuyer ses affirmations sur ses observations personnelles, écrit en 1757 au directeur de la Librairie, Guillaume-Chrétien de Lamoignon de Malesherbes:

Depuis trois ans que je fais ma résidence dans cette ville, j'ai vu imprimer au-delà de trente éditions différentes composant ensemble plus de cent cinquante mille volumes de livres contre les mœurs ou autres défendus, dont le débit s'est fait en entier en France <...> il est sorti d'ici pour Paris plus de quatre cents mille volumes de mauvais livres et autant de contrefaits, sans que la chambre de Paris en ait eu connaissance².

L'année suivante, dans un livre anonyme mais qu'on peut attribuer au même Goudar, Avignon est dénoncée comme «le magasin général des écrits dangereux et le grand bureau d'adresse des livres suspects»³. L'accusation est reprise dans de multiples mémoires rédigés dans les années 1760 dont certains sortent de la plume de Denis Diderot⁴ et par certains imprimeurs avignonnais eux-mêmes qui plaident pour l'instauration d'un contrôle exercé par la profession elle-même⁵. Les mémoires sur le commerce frauduleux des libraires avignonnais citent comme un fait bien avéré des titres d'ouvrages licencieux très connus — *Le*

² BNF. Ms. fr. 22124. Pièce 78. Fol. 152–154.

³ BNF. Ms. fr. 22124. Pièce 88. Pour l'attribution à Goudar de cet imprimé anonyme de 69 pages, voir *Mars F.-L.* Ange Goudar cet inconnu (1708–1791). Essai bio-bibliographique sur un aventurier polygraphe du XVIII^e siècle // Casanova Gleanings. Revue internationale d'études casanoviennes et dix-huitiémistes. 1966. Vol. 9. P. 1–64.

⁴ *Diderot D.* Sur la liberté de la presse / Texte partiel établi, présenté et annoté par J. Proust. Paris, 1964. Le passage sur Avignon se trouve P. 74–75. Il est repris presque mot pour mot dans les *Représentations des libraires de Paris présentées à M. de Sartine, sur l'état de la librairie, 1764*, voir: *La Propriété littéraire au XVIII^e siècle. Recueil de pièces et de documents / Publié par É. Laboulaye, G. Guiffrey.* Paris, 1859. P. 117–118.

⁵ «On pourrait faire un long catalogue de tous les livres issus des presses d'Avignon pleins de maximes directement contraires à la religion et à la bonne morale. Des livres qui, pour leurs auteurs, reconnaissent les hérétiques les plus scélérats» (Alla Sagra Congregazione di Avignone... per l'università dei librai e stampatori nella città di Avignone... Roma, 1766. Texte en italien. Bibl. mun. d'Avignon. Ms. 2946. Pièce 4, imprimé).

Portier des Chartreux, L'Académie des dames, Thérèse philosophe — qui seraient imprimés à Avignon en toute impunité⁶. Et l'affirmation selon laquelle la ville est un foyer de production d'ouvrages impies et obscènes paraît si bien établie que sa réalité a même été admise par des historiens sérieux du XIX^e et du début du XX^e siècle⁷.

Cette mise en cause et cette réputation déplorable ont-elles des fondements plus solides que la jalousie professionnelle ou le goût du sensationnel? La prospérité indéniable de l'imprimerie et de la librairie dans cette ville au cours du XVIII^e siècle repose-t-elle vraiment, pour l'essentiel, sur le trafic de livres interdits ailleurs? Voilà qui paraît surprenant et mérite examen.

En apparence, le régime légal établi à Avignon pour la mise sous presse de n'importe quel écrit n'est guère différent de ce qui se pratique en France. Ici aussi, comme dans le royaume, la règle est qu'il est absolument interdit de faire paraître quelque imprimé que ce soit, sur n'importe quel sujet, ne fût-ce qu'une seule feuille, sans qu'il ait été lu et approuvé au préalable par une autorité compétente, et tous les livres ou brochures qui entrent dans la ville en provenance de l'extérieur doivent, de même, être soumis au visa d'un contrôleur. Les textes, ordonnances, règlements, voire canons synodaux sur cette question sont multiples et catégoriques, qu'ils soient du XVIII^e ou des siècles précédents.

La surveillance devrait même y être plus étroite encore qu'en France puisque, comme l'indique la mention portée sur la première page des ouvrages officiellement imprimés à Avignon — «par permission des Supérieurs», — ce n'est pas une mais plusieurs autorités différentes qui sont censées apporter leur caution obligatoire avant qu'un livre puisse être mis sous presse.

Parmi ces «supérieurs», le premier à qui incombe le contrôle est traditionnellement l'évêque du lieu. Chacun, dans l'étendue de son diocèse, doit veiller à ce que ses ouailles ne soient alimentées que de bonne nourriture spirituelle et, par conséquent, le prélat doit exiger que tous les écrits publiés dans le ressort de son évêché soient soumis à son visa avant leur impression.

Les évêques, en France, ont dû renoncer depuis longtemps, au profit du pouvoir civil, à cette fonction de surveillance sur l'expression des opinions par la voie de l'imprimé: au XVIII^e siècle, ils ne sont amenés qu'à faire examiner et approuver les écrits d'ecclésiastiques de leur diocèse et à en appeler éventuellement à la puissance royale contre la multiplication des «mauvais livres». Mais, dans les États du Saint-Siège, ils considèrent toujours cette tâche comme inhérente à leur rôle de pasteur: l'évêque de Carpentras Laurent Buti, en 1693, «ayant appris avec desplaisir que l'imprimeur de cette ville imprime et fait

⁶ Voir par exemple BNF. Ms. fr. 21834. Fol. 101.

⁷ Voir *Blégier de Pierregrosse M.C.J.L. de*. Notice sur l'origine de l'imprimerie d'Avignon // *Annuaire de Vaucluse*. Avignon, 1840. P. 92–99; *Achard P.* Simples notes sur l'introduction de l'imprimerie à Avignon et sur les différentes phases de cette industrie // *Bulletin historique et archéologique de Vaucluse*. 1879. N 5 (mai). P. 181–190; N 6 (juin). P. 235–248; N 7 (juillet). P. 279–290. Voir aussi *Belin J.-P.* *Le Commerce des livres prohibés à Paris de 1750 à 1789*. Paris, 1913.

imprimer des livres et des manuscrits sans nous les avoir fait voir et sans en avoir obtenu aucune permission», ordonnait «être faites inhibitions et deffenses au Sr Claude Touzet, imprimeur de cette ville, et à tous autres imprimeurs qui pourroient s'établir à l'advenir tant dans cette ville que dans toutes les autres villes et lieux de notre diocèse, d'imprimer, faire imprimer ou réimprimer aucuns livres, manuscrits ou feuilles sans nostre approbation et spéciale permission par écrit ou de nostre vicaire général»⁸.

De son côté, l'archevêque d'Avignon François-Maurice Gontieri faisait insérer, dans les décrets du synode diocésain tenu sous sa direction en 1712, un article qui imposait la même règle⁹ et son successeur François-Marie Manzi, en 1765, dans des circonstances dont nous parlerons plus loin, publiait une ordonnance qui la rappelait très clairement:

Nous avons ordonné et ordonnons par les présentes à tous et à chacun des imprimeurs de cette ville et de tout notre diocèse, de ne mettre sous presse, imprimer et faire imprimer aucun manuscrit, ouvrage, composition, ou telle autre production de quelque nature qu'elle soit, et quoique déjà imprimée, quand même elle ne contiendrait qu'une seule page, sans en avoir demandé et obtenu la permission par écrit de Nous, ou de notre vicaire général, sous les peines portées par les décrets de la Sacrée Congrégation de l'Index, et par les ordonnances de nos prédécesseurs, que nous entendons de renouveler icy de mot à mot dans toute leur étendue, et sous les mêmes peines, déclarant que nous ferons rigoureusement tenir la main à l'exécution desdits décrets et ordonnances, et que pour préalable punition nous ferons fermer incontinent et sans rémission les boutiques, imprimeries et magasins de ceux qui y contreviendront en quoi que ce soit¹⁰.

La même consigne est répétée à peu près textuellement en 1774¹¹.

Il est rare cependant que l'archevêque intervienne, directement ou par l'intermédiaire de son grand vicaire, dans les affaires de librairie. On ne peut guère citer, en ce domaine, qu'une ordonnance du 11 juillet 1759 de l'archevêque Manzi visant un prospectus imprimé qui proposait une souscription à une édition des œuvres du célèbre théologien janséniste Antoine Arnauld. Le livre était annoncé comme devant paraître sous l'adresse d'Avignon, ce qui avait attiré l'attention et suscité l'indignation du prélat. Mais, en l'occurrence, il s'agissait certainement d'un exemple banal de l'utilisation trop fréquente des fausses adresses pour égarer le lecteur et tromper la surveillance des autorités: M^{gr} Manzi lui-même reconnaissait que, «après les plus exactes recherches, nous nous sommes convaincus que c'est une fausse supposition de l'éditeur pour

⁸ Bibl. Inguimbertaine. Carpentras. Ms. 1380. Fol. 336.

⁹ «Nullus librum aliquem aut aliam quamcumque scripturam imprimere aut imprimi facere possit, nisi prius per Nos aut Vicarium nostrum generalem et Inquisitorem diligenter examinetur et approbetur», *Decreta diocesana synodi Avenionensis*, Avignon, François Mallard, Jean Delorme et Joseph-Charles Chastanier, 1713. P. 7.

¹⁰ Affiche imprimée (BNF. Ms. fr. 22124. Fol. 280; Arch. dép. Vaucluse. G 30; G 297. Fol. 126; Arch. dép. Bouches-du-Rhône. C 3337).

¹¹ Affiche imprimée (Bibl. mun. Avignon. Atlas 313. Fol. 250).

imposer au public, en luy faisant croire qu'un pareil projet, imprimé dans une ville du domaine de Notre Saint Père le Pape, ne contenoit que de bons ouvrages et avoués»¹². Néanmoins il interdisait à tout libraire ou imprimeur d'Avignon, sous peine d'excommunication, de se mêler directement ou indirectement de cette affaire et, en particulier, de recevoir des souscriptions pour ce livre qui reproduisait des œuvres condamnées par Rome.

Même si, quelquefois, le vicaire général effectue lui-même des visites dans les ateliers des imprimeurs et leurs magasins, la plupart du temps, en matière de librairie, l'archevêque fait confiance à un autre personnage à qui incombe plus particulièrement le contrôle des opinions et de leur expression. Il n'a pas d'équivalent dans le royaume de France puisqu'il s'agit du représentant local du Saint-Office, autrement dit de l'Inquisition romaine, rénovée par le pape Paul III en 1542. Les rois de France en ont refusé l'établissement dans les territoires sous leur domination, en prétendant que l'exemption de la juridiction du Saint-Office faisait partie des libertés gallicanes. Mais, dans les États pontificaux d'Avignon et du Comtat, son rôle a été clairement redéfini et institutionnalisé depuis le XVI^e siècle, dans le cadre de la lutte contre l'hérésie vaudoise puis protestante, avant même qu'il ne le soit à Rome¹³.

Sa Révérendissime Paternité, l'Inquisiteur général, qui est toujours un membre de l'ordre dominicain, réside à Avignon, dans ce qu'on appelle pompeusement le palais du Saint-Office, situé à l'intérieur du vaste couvent des Frères Prêcheurs. Avec ses vicaires établis dans les évêchés du Comtat, il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée à la pureté de la foi catholique des sujets du Saint-Siège. Dans ce but, il s'attache à maintenir les juifs dans le strict respect des règlements qui les confinent dans les quatre «carrières» d'Avignon, Carpentras, L'Isle de Venisse (aujourd'hui L'Isle-sur-la-Sorgue) et Cavaillon¹⁴, et il fait la chasse à toutes les opinions hérétiques ou dissidentes qui pourraient s'exprimer de quelque manière que ce soit. C'est dans ce cadre que, au XVIII^e siècle, il mène la lutte (bien peu efficace en vérité) contre la franc-maçonnerie, condamnée par le pape Clément XII en 1738¹⁵, et c'est à lui que revient, au premier chef, sans contredit mais non sans discussion, comme une des attributions essentielles de sa charge, le contrôle de tout ce qui s'imprime à Avignon ou dans le Comtat ainsi que de tous les ouvrages qui y sont introduits de l'extérieur.

Avec la multiplication impressionnante du nombre des imprimeurs et l'expansion étonnante du commerce de la librairie, devenue la principale activité de la ville d'Avignon après le travail de la soie, sa tâche se fait de plus en plus

¹² Ordonnance de l'archevêque Manzi, du 11 juillet 1759 (Arch. dép. Vaucluse. G 30; G 297. Fol. 36–37). Affiche imprimée (Bibl. mun. Avignon. Atlas 313. Fol. 105; Ms. 2415. Fol. 136).

¹³ Voir *Venard M.* Réforme protestante, Réforme catholique dans la province d'Avignon au XVI^e siècle. Paris, 1993. P. 329 et suivantes.

¹⁴ Voir *Moulinas R.* Les Juifs du pape en France: les communautés d'Avignon et du Comtat Venaissin aux XVII^e et XVIII^e siècles. Toulouse, 1981; *Idem.* Les Juifs du pape: Avignon et le Comtat Venaissin. Paris, 1992.

¹⁵ *Moulinas R.* Les maçons du pape à Avignon // La Franc-Maçonnerie. Paris, 1996. Chap. VI.

lourde mais il n'a nullement l'intention d'y renoncer ou de s'en décharger sur d'autres instances.

Dès le début du siècle, en 1709, l'inquisiteur d'Albert a renouvelé un vieil édit du Saint-Office, en date du 22 septembre 1608: outre les dispositions fondamentales concernant l'obtention indispensable de sa permission avant la mise sous presse de tout écrit, quel qu'il soit, dans la ville, il interdit aux libraires de recevoir dans leur boutique ou leur entrepôt aucune balle ou paquet de livres, de quelque lieu qu'ils viennent et de quelque sujet qu'ils traitent, sans les avoir, au préalable, fait transporter au palais du Saint-Office pour qu'ils y soient examinés. De même, aucun imprimé ne doit sortir de l'État pontifical sans une permission écrite signée de l'Inquisiteur.

L'occasion de ce rappel à l'ordre était la découverte, chez le libraire François Mallard¹⁶, de plusieurs exemplaires d'une édition parisienne d'un ouvrage réputé janséniste et par conséquent interdit, dû en l'occurrence au père Pasquier Quesnel, de l'Oratoire¹⁷. Pour sa défense, Mallard soutenait qu'il s'était procuré ces livres auprès d'un confrère de Paris avant que ne fût connue la condamnation de l'auteur qui était effectivement très récente puisqu'elle ne datait que de 1708; arguant de sa bonne foi, il plaida sa cause auprès de l'archevêque et des consuls d'Avignon. Ces derniers, conscients du tort que pouvait causer, aux libraires de leur ville, l'obligation de faire transiter tous les ballots de livres par le couvent des Dominicains, ce qui compliquait le transport et alourdissait fortement les frais, prirent parti pour Mallard. Ils chargèrent leur agent permanent à Rome, l'abbé Barli, de faire valoir auprès du secrétaire d'État et de la Sacrée Congrégation d'Avignon qui, depuis 1693, avait pris la place du légat, que ces exigences de l'Inquisiteur, présentées comme traditionnelles en ressuscitant l'édit de 1608, n'avaient en fait jamais été respectées ni même connues à Avignon. Si elles étaient appliquées à la lettre, elles pouvaient nuire gravement au commerce de leur ville, déjà durement éprouvée par le terrible hiver de 1709. Ils demandaient en outre l'indulgence pour Mallard dont la bonne foi, selon eux, était certaine puisqu'il avait fait venir ces livres litigieux avant qu'ils fussent interdits et qu'il risquait de perdre sans recours la valeur de tous les exemplaires qui lui avaient été confisqués par le Saint-Office. Mais la réponse des autorités romaines fut très ferme: les volumes remis par Mallard à l'Inquisiteur ne lui seraient pas rendus et il ne pourrait prétendre à aucune indemnité. Quant aux dispositions rappelées par l'édit de 1709, elles seraient maintenues telles quelles afin de barrer la route aux mauvaises doctrines qui pourraient s'introduire dans les États du pape, par l'inter-

¹⁶ François Mallard, d'une famille d'imprimeurs installés à Avignon depuis le XVI^e siècle, avait succédé à son père Michel, mort en 1701.

¹⁷ L'Inquisiteur ne donne pas le titre du livre incriminé mais il s'agit probablement du *Nouveau Testament en françois avec des Réflexions morales sur chaque verset*, plus connu sous le nom de *Réflexions morales*. Il avait fait l'objet de plusieurs éditions successives dans les années 1690 mais, en juillet 1708, il avait été interdit par un bref de Clément XI. La fameuse bulle *Unigenitus* du 8 septembre 1713 condamnera 101 propositions extraites des *Réflexions morales*.

médiaire du commerce des livres, même si celui-ci devait en souffrir quelque dommage matériel¹⁸.

Les règles renouvelées en 1709 seront rappelées régulièrement par tous les inquisiteurs successifs¹⁹ avec beaucoup de formalisme: quelque temps après son entrée en fonction, Sa Révérende Paternité convoque par-devant lui, au palais du Saint-Office, tous les imprimeurs et libraires de la ville pour leur donner lecture des textes du Saint-Office qui régissent l'exercice de leur profession et il leur fait prêter serment de s'y conformer. Après quoi, en foi de leur engagement, il les fait tous signer dans le registre où sont consignés les comptes rendus des opérations de son tribunal²⁰.

En 1756, le dernier de la série, le père Jean-Baptiste Mabil, qui restera en fonctions jusqu'à la Révolution, estime même nécessaire, en raison du grand nombre de nouveaux imprimeurs et libraires récemment installés dans la ville qui pourraient ne pas être parfaitement informés des obligations légales qui sont les leurs, de reprendre toutes les dispositions concernant leur profession, dans un nouvel édit daté du 17 mai. Non seulement il leur est interdit de mettre sous presse quelque écrit que ce soit, livre, cahier, feuille volante, thèse, gazette, écriture en droit, cantique ou prière, sans qu'il ait été auparavant soumis à l'examen de l'Inquisiteur ou d'une personne désignée par lui, mais la permission délivrée devra figurer obligatoirement en tête de l'ouvrage et l'imprimeur devra rapporter un exemplaire au Saint-Office pour qu'on puisse vérifier qu'il est bien conforme au manuscrit. Sur tous les livres sortis de ses presses, l'imprimeur devra toujours indiquer son nom.

Les libraires qui auraient dans leur boutique des ouvrages dont la lecture est interdite par l'Index auront trente jours pour les apporter au palais du Saint-Office où ils seront consignés. Ils devront dresser un catalogue complet de tous les ouvrages qu'ils ont par-devers eux et tenir à jour un registre de tous les livres achetés ou vendus afin de pouvoir l'exhiber à toute réquisition. Tous les volumes non mentionnés dans ces deux documents seront automatiquement tenus pour prohibés et traités comme tels. Les ouvrages en provenance de l'extérieur seront transportés dans les locaux du Saint-Office et soumis à examen avant de pouvoir être mis en vente; inversement, aucun colis de livres ne pourra sortir d'Avignon sans avoir été contrôlé de la même façon.

Le 10 juin 1756, le père Mabil convoque tous les intéressés, leur donne lecture de ce texte et reçoit de chacun d'eux le serment sur les Évangiles d'en

¹⁸ Sur cette affaire, voir la correspondance de l'Inquisiteur avec le Saint-Office à Rome aux Arch. dép. Vaucluse. G 827, en particulier lettres du 23 octobre 1709 (fol. 95) et 29 janvier 1710 (fol. 99), la correspondance des consuls d'Avignon aux Arch. mun. Avignon. AA 91: lettres des consuls à leur agent, l'abbé Barli (29 janvier et 12 mars 1710) et réponses de l'abbé Barli, lettre du secrétaire d'État, le cardinal Paulucci, aux consuls, 5 juillet 1710. Voir aussi la lettre reçue de Rome par l'archevêque Gonteri, à ce sujet (Bibl. mun. Avignon. Ms. 1725, sans date mais écrite au début de 1710).

¹⁹ Après d'Albert (1709–1735) vinrent Nicolas Brémond (1735–1743), Hyacinthe de Sainte-Croix (1743–1753) et Jean-Baptiste Mabil (1753–1790).

²⁰ Arch. dép. Vaucluse. G 826. Mai 1745. Fol. 55–56; 23 septembre 1753. Fol. 60.

respecter tous les articles. Pour qu'ils en conservent bonne mémoire, il leur remet un exemplaire de son édit sous la forme d'une affiche imprimée qui devra être apposée bien en vue dans leur boutique ou atelier. En janvier 1765, il fait une seconde publication de ce texte, suivie de la même cérémonie de prestation de serment²¹.

En 1776, il décide d'en donner une nouvelle mouture, datée du 7 septembre. Comme de coutume, il réunit les intéressés, le 24 octobre, pour entendre la lecture du document, prêter serment et recevoir l'affiche à mettre en bonne place²². Mais les 26 libraires et imprimeurs qui sont présents ce jour-là ne se contentent pas d'écouter et de signer le registre: ils demandent à l'Inquisiteur de différer l'application de son règlement, afin de leur donner le temps de lui présenter une supplique qui lui fera connaître combien certains articles sont préjudiciables à leur activité. De quoi s'agit-il donc?

Ce nouvel édit de 1776 reprend toutes les dispositions des ordonnances antérieures, y compris l'obligation faite aux voituriers d'apporter au siège du Saint-Office, pour examen, tous les ballots ou caisses de livres, aussi bien ceux qui entrent dans la ville que ceux qui en sortent ou même ne font qu'y passer en transit. Cette exigence, ancienne mais qui semble n'avoir jamais été vraiment respectée, pouvait être une sérieuse entrave au commerce si elle était imposée à la rigueur, ainsi que les consuls de 1709 l'avaient déjà fait valoir. Mais, en outre, l'Inquisiteur prétendait faire appliquer rigoureusement la clause qui interdisait aux imprimeurs de mettre sous presse aucun ouvrage sous un autre nom que le leur. C'est là surtout que le bât blessait.

Les livres reproduits sans l'accord du libraire qui en avait réalisé l'édition originale constituaient en effet ce qu'on appelle des contrefaçons. C'était une pratique strictement interdite dans le royaume, et la victime de cette piraterie était en droit de faire condamner le coupable et confisquer les volumes délictueux. Pour camoufler la contrefaçon, les imprimeurs avignonnais avaient l'habitude de réimprimer le livre à l'identique, y compris le nom de l'éditeur français et le texte du privilège qui comportait précisément l'interdiction de cette pratique. Ce faisant, il était très difficile, sauf pour des spécialistes, de distinguer les originaux des copies. Remplacer, sur la page de titre, le nom du premier imprimeur par celui du contrefacteur, c'était révéler crûment la tricherie et exposer son auteur et ses complices à de graves mécomptes. Non pas dans les États du pape: en l'absence de tout accord à ce sujet entre le gouvernement français et celui de Rome, la contrefaçon, à Avignon, d'un livre publié en France avec privilège ou permission, n'était nullement considérée jusque-là comme un délit. Mais si les volumes réimprimés passaient dans le royaume sans le camouflage de leur fausse adresse française, ils seraient immédiatement identifiés pour ce qu'ils étaient. Reconnus comme contrefaits, ils seraient aussitôt arrêtés et confisqués. Leur débit deviendrait pratiquement impossible car aucun libraire,

²¹ Ibid. Fol. 62, 92-93.

²² Ibid. Fol. 95-96. Affiche imprimée de ce règlement de 1776: Arch. dép. Vaucluse. E Corporations 20, ou Bibl. mun. Avignon. Atlas 313. Fol. 269.

en France, ne voudrait prendre le risque d'être victime, sans indemnité possible, de la saisie d'une partie de son fonds accompagnée d'une mise à l'amende. Or, comme l'avouaient sans fard les libraires avignonnais, dans le mémoire qu'ils adressèrent en 1776 aux cardinaux romains pour leur demander des modifications à l'édit du père Mabil, «sur cent ouvrages imprimés à Avignon, il y en a quatre vingt dix neuf originaux de France»²³. Si ces livres contrefaits ne pouvaient plus être vendus en France, c'en était fait de l'avenir de la librairie avignonnaise.

Les consuls de 1776, très soucieux, comme leurs prédécesseurs de 1709, de conserver dans leur ville la prospérité du commerce du livre, soutinrent le recours formé par les imprimeurs et ils demandèrent eux aussi à leur agent à Rome, Costanzi, d'intervenir en leur nom, auprès du cardinal secrétaire d'État et des membres de la congrégation du Saint-Office, pour défendre les intérêts de cette profession. Leur lettre à Costanzi du 2 novembre 1776²⁴ constitue un véritable plaidoyer très argumenté: les principaux points qui s'y trouvent exposés sont d'abord que la ville d'Avignon, enclavée au milieu des provinces de France, sert souvent d'entrepôt pour les livres imprimés dans le royaume et destinés à être embarqués à Marseille à destination des pays étrangers. Si le père Inquisiteur exige une visite approfondie de tous ces ouvrages qui ne sont à Avignon qu'en transit, on court le risque que les voituriers s'irritent de l'allongement inévitable des délais et ne se détournent définitivement de l'étape avignonnaise.

En outre, «la multitude des ouvriers qui sont employés à l'imprimerie dans cette ville et qui excède le nombre de quatre mille [*sic!*] ne vit que des contrefaçons des livres que la France a déjà approuvés et, si on oblige [l'imprimeur] à mettre son nom sur ceux qu'il contrefaira [*sic*], ne seront-ils pas relevés par celui de France qui en a déjà payé le droit exclusif et ce dernier ne demandera-t-il pas que les livres d'Avignon soient arrêtés [*sic*] et visités en France?»

Enfin, une considération plus subtile est suggérée: tous les livres imprimés en France et contrefaits à Avignon ont déjà obtenu une permission et une approbation de la part de la direction de la Librairie française. Or l'usage voulait que, en cas de réimpression d'un ouvrage déjà publié avec le visa d'un censeur, soit en France, soit dans les États du pape, il ne fût pas nécessaire de solliciter pour cela une nouvelle permission du père Inquisiteur ou d'une autre personne préposée à l'inspection de l'imprimerie. On se contentait au mieux de les informer verbalement du projet²⁵. Bouleverser ces habitudes et prétendre soumettre les ouvrages d'origine française à un second examen par l'Inquisiteur constituerait non seulement une perte de temps inutile mais ce serait, en outre, jeter la suspicion sur le travail des censeurs royaux et pourrait être considéré comme

²³ Arch. Vatican. Fonds de la congrégation d'Avignon. N 182.

²⁴ Arch. mun. Avignon. AA 30. Fol. 168.

²⁵ Témoignage, à ce sujet, de Louis Chambeau, syndic du corps des imprimeurs-libraires d'Avignon, et de Joseph-Simon Tournel et Jean Aubert, adjoints, par-devant notaire, le 5 mai 1769 (Arch. dép. Vaucluse. Série E. Notaires. Fonds Lapeyre. N 62. Fol. 146).

injurieux à leur égard. En cas de divergence d'appréciation aboutissant à faire interdire comme suspect, à Avignon, un ouvrage qui aurait déjà obtenu son visa en France, on pouvait éventuellement aller au-devant d'un incident diplomatique. Cette crainte était sans doute excessive mais elle n'était pas pour autant chimérique: l'intendant de Languedoc s'était procuré une copie de ce règlement du Saint-Office de 1776 et l'avait transmise au Conseil du Roi pour une éventuelle action à entreprendre. Le vice-légat soucieux que cette affaire ne troublât pas les bons rapports entre la France et le Saint-Siège en avait avisé son supérieur, le secrétaire d'État à Rome, ainsi que le nonce à Versailles, M^{gr} Doria²⁶. De ce côté, heureusement, il n'y eut apparemment pas de suite.

Quant à la requête formulée auprès des autorités romaines pour que soient modifiés les articles de l'édit du Saint-Office concernant les contrefaçons, elle fut, cette fois, prise en considération. Le 25 décembre 1776, Costanzi pouvait informer les consuls du succès des démarches qu'il avait entreprises à leur demande. Selon ses informations, la congrégation du Saint-Office avait écrit à l'inquisiteur d'Avignon pour lui ordonner de ne mettre aucun obstacle à la réimpression à l'identique des ouvrages autorisés sous l'adresse de Paris, Lyon ou toute autre ville française. Il lui était demandé également de s'abstenir de faire ouvrir et inspecter les ballots de livres qui n'étaient à Avignon qu'«en passant», c'est-à-dire en transit. Quant aux ouvrages destinés à être vendus dans la ville, ils devraient être examinés par deux censeurs choisis par lui mais sans que leur propriétaire soit tenu de les faire transporter jusqu'au palais du Saint-Office²⁷.

Comme il était difficile à la Sacrée Congrégation de désavouer ouvertement son représentant à Avignon et qu'il fallait ménager la susceptibilité du père Mabil, il ne fut pas exigé qu'il modifiât son règlement: il lui était demandé simplement de «fermer les yeux» sur les infractions aux articles qui avaient fait l'objet du recours des imprimeurs-libraires et des consuls. Mais ces instructions devaient rester secrètes et il ne fut pas possible à l'agent de la ville de s'en procurer une copie²⁸. Telle quelle, la situation redevenait tolérable et les imprimeurs et libraires ne firent plus entendre de plaintes sur ce sujet.

Même si bon nombre de dispositions des édits paraissent donc être restées lettre morte pendant tout le siècle, en particulier l'obligation de faire passer par le palais du Saint-Office tous les colis de livres qui entraient dans la ville ou en sortaient, il ne faudrait pas en conclure trop vite qu'au XVIII^e siècle l'Inquisition n'est qu'un vain fantôme dénué de toute action réelle. Le père Inquisiteur joue bel et bien son rôle de surveillant, même si c'est de façon épisodique. Il lui arrive de faire des visites impromptues dans les ateliers: ainsi, en 1716, à la suite d'une dénonciation transmise par Rome faisant état de la mise sous presse à Avignon

²⁶ Lettre du vice-légat au secrétaire d'État, en date du 9 novembre 1776 (Arch. Vatican. Fonds de la légation d'Avignon. N 313. Fol. 266 v^o). Lettre au nonce, du 11 novembre 1776 (Ibid. Fol. 270).

²⁷ Lettre de Costanzi aux consuls, en date du 25 décembre 1776 (Arch. mun. Avignon. AA 129).

²⁸ Lettre de Costanzi aux consuls, en date du 29 janvier 1777 (Ibid. AA 130).

de sermons du calviniste Benedict Pictet et du *Dictionnaire historique et critique* de Pierre Bayle, il inspecte toutes les imprimeries de la ville sans rien trouver. Nous en sommes informés, pour cette fois, par le compte qu'il rend à ses supérieurs à Rome de sa mission infructueuse²⁹, mais il peut très bien prendre de lui-même l'initiative de ces descentes chez les imprimeurs. Peut-être est-ce ainsi que, en 1731, Marc Chave, François Girard, Joseph-François Offray et Paul Offray sont reconnus coupables d'avoir imprimé divers ouvrages en négligeant de solliciter la permission du Saint-Office. Il en coûte 12 livres d'amende à chacun au profit de l'œuvre des pénitents de la Miséricorde³⁰. Le registre des conclusions des consultants du Saint-Office garde ainsi trace de toute une série de ces condamnations, en général bénignes, contre des imprimeurs convaincus d'avoir publié des livres sans permission, surtout s'il s'agit d'ouvrages aussi peu recommandables à l'époque que *La Pucelle* de Voltaire ou les *Contes* de La Fontaine³¹.

Pour ce délit, on peut même se retrouver en prison dans les cachots du Saint-Office. C'est la mésaventure arrivée, en 1682, à Antoine Dupérier qui avait mis sous presse une écriture en droit, pour une cause pendante devant un tribunal d'Avignon, sans en avoir sollicité l'autorisation. Le client de Dupérier, l'apothicaire Pierre Louet, prétendait qu'en l'occurrence l'Inquisiteur, le père Pérussis, n'avait agi ainsi que pour être agréable à ses adversaires dans le procès en cours³². Mais ces incidents montrent bien que la demande de permission n'est pas une simple formalité dont on peut se dispenser sans risque.

Il arrive d'ailleurs qu'elle soit refusée. Ainsi, en 1704, le père Lacrampe signale à ses supérieurs romains qu'un bénédictin de l'abbaye Saint-André de Villeneuve a sollicité auprès de lui l'autorisation de faire imprimer ses thèses de doctorat à Avignon. Heurté par la façon impérative dont la demande a été formulée, comme s'il s'agissait d'un droit, l'Inquisiteur a examiné le texte de près et y a découvert plusieurs affirmations aventureuses voire dangereuses, ce qui l'a conduit à refuser la permission. Mais le moine a réussi à convaincre un imprimeur de faire tout de même le travail sous la fausse adresse de Paris, ce qui lui vaudra un procès devant le tribunal du Saint-Office, autant pour le punir de sa propre infraction que pour faire un exemple destiné à mettre fin à un usage trop répandu³³.

Parfois, celui qui a essuyé un refus n'accepte pas la décision et fait appel à Rome, ce qui nous permet d'être informé de l'incident. En 1760, le vice-légitat transmet à un consultant du Saint-Office un manuscrit qu'un conseiller au parlement d'Aix souhaitait faire imprimer à Avignon. Il s'agissait d'une dissertation sur un passage de saint Augustin et l'auteur pouvait faire état de la recomman-

²⁹ Lettre de l'inquisiteur d'Avignon au cardinal Paulucci et à la Sacrée Congrégation d'Avignon, en date du 29 avril 1716 (Arch. dép. Vaucluse. G 827. Fol. 125; Arch. Vatican. Fonds de la congrégation d'Avignon. N 259).

³⁰ Bibl. mun. Avignon. Ms. 1578. Fol. 64.

³¹ Arch. dép. Vaucluse. G 826, *passim* et, en particulier, Fol. 118, 119.

³² Ibid. G 109. Pièce 22.

³³ Ibid. G 827. Fol. 46 v° et suiv.

dation de l'archevêque d'Aix et de plusieurs personnes de distinction. L'Inquisiteur avait néanmoins refusé la permission demandée sous prétexte que l'écrit sentait un peu l'hérésie. Mais l'auteur ne s'était pas résigné: il prétendait que, si son texte n'avait pas trouvé grâce aux yeux de son censeur, c'était simplement parce qu'il y exposait des opinions qui n'étaient pas conformes à celles qui avaient cours dans l'ordre des Dominicains. Fallait-il pour autant les taxer d'hérétiques et en interdire la publication? C'est la question que le vice-légat soumettait à son correspondant romain dont nous ignorons la réponse³⁴.

Ce n'est qu'incidemment que nous sommes informés de ces menues affaires: elles prouvent cependant que l'Inquisiteur exerce réellement son pouvoir de contrôle et que la permission qu'il donne n'est pas automatique. Il est certain qu'il prend parfois la peine de lire attentivement les manuscrits qui lui sont soumis. Outre les cas qui viennent d'être évoqués, on peut citer aussi le témoignage d'un auteur local, François Chassenet, qui n'est connu que pour avoir publié en 1756, à Avignon, un poème consacré au souvenir de la grande inondation de 1755, sous le titre: *Le Fléau aquatique*. Dans l'avertissement de son ouvrage, il raconte que lorsqu'il s'est présenté au palais du Saint-Office, pour y déposer son texte, «le Révérendissime Père Inquisiteur le reçut avec l'affabilité que chacun lui reconnoît» et quand, quelque temps après, il est venu pour le retirer, muni de l'indispensable visa, le père Mabil lui a fait de judicieuses observations sur son œuvre, en particulier sur un passage, «bon à la vérité mais un peu trop hardi», à propos du suicide, qui n'était pas assez fermement condamné, sans que cela suffise toutefois à entraîner un refus de la permission d'imprimer.

Cependant la quantité des ouvrages imprimés à Avignon est telle qu'il est physiquement impossible que le contrôle soit effectif sur la totalité de la production, même si l'Inquisiteur trouve des censeurs supplétifs parmi les frères dominicains de son couvent³⁵. Pourtant, la crainte d'une visite inattendue du représentant du Saint-Office dans la boutique ou l'atelier d'un imprimeur-libraire, suivie de la confiscation éventuelle des ouvrages délictueux, peut être un frein efficace à la mise sous presse ou au débit des livres d'auteurs inscrits à l'Index. L'histoire de la publication manquée des *Lettres de la Montagne* de Jean-Jacques Rousseau dans les États du pape peut en porter témoignage³⁶. En octobre 1763, un correspondant de l'écrivain, le chevalier d'Astier, de Carpentras, entre en relation avec un imprimeur d'Avignon, Jean-Louis Chambeau³⁷, pour la mise sous presse éventuelle de cette œuvre encore inédite.

³⁴ Arch. Vatican. Fonds de la légation d'Avignon. N 293. Fol. 629 (26 juillet 1760).

³⁵ En 1753, le vice-légat Aquaviva prétend que l'inquisiteur Hyacinthe de Sainte-Croix, qui vient de mourir, lui a dit plusieurs fois qu'«avec les livres de ce pays, il occupait souvent tous les religieux de son couvent». Lettre du 30 juin 1753 (Ibid. N 285. Fol. 222).

³⁶ Voir *Candaux J.-D.* La publication manquée des *Lettres de la Montagne* à Avignon // *Studi francesi*. 1962. N 17. P. 266–274; *Sibertin-Blanc C.* La légende du séjour de Rousseau à Carpentras // *Provence historique*. 1963. T. 13. P. 29–63, 160–202, 240–279.

³⁷ D'Astier orthographe le nom de cet imprimeur «Chambaud» mais l'intéressé signe toujours «Chambeau».

Dans sa réponse adressée directement à l'auteur, Chambeau lui fait savoir que le projet ne va pas sans quelques difficultés: «Vous n'ignorez pas, Monsieur, que nous sommes restraints [*sic*] dans la liberté qu'on nous suppose d'imprimer toutes sortes de livres. Ce ne sera donc qu'autant que votre ouvrage pourra obtenir une permission tacite, que je pourrai l'entreprendre.»³⁸ D'Astier se flatte cependant de pouvoir facilement aplanir les obstacles et il assure à Rousseau: «Si votre ouvrage n'est point volumineux et qu'il ne fût pas question d'approbation (ce qui par les ménagements que le vice-légat est obligé d'avoir pour la cour de France où il vise d'aller nonce peut tirer à conséquence), nous arrangerons les choses pour dépêcher la besogne sans formalité». Effectivement le projet prend corps et Chambeau se dispose à entreprendre une édition importante de 4 000 exemplaires, qui doit être prête pour la foire de Beaucaire de juillet 1764, lorsque tout est arrêté par l'intervention de l'Inquisiteur. Le père Mabil, à qui le manuscrit a été communiqué, y a trouvé bien des choses à redire et, refusant d'accorder lui-même l'autorisation d'imprimer, il fait savoir qu'il n'admettra sa mise sous presse à Avignon que si le livre a déjà été publié en France. Ce qui revient à exiger, comme l'a indiqué Chambeau dans sa lettre à Rousseau, l'obtention d'une permission tacite ou tout au moins d'une tolérance de fait comme pour l'*Émile* qui, quoique condamné, est cependant débité à peu près librement aussi bien en France qu'à Avignon³⁹.

Pour s'assurer que ses consignes étaient bien respectées, l'Inquisiteur avait déjà fait deux visites dans l'imprimerie de Chambeau, et ce dernier fut ainsi obligé de renoncer à une affaire dont il espérait pourtant tirer un bon profit⁴⁰. D'Astier avait fait personnellement une démarche auprès du père Mabil pour qu'il revînt sur son refus, mais sans obtenir aucun succès. Pour être agréable à l'écrivain qu'il admirait, il avait tenté de lui trouver, à son insu, une autre solution: faire tirer clandestinement, par un autre imprimeur, une édition limitée à 500 exemplaires qu'il aurait diffusés par ses propres moyens pour éviter de compromettre un libraire. Mais il avait dû renoncer aussi à ce projet car il n'avait trouvé personne, ni à Avignon ni à Carpentras, qui acceptât de se lancer dans une aventure qui comportait des risques sérieux⁴¹.

³⁸ *Candaux J.-D.* Op. cit. P. 268; *Sibertin-Blanc C.* Op. cit. P. 192.

³⁹ Lettre du chevalier d'Astier à J.-J. Rousseau, datée de Carpentras, 11 mai 1764: «Il y a [en] Avignon une liberté plus grande que je ne l'aurois imaginée ; on y imprime bien publiquement votre *Émile*, j'en ai vu des tas dans les avant-boutiques et en ayant témoigné quelque étonnement on s'est presque moqué de moy» (*Candaux J.-D.* Op. cit. P. 270; *Sibertin-Blanc C.* Op. cit. P. 201).

⁴⁰ Lettre du 29 mai 1764 (*Candaux J.-D.* Op. cit. P. 271; *Sibertin-Blanc C.* Op. cit. P. 240-241).

⁴¹ Preuve supplémentaire dans un acte notarié de 1750: le libraire avignonnais Jean-Joseph-Louis Chabrier refuse de payer une lettre de change tirée sur lui par les frères Cramer et Claude Philibert de Genève. Selon lui, les livres qu'ils lui ont envoyés ne correspondent pas à sa commande et ils sont invendables parce qu'interdits. Il propose au porteur de la lettre de change de lui céder en paiement la marchandise qu'il a reçue, «ne voulant pas s'exposer à la vendre de peur qu'on la luy confisquât, ayant été menacé de cela par le R. P. Inquisiteur de cette ville» (Arch. dép. Vaucluse. Notaire Terris. Fonds Pradon. N 1072. Fol. 182 v°, acte du 14 septembre 1750).

D'après ces exemples, il apparaît donc clairement que «les Supérieurs» auxquels fait référence la mention portée sur la première page des livres officiellement mis sous presse dans ces États du Pape sont d'abord l'évêque ou l'archevêque ou leur vicaire général, ainsi que le représentant local du Saint-Office, et que c'est à eux, surtout à l'Inquisiteur, qu'appartient le contrôle de ces activités hautement sensibles que sont l'imprimerie et le commerce des livres. Le secrétaire d'État à Rome, le cardinal Valenti, le rappelait en 1745 au vice-légat, qui s'était attribué abusivement le droit d'accorder ou de refuser des permissions d'imprimer: il s'ingérait là dans un domaine qui «privativement regardait la Sainte Inquisition et les évêques»⁴². Mais pouvait-il en être autrement? L'évêque et l'Inquisiteur sont des agents du pouvoir ecclésiastique: ils doivent veiller à ce qu'on ne porte aucune atteinte à la religion et aux bonnes mœurs.

Le vice-légat, bien qu'il soit lui aussi toujours un ecclésiastique de haut rang, destiné à devenir ensuite le plus souvent nonce ou cardinal, représente le pouvoir civil. Il est le représentant direct du souverain, nommé par lui et en correspondance continuelle avec le secrétaire d'État, qui tient le rôle de premier ministre, et la congrégation d'Avignon qui a remplacé le légat. À ce titre, il jouit d'une autorité supérieure à toute autre sur le plan local et sa compétence s'étend à tous les domaines: religieux, politique, administratif, judiciaire, voire militaire. Il a donc nécessairement son mot à dire en matière de librairie, activité qui, non seulement a pris une place considérable dans l'économie locale, mais qui, en outre, est susceptible d'avoir des incidences importantes sur le bon ordre et l'administration d'Avignon et du Comtat et sur les relations avec le puissant royaume dans lequel ces États sont enclavés.

Comme au pouvoir royal en France, c'est à lui qu'appartient, sans contredit, le pouvoir d'accorder aux auteurs ou aux libraires les privilèges qui leur permettent d'être protégés contre toute reproduction abusive et de faire valoir leurs droits exclusifs contre d'éventuels contrefacteurs. L'attribution d'un privilège a automatiquement valeur de permission d'imprimer et elle suppose l'avis préalable favorable de l'ordinaire et du Saint-Office. Mais il semble que cette obligation ne soit pas toujours bien respectée. En 1776, le secrétaire d'État, le cardinal Pallavicini, envoie au nouveau vice-légat un mémoire qui doit lui servir de règle en matière d'imprimerie et librairie. Il y souligne que, par le passé, des vice-légats ont accordé plusieurs fois des privilèges sans faire mention de l'approbation du Saint-Office; le nouveau responsable est prié d'y faire attention: ses concessions de privilèges ne doivent jamais dispenser les auteurs de solliciter le visa de l'Inquisiteur et aucun ne devrait être accordé si l'autorisation du Saint-Office n'a pas été obtenue au préalable⁴³. Pourtant la délivrance de privilèges n'est probablement pas très fréquente car leur validité est limitée aux frontières des États pontificaux et ils ne sont pas mieux respectés en France ou ailleurs que ne le sont, à Avignon, ceux qui ont été accordés par la chancellerie du roi de France.

⁴² Texte original italien: «privativamente spetta alla S. Inquisizione ed ai vescovi» (Arch.Vatican. Fonds de la légation d'Avignon. N 278. Fol. 146).

⁴³ Arch. dép. Vaucluse. G 826, fol. 98 v°: lettre du 21 août 1776.

Mais même en dehors des demandes de privilège, le vice-légat, détenteur localement de l'autorité suprême, a naturellement tendance à étendre ses fonctions de police en s'attribuant un pouvoir d'interdiction contre certains écrits, ce qui le met forcément en concurrence avec l'évêque et surtout l'Inquisiteur. Ce dernier s'en plaignit amèrement lors d'une affaire survenue en 1701. On était alors en pleine querelle à propos des «rites chinois». Certains missionnaires en Chine, surtout les jésuites, toléraient que les convertis chinois continuent à utiliser un vocabulaire religieux et à pratiquer certaines cérémonies telles que le culte des ancêtres que leurs confrères des autres ordres, dominicains ou franciscains, considéraient comme d'inacceptables survivances du paganisme et des atteintes graves à la pureté du message chrétien. La controverse était passée rapidement du plan des pratiques au niveau doctrinal et elle agitait toutes les écoles de théologie de l'Europe catholique. Avignon ne faisait pas exception. Un dominicain de la province de Toulouse avait l'intention de soutenir ses thèses sur ce sujet des «cérémonies chinoises». Il en avait déposé les positions et l'Inquisiteur, les ayant lues et approuvées, en avait autorisé l'impression à Avignon. Mais les jésuites, fort puissants dans cette ville où ils avaient un collège très renommé et un de leurs principaux noviciats, cherchèrent à s'opposer à la publication de ces thèses, très critiques envers le comportement jugé laxiste de leurs frères missionnaires en Extrême-Orient. En prétendant qu'elles anticipaient indûment sur un jugement du Saint-Siège, toujours en suspens, ils intervinrent auprès du vice-légat pour en faire interdire la mise sous presse et ils obtinrent satisfaction: l'imprimeur reçut l'ordre d'interrompre son travail. L'affaire nous est connue par la correspondance de l'Inquisiteur, le père Lacrampe, avec ses supérieurs à Rome. Il y dénonçait vigoureusement la prétention que s'arrogeait le vice-légat de refuser des licences d'imprimer alors que, selon lui, cette faculté appartenait exclusivement au Saint-Office, et il demandait l'arbitrage en sa faveur des autorités romaines⁴⁴.

Si satisfaction lui fut donnée – ce que nous ignorons mais qui est probable en raison de la doctrine professée ordinairement en la matière – ses successeurs ne purent pas jouir longtemps paisiblement de leurs prérogatives. En février 1735, le vice-légat Bondelmonti publiait une ordonnance concernant les imprimeurs-libraires⁴⁵: s'appuyant sur le précédent de règlements antérieurs de ses prédécesseurs, Nicolini en 1678 et Delfini en 1692 et 1693⁴⁶, il interdisait

⁴⁴ Ibid. G 827. Fol. 12–13. Texte original latin: «Controversia mota est inter D[omi]num prolegatum et me inquisitorem circa licentiam impressionum seu librorum seu thesium seu aliarum scripturarum quae praelo mandantur: ille vult sibi hanc jurisdictionem arrogare cum tamen non competat ipsi.» («Une controverse s'est élevée entre monsieur le vice-légat et moi-même, inquisiteur, à propos de l'autorisation des impressions ou des livres, thèses ou autres écritures que l'on met sous presse: lui [le vice-légat] veut s'arroger cette juridiction alors qu'elle n'est pas de sa compétence»).

⁴⁵ Affiche imprimée (Bibl. mun. Avignon. Ms. 2434. Fol. 144).

⁴⁶ En réalité, ces précédents ne visaient pas l'ensemble de la production imprimée mais seulement des cas particuliers: les règlements des 16 septembre 1678 et 25 novembre 1692 interdisaient d'imprimer sans permission aucune ordonnance, aucuns statuts ou autres choses concernant le fait de la justice ou le gouvernement de l'État, tandis que celui du 13 octobre 1693 s'opposait à la réimpression et au débit du *Mercure historique et politique concernant l'état présent de l'Europe*, publié à La Haye.

d'imprimer quoi que ce fût, dans Avignon et le Comtat, sans sa permission expresse, sous peine d'une amende de 500 livres. C'était une ingérence indiscutable dans un domaine qui, normalement, ne relevait pas du pouvoir civil, et, à en croire un mémoire rédigé en 1759⁴⁷, si, sur le moment, il n'y avait pas eu de protestation vigoureuse, ni de la part de l'archevêque Gontieri, ni de l'Inquisiteur, c'est que le premier était accablé par le poids de ses soixante seize ans et que le second, le père d'Albert, était alors gravement malade (il mourra la même année 1735, en octobre).

Du reste, selon les auteurs de ce même mémoire de 1759, très hostiles à cette intrusion des vice-légats dans les affaires de librairie, ni l'édit de Bondelmonti de 1735 ni celui de son successeur Lercari, qui l'avait repris à son compte en 1740, n'avaient jamais été mis en application: «Ces deux ordonnances n'ont jamais été mises à exécution. On ne sçait aucun libraire qui ait demandé des permissions et on ne les trouve dans aucun ouvrage imprimé depuis ce tems-là».

Pourtant, il pouvait aussi se produire des circonstances où un ouvrage, sans offenser aucunement ni la religion ni les bonnes mœurs — ce qui lui permettait d'affronter sans crainte la censure de l'archevêque et de l'Inquisition —, devait cependant être jugé inacceptable pour des raisons d'ordre politique. Ainsi, en février 1737, le vice-légat était sollicité par l'intendant d'Aix pour qu'il empêchât l'impression en cours à Avignon, chez Fortunat Labaye, d'un ouvrage de Pierre-François Lafiteau, évêque de Sisteron, intitulé *Histoire de la constitution Unigenitus*, de peur que la publication de ce livre ne réveillât dans le royaume les controverses autour du jansénisme. Dans un premier temps, il avait répondu que, puisque le texte avait été approuvé par l'archevêque et l'Inquisiteur, l'affaire n'était pas de sa compétence. Mais ensuite il reçut de Rome des instructions du secrétaire d'État, qui lui demandait d'être très prudent: la cour de France paraissait très résolue à empêcher la parution de ce livre et le ministre français des Affaires étrangères avait donné l'ordre d'en saisir tous les exemplaires à leur entrée en France. Il fit alors mettre sous scellés l'édition déjà imprimée du premier volume, en attendant les résultats de l'examen du livre qu'on faisait au Vatican. En juillet, il recevait de nouvelles directives: l'auteur devait consentir à quelques modifications de son texte, ou bien on pouvait changer la page de titre du livre pour faire croire que l'impression en avait été réalisée ailleurs que dans les États du pape, comme cela se produisait souvent. Ce fut la première solution qui prévalut et, à la fin du mois d'août, le vice-légat était autorisé à permettre la mise en vente de l'ouvrage revu et corrigé⁴⁸.

Quelques années plus tard, en 1753, une autre affaire du même genre se produisit et conduisit à une modification importante du contrôle du contenu des livres mis sous presse à Avignon. À la demande du fils de l'auteur, deux

⁴⁷ Ce mémoire émane de l'archevêque et du Saint-Office (Arch. Vatican. Fonds de la congrégation d'Avignon. N 69).

⁴⁸ Arch. Vatican. Fonds de la légation d'Avignon. N 274. Fol. 86. Cet exemple montre le peu de confiance qu'on doit avoir dans les adresses figurant sur les ouvrages eux-mêmes puisque c'est le cardinal secrétaire d'État en personne qui conseille l'usage de ce procédé d'usurpation d'adresse apparemment très courant. On sait qu'il en va de même dans le royaume de France.

imprimeurs d'Avignon, Claude Delorme et François Girard, avaient entrepris, en association, de publier une *Histoire de Clément XI* écrite par un avocat de la ville, Simon Reboulet, décédé en 1752. En faisant le récit des violentes querelles qui avaient opposé ce pape au duc de Savoie Victor-Amédée II, devenu roi de Sicile en 1713 puis de Sardaigne en 1718, avant de mourir en 1732, l'historien se livrait à une critique très acerbe du comportement du prince en matière de politique ecclésiastique. La cour de Turin trouva les expressions employées à ce propos offensantes et intolérables. Elle protesta auprès de Rome contre la publication, dans les États du pape, de cet écrit jugé injurieux pour la mémoire de la famille. À la demande du secrétaire d'État, le vice-légat Aquaviva fit appeler Reboulet fils pour lui demander des explications et voir les réponses qu'il pouvait faire aux griefs allégués contre l'ouvrage. Celui-ci fit observer que son père n'avait fait que traduire et adapter en français une vie de Clément XI écrite en latin par un éminent ecclésiastique qui n'était autre que l'actuel évêque de Carpentras et imprimée plusieurs années auparavant, à Urbino, sur ordre du défunt cardinal Annibale Albani.

À la suite de cette entrevue, bien qu'il fût très conscient qu'il n'était pas permis de parler de cette manière des grands de ce monde, le vice-légat se déclarait très ennuyé: pour échapper au reproche d'avoir laissé mettre sous presse, dans un pays soumis à son gouvernement, un ouvrage aussi contestable, il faisait valoir d'abord qu'il n'était pas possible de contrôler sérieusement les productions de toutes les imprimeries établies à Avignon. Selon lui, il y en avait alors plus de vingt en activité. D'autre part, cette tâche de surveillance n'était pas de son ressort: il devait s'en remettre au grand vicaire de l'archevêque et au père Inquisiteur en se contentant de leur recommander d'être vigilants. Pour satisfaire la cour de Turin, il ne savait pas quoi proposer. L'auteur échappait à toute sanction puisqu'il était déjà mort, et les imprimeurs ne paraissaient pas coupables puisqu'ils assuraient avoir obtenu la permission de l'archevêque et du Saint-Office. Reboulet fils affirmait même avoir en main une lettre du cardinal Albani qui donnait son *imprimatur* à la première mouture de ce livre. Enfin le mal était fait: plusieurs centaines d'exemplaires du livre étaient déjà répandus en France et en Europe.

Le secrétaire d'État, le cardinal Valenti, ne se laissa pas fléchir par ces arguments et, sur son ordre, le vice-légat fit procéder à la saisie des 663 volumes encore entreposés dans les magasins de Delorme et Girard⁴⁹. La décision

⁴⁹ Voir la correspondance entre le vice-légat et le secrétaire d'État: Arch. Vatican. Fonds de la légation d'Avignon. N 285, mai-juin 1753. Bien que l'ordonnance du 7 juin 1753 ait ordonné la lacération des exemplaires saisis, ceux-ci n'avaient pas été détruits. Ils étaient entreposés à l'archevêché. En 1755, Claude Delorme et la veuve de François Girard demandèrent à les récupérer, en offrant de remplacer les feuilles qui contenaient les passages incriminés par un nouveau texte. La demande fut transmise à Rome mais les corrections soumises aux intéressés ne parurent pas satisfaisantes et la saisie fut maintenue (Arch. Vatican. Fonds de la légation d'Avignon. N 287, N 288, correspondance entre le vice-légat et le secrétaire d'État, de février 1755 à février 1756). Une démarche semblable eut lieu encore en 1761 (Ibid. N 294, lettre du 20 juin 1761. Fol. 529).

exprimée dans un règlement daté du 7 juin, publié et affiché⁵⁰, s'appuyait sur le fait que le livre ne faisait nulle part apparaître ni le privilège ni les permissions d'imprimer du grand vicaire et de l'Inquisiteur, «qu'on est en coutume de mettre à la tête de l'ouvrage». La saisie était donc justifiée par ce défaut apparent d'autorisation mais aussi par «les traits piquans, satiriques et indécents à l'égard d'un prince de glorieuse mémoire dont l'auguste maison se signale par son attachement au Saint Siège».

Le secrétaire d'État, dans une lettre au vice-légat du 19 mai 1753⁵¹ dans laquelle il rejetait les explications fournies par Reboulet fils et ordonnait à son subordonné de confisquer ce qui restait de l'édition, lui donnait aussi des directives pour qu'un incident pareil ne pût plus se reproduire. Les livres imprimés à Avignon ou à Carpentras continueraient d'être soumis à l'examen de l'ordinaire et du Saint-Office pour tout ce qui regardait la religion et les bonnes mœurs, mais ils devraient subir en outre le contrôle d'une troisième personne «experte et prudente», désignée par le vice-légat, qui veillerait à ce que leur publication ne provoquât aucun scandale ou désordre. Ainsi se trouvait reconnue officiellement une compétence que les vice-légats avaient prétendu s'attribuer depuis longtemps au grand dam de l'archevêque et de l'Inquisiteur.

Restait à découvrir l'oiseau rare qui accepterait de se charger de cette mission très lourde et délicate et le moyen de le rétribuer. Le vice-légat estimait qu'une gratification de 300 livres par an au moins était nécessaire pour décider une personne capable à endosser cette responsabilité, mais où prendre l'argent? Faute d'avoir trouvé quelqu'un parmi les officiers de la légation, il avait confié cette mission à deux franciscains du couvent d'Avignon en espérant peut-être que des religieux mendiants accepteraient de faire ce travail gratuitement, mais il ne se faisait guère d'illusions⁵². De fait, c'est seulement sur l'assurance d'une rétribution annuelle de 100 écus romains que les pères Castan et Faure avaient consenti à se charger de la censure des livres imprimés à Avignon or, en 1759, ils n'avaient toujours rien reçu de l'indemnité qui leur avait été promise. Le secrétaire d'État en fonctions en 1753, le cardinal Valenti, avait donné des instructions pour leur recrutement, mais il n'avait fourni aucune indication sur les fonds destinés à leurs honoraires. Il était mort depuis et le nouveau vice-légat ne savait que faire⁵³.

Dans ces conditions, les deux religieux ne devaient pas mettre beaucoup d'ardeur à leur tâche! L'institution se maintint cependant. On sait que, au début de 1781, l'office de «réviseur des livres» était exercé par un carme, le père Eusèbe Macle⁵⁴, désigné par le vice-légat pour remplacer dans ces fonctions

⁵⁰ Affiche imprimée (Bibl. mun. Avignon. Ms. 2435. Fol. 118).

⁵¹ Arch. Vatican. Fonds de la légation d'Avignon. N 285. Fol. 46.

⁵² Ibid. Lettres du vice-légat, 9 et 30 juin 1753. Fol. 214, 222.

⁵³ Ibid. Fonds de la légation d'Avignon. N 291. Fol. 181–182: supplique des PP. Castan et Faure transmise par le vice-légat le 30 mai 1759, et lettre de celui-ci (Fol. 555 v°).

⁵⁴ Confirmation par le général des Carmes à Rome, le 30 janvier 1781, de la patente de censeur des livres imprimés à Avignon, délivrée par le vice-légat au père Macle (Bibl. mun. Avignon. Ms. 1618. Fol. 146, copie).

l'abbé Morant récemment décédé. Mais l'échange de correspondance entre le vice-légat et le secrétaire d'État, qui nous permet d'être informé de cette situation, fait deviner en même temps les difficultés de fonctionnement du système. Le vice-légat se plaint que, sans tenir compte de la mission confiée par lui au père Macle, le père provincial des Carmes l'ait désigné pour aller occuper d'autres fonctions loin d'Avignon, et le gouverneur ne sait plus par qui faire exercer cette charge si importante et si délicate⁵⁵.

Ainsi, à partir de 1753 et jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, ce seraient donc trois contrôles concurrents ou complémentaires que tout ouvrage imprimé à Avignon aurait dû affronter. La surveillance en était-elle plus efficace? On peut en douter en voyant les mésaventures rencontrées par le *Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France*⁵⁶ que l'abbé Jean-Joseph Expilly fit imprimer à Avignon à partir de 1762 chez Henri-Joseph Joly et diffuser en France par des libraires parisiens, sous la fausse adresse d'Amsterdam. Dans le tome I, l'auteur avait consacré une longue notice à la ville d'Avignon. Il y donnait de nombreux renseignements sur l'histoire de la cité, sa situation, son climat, ses activités, parmi lesquelles l'imprimerie avait droit à un paragraphe très élogieux, mais il avait commis l'imprudence d'y aborder sans précaution un sujet très délicat: celui des limites du domaine temporel du Saint-Siège du côté du Rhône. Le droit international du temps accordait l'entière propriété du lit des rivières frontières à l'État le plus puissant et, en vertu de ce principe, le roi de France prétendait étendre sa domination sur toute la largeur du fleuve, y compris le fameux pont. Après un procès qui avait duré plusieurs siècles⁵⁷, il paraissait avoir fait triompher son point de vue mais le Saint-Siège ne s'y était jamais résigné et c'est avec indignation que les officiers du pape à Rome durent lire, dans cette notice sur Avignon, une petite dissertation dans laquelle Expilly discourait avec autorité sur la question pour conclure catégoriquement que le lit du Rhône était intégralement la possession du roi de France.

Alerté trop tard, alors que 700 exemplaires avaient déjà été expédiés à Paris, le vice-légat fit saisir ce qui restait de l'édition dans les magasins de Joly et il exigea, pour la restitution des volumes, que le passage litigieux fût remplacé par un texte beaucoup plus court et moins affirmatif sur les droits du roi. Il s'était inquiété en même temps de savoir qui avait accordé aussi légèrement la permission d'imprimer à cet ouvrage. Le grand vicaire prétendit tout ignorer de ce livre dont on ne lui avait même pas remis un exemplaire et l'Inquisiteur déclara avoir donné son accord verbalement sous réserve qu'on lui communiquerait, avant l'impression, tous les articles concernant Avignon ou le Comtat, ce qui n'avait pas

⁵⁵ Voir la correspondance entre le vice-légat et le secrétaire d'État à ce sujet (Arch. Vatican. Fonds de la légation d'Avignon. N 319. Mai 1781, *passim*).

⁵⁶ Voir *Moulinas R. Les tribulations du Dictionnaire des Gaules et de la France de l'abbé Expilly // Provence historique*. 1971. Avril-juin. Fasc. 84. P. 128-146.

⁵⁷ Voir *Falque M. Le Procès du Rhône et les contestations sur la propriété d'Avignon (1302-1818)*. Paris, 1908.

été fait⁵⁸. Quant au visa par les censeurs établis par le vice-légat depuis 1753, il n'en est même pas fait mention. Force est donc de constater le manque de rigueur des contrôles alors qu'il s'agissait, en l'occurrence, d'un ouvrage considérable, qui devait comporter six volumes et avait été annoncé largement par souscription.

Devant la difficulté d'assurer sérieusement la police de la librairie et de l'imprimerie dans la ville, il avait été question de confier en partie cette tâche aux professionnels eux-mêmes, comme en France où les chambres syndicales établies dans les principales villes se chargeaient, sous la surveillance des inspecteurs de la librairie, de vérifier la conformité des activités de leurs membres avec les règlements en vigueur. L'idée initiale avait probablement été suggérée par les autorités françaises, inquiètes du développement anarchique de l'imprimerie dans cette ville étrangère mais étroitement imbriquée dans le royaume. En obligeant les imprimeurs-libraires à se constituer en corps, on limiterait leur nombre, on les forcerait à se soumettre à des règles, et les responsables français auraient un interlocuteur valable avec qui on pourrait discuter des moyens de régulariser et de discipliner une activité toujours plus débordante.

Quant aux imprimeurs d'Avignon eux-mêmes, certains de ceux qui étaient déjà en place accueillirent ce projet sans déplaisir car ils y voyaient le moyen de juguler une concurrence toujours plus sauvage à mesure que se multipliaient les nouveaux ateliers. Selon François Morénas, fondateur et premier rédacteur du *Courrier* dit d'Avignon, ce serait l'imprimeur-libraire Charles Giroud qui, en 1740, aurait, le premier, conçu le dessein de faire ériger le métier d'imprimeur en corps de maîtrise afin de limiter le nombre de ceux qui seraient admis à exercer cette activité. Serait-ce lui qui aurait soufflé cette idée aux autorités françaises comme l'en accuse le même Morénas? On ne sait mais il est certain c'est sous la pression et à la demande de la France qu'en 1740 le vice-légat conçut le plan d'une corporation des imprimeurs-libraires sur le modèle de ce qui existait dans le royaume.

Un arrêt du Conseil d'État du roi de France du 7 avril 1740 avait exigé que tous les livres en provenance d'Avignon, quelle que fût leur destination, fussent soumis à un contrôle à la douane de Villeneuve-lès-Avignon. Les imprimeurs-libraires d'Avignon s'en étaient plaints auprès du vice-légat qui avait alerté Rome et le nonce pour obtenir la suppression de cette mesure très gênante. Mais, à leurs doléances, il avait été répondu que satisfaction ne leur serait donnée que si les imprimeurs-libraires établis à Avignon s'organisaient en un corps dont le nombre des membres serait fixé et qui serait régi par des règles précises qu'ils s'engageraient à respecter⁵⁹. Sous l'impulsion du vice-légat, des statuts avaient été rédigés et soumis à l'approbation non seulement de Rome mais aussi des autorités françaises, en particulier le comte d'Argenson et le cardinal de Fleury⁶⁰. Ceux-ci avaient suggéré quelques modifications qui furent acceptées mais, sans

⁵⁸ Lettre du vice-légat, 1^{er} janvier 1763 (Arch. Vatican. Fonds de la légation d'Avignon. N 298).

⁵⁹ Lettre du vice-légat au secrétaire d'État, en date du 28 juin 1741 (Ibid. N 276. fol. 298).

⁶⁰ Lettres du nonce Crescenzi au vice-légat, 3 juillet et 1^{er} septembre 1741 (Ibid. N 276. Fol. 124, 135).

qu'on en connût la raison, le projet, qui prévoyait de limiter le nombre des imprimeurs à dix pour Avignon, deux à Carpentras, un à Vaison-la-Romaine et un à Cavaillon⁶¹, n'eut pas de suite.

Il fut repris en 1753 par le vice-légat Aquaviva. À la suite du scandale causé par l'affaire de l'*Histoire de Clément XI* de Reboulet, en même temps qu'il mettait en place de nouveaux censeurs, le vice-légat cherchait à mettre un peu d'ordre dans l'anarchie qui régnait en matière de fabrication et de commerce du livre, en érigeant enfin ce corps des imprimeurs-libraires dont on parlait depuis plus de dix ans. De nouveaux statuts furent rédigés. Ils furent soumis à la Sacrée Congrégation d'Avignon et au pape Benoît XIV qui, en 1755, en ordonna la mise en application. Leur contenu avait été discuté avec les intéressés eux-mêmes, qui les acceptèrent assez facilement: le nombre des membres avait été fixé à 30, ce qui permettait d'admettre aisément et à frais réduits à peu près tous ceux qui, à cette date, exerçaient effectivement le métier. Mais pour ceux qui demanderaient leur agrégation par la suite, les conditions étaient beaucoup plus sévères; ils devraient non seulement attendre que se libère, par décès ou démission, une des trente places déterminées dans les statuts, mais ils devraient faire aussi la preuve de leurs capacités professionnelles en se soumettant à un examen et payer un droit de maîtrise très élevé de 1 000 ou 2 000 livres suivant que le candidat serait sujet du pape ou étranger.

Ces conditions étaient si dures qu'elles suffiraient sans doute à décourager de nouveaux venus de venir tenter leur chance dans la ville d'Avignon. Ainsi serait mis un barrage à la prolifération incontrôlée des artisans du livre, et c'était bien là une des finalités du projet. Mais une autre raison très forte avait, elle aussi, été mise en avant par ses promoteurs. L'inspection des ateliers serait désormais assurée par le syndic du corps; un homme du métier, parfaitement au courant de tous les usages et de toutes les ficelles de la profession, serait beaucoup plus capable d'assurer une surveillance efficace que les ecclésiastiques qui jusque-là en étaient exclusivement chargés. Ceux-ci d'ailleurs n'y perdraient rien: l'action du syndic ne porterait aucun tort à la juridiction des supérieurs puisqu'il ne pourrait infliger aucune amende ni exécuter aucune saisie; il devrait simplement faire son rapport sur les irrégularités qu'il aurait constatées à l'Inquisiteur et au vicaire général, et ces derniers garderaient tout pouvoir de décision. Ces arguments avaient fini par emporter l'assentiment de la Sacrée Congrégation d'Avignon qui, au début, n'avait pas été insensible aux protestations des consuls d'Avignon, traditionnellement hostiles aux privilèges exclusifs des corps de métiers et aux réserves exprimées par l'archevêque et le Saint-Office, lesquels craignaient que cette nouvelle institution ne rognât leurs pouvoirs. Moyennant quelques légers aménagements, le texte des statuts fut approuvé le 15 juillet 1755⁶², et le nouveau vice-légat Passionei les rendit opératoires

⁶¹ Lettres du vice-légat au secrétaire d'État, en date du 6 septembre, et au nonce, en date du 25 octobre 1741 (Ibid. Fol. 314 v° et 329 v°).

⁶² Copie du décret de la congrégation d'Avignon (Arch. Vatican. Fonds de la légation d'Avignon. N 288. Fol. 21, ou Fonds de la congrégation d'Avignon. N 69).

par un règlement du 6 décembre de la même année. Mais les effets salutaires qu'on en espérait ne se firent guère sentir, d'autant qu'ils ne restèrent pas longtemps en application sous leur forme d'origine.

Dès 1761, des marchands de livres d'occasion, auxquels les officiers du corps prétendaient interdire tout commerce de librairie sous prétexte qu'ils n'avaient pas demandé leur admission à la maîtrise, firent entendre leurs plaintes auprès de la municipalité. Les consuls et le conseil de ville décidèrent de recevoir ces doléances et de les soutenir par un procès en bonne et due forme devant les instances romaines, à qui il était demandé de mettre fin à l'existence de ce corps contraire à la liberté du commerce et aux privilèges de la ville⁶³.

L'affaire progressa lentement. Le dossier fut plaidé devant deux congrégations différentes: le Saint-Office avait été saisi par la ville d'Avignon puisque la police de la librairie était de sa compétence, tandis que le corps des imprimeurs-libraires s'était adressé à la congrégation d'Avignon pour faire casser une décision de l'auditeur général de la légation ordonnant la mainlevée d'une saisie opérée en septembre 1763, par le syndic, sur les livres vendus par les bouquinistes. La congrégation d'Avignon ayant donné raison aux avocats du corps en ordonnant aux trois marchands de vieux livres de se soumettre, la ville, qui avait pris fait et cause pour eux, intenta alors un nouveau procès, cette fois devant la congrégation d'Avignon elle-même. Elle mettait en cause l'existence même de cette prétendue «université des marchands imprimeurs et libraires» qui, selon elle, n'avait jamais réussi à fonctionner réellement puisque certains imprimeurs (à commencer par celui qui était officiellement employé par la ville) n'en faisaient pas partie et que les membres inscrits se montraient très négligents dans le respect de leurs obligations.

La sentence rendue le 1^{er} septembre 1766 ne donna pas complètement satisfaction à la ville: le corps des imprimeurs-libraires n'était pas aboli mais ses statuts étaient profondément modifiés sur deux points essentiels. Au lieu d'être limité à 30 membres, il devrait admettre désormais tous les candidats qui auraient fait la preuve de leurs capacités et, pour leur réception, ceux-ci n'auraient à payer que la modique somme de 100 livres⁶⁴. En fait, même s'il survécut jusqu'à la Révolution, en proie à des querelles internes et à des difficultés financières incessantes, le corps ne put jamais remplir les objectifs que ses fondateurs lui avaient assignés. L'établissement de nouvelles boutiques de libraires ou d'ateliers d'imprimeurs ne fut pas empêché et le contrôle du syndic sur les ouvrages mis sous presse ou sur les balles de livres importés ne put jamais être effectif.

On assiste donc, au cours du siècle, à la multiplication des instances compétentes, archevêque, Saint-Office, vice-légat, voire syndic du corps. Elles se trouvent en concurrence, même si, au fil des années, le vice-légat paraît prendre

⁶³ Arch. mun. Avignon. BB. Délibérations du conseil. T. 47. Fol. 344, séance du 4 décembre 1761.

⁶⁴ Copie du rescrit de la congrégation d'Avignon dans les lettres des agents de la ville à Rome, 3 septembre 1766 (Arch. mun. Avignon. Correspondance des consuls. AA 123; Bibl. mun. Avignon. Ms. 2826. Fol. 277).

une place prépondérante dans la répression des délits commis en matière d'imprimerie. C'est ce que l'on constate, même avant la reconnaissance quasi officielle de ses pouvoirs en 1753, lors d'une affaire qui fit grand bruit en 1744–1745.

À cette époque, l'intendant de Languedoc s'inquiète de la sourde agitation qui se manifeste dans les communautés de «nouveaux convertis» de sa province. Pour l'enrayer, il souhaite empêcher la diffusion des livres à l'usage de ces protestants devenus tous théoriquement catholiques mais dont chacun sait bien qu'ils ont conservé secrètement leurs convictions et leurs pratiques, que la lecture des ouvrages hérétiques contribue à entretenir et à fortifier. Les lieux de production de cette littérature subversive sont le plus souvent situés dans les pays étrangers calvinistes. C'était le cas pour un certain nombre de volumes confisqués à la foire de Beaucaire en 1727: des *Sonnets chrétiens sur divers sujets* de Laurent Drelincourt imprimés à Amsterdam et d'autres œuvres de la même veine imprimés à Genève. La victime de cette saisie était un libraire d'Avignon, Paul Offray, membre d'une longue lignée d'imprimeurs avignonnais qui se prolongera jusqu'au XX^e siècle⁶⁵. Mais, en 1744, les soupçons se portent soit sur Toulouse, soit sur Avignon. Alerté par l'intendant qui lui a fait parvenir un exemplaire du Nouveau Testament et des prières à l'usage des calvinistes saisis dans sa province, le vice-légat, en janvier 1745, fait faire, sans succès, des visites dans les ateliers d'imprimerie de la ville. Il croit donc pouvoir rejeter les accusations portées contre les sujets du Saint-Siège, d'autant plus que, de l'avis d'un expert, en l'occurrence l'un des principaux libraires et imprimeurs de la ville, d'après le papier et les caractères utilisés, ces livres n'ont pas été produits à Avignon. Les soupçons doivent se porter plutôt du côté de Lyon ou de Toulouse, où Guillaume Delrieu sera effectivement reconnu coupable de ce crime et condamné aux galères⁶⁶.

Cependant, quelques semaines plus tard, l'arrestation à Nîmes de deux balles de livres interdits en provenance d'Avignon démontre la culpabilité de Joseph-François Offray (le frère aîné de Paul Offray mis en cause en 1727). Convaincu par les preuves irréfutables transmises par l'intendant, le vice-légat décrète son arrestation, en avril 1745. Les hommes qu'il envoie pour se saisir du coupable, le dimanche 25 avril, arrivent malheureusement trop tard: Offray, prévenu à temps, s'est déjà réfugié, avec son fils, au couvent de Montfavet, dans le terroir de la ville, à quelques kilomètres des remparts⁶⁷. Pour pouvoir intervenir dans ce lieu d'immunité, la police a besoin d'une autorisation spéciale que le vice-légat demande immédiatement à Rome⁶⁸. Mais les liaisons de ce temps sont lentes: la réponse du cardinal Valenti accordant la permission de violer l'immunité du couvent est datée du 15 mai 1745; elle n'arrive à Avignon qu'au

⁶⁵ Ordonnance de l'intendant de Languedoc, 28 juillet 1727 (Arch. dép. Hérault. C 2811).

⁶⁶ Voir la correspondance entre le vice-légat et l'intendant de Languedoc (Ibid. C 2803).

⁶⁷ À cette époque, le couvent de Montfavet n'est plus occupé par une communauté religieuse mais sa chapelle sert d'église paroissiale et elle est desservie par les récollets d'Avignon.

⁶⁸ Lettre du vice-légat au secrétaire d'État, le cardinal Valenti, 28 avril 1745 (Arch. Vatican. Fonds de la légation d'Avignon. N 278. Fol. 375).

début de juin et lorsque, le 7 juin, la perquisition a lieu, sous la direction de l'auditeur général et de l'archiviste de la légation, l'oiseau s'est envolé, on ne sait où⁶⁹.

En octobre 1746, un Avignonnais de passage à Lyon aperçoit Joseph-François Offray dans cette ville⁷⁰. Le vice-légat suppose qu'il s'est réfugié dans la principauté de Dombes pour y exercer son art d'imprimeur⁷¹ et il alerte le nonce à Versailles afin qu'il demande aux autorités françaises l'arrestation et l'extradition de ce scélérat dont le procès a été fait à Avignon, où il a été condamné à mort par contumace. Mais la principauté de Dombes est un État souverain. Pour se saisir d'Offray, il faut la collaboration du prince; le retard inévitable de l'opération permet à Offray de s'échapper une fois de plus et de s'enfuir à Genève où il sera évidemment impossible de le poursuivre⁷².

Dans cette affaire, le vice-légat a totalement supplanté l'Inquisiteur. C'est lui qui, pour éviter que se reproduise pareil scandale et satisfaire les autorités françaises, a publié le 27 août 1745 une nouvelle ordonnance sur l'imprimerie et la librairie, menaçant de la peine de mort quiconque mettrait sous presse ou débiterait des livres à l'usage des hérétiques⁷³. Le procès d'Offray, d'abord confié au Saint-Office comme il paraissait normal, a finalement été pris en main par le tribunal de la légation, sur ordre de Rome.

C'est sur ce précédent que le vice-légat s'appuie, en 1759, pour solliciter une nouvelle extension de ses pouvoirs en matière de répression des délits concernant l'imprimerie. Alors que la diffusion de libelles et de satires trouble sérieusement les esprits et le bon ordre, l'enquête qu'il a fait faire révèle que ce sont des ecclésiastiques qui, la plupart du temps, sont à l'origine de ces publications non autorisées. En vertu de leurs privilèges d'hommes d'Église, ils sont renvoyés, lorsqu'ils sont découverts et inculpés, devant le tribunal de l'archevêché qui se montre en général beaucoup plus indulgent que les instances de la légation devant lesquelles comparaissent les laïcs pour le même délit. Pour mettre fin à cette différence de traitement qu'il estime choquante, le vice-légat souhaite que toutes les affaires de ce genre soient confiées indistinctement à ses propres juges, et Rome lui accorde satisfaction⁷⁴.

Cette question d'impression de libelles allait prendre une grande importance, dans les années suivantes, en lien avec la lutte entreprise par les parlements du royaume contre la Compagnie de Jésus. Le parlement de Provence s'était montré particulièrement engagé dans cette affaire: en 1762, le procureur général du Roi, Jean-Pierre-François de Ripert de Monclar, s'était taillé une réputation nationale, grâce à ses réquisitoires contre les jésuites qui avaient été expulsés de tout le ressort de la cour d'Aix par un arrêt de janvier 1763. Mais la

⁶⁹ Ibid. Fol. 89.

⁷⁰ Ibid. Fol. 661 v°.

⁷¹ À Trévoux, capitale de la principauté de Dombes, existe une imprimerie, dirigée par les Jésuites, à qui on doit le dictionnaire dit de Trévoux et le périodique des *Mémoires de Trévoux*.

⁷² Lettres du nonce au vice-légat, 16 novembre et 3 décembre 1746 (Arch. Vatican. Fonds de la légation d'Avignon. N 278. Fol. 260, 265).

⁷³ Affiche imprimée (Arch. dép. Hérault. C 2803, pièce 69).

⁷⁴ Arch. Vatican. Fonds de la légation d'Avignon. N 292. Fol. 275 v°.

Compagnie de Jésus avait aussi ses défenseurs. Des brochures anonymes, *Il est temps de parler, ou Compte rendu au public des œuvres légales de M. Ripert de Monclar...* [par l'abbé Dazès], *Tout se dira, ou l'Esprit des magistrats destructeurs analysé...* [par le P. André-Christophe Balbany], *Avis important, etc.*, étaient diffusées, en particulier à Aix, et prenaient le parlement pour cible. Avignon, place forte jésuite, était particulièrement soupçonnée d'être à l'origine de ces attaques venimeuses. Le premier président du parlement, qui était aussi intendant de Provence, Jean-Baptiste Des Galois de La Tour, avait écrit à ce sujet au vice-légat, en lui demandant d'intervenir.

Dans sa réponse, celui-ci contestait que cette littérature subversive eût été mise sous presse à Avignon: les autorités ecclésiastiques auxquelles, selon les lois établies dans les États du pape, appartenait l'inspection de tout ce qui s'y imprimait, avaient fait des recherches. Elles étaient restées infructueuses⁷⁵. De son côté, le subdélégué que l'intendant d'Aix entretenait à Avignon confirmait que le grand vicaire avait effectivement fait des visites chez plusieurs imprimeurs, sans rien trouver. Lui-même avait mené sa propre enquête. Selon ses informateurs, les libelles étaient certainement imprimés à Avignon, mais par qui? Les soupçons se portaient sur Antoine-Ignace Fez ou sur Joseph Tilan, deux imprimeurs également misérables et peu scrupuleux, mais d'autres prétendaient que les presses étaient cachées dans des maisons religieuses où il était bien difficile de les repérer. En fait, il n'y avait aucun coupable précis à dénoncer⁷⁶.

Les autorités françaises avaient pris la chose très au sérieux: non seulement la surveillance fut renforcée à tous les passages entre les États du pape et le royaume, mais, à titre de représailles contre un gouvernement qu'on accusait d'être complice de cette campagne de presse antiparlementaire, sur ordre du directeur des postes royales, le service du courrier de Provence vers le nord fut détourné quelque temps. Au lieu de suivre la grande route qui passait par Avignon, il emprunta un itinéraire inédit par Saint-Rémy, Beaucaire et Remoulins, qui le faisait passer au large de la ville pour rejoindre la vallée du Rhône plus au nord⁷⁷.

Le flux des écrits favorables à la Société de Jésus n'en fut pas tari, cependant, et la cour de Versailles s'en montrait très irritée. L'ambassadeur de France à Rome avait reçu des instructions pour présenter des doléances à ce sujet et demander une intervention plus énergique des autorités locales. Pour apaiser la colère des Français et montrer leur bonne volonté, le vice-légat multipliait les assurances et l'archevêque publiait, en 1765, un édit très sévère contre tous ceux qui se hasardaient à publier quoi que ce fût sans sa permission. À Rome, sous la pression de la France, on parlait d'un projet pour réduire très fortement le nombre des imprimeurs, ce qui inquiétait beaucoup les consuls⁷⁸. Mais finale-

⁷⁵ Lettre du 21 décembre 1763 (Arch. dép. Bouches-du-Rhône. C 3337; Arch. Vatican. Fonds de la légation d'Avignon. N 133. Fol. 314).

⁷⁶ Lettre de Martin, d'Avignon, 5 janvier 1764 (Arch. dép. Bouches-du-Rhône. C 3337).

⁷⁷ Lettre du vice-légat, 31 décembre 1763 (Arch. Vatican. Fonds de la légation d'Avignon. N 133. Fol. 319), et correspondance des consuls: lettre de leur agent à Rome, 21 janvier 1764 (Arch. mun. Avignon. AA 121).

⁷⁸ Lettre des consuls d'Avignon à leur agent à Rome, 13 avril 1765 (Arch. mun. Avignon. AA 27).

ment il ne fut jamais prouvé que ces brochures incendiaires étaient réellement sorties d'Avignon et la tempête qu'elles avaient suscitée s'apaisa. L'occupation d'Avignon et du Comtat et le rattachement temporaire de ces deux États au royaume, entre 1768 et 1774, mirent un point final à la présence des Jésuites à l'intérieur des frontières françaises, avant que l'ordre fût supprimé par la papauté en 1773.

Le rôle du vice-légat, prépondérant dans les affaires à implications politiques, n'exclut donc pas les compétences de l'archevêque et du Saint-Office. C'est ce dernier qui se retrouve en première ligne, en 1761, dans une affaire de publication d'ouvrages pornographiques qui sera largement exploitée par les détracteurs de l'imprimerie avignonnaise. Le père Mabil, par un édit du 26 mars, ordonnait la saisie et la destruction de deux livres: l'un, *Thérèse philosophe ou Mémoires pour servir à l'histoire du P. Dirrag et de demoiselle Eradice*, dans lequel, outre le fait qu'y a été inséré un autre livre dit *Histoire de Madame de Bois Laurier*, on a encore ajouté des estampes «dont l'obscénité révolte la pudeur la moins délicate»; l'autre, *Histoire de Dom B. portier des Chartreux écrite par lui-même*, «à Grenoble de l'Imprimerie des Chartreux avec permission de Dom Prieur», 1755, 2 volumes in-12, qui renferme aussi un autre écrit «de la sœur Monique» accompagné «d'estampes non moins obscènes que les premières»⁷⁹.

L'enquête révélera que l'imprimeur de ces publications érotiques, bien connues dans la littérature libertine du XVIII^e siècle, était Siffrein Reboul, natif de Carpentras comme l'indique son prénom, mais établi depuis longtemps à Avignon. Il avait fait de mauvaises affaires et, pour échapper à ses créanciers, il avait quitté la ville pour Toulouse en 1764. C'est alors que fut découverte sa responsabilité dans l'impression des ouvrages licencieux visés par l'édit du Saint-Office de 1761 et que son procès fut ouvert, à la fois devant l'officialité, tribunal de l'archevêque, et devant l'Inquisition. Ses presses et son matériel furent saisis à Beaucaire à la réquisition de ses créanciers, mais il fut impossible de mettre la main sur le coupable⁸⁰.

Ces affaires retentissantes ne sont pas isolées. En 1766, l'inspecteur Joseph d'Hémery, venu spécialement de Paris pour exécuter un contrôle à la foire de Beaucaire, confisque, dans l'entrepôt de Pierre Delaire et de Joseph-Simon Tournel, libraires d'Avignon, plusieurs exemplaires d'ouvrages interdits à la vente dans le royaume⁸¹. En 1772, l'inspecteur de la librairie en poste à Nîmes découvre des livres libertins ou favorables aux religionnaires dans une balle expédiée d'Avignon à Béziers⁸². En 1781, un certain Bertrand, qui réside à Avignon, informe le secrétaire d'État des Affaires étrangères à Versailles, le comte de Vergennes, que de nombreuses brochures remplies de ragots sur la vie

⁷⁹ Arch. dép. Vaucluse. G 826. Fol. 87-88; Bibl. mun. Avignon. Ms. 2441. Fol. 813.

⁸⁰ Bibl. mun. Avignon. Ms. 1578. Fol. 112.

⁸¹ Voir le procès-verbal de la saisie opérée par d'Hémery le 18 juillet 1766, BNF. Ms. fr. 22098. Fol. 193.

⁸² Arch. dép. Hérault. C 2813.

privée du roi, le renvoi de Necker, l'arrestation du publiciste Linguet, les relations entre la France et l'Angleterre, circulent dans la ville. «Les ballots arrivent icy de Lausanne ou de Genève, pour être vendus au détail et colportés en France». Le vice-légat ne peut rien faire sans l'intermédiaire de l'avocat général de la légation, Passeri, dont la réputation de malhonnêteté et de corruption est bien établie. Il arrive qu'on décide une perquisition dans une boutique de libraire, mais elle est toujours infructueuse car, chaque fois, le contrevenant suspecté a été mystérieusement averti à l'avance⁸³.

Ces constatations donnent du poids aux accusations formulées contre les libraires d'Avignon qui, tout autant que les officines de Genève, de Suisse ou des Provinces-Unies, seraient responsables de l'introduction en France de ces productions dangereuses pour l'esprit public ou les bonnes mœurs, et elles enlèvent une bonne part de leur crédibilité aux protestations des autorités pontificales d'Avignon, qui assurent leurs supérieurs romains ou les ministres de France que rien ne saurait échapper à leur vigilance en matière de mise sous presse de livres suspects. Faut-il pour autant admettre que la production de livres dangereux ou interdits a été la source principale de la prospérité indéniable de l'imprimerie avignonnaise au XVIII^e siècle? Ce serait aller bien trop vite en besogne.

Certes la surveillance exercée par le Saint-Office, l'archevêque ou le vice-légat est loin d'être constante et sans faille, mais elle existe. En France, avec des moyens beaucoup plus importants, la police de la librairie n'est pas toujours plus efficace. Malesherbes, directeur de la Librairie, dans les mémoires où il plaide en faveur de la liberté de la presse, le constate:

Malgré la grande sévérité de M. le chancelier d'Aguesseau sur les livres, dans ses dernières années, on a vu paraître les *Pensées philosophiques*, l'*Histoire [naturelle] de l'âme*, *Les Mœurs* et mille autres. C'est ainsi que la *Gazette ecclésiastique* a existé sous l'administration de M. Hérault qui sûrement ne protégeait pas les Jansénistes <...> nous avons été inondés de brochures sous la Régence et lors des affaires du Parlement et du Clergé en 1731, 1732 et 1733. On se souvient de l'inutilité des efforts de M. Hérault, qui était certainement de bonne foi pour empêcher les *Nouvelles ecclésiastiques*, et dans le même tems le *Judicium Francorum* a paru sans que les auteurs aient été découverts ni punis⁸⁴.

Le comportement des imprimeurs et des libraires d'Avignon n'est certainement pas toujours irréprochable, mais leurs confrères du royaume se trouvent bien souvent en faute eux aussi. Lorsque, en 1766, l'inspecteur d'Hémery est venu spécialement de Paris à la foire de Beaucaire pour visiter les boutiques de libraires, il a fait une large moisson d'environ 400 volumes «contraires à la vraie religion et aux bonnes mœurs». Parmi les victimes de ces saisies, on trouve les Avignonnais Pierre Delaire et Joseph-Simon Tournel, mais Duirat ou Duyrat, de Nîmes, s'est vu confisquer des ouvrages à l'usage des nouveaux convertis et la

⁸³ AMAE. Correspondance diplomatique. Rome. N 889. Fol. 221.

⁸⁴ Malesherbes *Ch.-G. de Lamoignon de*. Mémoires sur la librairie et sur la liberté de la presse. Paris, 1809. P. 25–26, 103.

meilleure prise a été celle de deux balles complètes d'écrits licencieux appartenant à Gaude, libraire de Nîmes lui aussi⁸⁵.

La fausse adresse d'Avignon sert souvent à couvrir des impressions frauduleuses réalisées dans d'autres villes, en France ou ailleurs. On a vu plus haut le cas des œuvres d'Antoine Arnauld proposées par souscription, mais, en 1705 déjà, le vice-légat déplorait qu'on eût mis sur le compte d'un imprimeur d'Avignon un écrit qui avait provoqué les plaintes de l'inquisiteur de Malte: «L'imprimeur nie avec serment qu'il soit issu de ses presses et il m'est revenu que, sous la date d'Avignon, il est paru d'autres imprimés dans ces parages de manière que je m'en suis plaint amèrement auprès de qui il convenait et il ne serait pas impossible que cela soit une nouvelle affaire de la même espèce»⁸⁶. Dissimuler la véritable origine d'une édition clandestine en faisant retomber la faute sur un concurrent avignonnais, c'est faire d'une pierre deux coups. Le procédé a certainement été souvent utilisé.

L'archevêque Manzi, vice-légat par intérim en 1767, le dénonce et s'en indigne en recevant du nonce une lettre l'avisant que le duc de Choiseul lui a signalé qu'il s'imprimerait alors, à Avignon, un ouvrage qui parle avec impudence du roi et de ses ministres: «Notre vigilance est telle qu'il n'y a pas à craindre que quelqu'un ait l'audace d'imprimer de pareilles choses. Les mauvais livres s'impriment clandestinement en France ou dans d'autres régions; et nous ne voyons que trop chaque jour que les imprimeurs étrangers se mettent à couvert en attribuant leur témérité aux Avignonnais»⁸⁷.

Au départ de l'affaire se trouvait une dénonciation anonyme adressée au ministre pour lui signaler qu'un avocat d'Aix, nommé Sube, réfugié à Avignon pour échapper à une condamnation prononcée contre lui par le parlement, était l'auteur d'un gros manuscrit, mis en dépôt au couvent des Grands Augustins et intitulé *Tableau fidèle de la décadence de l'Etat français par son mauvais gouvernement et son horrible administration depuis les faiblesses de Louis XV, orné d'anecdotes curieuses tirées des révolutions romaines*. Cet écrit était supposé apporter des révélations épouvantables sur le compte du roi et de son ministre Choiseul. Ainsi alerté par les plus hautes instances, le vice-légat, en accord avec Rome, accepta de collaborer à une opération menée, dans son propre gouvernement, par un agent de la police française. L'inspecteur d'Hémery, venu spécialement de Paris, avec une lettre signée de Choiseul lui-même pour l'accréditer auprès des officiers de la légation, fit procéder à l'arrestation de Sube. Mais une perquisition minutieuse effectuée en sa présence, dans le couvent des Grands Augustins, se révéla parfaitement vaine. Peu après, faute de preuves susceptibles de justifier sa détention, Sube, qui avait été remis à d'Hémery et incarcéré à la Bastille, devait être libéré avec des excuses et une indemnité pour le dédommager de cette mésaventure⁸⁸.

⁸⁵ Lettre de l'inspecteur d'Hémery au lieutenant général de police, 21 juillet 1766 (BNF. Ms. fr. 22098. Pièce 31).

⁸⁶ Lettre du 10 juin 1705 (Arch. Vatican. Fonds de la légation d'Avignon. N 256. Fol. 229).

⁸⁷ Lettre du 14 mai 1767 (Ibid. N 310. Fol. 209).

⁸⁸ Lettre du duc de Choiseul, 19 juin 1767 (Ibid. N 309. Fol. 236).

Ce n'est pas le seul cas où l'on constate que des accusations portées contre les activités délictueuses des imprimeurs d'Avignon sont en réalité sans fondement. En 1751 déjà, l'intendant du Languedoc avait averti le vice-légat qu'on venait d'arrêter, à Montpellier, un colporteur revendeur de livres parmi lesquels figuraient des exemplaires de *L'Asiatique tolérant*, ouvrage anonyme interdit parce qu'il attaquait la religion catholique et la politique royale envers les religionnaires. Au cours de son interrogatoire, l'inculpé avait prétendu s'être procuré cet ouvrage auprès d'un libraire d'Avignon nommé «Jean Beaux». L'intendant demandait une enquête suivie évidemment de sanctions. Le vice-légat obtempéra. Il fit faire une descente dans l'atelier du suspect, l'imprimeur Jean-Louis Chambeau, mais l'avocat fiscal, chargé de cette mission, ne découvrit rien qui pût corroborer l'accusation. Par précaution, Chambeau et ses ouvriers furent cependant conduits en prison. Ils n'y restèrent pas longtemps. Une nouvelle lettre de l'intendant vint avertir le vice-légat que le renseignement qu'il lui avait fourni était faux. Vérification faite, il s'avérait que le livre saisi dans la balle du colporteur n'avait pas été imprimé à Avignon mais à Genève⁸⁹. Ce fut l'occasion pour le représentant du pape de se plaindre amèrement des faux rapports qu'on répandait en France sur la licence supposée des imprimeurs d'Avignon, ce qui mettait en cause son administration: les ministres français «pourraient douter que, à Avignon, on se montre attentif aux imprimeries comme par la jalousie des marchands libraires français, on a voulu le faire croire plusieurs fois». En réalité la vigilance des officiers du pape ne se relâche pas et, lorsque paraît en France un ouvrage suspect sous l'indication d'une origine avignonnaise, «ce n'est pas là qu'il a été imprimé mais bien plutôt à Lyon, où ils prennent l'adresse d'Avignon exprès pour discréditer et faire tomber le commerce des livres qui se fait dans cette ville»⁹⁰.

Beaucoup plus tard, en 1782, Avignon fut de nouveau fortement suspectée d'avoir produit un livre scandaleux intitulé *Vie privée de Louis XV*, dont des exemplaires circulaient dans les États pontificaux, à Nîmes et dans les environs⁹¹. Mais avant de s'en plaindre auprès du nonce, le comte de Vergennes, secrétaire d'État des Affaires étrangères, crut bon de consulter le lieutenant général de police de Paris, Jean-Charles-Pierre Lenoir. Celui-ci, tout en admettant que des réimpressions de cet ouvrage avaient pu avoir lieu à Avignon, lava complètement les sujets du pape de l'accusation d'avoir été à l'origine de ce recueil de révélations infâmes car, pour lui, il ne faisait aucun doute que la première édition en avait été faite en Hollande⁹².

Il ne faudrait donc pas prendre pour argent comptant toutes les imputations malveillantes répandues alors dans l'opinion publique au sujet des pratiques

⁸⁹ Il s'agit de *L'Asiatique tolérant, traité à l'usage de Zeokinizul, roi des Kofirans...*, de Laurent Angliviel de La Beaumelle, en fait imprimé probablement chez Marc Michel Rey à Amsterdam.

⁹⁰ Lettre du vice-légat au nonce, 28 avril 1751 (Arch. Vatican. Fonds de la légation d'Avignon. N 283. Fol. 232).

⁹¹ Lettre de M. de La Brousse, avocat à Aramon, en date du 5 avril 1782, adressée au comte de Vergennes (AMAE. Correspondance diplomatique. Rome. Supplément 32. Fol. 323).

⁹² Lettre du lieutenant de police Lenoir, 19 avril 1782 (Ibid. Fol. 325).

délictueuses des imprimeurs d'Avignon. C'est ce que demandent ces derniers, dans une supplique adressée en 1778 au cardinal secrétaire d'État Pallavicini, pour lui demander de plaider leur cause auprès des responsables de la Librairie française. «Les entreprises de toute nature et même les plus irrégulières que se permettent depuis longtemps les libraires de France, à l'ombre de la prétendue liberté qu'ils supposent [aux sujets du pape] font passer Avignon pour être la source de tous les brigandages typographiques dont le gouvernement se propose d'arrêter les excès»⁹³. Cette réputation désastreuse est, pour le moins, très exagérée. Avignon n'est pas ce «grand bureau d'adresse des livres suspects» qu'on a trop complaisamment dépeint.

Le contrôle des imprimeries, si épisodique et lâche qu'il soit, n'en constitue pas moins une menace constante qui, comme nous l'avons vu, peut se concrétiser par des saisies et des condamnations qui ne sont pas toujours bénignes. Ce sont des risques que les artisans du livre préfèrent éviter. Car nous n'avons pas affaire à des apôtres de la libre pensée ou à des révolutionnaires convaincus prêts à affronter les persécutions pour la défense de leurs idées. Les imprimeurs et les libraires d'Avignon sont d'abord des commerçants. Ce qu'ils recherchent avant tout, c'est le profit. Il peut arriver, il est arrivé, que l'appât du gain les pousse à mettre sous presse des ouvrages à scandale dont le public est friand ou des livres hérétiques dont le débit est assuré dans les Cévennes voisines, mais pourquoi s'exposeraient-ils ordinairement à des amendes, à des saisies, voire à la prison alors qu'ils peuvent très facilement gagner gros en reproduisant les œuvres à succès publiées très légalement en France, avec privilège ou sous permission tacite, sans soulever aucune objection de la part des autorités pontificales?

Pour ce genre d'ouvrages, aucune autorisation à solliciter, pas de droits de chancellerie à payer, aucune censure à affronter ni d'interdiction à craindre. Si, par hasard, une fois passé en France, sur la plainte de l'éditeur d'origine, l'ouvrage est arrêté à une visite d'une chambre syndicale ou par un inspecteur de la librairie, c'est l'affaire du libraire français qui s'est fait livrer les volumes délictueux, mais cela ne concerne plus l'imprimeur avignonnais, bien à l'abri en territoire étranger, et dont le nom n'apparaît nulle part. Le risque est assez faible et, jusqu'en 1777, les libraires établis dans les États du pape trouvent de nombreux clients et complices chez leurs confrères du royaume.

Aucun droit non plus à payer aux auteurs dont on imprime les œuvres sans leur permission, avec l'avantage supplémentaire que l'accueil du public à la première édition d'un livre nouveau est un excellent indicateur des profits qu'on peut tirer d'une reproduction pirate. Si un ouvrage a eu du succès en France, on peut être certain que, dans les semaines qui suivent, une ou même plusieurs contrefaçons avignonnaises, à moindre prix, seront lancées sur le marché au grand dam des libraires parisiens ainsi frustrés des profits qu'ils espéraient. La fureur qu'ils en éprouvent leur inspire les véhémentes accusations qu'ils portent contre

⁹³ Arch. Vatican. Fonds de la congrégation d'Avignon. N 182; Fonds de la légation d'Avignon. N 314. Fol. 126, 413.

leurs rivaux établis dans les terres du pape. Ils les dénoncent comme des concurrents illicites mais surtout comme les principaux responsables de la marée de mauvais livres qui inonde le royaume. Ils insistent sur cet aspect de la production avignonnaise parce qu'ils supposent que les ministres du roi auxquels ils adressent leurs plaintes seront plus sensibles aux dangers encourus pour la vraie religion et les bonnes mœurs qu'aux dommages causés à leurs intérêts matériels. C'est pourquoi ils montent en épingle la diffusion d'œuvres à caractère pornographique et de livres hérétiques ou pernicious, alors qu'en réalité le grief principal est bien la contrefaçon éhontée qui se pratique ouvertement à Avignon à l'abri de la qualité d'étrangère de cette ville et qui est la raison principale de l'expansion étonnante du commerce du livre qu'elle a connue. Pour s'en convaincre, il suffit de voir comment la prospérité de cette branche d'activité s'est effondrée à partir du moment où la contrefaçon est devenue beaucoup moins fructueuse puis carrément interdite.

En 1777, une série d'arrêts du Conseil du Roi, tous datés du 30 août, a profondément modifié les règles de la librairie française et, en particulier, le régime des privilèges. Ceux-ci, au lieu de demeurer pratiquement perpétuels au profit des éditeurs parisiens, cesseraient d'avoir leur effet au bout de dix ans ou à la mort de l'auteur. Les imprimeurs de province pourraient désormais mettre sous presse et débiter librement tous les classiques et tous les ouvrages tombés dans le domaine public. En échange, la vente des contrefaçons serait beaucoup plus sévèrement poursuivie et punie. À titre transitoire, les libraires qui avaient dans leurs magasins des livres contrefaits antérieurs aux édits de 1777 pourraient les faire estampiller, dans un délai de deux mois, à la chambre syndicale dont ils relevaient. Les exemplaires ainsi marqués pourraient être mis en vente sans risque de poursuite mais, par la suite, toute contrefaçon serait impitoyablement saisie et détruite.

Les libraires d'Avignon n'étaient pas directement concernés par ces mesures nouvelles, mais ils s'en trouvèrent immédiatement et très durement affectés. Leurs magasins étaient remplis de livres contrefaits dont la diffusion en France devenait très difficile. Les confrères de France avec qui ils étaient en affaire, satisfaits de pouvoir imprimer eux-mêmes la plupart des ouvrages de grand débit qui faisaient le fonds de leur commerce, ne s'adresseraient désormais plus à eux, et la rigueur des nouveaux règlements remplacerait la tolérance qui était de mise jusque-là⁹⁴. Si les Avignonnais étaient réduits à ne vendre que des ouvrages originaux, en première édition, leurs presses seraient rapidement mises au chômage.

C'est bien ce qui se produisit: en quelques mois la plupart d'entre eux se trouvèrent en grandes difficultés financières et plusieurs furent acculés à la faillite. Les ouvriers imprimeurs quittaient la ville ou se reconvertissaient dans d'autres métiers. Les libraires avaient bien tenté d'invoquer les privilèges de

⁹⁴ À partir de 1781, on applique à la rigueur la disposition ancienne, mais jamais respectée jusque-là, qui exigeait que tout colis de livres sortant des États du pape fût immédiatement plombé par les commis des fermes et transporté à la chambre syndicale la plus proche, celle de Nîmes, pour y être ouvert et inspecté.

régnicoles des sujets du pape pour demander l'estampillage de leurs livres contrefaits, à l'instar de leurs confrères du royaume, mais on leur avait ri au nez. Privés de la complicité de leurs correspondants français, accablés par la masse de volumes invendables qui encombraient leurs magasins, ils se résignèrent à renoncer aux avantages de la situation d'étrangers qui avait fait leur fortune mais qui maintenant se retournait contre eux, et ils demandèrent leur assimilation complète à la librairie française pour pouvoir sauver au moins une partie de leur commerce.

Après de longues négociations, ils finirent par l'obtenir. Un concordat signé en 1785 entre les représentants du gouvernement français et ceux du pape accordait aux imprimeurs et libraires d'Avignon les mêmes droits mais leur imposait aussi les mêmes contraintes qu'à leurs confrères français. Un impôt sur le papier, perçu au profit du Trésor pontifical (c'était une grande nouveauté), serait établi pour mettre leurs entreprises à égalité avec celles de France, déjà soumises à cette perception, et le nombre de ceux qui seraient autorisés à poursuivre leur activité serait progressivement réduit à huit. Quant aux livres contrefaits qui remplissaient leurs entrepôts, ils seraient estampillés pour éviter leur confiscation, mais ils ne pourraient être vendus qu'à l'extérieur du royaume et, pour l'avenir, la contrefaçon serait tenue pour un délit et punie comme en France.

En mettant Avignon au même régime que les autres centres français de province, ce concordat marque la fin de la période de prospérité de la librairie dans cette ville. Cette activité qui avait tenu tant de place dans le commerce et fourni du travail à tant d'ouvriers ne disparaîtra pas cependant. En vertu de la vitesse acquise, elle se poursuivra au XIX^e siècle avec encore un certain éclat dans le domaine du livre religieux. Les mauvaises habitudes contractées au cours des décennies précédentes se perpétueront encore quelque temps. Chateaubriand sera victime, en 1802, d'une contrefaçon avignonnaise du *Génie du Christianisme*⁹⁵. Mais la réputation d'Avignon en tant que centre de production de littérature licencieuse ou subversive demeurera longtemps comme le souvenir trompeur d'une tradition certainement en grande partie usurpée.

Рене Мулинас

**Цензура и надзор за книгоизданием
и книготорговлей в Авиньоне и Конта-Венессен
в XVIII веке**

В Авиньоне, иностранном анклавe (этот город был частью Папского государства) на территории французского королевства, ок. 1730 г. начался поразительный расцвет книгоиздания. К середине XVIII в. там насчитывалось уже около

⁹⁵ Voir *Marcel A.* Contribution à l'histoire anecdotique d'Avignon, I. *Le Génie du Christianisme* à Avignon // *Mémoires de l'Académie de Vaucluse*. 1925. T. 25. P. 153–157.

тридцати самостоятельных издателей. Парижские конкуренты обвиняли их в публикации запрещенных книг, распространявшихся по Франции и Европе. Между тем, цензура и надзор над книгопечатанием и книготорговлей основывались там на тех же принципах, что и во Франции. Надзорные функции были возложены на епископа и, особенно, на инквизитора Авиньона; в течение XVIII в. церковный контроль все чаще дополнялся светским, осуществлявшимся вице-легатом папы. В 1765 г. была предпринята попытка преобразовать авиньонское книгоиздание по французской модели, то есть объединить издателей в жестко регламентированную корпорацию с ограниченным числом членов во главе с синдиком, отвечавшим за поведение своих собратьев. Однако эта попытка потерпела фиаско.

Многочисленные примеры нарушения установленных правил показывают, что надзор часто не достигал своей цели. В Авиньоне выходили и вольнодумные книги, и книги для протестантов, однако их издание всегда было сопряжено с риском; гораздо больше прибыли приносил выпуск контрафактной продукции. Доказательством этому служит быстрый упадок авиньонского книгоиздания, наступивший после действительного запрета контрафактных изданий постановлениями Королевского совета 1777 г. и конкордатом 1785 г.

CHRISTIANE BERKVENNS-STEVELINCK

LA CENSURE DE L'ÉDITION DE LANGUE
FRANÇAISE AUX PROVINCES-UNIES:
MYTHE ET RÉALITÉ

L'histoire de l'édition de langue française aux Provinces-Unies diffère sensiblement de l'histoire de l'édition française en France, et cette différence apparaît surtout lorsque l'on considère les pratiques de censure dans les deux pays. Ce n'est pas sans étonnement que le voyageur anglais John Ray note, lors d'un périple aux Provinces-Unies en 1663: «Les gens disent et impriment tout ce qui leur plaît. Ils appellent cela liberté»¹ – remarque qu'il n'aurait certes pas pu faire en France, où sévit alors une censure rigoureuse. Il était manifeste pour les contemporains de Ray qu'en Hollande, l'édition jouissait d'une liberté bien plus grande que dans la plupart des autres pays d'Europe. Mais cette liberté n'était pas absolue, tant s'en faut. Et, sur ce point, les historiens du livre et les historiens des idées s'empoignent allègrement, principalement depuis ces dernières décennies. La liberté de presse en Hollande, disent certains, n'était certes pas totale, même si, sur le plan européen, elle était presque unique. Il s'agissait en fait d'une liberté «tempérée»². Seules la Transylvanie et plus tard l'Angleterre s'en seraient approchées. Leurs adversaires répliquent: il s'agit là d'un mythe, la censure existait bel et bien en Hollande, comme le prouvent les multiples ordon-

©Christiane Berkvens-Stevelinck, 2008

¹Ray R. *Travels through the Low Countries, Germany, France*. London, 1738. Vol. 1. P. 47. La première édition de ce voyage fait en 1663 parut en 1673. Cité par *Hoftijzer P.G., Lankhorst O.S.* Drukkers, boekverkopers en lezers in de Republiek. Een historiografische en bibliografische handleiding. Den Haag, 2000. P. 157 et note 25.

²Cf. l'ouvrage phare: *Gelder H.A.E. van.* *Getemperde Vrijheid: een verhandeling over de verhouding van Kerk en Staat in de Republiek der Verenigde Nederlanden en de vrijheid van meningsuiting inzake godsdienst, drukpers en onderwijs, gedurende de 17^e eeuw.* Groningen, 1972. Cette opinion est partagée par Willem Frijhoff et Marijke Spies: *Frijhoff W., Spies M.* 1650. Bevochten eendracht. Den Haag, 1999. P. 264–266.

nances promulguées à ce sujet et les quelques centaines de titres interdits officiellement³. Qu'en est-il en réalité? Comment la censure se développa-t-elle de manière générale aux Pays-Bas du Nord? Quelle fut l'influence de la censure hollandaise sur l'édition de livres en français aux Provinces-Unies et sur la diffusion de la pensée éclairée en Europe aux XVII^e et XVIII^e siècles? Telles sont les questions auxquelles cet article tente de répondre.

Mais, avant cela, il est nécessaire de rappeler que les Lumières, dans les Provinces-Unies, ont commencé au XVII^e siècle et connu leur apogée entre 1660 et 1740 pour décliner ensuite⁴. Ce décalage de près d'un siècle par rapport aux Lumières françaises, puis plus généralement européennes, a poussé certains auteurs à parler d'*Early Enlightenment* («pré-Lumières»), et ce terme a été malencontreusement repris par beaucoup d'historiens, entérinant ainsi une conception de l'histoire des Lumières centrée uniquement sur la France et ne tenant aucun compte de l'évolution philosophique et religieuse de l'Angleterre et des Pays-Bas du Nord. Or les idées de Bayle, Spinoza, Boyle, Locke, Hobbes et Newton n'ont pu influencer les Lumières européennes qu'après avoir imbibé d'idées nouvelles les Lumières néerlandaises. Le combat voltairien contre l'intolérance avait été mené plus d'un siècle auparavant par John Locke et Pierre Bayle respectivement en Angleterre et aux Pays-Bas. L'intérêt porté en Hollande, dans le premier quart du XVIII^e siècle, par Jacques Basnage de Beauval et Jean Frédéric Bernard par exemple, aux religions du monde, et traitant le christianisme comme une de ces religions, ne sera repris en France que plusieurs décennies plus tard⁵. L'histoire de la censure néerlandaise à l'époque des Lumières s'étend donc en fait sur les XVII^e et XVIII^e siècles. Qui plus est, cette histoire ne saurait se comprendre sans remonter à la fondation de la république des Provinces-Unies.

Les Pays-Bas du Nord constituent, de la fin du XVI^e à la fin du XVIII^e siècle un État qui, à bien des égards, tranche sur ses voisins. Trois particularités intéressent le sujet qui nous concerne: la situation politique, la situation religieuse et la situation économique. Politiquement, les Provinces-Unies sont, depuis la scission des Pays-Bas espagnols en Pays-Bas du Nord et Pays-Bas du Sud, une république indépendante composée de sept provinces, toutes fort jalouses de leurs prérogatives. Au sein de ces provinces, les régions et les villes ne se montrent pas moins indépendantes. L'éclatement du pouvoir politique entraîne l'impossibilité d'imposer avec force des mesures de censure générales.

Du point de vue religieux, les Provinces-Unies ne connaissent pas de religion d'État. L'Église réformée est bien considérée comme dominante mais la

³ *Weekhout I.* Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw. Den Haag, 1998. La liste des ouvrages interdits entre 1581 et 1698 se trouve aux pages 371–389. Elle compte 263 titres dont 31 en français pour la période 1581–1700.

⁴ *Israel J.* *The Dutch Republic. Its rise, greatness and fall, 1477–1806.* Oxford, 1995. P. 931–1047.

⁵ *Israel J.* *The Dutch Republic...* P. 1040. *Basnage de Beauval J.* *L'Histoire et la religion des Juifs depuis Jésus-Christ jusqu'à présent.* Rotterdam: Reinier Leers, 1707; *Bernard J.F.* *Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde.* Amsterdam: J.F. Bernard, 1723.

séparation de l'Église et de l'État est un fait. L'État a le devoir de permettre à tous les citoyens d'exercer en paix la religion de leur choix, à condition toutefois de ne pas porter atteinte à l'ordre public. Les plaintes éventuelles des représentants de l'Église réformée doivent être adressées au magistrat, qui statue sur leur bien-fondé. De ce fait, toute tentative d'imposer au sein de l'État une censure religieuse préalable est vouée à l'échec. Et effectivement, les quelques tentatives allant dans ce sens n'aboutirent pas.

Économiquement, les Provinces-Unies connaissent au XVII^e siècle leur *Siècle d'or*. Comme les Hollandais en sont bien conscients, le commerce ne peut s'épanouir en temps de guerres extérieures ou de tensions intestines. Tout sera donc mis en œuvre pour protéger la paix et apaiser les dissensions. Les ambassadeurs étrangers se plaignant de la publication d'ouvrages nuisibles à leurs gouvernements seront entendus lorsque la situation politique l'exigera. Et les ambassadeurs de France aux Pays-Bas ne sont certes pas les derniers à se plaindre, comme nous le verrons par la suite.

La conjonction de ces trois particularités, politique, religieuse et économique, fait des Provinces-Unies un pays d'immigrants qui viennent y chercher la liberté religieuse et le bien-être économique. Dans la foulée, ces immigrants convoient avec eux des idées nouvelles, qu'ils vont s'attacher à répandre. Juifs, huguenots, sociniens polonais, dissidents anglais, jansénistes: l'arrivée successive de ces groupes à la recherche d'une nouvelle vie occasionne une effervescence culturelle sans précédent dont l'impact sur l'édition ne se fait pas attendre. On publie en Hollande ce qu'on ne pourrait pas publier ailleurs. C'est tellement vrai que les auteurs étrangers envoient – et accompagnent parfois – leurs manuscrits en Hollande pour y être publiés, puis diffusés en Europe. Parmi eux, nombre de Français.

Mais tout était-il permis? Certes non! Et ce depuis le début. Pour bien comprendre l'histoire de la censure aux Provinces-Unies en général et celle des livres français qui y paraissaient en particulier, il nous faut remonter aux tout débuts du nouvel État.

SCISSION OU CONTINUITÉ?

Sous la domination espagnole, les Pays-Bas étaient soumis à un régime de censure strict⁶. Dans la première moitié du XVI^e siècle étaient interdites la production, la vente et la lecture de tout texte illégal, c'est-à-dire de tout ouvrage n'ayant pas obtenu la permission d'imprimer. Cette censure préventive touchait tous les types de textes, religieux ou non, et s'accompagnait d'une censure répressive de plus en plus lourde au fur et à mesure des progrès de la Réforme. Chaque livre devait porter une adresse bibliographique claire, chaque officine

⁶ Voir l'excellent article *Nierop H.F.K. van. Censorship, illicit printing and the revolt of the Netherlands // Too mighty to be free. Censorship and the press in Britain and the Netherlands / Éd. A.C. Duke, C.A. Tamse. Zutphen, 1987. P. 29–44.*

de librairie afficher bien en vue une liste de livres défendus et disposer d'un inventaire précis de son fonds. Les inspections étaient fréquentes et des espions à la solde des autorités avaient pour tâche de dénoncer les contrevenants. L'université de Louvain tenait à jour l'index des livres interdits. Les livres importés de l'étranger devaient être déballés en présence des autorités. Quant aux libraires, dont l'identité et le nombre étaient soigneusement contrôlés, ils devaient prêter serment de ne pas enfreindre les ordonnances de censure, sous peine d'emprisonnement ou de mort, les livres incriminés étant saisis et brûlés. La situation devint si grave que plusieurs imprimeurs s'expatrièrent pour aller travailler en Angleterre, dans les pays allemands ou encore en France (Sedan et Rouen). Vers 1550, le contrôle de l'État habsbourgeois était pratiquement complet, du moins en théorie. Car, malgré toutes ces mesures de censure, les livres interdits continuaient à être imprimés, les magistrats locaux se montrant souvent réticents à appliquer les ordonnances du pouvoir central. Christophe Plantin lui-même, à Anvers, faisait rouler ses presses sur des ouvrages défendus, en évitant soigneusement d'y mettre son nom et adresse. D'autre part, les titres prohibés, de nature principalement protestante, qui parvenaient tout de même aux Pays-Bas, n'étaient plus distribués dans les échoppes de libraires mais écoulés directement lors d'assemblées religieuses interdites. L'arrivée du duc d'Albe exacerba alors les mécontentements et aboutit finalement à la révolte des provinces du Nord, sous la houlette de Guillaume d'Orange.

À l'époque moderne, l'idée de la censure était généralement acceptée. Pour les grands réformateurs comme pour les autorités catholiques, la censure allait de soi. La question était de préciser l'envergure de cette censure, les moyens utilisés pour la faire respecter et, surtout, les tâches respectives de l'Église et de l'État dans son application. Tout au long du XVI^e siècle, aux Pays-Bas, les magistrats locaux se montrèrent fort peu disposés à appliquer des mesures aussi draconiennes à leurs yeux que la peine de mort pour l'impression d'un livre défendu. Pourquoi en était-il ainsi? Historiquement, les villes des Pays-Bas étaient très attachées à leurs privilèges. Les magistrats étaient fort peu tentés par une attitude d'obéissance aveugle au pouvoir central ou aux autorités religieuses, élevés comme ils l'étaient dans l'esprit humaniste d'Érasme, dont les ouvrages, justement, étaient interdits! Cet état de choses est fort important à relever car il est à la source de cette liberté «tempérée» qui sera celle de la Hollande aux XVII^e et XVIII^e siècles et où coexisteront une législation musclée et un laxisme prononcé dans l'application de cette même législation.

Lorsque Guillaume d'Orange promulgue, en 1581, la première ordonnance du nouvel État concernant la parution de livres, pamphlets, gravures, etc., il se place dans la continuité de la législation habsbourgeoise tout en modulant le ton d'une façon tout à fait particulière⁷. Tous les ouvrages offensants et séditions qui pourraient induire le peuple en erreur et menacer la sécurité de l'État sont interdits sous peine d'amende, de saisie, d'emprisonnement et autres

⁷ Ibid. P. 29.

punitions. La scission n'en est pas moins claire. D'une part il ne s'agit plus désormais que de censure répressive, la censure préventive ayant disparu. Et d'autre part l'ordonnance de 1581 ne parle que de textes de sédition politique ou attentant aux bonnes mœurs. Il n'est fait aucune allusion à l'hétérodoxie religieuse.

La «Furie espagnole» avait laissé tant de cicatrices aux Pays-Bas que l'idée d'un nouvel assujettissement à une censure religieuse sévère n'y prit plus jamais racine. Désormais, c'était uniquement au pouvoir politique de décider quels ouvrages devaient être interdits, soit parce qu'ils étaient jugés nuisibles à l'État, soit parce que les plaintes des autorités religieuses étaient considérées comme fondées. Néanmoins, cette législation «transparente» se heurtait au caractère particulariste de la nouvelle République. Comme au temps des Habsbourgs, les provinces et les villes restaient fort jalouses de leur indépendance. Les éventuelles demandes de censure devaient être adressées aux États généraux, aux États des différentes provinces ou encore aux magistrats municipaux. Cette cascade de pouvoirs rendait quasiment impossible une censure généralisée. Les plaintes déposées aux États de Hollande n'avaient aucune valeur en Frise; un livre interdit et saisi à Leyde pouvait fort bien paraître à Leeuwarden peu après. De plus, comme on va le voir et toujours dans une certaine continuité avec la situation habsbourgeoise, les magistrats civils se faisaient souvent tirer l'oreille pour décréter des interdictions souhaitées par les autorités religieuses.

LE SIÈCLE D'OR

Les ordonnances de censure éditées tout au long du Siècle d'or ne font que réitérer plus ou moins l'ordonnance de Guillaume d'Orange⁸. Même après le synode de Dordrecht de 1619, qui voit la victoire de l'orthodoxie réformée, les autorités séculières ne succombent pas aux efforts des autorités religieuses exigeant l'instauration d'une censure préventive, à la fois politique et religieuse. Seules les publications politiquement séditieuses sont formellement interdites. Cinquante ans plus tard, en 1669, les États généraux réitèrent l'interdiction des ouvrages séditieux, dirigés contre les puissances étrangères ou aptes à ruiner la réputation des grands, ainsi que des ouvrages obscènes, nuisibles à la jeunesse. Il s'agit toujours de censure répressive, après parution. Et c'est dans le cadre de la censure répressive que certains types d'ouvrages, ou certaines publications précises, sont bel et bien interdits.

L'exemple le plus éclairant est sans nul doute celui des ouvrages qualifiés de «sociniens». Les sociniens, adeptes de l'unitariste Fausto Sozzini (Faustus Socinus), avaient été chassés de Pologne et nombre d'entre eux se réfugièrent en Hollande au Siècle d'or. Grâce à l'édition de nombreux ouvrages, ils y exer-

⁸ Gelder H. A. E. van. Op. cit. P. 151–163.

cèrent une influence non négligeable sur la pensée religieuse. Leur refus du dogme de la Trinité et de la nature divine du Christ, leur insistance sur l'emploi de la raison en matière de foi firent d'eux les ennemis jurés de l'orthodoxie calviniste. «Socinien» devint une injure appliquée à tort et à travers à toute personne susceptible d'idées hétérodoxes. Les autorités religieuses exigèrent à maintes reprises des mesures de censure sévères contre les «livres sociniens», tels la *Bibliotheca Fratrum Polonorum*, le catéchisme de Rakow ou encore les écrits de Socinus et de Crellius⁹. D'autres tendances hétérodoxes, tels l'arminianisme, le pré-adamisme ou le déisme, des auteurs comme Hobbes, Descartes et Spinoza, susceptibles d'encourager l'athéisme, ou ce qui était considéré comme tel, rencontrèrent, comme nous allons le voir, les mêmes difficultés. Les peines encourues variaient de la saisie des livres incriminés à des amendes plus ou moins élevées, de l'emprisonnement au bannissement de l'imprimeur.

Des peines rappelant l'Inquisition, comme les punitions corporelles ou la mise à mort, ne sont que rarement mentionnées et pratiquement jamais mises en œuvre¹⁰. En fait, il existe une grande distorsion entre la législation et son application effective. C'est même là une des caractéristiques les plus manifestes de la culture néerlandaise depuis ses tout débuts jusqu'à nos jours. Cette caractéristique porte un nom: *oogluiking* («fait de fermer les yeux») au XVII^e siècle, *gedogen* («supporter») au XX^e siècle. On laisse passer ce qui, en principe, est interdit, tant que cela est censé ne déranger personne. Ce fait culturel typique vaut dès le XVI^e siècle pour l'établissement de groupes religieux et pour la publication de livres, par exemple; cela vaudra au XX^e siècle pour l'avortement, l'euthanasie ou l'usage de drogues. Vu de l'étranger, cela ne laissera pas d'étonner et parfois même de révolter les contemporains. Ainsi, les proclamations de censure, renouvelées et précisées par les différentes autorités, témoignent d'une politique musclée alors que leur application est plus qu'aléatoire. Les États généraux ou provinciaux, ou encore certaines villes interdisent bien la vente de certaines publications dont on s'est plaint, mais les magistrats et régents responsables se montrent souvent réticents pour appliquer ces prohibitions, allant jusqu'à avertir les imprimeurs de l'arrivée des officiers de police. Il n'y a donc pas de quoi s'étonner si la république des Provinces-Unies est considérée comme «La Mecque des auteurs»¹¹ et si les auteurs de langue française, entre autres, s'adressent à la Hollande pour publier leurs ouvrages ou s'y réfugient pour les écrire.

⁹ *Israel J.* The Dutch Republic... P. 912–914.

¹⁰ *Eijnatten J. van.* Van godsdienstvrijheid naar mensenrecht: meningsvorming over censuur en persvrijheid in de Republiek, 1579–1795 // *Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden.* 2003 (1). N 118. P. 1–21, P. 2 en particulier.

¹¹ *Groenveld S.* The Mecca of authors? States assemblies and censorship in the seventeenth-century Dutch Republic // *Too mighty to be free.* P. 63–85.

DESCARTES

L'exemple de René Descartes est particulièrement éclairant¹². Ses ouvrages furent publiés sans encombre aux Pays-Bas, et ceci malgré les plaintes réitérées de certains professeurs d'université, farouchement opposés à ses idées. Le *Discours de la méthode* paraît en 1637 à Leyde chez Jean Maire; les *Principia*, parus d'abord en latin chez Louis Elzevier à Amsterdam en 1644, sortent en traduction française à Paris en 1647¹³. À la suite des plaintes répétées de Voetius, qui accusait Descartes d'athéisme, la ville d'Utrecht, soucieuse de calmer les esprits échauffés, interdit la vente des ouvrages de controverse sur les idées de Descartes. L'université d'Utrecht puis celle de Leyde défendent même officiellement l'enseignement de la philosophie cartésienne dans leurs murs. Mais cela, c'est la théorie. Au mépris de ces interdictions, les éditions se succèdent sans difficulté et la philosophie cartésienne fait son entrée dans les universités néerlandaises¹⁴. En France et en Angleterre, cette philosophie restera longtemps bannie officiellement des universités, encore dominées par l'aristotélisme et la scolastique, et les idées de Descartes trouveront plutôt leur chemin dans les institutions scientifiques telles la Royal Society de Londres ou l'Académie royale des sciences. Déçu et même outré par les ordonnances de censure, René Descartes ne comprit pas à quel point sa philosophie avait pénétré l'enseignement universitaire néerlandais et exprima sans ambages sa déception lors de son départ pour la Suède.

SPINOZA

Autre exemple des aléas de la censure néerlandaise: les œuvres de Spinoza. Né à Amsterdam en 1632 de parents séfarades établis aux Provinces-Unies depuis 1621, Baruch Spinoza publie anonymement le *Tractatus theologico-politicus* en 1670¹⁵. L'ouvrage, jugé hétérodoxe et menant tout droit à l'athéisme, fait immédiatement l'objet de plaintes. Il est interdit à Leyde l'année même de sa parution, et à Utrecht l'année suivante, mais il faudra attendre 1674 pour qu'il

¹² Verbeek T. Descartes and the Dutch, early reactions to Cartesian philosophy: 1637–1650. Carbondale-Edwardsville, 1992; La Querelle d'Utrecht. René Descartes et Martin Schoock / Textes établis, traduits et annotés par T. Verbeek. Paris, 1988.

¹³ Les Principes de la philosophie, escripts en latin par René Descartes, et traduits en François par un de ses amis [l'abbé Picot]. Paris: Henri Le Gras, 1647. Voir, pour la bibliographie complète des œuvres de Descartes: *Otegem M. van. A Bibliography of the works of Descartes (1637–1704)*. Utrecht, 2002.

¹⁴ Frijhoff W., Spies M. Op. cit. P. 296–322.

¹⁵ *Tractatus theologico-politicus*, continens dissertationes aliquot, quibus attenditur libertatem philosophandi non tantum salva pietate et reipublicae pace posse concedi, sed eandem nisi cum pace reipublicae ipsaque pietate tolli non posse, «Hambourg, H. Künraht» [pour Amsterdam, Christoffel Cunradus et Jan I Rieuwertsz], 1670.

soit généralement interdit¹⁶. Cependant, encore une fois, la censure répressive ne survenant qu'après coup, les ouvrages incriminés avaient souvent déjà eu l'occasion de se répandre. Les œuvres posthumes de Spinoza, par exemple, ne furent interdites qu'après six mois. Et le laxisme des magistrats ouvrait aux libraires des possibilités que les ordonnances officielles semblaient exclure. C'est peut-être ce qui explique l'antinomie entre l'idée généralement admise que les ouvrages de Spinoza circulaient plus ou moins librement aux Pays-Bas et l'hypothèse de J. Israel selon laquelle cela n'aurait jamais été le cas¹⁷.

La première traduction française du *Tractatus theologico-politicus* parut en 1678 à Amsterdam sous le titre de *La Clef du sanctuaire par un sçavant homme de notre siècle* et fut immédiatement interdite, aussi bien aux Pays-Bas qu'en France¹⁸. La même année, une ordonnance interdit aux Pays-Bas toute nouvelle édition ou traduction des œuvres de Spinoza¹⁹. En fait, les idées de Spinoza, qui constituaient une des premières attaques éclairées des religions établies, ne parvinrent en France que simplifiées, par le biais de huguenots réfugiés écrivant en français: l'article «Spinoza» du *Dictionnaire* de Pierre Bayle, les ouvrages de Jean Rousset de Missy et de Jean Frédéric Bernard. Or ces ouvrages, rappelons-le, étaient interdits en France mais y trouvaient cependant leur chemin. En fait, il est probable que la transmission tardive et tronquée des idées de Spinoza en France soit effectivement due aux mesures de censure prises à la fois en Hollande et en France, mesures effectives, certes, mais qui ne rendaient pas pour autant impossible la distribution des ouvrages interdits.

LES PAMPHLETS POLITIQUES

Par contre, les Pays-Bas connaissent une censure assez stricte des écrits politiques susceptibles de heurter les puissances étrangères. Les États généraux et ceux des provinces – principalement les États de Hollande – ne se montrent pas insensibles aux plaintes des ambassadeurs étrangers et en particulier à celles des ambassadeurs de France²⁰. Tout au long des XVII^e et XVIII^e siècles, les édits de censure renouvellent l'interdiction d'imprimer ou de vendre des pamphlets politiques hostiles aux gouvernements voisins ou des écrits satiriques raillant les cours étrangères²¹. Au Siècle d'or, les régents, conscients de leur pouvoir, se font parfois tirer l'oreille, mais, au XVIII^e siècle, la décadence économique et poli-

¹⁶ Israel J. The banning of Spinoza's works in the Dutch Republic (1670–1678) // Disguised and overt Spinozism around 1700: papers presented at the international colloquium held at Rotterdam, 5–7 October 1994 / Ed. by W. van Bunge et W. Klever. Leiden, 1996. P. 3–14.

¹⁷ Ibid. P. 10.

¹⁸ [La] Clef du sanctuaire par un sçavant homme de notre siècle... «A Leyde» [i. e. Amsterdam]: chez Pierre Warnier, 1678.

¹⁹ Israel J. The Dutch Republic... P. 916.

²⁰ Koopmans J.W. Om de lieve vrede? Buitenlandse invloeden op de Nederlandse censuur in de achttiende eeuw // Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. 2004. N 11. P. 83–97, 209.

²¹ Frijhoff W., Spies M. Op. cit. P. 264–266.

tique des Provinces-Unies les force à se montrer plus conciliants. Ils ne tiennent nullement à s'attirer les foudres de la Cour de France en laissant circuler des pamphlets ou des chansons dirigés contre les maîtresses du roi, l'immoralité de la Cour ou la politique économique de la France. En 1719, l'ambassadeur de France, Charles-Jean-Baptiste Fleuriau de Morville, se plaint d'avoir vu circuler des pamphlets dirigés contre son gouvernement; ils sont interdits et saisis. L'année suivante, les critiques émises par certains journaux en français à l'égard des réformes économiques de John Law sont peu appréciées dans la capitale française. L'ambassadeur des Provinces-Unies à Paris en avise son gouvernement. Les «courantiers» sont alors rappelés à l'ordre. Cet épisode donne d'ailleurs lieu à un bel exemple d'autocensure. La troisième édition du *Dictionnaire* de Pierre Bayle sort des presses du libraire rotterdamois Michael Böhm en avril 1720. Elle est dédiée au Régent, Philippe d'Orléans. Böhm illustre la dédicace d'une vignette de la main du graveur huguenot Bernard Picart, accompagnée d'un poème d'Henri Philippe de Limiers, chantant les louanges du système de Law. Le 21 mai de cette même année, la faillite du système de Law est un fait. Le Régent, déjà en possession de l'ouvrage dédicacé, s'en défait aussitôt. Le libraire hollandais réimprime la page de dédicace en rognant les vers trop optimistes et substitue, dans les ouvrages encore en sa possession, la nouvelle dédicace à l'ancienne²².

La situation politique du moment exerce une influence directe sur l'efficacité des mesures prises. En 1747, l'année où les troupes françaises vont envahir les Provinces-Unies, l'ambassadeur néerlandais à Paris demande l'interdiction de la *Relation de la trahison tramée contre la ville de Luxembourg en 1730*, un pamphlet édité à La Haye. Les opinions sont partagées: les États de Hollande n'y voient rien de mal, les *Gecommitteerde Raden* préfèrent en interdire la publication et décident qu'une autorisation préalable de la ville où l'ouvrage est publié est nécessaire. La mesure est promulguée mais ne sera jamais appliquée²³. Par contre, quelques années plus tard, les États de Hollande ordonnent à tous les libraires de la province de venir remettre tous les exemplaires d'un ouvrage en langue néerlandaise sur les «aventures extraordinaires d'Anne Marie de Mailly, duchesse de Châteauroux et maîtresse de Louis XV» afin d'en empêcher une traduction française. Au bout du compte, plus de 400 exemplaires ont déjà été distribués mais on met un terme à toute distribution ultérieure. Les libelles diffamatoires dirigés contre la Cour de France sont fréquents. En 1761, on en viendra même à interdire toute publication sur M^{me} de Pompadour²⁴.

²² Bayle P. *Dictionnaire historique et critique*. Troisième édition revue par l'auteur, Rotterdam, Michael Böhm, 1720. Un exemplaire non rogné se trouve à la Bibliothèque royale de La Haye (cote: 39 B 6-9). Cf. *Berkvens-Stevelinck C.* Prosper Marchand et l'histoire du livre. Quelques aspects de l'érudition bibliographique dans la première moitié du XVIII^e siècle, particulièrement en Hollande. Brugge, 1978. P. 95-97.

²³ *Koopmans J.W.* Op. cit. P. 83-97, notamment P. 87.

²⁴ Ibid. P. 87, 88. Il s'agit de: *Merkwaardige geschiedenissen van Anna Maria de Mailly, hertoginne van Chateauroux, en minnaresse van Lodewijk XV, koning van Vrankrijk.* 's Gravenhage, 1746.

Mais la France n'est pas seule à se plaindre de la trop grande liberté des presses des Provinces-Unies. La Prusse, la Russie, les pays scandinaves, l'Angleterre et l'Espagne ne s'en montrent pas plus charmés. Les ouvrages vilipendés par les ambassadeurs de ces pays sont souvent des éditions en langue française. *Les Lamentations de Prusias, roi de Bithynie*, une critique féroce du monarque prussien, sont interdites en version française en 1745 tandis que la version néerlandaise n'est pas inquiétée. Les journaux français de Hollande, tout comme leurs homologues néerlandais, sont fort intéressés par la situation en Russie et publient des articles dont le ton critique déplaît fort en Russie. *La Quintessence des nouvelles historiques, critiques, politiques, morales et galantes* doit cesser son impression pour ce motif en 1730. *Les Mémoires d'une reine infortunée* ne plaisent guère dans les pays du Nord, on en interdit la vente²⁵. Un pamphlet en français sur l'abjuration forcée de la reine d'Angleterre suscite le courroux des Anglais qui parviennent à faire fermer l'imprimerie responsable²⁶. Quant aux récits des atrocités commises par les troupes espagnoles en Louisiane, ils n'amuse pas du tout l'ambassadeur d'Espagne, et on en interdit la parution²⁷.

Les autorités prêtent donc une oreille d'autant plus attentive aux pressions extérieures que la situation politique les y induit. L'élément économique joue également ici un rôle important, les Provinces-Unies étant avant tout sensibles à la liberté du commerce et à l'état de paix qui en constitue la garantie.

LIVRES FRANÇAIS CENSURÉS AU XVII^e SIÈCLE

Sur les 263 livres ayant fait l'objet d'une interdiction en Hollande entre 1581 et 1700, 31 sont en langue française, soit 22 ouvrages politiques, 6 érotiques et 3 religieux. Cependant, il faut se montrer ici très circonspect. Parmi ces ouvrages, dont on a récemment établi une liste provisoire²⁸, se trouvent pêle-mêle des livres édités en Hollande et interdits par les autorités de la République à la suite de plaintes diverses, et des livres édités dans d'autres pays, importés aux Pays-Bas et dont les gouvernements interdisent la vente. *Les Mémoires pour servir à l'histoire de Hollande et des autres Provinces-Unies*, de Louis Aubery du Maurier, édités sous l'adresse de Paris en 1680 – mais peut-être s'agit-il là d'une fausse adresse –, sont immédiatement interdits de vente par les États de

²⁵ Rotterdam, 1776.

²⁶ *Koopmans J.W.* Op. cit. P. 93.

²⁷ *Ibid.* P. 95.

²⁸ *Weekhout I.* Op. cit. La liste chronologique des ouvrages censurés se trouve p. 371–389. Cette liste n'est pas complète car l'auteur s'est principalement attachée aux archives des années 1617–1625, 1647–1665, 1667–1675, 1687–1695. Ce faisant, elle a pu compléter de plusieurs titres la liste qui avait été dressée en 1914: *Knuttel W.P.C.* *Verboden Boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden: beredeneerde catalogus.* 's Gravenhage, 1914.

Hollande²⁹. Il en va de même pour l'*Histoire de l'établissement de la République de Hollande ou sa révolte*, par Eustache Le Noble, publiée à Paris puis interdite en Hollande³⁰. Du fait des titres approximatifs relevés dans les sources, il n'est pas toujours aisé de distinguer ces ouvrages importés, interdits de vente, des ouvrages prohibés édités aux Pays-Bas mêmes. On peut néanmoins se faire une idée des genres d'ouvrages censurés. Un opuscule politique attribué au diplomate François-Paul de Lisola et intitulé *La France démasquée ou ses Irrégularités dans sa conduite et ses maximes*, paru en 1670 à La Haye sous la fausse adresse de Bruxelles, est interdit la même année par les États de Hollande³¹. Les *Mémoires de messire Pierre de Bourdeilles... contenant la vie des dames galantes de son temps*, de Brantôme, édités à Leyde en 1666, font l'objet d'une interdiction immédiate par les États de Hollande pour atteinte aux bonnes mœurs³². Des ouvrages de polémique religieuse, tels *L'Esprit de Monsieur Arnauld* de Pierre Jurieu, les *Considérations sur deux sermons de Monsieur Jurieu* par Henri Basnage de Beauval, ou encore *Mr Jurieu convaincu de calomnie et d'imposture*, de ce même auteur, sont respectivement interdits en 1683 et 1694, les autorités désirant calmer les esprits échauffés³³.

Un des cas de censure les plus intéressants est celui de la traduction française de l'ouvrage de Balthazar Bekker, *De Betoverde Weereld*, grâce auquel les idées nouvelles concernant la religion et la superstition commencent à être débattues en Europe³⁴. Connu pour ses positions cartésiennes et sociniennes, l'auteur est violemment attaqué par le synode des Églises wallonnes qui tente de faire interdire une traduction française de l'ouvrage³⁵. En vain, il en paraît une dès l'année suivante, qui remporte un grand succès³⁶. De façon générale, d'ailleurs, on peut dire que les ordonnances de censure, au lieu d'être efficaces, ont fait office de publicité gratuite pour les livres incriminés.

²⁹ Aubery du Maurier L. Mémoires pour servir à l'histoire de Hollande et des autres Provinces-Unies. Paris: Jacques Villette, 1680 (liste Weekhout, 230).

³⁰ Le Noble E. Histoire de l'établissement de la république de Hollande ou sa Révolte. Paris: Veuve de Pierre Bouillerot, 1689–1690 (liste Weekhout, 250).

³¹ Lisola F.-P. de. La France démasquée ou ses Irrégularités dans sa conduite et ses maximes. La Haye: Jean Laurent [i. e. Bruxelles, Philippe Vleugaert], 1670 (liste Weekhout, 195).

³² Mémoires de messire Pierre de Bourdeilles, seigneur de Brantôme, contenant la vie des dames galantes de son temps. «Leyde, Jean Sambix le jeune», 1665–1666 (liste Weekhout, 184).

³³ Jurieu P. L'Esprit de M. Arnaud, tiré de sa conduite et des écrits de luy et de ses disciples... Deventer, chez les héritiers de J. Colombius, 1684 (liste Weekhout, 233); *Basnage de Beauval H.* Considérations sur deux sermons de Monsieur Jurieu, 1694 (liste Weekhout, 258); *Idem.* Mr. Jurieu convaincu de calomnie et d'imposture, 1694 (liste Weekhout, 259).

³⁴ Bekker B. De Betoverde Weereld, zynde een grondig ondersoek van't gemeen gevoelen aangaande de geesten, derselver aart en vermogen, bewind en bedrijf: als ook't gene de menschen door derselver kragt en gemeenschap doen... Amsterdam: Daniel van den Dalen, 1691–1693.

³⁵ Gelder H.A.E. van. Op. cit. P. 182–183. L'ouvrage de B. Bekker, paru en néerlandais en 1691, fut rapidement traduit en français et en d'autres langues, sans être inquiété, si ce n'est à Utrecht.

³⁶ [Bekker B.] Le Monde enchanté, ou Examen des communs sentiments touchant les esprits, leur nature, leur pouvoir, leur administration et leurs opérations, et touchant les effets que les hommes sont capables de produire par leur communication et leur vertu... par Balthasar Bekker,... traduit du néerlandais. Amsterdam, 1694.

Les journaux français font régulièrement l'objet de poursuites. L'histoire de *La Gazette d'Amsterdam* en est l'un des meilleurs exemples, l'un des mieux documentés aussi, grâce aux travaux d'Otto S. Lankhorst³⁷. Le journal avait déjà eu quelques précurseurs qui avaient eu maille à partir avec les autorités. En 1666 paraissent alternativement le lundi et le jeudi *La Gazette d'Amsterdam* et *La Gazette ordinaire d'Amsterdam*. Leurs libraires encourent plusieurs fois avertissements et poursuites. Les bourgmestres d'Amsterdam interdisent même le journal pendant quatorze mois en 1677. La mesure est levée l'année suivante mais sera renouvelée en 1683, à la suite de la publication de textes réputés «scandaleux». Ce qui n'empêche pas les libraires d'en continuer l'édition plus ou moins clandestinement et sous d'autres titres dans les années qui suivent. En 1687, les journalistes sont condamnés à de fortes amendes, l'un d'eux même à l'exil. Après quelques années de flottement, le journal reprend en 1691, sous la forme d'une nouvelle *Gazette d'Amsterdam*, et paraît chez Claude Jordan, sous la direction de Jean Tronchin du Breuil³⁸. Il comprend des *Nouvelles extraordinaires*, auxquelles le magistrat se montre très attentif, car c'est dans cette rubrique que paraissent des textes d'actualité peu appréciés par la France. Mais dès le début de cette même année 1691, les États de Hollande, puis les États généraux, interdisent la parution de toute gazette française. Ce qui n'empêche pas Jordan de continuer à publier des périodiques français. Au mois de mai, l'interdiction est renouvelée et le libraire, dégoûté, s'installe en France³⁹. Mais, dès le mois suivant, Tronchin du Breuil sollicite et obtient l'autorisation de créer un nouveau journal français, constitué de traductions françaises de journaux néerlandais. D'autres journalistes useront ensuite du même stratagème. Fin août, les lecteurs ont sous les yeux le premier numéro d'une nouvelle *Gazette d'Amsterdam*, sous le titre de *Nouveau Journal universel*. Il existe d'autres exemples encore d'interdiction de publier des journaux français. Le *Mercurie historique et politique*, qui paraît à La Haye de 1686 à 1754, se voit interdire en 1688 aussi bien par les États généraux que par les États de Hollande⁴⁰. Et l'*Histoire abrégée de l'Europe* trouve, elle, une fin précoce lorsque ces mêmes États en interdisent la parution en 1691⁴¹.

L'histoire de la *Gazette d'Amsterdam* montre à l'envi le louvoiement des diverses autorités des Provinces-Unies entre prudence politique et sens de l'indépendance. Les mesures d'interdiction générale des gazettes françaises restent en effet lettre morte; ce sont des danses rituelles qui contentent peut-être

³⁷ Lankhorst O.S. Le début de la presse française en Hollande // *La Gazette d'Amsterdam*, miroir de l'Europe au XVIII^e siècle / Sous la dir. de P. Rétat. Oxford, 2001. P. 15–27, notamment P. 19–21.

³⁸ *La Gazette d'Amsterdam* a été éditée pour les années 1691–1796 sur cédérom par P. Rétat. Paris, 2000–2002.

³⁹ Lankhorst O.S. Op. cit. p. 24.

⁴⁰ *Mercurie historique et politique*... La Haye, 1686–1754.

⁴¹ *Histoire abrégée de l'Europe*... où l'on voit tout ce qu'il y a de considérable dans les États... par Jacques Bernard. Le journal paraît de 1688 à 1691, d'abord à Leyde puis à Amsterdam. L'interdiction de 1691 met fin à la publication (liste Weekhout, 251).

l'ambassadeur de France mais demeurent sans effet aucun. Rien de bien neuf dans tout cela. Il est interdit de publier ce qui l'était depuis le début de la République: les mouvements des navires, des renseignements sur la sécurité du pays, des pasquilles hostiles aux souverains étrangers, des écrits mettant en danger la paix intérieure du pays ou des textes contraires aux bonnes mœurs⁴². Autour de la Révocation de l'édit de Nantes, les États généraux interdisent plus spécifiquement de publier le nombre et la qualité des réfugiés huguenots, ainsi que les routes suivies pour fuir la France ou le récit des malheurs encourus⁴³. Mais encore une fois, si certaines peines ont bel et bien été appliquées, cela n'a jamais empêché les gazettes de langue française de paraître aux Pays-Bas et d'être distribuées ensuite dans toute l'Europe.

LIVRES FRANÇAIS CENSURÉS AU XVIII^e SIÈCLE

Le siècle suivant n'apporte que peu de changements dans les pratiques de censure en vigueur aux Pays-Bas. Si le pouvoir du stadhouder se renforce à partir de 1750, les revendications libertaires vont croissant jusqu'à la fin du siècle. Les voix exigeant la liberté de la presse se font de plus en plus entendre⁴⁴. Les ouvrages interdits relèvent alors des mêmes catégories qu'au XVII^e siècle: écrits politiques pouvant mécontenter les puissances étrangères, pamphlets religieux susceptibles de menacer la paix religieuse et publications contraires aux bonnes mœurs. Comme au siècle précédent, les journaux attirent spécialement l'attention des autorités⁴⁵.

En 1701, le comte d'Avaux, ambassadeur de France à La Haye, se plaint des calomnies publiées par Nicolas Gueudeville dans son journal *L'Esprit des cours de l'Europe*, édité par les frères L'Honoré à La Haye. Le journal est interdit mais continuera à paraître sous un autre nom à La Haye d'abord, à Amsterdam ensuite⁴⁶. Cinq ans plus tard, les autorités font à nouveau prévenir les gazetiers de ne point publier d'écrits injurieux pour la France⁴⁷. Les nombreux ouvrages décrivant avec un malin plaisir la vie des maîtresses du roi font l'objet de

⁴² Interdiction de 1693. Cf. *Gelder H.A.E. van*. Op. cit. P. 188.

⁴³ *Weekhout I*. Op. cit. P. 81–83.

⁴⁴ *Jongenelen T. Van* smaad tot erger: Amsterdamse boekverboden 1747–1794. Amsterdam, 1998. P. XII–XIII.

⁴⁵ *Gelder H.A.E. van*. Op. cit. P. 186–190.

⁴⁶ *L'Esprit des cours de l'Europe* où l'on voit tout ce qui s'y passe de plus important sur la politique et en général ce qu'il y a de plus remarquable dans les nouvelles... par Nicolas Gueudeville. La Haye: frères L'Honoré, 1699–1701; *Nouvelles de toutes les cours de l'Europe* où l'on voit tout ce qu'il y a de plus remarquable sur la politique et l'intérêt des princes... La Haye: L'Honoré, 1701–1704. Le journal reprend alors son premier titre jusqu'en 1710. Cf. *Knuttel W.P.C.* Op. cit. P. 1–4.

⁴⁷ *Servaas van Rooijen A.J.* Verboden Boeken, geschriften, couranten, enz. in de 18^e eeuw: eene bijdrage tot de geschiedenis der Haagsche censuur. Haarlem, 1881. T. I. P. 23–25.

plaintes réitérées du côté français. En 1759 paraît à Zaltbommel, en Gueldre, une traduction anonyme française de l'*Histoire de M^{me} la marquise de Pompadour* par Marianne Agnès Falques. L'imprimeur est arrêté, questionné, livre le nom du traducteur, F. L. Kersteman, et se voit infliger une amende de deux ducats; selon son biographe, il aurait cependant republié l'ouvrage sous un autre titre plus tard, à Amsterdam, malgré l'interdiction générale d'éditer dans cette ville quoi que ce soit sur la marquise de Pompadour⁴⁸. En 1789 encore, on interdit l'*Essai historique sur la vie de Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France, pour servir à l'histoire de cette princesse*⁴⁹.

Les ambassadeurs de France à La Haye ont donc souvent obtenu gain de cause: les livres incriminés étaient bel et bien interdits officiellement à la suite de leurs plaintes. Mais l'effectivité des mesures d'interdiction est sujette à caution. La présence, dans les bibliothèques des Pays-Bas et de France, de la plupart des livres ayant fait l'objet de ces prohibitions, jette un doute sérieux sur cette effectivité.

Sur le plan religieux également, certaines publications en langue française ont fait l'objet de censures. L'affaire Saurin – une célèbre querelle religieuse survenue au sein de l'Église wallonne des Pays-Bas – fait couler beaucoup d'encre dans les journaux de langue française au cours des années 1730. Ces périodiques sont alors rappelés à l'ordre. La *Critique désintéressée des journaux littéraires et des ouvrages des savans*, de François Bruys, et les *Lettres sérieuses et badines sur les ouvrages des sçavans et sur d'autres matières*, d'Antoine de La Barre de Beaumarchais, sont même saisies et leur vente interdite⁵⁰.

Plus tard dans le siècle, en 1769, la Cour de Hollande interdit les rééditions du *Bélisaire* de Jean-François Marmontel, aussi bien en néerlandais qu'en français⁵¹. L'affaire du *Bélisaire* entraîna une longue polémique. L'idée que des païens vertueux puissent entrer un jour au Paradis scandalisait les pasteurs orthodoxes. Ils exigèrent donc l'interdiction de la vente de l'ouvrage, édité à Paris, puis traduit en néerlandais et publié à Amsterdam. Dans la foulée, ils proposèrent à nouveau l'instauration de censeurs préventifs. La réaction ne se fit pas attendre. La même année, deux lettres ouvertes sur la notion de liberté de la

⁴⁸ *Koopmans J.W.* Op. cit. P. 88–89 et note 26; *Vos A.* Johannes Willem Kanneman, boekdrukker en uitgever in Zaltbommel, 1744–1764 // *Bijdragen en mededelingen Vereniging Gelre*. 1994. N 85. P. 89–117, notamment P. 97–100; *L'Histoire de Madame la marquise de Pompadour*, traduite de l'anglais. «Londres, S. Hooper, à la Tête de César» [*i. e.* Bommel, J. W. Kanneman], 1759. Nous n'avons pas trouvé trace de réédition.

⁴⁹ *Koopmans J.W.* Op. cit. P. 89 et note 30. *Essai historique sur la vie de Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France, pour servir à l'histoire de cette princesse* [S. l. 1789].

⁵⁰ *Ibid.* P. 56–64. *Lettres sérieuses et badines sur les ouvrages des savans et sur d'autres matières*. Par A. de la Barre de Beaumarchais. La Haye, 1729–1740; *Critique désintéressée des journaux littéraires et des ouvrages des savans*, par François Bruys. La Haye: C. van Lom, 1730.

⁵¹ Au moins une édition néerlandaise parut à Amsterdam: *Belisarius, naar het Fransche van den heere Marmontel* [2^e éd.]. Amsterdam: Pieter Meijer, 1769. Cf. *Eijnatten J. van.* Van godsdienstvrijheid naar mensenrecht: meningsvorming over censuur en persvrijheid in de Republiek, 1579–1795 // *Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden*. 2003 (1). N 118. P. 1–21, notamment p. 11.

presse virent le jour⁵². Selon les auteurs, la censure préventive était tout simplement contraire à la constitution des Provinces-Unies; la liberté, l'érudition et le sens du négoce y constituaient un univers où la liberté de la presse s'imposait et devait être protégée.

Les années 1760–1770 virent l'éclosion aux Pays-Bas d'une discussion fondamentale sur la censure qui allait trouver son apogée à l'époque révolutionnaire. Premiers concernés, les libraires se mêlèrent à ce débat qui parfois ne manquait pas d'humour. Élie Luzac, de Leyde, dont le fonds était cosmopolite et principalement français, rédigea un mémoire juridique sur la censure qu'on peut qualifier de modèle du genre⁵³. Il y présentait six arguments s'opposant à l'instauration aux Pays-Bas d'une censure préventive destinée à protéger «les bases de la foi chrétienne». Pour commencer, écrivait-il, ces bases sont bien trop vagues pour fournir des critères objectifs. Comment faudrait-il définir le blasphème ou l'obscénité? En outre, une censure préventive n'est-elle pas arbitraire? Et qui garantit le savoir-faire des censeurs? Mais les arguments qui lui tenaient le plus à cœur étaient certainement les deux derniers: une censure préventive était pratiquement impossible à appliquer aux Pays-Bas et ruinerait le commerce du livre.

Les dernières décennies du XVIII^e siècle voient cette discussion se poursuivre. En 1788, dans sa *Lettre aux Bataves sur le stathoudérat*, Mirabeau déclare à l'article 26 que «la liberté de la presse doit être inviolablement retenue»⁵⁴. En janvier 1795, cette liberté de la presse est officiellement reconnue aux Pays-Bas.

* * *

L'histoire de la censure dans les Provinces-Unies n'est pas aisée à faire car elle balance constamment entre mythe et réalité. Deux conclusions s'imposent: les Pays-Bas du Nord n'ont pas connu, du XVI^e au XVIII^e siècle, de censure préalable mais ils n'ont pas joui pour autant d'une liberté de presse absolue. La censure répressive y existait, comme le prouve le relevé des ordonnances officielles⁵⁵. Certains types de livres ont bien été interdits, certains titres précis prohibés. S. Groenveld estime le nombre de livres prohibés pour la période 1580-1700 à deux par an⁵⁶. Mais le problème, c'est qu'on est incapable de prouver que ces mesures répressives ont bel et bien été appliquées. Tant que l'on n'aura pas

⁵² *Eijnatten J. van*. Op. cit. P. 11 et note 45. Brief aan een heer van de regeering in Holland over het bepalen van de vrijheid der drukpers. [S. l., 1769]; Brief van een regent van een Hollandsche stad, rakende de drukpers. [S. l., 1769].

⁵³ *Eijnatten J. van*. Op. cit. P. 12 et note 47; *Luzac É.* Memorien van consideratien, gemaakt op het nader geredresseerd placaat tegen godslasterlyke boeken en geschriften... // *Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken*. 1770. Vol. V. N 2. P. 788–896.

⁵⁴ *Eijnatten J. van*. Op. cit. P. 18 et note 80. *Aux Bataves sur le stathoudérat*, par monsieur le comte de Mirabeau. Londres, 1788.

⁵⁵ *Weekhout I.* Op. cit.

⁵⁶ *Groenveld S.* Op. cit. P. 80.

passé au crible toutes les archives des États généraux, des États provinciaux et des municipalités, et vérifié l'existence de livres interdits dans les catalogues de fonds et en bibliothèque, on restera dans le flou. L'historien H. A. Enno van Gelder, a, dans un livre devenu classique, défini la culture des Provinces-Unies comme une culture de «liberté tempérée»⁵⁷. Cette définition s'applique également à la censure aux Pays-Bas du Nord.

Кристиан Берквен-Стевелинк

**Цензура франкоязычных изданий
в Соединенных Провинциях:
миф и реальность**

Со времени своего основания в XVI в. Республика Соединенных Провинций пользовалась такой свободой прессы, которой не существовало больше нигде в Европе, хотя и эта свобода была отнюдь не абсолютной, а скорее «умеренной». Ее породил целый ряд политических, религиозных и экономических факторов. В Голландии публиковали то, что нельзя было издать в другом месте. Однако цензура существовала. Первые ордонансы Вильгельма Оранского, регулировавшие цензурный надзор, вполне вписывались в законодательную традицию Габсбургов, хотя и отличались от нее по духу. Все книги, оскорблявшие власти, подстрекавшие народ к бунту, вводившие его в «заблуждение», а также угрожавшие безопасности государства, подлежали запрету. Нарушителям грозили штрафы, конфискация, тюремное заключение и прочие кары. Все цензурные инициативы с этого времени должны были адресоваться Генеральным штатам, Штатам отдельных провинций или городским магистратам. Такое многообразие центров власти делало централизованный цензурный режим практически невозможным. Между законодательными мерами в этой сфере и их применением пролегла огромная дистанция.

Между тем, в Соединенных Провинциях существовала довольно строгая цензура политических сочинений, способных вызвать возмущение иностранных государств. Генеральные штаты и Штаты провинций, главным образом Голландии, прислушивались к жалобам иностранных послов, особенно французских. Эти жалобы касались чаще всего периодических изданий на французском языке, издававшихся в Нидерландах, а также сатирических памфлетов.

В Северных Нидерландах в XVI–XVIII вв. не существовало предварительной цензуры, но и там свобода прессы имела свои ограничения. Изучение перечня официальных ордонансов подтверждает наличие там цензурных преследований. Гораздо труднее определить степень эффективности этих запретов.

⁵⁷ Gelder H.A.E. van. Op. cit.

OTTO S. LANKHORST

STRATÉGIES DES LIBRAIRES HOLLANDAIS
POUR PROTÉGER LEURS ÉDITIONS FRANÇAISES
DE LA CONCURRENCE

«L'on s'y contrefait impitoyablement les uns les autres au préjudice seul & au détriment des honnêtes-gens». C'est ainsi que le libraire Jean Neaulme juge la situation de la librairie en 1763, au moment où il se retire du commerce international du livre. Il annonce son départ au début de l'avertissement du catalogue de vente de son fonds en ces termes: «Après avoir passé plus de cinquante années dans la Librairie, il ne paroîtra pas étrange que je cherche à la quitter, afin de jouir de quelques jours de repos si la mort n'y mêt pas obstacle»¹. Ce repos, si ardemment souhaité, Jean Neaulme en jouira encore pendant dix-sept ans, avant de mourir le 5 janvier 1780.

Le jugement que porte Neaulme sur la pratique «impitoyable» de la contrefaçon est-il un cri du cœur exagéré ou une observation fondée sur de longues années d'expérience? Les libraires hollandais subissaient-ils effectivement de graves préjudices, orchestrés par leurs propres collègues néerlandais, ou bien leurs affaires étaient-elles plutôt menacées par des libraires résidant en dehors des frontières de leur pays? Et de quels moyens disposaient-ils pour se protéger des contrefaçons? Telles sont les questions auxquelles nous tâcherons de donner une réponse.

© Otto S. Lankhorst, 2008

¹ «Avertissement du libraire», dans: Catalogue d'une nombreuse collection de livres en tout genre, rares et curieux, propres a satisfaire les amateurs et a fournir une partie de ce qui manque aux grandes bibliothèques. Lesquels se vendront dans Berlin par Jean Neaulme, au commencement de l'année 1764...., Se trouve a Amsterdam & a Berlin, chez J. Neaulme libraire, 1763. T. 1. Le catalogue fut redistribué en 1765 par Nicolas Van Daalen et Benjamin Gibert à La Haye, en vue de la vente différée du 24 juin 1765 et jours suivants. L'avertissement de Neaulme a été réimprimé dans: *Kleerkooper M. M., Van Stockum jr. W. P.* De Boekhandel te Amsterdam voor-namelijk in de zeventiende eeuw. Biographische en geschiedkundige aantekeningen. 'Gravenhage, 1914. T. 1. P. 484-490.

Christiane Berkvens-Stevelinck a bien montré dans sa contribution au présent volume que, depuis 1581, il n'y avait plus de censure préventive dans la république des Provinces-Unies. Seules les publications politiquement sédi- tieuses y étaient formellement interdites. Les contemporains se rendaient parfaitement compte du fait que cette liberté de la presse était une des raisons du succès de la librairie hollandaise. Le lieutenant général de police de Paris, Nicolas-Gabriel La Reynie, écrivait à ce propos, vers 1670 :

La liberté qu'on s'est donné[e] en Hol[lan]de d'imprimer indifferament [*sic*] des livres sur toute sorte de suiets; pour toute sorte de sectes; pour et contre tous les Etats, et contre les plus eminentes personnes de l'Europe, a beaucoup aidé au grand commerce des livres qu'on y a fait depuis quelques années².

Et Pierre Bayle de son côté faisait l'éloge de la liberté de la presse dans la préface de son journal, les *Nouvelles de la République des lettres* (1684), en ces termes :

Elle [la République] a même un avantage qui ne se trouve en aucun autre païs; c'est qu'on y accorde aux imprimeurs une liberté d'une assez grande étendue, pour faire qu'on s'adresse à eux de tous les endroits de l'Europe, quand on se voit rebuté par les difficultez d'obtenir un privilège. <...> Nos presses sont le refuge des Catholiques, aussi-bien que des Reformez³.

L'absence de censure préventive et le peu d'intervention des pouvoirs publics dans les affaires de la librairie forcèrent les libraires à prendre leurs propres mesures pour protéger leurs éditions des contrefaçons. Il faut distinguer à cet égard entre les contrefaçons publiées à l'intérieur de la république des Provinces-Unies et celles venant des pays d'alentour. Les contrefaçons réalisées hors des frontières concernaient surtout les ouvrages destinés à un public international. Or, à l'époque où la librairie hollandaise était appelée « le Magasin de l'univers », ces ouvrages, publiés en de nombreuses langues, et particulièrement en français, étaient fort nombreux.

PROTECTION CONTRE DES CONTREFAÇONS PRODUITES PAR DES LIBRAIRES HOLLANDAIS

Un système de privilèges était en vigueur à l'intérieur de la république des Provinces-Unies. Mais, alors qu'en France et dans d'autres pays, le privilège était accordé par les autorités au moment où elles donnaient leur consentement à la publication d'un livre, il en allait autrement aux Provinces-Unies. Les

² Ce mémorandum est publié par Hans Bots en annexe de son article: De Elzeviers en hun relatie met Frankrijk // Boekverkopers van Europa. Het 17de-eeuwse Nederlandse uitgevershuis Elzevier / Éd. par B.P. M. Dongelmans, P.G. Hoftijzer, O.S. Lankhorst. Zutphen, 2000. P. 165–181, ici p. 177.

³ Cité d'après *Bots H., Vet J. de*. Stratégies journalistiques de l'Ancien Régime. Les préfaces des 'Journaux de Hollande', 1684–1764. Amsterdam; Utrecht, 2002. P. 8.

libraires hollandais demandaient un privilège afin d'assurer une protection officielle à leur «droit de copie». L'initiative revenait donc au libraire qui demandait le privilège. Pour obtenir ce privilège, outre une certaine somme à payer — en principe 40 florins —, le libraire était obligé de déposer un exemplaire de l'ouvrage «relié et bien garni» à la bibliothèque de l'université de Leyde. Les registres d'octroi des privilèges sont conservés aux Archives nationales à La Haye⁴. En fait, les libraires ne requéraient un privilège qu'exceptionnellement, notamment pour protéger l'édition des dictionnaires, des encyclopédies et d'autres gros ouvrages exigeant un fort investissement. Paul Hoftijzer a calculé que les États généraux des Provinces-Unies ont accordé au total environ 500 privilèges entre 1584 et 1795, et les États de Hollande environ 1 300 dans la même période. Théoriquement, les privilèges des États généraux étaient valables dans toute la République, mais, en réalité, ils n'étaient reconnus que s'ils étaient accompagnés d'une «attache», une ratification émanant des États provinciaux. Comme certains privilèges couvrent plusieurs livres ou volumes, Hoftijzer estime que le nombre des éditions parues sous privilège pendant les deux siècles concernés s'élève à 2 500 ou 3 000⁵. Il s'agit donc seulement d'une toute petite partie de la production livresque des libraires hollandais.

Si un privilège était concédé, le texte du document était parfois imprimé dans les préliminaires de l'ouvrage. La page de titre du livre portait la mention «Avec Privilège de Nos Seigneurs les États de Hollande et de West-Frise», ou en néerlandais «*Met Privilegie van de Edele Grootmogende Heeren Staten van Holland en West-Vriesland*», ou alors en latin «*Cum Privilegio*». Les libraires ne demandaient pas uniquement un privilège pour l'édition d'un livre, mais parfois aussi pour celle d'un journal ou d'une gazette. C'est pourquoi l'entête de la *Gazette d'Amsterdam* porte la mention: «Avec Privilège de Nosseigneurs les Etats de Hollande et de West Frise» (1691–1703), puis: «Amsterdam. Avec Privilège de Nosseigneurs les Etats de Hollande et de West Frise» (1703–1795)⁶.

La majorité de la production livresque hollandaise fut cependant publiée sans privilège. Les libraires cherchaient plutôt à se protéger par des accords mutuels. Il est important de souligner qu'une certaine confraternité régnait parmi eux. Ils étaient réunis dans des «guildes» (corporations) locales, où ils se

⁴ Archives nationales, La Haye. Archives des États de Hollande. Paul G. Hoftijzer (Leyde) prépare la publication de ces registres. Cf. *Hoftijzer P. G. Nederlandse boekverkopersprivileges in de zeventiende en achttiende eeuw // Jaarboek van het Nederlands Genootschap van bibliofieleen*. 1993. N° 1. P. 49–62. Pour une étude détaillée de l'histoire du droit d'auteur aux Pays-Bas, voir: *Schriks C. Het Kopijrecht 16de tot 19de eeuw*. Zutphen, 2004.

⁵ *Hoftijzer P. G. De Zeis in andermans koren. Over nadruk in Nederland tijdens de Republiek*. Amsterdam, 1993. P. 9; Traduction anglaise: *A sickle unto thy neighbor's corn: book piracy in the Dutch Republic // Quaerendo*. 1997. N 27. P. 3–18.

⁶ Pour l'histoire de la *Gazette d'Amsterdam*, voir: *La Gazette d'Amsterdam, miroir de l'Europe au XVIII^e siècle / Sous la dir. de P. Rétat*. Oxford, 2001 (SVEC 2001:6), notamment P. 15–30: Chapitre 1, Otto S. Lankhorst, «De la concurrence au monopole».

mettaient d'accord sur certains usages et pratiques et où ils réglèrent entre eux leurs conflits. À l'origine, les métiers du livre étaient affiliés à la guilde des peintres, mais toutes les villes eurent bientôt leur propre guilde de libraires. La première fut celle de Middelbourg, en 1590, puis vint celle d'Utrecht, en 1599, suivie de celles de Haarlem, en 1616, de Leyde, en 1651, d'Amsterdam, en 1662, de Rotterdam, en 1669, et enfin de La Haye en 1702. Les ventes entre libraires (à distinguer des ventes publiques qui étaient ouvertes aux particuliers) étaient des endroits privilégiés pour régler les affaires mutuelles sur un plan régional. Pendant ces ventes, les libraires négociaient aussi le transfert des droits de copie et des privilèges⁷.

Cette confraternité entre libraires apparaît bien dans la convention signée en 1710 par 54 libraires et qui visait en particulier la pratique des contrefaçons. Le texte original de cette convention est rédigé en néerlandais⁸. Apparemment, le document attira l'attention du monde de la librairie à Paris, car on en trouve une traduction française, imprimée, parmi les dossiers de la communauté des libraires et imprimeurs de Paris, conservés à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris⁹.

La convention renvoie à une pratique, un usage qui était devenu courant parmi les libraires, à savoir que le droit de copie d'un ouvrage appartenait à celui qui avait été le premier à annoncer dans une gazette son intention de le publier. L'article 8 de la convention stipule en effet :

Il ne sera permis à qui que ce soit, d'annoncer, ni déclarer à la Compagnie, ni faire mention dans la Gazette, qu'il s'imprime, ou qu'il s'imprimera chez lui un tel ou tel livre par lui reçu des pays étrangers, dont en après il voulût désister & même pas l'exécuter, uniquement pour en tirer quelque profit, ou d'en frustrer un autre, à peine de vingt-cinq florins d'amende¹⁰.

Cet usage explique le grand nombre d'annonces de libraires qui dans les gazettes publiées dans la République néerlandaise, déclarent leur intention de publier bientôt tel ou tel ouvrage. L'article concerné démontre, cependant, qu'en 1710 les libraires abusaient de cette pratique au point qu'il était devenu nécessaire d'infliger des amendes.

⁷ Lors d'une dispute entre les libraires Rudolf et Gerard Wetstein et Gerard Onder de Linden à propos du privilège pour le journal *Maandelijkse Uittreksels of Boekzaal der geleerde wereld*, les libraires prétendirent tous les deux qu'ils avaient acheté le droit de copie et le privilège lors d'une telle vente (18 mars 1710) entre confrères (Archives nationales, La Haye. Dagvaart Haarlem. N 1071).

⁸ Le document original de la convention n'est pas conservé. Le texte a été publié en 1853 (*Weekblad voor den boekhandel*. 1853. Vol. 3. N 24. P. 99–100), et de nouveau dans: *Van Eeghen I. H.* De Amsterdamse Boekhandel, 1680–1725. Amsterdam, 1963. T. 2. P. 268–269.

⁹ Bibliothèque historique de la Ville de Paris. Ms. CP 4001: *Convention volontaire des libraires des villes d'Amsterdam, Leide, Rotterdam, La Haye, Utrecht, &c.* L'imprimé n'est pas daté.

¹⁰ *Ibid.* P. 1.

Les libraires plaçaient surtout ces annonces en vue de s'assurer du droit de copie pour des livres étrangers¹¹. Voici en quels termes le jeune libraire haguenois Jean Neaulme fait insérer en 1720 une annonce dans la *Gazette d'Amsterdam* pour faire part de l'impression de son premier livre :

Jean Neaulme, libraire à la Haye, avertit le public, & particulièrement les libraires, qu'il imprime le livre de Mr. Law, qui a pour titre: *Considerations sur le commerce, & sur l'argent*, traduit de l'anglois, lequel paroitra incessamment¹².

Cette pratique des libraires hollandais ne passa pas inaperçue en France. Voici ce qu'en dit Voltaire dans une lettre à l'abbé Bonaventure Moussinot :

Sitôt qu'un livre est imprimé à Paris avec privilège, les libraires de Hollande s'en saisissent, et le premier qui l'imprime en Hollande est celui qui en a le privilège exclusif dans ce pays là, et pour avoir ce droit d'imprimer ce livre le premier en Hollande il suffit de faire annoncer l'ouvrage dans les gazettes. C'est un usage établi et qui tient lieu de loy¹³.

La pratique de revendiquer le droit de copie d'un ouvrage par une annonce de gazette fut plus ou moins acceptée. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elle résolut tous les problèmes. Lorsqu'un livre annoncé tardait à paraître, notamment dans le cas d'une traduction encore en cours, un autre libraire pouvait faire appel à un deuxième traducteur, plus rapide. Deux traductions différentes risquaient alors de paraître de concert. Ainsi, Jean Neaulme avait annoncé, le 10 mai 1723, dans le *Gravenhaegsche Courant*, son intention de publier sous peu «le livre de feu Mr. Burnet <...> l'Histoire de mon Tems». Il répète son intention dans la *Gazette d'Amsterdam* du 20 juillet 1723 en mentionnant qu'il imprime l'ouvrage «actuellement». En fait, le premier tome de l'ouvrage de Burnet ne paraîtra qu'en 1725, sous le titre *Histoire des dernières revolutions d'Angleterre*¹⁴. Or Isaac Vaillant, également libraire à La Haye, fait faire une autre traduction qui paraît en même temps sous le titre *Memoires pour servir à l'histoire de la Grande Bretagne, sous les règnes de Charles II et de Jaques II*.

¹¹ Pour la localisation des gazettes néerlandaises, on ne dispose d'aucun instrument de travail récent, ce qui est d'autant plus regrettable que la dispersion des matériaux dans de nombreuses bibliothèques et archives partout dans le monde ne facilite pas les recherches. On trouvera un plaidoyer en faveur d'un tel instrument de travail dans: *Lankhorst O.S. Bibliografie van Nederlandse couranten vóór 1800. Is het geen tijd om «zulk een kolossaal gebouw» op te trekken? // Open. 1995. N 27. P. 232–234*. Les gazettes françaises imprimées par les libraires hollandais sont bien répertoriées dans: *Rétat P. Les Gazettes européennes de langue française: répertoire*. Suivi d'une étude sur les fonds des gazettes anciennes à la Bibliothèque nationale de France par J.-M. Métivier, L. Portes... Paris, 2002.

¹² *Gazette d'Amsterdam*. 1720. Vol. XIII. 13 février. Cette traduction de *Money and trade considered with a proposal for applying the nation with money* parut en 1720 chez Neaulme sous le titre *Considerations sur le commerce et sur l'argent*.

¹³ Voltaire à l'abbé Bonaventure Moussinot, 4 novembre 1737 (Best. D 1384).

¹⁴ Le tome II parut chez Neaulme en 1735 sous le titre *Histoire de ce qui s'est passé de plus mémorable en Angleterre pendant la vie de Gilbert Burnet*.

Neaulme proteste alors contre Vaillant, mais il n'obtient rien, si ce n'est le jugement du journal *Maendelykse Uittreksels*, selon lequel l'édition de Neaulme, traduite par l'ex-jésuite François de La Pillonnière, est la meilleure des deux versions en présence¹⁵.

PROTECTION CONTRE DES CONTREFAÇONS
PRODUITES PAR DES LIBRAIRES FRANÇAIS

Tout au long des XVII^e et XVIII^e siècles, des protestations ne cessent de s'élever contre les contrefaçons hollandaises. Les plaintes sont exprimées aussi bien par les libraires que par les autorités françaises. Mais les libraires hollandais ne se plaignent pas moins des contrefaçons de leurs livres réalisées en France. Ces contrefaçons françaises de livres édités aux Provinces-Unies ont sans aucun doute causé un grave préjudice au débit des éditions originales néerlandaises en France. Il est évident que dès qu'une contrefaçon française, dont les frais de production et de transport étaient moins élevés que ceux de l'édition originale néerlandaise, se trouvait mise sur le marché, la vente de l'édition néerlandaise en France s'effondrait. Ce n'est donc pas sans raison que Reinier Leers craignait une contrefaçon française de son *Diction[n]aire historique et critique* (1697) de Pierre Bayle, un grand ouvrage qui lui avait demandé un important investissement. L'auteur lui-même écrivit en mars 1697 à François Janiçon qu'il avait appris que

les libraires de Lion se preparent à contrefaire ce dictionnaire, comme ils ont fait celui de Furetière, au grand dommage de M. Leers. J'ay mis cent choses que je n'y eusse pas mises très capables de les épouvanter, s'ils osoient le contrefaire¹⁶.

Une contrefaçon française du *Dictionnaire* de Bayle ne vit cependant jamais le jour¹⁷. Le rapport sévère de l'abbé Eusèbe Renaudot, interdisant formellement l'entrée en France du dictionnaire, a sans doute dissuadé les libraires de Lyon ou

¹⁵ *Maendelykse Uittreksels*. 1725. Février. P. 236. La même année, ce phénomène se reproduit à l'occasion de la traduction du livre *Das veränderte Russland* de Friedrich Christian Weber. Thomas Johnson, libraire à La Haye, en avait annoncé la publication, mais ce n'est qu'en 1725 qu'il publie le livre en collaboration avec Jan Van Duren sous le titre *Mémoires pour servir à l'histoire de l'empire russe, sous le règne de Pierre le Grand... par un ministre étranger*. En même temps une autre traduction de la main du père Malassis, jésuite, paraît sous le titre de *Nouveaux Mémoires sur l'état présent de la Grande Russie ou Moscovie* (Paris, Noël Pissot) et Pierre Mortier la vend à Amsterdam, ce qui provoque les protestations de Jean Neaulme.

¹⁶ Lettre de P. Bayle à F. Janiçon, 21 mars 1697, publiée sous le titre «Lettres inédites de Pierre Bayle» par dom P. Denis (Revue d'histoire littéraire de la France. 1912. N 19. P. 422–453, 916–938, ici P. 925).

¹⁷ Il faut admettre néanmoins qu'il n'est pas tout à fait sûr que le *Dictionnaire* de Bayle n'ait pas été contrefait en France. Selon Jean-Dominique Mellot il n'est pas exclu qu'une telle contrefaçon ait paru en 1699 à Rouen, «alors même que l'intendant, dès 1698, avait transmis à la communauté rouennaise les ordres du roi à son encontre». Cf. *Mellot J.-D. L'Édition rouennaise et ses marchés (vers 1600 – vers 1730). Dynamisme provincial et centralisme parisien*. Paris, 1998. P. 342. Jusqu'ici aucun exemplaire d'une telle contrefaçon n'a pu être localisé.

d'ailleurs de se risquer à mettre l'ouvrage sous la presse¹⁸. Bayle et surtout Leers pouvaient être soulagés.

Mais dans le cas du *Diction[n]aire universel* d'Antoine Furetière auquel Bayle faisait allusion dans sa lettre, les intérêts du libraire Leers avaient effectivement été gravement mis en danger. La première édition de ce dictionnaire, qui faisait concurrence à celui de l'Académie française, avait paru en 1690 chez les frères Arnout et Reinier Leers. Elle fut presque immédiatement contrefaite à Lyon¹⁹. D'autres contrefaçons n'allaient pas tarder à suivre. Nous en connaissons des exemplaires datés 1691 et 1694²⁰. Leers parle même en 1700 de cinq contrefaçons réalisées à Lyon, dont il a éprouvé «*groot naedeel en schade*» (grand préjudice et dégât)²¹. À ce moment, il doit s'occuper de protéger la seconde édition, «*revuë, corrigée et augmentée par Monsieur Basnage de Beauval*», qui paraîtra en 1701. Pour ce faire, il introduit une demande auprès du chancelier de France Louis de Pontchartrain. Dans sa lettre au chancelier, Leers affirme : «*Depuis la première édition de ce Dictionnaire on l'a contrefait à Lyon plusieurs fois; quelques-uns de mes amis m'ont averti que l'on se prépare à le contrefaire de nouveau*»²². Leers avait espéré que le chancelier ferait le nécessaire pour rendre impossible la parution de contrefaçons du *Dictionnaire* en France, mais les autorités françaises ne donnent pas suite à sa demande. Il n'y a pourtant là rien d'étonnant car la proposition de Leers s'oppose à tous les règlements de la librairie, puisque l'ouvrage de Furetière a été interdit en France dès sa parution. Par conséquent, l'importation, la vente et la réimpression du livre sont formellement défendues elles aussi; le contrôle par le bureau de la Librairie est sévère, de nouvelles mesures ne sont pas nécessaires. L'interdiction de publier l'ouvrage en France n'empêchera pourtant pas la parution d'une nouvelle contrefaçon lyonnaise en 1702²³.

¹⁸ Pour l'interdiction en France du *Dictionnaire* de Bayle, voir *Burger P.-F.* La prohibition du *Dictionnaire historique et critique* de Pierre Bayle par l'abbé Renaudot (1648–1720) // Critique, savoir et érudition à la veille des Lumières. Le 'Dictionnaire historique et critique' de Pierre Bayle (1647–1706). Amsterdam; Maarssen, 1998. P. 81–107.

¹⁹ La contrefaçon datée 1690 se trouve entre autres à la Bibliothèque nationale de France, sous la cote Fol-X-225. Le témoignage de Daniel de Larroque prouve qu'il s'agit bien d'une contrefaçon lyonnaise. Dans une lettre à Pierre Bayle, Larroque écrit : «*Enfin, j'ay vu le dictionnaire de Furetiere, d'impression de Lion. On peut dire qu'il est joute la copie, car les imprimeurs ont affecté de suivre pied à pied l'édition de Mr. Leers*» (Choix de la correspondance inédite de Pierre Bayle, 1670–1706 / Publié d'après les originaux... par É. Gigas. Copenhague, 1890. P. 437).

²⁰ La contrefaçon de 1691 se trouve entre autres à la bibliothèque universitaire de Paris-Nanterre (cote: XDF 3750; provenance: collègue Louis-le-Grand, Paris). En 1694, une nouvelle contrefaçon parut avec l'indication «*nouvelle édition*». Un exemplaire s'en trouve entre autres à la BNF (Fol-X-523).

²¹ Lettre de François Fagel, greffier des États généraux, à Coenraad. Van Heemskerck, ambassadeur des Provinces-Unies à Paris, 22 septembre 1700 (Archives nationales, La Haye. Archives diplomatiques de Coenraad Van Heemskerck. N 518).

²² Lettre de R. Leers au chancelier de Pontchartrain, 6 octobre 1700 (Ibid.).

²³ La contrefaçon datée 1702 se trouve entre autres à la BNF sous la cote Fol-X-125. La vignette de titre comporte les initiales «*MS*», celles de l'imprimeur lyonnais Marcellin Sibert.

Les démarches de Leers auprès des autorités françaises pour empêcher les contrefaçons de ses éditions en France sont exceptionnelles. En principe, les libraires hollandais savaient bien que la portée d'un privilège était limitée à l'intérieur des frontières des autorités qui l'avaient concédé. Un privilège des États de Hollande ne protégeait donc nullement un libraire néerlandais contre le risque que le livre concerné fût contrefait à l'étranger.

En revanche, un privilège concédé par des autorités hollandaises ne protégeait pas seulement contre les contrefaçons produites à l'intérieur de la République, mais en principe aussi contre les contrefaçons importées de l'étranger. Jan Daniel Beman, libraire à Rotterdam, fit ainsi mettre une annonce dans la *Gazette d'Amsterdam* du 27 juin 1732 concernant l'ouvrage *Théologie physique* de William Derham, une traduction de l'original anglais *Physico-theology or a Demonstration of the being and attributes of God*. Beman publia des éditions de cette traduction en 1726 et en 1730. Or, en 1732, le libraire Hugues-Daniel Chaubert en publia une contrefaçon parisienne. Beman fit alors savoir dans la gazette qu'il avait «depuis peu obtenu des Etats de Hollande & de West-Frise le privilège d'imprimer seul ledit ouvrage, & d'empêcher l'entrée & le debit de la contrefaçon de France dans ces provinces». De même, quelques années auparavant, Pierre Husson avait averti ses collègues par une annonce de la parution d'une contrefaçon des *Sermons* de Jacques Saurin :

Pierre Husson, marchand libraire à La Haye, ayant imprimé avec privilège de L. N. P. Les Seigneurs Etats de Hollande et de West-Frise, les *Sermons* de Jaques Saurin (...) donne avis au public, & sur tout aux libraires de ce païs, qu'il a été informé depuis peu qu'on a porté en ce païs, au grand préjudice de la Librairie en général, une contrefaçon desdits Sermons, faite à Genève en petit format, sur de mauvais papier, mauvais caractère, & très-vicieusement imprimée. Ledit Pierre Husson prie tous les libraires de ces païs de ne point vendre ces Sermons contrefaits, sous peine & amende de 3000 florins; mais au contraire d'arrêter tous les exemplaires qui sont entre leurs mains, ou qu'ils pourront découvrir en ce païs²⁴.

En dépouillant les gazettes, on trouve régulièrement des annonces par lesquelles des libraires hollandais avertissent contre des contrefaçons françaises. Citons-en quelques-unes. Pierre Mortier écrit ainsi

que l'on tâche de nuire au débit de son impression de l'Histoire des Insectes, par Mr. de Reaumur, afin de procurer à l'édition étrangère la préférence, ce qui préjudicie indirectement à la Librairie de ce païs, [et il] avertit le public, qu'il donnera chaque tome de cet ouvrage, faisant 2. volumes de son édition, pour 3. florins de Hollande: Les figures ne sont nullement inferieures à celle de l'édition étrangère, quoi-que celles-ci ayent été faites sous les yeux de l'Auteur²⁵.

²⁴ Gazette d'Amsterdam. 1724. 20 juin.

²⁵ Gazette d'Amsterdam. 1737. 13 sept.

Quelques années auparavant, Charlotte de Rogissart donnait avis qu'elle avait

sous presse l'*Abregé de l'Histoire d'Angleterre*, par Mr. Rapin Thoiras, in 4°, & in 12°, & qu'il paroîtra incessamment. Le public est aussi averti, que quelques personnes, sans avoir égard au privilège donné à A. de Rogissart par L. N. & G. P., débitent la contrefaction de l'*Histoire d'Angleterre* de Mr. Rapin Thoiras, 10 vol., 4°; que ladite édition a le même titre, & qu'elle est sur le même nom de A. de Rogissart; mais outre que cette édition n'est ni sur du si beau papier, ni d'un si beau caractère, elle est mutilée & tronquée. C'est un avis que l'on donne au public, afin qu'il ne se laisse pas tromper par le nom²⁶.

Dernier exemple: les libraires amstellodamois Johannes I Covens et Cornelis Mortier, éditeurs des *Œuvres* de Saint-Évremond, avertissent que des contrefacteurs ont mis les noms de Covens et Mortier sur les pages de titre d'une contrefaçon «afin de la faire passer pour l'édition originale de Hollande». Covens et Mortier annoncent qu'en conséquence ils ont mis à la tête de leur nouvelle édition un avis au lecteur, signé de leur main propre pour distinguer l'original de la contrefaçon²⁷.

Les annonces publiées dans les gazettes servaient à informer les lecteurs de l'existence des contrefaçons et à affirmer les droits du détenteur de la copie originale. En fait, le libraire ne disposait pratiquement d'aucune autre possibilité pour se défendre des contrefaçons qui se trouvaient en concurrence avec ses propres éditions. Lorsque l'ouvrage contrefait avait été imprimé avec privilège, le libraire pouvait demander — cas extrême — aux autorités de saisir les balles de livres importées par un confrère. Reinier Leers demanda ainsi, en 1704, à l'inspecteur fiscal de l'amirauté de la Meuse de saisir 21 balles que Jean Louis de Lorme, libraire à Amsterdam, avait rapportées de Paris. Quatre balles contenaient 200 exemplaires du *Dictionnaire de Trevoux* et les 17 restantes une grande quantité d'autres livres. Leers considéra le *Dictionnaire de Trevoux* comme une contrefaçon de son *Diction[n]aire universel* de Furetière²⁸. Il exigea la confiscation des livres et pas moins de 5 000 florins de dommages et intérêts. C'était une somme exorbitante. De Lorme refusa de payer les 5 000 florins mais, d'après une lettre du pasteur Johannes Brandt à Reinier Leers, il aurait été prêt à en payer 2 000. Leers porta l'affaire devant les États généraux. Il exposa dans une requête que l'impression du *Dictionnaire* de Furetière lui avait coûté «un capital de près de 60 000 florins» et que l'importation par de Lorme de la contrefaçon était très préjudiciable à son entreprise. Après des délibérations qui durèrent plusieurs mois, une commission des États imposa à de Lorme une amende de 400 florins. Les 17 ballots de livres saisis durent lui être restitués. Mais il fut contraint de renvoyer en France les 200 exemplaires de *Dictionnaire de Trevoux*. De Lorme fut incontestablement le parti perdant dans cette affaire :

²⁶ Gazette d'Amsterdam. 1729. 29 mars.

²⁷ Gazette d'Amsterdam. 1739. 6 mars.

²⁸ Cf. le compte rendu du *Dictionnaire de Trevoux* dans: Histoire des ouvrages des savans. 1704. Juillet. P. 325: «le *Dictionnaire de Trevoux* est le Dictionnaire de Rotterdam tronqué & mutilé».

il dut s'acquitter de l'amende et faire repartir en France les quatre balles du *Dictionnaire de Trevoux*. Quant aux livres contenus dans les balles restantes et dont il pouvait enfin disposer, ils avaient perdu beaucoup de leur valeur puisque certains d'entre eux avaient déjà été contrefaits entre-temps dans la République²⁹. Ce cas est vraiment exceptionnel. En général, l'entrée des livres contrefaits dans la république des Provinces-Unies passait inaperçue. Et une fois les livres en vente dans les boutiques de libraires, il était beaucoup plus difficile de les faire saisir.

C'est principalement sur le marché français que les contrefaçons d'éditions hollandaises nuisirent le plus aux libraires de la république des Provinces-Unies. Les libraires néerlandais étaient en effet impuissants devant ces pratiques. En fait, les autorités françaises poursuivaient une double politique : d'un côté, elles entendaient empêcher des publications qu'elles jugeaient dangereuses ou pernicieuses et, de l'autre, elles cherchaient à favoriser les intérêts commerciaux de leur propre librairie. Un grand nombre de manuscrits quittaient le royaume de France à cause de la censure. La librairie hollandaise, et, plus tard, au XVIII^e siècle, celle d'autres pays voisins, profitaient largement de cette situation. Le lieutenant de police de Paris, La Reynie, constatait déjà, dans le mémoire de 1670 cité plus haut, que les Hollandais tiraient depuis quelques années «des sommes considérables de ce royaume par les impressions qu'ils y envoient»³⁰.

Lorsque, à partir de la fin du règne de Louis XIV, la censure devient peu à peu moins sévère, ce sera surtout l'argument économique qui prévaudra. Nous retrouvons la même attitude chez Malesherbes dans son *Mémoire sur la gazette d'Hollande* (1757). Malesherbes constate en effet que la gazette constitue «une branche de commerce actif que nous accordons aux étrangers <...> Par là on perdrait une branche de commerce considérable, ou plutôt on donnerait aux étrangers un commerce actif, désavantageux à la France»³¹. Même type de remarque en 1766 dans l'ouvrage *Les Intérêts des nations de l'Europe* de Jacques Accarias de Serionne :

On reproche à la France d'avoir mis elle même des bornes à l'industrie nationale en ce genre, en gênant trop l'imprimerie, & d'obliger les François à payer les productions de leur cru, l'esprit de leurs propres auteurs, aux autres peuples³².

Jean-Dominique Mellot a montré comment en France, à partir de la fin du règne de Louis XIV, la censure des livres devient progressivement plus libérale grâce aux permissions tacites accordées notamment aux libraires rouennais. L'un d'entre eux, Claude II Jore, justifie ses contrefaçons sous adresse néerlandaise en proclamant qu'il fait ainsi travailler ses ouvriers et détruit le com-

²⁹ *Lankhorst O.S.* Reinier Leers, uitgever en boekverkoper te Rotterdam (1654–1714). Een Europees 'libraire' en zijn fonds. Amsterdam; Maarssen, 1983. P. 71.

³⁰ Cf. ci-dessus la note 2 de la présente contribution.

³¹ *Malesherbes Ch.-G. de Lamoignon de.* Mémoires sur la librairie. Mémoire sur la liberté de la presse / Prés. par R. Chartier. Paris, 1994. P. 86.

³² *Serionne J. A. de.* Les Intérêts des nations de l'Europe. Leyde: Élie Luzac, 1766.

merce des Hollandais³³. Des libraires de Rouen et d'autres lieux publiaient effectivement sous adresse hollandaise des éditions en langue française déjà parues aux Provinces-Unies. Il s'agissait surtout probablement d'éditions destinées au marché français. Ce faisant, les libraires français réduisaient de beaucoup le débit des éditions originales hollandaises en France.

L'établissement du *Short-title Catalogue Netherlands (STCN)*, bibliographie de toute la production néerlandaise jusqu'en 1800 (y compris les éditions sous adresse hollandaise), se trouve actuellement dans sa dernière phase, consacrée au dépouillement des éditions du XVIII^e siècle. Une fois ce travail accompli, il sera possible de mieux saisir dans quelle mesure les contrefaçons françaises sous adresse hollandaise ont pénétré le marché néerlandais. On devrait en effet en retrouver des traces dans les bibliothèques du pays³⁴. Nous ne donnons ici que deux exemples qui démontrent l'absence en Hollande de ces éditions contrefaites françaises. Quant aux diverses contrefaçons lyonnaises du *Diction[n]aire universel* de Furetière, seuls deux exemplaires de la contrefaçon de 1702 se trouvent dans des bibliothèques néerlandaises. Un autre ouvrage publié par Reinier Leers, *L'Heritiere de Guyenne, ou Histoire d'Eleonor, fille de Guillaume, dernier duc de Guyenne*, d'Isaac de Larrey (1691), a connu au moins trois contrefaçons différentes en France (une avec la date 1691 et deux avec la date 1692)³⁵. Aucune de ces contrefaçons ne se trouve aux Pays-Bas.

À partir du milieu du XVIII^e siècle, le rôle international des libraires hollandais prend fin. Au moment où Jean Neaulme décide de se retirer de la librairie, en 1763, le déclin a déjà commencé. Les causes de ce déclin sont d'ordres divers, aussi bien politique, qu'économique et culturel. Bouillon, Neuchâtel, Kehl, Liège, Maastricht, Dresde exigent désormais de se faire une place dans l'édition de livres français. Cette concurrence est difficile à parer, surtout à cause du coût élevé de la main-d'œuvre dans la république des Provinces-Unies. En 1769, le libraire haguenois Pierre Gosse junior déclare dans une lettre à son confrère parisien Charles-Joseph Panckouke que les libraires hollandais sont devenus «les colporteurs des libraires étrangers». Ils publient de moins en moins de livres pour le marché international. On lit sous la plume du libraire Gosse : «La librairie d'Hollande est maitrisé[e] aujourd'hui par la Librairie étrangère, et sur tout par celle de Paris, au point que des qu'un libraire

³³ Cf. notamment *Mellot J.-D.* Pour une 'cote' des fausses adresses au XVIII^e siècle: le témoignage des éditions sous permission tacite en France // *Revue française d'histoire du livre*. 1998. Vol. 77. N 100/101. P. 323-348.

³⁴ Cf. l'étude approfondie de Rudolf Harnett sur des contrefaçons françaises conservées à la Herzog August Bibliothek à Wolfenbüttel: *Harnett R.* Fingierter Druckort: Paris. Zum Problem der Raubdrucke im Zeitalter Ludwigs XIV // *Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte*. 1989. N 14. P. 1-117, 149-312.

³⁵ La contrefaçon de 1691 est conservée à la bibliothèque municipale de Versailles (cote 2028); une contrefaçon datée 1692 se trouve dans la même bibliothèque (I 170), à la BNF (8° LB15-1A) et à la British Library. Une deuxième contrefaçon d'une édition différente de 1692 était en vente en février 2007 sur le site Ebay sur Internet. Je remercie amicalement madame H. H. M. Van Lieshout qui m'a signalé cette dernière édition, mise en vente sur le site Ebay.

d'Hollande entreprend le moindre ouvrage, il est d'abord contrefait à Paris et ailleurs»³⁶. En revanche la production en langue néerlandaise s'accroît alors; la lutte autour des contrefaçons se joue désormais entre libraires hollandais, et elle concerne des livres en néerlandais.

Отто С. Ланкхорст

**Стратегии голландских издателей
по защите своей франкоязычной продукции
от конкуренции**

В течение XVII и XVIII столетий голландские издатели опубликовали великое множество книг на французском языке, предназначавшихся для сбыта на международном рынке. При этом им приходилось нести немалые убытки из-за контрафакции как в Нидерландах, так и за их пределами. Возможности борьбы с контрафакцией были весьма ограничены. Ходатайство перед властями Республики Соединенных Провинций о предоставлении привилегии на издание могло защитить от нидерландской контрафакции. Однако такие привилегии испрашивались для издания лишь незначительного количества книг. В остальных случаях объявление в газете о намерении издать ту или иную книгу обеспечивало его подателя неким правом на издание, более или менее уважаемым его собратьями по ремеслу. Защититься от иностранной контрафакции было гораздо труднее. Никакого «копирайта» в международном плане еще не существовало. Книгоиздатели могли протестовать, публиковать свои предостережения и упреки в газетах. Во Франции контроль властей иногда помогал перехватывать контрафактную продукцию, однако система «негласных разрешений» (*permissions tacites*), распространившаяся в XVIII в., фактически способствовала расцвету контрафакции на французском рынке и тем самым отнимала прибыль у голландских издателей, печатавших оригинальные издания.

³⁶ Lettre de P. Gosse jr. à Ch.-J. Panckoucke, 5 mai 1769 (Bibliothèque publique et universitaire, Genève. Ms. Suppl. 148. Fol. 48).

FRANÇOISE WEIL

LA FIN DES LUMIÈRES:
FAUSSES ADRESSES, 1774–1788

L'existence d'ouvrages sous fausse adresse a depuis longtemps intrigué bibliographes et bibliophiles. Nous avons pour notre part tenté de cerner le phénomène à la veille de la Révolution française, en choisissant d'enquêter sur la tranche chronologique 1774–1788 (partie pré-révolutionnaire du règne de Louis XVI).

La démarche adoptée ici diffère de celle d'Emil O. Weller¹, dont le but était, au milieu du XIX^e siècle, de dresser une liste des ouvrages dont il avait retrouvé le véritable lieu de publication. De notre côté, nous avons plutôt cherché à repérer les ouvrages dont l'adresse était fausse, et si possible dans un deuxième temps en identifier l'origine afin d'en tirer des enseignements. Une bonne part de l'intérêt de cette problématique tient en effet à la périodisation retenue: à la veille de la Révolution, les fausses adresses sont loin d'être un phénomène nouveau. Mais de quoi portent-elles désormais témoignage?

POUR UN CORPUS
DES FAUSSES ADRESSES

Dans ce cadre de travail, nous n'avons pas tenu compte des catégories suivantes:

- les ouvrages sans page de titre et ne comportant tout au plus qu'un faux-titre;

© Françoise Weil, 2008

¹ *Weller E.O.* Die Falschen und fingierten Druckorte... II. Dictionnaire des ouvrages français portant de fausses indications des lieux d'impression et des imprimeurs, depuis le XVI^e siècle jusqu'aux temps modernes. Leipzig, 1864 (réimpr., Hildesheim; New York, 1970).

– les ouvrages ne comportant pas de lieu (ni de date) en page de titre, ceux que Jean-Dominique Mellot a qualifiés de «non-adresses»²;

– les ouvrages publiés sous des adresses telles que: «En France», «En Suisse», «Libraires associés»;

– les ouvrages publiés apparemment sous permission tacite et présentant des adresses du type «à Amsterdam et se trouve à Paris chez Untel»³.

Nous nous attacherons en revanche à trois catégories d'ouvrages qui ont paru sous de fausses adresses.

Pour les deux premières catégories, un simple coup d'œil sur la page de titre suffit à les inclure dans notre corpus:

1 – les adresses imaginaires;

2 – les adresses comportant un nom de ville mais pas de nom d'éditeur.

Une troisième catégorie sera également prise en compte, celle des adresses réelles mais prétendues, fallacieuses, autrement dit «non sincères».

Nous exposerons enfin quelques méthodes d'identification.

Pour chaque catégorie, nous donnerons un certain nombre d'exemples en mentionnant certaines caractéristiques lorsque nous avons examiné au moins un exemplaire. Et nous tenterons de distinguer au fur et à mesure les ouvrages qui n'auraient pu bénéficier d'une permission et les contrefaçons d'ouvrages autorisés.

I. Adresses imaginaires

1) Villes et éditeurs purement imaginaires

Dans cette catégorie, nous avons relevé plusieurs «familles» d'adresses:

En guise de *varia*, tout d'abord: «de l'imprimerie de l'Olympe», «Cythère», «Luxuropolis, de l'Imprimerie du Clergé», «Salomonopolis», «chez Androphile, à la Colonne inébranlable», «Monachopolis».

Ainsi, dans des ouvrages attribués à l'abbé Henri-Joseph Du Laurens sont invoquées plusieurs adresses – clin d'œil récurrentes:

– «à Rome, aux dépens de la congrégation de l'Index» pour *L'Arretin moderne* (1773, 1774, 1775, 1780);

– «à Arras, aux dépens du chapitre» (1774) ou «aux dépens des moines» (1776) pour *Étrennes aux gens d'Église ou la Chandelle d'Arras*, ouvrage saisi à plusieurs reprises (cf. BNF, ms. fr. 21934).

Par ailleurs, certains thèmes paraissent «fédérateurs», comme la *Bastille*, avec par exemple:

«À cent lieues de la Bastille», pour *Vie privée ou apologie de Très Sérénissime prince Monseigneur le duc de Chartres... par une société d'amis du prince* (1784), ouvrage qui a connu plusieurs éditions.

² Mellot J.-D. Pour une «cote» des fausses adresses au XVIII^e siècle: le témoignage des éditions sous permission tacite en France // Revue française d'histoire du livre. 3^e et 4^e trim. 1998. N 100–101. P. 323–348.

³ Ibid.

De même, la *Vérité*:

– «Au Temple de la Vérité, aux dépens des Quakers», pour *Le Chien après les moines. Lu et approuvé par une bande de défroqués nouvellement débarqués en Hollande* (1784), ouvrage attribué au comte de Mirabeau, de même que *Le Chien après les m...* [, s. n., s. d.]

– «À Memphis, chez Sincere, libraire réfugié au Puits de la Vérité», pour *Le Vol plus haut, ou l’Espion des principaux théâtres de la capitale* (1784).

– «Veropolis», pour *La Vie privée d’un prince célèbre ou Détail des loisirs du prince Henri de Prusse dans sa retraite de Reinsberg* (1784), ouvrage rayé sur le registre des permissions tacites le 15 janvier 1785 et qui a connu au moins deux éditions de 70 et 96 p.

Ou encore la *Liberté*:

– «Dans le pays de la Liberté», pour [Joseph Servan,] *Le Soldat citoyen, ou Vues patriotiques sur la manière la plus avantageuse de pourvoir à la défense du royaume* (1780).

– «A Ville-franche chez la Veuve Liberté» pour: la *Vie privée de Louis XV...* (1782; autres éditions en 1781 sous l’adresse de Londres); *Histoire véritable de Jeanne de Saint-Rémy ou les Aventures de la comtesse de La Motte* (1786; on sait que la comtesse de La Motte avait été compromise dans l’affaire du Collier de la reine).

– «Chez la veuve Liberté à l’enseigne de la Révolution», pour les différentes éditions de *La Cour plénière, heroi-tragi-comédie... jouée le 14 juillet 1788 par une société d’amateurs dans un château aux environs de Versailles* (1788) (les principaux personnages de cette pièce sont Lamoignon, Maupeou, les abbés Maury et Morellet; le 8 mai précédent, le garde des sceaux Lamoignon avait présenté une réforme visant à remplacer les parlements par des tribunaux d’appel).

2) Villes réelles, avec ou sans nom d’éditeur, mais prétendues

Sous cette catégorie, on trouve l’adresse de *Cologne*, classique depuis la seconde moitié du XVII^e siècle, notamment pour [Ange Goudar,] *L’Espion chinois* (1774 et 1783).

«A Cologne, chez Pierre Marteau» est moins fréquent qu’au début du XVIII^e siècle, mais on relève encore la formule pour:

– *L’Homéide, poème en quatre chants: Où suis-je? Qui suis-je? Que ferai-je? Que deviendrai-je? À Frédéric II, roi de Prusse* par le marquis René-Alexandre de Culant (1781).

– *Morale enjouée ou Recueil de fables... Seconde éditio...*, par le même marquis de Culant (1783).

Constantinople se rencontre également.

Surtout, on voit apparaître *Philadelphie*, dont la vogue se répand avec la révolution américaine (Congrès continental de Philadelphie en 1774):

– Nicolas-Joseph Sélis, *L’Inoculation du bon sens: par moi, et pour l’homme en général*, Philadelphie, «chez l’imprimeur ambulante, avec approbation de la Société des inoculés» (nouvelle éd., 1776).

– Guillaume-Emmanuel-Joseph de Guilhem de Clermont-Lodève, baron de Sainte-Croix, *De l'état et du sort des colonies des anciens peuples*, Philadelphie, 1779.

– [Jacques-Pierre Brissot deWarville,] *Testament politique de l'Angleterre*, Philadelphie, 1780.

– [Joseph-Michel-Antoine Servan,] *Apologie de la Bastille, pour servir de réponse aux mémoires de M. Linguet...*, Philadelphie, «aux dépens des citoyens libres», 1784. Cet ouvrage, refusé sur le registre des permissions tacites le 26 avril 1784 par le baron de Breteuil, a connu plusieurs éditions différentes.

– [Le Tellier, ancien maire d'Harfleur,] *Voyage de Louis XVI dans sa province de Normandie*, Philadelphie (1786 et 1787).

– [Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet,] *Sentimens d'un Républicain sur les assemblées provinciales et les États généraux...*, Philadelphie, 1788.

3) Libraires imaginaires de Londres

En relation avec la vogue des fausses adresses de «Londres» à la fin du XVIII^e siècle, on voit alors apparaître plusieurs libraires londoniens imaginaires, dont certains particulièrement récurrents.

John Adamson

Sous ce pseudonyme, nous avons recensé, dans l'ordre chronologique:

– *Anecdotes sur Mme la comtesse Dubarri* [par Mathieu-François Pidansat de Mairobert]. *Nouvelle édition revue et corrigée ornée du portrait de l'héroïne*, «Londres, John Adamsohn [sic]», 1776. Ouvrage saisi à plusieurs reprises pendant la période (cf. BNF, ms. fr. 21934).

– *Mémoires concernant l'administration des finances sous le ministère de M. l'abbé Terrai, contrôleur général* [par Jean-Baptiste-Louis Coquereau], «Londres, John Adamson», 1776.

Le même ouvrage a paru sous le titre de *Mémoires de l'abbé Terrai...*, «Londres», 1776, et «A la Chancellerie», 1777.

– *L'Espion anglais...*, «Londres, John Adamson», 1777–1785 (diverses éditions).

– *Système du régime des Jésuites, aujourd'hui de celui de plusieurs des évêques de France, dévoilé*, «Londres, John Adamsohn [sic]», 1777.

– *L'Observateur anglais, ou Correspondance secrète entre Milord All'eye et Milord All'ear...* [par M.-F. Pidansat de Mairobert], «Londres, John Adamson», 1777–1784.

– *Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la république des lettres en France par feu M. de Bachaumont* [par M.-F. Pidansat de Mairobert], «Londres, John Adamsohn (ou Adamson)», 1777–1789.

– *Lettres sur les peintures, sculptures et gravures de Mrs de l'Académie royale, exposées au Salon du Louvre... commencées par feu M. de Bachaumont et depuis sa mort continuées par un homme de lettres célèbre*, «Londres, John Adamson», 1780.

– *Supplément à L’Espion anglois, ou Lettres intéressantes sur la retraite de M. Necker...* [par Joseph Lanjuinais?], «Londres, John Adamson», 1782.

– *Réforme générale du clergé de France, tant séculier que régulier, conforme au véritable esprit de l’Évangile, ordonnée par les loix du royaume et sollicitée depuis longtemps par tout bon citoyen*, «Londres, de l’imprimerie de John Adamson», 1786.

– *Correspondance secrète, politique et littéraire, ou Mémoires pour servir à l’histoire des cours, des sociétés et de la littérature en France depuis la mort de Louis XV* [par Louis-François Metra, Guillaume Imbert et autres], «Londres, John Adamson», 1787–1790.

– *Les Étrennes de M. de Calonne à la nation française, ou Léger détail des bienfaits qu’il a rendus à la France*, «Londres, Johm [sic] Adamson», 1788.

– *Anecdotes échappées à l’Observateur anglois et aux Mémoires secrets en forme de correspondance pour servir de suite à ces deux ouvrages* [par M.-F. Pidansat de Mairobert], «Londres, John Adamson», 1788.

John Peter Lyton

– *Vie privée de Louis XV ou Principaux Événemens, particularités et anecdotes de son règne* (plusieurs éditions de 1781 à 1785).

L’ouvrage fut saisi à plusieurs reprises comme «prohibé», par exemple le 5 octobre 1781 et le 22 mai 1785 (BNF, ms. fr. 21934). C’est à son propos que le libraire genevois Gabriel Grasset écrivait le 7 mars 1781 à la Société typographique de Neuchâtel: «Il vient de nous arriver un bon ouvrage [...] Voulez-vous l’imprimer de compte à moitié avec nous?» (BPU Neuchâtel, ms. 1160, fol. 449).

«L’éternel Jean Nourse»

L’adresse «Londres, Jean Nourse» est plus prétendue qu’imaginaire, dans la mesure où, on le sait, un libraire londonien du nom de John Nourse (1705–1780)⁴ a bel et bien exercé, apportant sa contribution à la diffusion des Lumières. Sous le règne de Louis XVI, on continue à l’invoquer sur un mode plaisant.

– *Œuvres completes de M. de Chevrier*, «à Londres, chez l’éternel Jean Nourse», 1774. L’ouvrage comporte trois tomes: tome I, *Le Colporteur, histoire morale et critique*, qui contient également l’*Almanach des gens d’esprit*; tome II, *Amusements des dames. Les trois C, conte. Je m’y attendois bien. Mémoires d’une honnête femme*; tome III, *Les Ridicules du siècle...*

Cette édition, postérieure à la mort de François-Antoine Chevrier, survenue en 1762, soulève plusieurs questions. Les précédentes réimpressions des

⁴ Voir en particulier Barber G. Voltaire and the «maudites éditions de Jean Nourse» // Voltaire and his world, studies presented to W. H. Barber / Ed. by R. J. Howells et al. Oxford, 1985; Shackleton R. Les fausses indications de libraire dans les éditions de Montesquieu // Trasmissione dei testi a stampa nel periodo moderno. I. Seminario internazionale, Roma, 23–26 marzo 1983 / A cura di G. Crapulli. Roma, 1985.

ouvrages de Chevrier, datant de 1762 et 1763, avaient déjà paru pour la plupart sous l'adresse de Jean Nourse. Le tome III comprend en réalité, outre *Les Ridicules du siècle*, *La Vie du fameux P. Norbert ex-capucin connu aujourd'hui sous le nom de l'abbé Platel. Par l'auteur du Colporteur. Tome troisième. Seconde partie*, «à Londres, chez l'éternel Jean Nourse». Entre ces deux textes et sans page de titre, aux pages 97–247, on trouve les *Nouvelles Libertés de penser* parues pour la première fois en 1743 et qui comprennent *Réflexions sur l'argument de Monsieur Pascal et de Monsieur Locke*, *Sentiments des philosophes sur la nature de l'ame*, *Traité de la liberté*, *Réflexions sur l'existence de l'ame et sur l'existence de Dieu*, *Le Philosophe*, enfin à la page 249 *Essai sur les mémoires de M. Guillaume*. Or les *Nouvelles Libertés de penser* avaient été publiées sous la fausse adresse d'Amsterdam, 1743⁵, et n'avaient pas été réimprimées depuis; en tout cas il n'existe pas d'édition intermédiaire. Et il n'y a, à notre connaissance, aucun lien entre les *Nouvelles Libertés de penser* et Chevrier.

John Peterson

– *La Vérité rendue sensible à Louis XVI par un admirateur de M. Necker*, «Londres, John Peterson», 1782.

II. Villes sans nom d'éditeur

Les adresses ne comportant qu'un nom de ville (même si celle-ci est bien réelle) sont presque toujours fictives.

Nous avons tenté d'en établir un corpus dont nous ne prétendons pas qu'il soit complet, et ce en utilisant les catalogues en ligne des grandes bibliothèques. On obtient ainsi un total de 465 éditions pour les années 1774–1788, avec des pointes en 1788 (46), 1782 et 1783 (44) et 1787 (43).

Ces adresses sans nom d'éditeur se répartissent entre: Londres, 320 (près de 70 %); Amsterdam, 59 (12,7 %); Genève, 56 (12 %); Bruxelles, 8; La Haye, 7; Lausanne, 6; Avignon, 5; Édimbourg, 4, etc.

Si on compare ces pourcentages à la répartition des fausses adresses étrangères de permissions tacites (et d'elles seules) établie par J.-D. Mellot pour 1778⁶, la différence est flagrante: Londres ne représentait alors guère plus de 7 % (et les tensions politiques du moment n'étaient pas étrangères à cette faible représentation de Londres), Amsterdam 26 %, Genève un peu plus de 6 %.

Certes nos chiffres sont certainement inférieurs à la réalité, mais ils donnent une idée de l'importance accrue de l'adresse «Londres» à la fin du XVIII^e siècle. C. J. Mitchell avait recensé à la British Library 41 adresses «Londres» (d'éditions francophones) pour l'année 1787 alors que nous en avons compté 25.

⁵ Voir *Mori G.* Du manuscrit à l'imprimé: les *Nouvelles Libertés de penser* // *La Lettre clandestine*. 1993. N 2. P. 15–18.

⁶ *Mellot J.-D.* Op. cit., notamment P. 339–342.

Il est vrai que sa statistique incluait les éditions comportant un nom d'éditeur⁷. Il semble en tout cas que la capitale britannique soit alors devenue, plus qu'Amsterdam à la période précédente, le symbole de la liberté de la presse, de la mode et de la modernité.

Dans cette catégorie des villes sans nom d'éditeur, presque la moitié des ouvrages que nous avons recensés ont paru également sans nom d'auteur.

Difficile de dire si le choix de la ville répond à un quelconque critère: on verra que Saint-Malo était la patrie de l'auteur de l'unique ouvrage portant cette adresse; quant à Édimbourg, l'adresse s'applique à Louis-Claude de Saint-Martin, le «Philosophe inconnu».

1) *Autour du magnétisme animal*

Si l'affaire du Collier et les écrits concernant le contrôleur général des finances Calonne et l'Assemblée des notables puis les États généraux ont suscité nombre de publications, ce furent surtout des brochures sans adresse.

Parmi les grands débats de l'époque, dont on trouve la trace dans les recueils factices de plusieurs bibliothèques de province, nous avons remarqué après Robert Darnton celui du magnétisme animal, et ce n'est donc pas innocemment que nous lui avons emprunté le titre de son ouvrage. Comme il l'a écrit, «le mesmérisme a suscité un intérêt extraordinaire au cours de la décennie prérévolutionnaire <...> il est un exemple de la façon dont la politique est associée à des engouements fournissant aux écrivains radicaux une cause qui retient l'attention des lecteurs *sans éveiller celle des censeurs*»⁸.

Rappelons les faits. En 1775 l'Autrichien Franz Anton Mesmer prétend pouvoir exciter le succès thérapeutique des exorcistes encore nombreux à l'époque: à la place des forces surnaturelles et démoniaques, le magnétisme animal pose l'existence d'un fluide universel qui remplit l'univers, réfléchi par les miroirs et augmenté par le son, et qui se manifeste dans le corps humain par des propriétés analogues à celles des aimants. D'où l'idée de faire usage du baquet. Il publie en 1779 sous l'adresse «à Genève et en France à Paris», donc sous une permission tacite, chez Pierre-François Didot le jeune, un *Mémoire sur la découverte du magnétisme animal* qui est officiellement condamné par la faculté de médecine de Paris le 18 septembre 1780. En 1781 il fait paraître sous l'adresse de Londres un *Précis historique des faits relatifs au magnétisme animal jusques en avril 1781, traduit de l'allemand*.

Amand-Marc-Jacques de Chastenet, marquis de Puységur, d'abord disciple de Mesmer, utilise un arbre magnétique auquel les patients sont attachés et s'intéresse au somnambulisme, état magnétique parmi d'autres. La mode du «mes-

⁷ Mitchell C.J. La fausse rubrique «Londres» durant la Révolution française // Livre et Révolution: colloque organisé par l'Institut d'histoire moderne et contemporaine (CNRS), Paris, Bibliothèque nationale, 20–22 mars 1987 / Actes réunis par F. Barbier, C. Jolly, S. Juratic; présentés par D. Roche, R. Chartier. Paris, 1989. P. 157–164, notamment P. 161.

⁸ Darnton R. La Fin des lumières. Le mesmérisme et la Révolution. Paris, 1984. P. 17 (réimpr., Paris, 1995).

mérisme» se diffuse. En 1783, le Lyonnais Nicolas Bergasse, qui sera député en 1789, fonde la Société de l'Harmonie universelle. En 1784 il est fait état d'une loge mesmérisme à Bordeaux: [J.-B.] B[arbeguière], *La Maçonnerie mesmérisme... l'an des influences 5784*, Amsterdam [i. e. Bordeaux], 1784. Le 12 novembre 1784 le censeur Sage approuve *De la philosophie corpusculaire ou des connoissances et des procédés magnétiques chez les divers peuples par M. Del[andine]*.

Ce sont peut-être là les derniers livres sur le sujet qui reçoivent des approbations officielles. Dorénavant, le mesmérisme fait l'objet de demandes de permissions tacites. Le 8 décembre 1784 le censeur Poissonnier approuve l'*Examen de la doctrine d'Hippocrate <...> pour servir à l'histoire du magnétisme animal. Par Elie de la Poterie*. Le 10 décembre 1784 le censeur Machy donne son accord pour une troisième édition des *Aphorismes de M. Mesmer*: «Je le trouve intéressant à imprimer dans les circonstances présentes», sans que soient précisées ces circonstances.

Dès lors, toute une série de publications mesméristes paraissent sous de fausses adresses entre lesquelles, selon les années, domine le plus souvent «Londres».

En 1784 sont ainsi publiés sous l'adresse de Londres :

– *Éclaircissements sur le magnétisme animal* [par Jacques-Joseph de Gardanne].

– *Le Baquet magnétique, comédie en vers... Par Mr. P. G.* [Pierre Guigoud-Pigale].

Mais «Londres», cette année-là, ne détient pas exclusivité sur les publications relatives au mesmérisme. Sous l'adresse de *Bruxelles* paraissent en 1784:

– [Marie-André-Joseph Bouvier,] *Lettres sur le magnétisme animal, où l'on discute l'ouvrage de M. Thouret...*

– [A. F. Mesmer,] *Lettres à M. Vicq d'Azyr et à Messieurs les auteurs du Journal de Paris* (Mesmer — ou N. Bergasse? — se réfère aux numéros datés du 11 et du 27 août).

– *Observations sur le livre de M. Thouret sur le magnétisme animal ou Lettre de M. A*** à M. B*** sur le livre intitulé Recherches et doutes sur le magnétisme animal de M. Thouret ce 22 août 1784.*

– *Autres Rêveries sur le magnétisme animal, à un académicien de province* [l'abbé Petiot]. L'abbé Petiot était secrétaire de la fameuse Société de l'Harmonie universelle. Il écrivait notamment que «tous les privilèges exclusifs sont favorables à quelques genres d'aristocratie; il n'est que le roi et le peuple dont l'intérêt constant soit général»⁹.

Le 12 mai 1785 se tient à Paris une assemblée générale de la Société de l'harmonie de France qui adopte les *Règlements des sociétés de l'Harmonie universelle*, lesquels seront imprimés l'année même.

⁹ Ibid. P. 108.

Mais le 10 septembre 1785, lorsque Charles Deslon demande un censeur pour son *Essai théorique et pratique sur le magnétisme animal*, sa demande est refusée: «Le roi ne veut point que l'on permette d'écrire sur cet objet» (BNF, ms. fr. 21866, fol. 99).

En 1785, les «adresses mesméristes» se partagent entre «Londres» et «La Haye».

Sous l'adresse de *Londres* paraissent:

– *Observations de M. Bergasse sur un écrit du docteur Mesmer, ayant pour titre Lettre de l'inventeur du magnétisme animal à l'auteur des Réflexions préliminaires.*

– *Essai sur la théorie du somnambulisme magnétique, par Mr. T. D. M.* [A.-A. Tardy de Montravel].

– *Suite des Mémoires pour servir à l'histoire et à l'établissement du magnétisme animal* [par A.-M.-J. de Chastenet de Puysegur].

– *Réponse à l'auteur des Doutes d'un provincial...* [par Jean-Jacques Paulet].

Et sous celle de *La Haye*:

– *Traces du magnétisme* [par Jacques Cambry].

– Nicolas Bergasse, *Considérations sur le magnétisme animal ou sur la théorie du monde et des êtres organisés d'après les principes de M. Mesmer.*

– *Histoire véritable du magnétisme animal ou Nouvelles Preuves de la réalité de cet agent...*

Le tir de barrage de l'automne 1785 ralentit certes le rythme des publications, cependant que les sociétés harmoniques prospèrent.

En 1786 paraissent encore, sous l'adresse de *Londres*:

– *Essai sur la théorie du somnambulisme magnétique. Par M. T. D. M.* [A.-A. Tardy de Montravel], dont une édition avait déjà paru en 1785.

– *Journal du traitement magnétique de la demoiselle N, lequel a servi de base à l'Essai...* Par M. T. D. M. [Tardy de Montravel].

Entre-temps le libraire parisien André-Médard Gastelier, établi depuis août 1783 à l'adresse du «parvis Notre-Dame», semble s'être spécialisé dans les ouvrages relatifs au magnétisme. Nous avons en effet retrouvé à la fin d'un recueil factice sur le magnétisme¹⁰ deux petits catalogues imprimés par Pierre-Méri Delaguette, et portant l'approbation du syndic [Charles-Guillaume Le Clerc] en date du 16 juin 1786:

– *Note des ouvrages sur le magnétisme animal qui se trouvent chez Gastelier*, 105 numéros;

– *Note d'ouvrages rares ou épuisés sur le magnétisme animal*, sans son nom, 69 numéros.

Par ailleurs, certains exemplaires des ouvrages sur le magnétisme portent une étiquette au nom de Gastelier collée à l'adresse, comme s'il avait acheté tout

¹⁰ Bibl. mun. de Dole. TH 1716. Vol. 10.

ce qu'il avait pu trouver sur ce sujet et s'était acquis là-dessus, en quelque sorte, un droit de propriété. Ainsi:

- *Lettre de M. d'Eslon... à M. Philip doyen de la faculté* (1782, exemplaire de la bibl. mun. de Lyon; l'adresse de l'exemplaire de Dole porte «La Haye»);
- *L'Antimagnétisme* (1784);
- *Recueil d'observations et de faits relatifs au magnétisme animal* (1785, ex. de la bibl. Sainte-Geneviève, Paris);
- *Lettre à M. Thouret pour servir de réfutation...* (1785, ex. de la Wellcome Library);
- *Lettre adressée par M. Deslon aux auteurs du Journal de Paris* (1785, ex. de la Cambridge University Library);
- *Recherches sur la direction du fluide magnétique* (1785, ex. de la Wellcome Library);
- *De la philosophie corpusculaire* (1785, ex. de la bibl. mun. de Dole), dont le privilège avait été accordé au libraire parisien Gaspard-Joseph Cuchet;
- *Examen de la doctrine d'Hippocrate* (1785, ex. de la bibl. mun. de Dole, où l'on distingue encore sous le collage: «<...> du Roi et de la Marine», titulature de l'imprimeur-libraire brestois Romain-Nicolas II Malassis dont le nom est donné en clair à la page 88).

Mais l'harmonie revendiquée par les adeptes de Mesmer est loin de régner. Le 4 janvier 1787, en effet, le comité de la Société de l'Harmonie de France «examine avec la plus sérieuse attention un imprimé ayant pour titre *Extrait des journaux d'un magnétiseur attaché à la Société des amis réunis de Strasbourg* et, pour s'opposer autant qu'il est en lui aux abus et aux préjugés qui peuvent résulter d'une production aussi bizarre et tout à la fois si contraire aux principes adoptés par les sociétés de l'Harmonie, il a résolu et arrêté que <...> les sociétés de Strasbourg et du régiment de Metz n'ont été établies que d'après le pouvoir qui en a été donné à Monsieur le marquis de Puységur par la société de France»¹¹. Il y aurait donc lieu d'étudier les rapports parfois étroits ayant pu exister entre ces sociétés et la franc-maçonnerie.

2) *Autres types d'ouvrages*

Sous l'adresse de Londres

Sous l'adresse «Londres» se détachent nombre de «petits formats» in-18 à rapprocher des collections de «cazins» (au moins une trentaine d'éditions de 1780 à 1786). Jean-Paul Fontaine explique à ce propos que «lors de ses fréquents séjours dans la capitale le [libraire] rémois [Hubert-Martin Cazin] fit la connaissance du libraire et imprimeur [Jacques-François] Valade, très lié au lieutenant général de police de Paris Lenoir dont Cazin gagna la bienveillance. Valade commença en 1779 une collection dans le petit format in-18 <...> Ce n'est qu'à partir de 1782 que Valade et Cazin s'associèrent pour l'édition de cer-

¹¹ Extrait des registres de la Société de l'Harmonie de France, imprimé de 7 pages signé de Gérardin, archiviste (Bibl. mun. de Dole. TH 1716. Vol. 10).

tains titres de la collection parisienne in-18»¹². Or une grande partie des éditions publiées par les associés dans le cadre de cette collection portent l'adresse de «Londres».

On notera par ailleurs qu'en juin 1781 une permission tacite est accordée à une *Petite Bibliothèque amusante* entrée par la chambre syndicale parisienne et portant le n° 255: il pourrait s'agir de la *Bibliothèque amusante* de Cazin et Valade.

C'est également sous l'adresse de Londres qu'on réimprime les philosophes:

- Helvétius, mort en décembre 1771: *Les Progrès de la raison* (1775), *Œuvres* (1775), *De l'Homme* (1776; 1^{re} éd., 1772), *Œuvres complètes* (1777 et 1781) et *Le Vrai Sens du système de la nature* (1774), attribué à Helvétius;
- Voltaire, mort en 1778 (1779, 1780, 1781, 1782);
- Rousseau, mort en 1778 (1782, 1785);
- d'Holbach: *La Politique naturelle* (1774), *Le Bon Sens* (1774; 1^{re} éd., 1772), *Système social* (1774; 1^{re} éd., 1771), *De la cruauté religieuse* (1775), *Système de la nature* (1780; 1^{re} éd., 1770).

On peut y ajouter quelques *varia* plus ou moins audacieux:

- *Anecdotes sur M. [sic] la comtesse Du Barri* (1775).
- [Gacon de Louancy,] *Lettres de deux curés des Cévènes [sic] sur la validité des mariages des protestans et sur leur existence légale en France* (1779, ouvrage figurant au registre des permissions tacites, BNF, ms. fr. 21994, N 1680).
- *Le Chroniqueur désœuvré ou l'Espion du boulevard du Temple*, attribué à François-Marie Mayeur de Saint-Paul ou à Charles Théveneau de Morande (1782).

Sous l'adresse de Genève

«Genève» semble bénéficier d'une certaine faveur sous le règne de Louis XVI. Ainsi trouve-t-on sous cette adresse, entre 1777 et 1787:

- *Œuvres de Monsieur de Montesquieu* (1777).
- [Peyron,] *Essais sur l'Espagne. Voyage fait en 1777 et 1778 où l'on traite des mœurs, du caractère, des monuments, du commerce, du théâtre et des tribunaux particuliers à ce royaume* (1780).
- *Le Trésorier de France* (1780).
- *Réflexions sur quelques points de nos loix à l'occasion d'un événement important. Par M. Servan* (1781).
- [Francis d'Ivernois,] *Tableau historique et politique des révolutions de Genève dans le dix-huitième siècle...* (1782).
- *Lettres sur la France, l'Angleterre et l'Italie, par le comte F. d'H., chambellan de Sa Majesté impériale et royale* [Franz von Hartig] (1785).

¹² Fontaine J.-P. Cazin, Hubert-Martin // Dictionnaire encyclopédique du livre / Sous la dir. de P. Fouché, D. Péchoin, P. Schuwer, et la responsabilité scientifique de J.-D. Mellot, A. Nave, M. Poulain. Paris, 2002. T. 1. P. 478.

– [Jean-Claude de La Métherie,] *Principes de la philosophie naturelle, dans lesquels on cherche à déterminer les degrés de certitude ou de probabilité des connoissances humaines...* (1787).

– *Procès de M. de Calonne, ou Réplique à son libelle par un citoyen* (1787, pamphlet où l'on peut lire: «Voilà l'homme que l'intrigue et la cabale ont conduit au ministère dont tout devoit l'exclure, qui est l'auteur de tous les malheureux événemens»).

– *Libération de la dette nationale...* (1787).

Sous l'adresse d'Amsterdam

L'adresse d'«Amsterdam», quelque peu éclipsée désormais par «Londres», conserve néanmoins un crédit certain.

Sous cette adresse paraissent les *Œuvres philosophiques* (1774) de Julien Offray de La Mettrie, mort en 1751, et des éditions de Montesquieu (1781 et 1785).

On relève également:

– *Voyage d'un amateur des arts en Flandre, dans les Pays-Bas, en Hollande, en France <...> dans les années 1775–76–77–78. Par M. de la R**** [J. de La Roche] (1783).

– *Remontrances des malades aux médecins de la faculté de Paris* [par Jean-François Fournel] (1785).

– *Portrait de Philippe II, roi d'Espagne, précédé d'un précis historique* [par Louis-Sébastien Mercier] (1785). Présenté pour une permission tacite le 1^{er} juin 1785 (Guyot censeur), l'ouvrage avait été rayé le 29 juin suivant (BNF, ms. fr. 21986, N 740). De fait, l'auteur écrivait par exemple: «La monarchie religieuse est la plus dangereuse de toutes» (p. III) et, à propos du protestantisme: «Je crains que ce culte trop nu n'éteigne peu à peu le saint désir d'adorer et de prier en commun» (p. XL). Et de se réjouir que «l'esprit philosophique [ait] démontré le néant et la honte de ces débats violents et insensés qu'occasionnait alors le culte».

Sous l'adresse de Lausanne

– *Vie privée du comte de Buffon... par M. le chevalier Aude* (1788).

Sous l'adresse de Neuchâtel

L'adresse «Neuchâtel» bénéficie alors certainement de la notoriété que s'est acquise sa Société typographique, la STN, au service de la diffusion des Lumières depuis 1769. On relève ainsi, sous cette adresse:

– *Confession de Voltaire traduite de l'espagnol par M**** (1775).

– *Commentaire historique sur les œuvres de l'auteur de la Henriade* (1776; édition différente de celle de la STN¹³).

¹³ Voir *Schmidt M.* Liste des impressions de la STN // La Société typographique de Neuchâtel (1769–1789): l'édition neuchâtoise au siècle des Lumières / Recueil d'études publié par M. Schlup. Textes de R. Darnton, J. Rychner, M. Schlup. Catalogue des livres de la STN établi par M. Schmidt. Neuchâtel, 2002. P. 254.

– *Dissertation sur le bled et le pain. Par M. Linguet. Avec la réfutation de M. Tissot* (1779).

– [Martin Sherlock,] *Lettres d'un voyageur anglois* (1781; il y eut plusieurs éditions de cet ouvrage à partir de 1779, dont deux autres datées de 1781, une sous l'adresse de la STN et une sous celle d'Isaac Bardin à Genève).

– [M.-J.-A.-N. de Caritat de Condorcet,] *Réflexions sur l'esclavage des nègres par M. Schwartz. Nouvelle édition* (1781). L'édition de 1788 présentera quant à elle une adresse de type permission tacite: «A Neuchâtel, et se trouve à Paris chez Froullé».

– *Guillaume Tell, tragédie par M. Le Mierre, représentée... le 17 novembre 1766* (1783). L'édition de 1776 portait: «À Neuchâtel, et se trouve à Paris chez la veuve Duchesne».

Sous l'adresse de Paris

L'adresse de «Paris» sans nom d'éditeur continue d'abriter quelques audaces sous le règne de Louis XVI.

– *Essai philosophique sur le somnambulisme. Par M. L[inguet]* (1776).

– *Éloge et Pensées de Pascal, nouvelle édition commentée, corrigée et augmentée par Mr. de **** (1778).

– *Histoire d'un pou françois, ou l'Espion d'une nouvelle espèce tant en France qu'en Angleterre. Contenant les portraits de personnages intéressans dans ces deux royaumes* (1781).

– *Les Amans républicains ou Lettres de Nicias et Cynire* (1782), ouvrage attribué à Jean-Pierre Béranger, admirateur genevois de Jean-Jacques Rousseau. On sait que le manuscrit fut présenté pour une permission tacite (censeur Guidy) le 16 septembre 1783 et qu'il fut rayé (BNF, ms. fr. 21984, N 258).

– *Dictionnaire portatif de la campagne par M. l'abbé Besançon* (1786).

Sous l'adresse de Saint-Malo

Le *Voyage de Figaro en Espagne*, paru sous cette adresse en 1785, était l'œuvre de Jean-Marie-Jérôme Fleuriot de Langle, né à Dinan (près de Saint-Malo), et qui se faisait appeler le marquis de Langle. Il y en eut cinq éditions en 1785, dont une sous le même titre avec l'adresse de «Séville» et une autre sous le titre de *Voyage en Espagne*, et l'adresse de «Neuchâtel, Fauche fils aîné et compagnie». Le livre connut un succès de scandale et fut traduit en allemand, en anglais, en danois. Il est particulièrement dur pour les Espagnols, en particulier pour la mémoire du roi Philippe II, fils de Charles Quint (cible de Louis-Sébastien Mercier la même année): «Il a fait tant de mal que pour le rendre odieux la calomnie est inutile» (t. I, p. 27); «L'Espagne n'est pas peuplée, tant mieux, la population est un grand mal» (t. I, p. 112); et pour la religion: «Cessons d'enfermer Dieu entre quatre murailles» (t. I, p. 256); «Je veux mourir tout seul, je veux mourir en paix» (t. I, p. 108).

On sait que le roi d'Espagne Charles III s'en plaignit à son cousin Louis XVI. Le 14 juillet 1785 le *Voyage en Espagne* fut par conséquent rayé du

registre de demandes des permissions tacites. Un arrêt du parlement de Paris en date du 7 février 1786 condamna les trois premières éditions françaises à être lacérées et brûlées.

III. Adresses complètes réelles mais prétendues

1) «Londres, Société typographique»

David Smith a publié une liste provisoire des éditions parues sous ce nom dans l'article qu'il a consacré au traité *De l'Homme* d'Helvétius¹⁴. Or on trouve dans cette liste plusieurs éditions dont les adresses sont suspectes:

– N 12: [Leonhard Euler,] *Lettres à une princesse d'Allemagne sur divers sujets de physique et de philosophie* (1776). Cette édition serait de La Haye selon certains; Smith ne pense pas qu'elle soit hollandaise, à cause des signatures placées à droite et du papier «Auvergne»; mais elle n'est à notre avis sans doute pas française (format presque carré, graphie «dégrés», etc.).

– N 14: *Ouvrages politiques et philosophiques d'un anonyme* (1776). Il s'agit certainement d'une impression des Pays-Bas à cause notamment de la date ne comportant pas de points, des signatures centrales et des ornements gravés par J. F. Rosart.

– N 15: Jean Frédéric Bernard, *Éloge de l'enfer, ouvrage critique... Seconde édition* (1777). Il pourrait s'agir également d'une édition hollandaise.

– N 35: François Lacombe, *Observations sur Londres et ses environs. Sixième édition* (1784). D'après l'exemplaire de Göttingen que nous avons vu, les réclames à chaque page et les signatures centrales jusqu'à «7» pourraient faire penser à une édition hollandaise.

Nous ajoutons à la liste de Smith:

– *Vraie Méthode pour apprendre facilement à parler, à lire et à écrire l'anglais. Par Th. Berry, anglais de nation* (1780). Cette édition reprend la deuxième édition de Paris, Augustin-Martin Lottin, parue en 1775, avec le même nombre de pages et l'approbation de 1761 pour l'édition de 1762. Le papier et les signatures sont français.

2) «Amsterdam, Marc Michel Rey»

La renommée du fameux éditeur d'Amsterdam a naturellement suscité un certain nombre de supercheries. Jeroom Vercruysse avait naguère établi une liste provisoire des éditions suspectes de Marc Michel Rey¹⁵. Mais Rey ne produit plus guère dans les années qui nous intéressent; de plus, il meurt en 1780.

Sous cette adresse, nous avons repéré les éditions suivantes, où la date est toujours indiquée en chiffres romains avec deux ou trois points.

¹⁴ Smith D. The publishers of Helvetius' *De l'homme*: the Société typographique de Londres // Australian Journal of French studies. 1993. Sept. – Oct. Vol. XXX. N 3. P. 316–323.

¹⁵ Vercruysse J. Typologie de Marc-Michel Rey // Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens. 1981. Bd. 4. S. 167–185.

– *La Nymphomanie ou Traité de la fureur utérine*. Par M. D. T. de Bienville, Amsterdam, Marc-Michel Rey, «M.DCC.LXXVIII». Contrefaçon de l'édition de 1771, signalée par Weller et Vercruysse. Les signatures sont portées à droite, jusqu'à «vj» (suivant le mode parisien), et le papier est français.

– [Honoré-Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau,] *La Guzmanade, ou l'Etablissement de l'Inquisition, poème en XII chants*, Amsterdam, Marc Michel Rey, «M.D.CC.LXXVIII».

– [Jean-François Dreux du Radier,] *Mémoires historiques, critiques et anecdotes des reines et régentes de France. Nouvelle édition, revue, corrigée et considérablement augmentée*, Amsterdam, «Michel Rey [sic]», 1782. Les signatures sont à droite et jusqu'à «6» (mode français).

– *Frédéric le Grand, contenant des anecdotes précieuses sur la vie du roi de Prusse regnant, d'autres sur ses amis & ennemis ainsi que les portraits de la famille de Sa Majesté*, Amsterdam, «chez les héritiers de Michel Rey, M.DCC.LXXXV». Les signatures sont placées à droite, jusqu'à «6».

3) «Société typographique de Neuchâtel»

– *Portraits des rois de France* [par Louis-Sébastien Mercier] (1783).

Nous avons vu deux contrefaçons de cet ouvrage, sous la même adresse et portant la même date.

4) «Paris, Imprimerie royale»

L'usurpation de la raison «Imprimerie royale» est évidemment un clin d'œil irrévérencieux à l'endroit de la royauté. On en rencontre au moins une occurrence:

– *Histoire d'un pou François ou l'Espion d'une nouvelle espèce, tant en France qu'en Angleterre; contenant les portraits de personnages intéressans dans ces deux royaumes, & donnant la clef des principaux évènements de l'an 1779, & de ceux qui doivent arriver en 1780, quatrième édition revue et corrigée (1779).*

IV. Comment identifier les véritables lieux d'impression: quelques pistes

Dans tous les cas que nous venons de citer et d'une façon générale, il convient de se méfier d'une attribution rapide, surtout lorsqu'il s'agit d'un ouvrage qui a eu beaucoup de succès et connu plusieurs impressions, souvent sous la même adresse. Ainsi le *Tableau de Paris* de Louis-Sébastien Mercier paraît-il toujours sous l'adresse d'«Amsterdam».

En outre il est probable qu'un grand nombre des ouvrages publiés pendant cette période sous une fausse adresse ont été imprimés à Paris ou en France, mais nous n'avons pas pu les identifier à ce jour. Toujours est-il que quatre pistes principales d'identification peuvent généralement être explorées:

- archives et témoignages;
- pratiques typographiques;
- orthographe adoptée;
- ornements.

1) *Archives et témoignages*

Les documents d'archives, bien qu'assez rares, sont d'un grand intérêt, notamment en Suisse pour la période qui nous occupe. La collecte des témoignages contemporains peut n'être pas moins fructueuse. On a parfois la chance de pouvoir croiser ces deux types de sources.

La Société typographique de Neuchâtel

Michael Schmidt a retrouvé dans les archives conservées à la bibliothèque de cette ville des preuves de l'édition à Neuchâtel des ouvrages suivants, qui ne portent cependant pas l'adresse de la STN:

- *Lettres du pape Clément XIV*, «Paris», 1776–1777;
- *Essai philosophique sur le monachisme*, «Paris», 1776;
- Abbé Duval-Pyrau, *Journal et anecdotes intéressantes du voyage de M. le comte de Falkenstein*, «Francfort et Leipsic», 1777;
- James Rutledge, *Le Bureau d'esprit...*, «Liège, de Boubers», 1777;
- Jacques-Pierre Brissot de Warville, *Un indépendant à l'ordre des avocats...*, «Berlin», 1781;
- [Louis-Sébastien Mercier,] *Portrait de Philippe II...*, «Amsterdam», 1785¹⁶.

L'imprimeur-libraire Jean Abraham Nouffer à Genève

Nous apprenons par le tome XVI des *Mémoires secrets* («Londres, John Adamson», 1780) que les imprimeurs-libraires genevois Emmanuel Étienne Du Villard et Jean Abraham Nouffer envoyèrent aux libraires étrangers «une espèce de lettre circulaire de juin 1780» pour annoncer leur réimpression des tomes I–XIV, qui parurent en effet en 1780 sous la même adresse fictive de «Londres, Adamson».

Or, au début de janvier 1782, les autorités de Genève — les archives nous l'apprennent — reçurent «l'ordre de requérir du Conseil l'emprisonnement du sieur Nouffer et qu'il fût interrogé. Il avait imprimé et introduit en France des libelles odieux contre les personnes les plus respectables. Il avait offert d'envoyer aux libraires [de France] l'*Histoire d'un pou françois* et *La Vérité présentée à Louis XVI* ou un titre à peu près pareil»¹⁷.

On découvrit «24 ballots de livres entre lesquels il se trouva un grand nombre d'exemplaires des *Mémoires secrets* dont l'impression fut défendue à Nouffer et [David de] Rodon [son beau-frère et associé] par arrêté du 25 juin 1781 <...>»¹⁸

Le jugement fut rendu le 13 février 1782: Nouffer fut «convaincu d'avoir offert à vendre» ces deux ouvrages et «d'avoir vendu soit à Genève soit ailleurs

¹⁶ Schmidt M. Op. cit.

¹⁷ Archives d'État de Genève. RC 283. P. 33. Il s'agit en fait de *La Vérité rendue sensible à Louis XVI par un admirateur de M. Necker*, «Londres, John Peterson», 1782.

¹⁸ Ibid. P. 42.

L’Espion anglois, d’avoir imprimé et vendu un autre livre répréhensible mentionné au procès»¹⁹.

L’Histoire d’un pou françois est attribuée à Delauney. Roland Mortier, qui s’était intéressé à cet ouvrage²⁰, s’est étonné de la mention «quatrième édition» portée sur celle datée 1779 et prétendument imprimée à Paris par l’Imprimerie royale. D. Echeverria et E. Wilkie ont supposé qu’il s’agissait en fait de la première édition²¹. Nous n’avons vu pour notre part que l’une des éditions de «Paris, 1781» qui se trouvent à la bibliothèque municipale de Lyon. Quelle est celle qu’avait peut-être imprimée Nouffer?

Ajoutons qu’une perquisition fut faite chez d’Ivernois et Nouffer le 23 décembre 1782 et qu’on y saisit les exemplaires du *Tableau historique et politique des révolutions de Genève*²².

Un inventaire fut dressé le 23 février 1784, Nouffer étant absent (en faillite et en fuite). Les rédacteurs de cet inventaire ont utilisé le catalogue imprimé (dans l’ordre alphabétique des titres) de Nouffer en y ajoutant le nombre d’exemplaires. Il est probable que les chiffres les plus élevés correspondent à des ouvrages imprimés par lui. Or on y trouve:

– *Les Amans républicains*, «Paris», 1783 (et non 1782), «105 exemplaires sur papier extra-fin azuré et 653 exemplaires sur papier bâtard fin».

– *L’Espion françois à Londres*, par Ange Goudar, 1780, «2 volumes papier broché, 526 exemplaires»²³.

Samuel Fauche à Neuchâtel

On lit dans les *Mémoires secrets*, à la date du 7 décembre 1782: «On parle beaucoup d’un libraire de Neuchâtel nommé Samuel Fauche qui vient d’être violemment mulcté [*i. e.* puni] à la réquisition de la France auprès du roi de Prusse. On dit que c’est à l’occasion de différentes brochures dont s’était plaint le gouvernement de ce pays-ci, entre autres d’une intitulée *L’Espion dévalisé* qui s’est trouvée imprimée chez lui et encore en magasin. C’est, ajoute-t-on, une ame de boue, dominée par la plus basse cupidité». L’ouvrage, qui porte l’adresse de Londres, 1782, est dépourvu d’ornements.

2) *Les pratiques typographiques*

En fait les pratiques de composition typographique permettent surtout d’identifier des *impressions hollandaises*.

Rappelons qu’on peut estimer d’origine hollandaise les in-12 dont les cahiers portent des signatures centrales jusqu’à «7» et les petits in-8° avec des

¹⁹ Ibid. P. 115.

²⁰ *Mortier R.* Une fiction politique de la fin de l’Ancien Régime // *Mortier R.* Le Cœur et la raison: recueil d’études sur le dix-huitième siècle. Oxford; Bruxelles; Paris, 1990. P. 441 *sqq.*

²¹ *Echeverria D., Wilkie E.C.* The French Image of America: a chronological and subject bibliography of French books printed before 1816 relating to the British North American colonies and the United States. Metuchen (New Jersey); London, 1994.

²² Archives d’État de Genève. RC 283. P. 192.

²³ Ibid. Jur. Civ. Fc23.

signatures centrales jusqu'à «5»; ils présentent des réclames à chaque page, au titre souvent une date en chiffres romains sans points et des caractères issus de la fonderie Rosart. Dans notre échantillon, nous n'avons relevé que 7 exemples répondant à ces caractéristiques:

– *Anecdotes sur M. la comtesse Du Barri*, Londres, 1775 (Weller attribue cette édition à des presses parisiennes).

– *Ouvrages politiques et philosophiques d'un anonyme*, Londres, «Société typographique», 1776.

– *Mémoires concernant l'administration des finances sous le ministère de M. l'abbé Terrai, contrôleur général* [par J.-B.-L. Coquereau], Londres, «John Adamson», 1776.

– Trois séries des *Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la République des lettres en France*: les tomes I–XIII, Londres, «Adamsohn» puis «Adamson», 1777–1780; la réimpression de 1781 dont seul le tome I porte cette date, Londres, «Adamson»; les tomes XIV–XXXVI, «Adamson», 1780–1789²⁴.

– *La Certitude des preuves du mahométisme ou Réfutation de l'Examen critique des apologistes de la religion mahométane par Ali-Gier-Ber [i. e. Anacharsis Cloots]*, Londres, 1780.

– *Remarques historiques sur la Bastille. Nouvelle édition augmentée*, Londres, 1783.

– *Vie privée de Louis XV.*, Londres, «John Peter Lyton», 1781, 4 vol. (exemplaire de la bibliothèque municipale de Dijon).

– [Jean-François Sobry,] *Le Mode françois ou Discours sur les principaux usages de la nation françoise*, Londres, 1786 (Weller attribue cette édition à des presses françaises).

3) *L'orthographe de certains ateliers lyonnais*

Urbain Domergue écrivait dans son édition de 1782 de la *Grammaire françoise simplifiée*: «L'usage a varié sur le pluriel des mots en *-ant* et *-ent*; la suppression du t compte le suffrage de l'Académie mais depuis la dernière édition du *Dictionnaire* le t a réuni des voix en sa faveur».

Claude-André Fauchaux et peut-être certains autres Lyonnais (mais en tout cas pas les Bruyset) adoptèrent les désinences *-ants* (enfants, savants) et *-ents* (mouvements, parlements).

Les éditions suivantes en donnent des exemples flagrants:

– *Dissertations historiques* par Antoine-François Delandine (1780);

– *Recueil des meilleures pièces. Tragédies* (1780);

– *Œuvres de Racine* (1781);

– *Œuvres diverses de M. Borde* (1783)²⁵.

²⁴ Voir Weil F. Une entreprise éditoriale mystérieuse: les *Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la République des lettres* // DHS. 2008. N 40. P. 485–501.

²⁵ Voir Weil F. Impressions lyonnaises clandestines de la seconde moitié du XVIII^e siècle // Le Livre et l'estampe. 2004. N 162. P. 83–84.

4) *Les ornements typographiques*

Dans ce domaine, notre connaissance a sans doute progressé ces dernières années et trois corpus ornementaux au moins commencent à se dégager plus ou moins nettement ou complètement.

Les ornements de Suisse romande

Nous disposons sur ce sujet du précieux ouvrage de Silvio Corsini, *La Preuve par les fleurons? Analyse comparée du matériel ornemental des imprimeurs suisses romands, 1775–1785*, Ferney-Voltaire, 1999. On y découvre entre autres que certains ornements ont été utilisés par plusieurs imprimeurs de Suisse romande, ce qui conduit à envisager des sous-traitances ou des impressions partagées.

Mais ces similitudes se retrouvent en dehors des ateliers suisses. En effet, sur 428 ornements recensés par S. Corsini, nous en avons retrouvé 32 utilisés dans des ateliers français (les n^{os} de la colonne de gauche renvoient à l'ouvrage de Corsini):

N	Attesté en Suisse	à Strasbourg	à Lyon	ailleurs
15-01	1777–1785		1780	
15-04	1776–1783	1777		
16-04	1776–1785			Dijon 1777 Toulouse 1786
18-05	1779–1781	1784		
19-09	1775–1782	1777		
20-07	1779–1781	1779		
20-09	1776–1786		1784	
20-10	1774–1783	1777		
20-12	1774–1783	1777		Dijon et Dole 1785 Nîmes 1780 et 1788
20-17	1782			
21-03	1776–1783	1772 et 1784		
21-07	1778–1785	1777 et 1783	1784	
22-10	1777–1785	1772 et 1784		
22-16	1779–1784	1772 et 1777		
22-17	1776–1781			Dijon 1785
24-04	1780–1785		1779 et 1786 1788	Nîmes 1780
26-15	1778–1782			
29-09	1778–1786	1777		
29-16	1779–1784	1778	1780 et 1787	Toulouse 1787
30-08	1776–1785	1772		Dole 1785 Nîmes 1780, Dole 1785
30-13	1776–1782			
30-21	1778–1782	1778 et 1782	1780 et 1787	

N	Attesté en Suisse	à Strasbourg	à Lyon	ailleurs
31-01	Heubach ²⁶ 1780 et 1782			Plus de 75 occurrences
32-01	Heubach 1782			Nîmes 1783, Toulouse 1784
32-02	Heubach 1784 – 1785			Plus de 90 occurrences
35-07	1776–1785	1772		
35-13	1777–1781			Nîmes 1780, Toulouse 1784
37-01	1778–1779	1777		
37-02	STN1783	1780–1782		
40-05	Nouffer 1780	1781	1780 et 1787	Nîmes 1780
41-03	1776–1783	1772		
44-03	1776–1783	1772		

C'est donc avec prudence que nous identifierons les ouvrages présentant ces ornements; ce sont des indices, non des preuves, et le point d'interrogation du titre (*La Preuve par les fleurons?*) est suffisamment éloquent à cet égard.

Suivant ce principe, on considérera comme probablement d'origine suisse les ouvrages suivants:

– *Éloge et Pensées de Pascal. Nouvelle édition par Mr de****, Paris (1778; serait imprimé à Lausanne chez François Grasset; présente les ornements N 35-01, 36-01, 39-02 et 46-02).

– *Plaidoyers et mémoires de Loyseau de Mauléon*, Londres, 1780 (ornements N 11-05, 13-05, 20-11, 28-07, 28-09 et 30-06).

– *Le Chroniqueur désœuvré...*, Londres, 1782 (ornements N 22-09, 22-15 et 35-01).

Les ornements liégeois (Desoer)

Parmi les ouvrages sous fausse adresse que nous avons examinés, trois au moins comportent des ornements utilisés par l'imprimeur Desoer dans des éditions officielles:

– *Voyage d'un amateur des arts en Flandre, dans les Pays-Bas, en Hollande, en France...*, «Amsterdam», 1783.

– *Lettres sur la France, l'Angleterre et l'Italie...*, Genève, 1785. Or on sait par une bibliographie ancienne que la publication en avait été «négociée par Philippe de Limbourg, ami de l'auteur [Franz von Hartig], avec son éditeur habituel, Desoer. La vente fut assurée par un libraire de Prague au profit d'un

²⁶ Jean Pierre Heubach (1736–1799), imprimeur-libraire à Lausanne de 1759 à 1796.

orphelinat bohémien dont la Société des Francs-Maçons assurait l'entretien»²⁷.

– *Vie privée ou apologie du Très Sérénissime prince Monseigneur le duc de Chartres*, «à cent lieues de la Bastille», 1784.

Les ornements lyonnais

Plusieurs ornements récurrents ont pu être repérés dans les impressions lyonnaises. Huit au moins figurent dans les éditions suivantes:

– *Discours prononcé à l'ouverture du cours d'anatomie aux écoles royales de chirurgie de Lyon par M. Champeaux*, «Genève», 1776.

– *Portraits des rois de France*, «Neuchâtel, Société typographique de Neuchâtel», 1783 (contrefaçon provinciale).

– *Tableau de Paris; nouvelle édition augmentée*, «Amsterdam», 1783.

– *Discours sur le magnétisme animal lu dans une assemblée du collège de médecine de Lyon*, «Dublin», 1784.

– *La Vie privée d'un prince célèbre ou Détail des loisirs du prince Henri de Prusse*, «Veropolis», 1784 (exemplaire de la bibliothèque municipale de Besançon).

– *Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la République des lettres*, réimpressions de Londres, «John Adamson», 1784–1789 (avec la graphie «savants» au titre).

– *Vie privée de Louis XV ou Principaux Événemens... Nouvelle édition, ornée de portraits*, Londres, «John Peter Lyton», 1785.

– [Jean-Claude de La Métherie,] *Principes de la philosophie naturelle...*, «Genève», 1787.

– *Vie privée du comte de Buffon par M. le chevalier Aude*, «Lausanne», 1788 (seul ce dernier ouvrage présente des graphies *-ens*).

V. Les dates falsifiées

Associées le plus souvent à de fausses adresses, les dates falsifiées sont une autre plaie récurrente pour le bibliographe familier de l'Ancien Régime. La date est généralement falsifiée pour antidater un ouvrage, mais on peut avoir affaire à des cas de postdatation ironique ou allusive.

Voici par exemple des contrefaçons qui portent à la fois une fausse adresse et une fausse date:

– *Praedium rusticum* par le père Jacques Vanière, «Coloniae Munatiana» [*i. e.* Bâle], Joh. Rud. Thurneisen, 1750. Il existe deux éditions très différentes sous ce titre et cette adresse; l'une est réellement sortie des presses de Thurneisen (exemplaire de la bibliothèque municipale de Troyes), l'autre est une contrefaçon plus récente avec des ornements gravés par Gritner, lequel n'est pas attesté avant 1778 (bibliothèques municipales d'Avignon et de Toulouse).

²⁷ *Body B.* Philippe de Limbourg, un grand seigneur littéraire au XVIII^e siècle : les éditions liégeoises du comte d'Hartig // *Bulletin de la Société des bibliophiles liégeois*. 1928. P. 28–29.

– *Mémoires pour servir à l'histoire d'Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, roi de France, nouvelle édition. Par Madame de Motteville*, Amsterdam, Changuion, 1750 (exemplaire de la bibliothèque de l' Arsenal). La première édition, datée de 1723, était probablement hollandaise. Les éditions suivantes ont également paru sous l'adresse de Changuion. Mais celle de 1739 a été imprimée à Paris, comme on le constate d'après les achevés d'imprimer des tomes V (Gabriel-François Quillau) et VI (veuve Louis-Denis Delatour). Quant à l'édition datée de 1750, elle semble identique à celle de 1783 que possède également la bibliothèque de l' Arsenal.

La célébrité de Louis-Sébastien Mercier et de son *An 2440* est à l'origine de la présentation de la pièce :

– *Les Comédiens ou le foyer, comédie en un acte et en prose, attribuée à l'auteur du Bureau d'esprit [Rutledge] représentée par les comédiens de la ville de Paris au théâtre du Temple le 5 janvier 2440*, Paris, «de l'imprimerie des successeurs de la veuve Duchesne, 2440, avec approbation» (dont il y a lieu de situer la publication au début des années 1780).

De même pour l'ouvrage *Des lettres de cachet et des prisons d'État. Ouvrage posthume composé en 1778*, «Hambourg, 1882».

* * *

Tout comme il n'existe pas de code permettant de décrypter telle ou telle fausse adresse en l'associant à tel libraire ou imprimeur, il est très délicat de se prononcer sur la «conjoncture des fausses adresses» du règne de Louis XVI. On peut simplement observer qu'il y a peu de contrefaçons proprement dites, c'est-à-dire de réimpressions illicites d'ouvrages privilégiés, parmi notre corpus. Par contre les ouvrages parus sans permission sous une adresse fictive sont réimprimés plusieurs fois sous la même adresse, en général par différents imprimeurs.

En ce qui concerne les ouvrages de Louis-Sébastien Mercier, par exemple :

– *L'An 2440* (11 éditions entre 1771 et 1793) paraît sous l'adresse de Londres en 1774, 1775, 1776, 1785 et 1786 (prohibé, le livre est notamment mis au pilon en avril 1778, BNF, ms. fr. 21934).

– le *Tableau de Paris* est réimprimé sous l'adresse d'Amsterdam en 1782 et 1783.

Quant aux *Portraits des rois de France* et au *Portrait de Philippe II*, ils sont republiés respectivement sous les adresses de la STN (1783) et d'Amsterdam (1785).

La demande pour de tels ouvrages était certainement importante et les libraires, en dépit de ces fausses adresses, savaient très bien à qui s'adresser pour satisfaire leurs clients. Un catalogue comme celui du Genevois Jean Abraham Nouffer devait être assez largement diffusé. Nous ignorons à peu près tout des réseaux commerciaux de la librairie en dehors de ceux établis par la Société typographique de Neuchâtel, qui ne joue plus un rôle important à la veille de la Révolution. Mais on se souvient du conseil adressé par Diderot au directeur de

la Librairie dans sa *Lettre sur le commerce de la librairie*: «Que le commerce de tous livres prohibés se fasse par vos libraires et non par d'autres». Il y a donc de fortes chances pour que, sous les fausses adresses de la «fin des Lumières», se dissimulent pour une large part des éditions ayant vu le jour au sein du royaume de France lui-même.

Франсуаза Вейль

**Конец Просвещения:
ложные адреса (1774–1788)**

Цель этой статьи – не столько дополнить справочник Э. Веллера сведениями за период правления Людовика XVI, сколько установить, какие именно книги выходили в то время с указанием ложного типографского адреса, а затем и попытаться раскрыть подлинное место их издания. Вниманию читателей предлагается перечень книг с такими ложными адресами, в который не вошли книги, выходившие вообще без адреса, а также книги, выходившие с негласного разрешения (*permission tacite*) цензуры: «à X et se trouve à Paris chez Y». Были последовательно проанализированы книги, носившие целиком вымышленный адрес (имя несуществовавшего города или издателя); книги с обозначением реального города (чаще всего Лондона), но без указания имени издателя; книги, выходившие с указанием реального типографского адреса, не имевшего к ним никакого отношения. В статье описываются методы, источники и критерии идентификации: свидетельства современников, архивные материалы, издательские и орфографические практики, типографские орнаменты.

ЦЕНЗОРЫ, ТЕКСТЫ, ИЗДАТЕЛИ И АВТОРЫ: ВСТРЕЧИ И СУДЬБЫ

RAYMOND BIRN

A ROYAL CENSOR AT WORK (1769–1784): THE REPORTS OF JEAN-BAPTISTE-CLAUDE CADET DE SAINEVILLE

On 17 February 1777, a French royal censor responsible for jurisprudence and law, Jean-Baptiste-Claude Cadet de Saineville, appended a statement of principle to his positive assessment of Guillaume-François Le Trosne's manuscript containing *De l'ordre social : ouvrage suivi d'un traité élémentaire sur la valeur, l'argent, la circulation, l'industrie et le commerce intérieur et extérieur*. Physiocratic in principle, the manuscript incorporated a collection of discourses that covered the «natural» foundations of civil society and their application to a market economy. Despite the fact that physiocracy was currently out of favor with the Necker administration, Cadet de Saineville considered Le Trosne's effort to be worthy of publication. The censor asserted that the public and even royal administrators would profit from reading «*De l'ordre social*». He asked that the work be awarded a royal publishing *privilège*, the most authoritative approval rating he could recommend¹.

Cadet de Saineville attached the following *profession de foi* to his recommendation: «La vérité me paroît précieuse, indépendamment de tout parti; et pourvu que les discussions soient sagement présentées, sans declamation ny personnalités, je crois qu'on ne peut lui laisser un champ trop vaste». To be sure, Cadet de Saineville's assertion of authorial freedom of expression was qualified by the censor's better judgment — «pourvu que les discussions soient sagement présentées, sans declamation ny personnalités». Addressing his superiors, *Directeur de la Librairie* Le Camus de Néville and Keeper of the

©Raymond Birn, 2008

¹ BNF. Ms. fr. 22014. Fol. 139–140. 17 February 1777. Censor's report. Cadet de Saineville had already approved the first part of the manuscript back in 1775. See: BNF. Ms. fr. 22014. Fol. 143–144. 20 December 1775. Censor's report.

Seals Armand-Thomas Hue de Miromesnil, Cadet de Saineville noted that several years earlier physiocrat authors had overstepped boundaries of propriety in weaving their economic theories in print. Following the grain riots of 1775 and the fall of the physiocrats' champion, former controller-general Anne-Robert Turgot in 1776, they had lost influence; however, there was no reason to silence them altogether. The censor recommended one specific deletion to Le Trosne's essay, with which the author concurred. In his manuscript Le Trosne had criticized Colbert's prohibitive tariff policies of the 1660s, legislation that more than a century later remained largely in effect. Advocate of a free market, Le Trosne considered *colbertiste*-style mercantilism to be ruinous for France's current economy. At the same time he alluded ironically to «éloges académiques» that still were being addressed to Louis XIV's one-time finance Minister. Recalling that the recently appointed director of the Treasury, Jacques Necker, had presented such an *éloge* before the Académie française, Cadet de Saineville considered Le Trosne's reference to be a possible personal affront. He asked the author to delete it. There was no need to provoke Necker, so Le Trosne complied.

Cadet de Saineville's censorship strategy proved successful. Later in 1777, the Debure brothers, Paris booksellers, published Le Trosne's work². Already known as an agrarian reformer, founding member of the Société d'agriculture of Orléans, and collaborator on both the *Journal d'agriculture, du commerce et des finances* and *Éphémérides du citoyen*, Le Trosne thus added luster to a career that would culminate in his analysis of participatory citizenship and tax reform, *De l'administration provinciale et de la réforme de l'impôt* (1779). For his part, Cadet de Saineville would spend most of the 1780s as an «enlightened» censor, occasionally rejecting manuscripts out of hand, but mostly urging authors to value tact, tastefulness, and euphemism in their efforts. In other words, for Cadet de Saineville, prudent self-censorship would alleviate the need to apply the State's regulatory controls in overly rigorous fashion. As long as discussions remained «sagement présentées», free from rant and personal attack, he believed that he could support reasonable freedom of expression.

Pierre Bourdieu notes how modern fields of inquiry are defined by the management and self-censorship of discourse intrinsic to each field. According to Bourdieu, «à mesure que diminuent les prohibitions explicites, définies et appliquées par l'autorité institutionnelle, elles sont remplacées par une censure plus diffuse, dictées par l'existence de formes et les usages propres à un champ donné et par la nécessité de les respecter»³. By urging authors such as Le Trosne to develop a language of political economy that refrained from «declamation», Cadet de Saineville was contributing to the evolution of proper rhetorical prac-

² *Le Trosne G.-F.* De l'ordre social, ouvrage suivi d'un Traité élémentaire sur la valeur, l'argent, la circulation, l'industrie et le commerce intérieur et extérieur. Paris: frères Debure, 1777. Reprint, ed. Jean-Claude Perrot (Munich: Kraus Reprint, 1980).

³ *Bourdieu P.* La censure // Bourdieu P. Questions de sociologie. Paris, 1984. P. 138–142.

tice. The censor believed, of course, that he also was contributing to a renewal of physiocratic discourse, supported by voluntary constraints.

Demanding and defining what he designated as proper field-determined discourse, Cadet de Saineville sought to extend his critical range as an independent censor. For example, in March 1775, just as Controller-general Turgot's reform-minded ministry was taking hold, Cadet de Saineville had rejected a manuscript both friendly to Turgot and critical of traditional means and financing of road construction. The anonymous manuscript was called the *Mémoire sur les chemins*, and Cadet de Saineville attributed it to *l'Ami des hommes*, the physiocrat marquis de Mirabeau⁴. The *Mémoire* already had been approved by the theologian censor Riballier and won the approval of both Turgot and the *intendant* of Finances, Philibert Trudaine. Asked to give the *Mémoire* a somewhat more expert reading than Riballier's, Cadet de Saineville proceeded to reject the piece. He accused its author of basing his knowledge of the construction of France's roadways upon the limited case of the Limousin, of unfairly labelling tradition-bound *intendants* and engineers as «administrateurs despotiques», of calling contractors «fripons», and of describing settlements by law courts as «brigandages affreux». Cadet de Saineville considered the author's passionate denunciation of unpaid roadwork, the *corvées*, to be extreme and his prediction of their impending abolition by Turgot and Trudaine to be counter-productive, unintentionally aiding the reformers' enemies. Above all, for Cadet de Saineville the criticism within the *Mémoire sur les chemins* was «amer, souvent injuste». Its author «[ne] propose aucunes vues nouvelles, et ne discute rien». Cadet de Saineville admitted that *intendant* of finances Trudaine did not share the censor's opinion, believing that the government department of *Ponts et chaussées* was «au dessus d'une pareille critique». However, Cadet de Saineville retorted that the Administration, like individuals, should not submit to near-libelous texts: «Quelque respect que j'aye pour [Trudaine's] opinion, je ne puis penser comme lui, et c'est mon jugement que Monsieur le garde des sceaux me demande».

Cadet de Saineville's crusade for moderation and disdain for intemperate language placed him on both sides of the debate over economic liberalism instigated by Turgot's reform program. In an entry for 13 March 1775, the *Mémoires secrets* attributed to «Bachaumont» recorded that the volatile pamphleteer, lawyer, and social theorist Simon-Nicolas-Henri Linguet had just published his *Théorie du libelle, ou l'Art de calomnier avec fruit, dialogue philosophique, pour servir de supplément à la «Théorie du paradoxe»* (Amsterdam, 1775)⁵. In it Linguet accused Cadet de Saineville of having rejected his own manuscript against the physiocrats, then showing it to Linguet's enemies, and finally refus-

⁴ BNF. Ms. fr. 22015. Fol. 44 r°–45 v°. 28 March 1775. Censor's report.

⁵ *Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la République des lettres en France, depuis M.DCC.LXII jusqu'à nos jours, ou Journal d'un observateur*. London, 1780–1781. Vol. XXX. P. 215. 13 March 1775.

ing to return it to him⁶. Cadet de Saineville considered Linguet's diatribe to be so inappropriate and inflammatory that the censor nearly launched a complaint against him in the *parlement de Paris*. Shortly thereafter, a flurry of pamphlets and substantial works, both for and against Turgot's economic policies, reached the censor's desk, awarding him the opportunity to refine his standards of criticism.

The most significant essay was by Turgot's rival and eventual successor, Jacques Necker: *Sur la législation et le commerce des grains*. According to the *Mémoires secrets*, Turgot feared the impact that Necker's anti-physiocratic essay would have upon public opinion. A highly dangerous social situation was brewing in northern France in 1775, soon to be punctuated by grain riots, the aptly named *guerre des farines*. Informally, Turgot requested that Cadet de Saineville reject *Sur la législation et le commerce des grains*. But the censor refused to submit to the wishes of the minister⁷. In fact, once Necker's work appeared, sanctioned by a royal *privilege*, Cadet de Saineville affixed a specific rationale to his approval: «Quoyque les principes qui y sont contenus me paroissent différer de ceux annoncés par le Gouvernement sur cet objet, cependant l'auteur s'étant restreint dans les bornes d'une simple discussion, sans personnalités ni déclamation; & la vérité me paroissant ne pouvoir que gagner à la discussion d'une question si importante, j'ai pensé que l'impression de cet ouvrage ne pouvoit être qu'utile»⁸.

To show his even-handedness, Cadet de Saineville approved works that took issue with Necker. One was a 59-page anonymously authored *Sur la législation et le commerce des grains*⁹. Though bearing the same title as Necker's piece, this work, in the censor's words, «réfute le systeme de M. Necker». Though he considered the work to be «sanglante», Cadet de Saineville also found that, «c'est de toutes de ses critiques, celle qui m'a paru la mieux faite, et la mieux écrite». The censor removed the most personally injurious phrases, but admitted that what remained was «une critique très forte, et dont M. Necker doit être mécontent». And, Cadet de Saineville added, since the critic essentially attacked him as a man of letters and as an author, not personally, Necker «ne peut avoir à se plaindre». Concluding his report, Cadet de Saineville suggested that Necker might reply in kind, though he advised against it. His advice for silence notwithstanding, Cadet de Saineville nevertheless played a crucial part in perpetuating the debate over physiocracy. When all was said and done, he sanctioned three of the movement's most important apologies: Condorcet's *Lettres sur le commerce des grains* (Paris, Couturier père, 1775); Morellet's *Analyse de l'ouvrage intitulé De la législation et du commerce des grains* («Amsterdam, et se trouve à Paris, chez Pissot», 1775); and Condillac's *Le Commerce et le gouvernement*,

⁶ Linguet S.-N.-H. *Théorie du libelle, ou l'Art de calomnier avec fruit, dialogue philosophique, pour servir de supplément à la «Théorie du paradoxe»*. Amsterdam, 1775. P. 74, 164–165.

⁷ *Mémoires secrets*. London, 1777. Vol. VIII. P. 17–18. 28 April 1775.

⁸ Necker J. *Sur la législation et le commerce des grains*. Paris: Pissot, 1775. Republished in: *Mémoires secrets*. Vol. XXX. P. 18.

⁹ BNF. Ms. fr. 22014. Fol. 30 r^o–31 v^o. 6 August 1775. Censor's report.

considérés relativement l'un à l'autre («Amsterdam, et se trouve à Paris, chez Jombert & Cellot», 1776)¹⁰.

Cadet de Saineville's preoccupation with physiocratic works represented one of two major interests during his career as royal censor. His second concern, the object of the remainder of this essay, had to do with published and unpublished works dealing with the American revolutionary experience — works that covered Great Britain and its Atlantic empire, Anglo-American grievances, the war for independence, and post-war consequences. Coverage of Britain and the Americans started with Cadet de Saineville's February 1769 examination of a French translation of John Dickinson's *Letters from a Farmer in Pennsylvania, to the Inhabitants of the British Colonies*, and concluded with a July 1784 report on abbé de Mably's *Observations sur le gouvernement et les loix des États-unis d'Amérique*.

An obscure figure, Cadet de Saineville appears in no dictionary of national biography. He likely was born around 1728. Admitted to the bar in 1749 and still inscribed at the outbreak of the French Revolution, he spent most of a forty-year career as an *avocat* in the parlement of Paris. This fact helps, in part, to understand his ambivalence towards the reform-minded Turgot ministry, believed by *parlementaires* as eager to chip away at their juridical privileges. In 1762 Cadet de Saineville became royal censor for jurisprudence and law. In 1771 he protested against the Maupeou coup and joined the *avocats'* strike against the authoritarian royal minister; but he returned to work in November. He served on both the *Conseil de la Ferme générale* and the *Conseil de l'Administration générale des Domaines*. In 1787 Controller-general Calonne had Cadet de Saineville serve as one of his four parliamentary *coopérateurs* during the minister's pre-revolutionary reform period. We possess one rare opinion of his abilities; and it is less than flattering. The *Mémoires secrets* referred to the royal censor as «une vraie buse, attaché à feu M. de Trudaine, plus comme proxenet, que comme un personnage utile dont il pût tirer des lumières»¹¹.

No additional information survives regarding Cadet de Saineville's intelligence or moral character. His censorship reports generally adhere to a fixed structural pattern. First he summarizes the work he is examining. Next comes a report containing recommendations for changes or deletions. He concludes with

¹⁰ For Condorcet, see the entry «Lu et approuvé, ce 25 Avril 1775. CADET DE SAINVILLE» on the last leaf of the volume. For Morellet, see BNF. ms. fr. 22015, fol. 70 r°–70 v°. 23 May 1775 («Je crois cette critique digne de l'impression, et que c'est le cas de la permission tacite»). Censor's report. For Condillac, see BNF. Ms. fr. 22016. Fol. 272 r°–273 v°. 29 March 1776. Censor's report. In his report, Cadet de Saineville suspected that his approval would cause trouble. He predicted that Condillac's chapter on usury would excite «les crialeries de quelques Théologiens, ou de quelques devots». And he admitted that «les gens du party» did not find the censor sufficiently zealous. Indeed, a second censor read and rejected Condillac's essay, finding that — like other physiocratic works — it attacked the finely-balanced privileges of various elites that underpinned the social foundations of the French monarchy. The censor accused Condillac of exaggerating abuses, sowing discontent, and contributing to conditions that «ne peut finir que par une révolution». Ibid. Fol. 274 r°–284 v°. Anonymous censor's report.

¹¹ *Mémoires secrets*. Vol. XXXV. P. 45. 27 April 1787.

either full or qualified acceptance, rejection of the work in question, or a recommendation that some other party decide the matter. Since French royal censorship procedure in the late-eighteenth century contained gradations of approval (the *privilège*, *permission tacite*, *simple tolérance*, or — what seems to have been an invention of Cadet de Saineville's — the *approbation motivée*), rationales behind the censor's decisions are particularly instructive. According to Cadet de Saineville, if books encouraged reasoned discussion of ideas, they generally were worthy of publication. Recommendation of a royal *privilège* or *permission de sceau* meant that Cadet de Saineville concurred with the work's argument and requested government authorization. The censor assumed responsibility for his decision by identifying himself on the work's last printed page. The book could be advertised publicly, and a French bookseller was guaranteed exclusive publication rights over a stipulated period of time. If Cadet de Saineville did not entirely concur with a work's argument but believed that the public would profit from discussion of its ideas, he would initial the manuscript's pages, affix his name to the manuscript, note where he disapproved of the work's contents, and recommend publication with what he called an *approbation motivée*. For the censor, the *approbation motivée* announced «que le gouvernement n'avoit aucune part à l'ouvrage et n'en consentoit l'impression que pour le livrer à la discussion publique»¹².

Then there was the *permission tacite*. It might be awarded to a manuscript or book that failed to qualify for a *privilège* or an *approbation motivée*; or else, it might be granted to a book printed abroad, printed with a false publication address, or perhaps with none at all. In recommending a *permission tacite* to his superiors, the censor retained his public anonymity. The book in question could eventually be advertised via correspondence or by word of mouth, and sometimes in the public press. However, the government did not offer economic or police protection to the work's publisher/bookseller. On the other hand, by issuing a *permission tacite* to a book or pamphlet, the censor acknowledged that the work in question might be publicly discussed without fear of punishment and be passed from hand-to-hand. The *permission tacite* was duly registered in a government ledger¹³. The lowest level of acknowledgment, the *simple tolérance*, was just that. It identified a work endured by the authorities, and nothing more. If complaints about the book grew too loud, it was subject to seizure. A mix of ideological considerations, pragmatic concerns, literary decorum, and fear of reprisals influenced a censor's judgments, adding nuance to the traditional principle that no book should be permitted in France that corrupted morals, denigrated the Catholic religion, insulted royal authority, or attacked individuals personally.

¹² BNF. Ms. fr. 22015. Fol. 260. Censor's report of «Droit public du Comté Etat de la Provence sur la contribution aux impositions par Mr. C.F. Buche, avocat au parlement de Provence». 3 May 1788.

¹³ BNF. Ms. fr. 21982: registre des permissions tacites de 1750 à 1760; BNF. Ms. fr. 21983–21988: registre des permissions tacites de 1772 à 1789.

Cadet de Saineville's reports of works that treated the North-American rebellion serve as indicators of tolerated public discourse regarding the most sensitive political and diplomatic issue affecting the French monarchy between 1769 and 1784 — its struggle of revenge for the colonial humiliations suffered at the hands of Great Britain during the Seven Years' War (1756–1763). Economically, French post-war policy was to cripple British colonial trade wherever possible. Militarily, it was to construct a modern navy that could challenge the British anywhere on the high seas. It also meant supplying Great Britain's enemies with manufactures, guns, and loans. Between 1775 and 1781, pursuit of these aims involved France in the great revolt of Great Britain's North-American colonies, first as a secret supplier of arms and money and eventually as a direct combatant. The anti-British policies of the French foreign minister, Charles Gravier, comte de Vergennes, brought the troops and sailors of Europe's most elaborate absolute monarchy to the New World, to fight side-by-side with colonial insurgents infused with democratic ideals. The unnatural character of the alliance between the absolutist regime of Louis XVI and the rebelling Anglo-Americans was not lost on writers and complicated the task of a French book censor. Cadet de Saineville knew no precedent that reconciled toleration of a passionate revolutionary cause with the censorship policy he was honor-bound to enforce. Therefore, he often reverted to commenting upon a writer's restraint and decorous language in determining a judgment.

In February 1769, Cadet de Saineville examined Jacques Barbeau Du Bourg's manuscript translation of John Dickinson's *Letters from a Farmer in Pennsylvania to the Inhabitants of the British Colonies* (*Lettres d'un fermier de Pensylvanie aux habitans de l'Amérique septentrionale*)¹⁴. The *Letters* had originally appeared in the *Pennsylvania Chronicle* between 2 December 1767 and 15 February 1768. Other colonial American newspapers reprinted them. The twelve *Letters* protested alleged discriminatory taxation of Americans by the British Parliament, particularly when it came to imports of British manufactures. The *Letters* eventually were collected and published as a single volume in Philadelphia and Boston, and Benjamin Franklin had arranged for an edition to be printed in London. At length, in the course of a visit to Paris where he had seduced physiocrats and scientists with his down-home charm, Franklin persuaded Jacques Barbeau Du Bourg to translate Dickinson's *Letters* into French. Appended to them were Franklin's own *Observations concerning the Increase of Mankind, Peopling of Countries, &c.* («Observations sur l'accroissement de l'espèce humaine, la population des pays, &c.»). Once Barbeau Du Bourg accomplished the task and brought his manuscript to Cadet de Saineville, the censor criticized the negligence of the translation and disorderly arrangement of the manuscript pages. He was unwilling to append his name to a royal *privilège*. Instead, absolving himself of identifiable censorship responsibility for Dickinson's work, Cadet de Saineville recommended a *permission tacite*. This

¹⁴ BNF, Ms. fr. 22015. Fol. 16 r°–16 v°. 12 February 1769. Censor's report.

at least invited public discussion of the *Lettres*, which were published with the false address of Amsterdam¹⁵.

Barbeu Du Bourq himself had composed a preface to the *Lettres* praising freedom of conscience and a sense of fraternity that he believed to guide Pennsylvanians in their social relations. The translator did not attempt to contrast this idealization with the realities of Catholic, absolutist France; so Cadet de Saineville let the prefatory remarks stand. With respect to unflattering references to France made by author Dickinson, the censor used his quill lightly. As an example, near the end of letter II, Dickinson had written: «If Great-Britain can order us to come to her for necessaries we want, and can order us to pay what taxes she pleases before we take them away, or when we land them here, we are as abject slaves as France and Poland can shew in wooden shoes, and with uncombed hair»¹⁶. Shorn of the insulting reference to the French peasantry, the translation would appear as: «Si la Grande-Bretagne peut nous ordonner de tirer d'elle les choses qui nous sont indisputablement nécessaires, et si elle peut en même tems nous ordonner de payer telles taxes qu'elle jugera à propos, soit avant d'enlever ces marchandises, soit en les débarquant ici, nous sommes d'aussi vils esclaves que ceux que l'on voit en Pologne & ailleurs, avec des sabots à leurs pieds, & avec des buissons de cheveux qui ne furent jamais peignés»¹⁷.

Eight years later Cadet de Saineville read a manuscript version, in French translation, of Vincenzo Martinelli's *Istoria del governo d'Inghilterra et delle sue colonie in India, e nell'America Settentrionale* (Florence, 1776). The translator, a French officer in Polish service named Pignerone, had written a new preface for Martinelli's history, and assured Cadet de Saineville that both French foreign Minister Vergennes and naval Minister A.-R.-J.-G.-G. de Sartine had approved it. This unofficial vetting notwithstanding, the censor believed that the American insurgents deserved friendlier treatment than what Martinelli and Pignerone were willing to offer. He also requested that some unnecessary anti-Jesuit remarks be removed: «Les déclamations et les injures ne sont jamais bonnes à rien; et je ne pense pas qu'on doive jamais les permettre»¹⁸. By the time Cadet de Saineville read Martinelli's history and Pignerone's preface, the Anglo-Americans had declared their independence from Great Britain; and France was secretly smuggling gunpowder and arms to the insurgents. Cadet de Saineville admitted that public opinion in France was pro-American, and both Sartine and Vergennes believed it strategically clever to welcome public discussion of the

¹⁵ Dickinson J. *Lettres d'un fermier de Pensylvanie aux habitans de l'Amérique septentrionale, traduits de l'anglois* («Amsterdam [Paris?], aux dépens de la Compagnie», 1769).

¹⁶ Dickinson J. *Letters from a Farmer in Pennsylvania to the Inhabitants of the British Colonies*. 3rd ed. Philadelphia: William and Thomas Bradford, 1769. P. 15.

¹⁷ Dickinson J. *Lettres d'un fermier de Pensylvanie*. P. 34. Admittedly, we cannot say with certainty whether the conversion of «abject slaves as France and Poland can shew...» to «vils esclaves que ceux que l'on voit en Pologne et ailleurs...», was the consequence of an oral request by Cadet de Saineville's or the self-censorship of Barbeu Du Bourq.

¹⁸ BNF. Ms. fr. 22015. Fol. 306 [1777]. Censor's report.

rebellion. As censor, however, Cadet de Saineville was reluctant simply to endorse ministerial approval of Martinelli's argument with the recommendation of a *privilège*: «Je ne pense pas que cet ouvrage doive paroître muni extérieurement du sceau de l'autorité, et approuvé d'un censeur». And Cadet de Saineville also wrote: «quoique cet ouvrage m'ait paru sage, et qu'on m'assure qu'il est approuvé des ministres de la Marine et des Affaires étrangères, je crois plus prudent de ne le laisser imprimer qu'avec permission tacite» — that is, without formal authorization and lacking the censor's *imprimatur*. This was an assertion of critical independence. There is no bibliographical record confirming the appearance of Martinelli's book in French.

Regarding Cadet de Saineville's examination of works treating British politics and the American Revolution, 1778 was the censor's busiest year. On 6 February, Franklin and Vergennes signed in Paris a pair of treaties. The first awarded reciprocal favored-nation trading privileges to both the United States and France; the other certified a diplomatic and military alliance between the new republic and the ancient monarchy once, as was expected, France and Britain formally declared war upon each other. Between late January and mid-July 1778, Cadet de Saineville examined five works dealing with British politics and the American Revolution. His censorship notes give an idea of how far public discussion in France of a significant historical event would be permitted: he was at liberty to recommend a royal *privilège* or *permission de sceau*, give his *approbation motivée*, propose a *permission tacite*, or note a *simple tolérance*. He also had the option of asking that a government minister make the decision; finally, of course, he could reject the work outright.

On 30 January 1778, eight days before the signing of the Franco-American alliances, Cadet de Saineville examined a manuscript comparing Britain's colonial policy with that of France and Spain. Written by the colonial administrator Émilien Petit, the work was entitled *Dissertations sur le droit public des colonies françaises, espagnoles et angloises, d'après les loix des trois nations, comparées entr'elles*¹⁹. Cadet de Saineville was familiar with Petit, having already rejected a manuscript of his dealing with property rights for fear of offending the French parlements²⁰. The censor's treatment of this earlier matter was instructive. In asserting that French laws were more receptive than English ones to individual liberties, personal security, and the protection of private property, Petit had written a dissertation on each topic. In so doing, he adopted a powerful royalist stance and downgraded Parlement's importance. Cadet de Saineville recommended *permissions tacites* for the first two dissertations. But the censor considered the third one unacceptable. He feared finding himself compromised with parliamentary judges and suggested that another censor, «plus instruit que moy de l'histoire de ce pays cy» be nominated to read it. Failing this, Cadet de Saineville left it to keeper of the Seals Miromesnil to decide whether the dissertation on private property should be printed without formal approval at

¹⁹ Ibid. Fol. 147 r°–147 v°. 30 January 1778. Censor's report.

²⁰ BNF. Ms. fr. 22014. Fol. 145 r°–149 v°. 1 September 1776. Censor's report.

all, that is, with the weakest of acknowledgments, the *simple tolérance*. As matters materialized, it never appeared. Petit's *Dissertations sur des parties intéressantes du droit public en Angleterre et en France* («A Genève, et se trouve à Paris, chez Knapen & fils, 1778») contained only those on «la liberté personnelle» (p. 1–230) and «la sureté personnelle» (p. 231–676). Criticism of Parlement was beyond the pale.

In the set of dissertations examined on 30 January 1778, Petit wished to demonstrate to colonists everywhere that French rule was more favorable to their security and liberty than either English or Spanish dominion²¹. Cadet de Saineville considered the *Dissertations* to be extracted largely from the colonial legislation of France, Great Britain, and Spain. According to the censor, the work was both stylistically tiresome and often obscure. It could have profited from greater clarity. This fact notwithstanding, Cadet de Saineville made only very slight changes to the text and recommended Petit's manuscript for publication. Petit had requested a royal *privilège*, but the cautious censor wished to remain as distant as possible from direct responsibility in recommending the work. So, once more, he proposed a *permission tacite*. Though France and England stood at the brink of war, Cadet de Saineville considered it «inconvenient» to award royal authorization to a work that might displease England and her ambassador — however much, as he acknowledged, Petit's reflections were offered wisely and with moderation. As with the *Dissertations* on public law in England and France, those on legislation in the French, English, and Spanish colonies were published under the seemingly false imprint of Geneva, «et se trouve à Paris, chez Knapen & fils, 1778»²².

A week after approving Petit's manuscript for a *permission tacite*, Cadet de Saineville evaluated another one, ostensibly ready for publication in Philadelphia. Called a *Recueil des loix constitutives des colonies angloises: confédérées sous la dénomination d'Etats-Unis de l'Amérique septentrionale*, it was a collection of state constitutions and bills of rights for Pennsylvania, Delaware, Maryland, and Virginia, constitutions for New Jersey and South Carolina, the Articles of Confederation, Declaration of American Independence, and several acts of the Continental Congress²³. Claude-Ambroise Régnier, future duc de Massa under Napoleon, was credited with having translated the documents and dedicated the work to Benjamin Franklin. The dedication of the *Recueil* lauded the collection of laws as exemplifying one of the most exquisite monuments to human wisdom, forever glorifying the virtuous men who conceived of them. In Catholic and absolutist France the raw contents of the *Recueil* were obviously controversial, and Cadet de Saineville noted that they advocated the questionable principles of religious freedom and popular sovereignty. Nevertheless, the

²¹ BNF. Ms. fr. 22015. Fol. 147 r°–147 v°. 30 January 1778. Censor's report.

²² *Petit É.* *Dissertations sur le droit public des colonies françoises, espagnoles et angloises, d'après les loix des trois nations, comparées entr'elles.* «Genève, et se trouve à Paris, chez Knapen & fils», 1778.

²³ BNF. Ms. fr. 22016. Fol. 49 r°–49 v°. 7 February 1778. Censor's report.

censor recommended that the work be published and circulate, approved with a «p. tacite, ce qui me paroît plus sage encore qu'une permission expresse». His reasons for tolerating the *Recueil* at all were as follows: commentary and notes were made by the American editor, not Régnier; they logically followed up on the points of view held by most members of the American Congress; finally, ideas in the *Recueil* already enjoyed wide circulation throughout France, as exemplified by the best-seller status of the *Science du bonhomme Richard* (Franklin's *Way to Wealth*) — itself having been approved by Cadet de Saineville for a *permission tacite* back in August 1777²⁴. Cadet de Saineville further covered his tracks by allowing Régnier to compose an «Avertissement» that confirmed Vergennes' reading of the manuscript and the foreign Minister's demand for several deletions. However, these remarks did not appear in print. The *Recueil* was published later in 1778, with the false address of Philadelphia, «Et se vend à Paris: chez Cellot & Jombert, fils jeune»²⁵.

Two months later the international situation had evolved considerably. France and Britain had broken off diplomatic relations, and the Franco-American alliance solidified. On 18 April Cadet de Saineville wrote an embarrassed letter to his superiors. Ploughing through his papers, he had just come across a 200-page printed text inadvertently neglected by him over the past eight months. It was a French translation by A.-F.-J. Fréville of the most important British response yet composed to the Declaration of American Independence, John Lind's *Answer to the Declaration of the American Congress* (London: T. Cadell, J. Walter, T. Sewell, 1776). Published in The Hague by Pierre Frédéric Gosse in 1777, the *Réponse à la Déclaration du Congrès américain* took issue with the revolutionaries point-by-point²⁶. According to the censor, the piece might have been commissioned by the British government. It was skillfully argued and soberly worded²⁷. Whatever one might think of the larger question — whether the American Revolution was justified at all — the censor considered Lind's points to be worthy of public discussion. As the book already was circulating in the provinces (albeit in another, anonymous translation), Cadet de Saineville had no objection to recommending its distribution and sale in Paris. Moreover, «cette grande affaire [the American Revolution] est un procès important dont il est bon que les moyens, ainsi recueillis avec ordre, soient transmis à la postérité». The censor recommended a *permission tacite*.

Why would the French censor encourage public discussion sympathetic to the British cause on the eve of France's formal entry, on the side of the insurgents, into the American revolutionary war? April 1778 was rather late in the

²⁴ BNF. Ms. fr. 22015. Fol. 257 r°–257 v°. 24 April 1777. Censor's report.

²⁵ Recueil des loix constitutives des Colonies angloises, confédérées sous la dénomination d'États-Unis de l'Amérique-septentrionale. Auquel on a joint les Actes d'Indépendance de Confédération et autres Actes du Congrès général, traduits de l'anglois. «A Philadelphie, Et se vend à Paris, chez Cellot & Jombert fils, jeune», 1778.

²⁶ [Lind J.] Réponse à la Déclaration du Congrès américain, traduite de l'anglois. La Haye: P.F. Gosse, 1777.

²⁷ BNF. Ms. fr. 22014. Fol. 66 r°–66 v°. 18 April 1778. Censor's report.

game to defend Britain's position. Assuredly, elements at Court in Versailles might still be doubting the political wisdom and financial costs of Vergennes' pro-American foreign policy. Did Cadet de Saineville sincerely fret over inroads in France made by the Declaration of Independence's democratic ideology? As we shall see shortly, the censor was uneasy over the circulation of unapologetically militant anti-British propaganda — however much it conformed to the political standards of the French foreign ministry. Cadet de Saineville did worry about raising for public discussion the subjects of representative government, religious and press freedom, and a merit-based society. At the least, he seemed to want to ensure the circulation of alternative points of view. Most important, he hoped to voice a judgment independent of ministerial orders. Certainly, Lind did not advocate religious oppression, a shackled press, or absolutism in politics. In the *Answer to the Declaration of the American Congress*, he was arguing for the merits of colonial loyalty, the legitimacy of British sovereignty, and the proper role of North Americans in a well-oiled empire. Very likely Cadet de Saineville felt more comfortable with the Englishman's agenda than with the rhetoric of the framers of the Declaration of Independence. Lind stated his position in a reasoned manner, not in the impassioned language of revolutionaries.

Lind's essay proved to be the last pro-British writing approved by the censor. On 27 June Cadet de Saineville examined in manuscript a collection of *Lettres d'un membre du Congrès américain, à divers membres du parlement d'Angleterre*²⁸. The *Lettres* were an alleged exchange between one «Antoine A...» and various members of the British Parliament («comte B. R.», «comte de B.», «Lord duc de R.», and «Lord N.»). At first the censor believed the letters to be genuine, the American ones written by John Adams; however, one N. Vincent, a lawyer from Rouen, convinced Cadet de Saineville that he, Vincent, had composed most of them two years earlier, «sous les yeux de Mr. de Verjennes [*sic*]». At that time, according to Vincent, Vergennes had considered it premature to publish the first collection of *Lettres*; but late in June 1778 the moment was right for the newer set. The French now were full-fledged participants in the American revolutionary war and were challenging British seaborne dominance. The *Lettres* reviewed the founding of England's overseas colonies, the Americans' march towards separation, and the revolutionaries' present need for French military support. Above all, reacting to Burgoyne's defeat at Saratoga (October 1777), the *Lettres* recorded British military decline and a sense of defeatism expressed by a fictitious Lord N[orth?] (p. 191–196). Aware of the propaganda intent of the *Lettres*, Cadet de Saineville issued his habitual formula for approval. He found that, though the *Lettres* were false, they argued the revolutionaries' cause in a reasoned manner, and with good taste. The censor did eliminate a sentence that mentioned «l'Angleterre humiliée» and a reference to the abandoned Spaniard left «méprisé». His caution notwithstanding, Cadet de Saineville remained reluctant about awarding a *privilège* or even an *approbation motivée* to the *Lettres*. He had no wish to identify himself pub-

²⁸ BNF. Ms. fr. 22016. Fol. 72 r°–73 v°. 27 June 1778. Censor's report.

licly as censor. Supported by the prior approval of the foreign affairs ministry, Cadet de Saineville recommended a *permission tacite* with the (likely) false publication address of Philadelphia. The *Lettres d'un membre du Congrès américain* appeared in 1779²⁹. A second edition, *L'Américain aux Anglois*, was published in 1781³⁰.

While Cadet de Saineville's relations with ministerial authority were often inconsistent, his demands for moderation were unchanging. Even while France and England were at war, Cadet de Saineville hesitated from approving works directed at Britain that he considered malicious in tone. On 12 July 1778, for example, he examined an anonymous, printed 74-page tract, *Le Vœu de toutes les nations, et l'intérêt de toutes les puissances dans l'abaissement et l'humiliation de la Grande Bretagne*³¹. The work was dedicated to Franklin, American minister plenipotentiary at the Court of Versailles. Neither author nor place of publication was credited, though bibliographers attribute the work to the playwright Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais — since May 1776 the mastermind behind shipments of French arms and goods to the Americans. Whether Cadet de Saineville suspected that Beaumarchais had written the brochure is conjectural. *Le Vœu de toutes les nations* was very hostile towards Britain, accusing it of imperial maritime ambitions and of wishing particularly to dominate Germany, the Mediterranean, the Baltic, and Spain's colonial possessions. The piece urged France, Spain, and the German states to form an «harmonie notoire et soutenue» that would compel Britain to respect international law and treaties. While acknowledging the political perceptiveness of *Le Vœu de toutes les nations*, Cadet de Saineville feared that the language and tone of the work would inflame spirits in France. The censor noted that hardly a page failed to reproach the British for «leur perfidie, leur tyrannie, leur insolence, leur audace, leur ambition». What to do? For the censor, the solution was to pass on responsibility to Vergennes. Let political circumstance, not censorship criteria, determine whether to let the work circulate. The recommendation of the foreign Minister proved positive, and a second edition was published later in the summer.

Nearly three years later, on 20 June 1781, while the French military officers Rochambeau, Lafayette, and de Grasse laid the strategic groundwork for the decisive battle of the American Revolutionary War at Yorktown, Cadet de Saineville reviewed a manuscript he had received a month earlier: a collection of historical and political essays on the Anglo-Americans and their revolutionary struggle against Great Britain. The author of the essays was Michel-René Hilliard d'Auberteuil, identified by the censor as a «procureur général dans une de nos colonies». But that was just part of the story. Hilliard d'Auberteuil was a

²⁹ [Vincent N.] *Lettres d'un membre du Congrès américain, à divers membres du parlement d'Angleterre* («A Philadelphie, et se trouve à Paris, chez l'auteur», 1779).

³⁰ [Vincent N.] *L'Américain aux Anglois* («Philadelphie» [Paris?], 1781).

³¹ BNF. Ms. fr. 22014. Fol. 13 r^o–14 r^o. 12 July 1778. Censor's report [Beaumarchais P.-A. Caron de]. *Le Vœu de toutes les nations, et l'intérêt de toutes les puissances dans l'abaissement et l'humiliation de la Grande Bretagne*. [Paris?, s. n.], 1778.

Breton from Rennes, who had sought his fortune in St. Domingue in 1765, at the age of 14. Working in the colony as a legal secretary, in 1775 he composed the *Considérations sur l'état présent de la colonie françoise de Saint-Domingue* and brought his essay to France to be published. With the assistance of the *chef de bureau* of the naval ministry, La Coste, and the approval of an *ad hoc* censor selected by naval Minister Sartine — the physiocrat and former *intendant* of Martinique and Guadeloupe, Le Mercier de La Rivière — the *Considérations* appeared in 1777 (Paris, Grangé, 1776–1777, 2 vol.). When the book arrived in St. Domingue, the colony's governing élites were aghast. They interpreted the *Considérations* as an attack upon their authority, and by extension, upon the authority of the king. They protested to Versailles, and by order of Louis XVI's Council of State, the privilege for the *Considérations* was revoked³².

Aided by his friends in the naval ministry, Hilliard d'Auberteuil fought back. His reputation was rehabilitated and he was even sold a judicial post, that of *procureur du Roi*, on the recently conquered Caribbean island of Grenada. However, his antipathy towards the colony's administration got the better of him; he slandered the governor and his staff; he publicly revealed himself as a Voltairean anti-cleric. In the summer of 1780 he was disgraced again and eventually removed from office. Over the next nine years, on both sides of the Atlantic, Hilliard d'Auberteuil composed and published political tracts, both clandestinely and legitimately. He also wrote a popular captivity novel, *Mis[s] Mac Rae* («Philadelphie» [*i. e.* Paris?], 1784). He died in Port-au-Prince in September 1789.

A significant feature of Hilliard d'Auberteuil's writing career was his decision, early in 1781, to include analysis of the American revolt against Great Britain in his corpus of political commentary. For this he navigated the normal censorship channels in France. Cadet de Saineville was assigned the examination of what were to become the *Essais historiques et politiques sur les Anglo-Américains* («Bruxelles» [*i. e.* Paris?], 1781–1782) and the *Essais historiques et politiques sur la révolution de l'Amérique septentrionale* («A Bruxelles et se trouve à Paris chez l'auteur», 1782). In 1784, Hilliard d'Auberteuil published the *Histoire de l'administration de lord North, ministre des Finances en Angleterre, depuis 1770 jusqu'en 1782, et de la guerre de l'Amérique septentrionale jusqu'à la paix* («À Londres, et se trouve à Paris, chez l'auteur [et] chez Couturier, imprimeur-libraire», 1784, 3 vol.).

The censor's description of Hilliard d'Auberteuil's *Essais historiques et politiques* was brief: «Cet ouvrage a pour objet la Revolution d'Amerique. Il est écrit avec interet, et suppose dans son auteur du talent, des connoissances, et des vues»³³. However, when it came to evaluating the manuscript, Cadet de Saineville was perplexed. Foreign minister Vergennes apparently had sympathized with Hilliard d'Auberteuil's sentiments, so the censor reminded his supe-

³² Ogle G.F. «The Eternal Power of Reason» and «The Superiority of Whites»: Hilliard d'Auberteuil's Colonial Enlightenment // French Colonial History. 2003. Vol. 3. P. 35–50.

³³ BNF. Ms. fr. 22016. Fol. 200 r^o–201 v^o. 20 June 1781. Censor's report.

riors: «Comme lecteur, l'ouvrage m'a fait plaisir; mais il s'agit de l'approuver comme censeur». He faulted Hilliard d'Auberteuil for writing as an insurgent, not as a historian. According to Cadet de Saineville, the author's love of liberty, his *esprit philosophique*, and his aversion towards authority penetrated the work: «il se livre souvent à des déclamations contre le Roy d'Angleterre et ses ministres qui me paroissent peu décentes, même dans l'état de guerre où nous sommes.» Hilliard d'Auberteuil advocated religious toleration and press freedom. He did not spare French institutions; in fact, according to Cadet de Saineville, his political diatribe seemed directed towards all monarchies, particularly France's. With dark humor, Cadet de Saineville noted: «J'ay fait supprimer une note sur les parlemens qui font brûler les livres, note qui eut bien pu nous faire brûler tous 2, l'auteur et moy, si je l'avois laissé subsister».

Hilliard d'Auberteuil had requested a *privilège général*, but the censor doubted whether he could recommend any sort of authorization, not even a *permission tacite*. He read the two volumes of *Essais*, making corrections, hesitatingly approving the first volume, then changing his mind after re-reading it, and at last suggesting that the manuscript be sent to another censor. But this latter proposal was rejected. Though Hilliard d'Auberteuil agreed to respect Cadet de Saineville's requested changes for the second volume, the entire matter remained frozen for three additional months. At length, following further negotiations among the censor, keeper of the Seals Miromesnil, Vergennes, and Hilliard d'Auberteuil, on 1 October Cadet de Saineville declared volume 1 of the *Essais* ready for publication, with the recommendation of a *permission tacite*. Hilliard d'Auberteuil already had page proofs made for both volumes, but Cadet de Saineville ordered additional changes to volume 2 and a total recasting of the text before he would sign off on it³⁴.

Hilliard d'Auberteuil's *Essais* presented Cadet de Saineville with a dilemma that had perplexed him for more than a decade. The censor was formally assigned to uphold the political values of the Bourbon monarchy, the religious values of the Catholic Church, and the moral values of a hierarchical, aristocratized society. However, Hilliard d'Auberteuil's open approval of the Anglo-Americans and their revolution directly contradicted monarchical, papal, and feudal principles. An author with a rabble-rousing reputation, Hilliard d'Auberteuil had celebrated the Anglo-Americans' advocacy of religious and press freedom and defended their rebellion against the British king. Meanwhile the censor himself was obliged to admit some empathy toward the rebels. After all, French soldiers and sailors were dying for the revolutionary cause of the Americans. Moreover, the persecution that Hilliard d'Auberteuil had himself endured turned him into a potential literary martyr, and most practically, the French foreign ministry seemed to be protecting him. Reverting to a long-held tactic, Cadet de Saineville expressed dismay over the declamatory *tone* of Hilliard d'Auberteuil's *Essais*, all the while downplaying their *content*. The censor determined that his safest strategy was a tough-worded report, followed by

³⁴ Ibid. Fol. 202 r^o-202 v^o. 1 October 1781. Censor's report.

a reluctantly recommended *permission tacite*, and acceptance of false publication addresses.

Three years after filing his report on Hilliard d'Auberteuil's *Essais*, Cadet de Saineville examined a circulating, published volume in-12, the *Observations sur le gouvernement et les loix des États-unis d'Amérique* (Amsterdam, J. F. Rosart & comp., 1784) by Gabriel Bonnot, abbé de Mably³⁵. The war with Great Britain was over, and the thirteen colonies had formed semi-autonomous republics under the Articles of Confederation (1781). Vergennes' policy was for France to remain the major European ally of the United States. Mably was well-known as a «classical republican» political theorist, author of the *Entretiens de Phocion, sur le rapport de la morale avec la politique* (Amsterdam, 1763), *Observations sur l'histoire de France* («Genève», 1765), and *Observations sur l'histoire de la Grèce* («Genève, Compagnie des libraires», 1765)³⁶. Late in 1782, the 73-year-old Mably expressed his intention to undertake a large-scale history of the American Revolution; but his friend John Adams dissuaded him from going ahead with it³⁷. So Mably attempted the more modest *Observations sur le gouvernement et les loix des États-unis d'Amérique*. It took the form of four letters to Adams, dated between 24 July and 20 August 1783, analyzing the status and future of democracy in the American states — with Pennsylvania, Massachusetts, and Georgia serving as chief examples. Mably feared that competitive, materialist Pennsylvania — customarily cited as the exemplar of American democracy — was in danger of slipping into either anarchy or oligarchy. As ambassador to Holland, Adams himself supervised publication of the *Observations* in Amsterdam³⁸. Since Mably's book already was circulating when Cadet de Saineville examined it, the censor essentially was asked to sanction or repudiate a *fait accompli*. It was too late to eliminate mere words, phrases, or sentences. Cadet de Saineville was initially generous towards Mably, considering the *Observations* to be «veritablement interessantes par les objets qui y sont traités, et la maniere lumineuse et philosophique avec laquelle ils sont discutés»³⁹.

Once Cadet de Saineville distinguished between his pleasure as a reader and duty as a censor, however, the tone of his report changed. He noted that persons working in France's ministry of Foreign Affairs had already examined Mably's essay and approved of it; nevertheless, the censor insisted that such an endorsement, based upon the general thrust of Mably's argument, was limited in scope, made merely in the context of Franco-American diplomatic relations. By way of

³⁵ BNF. Ms. fr. 22014. Fol. 159 r^o–161 r^o. 27 July 1784. Censor's report.

³⁶ Wright J.K. A Classical Republican in Eighteenth-Century France: the Political Thought of Mably. Stanford, 1997.

³⁷ «John Adams to abbé de Mably on the Proper Method of Treating American History. Appendix to the *Defence of the Constitutions of Government of the United States of America*». See: <http://www/laughtergenealogy.com/bin/histprof/misc/adams/amhist.html>

³⁸ Mably G. M., abbé de. *Observations sur le gouvernement et les loix des États-unis d'Amérique*. Amsterdam: J. F. Rosart & comp., 1784.

³⁹ BNF. Ms. fr. 22014. Fol. 159 r^o. 27 July 1784.

contrast, Cadet de Saineville claimed to be on guard against damaging details: snide comments of a personal nature, individual examples of religious blasphemy, or half-hidden observations capable of arousing negative public opinion. For example, Cadet de Saineville noted that Mably had written on page two of the *Observations*: «Presque toutes les nations de l'Europe <...> ne regardent les citoyens que comme les bestiaux d'une ferme qu'on gouverne pour l'avantage particulier d'un propriétaire». Although Mably intended this comment as a rhetorical device, in contrast to the respect for human dignity that he found among elites in the thirteen American states, the royal censor interpreted it as a «proposition exagérée en elle meme, et blessante pour la politique». In another instance, Cadet de Saineville considered it inappropriate for Mably to observe cynically that criminal jurisprudence was invented in order that governments might protect their favorite guilty parties (p. 16). The censor found Mably's comments on religion most troubling of all. He feared that churchmen would consider the abbé's advocacy of an overarching and theologically vague cult, protected by the civil authorities of each American state, to represent a nod to deism (p. 100–108). Furthermore, for Cadet de Saineville, Mably's certainty of Divine Providence's toleration of all sects was sacrilegious — «raisonnement faux en lui meme et dont les consequences sont très dangereuses». Though Cadet de Saineville joined Mably in admiring use of the American judiciary in trials of sedition, libel, and excesses of the press (p. 120), the censor summed up his examination of the *Observations sur le gouvernement et les loix des États-unis d'Amérique* with the remark: «Quelque plaisir que j'aye eu à lire cet ouvrage, je ne puis l'approuver comme censeur; et je ne pense point qu'il soit dans le cas de la permission meme tacite».

Cadet de Saineville noted that far more dangerous books than Mably's *Observations* had been tolerated by the *Direction de la Librairie*. However, the censor had no wish either to advertise the work as tacitly approved or else spread its notoriety with a public denunciation. He therefore advised the keeper of the Seals to do nothing: «C'est à la sagesse de Monseigneur a juger jusqu'à quel point il peut fermer les yeux sur sa publicité». This was translated into a *simple tolérance*, a strategy Cadet de Saineville considered superior to declaring the *Observations* a forbidden book smuggled into the literary marketplace. In a resigned tone, the censor wearily concluded: «Quant à moy, j'ay rempli ma mission, en rendant compte à Monseigneur, et lui remettant sous les yeux les passages qui m'ont paru les plus reprehensibles».

But what was the mission? Cadet de Saineville had spent more than twenty years as a royal book censor, tightrope-walking before an audience of interested parties — churchmen, government ministers, judicial officers, physiocrats, anti-physiocrats, *philosophes*, anti-*philosophes*, pro-Americans, anti-Americans — while juggling the notion that he honorably served an independent agency, the *Direction de la Librairie*, its head, and the keeper of the Seals. However, as we have seen, Cadet de Saineville had to know when it was opportune to assert himself and when it was politic to opt for silence. Between outright acceptance or rejection of a book or manuscript, he managed to maneuver

round several levels of toleration. He might veil his assessment behind the anonymity of a *permission tacite*. He might avoid responsibility altogether by proposing a *simple tolérance*. Or else he might qualify a public endorsement with an *approbation motivée*. Aware of the pro-American stance of foreign minister Vergennes during the great democratic revolution of the 1770s and early 80s, Cadet de Saineville seized a unique opportunity of picking and choosing from his menu of censorship options, using as his essential criterion an author's application of moderate, reasoned language. This skill at manipulating censorship procedures provided Cadet de Saineville with a judgmental flexibility that he interpreted as critical independence. When all was said and done, the royal censor was a pragmatist, in his oblique manner negotiating the political discourse of the pre-revolution.

Реймонд Бирн

**Королевский цензор за работой (1769–1784):
рапорты Жана-Батиста-Клода Каде де Сенвиля**

В 1762–1789 гг. Жан-Батист-Клод де Сенвиль был французским королевским цензором, в ведении которого находились книги по праву и юриспруденции. Период его наиболее активной деятельности пришелся на середину 70-х – начало 80-х годов. В это время он занимался рассмотрением работ, пропагандировавших или опровергавших экономическую доктрину физиократов, а также книг, в которых речь шла о восстании англо-американских колоний против метрополии. Оба сюжета вызывали живейшую полемику во Франции, и цензор должен был по зрелом размышлении определить, какие сочинения и точки зрения могли на законных основаниях войти в сферу публичного дискурса. Каде де Сенвиль не столько требовал от авторов соблюдения архаичных ограничительных норм французской цензуры, сколько побуждал их к разработке собственных риторических приемов, основанных на принципах самоконтроля. Если авторы проявляли осмотрительность, умеренность, такт и прибегали к эвфемизмам, цензор охотно разрешал печатать их произведения, прибегая к таким специфическим орудиям, как *permissions tacites*, *approbations motivées* или *simples tolérances*. Таким образом Каде де Сенвиль рассчитывал снискать репутацию «просвещенного» цензора, расширяя при этом границы дозволенного и оказывая определенное влияние на направление умов в предреволюционной Франции.

BARBARA DE NEGRONI

L'ENCYCLOPÉDIE ET LES CENSURES

Immense aventure éditoriale, la publication de l'*Encyclopédie* a été un grand combat, mené à la fois sur les fronts technique, économique et politique. Imprimer un livre d'une telle ampleur ne suppose pas seulement d'avoir résolu des problèmes de coordination entre les collaborateurs, de gestion des coûts d'une édition, de diffusion auprès de souscripteurs: cela implique un rapport particulièrement complexe avec les pouvoirs en place. Aucun libraire ne pourrait accepter de lancer une pareille publication sans autorisations officielles: comment courir le risque d'une saisie des exemplaires quand les coûts de l'édition sont tels qu'il est nécessaire de commencer à vendre le livre par souscription? Or l'entreprise heurte de front toutes les contradictions de la politique éditoriale menée sous le règne de Louis XV. Un livre aussi prestigieux par son ampleur, son intérêt scientifique, le nombre et la renommée de ses collaborateurs, fait honneur au gouvernement qui l'encourage: certains ministres ou personnages influents sur un plan politique — le chancelier d'Aguesseau, le directeur de la Librairie Malesherbes, M^{me} de Pompadour — soutiennent le projet de Diderot, considérant que la publication d'une encyclopédie s'inscrit dans la politique de défense des lettres et des arts menée depuis Richelieu, estimant qu'il en rejaillira une certaine *aura* sur la monarchie française. Un livre aussi long représente un grand intérêt économique: il vaut évidemment mieux le publier en France que de laisser les libraires étrangers en tirer tous les bénéfices. Il ne peut cependant pas être question de donner carte blanche à Denis Diderot au nom de l'importance scientifique de son projet. Une autorisation officielle sous le règne de Louis XV s'accompagne nécessairement de procédures de contrôle; plus le livre publié a d'ampleur, plus cette surveillance doit être vigilante. *L'Encyclopédie*

offre ainsi un poste d'observation éminemment favorable à qui veut étudier la question de la censure: on peut suivre toute l'histoire de sa publication en analysant les différents obstacles politiques que le texte rencontre. Diderot n'a évidemment aucune illusion sur les difficultés auxquelles il va devoir faire face: leur prise en compte suppose de recourir à des stratégies d'écriture. Tout se passe comme si la question de la censure conduit à la fois à s'interroger sur les limites du publiable sous le règne de Louis XV, et sur les modalités d'écriture qui permettent de transgresser ou du moins d'assouplir ces limites.

Il se joue entre les éditeurs de l'*Encyclopédie* et les différents pouvoirs en place un étrange jeu où chacun cherche à assurer sa position, à conforter ses arrières, à voir quels intérêts peut présenter telle ou telle stratégie: entre les modalités d'écriture adoptées par Diderot et ses collaborateurs, et les modalités d'interdit utilisées par le roi, le parlement de Paris et les éditeurs. Ce ne sont pas seulement les thèses défendues dans l'*Encyclopédie* qui ont un enjeu politique, mais les positions qu'elles conduisent à adopter ou à dénoncer dans les différents camps idéologiques qui s'affrontent. Le problème qui nous intéresse particulièrement ici est de savoir si la censure a représenté pour Diderot une instance avec laquelle il faut transiger, passer un compromis — mieux vaut publier officiellement des pages un peu sages que de continuer à garder au fond de ses tiroirs des textes plus rigoureux, plus audacieux, mais impossibles à diffuser — ou s'il peut en jouer, l'intégrer dans une stratégie d'écriture en la contournant, sans que cela implique de recourir à des propos insuffisants ou insatisfaisants sur un plan théorique.

LE PROJET DE LA PUBLICATION: SOUTIEN POLITIQUE ET CENSURE

En se lançant dans la direction de l'*Encyclopédie*, Diderot ne prend pas le même type de risques que ceux qu'il a rencontrés avec d'autres livres: des textes comme les *Pensées philosophiques* ou la *Lettre sur les aveugles* ne sont évidemment pas acceptables en France, et il aurait fallu être inconscient pour les exposer à une demande officielle de publication. De telles œuvres ne peuvent être diffusées que de façon clandestine: si elles sont éditées l'une comme l'autre en France, elles comportent les fausses adresses de La Haye pour la première, de Londres pour la seconde, et aucun nom d'auteur ne figure sur les pages de titre. Diderot sait fort bien que ses livres risquent le bûcher, que leur contenu est radicalement irrecevable; il est donc inutile de biaiser ses angles d'attaque ou d'adoucir ses propos; il a l'audace sidérante d'ouvrir les *Pensées philosophiques* par la déclaration «J'écris de Dieu», ou de prêter à Saunderson dans la *Lettre sur les aveugles* des propos remettant en cause les notions de providence et d'ordre de l'univers. Les textes sont certes difficiles et posent au lecteur des problèmes d'interprétation; mais ils ne sont jamais adoucis par des clauses de style qui leur donneraient un masque de bienséance¹.

¹ L'écriture par digressions de la *Lettre sur les aveugles* ne se rattache à aucune volonté de bienséance: bien loin de diminuer la portée du texte, elle ne sert qu'à souligner les problèmes d'interprétation qu'il pose, et à exiger ainsi du lecteur une grande vigilance critique.

Les seules précautions prises sont au niveau de la diffusion: Diderot escompte que l'anonymat lui permettra d'échapper aux poursuites².

Mais l'*Encyclopédie* doit nécessairement être publiée de façon tout à fait officielle: le libraire a besoin non seulement d'une permission officielle, mais d'un privilège pour s'assurer un monopole commercial, condition de rentabilité d'une entreprise aussi coûteuse. Les choses semblent au départ se présenter sous un jour favorable: le chancelier d'Aguesseau a été complètement séduit par le projet de Diderot et le soutient de toute son influence. Il reste que le texte, comme celui de tout livre publié officiellement sous la monarchie absolue, doit être en principe relu, avant d'être imprimé, par un ou plusieurs censeurs royaux. Ces derniers peuvent aussi bien exiger la suppression complète d'un article que demander des coupures, ou des adoucissements de formulation.

Or ce qui pourrait sembler constituer une entrave à la pensée ne semble pas au départ inquiéter outre mesure Diderot. Tout se passe comme s'il estime avoir les moyens de contourner la censure en jouant sur une écriture indirecte, qui n'affaiblit pas l'efficacité de ses propos et qui ne dénature en rien le style de l'*Encyclopédie*.

Si la présence de la censure constitue un obstacle externe à la propagation de la connaissance, elle n'est en même temps que la manifestation d'un autre type d'obstacle, bien plus grave, bien plus fondamental et qu'il faut nécessairement prendre en compte si l'on prétend diffuser de nouveaux savoirs. Il ne suffit pas d'apporter des lumières aux hommes pour réussir à les éclairer: contre toute conception illuminatrice de la connaissance naturelle, qui transposerait des modèles de la lumière surnaturelle, de l'éclairage tout-puissant de la grâce sur un plan philosophique, Diderot ne cesse de souligner qu'il est impossible de débarrasser brutalement les hommes de leurs préjugés. Les images platoniciennes de l'éblouissement nous apprennent qu'on ne peut sortir que lentement de la caverne, qu'il faut passer par des médiations; il est tout aussi absurde de prétendre éclairer brutalement certains hommes que d'illuminer un nid de hiboux: on ne réussit qu'à les aveugler et à les faire crier³.

Le clair-obscur représente dans bien des cas une stratégie nécessaire; en écrivant l'*Encyclopédie* Diderot recourt souvent à une méthode proche de celle de Voltaire dans le *Dictionnaire philosophique*: faire travailler son lecteur. Si «les livres les plus utiles sont ceux dont les lecteurs font eux-mêmes la moitié»⁴, alors certes l'*Encyclopédie* est un livre utile, qui loin d'assener des thèses donne des éléments à mettre en relation.

Un tel travail d'interprétation est particulièrement approprié à l'écriture d'une encyclopédie: Diderot joue sur les possibilités offertes par la construction de l'œuvre, en y dissimulant des itinéraires sourds, en y dessinant des

² On sait que si cette stratégie a été efficace lors de la sortie des *Pensées philosophiques*, elle ne permet pas à Diderot d'échapper aux poursuites lors de la diffusion de la *Lettre sur les aveugles*: il est alors enfermé plusieurs mois au château de Vincennes.

³ L'image du nid de hiboux revient très régulièrement dans l'œuvre de Diderot. Voir en particulier *Promenade du sceptique*, *Discours préliminaire*, et *Encyclopédie*, article «Aigle».

⁴ Voltaire, *Dictionnaire philosophique*, préface.

méandres souterrains. Une encyclopédie par définition répond à deux ordres: ordre alphabétique des articles qui offre un moyen commode et arbitraire de retrouver une information, ordre encyclopédique des connaissances qui permet de renouer la chaîne entre les différents articles. Ce second ordre suppose que soient constamment mis en place des renvois qui permettent de circuler à travers le texte et de rattacher un article à ses antécédents et ses conséquents. Le lecteur doit donc s'accoutumer à une lecture qui parcourt, qui fait des va-et-vient, qui circule dans le texte pour accrocher les uns aux autres les maillons du savoir. Une telle lecture dessine le rêve d'une totalisation de la connaissance, de la mise en place de cette nouvelle science que projetait Francis Bacon, en fournissant aux hommes un *novum organum* qui ne soit pas inachevé. Il reste que, tout comme le projet baconien, l'entreprise ne peut pleinement fonctionner que sur un plan méthodique: Diderot a beau vouloir donner l'état des sciences à son époque, et considérer que, si un exemplaire de l'*Encyclopédie* était conservé, la perte de toutes les bibliothèques du XVIII^e siècle ne serait pas trop grave⁵, il sait que la prétention d'une totalisation du savoir est éphémère, qu'une encyclopédie aurait besoin de constantes mises à jour, que la connaissance humaine est nécessairement limitée et qu'il est souvent plus utile d'apprendre à exercer ses forces que de prétendre connaître toutes celles de la nature⁶. Diderot revendique l'irrégularité de son ouvrage comme étant un des signes de la subtilité de ses analyses et voit dans le caractère touffu et parfois désordonné de son encyclopédie le signe même de sa richesse par opposition à celle de Chambers: «Les articles de Chambers sont assez régulièrement distribués; mais ils sont vides. Les nôtres sont pleins, mais irréguliers. Si Chambers eût rempli les siens, je ne doute point que son ordonnance n'en eût souffert»⁷.

À ce désordre épistémique, s'ajoute un désordre lié à la censure, une autre fonction des renvois, qui joue un rôle critique et politique. Diderot montre comment les renvois de choses peuvent remplir deux fonctions différentes:

Les renvois de choses éclaircissent l'objet, indiquent ses liaisons prochaines avec ceux qui le touchent immédiatement, et ses liaisons éloignées avec d'autres qu'on en croirait isolés; rappellent les notions communes et les principes analogues; fortifient les conséquences; entrelacent la branche au tronc, et donnent au tout cette unité si favorable à l'établissement de la vérité et à la persuasion. Mais quand il le faudra, ils produiront aussi un effet tout contraire; ils opposeront les notions; ils feront contraster les principes; ils attaqueront, ébranleront, renverseront secrètement quelques opinions ridicules qu'on n'oserait insulter

⁵ Voir *Encyclopédie*, prospectus: «Faisons donc pour les siècles à venir ce que nous regrettons que les siècles passés n'aient pas fait pour le nôtre. Nous osons dire que si les anciens eussent exécuté une encyclopédie, comme ils ont exécuté tant de grandes choses, et que ce manuscrit se fût échappé seul de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, il eût été capable de nous consoler de la perte des autres».

⁶ Voir *Pensées sur l'interprétation de la nature*, dédicace: «Un plus habile t'apprendra à connaître les forces de la Nature; il me suffira de t'avoir fait essayer les tiennes».

⁷ *Encyclopédie*, prospectus.

ouvertement. Si l'auteur est impartial, ils auront toujours la double fonction de confirmer et de réfuter; de troubler et de concilier.

Il y aurait un grand art et un avantage infini dans ces derniers renvois. L'ouvrage entier en recevrait une force interne et une utilité secrète, dont les effets sourds seraient nécessairement sensibles avec le temps. Toutes les fois, par exemple, qu'un préjugé national mériterait du respect, il faudrait à son article particulier l'exposer respectueusement, et avec tout son cortège de vraisemblance et de séduction; mais renverser l'édifice de fange, dissiper un vain amas de poussière, en renvoyant aux articles où des principes solides servent de base aux vérités opposées. Cette manière de détromper les hommes opère très promptement sur les bons esprits, et elle opère infailliblement et sans aucune fâcheuse conséquence, secrètement et sans éclat, sur tous les esprits. C'est l'art de déduire tacitement les conséquences les plus fortes⁸.

Si la stratégie mise en place par ce texte permet certes de contourner la censure, on ne saurait la réduire à une simple fonction de protection. La censure n'est que l'expression des préjugés idéologiques d'une époque; quand bien même elle n'existerait pas, il faudrait encore recourir à des méthodes éludées d'écriture pour apprendre au lecteur une forme d'esprit critique.

Ces éclairages indirects, que Diderot a pris un tel plaisir à constituer, sont peut-être une sorte de détournement de la lecture de Blaise Pascal. La condition humaine, telle qu'elle est peinte dans les *Pensées*, est incapable, en raison de sa misère et de sa corruption, d'accéder pleinement à la lumière divine. La vie sur terre est nécessairement de l'ordre d'une quête indéfinie, d'une recherche permanente: Pascal ne peut «approuver que ceux qui cherchent en gémissant»⁹. La lumière resplendissante de la vérité ne brille que dans des moments exceptionnels: le «FEU» du mémorial n'est pas une expérience quotidienne. Tout en ne travaillant pas en termes de corruption, Diderot reprend un modèle baconien de la connaissance: bien des idoles nous empêchent d'accéder au réel, et il serait vain de prétendre commencer par les éliminer: la connaissance ne part jamais de zéro mais se constitue progressivement, par jeux de rectifications, par essais et erreurs. La recherche prend une valeur fondamentale; le travail du lecteur est nécessaire pour que le texte prenne sens; l'œuvre ne peut jamais être réduite à un ensemble d'informations, elle doit jouer un rôle interrogatif et critique. Diderot ne peut approuver que ceux qui cherchent en se réjouissant: refus du dogmatisme et plaisir de l'exercice de la pensée. Paradoxalement ce caractère formateur de l'œuvre s'accommode de la censure; les mêmes modalités d'écriture servent à dissimuler certains aspects du texte, et à faire prendre conscience au lecteur des difficultés de l'interprétation.

⁸ Ibid.

⁹ *Pascal B. Pensées* / Éd. L. Brunschvicg. Paris, 1900. Fragment 421.

LES PREMIÈRES DIFFICULTÉS

La stratégie de Diderot peut sembler d'autant plus efficace que l'*Encyclopédie*, en raison de sa longueur, est nécessairement examinée par des censeurs différents, qui, lisant les articles un à un, ne peuvent pas voir apparaître la trame secrète du texte et les pensées de derrière qu'il recèle.

Or cette première stratégie se révèle insuffisante: si elle permet au livre de franchir sans trop d'encombres l'étape de la censure préalable, elle ne suffit pas à le protéger une fois publié. Même si Diderot veut éclairer les hommes en douceur, les lumières qu'il laisse filtrer sont encore bien trop importantes pour le pouvoir en place et la publication des deux premiers volumes fait scandale¹⁰.

L'offensive est déclenchée en 1751 par les Jésuites qui, dans le *Journal de Trévoux* dénoncent entre autres les articles «Âme», «Âme des bêtes», «Art», «Autorité politique». Elle se poursuit au début de l'année 1752, lors de l'affaire de l'abbé de Prades. La thèse de ce dernier est dénoncée par l'archevêque de Paris, puis condamnée avec une belle unanimité par les jésuites et les jansénistes; décrété de prise de corps, l'abbé de Prades est obligé de s'enfuir. Il est facile de faire rejaillir le scandale sur l'*Encyclopédie*, et de réprouver une période corrompue où le développement de la philosophie conduit au déclin de la religion. Un arrêt du Conseil d'État du Roi interdit le 9 février 1752 la diffusion des deux premiers volumes de l'*Encyclopédie*. L'arrêt souligne qu'on a affecté d'insérer dans ce livre «plusieurs maximes tendant à détruire l'autorité royale, à établir l'esprit d'indépendance et de révolte, et sous des termes obscurs et équivoques, à élever les fondements de l'erreur, de la corruption des mœurs, de l'irrégion et de l'incrédulité»¹¹.

Un tel arrêt présente une grande ambiguïté: que peut signifier d'interdire les deux premiers livres d'un ouvrage d'une grande ampleur, diffusé avant tout par souscription, alors que ces volumes ont été en partie distribués, et que surtout d'autres volumes sont en préparation? Se déroulent alors, comme c'est si fréquent sous l'Ancien Régime en matière de librairie, deux séries d'opérations parallèles: les unes, tout à fait officielles, devraient permettre l'interdiction du livre; les autres souterraines, anéantissent les effets des premières, tout en laissant en place une apparence de sévérité. Comme dans les anciennes affaires de condamnation au bûcher, où le coupable est secrètement étranglé avant d'être brûlé, on espère que les lecteurs n'y verront que du feu. Une saisie des manuscrits est organisée; Malesherbes, directeur de la Librairie, prévient Diderot et

¹⁰ La censure préalable devait en principe régler les problèmes de diffusion des textes sous l'Ancien Régime. On sait bien qu'elle s'est toujours révélée insuffisante, ou qu'on a toujours eu intérêt à dénoncer ses insuffisances, et qu'il est régulièrement arrivé qu'un texte revu par un censeur pose malgré tout des problèmes lors de sa diffusion. Voir notamment *Negrone B. de. Lectures interdites. Le travail des censeurs au XVIII^e siècle (1723–1774)*. Paris, 1995.

¹¹ Arrêt du Conseil du 7 février 1752 (BNF. Ms. fr. 22092. Fol. 529).

lui propose d'abriter ses textes qu'on ne viendra pas chercher chez lui¹²; la logique voudrait que le privilège de l'*Encyclopédie* soit révoqué, Malesherbes réussit à obtenir qu'il soit maintenu.

La politique du directeur de la Librairie s'explique parfaitement: les pages répréhensibles de l'*Encyclopédie* lui semblent peu nombreuses au vu de l'importance générale de l'ouvrage; le prestige théorique et l'intérêt économique du livre doivent conduire à essayer de maintenir à tout prix sa publication. Pour éviter trop d'articles à problèmes, Malesherbes revoit le système d'examen du livre et met en place un contrôle systématique effectué par trois censeurs théologiens¹³.

Or la mise en place de ce contrôle va se révéler inefficace pour deux raisons. La première tient à la nature même du texte: examiner des articles un à un dans un livre de cette ampleur est une tâche fort ardue; il n'est pas simple de voir où se situent les dangers éventuels d'un passage quand on n'a pas sous les yeux le contexte qui le fait résonner, quand on ne voit pas à quels autres passages il fait écho, et les fils souterrains qu'on peut alors découvrir dans le livre. La seconde tient aux conflits de pouvoir qui se jouent au sein de la monarchie du XVIII^e siècle: l'*Encyclopédie*, œuvre philosophique publiée officiellement avec privilège, offre au Parlement une arme redoutable contre le Conseil du Roi. Les parlementaires, en jouant le zèle dévoué et en dénonçant le livre, semblent voler au secours d'une monarchie en péril; ils peuvent surtout montrer les insuffisances du Conseil, et chercher à s'approprier la question de la censure¹⁴.

L'ARRÊT DE 1759: LA FIN DE LA PUBLICATION OFFICIELLE

Le parlement de Paris réussit à s'emparer en 1759 de la condamnation de l'*Encyclopédie*. Certes Diderot n'a cessé de jouer sur les limites du publiable en France, et des passages de l'*Encyclopédie* qui sont passés à travers les mailles du filet des censeurs posent évidemment problème. Mais surtout l'*Encyclopédie* offre une occasion politique de premier plan au Parlement, occasion qu'il exploite avec brio.

¹² Voir *Mémoires de Mme de Vandeuil*, in *Diderot D. Œuvres complètes / Éd. R. Lewinter*, Paris, 1969. T. 1. P. 788: «M. de Malesherbes prévint mon père qu'il donnerait le lendemain ordre d'enlever ses papiers et ses cartons. "Ce que vous m'annoncez là me chagrine horriblement: jamais je n'aurai le temps de déménager tous mes manuscrits, et d'ailleurs il n'est pas facile de trouver en vingt-quatre heures des gens qui veuillent s'en charger et chez qui ils soient en sûreté. — Envoyez-les tous chez moi, lui répondit M. de Malesherbes, l'on ne viendra pas les y chercher". En effet, mon père envoya la moitié de son cabinet chez celui qui en ordonnait la visite».

¹³ Voir en particulier *Grosclaude P. Malesherbes et l'Encyclopédie // Revue des sciences humaines*. 1958. N 91. Juillet-septembre. P. 351–380.

¹⁴ Sur le fonctionnement de la censure sous le règne de Louis XV, voir *Negrone B. de*. Op. cit.

Il est facile en effet au parlement de Paris de se draper dans la position du pourfendeur de l'incrédulité et, en semblant voler au secours de la monarchie offensée, d'apparaître comme le seul capable de défendre l'État. Condamner des livres qui ont reçu une autorisation officielle est une façon de souligner que les services de la Librairie sont inefficaces, et que son directeur, Malessherbes, favorise indignement les travaux des philosophes. Les parlementaires au contraire apparaissent comme particulièrement vigilants, et seuls capables d'exercer le contrôle des publications. Le parlement de Paris utilise alors comme prétexte le scandale récemment provoqué par *De l'Esprit* d'Helvétius – œuvre publiée avec approbation et privilège — et en profite pour rendre un grand arrêt condamnant à la fois des œuvres diffusées avec privilège et des textes qui n'avaient pas reçu la moindre autorisation¹⁵. Le réquisitoire du procureur général, Joseph-Omer Joly de Fleury, met en œuvre une rhétorique qui ne craint ni l'emphase, ni le pathos et qui laisse entrevoir le spectacle terrorisant de ce qui est publié en France: «La société, l'État et la religion se présentent aujourd'hui au tribunal de la justice pour lui porter leurs plaintes. Leurs droits sont violés; leurs lois sont méconnues; l'impiété qui marche le front levé paraît en les offensant promettre l'impunité à la licence qui s'accrédite de jour en jour»¹⁶. Seuls les magistrats sont à même de remédier à cette situation; Joly de Fleury semble prouver leur compétence en matière de lecture en analysant subtilement les venins distillés dans les livres qu'il condamne. La totalisation du savoir effectuée dans l'*Encyclopédie* apparaît comme la couverture d'une entreprise de sape généralisée des fondements de la religion:

À l'ombre d'un dictionnaire qui rassemble une infinité de notions utiles et curieuses sur les arts et les sciences, on y a fait entrer une compilation alphabétique de toutes les absurdités, de toutes les impiétés répandues dans tous les auteurs, on les a embellies, augmentées, mises dans un jour plus frappant. Le dictionnaire est composé dans le goût de celui de Bayle. On y développe selon le genre des articles le *Pour* et le *Contre*, mais le *Contre* quand il s'agit de la religion, des mœurs, de l'autorité y est toujours exposé clairement et avec affectation¹⁷.

Joly de Fleury développe ces idées en faisant une véritable explication de texte du système des renvois, et en prenant l'exemple des preuves de l'existence de Dieu. Si ces preuves figurent à l'article «Dieu», les renvois à l'article «Démonstration» permettent de faire entrevoir la faiblesse des preuves métaphysiques, celui à l'article «Corruption» l'insuffisance des preuves physiques. On pourrait évidemment objecter à Joly de Fleury que son explication de texte ne sert qu'à faire une extraordinaire publicité au livre qu'il condamne en montrant aux lecteurs innocents ce qu'il recèle; ce serait oublier que l'arrêt est d'abord rendu pour mettre en valeur l'action du Parlement et pour chercher à augmenter son pouvoir en matière de censure.

¹⁵ Ibid. P. 201–212.

¹⁶ Arrêt du parlement de Paris du 23 janvier 1759 (BNF. Ms. Joly de Fleury 352, 3807. Fol. 6–9).

¹⁷ Ibid.

Le caractère public de cet arrêt, le ton employé par le procureur général, l'attaque directe qui est faite des services de la Librairie ne rendent plus possible le moindre double jeu du pouvoir royal. Les stratagèmes que Malesherbes a mis en place en 1752 ne peuvent plus fonctionner; il n'est plus question de tergiverser: le livre doit définitivement quitter la scène des publications autorisées. Malesherbes tente malgré tout de limiter les dégâts: s'il révoque le privilège, il réussit à régler la question du remboursement des souscripteurs en autorisant la fin de la publication des planches; et il estime que mieux vaut que l'*Encyclopédie* soit éditée clandestinement, en France ou à l'étranger, que de continuer à prétendre exercer sur ce texte un système d'examen inefficace.

On pourrait penser que l'affaire de la censure de l'*Encyclopédie* va s'arrêter là; publié clandestinement, le livre ne doit plus rencontrer trop d'oppositions s'il réussit à passer à travers les filets du Parlement, filets dont les mailles ne sont tout de même pas très serrées. La publication globale des derniers volumes doit en outre rendre les choses plus simples.

Or on affaire là à la dernière censure qu'a pu connaître le livre, la censure la plus forte, une censure préventive exercée par le principal libraire en charge de l'édition, André-François Le Breton.

LA FIN DE L'ENTREPRISE:
DES CENSURES POLITIQUES AUX CENSURES
DE LE BRETON

Les dix derniers volumes de l'*Encyclopédie* sont publiés à la fois en 1766. Diderot dans son avertissement au tome VIII salue la fin de l'entreprise, pousse le cri de joie du matelot qui aperçoit enfin la terre, mais rappelle aussi les difficultés affrontées, rêve à un avenir où les maîtres du monde étendraient la sphère des Lumières, à un temps où ils auraient «tous compris que leur sécurité consiste à commander à des hommes instruits». Cette joie de voir la fin de ses travaux est en partie ternie par les découvertes que Diderot fait dès 1764 du travail effectué par Le Breton. Ce dernier continue à assurer clandestinement l'édition du texte; mais méfiant, ayant peur d'avoir avec ce livre de nouveaux ennuis, il effectue de lui-même un grand nombre de modifications, de suppressions, de mutilations sur les épreuves. Une telle opération est d'autant plus dommageable que Le Breton a les moyens d'en faire disparaître toutes les traces: il effectue ses coupures sur la dernière série d'épreuves, après que Diderot a signé le bon à tirer, et brûle les versions précédentes et le manuscrit¹⁸.

¹⁸ Voici la description que donne Grimm des censures de Le Breton: «Tranquille, au moyen de ces précautions, pour le temps de l'impression, M. Le Breton voulut encore prévenir les orages dont il se croyait menacé au moment de la publication: en conséquence, il s'érigea avec son prote, à l'insu de tout le monde, en souverain arbitre et censeur de tous les articles de l'*Encyclopédie*. On les imprimait tels que les auteurs les avaient fournis: mais quand M. Diderot avait revu la dernière épreuve de chaque feuille, et qu'il avait mis au bas l'ordre de la tirer, M. Le Breton et

On comprend l'amertume de Diderot, l'immense tristesse devant des ravages irrémédiables, qui transparaît dans la lettre cinglante qu'il adresse le 12 novembre 1764 à Le Breton. Après lui avoir reproché de lui avoir mis «dans le cœur un poignard», il expose en détail le type de mutilations qui a été effectué, «atrocité dont il n'y a pas d'exemple depuis l'origine de la librairie» et prédit à son imprimeur la réputation qui l'attend:

Vous serez traîné dans la boue avec votre livre, et l'on vous citera dans l'avenir comme un homme coupable d'une infidélité et d'une hardiesse auxquelles on n'en trouvera point à comparer. C'est alors que vous jugerez sainement de vos terreurs paniques et des lâches conseils des barbares ostrogoths et des stupides vandales qui vous ont secondé dans le ravage que vous avez fait¹⁹.

Les censures de Le Breton sont celles qu'on peut le moins mesurer: il nous est impossible de savoir quels textes ont été supprimés, et encore plus de repérer les effets produits par les coupures sur l'économie générale du livre. Nous en avons cependant des échantillons significatifs: un volume d'épreuves corrigées a été retrouvé par D.H. Gordon en 1933, et a donné lieu à la publication de tous les passages biffés par Le Breton²⁰. Il est ainsi possible d'analyser une partie des effets produits par les coupures sur le livre et de mesurer le rôle qu'elles jouent pour le lecteur: a-t-il les moyens d'estimer ce qui manque? de le déduire? sa lecture est-elle radicalement modifiée, altérée par les mutilations de l'éditeur?

Au vu des échantillons dont nous disposons, les principes de censure adoptés par Le Breton ne semblent pas briller par l'originalité: il coupe avant tout les passages portant sur des questions religieuses: critique de certains dogmes ou comportements chrétiens, apologues de la tolérance, analyses corrélant le développement des Lumières et le déclin de la superstition. Il reste que les coupures opérées par Le Breton produisent un effet très différent suivant le type de censure qu'il a mis en œuvre: ce n'est pas du tout la même chose de supprimer ou d'adoucir quelques mots ou une phrase, ou de retrancher un ou plusieurs paragraphes. Il importe alors de comprendre comment la lecture est

son prote s'en emparaient, retranchaient, coupaient, supprimaient tout ce qui leur paraissait hardi ou propre à faire du bruit et à exciter les clameurs des dévots et des ennemis, et réduisaient ainsi, de leur chef et autorité, le plus grand nombre des meilleurs articles à l'état de fragments mutilés et dépouillés de tout ce qu'ils avaient de précieux, sans s'embarrasser de la liaison des morceaux de ces squelettes déchiquetés, ou bien en les réunissant par les coutures les plus impertinentes. On ne peut savoir au bout jusqu'à quel point cette infâme et incroyable opération a été meurtrière, car les auteurs du forfait brûlèrent le manuscrit à mesure que l'impression avançait, et rendirent le mal irrémédiable» (CL. Paris, 1879. T. IX. P. 207–208. Janvier 1771). Ce texte, qui peint Le Breton et son prote comme de sombres personnages œuvrant dans une officine de sorcières, analyse l'ensemble des censures qu'a pu rencontrer l'*Encyclopédie*, pour montrer à quel point la persécution peut nuire au progrès des lettres et de la raison.

¹⁹ Lettre à André-François Le Breton en date du 12 novembre 1764, in *Diderot D. Œuvres complètes* / Éd. R. Lewinter. Paris, 1970. T. V. P. 851–853.

²⁰ Voir: The Censoring of Diderot's *Encyclopédie* and the re-established text / Ed. by D.H. Gordon, N.L. Torrey. New York, 1947. Toutes les citations que nous donnons du texte original de l'*Encyclopédie* sont tirées de ce texte (P. 68–107).

transformée par coups de ciseaux du censeur: les mutilations les plus perfides du texte sont celles qui en supprimant réussissent à déformer, à défigurer la globalité de l'article et à en fausser ainsi la lecture.

On trouve d'abord bien des exemples de petites suppressions ou d'adoucissements, qui certes affaiblissent le texte, mais qui ne le déforment pas véritablement parce que Diderot a toujours dû recourir dans l'*Encyclopédie* à des prudences d'écriture qui rendent la vigilance du lecteur nécessaire. On perd davantage certaines pointes du texte que le sens véritable d'un article. Ainsi à l'article «voluptueux»²¹ Diderot avait écrit: «ceux qui nous prêchent je ne sais quelle doctrine austère sont des atrabillaires»; Le Breton corrige en substituant le verbe «enseigner» au verbe «prêcher» et gomme par là même une polémique anticléricale. Exactement de la même façon, dans l'article «Vomir»²², à l'exemple lexical de Diderot «les injures que les Pères de l'Église ont vomies les uns contre les autres», Le Breton substitue la formule «les injures que les auteurs ont vomies les uns contre les autres»²³. Il censure de la même façon certaines polémiques politiques; à l'article «Officier»²⁴, il supprime la phrase: «Il y a autant de confusion et d'incertitude sur tous les droits et sur tous les titres en France, qu'il y a d'ordre bon ou mauvais dans l'administration».

Cet «émoussage» du texte, qui l'affaiblit sans en modifier radicalement le sens peut être effectué sur des passages plus longs: plusieurs lignes de l'article «Infidélité» dénonçant le modèle de fidélité défendu dans une conception chrétienne du mariage sont retirées²⁵.

La suppression de ce type de pointe ironique empêche que se nouent des formes de complicité avec le lecteur, ôte une dimension plaisante au texte, un aspect de séduction et d'amusement. Mais elle peut aussi réussir à dénaturer le sens du texte en renversant sa perspective. L'article «Sarrasins ou Arabes»²⁶ se termine dans la version revue par Le Breton sur les considérations suivantes:

«Le saint prophète ne savait ni lire ni écrire: de là la haine des premiers musulmans contre toute espèce de connaissance; le mépris qui s'en est perpétué chez leurs successeurs; et la plus longue durée garantie aux mensonges religieux dont ils sont entêtés.» Une telle polémique susciterait sans doute de nos jours un

²¹ Ibid. P. 107.

²² Ibid.

²³ Les exemples lexicaux donnés dans l'*Encyclopédie*, textes qui à la fois sont souvent très polémiques, et qu'il est très facile de supprimer sans que le lecteur ait aucun moyen de soupçonner la mutilation, sont fréquemment censurés par Le Breton. Voir par exemple l'article «Périr»; Le Breton maintient l'exemple «Il a péri par la faim», qui doit lui sembler peu compromettant, mais supprime en revanche la phrase «Dieu laisse périr tous les jours une infinité d'âmes faute d'une lumière qui peut-être les sauverait, qu'il leur refuse et qu'il n'y a que lui qui puisse leur donner».

²⁴ Ibid. P. 71.

²⁵ Ibid. P. 68: «Qui est-ce qui se choisit son époux? Le prêtre a beau dire aux pieds des autels à deux êtres qui n'ont point été faits l'un pour l'autre, je vous unis et rien ne vous séparera. La nature donne le démenti au prêtre, et prend l'homme ou la femme par la main, et le promène partout où il lui plaît».

²⁶ Ibid. P. 78-81.

beau tollé, elle n'en soulève évidemment aucun à l'époque de Diderot: elle permet de conforter l'opposition entre la vérité du christianisme et l'erreur des autres religions. Le problème est que le texte original ne dit pas du tout cela: loin d'opposer les erreurs, les mensonges et les manipulations des musulmans aux vérités chrétiennes, Diderot montre au contraire comment l'Islam illustre ici une caractéristique fondamentale de toute religion:

Car c'est une observation générale que la religion s'avilit à mesure que la philosophie s'accroît. On en conclura ce qu'on voudra ou contre l'utilité de la philosophie, ou contre la vérité de la religion; mais je puis annoncer d'avance que plus il y aura de penseurs à Constantinople, moins on fera de pèlerinages à La Mecque. Lorsqu'il y a dans une capitale un acte religieux, annuel et commun, il peut servir de règle très sûre pour calculer les progrès de l'incrédulité, la corruption, les mœurs, et le déclin de la superstition nationale. Ainsi, parmi les catholiques, dites, sous telle paroisse on consommait en 1700, cinquante mille hosties, en 1759 on n'en consommait plus que dix mille: donc la foi s'est affaiblie dans l'intervalle de cinquante neuf ans, de quatre cinquièmes, et ainsi de tout ce qui tient à l'affaiblissement de la foi. Je ne doute point qu'il n'y ait un terme stationnaire, une année où la marche de l'incrédulité s'arrête: alors le nombre de ceux qui satisfont à la grande cérémonie annuelle est égal au nombre de ceux qui restent au milieu de la révolution aveugles ou éclairés, incurables ou incorruptibles. Voilà le vrai troupeau sur lequel les ministres de la religion peuvent compter; il peut s'accroître, mais il ne peut diminuer²⁷.

Supprimer ce passage, ce n'est pas seulement ôter une critique de la religion; c'est se donner les moyens de récupérer d'un point de vue chrétien la polémique contre les musulmans. Un procédé du même type est pratiqué à l'article «Socratique»²⁸. Le Breton y supprime un passage entier portant sur le rapport du philosophe à la vérité et réussit ainsi à enchaîner deux paragraphes qui analysent la religion et la morale de Socrate:

On l'accusa d'impiété; et il faut avouer que sa religion n'était pas celle de son pays. Il méprisa les dieux et les superstitions de la Grèce. Il eut en pitié leurs mystères. Il s'était élevé par la seule force de son génie à la connaissance de l'unité de la divinité, et il eut le courage de révéler cette dangereuse vérité à ses disciples.

Après avoir placé son bonheur présent et à venir dans la pratique de la vertu, et la pratique de la vertu dans l'observation des lois naturelles et politiques, rien ne fut capable de l'en écarter.

Tout se passe comme si on pouvait faire une lecture quasiment chrétienne du personnage de Socrate: le texte de Diderot semble avoir ici des colorations humanistes et retrouver les principes essentiels de la morale dans l'Antiquité païenne. Or le texte original interdit une telle lecture. Le thème de la dangereuse vérité révélée par Socrate ne doit pas conduire à penser une unité des défenseurs

²⁷ Article «Sarrasins ou Arabes». Voir également D. Diderot, *Réfutation d'Helvétius*.

²⁸ The Censoring of Diderot's *Encyclopédie*... P. 83–84.

de la vérité contre les partisans de l'obscurantisme et à rassembler quasiment Socrate et saint Augustin dans le même combat, mais au contraire à voir comment la philosophie a pu constamment être attaquée par la religion. Loin d'être présenté comme un précurseur du christianisme, Socrate est peint comme un allié de Diderot, comme un membre de la même «ligue philosophique»²⁹: nous sommes dans la thématique de l'allégorie de la caverne, et la religion apparaît comme un des facteurs qui enferment l'homme dans cette caverne. Dans le texte original, juste après avoir écrit «il eut le courage de révéler cette dangereuse vérité à ses disciples», Diderot ajoutait:

L'ignominie qui est retombée sur ceux qui l'ont condamné, doit encourager tout philosophe à dire hardiment la vérité, rendre les gens du monde qui prononcent si légèrement sur leur conduite, et qui blâment en nous ce qu'ils admirent en Socrate, plus conséquents et plus circonspects, et effrayer ceux que la providence a chargés de l'exécution des lois et du soin de la tranquillité publique, par la pensée que les systèmes, qui sont aujourd'hui si vénérables, si merveilleux à leurs yeux, ne deviendront dans les siècles à venir, au jugement de ceux qui en examineront l'absurdité de sang-froid, qu'une mythologie très ridicule et très méprisable.

On voit à quel point la coupe du paragraphe produit des effets pervers: alors que le texte donné par Le Breton laisse entrevoir une unité de la vérité qui doit seulement lutter contre des préjugés, Diderot fait apparaître un conflit entre une vérité et un système théologico-politique. La religion cesse d'être dans le camp de la vérité pour apparaître comme un facteur de pouvoir et d'oppression. Et il n'est plus possible de faire du texte une lecture quasiment humaniste: bien loin de travailler sur une unité fondamentale de la vérité, on est conduit à poser le problème de conflits entre instances; bien loin de voir dans les Lumières le simple moyen de répandre la vérité, on est conduit à se demander contre quelles forces de l'ombre elles doivent lutter. Le lecteur ici n'a plus les moyens de deviner ce qui manque; les modifications altèrent son interprétation.

La conception même de la vérité défendue par Diderot est ainsi déformée par Le Breton, ce qu'on peut voir en particulier en examinant les coupes effectuées à l'article «Pyrrhoniennes»³⁰. Diderot analyse les lectures chrétiennes qu'on a pu faire du scepticisme en se demandant s'il conduit au fidéisme. Travaillant sur les positions philosophiques de Pierre-Daniel Huet, il souligne que son scepticisme est dû à l'excès de ses connaissances:

Il inclina de bonne heure au scepticisme, prenant la force de son esprit qu'il trouvait souvent au-dessous des difficultés des questions, pour la mesure de l'étendue de l'esprit humain; ce en quoi il y avait bien peu d'hommes à qui il faisait injustice, il en concluait au dedans de lui-même, que nous ne sommes pas destinés à connaître la vérité. De jour en jour ce préjugé secret se fortifiait en lui, et il ne connut peut-être qu'il était sceptique, qu'au moment où il écrivit son

²⁹ Diderot D. *Pensées sur l'interprétation de la nature*. [S. 1.], 1754. § 1.

³⁰ The Censoring of Diderot's *Encyclopédie*... P. 74–78.

ouvrage de la faiblesse de l'entendement humain. On arrive au Pyrrhonisme par deux voies tout à fait opposées, ou parce qu'on ne sait pas assez, ou parce qu'on sait trop. Huet suivit la dernière, et ce n'est pas la plus commune.

Suit le paragraphe suivant, entièrement retranché par Le Breton:

Depuis Huet, les théologiens paraissent avoir tous conspiré pour décrier l'usage de la raison. Quoi donc, ignorent-ils combien la plupart des questions qui tiennent à l'existence de Dieu, à l'immortalité de l'âme, à la nécessité d'un culte, à la vérité de la religion chrétienne sont difficiles? Veulent-ils que notre croyance soit aveugle, ou veulent-ils qu'elle soit éclairée? Si c'est le premier, qu'ils l'avouent de bonne foi! Si c'est le second, qu'ils cherchent donc à nous rassurer par tous les moyens possibles sur l'imbécillité de nos lumières! De la manière dont ils s'y prennent, ils feront plus de sceptiques que de chrétiens. N'est-ce pas un paradoxe bien étonnant, que ce soient les mêmes hommes qui ont à nous instruire sur les questions les plus profondes et les plus épineuses, par qui la faiblesse de notre raison nous soit prêchée? S'ils réussissent une fois à nous démontrer que l'instrument que la nature nous a donné n'a nulle proportion avec le poids que nous avons à mouvoir, quelle est la conclusion que nous en tirerons, sinon que le plus court est de demeurer en repos, et de s'en remettre à la bonté de Dieu, s'il existe, qui ne nous punira pas sans doute d'avoir ignoré ce qu'au jugement même de ses ministres, il nous était impossible de connaître? Quelle folie, que de prétendre élever l'autorité de la tradition contre celle de la raison, comme s'il ne fallait pas soumettre l'authenticité de l'une à l'examen de l'autre? Et qu'est-ce qui m'assurera que je ne me suis point trompé dans cet examen, si l'on m'ôte la confiance dans la lumière naturelle?

Ce texte empêche radicalement toute lecture fidéiste de la religion. Les catholiques qui se fondent sur le scepticisme n'ont aucun moyen de répondre aux protestants. En supprimant le paragraphe, Le Breton ne se contente pas d'ôter un argument, il modifie toute l'économie de la fin de l'article: les passages suivants qui portent sur Montaigne et Bayle peuvent alors donner à l'ensemble de l'article une coloration d'histoire de la philosophie, se contentant de peindre les principaux représentants du scepticisme. Là encore les enjeux religieux sont gommés, Le Breton supprimant toute l'analyse des enjeux du pyrrhonisme de Pierre Bayle.

Diderot commence par montrer que le fidéisme invoqué régulièrement par Bayle dans le *Dictionnaire historique et critique* n'est qu'un masque protecteur:

Pour pallier son pyrrhonisme, lorsqu'il l'établissait, c'était toujours sous prétexte de ramener la révélation qu'il savait bien saper, quand l'occasion s'en présentait. Il faisait alternativement l'apologie de la raison contre l'autorité, et de l'autorité contre la raison, bien sûr que les hommes ne se départiraient pas de leur apanage et de leur liberté, en faveur d'un joug, qui les importunait et qu'ils ne demandaient pas mieux que de secouer.

À quoi s'ajoute un long passage, également supprimé par Le Breton, sur les droits de la conscience errante: le pyrrhonisme, loin de conduire au fidéisme, mène ici à une stricte tolérance théologique:

Voulez-vous savoir le jugement que vous avez de porter de lui? Considérez qu'il n'y a eu, qu'il n'y a, et qu'il n'y aura jamais qu'une espèce de gens qui en aient dit, qui en disent, et qui en diront du mal; et concluez de là que ce n'est point la vérité, mais quelque intérêt particulier qui les fait parler. Il n'y a qu'un de ces trois partis à prendre dans ce monde ici, ou écrire selon sa pensée, ou écrire contre sa pensée, ou se taire. Le dernier est, sans contredit, le plus sûr et le moins honnête. Bayle écrivait contre quelques démonstrations de l'existence de Dieu, lorsqu'il mourut. Quelques personnes en ont mal auguré pour son salut. Elles n'ont pas considéré que ce n'est ni la vérité, ni la fausseté qui nous rend innocents ou coupables aux yeux de l'Être souverainement juste et bon, mais la sincérité avec nous-mêmes.

Il ne nous récompensera pas pour avoir été gens d'esprit, ni ne nous punira pour avoir été sots. On se conduit comme on veut, mais on raisonne comme on peut. Nous sommes libres de faire le bien et d'éviter le mal, mais nous ne sommes pas libres de connaître la vérité et d'échapper à l'erreur. C'est un malheur peut-être que de se tromper, mais ce n'est pas un crime. Ce sont nos mauvaises actions qui nous damnent, et ce ne sont pas nos découvertes qui nous sauvent. J'ai meilleure opinion du salut de celui qui prêche le mensonge qu'il croit au fond de son cœur, que du salut de celui qui annonce l'évangile qu'il ne croit pas. L'un peut être un homme de bien; l'autre est évidemment un méchant. Quant aux troubles que certaines opinions peuvent exciter dans la société dont on est membre, on n'en peut rien conclure contre Bayle qui écrivait dans un pays où l'on tolère la liberté de la presse; d'ailleurs si toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, ce ne peut être que par une suite de mauvaise législation, par une liaison malentendue du système politique avec le système religieux. Partout où la puissance civile appuiera la religion, ou cherchera en elle son appui, il faudra que les progrès de la raison soient retardés, qu'il y ait des persécutions inutiles, parce qu'on ne contraint jamais efficacement les esprits, et que la tolérance soit nulle ou limitée: deux suppositions presque également fâcheuses. La tolérance veut être générale; c'est de la généralité seule que naissent ces deux principaux avantages, la lumière et le repos. Une vérité, quelle qu'elle soit, nuisible pour le moment, est nécessairement utile dans l'avenir. Un mensonge, quel qu'il soit, avantageux peut-être pour le moment, nuit nécessairement avec le temps. Penser autrement, c'est ne pas connaître le vrai caractère ni de l'un ni de l'autre. Or, disaient les Perses, et disent avec eux les Sceptiques, le doute est le premier pas vers la science ou la vérité; celui qui ne discute rien, ne s'assure de rien; celui qui ne doute de rien, ne découvre rien; celui qui ne découvre rien, est aveugle et reste aveugle. Ce sont l'ignorance et le mensonge qui causent le trouble parmi les hommes; l'ignorance qui confond tout, qui s'oppose à tout, qui ne fait ni rejeter ni choisir; le mensonge qui n'est jamais assez solidement établi dans tous les esprits pour n'être pas soupçonné, alarmé, combattu: l'homme ne se repose que dans la vérité. Pourquoi les questions de la métaphysique ont-elles divisé les hommes dans tous les temps? C'est qu'elles sont obscures et mensongères. Pourquoi les principes de la morale naturelle, loin d'exciter entre eux des dissensions les ont-ils toujours rapprochés? C'est qu'ils sont clairs, évidents, et vrais. Si j'avais la démonstration de quelque grande vérité, mais une démonstration telle qu'aucun homme de bonne foi ne pût s'y refuser, je la publierais sur-le-champ, quelque inconvénient qu'il y eût pour le moment et le lieu où j'existe, persuadé qu'il n'y a aucun bien dans ce monde sans inconvénient, que la vérité est le plus grand bien de l'homme, et qu'il en recueille tôt ou tard les fruits les plus doux.

Ceux qui critiquent Bayle sont des gens de mauvaise foi, en tous les sens du terme: des gens qui ne comprennent pas les principes de la foi, des gens qui ne veulent pas voir ce qui les dérange. La censure de Le Breton n'évite pas seulement toute publicité à des thèses qui pourraient sembler scandaleuses, elle fait perdre les enjeux fondamentaux du pyrrhonisme en retirant au texte toute dimension théologico-politique.

L'indignation de Diderot devant les censures de Le Breton peut parfaitement se comprendre: elles ne se contentent pas d'adoucir le texte, et il ne suffit pas d'infléchir certains curseurs pour en repenser le sens original. Elles font un travail beaucoup plus pervers en modifiant son équilibre, en empêchant certaines lectures qui interpréteraient en articulant des arguments. Tout se passe comme si Le Breton se donnait les moyens de défaire en partie le système des renvois établi par Diderot: c'est la circulation du lecteur à travers le texte qui est empêchée.

Des jeux de résonance ne se font plus entendre, surtout une première interprétation se présente de façon si claire, que toute autre lecture peut sembler relever de la surinterprétation.

Si les combats des Lumières ont dû souvent recourir au clair-obscur, seule méthode possible pour Diderot, il reste que le clair-obscur peut sombrer dans l'obscurité et devenir impossible à interpréter. Il serait trop simple de minimiser actuellement la question de la censure, en alléguant que malgré tout Diderot est arrivé au bout de son entreprise et a réussi à publier l'ensemble de l'*Encyclopédie*: si certains combats ont pu jouer un rôle stimulant, permettre des formes d'écriture déguisée qui procurent certainement une forme de jubilation, la censure a considérablement entravé la diffusion du texte, et en a surtout fait perdre certaines dimensions fondamentales en modifiant l'économie générale.

Барбара де Негрони

Энциклопедия и цензура

История гигантского издательского предприятия, каким явилась *Энциклопедия*, представляет обширное поле для изучения цензуры. Действительно, этому изданию пришлось столкнуться со всеми видами цензуры, существовавшими в царствование Людовика XV. Поскольку *Энциклопедия* была официальным изданием, с содержанием ее томов регулярно знакомились королевские цензоры из Палаты книгопечатания и книготорговли, которые постоянно требовали вносить исправления. Несмотря на это, в 1752 г. вспыхнул первый скандал, связанный с содержанием двух вышедших ее томов. Контроль был усилен, но в 1759 г. разразился второй скандал, куда более громкий. На сей раз возмущились основные органы политической власти: Королевский совет отозвал привилегию на издание *Энциклопедии*, Парижский парламент осудил содержащиеся в ее томах нечестивые взгляды и приговорил ее к сожжению. Выпуск *Энциклопедии* мог продолжаться лишь нелегально, а издатель Андре-Франсуа Ле Бре-

тон тайно, на стадии последней верстки, прибег к серии изъятий из текстов статей, уже просмотренных и подготовленных к печати Дидро. В настоящем исследовании автор стремится дать представление о той борьбе, которую вело Просвещение, о тех аргументах, с помощью которых оно должно было отстаивать себя, о тех средствах, которые позволяли авторам преодолевать цензурные рогатки, и о тех способах иносказательного выражения мысли, которые помогали им распространять свои идеи без особого риска.

Н.Ю. ПЛАВИНСКАЯ
ПЕРСИДСКИЕ ПИСЬМА
МОНТЕСКЬЕ В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ XVIII ВЕКА:
К ВОПРОСУ О ЦЕНЗУРЕ

Первым русским переводчиком Монтескье, как и первым переводчиком Вольтера¹, вероятно, следует считать князя Антиоха Дмитриевича Кантемира (1709–1744) – поэта и дипломата, занимавшего в 1738–1744 гг. пост полномочного министра России во Франции. По свидетельству его друга и биографа аббата Оттавиано Гуаско², Кантемир, смолоду упражнявшийся в переводах³, в последние годы жизни занимался переложением на русский язык знаменитых *Персидских писем*, принесших Монтескье первую литературную славу и открывших ему двери Французской Академии.

© Н.Ю. Плавинская, 2008

¹ Заборов П.Р. Вольтер и русская литература. XVIII – первая треть XIX века. Л., 1978. С. 7.

² Гуаско написал первую биографию Кантемира, сопроводив ею свой перевод *Сатир* (*Satyres de Monsieur le prince Cantemir, avec l'histoire de sa vie*. Londres: Nourse, 1749; 2-е изд. – 1750). Перевод был выполнен по итальянскому подстрочнику, который по настоянию Гуаско Кантемир сделал незадолго до смерти. В свое время М.П. Алексеев высказывал предположение о причастности Монтескье к появлению на свет этой публикации (см.: Алексеев М.П. Русско-английские литературные связи. XVIII век – первая половина XIX века. М., 1982. С. 110), но его отношение к *Сатирам* было скорее критическим: в письмах к друзьям Монтескье сетовал, что «бедняга» Гуаско «надрывает свою слабую грудь, отдавая все силы своему Кантемиру (<...> Между тем все находят его Кантемира весьма холодным. Впрочем, это уж вина покойного, его сиятельства» (*Correspondance de Montesquieu / Publ. par F. Gébélin avec collab. de A. Morize*. Paris, 1914. Т. 2. Р. 211).

³ Наибольший успех имел его перевод *Разговоров о множестве миров* Б. Фонтенеля, издававшийся трижды – в 1740, 1761 и 1802 гг. О переводах Кантемира см.: Словарь русских писателей XVIII века. СПб., 1999. Вып. 2. К–П. С. 15–21.

Звучавшая со страниц этого эпистолярного романа едкая критика политических порядков и нравов французского общества, вложенная в уста любознательных путешественников-персов Узбека и Рики и одобренная волнующими подробностями жизни восточного серала, пришлась по вкусу европейским читателям. Это обеспечило книге чрезвычайный издательский успех: с момента первой публикации в 1721 г. и до появления в 1758 г. первого собрания сочинений Монтескье (с этих пор *Персидские письма* стали неслучайной составляющей всех его *Œuvres* и *Œuvres complètes*) роман перепечатывался не менее 32 раз. Многочисленные издания наводняли Европу и при жизни Кантемира: помимо 23 различных выпусков на французском языке там циркулировали четыре перепечатки английского перевода и одно издание на голландском языке⁴. Книга была на слуху у образованной публики, поэтому неудивительно, что Кантемир обратил на нее внимание. Немаловажным стимулом, подтолкнувшим Кантемира к переводу романа, стало также личное и довольно близкое знакомство, которое русский посол свел с Монтескье в парижских салонах. Однако было бы явным преувеличением полагать, что факт обращения Кантемира к *Персидским письмам* сам по себе свидетельствовал о его «сочувствии основным идеям Монтескье», и вообще проводить на этом основании какое бы то ни было сближение политических взглядов русского и французского просветителей, как это случалось раньше⁵.

Нам достоверно не известно, завершил ли Кантемир свой перевод⁶ и как сложилась дальнейшая судьба этой рукописи. После смерти князя по распоряжению его наследников – сестры и братьев – большая часть его библиотеки была продана в Париже с торгов⁷. И хотя личные бумаги Кантемира и некоторые книги вернулись из Франции в Россию, материальных следов существования этого перевода, к сожалению, до сих пор обнаружить никому не удалось.

После нереализованной попытки Кантемира в переводах сочинений Монтескье на русский язык наступила долгая пауза, затянувшаяся до конца 1760-х годов. Его историко-философские *Размышления о причи-*

⁴ Œuvres complètes de Montesquieu / Éd. dirigée par J. Ehrard et C. Volpillac-Augier. Oxford; Napoli, 2004. Т. 1. P. 84–131. (Далее: Œuvres complètes. Т. 1).

⁵ В свое время З.И. Гершкович писал, что этот перевод «не следует рассматривать как простое литературное упражнение», и настаивал на том, что обращение Кантемира к *Персидским письмам* свидетельствовало об «общности взглядов и политических устремлений русского и французского мыслителей» (*Гершкович З.И. Идеиные связи русских и французских просветителей в XVIII веке (Кантемир и Монтескье)* // Вестник истории мировой культуры. 1959. № 4. С. 120–129).

⁶ Д.Н. Бантыш-Каменский утверждал: «Перевод Кантемира “Персидских писем” находится в рукописи» (*Бантыш-Каменский Д.Н. Словарь достопамятных людей русской земли. М., 1836. Т. 3. С. 33*). Но видел ли он когда-либо эту рукопись своими глазами? Исследовательница парижского периода биографии Кантемира М. Эрар более осторожно писала о «наброске перевода» (*Ehrhard M. Un ambassadeur de Russie à la cour de Louis XV. Le prince Cantemir à Paris (1738–1744). Paris, 1938. P. 202*).

⁷ *Ehrhard M. Op. cit. P. 224.*

нах величия и падения римлян (1734) появились в русском переводе лишь в 1769 г.⁸ В том же году академическая типография напечатала тоненький сборник под общим названием *Лисимах*⁹, в который вошли три небольших текста Монтескье разных лет: *Лисимах* (1754) – идеализированный портрет Александра Македонского (посвященный бывшему королю Польши Станиславу Лещинскому); *Разговор Силлы с Евкратом* (1745) – политический портрет римского диктатора Суллы; *Опыт о вкусе* (1757) – последняя работа Монтескье, написанная для седьмого тома *Энциклопедии* и опубликованная уже после смерти автора. В 1770 г. русскому читателю была представлена галантная поэма в прозе *Храм Книдидийский*¹⁰ (1724). Наконец, в 1775 г. вышел первый том главного сочинения Монтескье – трактата *О духе законов* (1748), который под пером переводчика В.И. Крамаренкова стал называться *О разуме законов*¹¹.

Все эти издания были выпущены в свет «Собранием, старающимся о переводе иностранных книг». Учрежденное Екатериной II в 1768 г., оно действовало вплоть до 1783 г., но наиболее плодотворными стали первые семь лет его существования – период, когда делами «Собрания» заправлял статс-секретарь императрицы по принятию челобитных Григорий Васильевич Козицкий¹². Все четыре книги переводов Монтескье появились именно в эти годы.

Четыре книги – бесспорное свидетельство повышенного интереса «Собрания» к творчеству Монтескье (для сравнения скажем, что из сочинений Вольтера по плану «Собрания» был переведен лишь *Кандид*¹³). Однако в этом списке имелась очевидная и очень существенная лакуна – в нем отсутствовали *Персидские письма*. И хотя в «Росписи книгам, на-

⁸ [Монтескье Ш.Л.] Размышления о причинах величества римского народа и его упадка с Французского переведенныя переводчиком Алексеем Поленовым. СПб.: при Имп. Акад. наук, 1769.

⁹ Лисимах. Из сочинений г. Монтескиэ [Пер. Семена Башилова]. СПб.: тип. Акад. наук, 1769.

¹⁰ Храм Книдидийский, в 7 песнях, соч. Монтескиеу, оставшийся отрывок брачной песни императору Галлиену. С французского переводил И.С. [Иван Сичкарев]. СПб., 1770.

¹¹ О разуме законов. Сочинение господина Монтескюя. Переведено с Французского Василием Крамаренковым. СПб.: при Имп. Акад. наук, 1775. Т. 1; продолжения издания не последовало: оно было остановлено на первом томе, который был переиздан в 1801 г.

¹² «Собрание, старающееся о переводе иностранных книг» действовало «под крылом» Академии наук, хотя формально от нее не зависело. Первыми его руководителями были: Г.В. Козицкий, много занимавшийся переводами и тесно связанный с миром литераторов; граф Андрей Петрович Шувалов, увлекавшийся стихосложением; граф Владимир Григорьевич Орлов, бывший в ту пору директором Академии наук. Ведущую роль в этом триумвирате играл Козицкий. Вплоть до 1775 г. дела «Собрания» фактически находились исключительно в его ведении: именно он оформлял заказы на переводы, определял размеры гонораров переводчикам и осуществлял их выплаты. Судя по всему, он выбирал и сочинения для перевода.

¹³ Кандид, или Оптимизм, то есть наилучший свет. Переведен с Французского [С. Башиловым]. СПб.: [тип. Акад. наук], 1769.

печатанным, отданным в печать, переведенным и назначенным к переводу», которую директор Академии наук Сергей Герасимович Домашнев (принявший дела «Собрания» после смерти Козицкого) составил весной 1779 г., *Персидские письма* фигурировали как «отданные в перевод»¹⁴, их публикация так и не состоялась. Разумеется, это не было следствием какого-либо запрета. Просто совпало несколько неблагоприятных обстоятельств: Домашнев оказался неуспешным администратором, Кабинет императрицы постоянно задерживал выплаты денег на оплату труда переводчиков, да и академическая типография все хуже справлялась с потоком поступающих в нее рукописей¹⁵.

Как бы там ни было, в 1779 г. в свет вышел лишь перевод небольшого отрывка из *Персидских писем* – нравоучительной истории о троглодитах, которую главный герой повествования Узбек рассказывал своему другу Мирзе в письмах XI–XIV. Опубликованная под заглавием *Повесть о народе несчастном от злодеяния и счастливом от добродетели*, сказка о троглодитах адресовалась детям, да и была она переведена не по тексту романа, а по сборнику *Lectures pour les enfants, ou Choix de petits contes également propres à les amuser et à leur faire aimer la vertu* (Paris, 1775): в эту антологию, составленную, предположительно, французским детским писателем Арно Беркеном, наряду с утопической сказкой Монтескье входили также фрагменты из произведений Вольтера, Э.К. Клейста, С. Геснера, Ж.-Ф. Сен-Ламбера, П. Летурнера и Ф.-Т.-М. Бакюлара д'Арно. Переводчиком сборника *Детское чтение*¹⁶ выступил некий Капитон Бочарников, подписавшийся «подпрапорщиком Преображенского полка»¹⁷. Вскоре история троглодитов была переадресована и взрослому читателю: в 1780 г. ее перепечатал журнал Н.И. Новикова *Утренний свет*¹⁸, а в 1782 г. – недолго просуществовавший журнал П.А. Плавильщикова *Утра*¹⁹.

Полную версию *Персидских писем* русский читатель получил лишь в 1789 г. С момента первого появления романа прошло уже 68 лет. Первый полный перевод принадлежал перу недавнего выпускника Московского университета Федора Тимофеевича Поспелова (1759–1824). Впоследствии Поспелов прославился как переводчик Тацита и даже

¹⁴ РГАДА. Ф. 17. № 34 («О книгах, печатанных в Академии наук и сообщенных Комиссии о переводах»). Л. 15.

¹⁵ См. об этом: Семенников В.П. Собрание старающегося о переводе иностранных книг, учрежденное Екатериной II. 1768–1783: Историко-литературное исследование. СПб., 1913. С. 21.

¹⁶ Детское чтение, или Отборныя небольшия повести, удобныя увеселить детей и наставить их любить добродетель. Переведены с французскаго языка Лейбгвардии Преображенскаго полку подпрапорщиком Капитоном Бачарниковым. СПб., 1779.

¹⁷ О Бочарникове см.: Словарь русских писателей XVIII века. СПб., 1988. Вып. 1. А–И. С. 123.

¹⁸ Утренний свет, ежемесячное издание. М.: тип. Моск. ун-та, 1780. Ч. 8.

¹⁹ Утра, еженедельное издание, или Собрание разнаго рода новейших сочинений и некоторых переводов... СПб.: [тип. Шнора], 1782. Месяц май. Лист 3; Месяц июнь. Лист 2.

был избран в Академию наук. Но в конце 1780-х годов он занимал скромный пост секретаря Государственного заемного банка, а потому посвятил перевод *Персидских писем* своему директору – сенатору Петру Васильевичу Завадовскому. Объясняя это несколько неожиданное посвящение, переводчик писал: «К храму славы, достигаемой единственными и редкими дарованиями, писатель учинившийся законодателем народов проложил себе первую стезю Персидскими письмами. Столь знаменитого мужа сочинение, переведенное мною на российский язык, осмелился я приписать особе, которой дана лестная власть распространять просвещение в обширнейшей империи для сделания прочным благосостояния людей»²⁰. Говоря о «распространении просвещения», Поспелов, вероятно, имел в виду деятельность Завадовского в «Комиссии об установлении народных училищ» и в «Воспитательном обществе благородных девиц».

Вскоре, в 1792 г. в свет вышел еще один русский перевод *Персидских писем*²¹. Его опубликовал Ефим Васильевич Рознотовский (1737–1792) – чиновник, долгое время трудившийся секретарем в Комиссии о коммерции, а затем ставший членом Главной Дворцовой канцелярии. Уйдя в отставку в 1787 г. в чине коллежского советника, он занялся литературными упражнениями и переводами (ему принадлежал, в частности, перевод вольтеровской *Истории о смерти Жана Каласа*, 1788). На титульном листе *Персидских писем*, изданных Рознотовским незадолго до смерти, русский читатель впервые увидел портрет Монтескье. Его выполнил известный петербургский мастер книжной гравюры Иоганн Кристоф Набгольц²². Он представил Монтескье в профиль и облачил его в подобие римской тоги. Вполне вероятно, что это изображение было создано по мотивам знаменитой медали работы Жака-Антуана Дасье.

Оба перевода *Персидских писем* были сделаны по одному из французских изданий, вышедших после 1758 г.: они содержали полный текст романа (161 письмо²³), расположенный в установившемся к тому времени порядке. При этом в обоих переводах отсутствовали *Размышления* Монтескье (*Quelques réflexions sur les Lettres persanes*) – позднее авторское дополнение к роману, сопровождавшее большинство его французских изда-

²⁰ Персидская письма. Из сочинений г. Монтескию. Переведены с Французскаго языка. В Санктпетербурге, 1789 года.

²¹ Письма персидския. Творения г. Монтеские. С французскаго языка перевел кол... сов... Ефим Рознотовский. В Санктпетербурге, иждивением И.К. Шнора, 1792 года.

²² О нем см.: Герчук Ю. Иоганн Набгольц и петербургская книга XVIII века // Наше наследие. 2003. № 65. С. 109–114.

²³ Первое издание романа включало 150 писем. Из второго, выпущенного в том же, 1721 г. тем же издателем (Susanne de Caux) и под тем же вымышленным адресом («Pierre Marteau, à Cologne»), были изъяты 13 ранее опубликованных писем, но добавлены три новых – всего, таким образом, 140 писем. При этом порядок их расположения был изменен. При жизни автора переиздавались оба эти варианта. Встречаются также издания, состоявшие из 151 и 154 писем. Впервые полный вариант текста – 161 письмо – появился в 1758 г. в третьем томе первого издания «Сочинений» Монтескье.

ний начиная с 1754 г. Поспелов по непонятным причинам исключил из своего перевода также предисловие Монтескье («Introduction»), заменив его, как уже было сказано, собственным посвящением Завадовскому, но у Рознотовского авторское предисловие сохранилось.

Можно было бы сказать, что этим сокращения и ограничились. Действительно, в сравнении с трактатом *О духе законов*, который русские переводчики конца XVIII – начала XIX в. покровляли довольно бесцеремонно²⁴, *Персидским письмам* повезло: никаких масштабных купюр в них сделано не было. Тем не менее близкое знакомство с переводами позволяет выявить немало случаев вмешательства в оригинальный текст Монтескье и его целенаправленной корректировки. Следует сразу оговорить: все исправления, о которых пойдет речь ниже, безусловно, носили цензурный характер, однако мы не располагаем доказательствами того, что они были сделаны переводчиками по требованию какого-либо «внешнего» цензора, светского или церковного (хотя совершенно исключить этого, разумеется, нельзя²⁵). Именно поэтому нам кажется более уместным говорить здесь не о цензуре, а о самоцензуре, которую практиковали переводчики. Причины такой самоцензуры могли быть различными: от желания облегчить прохождение перевода в печать до личного несогласия с позицией автора.

Анализ русских переводов трактата *О духе законов* показал, что наибольшее напряжение вызывали у переводчиков рассуждения и мысли Монтескье о России, заключавшие в себе систематическую и часто очень резкую критику современных ему российских порядков, обычаев и нравов. Об этом напряжении весьма красноречиво свидетельствуют и переводы *Персидских писем*. Русская тема прозвучала в романе дважды. Ее рупором по воле автора стал персонаж второго плана – «персидский посланник в Московии» Наргум. Он отправил главному герою повествования Узбеку два письма, датированных 2 декабря (2-й день месяца Шальвала) 1713 г. и 4 мая (2 дня месяца Ребаба) 1715 г. В структуре полного текста романа эти письма стоят соответственно под номерами LI и LXXXI²⁶.

²⁴ См. об этом: Плавинская Н.Ю. Как переводили Монтескье в России // Европейское Просвещение и цивилизация России / Под ред. С.Я. Карпа и С.А. Мезина. М., 2004. С. 283–286.

²⁵ Пример явной цензуры в отношении Монтескье связан с публикацией перевода *Размышлений о причинах величества римского народа и его упадка* (СПб., 1769), выполненного А.Я. Поленовым. Цензором выступил архимандрит (будущий митрополит) Платон (Левшин). Его замечания носили рекомендательный характер и были учтены переводчиком во введении к книге; при этом текст Монтескье исправлениям не подвергался. См.: Плавинская Н.Ю. Указ. соч. С. 281–282.

²⁶ В ранних изданиях эти письма имели иную нумерацию: XLIX и LXXIX или же XXXIX и LXIX. В новом оксфордском *Œuvres complètes de Montesquieu*, которое взяло за основу первое издание *Персидских писем* 1721 г., они стоят под номерами XLIX и LXXIX. Мы используем более привычную нумерацию, принятую в современных публикациях романа. Ее же придерживались Поспелов и Рознотовский.

Наибольшие трудности вызвало у переводчиков письмо LI, содержащее колоритный набросок картины российской действительности начала XVIII столетия, как ее представлял себе Монтескье. Наргум коротко, но очень выразительно описывал своему другу географическое своеобразие Московии, подчеркивая необъятность ее пространств и «ужасный климат». Бегло, но емко он характеризовал общественный уклад петровской России, выделяя такие его черты, как рабское состояние народа, крайнюю приверженность россиян к древним обычаям и их изолированность от других наций. Несколькими штрихами был намечен и портрет «царствующего ныне государя» Петра I – царя-реформатора, борца с невежеством, решившего «все переменить» в своем отечестве, но «страшного» в своей абсолютной власти и насаждавшего преобразования самыми жестокими мерами. Значительную часть послания Наргума занимало вставное письмо москвитянки к своей матери, которое описывало одно из проявлений московитского варварства – любовь русских женщин к побоям.

Собственно говоря, в этой главе *Персидских писем* Монтескье впервые кратко сформулировал свои представления о России, которые впоследствии были развиты на страницах его записных книжек и трактата *О духе законов*. Слово «деспотизм», ставшее позже его ключевым определением российской политической системы, в романе произнесено еще не было, однако все подводило читателя к мысли о том, что в стране, где подданные являются рабами своего государя, царят именно деспотические порядки²⁷.

Резкие оценки, которые Монтескье давал российской действительности петровских времен, разумеется, не могли оставить равнодушными наших переводчиков. Правда, на радикальные меры ни один из них не пошел, хотя при желании письмо LI можно было легко изъять из текста (оно является вставным эпизодом, и от его отсутствия событийная канва романа ничуть не пострадала бы). Тем не менее, решившись сохранить эту главу, оба переводчика прибегли к тонким манипуляциям с ее содержанием. Купюры и искажения, которым Пospelов и Рознотовский подвергли текст письма LI, а также комментарии, которыми они сопроводили его, свидетельствовали о том, что критика России, звучавшая со страниц произведений французских просветителей, воспринималась русскими читателями весьма болезненно.

Впрочем, купюра была сделана всего одна, и она была вызвана не столько неприятием мысли Монтескье, сколько, вероятно, ее полным непониманием. В начале письма LI, характеризуя полновластие Петра I, автор устами Наргума сообщал: «Il est le maître absolu de la vie et des biens

²⁷ Об этом подробнее см.: *Минути Р.* Образ России в творчестве Монтескье // Европейское Просвещение и цивилизация России. С. 31–41.

de ses sujets, qui sont tous esclaves, à la réserve de quatre familles»²⁸. Неудивительно, что заключительные слова этого пассажа поставили обоих переводчиков в тупик: о каких семействах шла речь? почему их статус отличался от статуса остальных подданных? Русскому читателю здесь непременно требовался какой-то комментарий, который разъяснял бы эти слова Монтескье или опровергал их. Однако дать его переводчики не сумели. Видимо, именно поэтому оба изъяли конец данной фразы из текста, причем Поспелов просто поставил точку, а Рознотовский в своем переводе все-таки отметил свою купюру подобием многоточия.

Сегодня мы можем предположить, что источником пассажа, смутившего переводчиков *Персидских писем*, скорее всего, стали записки Фуа де Ла Невиль²⁹ – француза, состоявшего на дипломатической службе у польского короля Яна III Собеского и побывавшего в России в 1689 г. В главе «Нравы и религия московитов» Невиль, в частности, сообщал своим читателям, что в отличие от всех остальных подданных представители трех «иностранных семейств» (у Монтескье – четырех) не являлись «рабами» русского царя. Фамилии этих «иностранцев» Невиль приводил с искажениями – Galischin, Hartemonewitch и Sircache, – но в них можно угадать Голицыных, Матвеевых и Черкасских³⁰.

Слово «esclaves» (рабы), придававшее процитированной выше фразе Монтескье вполне определенную эмоциональную окраску, особенно в его противопоставлении слову «sujets» (подданные), также вызвало у переводчиков некоторые затруднения. В эпоху Просвещения для французов, гордившихся тем, что на их земле давно уже нет рабов³¹, термин «esclave» имел устойчиво негативную коннотацию. Используя его, Монтескье стремился подчеркнуть именно рабское состояние московитов – их полную и безраздельную личную зависимость от государя. Однако для русского уха слово «раб» в XVIII столетии звучало если не нейтрально, то, во всяком случае, гораздо мягче.

После того, как в начале петровского царствования это наименование особым указом было закреплено в качестве единой для всего населения России формы подписи челобитных³², терминологически фикси-

²⁸ Современный перевод: «Он полный властелин над жизнью и имуществом своих подданных, которые все рабы за исключением четырех семейств» (цит. по: *Монтескье Ш.Л. Персидские письма* / Пер. с фр. под ред. Е.А. Гунста. Вступ. ст. С.Д. Артамонова. М., 1956. (Далее: Е.А. Гунст).

²⁹ *La Neuville F. de. Relation curieuse et nouvelle de la Moscovie*. Paris: P. Aubouyn, 1698.

³⁰ *Œuvres complètes*. T. I. P. 264, note 4.

³¹ Антуан-Гаспар Буше д'Аржи, автор статьи «Раб», опубликованной в пятом томе *Энциклопедии* Дидро и Даламбера, не без гордости писал: «В настоящее время во Франции все люди свободны, и как только *раб* въезжает в нее, принимая крещение, он получает свободу; это установлено не законом, но давним обычаем, который приобрел силу закона». Однако в заморских колониях Франции институт рабства существовал вплоть до 1794 г.

³² Именной указ Петра I «О форме прошений подаваемых на высочайшее имя» был подписан 1 марта 1702 г.

ровавшей увеличение дистанции между престолом и подданными, оно приобрело метафорический смысл, отдалившийся от содержания слов «невольник» или «обращенный в собственность», и приблизившийся к содержанию слова «слуга». Трафаретная подпись «нижайший раб» быстро превратилась в общеупотребительный штамп, причем она широко использовалась россиянами не только в официальных бумагах, но и в сугубо частной переписке (этой формулой, к примеру, сын мог подписать письмо к отцу или к матери). Тем не менее в 1786 г. указом «Об отмене употреблений слов и речений в прошениях на Высочайшее имя и в Присутственные места подаваемых челобитен» Екатерина II запретила впредь использовать подпись «раб» и потребовала повсюду заменить ее словом «подданный». Нельзя не согласиться с Е.Н. Марасиновой в том, что к подобному решению императрицу могла подтолкнуть ее приверженность риторике Просвещения и стремление к просветительской стилистике³³.

Указ 1786 г. предписывал использовать новую форму подписи не только в прошениях, подаваемых императрице, но и «во всех прочих бумагах, где до сего слово *раб* включаемо было, вместо онаго употреблять имя: *подданный*»³⁴. Правда по наблюдениям Е.Н. Марасиновой дворянская аристократия оставила эти терминологические нововведения Екатерины без внимания и еще долго продолжала использовать привычный штамп³⁵. Однако оба переводчика *Персидских писем* откликнулись на «веление времени» с готовностью, хотя пошли при этом разными путями. Пospelов, в полном соответствии с требованием указа, произвел подмену слова «раб» словом «подданный». В результате смысл высказывания Монтескье, его эмоциональная окраска существенно изменились. Под пером Пospelова Петр I утратил черты властелина, окруженного бесправными рабами, и его характеристика звучала более нейтрально: «Он самодержавный государь: в его власти состоит жизнь и имение подданных его» (с. 143)³⁶. Рознотовский отважился сохранить в своем переводе буквальное значение слова «*esclave*», написав: «Он полновластный есть Владыка жизни и имения подданных своих, кои все суть раби...» (с. 158). Однако переводчик счел необходимым сопроводить эту фразу комментарием с прямой ссылкой на недавний указ императрицы. Тем самым он смягчал резкость суждения Монтескье и обращал внимание читателя на то, что с петровских времен утекло много времени и взаимоотношения монарха и подданных в просвещенное екатерининское царствование существенно изменились: «Всему уже свету известно, что

³³ Марасинова Е.Н. «Раб», «подданный», «сын отечества» (к проблеме взаимоотношения личности и власти в России XVIII века // *Canadian-American Slavic Studies*. Vol. 38. N 1–2 (spring–summer 2004). P. 92.

³⁴ ПСЗ. Т. 22. № 16329.

³⁵ Марасинова Е.Н. Указ. соч. С. 99.

³⁶ Здесь и далее в скобках даны указания на страницы изданий переводов Пospelова и Рознотовского, описанных в примечаниях 20 и 21.

самыя сии нарицание *раб*, и речение *бью-челом*, кои употреблялись из-стари, по высочайшему соизволению Екатерины II. возведшия Россия на верх славы, отменены. Зри словарь Акад. Рос. и самыя именныя Ея Величества указы февраля 11 и 15. 1786 года» (с. 158).

Корректировку текста переводчики произвели и в завершающей части письма LI, в том фрагменте, где устами перса Наргума автор романа описывал противоречивые свойства натуры Петра I. Как и большинство французских мыслителей XVIII столетия, обращавшихся к петровским реформам, Монтескье видел царя одновременно героем и антигероем³⁷, подчеркивая, что его деятельные устремления, направленные, в частности, на борьбу с невежеством и имевшие целью процветание подвластной ему нации, сочетались с проявлениями крайней жестокости и общей неуравновешенностью: «Il s'attache à faire fleurir les arts, et ne néglige rien pour porter dans l'Europe et l'Asie la gloire de sa nation, oubliée jusqu'ici, et presque uniquement connue d'elle-même. Inquiet et sans cesse agité, il erre dans ses vastes Etats, laissant partout des marques de sa sévérité naturelle. Il les quitte comme s'ils ne pouvaient le contenir, et va chercher dans l'Europe d'autres provinces et de nouveaux royaumes»³⁸. Это упоминание о неуравновешенности и безжалостности царя окрашивало все его деяния в мрачные тона. Неудивительно, что оба переводчика подменили негативные оценки Монтескье своими собственными. В результате у одного «природная жестокость» Петра превратилась в «беспримерное попечение о преобразовании народа», а у другого – в «знаки свойственного ему правосудия». В целом же этот пассаж звучал в русских переводах следующим образом:

Поспелов: «Он [Петр. – *Н.П.*] хочет ввести в свое государство науки, и ничего не упускает, что только может служить к прославлению народа его в Европе и Азии, до ныне забытаго и почти никому не известного кроме самого себя. Будучи озабочен и беспрестанно колеблем, он объезжает обширные свои владения, оставляя повсюду признаки безпримерных своих попечений о преобразовании народа своего. Он их оставляет как бы от невозможности удержать их во власти своей, и ищет в Европе других провинций и новых государств» (с. 146).

Рознотовский: «Желая ввести в царство свое науки, ничего не упускает он такого, что только может служить к прославлению в Европе и Азии народа его, до ныне забвенного и почти единому только себе известного. Неусыпно пекущийся и всегда труждающийся, переезжает он

³⁷ Мезин С.А. Взгляд из Европы: французские авторы XVIII века о Петре I. Саратов, 2003. С. 221.

³⁸ «Он стремится к тому, чтобы процветали искусства, и ничем не пренебрегает, чтобы прославить в Европе и Азии свой народ, до сих пор всеми забытый и известный только у себя на родине. Беспокойный и стремительный, этот монарх разъезжает по своим обширным владениям, всюду проявляя свою природную суровость. Он покидает родную страну, словно она тесна для него, и отправляется в Европу искать новых областей и новых царств». – Е.А. Гунст.

страны обширных своих областей, повсюду оставляя знаки свойственного ему правосудия. Оставляя потом их, как будто б оне не могут его в себе вместить, ищет в Европе других еще областей и новых царств» (с. 161–162).

Весьма любопытен комментарий, которым в переводе Рознотовского сопровождаются содержащиеся в письме LI рассуждения о размерах Российской империи. Устами Наргума Монтескье сообщал, что Москву от границы с Китаем отделяет расстояние в тысячу миль. При этом он, разумеется, не ставил своей целью снабжать читателей романа (художественного вымысла) научно подтвержденными данными. Тем не менее переводчик счел необходимым упрекнуть писателя в неточности и с цифрами в руках принялся опровергать приводимые им сведения: «От Москвы до Кяхты, Российской торговой с китайцами слободы 5589 верст (1315 Франц. миль). От Москвы же к Восточному Океану, до города Нижнекамчатска 10969 верст (2580 Франц. миль). Зри роспись городов и разстояния их в месяцеслове³⁹. Сие, по-видимому, Г. Монтескье было еще неизвестно» (с. 157). Можно предположить, что столь подробный комментарий понадобился Рознотовскому не только для исправления допущенной автором *Персидских писем* ошибки, но и для того, чтобы внушить российскому читателю: Монтескье плохо знает Россию, поэтому все, что он пишет о ней в этой главе, – неточно, приблизительно и не заслуживает большого доверия.

Стоит обратить внимание и на резкий комментарий к беглому замечанию Монтескье о том, что одной из сил, противодействовавших петровским преобразованиям, было православное духовенство. Автор *Персидских писем*, как и многие его современники в Европе, сводил сопротивление, которое вызывали реформы Петра, к анекдотичной в глазах французов «распре о бородах». Однако столкновения царя с духовенством он выделял особо и неслучайно: служители церкви на протяжении всего XVIII столетия воспринимались западными наблюдателями как наиболее невежественная часть русского общества⁴⁰. Именно этот эпитет для характеристики духовенства использовал и Монтескье, написав: «Le clergé et les moines n'ont pas moins combattu en faveur de leur ignorance». Рознотовский перевел эту фразу без особых искажений («Духовенство и монахи сильно также вооружались на него [Петра. – Н.П.] за свое невежество»), однако перевод сопровождается гневная филиппика: «Выше сам автор сказал уже весьма справедливо, что обычаи сии переменились: так что в нынешнем блаженном и вежливейшем Россиян состоя-

³⁹ В ряду *Календарей или месяцесловов*, ежегодно выходивших с 1727 г., в разные годы печатались *Месяцеслов географический*, *Месяцеслов исторический и географический*, *Дорожный календарь*. Вероятно, Рознотовский ссылался на одно из этих изданий.

⁴⁰ Подтверждение этому мы найдем в записках Маржерета, Олеария, Перри, а позже – у Локателли, аббата Шаппа д'Отроша, Вольтера и многих других.

нии, все оно до сего сказанное не иначе, всемерно, всякому просвещенному и благонравному человеку показалось бы [не иначе. – Н.П.] как басенным токмо сплетением, иль паче недостойною лжею» (с. 161).

Теоретически можно предположить, что эта ремарка, опровергавшая негативное суждение Монтескье о православном духовенстве, была вставлена Рознотовским по требованию церковной цензуры. Мы уже говорили, что ее «освидетельствованию» в 1769 г. подвергся поленовский перевод *Размышлений о причинах величества римского народа. Персидские письма*, затрагивавшие вопросы веры и критиковавшие институты церкви, в принципе могли привлечь к себе внимание Синода, ведь роман прославился, в частности, своими смелыми нападками на церковь (католическую) и даже был включен Ватиканом в *Индекс запрещенных книг*⁴¹. Однако оснований утверждать, что это имело место, у нас нет⁴². Во всяком случае ничто не помешало публикации перевода Поспелова, вышедшего всего тремя годами ранее, – ведь в нем замечание Монтескье о невежестве православного духовенства и о его противодействии петровским реформам сохранилось без искажений и не потребовало никакого опровержения. Именно этот факт побуждает нас думать, что процитированный выше комментарий был не требованием цензора, а инициативой переводчика и отражал его раздраженную реакцию⁴³ на критику Монтескье.

Такой персональной реакцией был, видимо, и комментарий к письму LXXXI. В этом послании Наргум рассказывал Узбеку о татарах (пóходя смешивая их с турками) и прославлял их как великих завоевателей, «повелителей вселенной», «основателей и разрушителей империй». Автор *Персидских писем* серьезно интересовался историей татар⁴⁴, однако его отношение к этому «самому своеобразному народу на земле»⁴⁵ было, разумеется, гораздо сложнее, чем те сугубо комплиментарные

⁴¹ Правда *Персидские письма* попали в *Index librorum prohibitorum* не сразу. Они были включены в него лишь в 1762 г., то есть через сорок один год после первой публикации романа и через семь лет после смерти его автора. Зато продержались они в этом списке до конца: среди 4000 книг, занесенных в последнее (32-е) издание «Индекса», вышедшее в 1948 г. и действовавшее до 1966 г., значился и роман Монтескье.

⁴² Об особенностях церковной цензуры в России см. статью О.А. Цапиной в настоящем издании.

⁴³ Л.Б. Светлов выдвинул в свое время гипотезу, поддержанную С.Р. Долговой и В.И. Рабиновичем, согласно которой автором комментариев к переводу Рознотовского был Ф.В. Каржавин. См.: *Светлов Л.Б. Писатель-вольнодумец Ф.В. Каржавин // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка*, т. 23, 1964. Вып. 4. С. 524. *Долгова С.Р. Творческий путь Ф.В. Каржавина*. Л., 1984. С. 114–116; *Рабинович В.И. Вслед Радищеву: Ф.В. Каржавин и его окружение*. М., 1986. С. 95.

⁴⁴ Основными источниками по истории татар для Монтескье были: *Pétis de la Croix F. Histoire du grand Genghizcan, premier empereur des anciens Mogols et Tartares*. Paris: Veuve Jombert, 1710; *Abu'l Ghazi. Histoire généalogique des Tatars*. Leyde: Abraham Kallewier, 1726.

⁴⁵ *Монтескье Ш.Л. О духе законов*. Кн. 18. Гл. 19.

оценки, которые он вложил в уста перса Наргума⁴⁶. В числе завоеваний татар Монтескье назвал и русские земли. Поспелов перевел данный фрагмент абсолютно точно и без комментариев. А вот у Рознотовского это напоминание о давнем татарском иге и возвеличивание недавно поверженного врага (последняя на то время русско-турецкая война закончилась победой России в 1791 г.) вызвало новый всплеск патриотического негодования. Он исправил слова Монтескье «Они покорили Московию» на «поборили некогда области Московския» и поместил в сноске очередное опровержение: «Прилично, кажется, повторить здесь истинную сию, что обстоятельство переменялись. Была, подлинно, *страшная та година, как три целые века держала Росса сон* (...) *Как чуть зрелся блеск его короны.* (...) (Лирич. песнь Россу Г. Державина⁴⁷). Но в последствии гордые оные победители, Татары, усмирены. В каковом же наконец бытии поставлены они днесь победоносною десницею Екатерины II, целому уже свету сие известно» (с. 264–265).

Надо подчеркнуть, именно эти четыре комментария к «московитским» письмам LI и LXXXI резко отличаются по характеру от всех остальных – весьма многочисленных – примечаний, которыми усеяны страницы перевода Рознотовского⁴⁸. Они более развернуты, пронизаны глубоко личной интонацией, и в них сквозит совершенно очевидное желание разоблачить то «заблуждение» на счет России, в котором, по мнению переводчика, пребывает автор и в которое он втягивает читателя. Всего же к коротким авторским примечаниям, которыми Монтескье сопровождал текст *Персидских писем*, Рознотовский добавил 37 дополнительных сносок (типографским способом пометы автора и комментарии переводчика никак не различались). Четыре из них, как уже говорилось, были критическими замечаниями к сюжетам, так или иначе связанным с Россией. Во всех остальных пометах читателю предлагались краткие дополнительные разъяснения к отдельным терминам или выражениям. Они особенно интересны тем, что систематически сопровождались конкретными библиографическими отсылками, иногда сразу двумя. Всего перевод Рознотовского содержал 31 такую отсылку.

Выбор справочников, которые использовал и на которые ссылался Рознотовский, очень интересен. Первое место среди них занимает «Сло-

⁴⁶ Об этом см. подробнее: *Minuti R. Montesquieu, l’Orient barbarico e il popolo «le plus singulier de la terre» // Giornale critico della filosofia italiana. Anno LXX. Fasc. 2 (Maggio–Agosto). 1991. P. 231–259; Idem. Oriente barbarico e storiografia settecentesca. Rappresentazioni della storia dei tartari nella cultura francese del secolo XVIII. Venezia; Marsilio, 1994.*

⁴⁷ Рознотовский не совсем точно процитировал здесь оду Г.Р. Державина «На взятие Измаила».

⁴⁸ Что касается Поспелова, он добавил от себя всего четыре поясняющих сноски – к словам *моллак* (*мулла*), *паша*, *жалюзи* и *адент*, а также вставил в примечание Монтескье к письму CXLIII ошибочную ссылку на «издание 1742 года», существование которого не подтверждается (см. *Œuvres complètes. T. 1. Bibliographie. P. 84–131*).

варь Ришелетов» (или просто «Ришелет»)⁴⁹ – труд знаменитого лексикографа Сезара Пьера Ришле. Переводчик дал десять отсылок на это французское издание, объясняя с его помощью такие термины, как *квиелизм*, *казуисты*, *слезовлагалище*, *парадокс* и проч.⁵⁰ Шесть помет (к словам *зенит*, *надир*, *адент*, *правосудие* и др.) указывали своим источником «Словарь французский», то есть изданный в Петербурге перевод лексикона Французской академии⁵¹. Шесть раз Рознотовский сослался и на *Энциклопедию* Дидро и Даламбера. При этом он дважды использовал изданный «Собранием, старающемся о переводе иностранных книг» анонимный перевод статьи шевалье де Жокура «Париж»⁵², дважды – сборник переведенных С. Башиловым статей из *Энциклопедии*, посвященных Турции⁵³ (ссылки на статьи «Магометизм» и «Гаджи»); еще две отсылки (объяснение названия *Царство Османское* и понятия *парадокс*), видимо, подразумевают французское издание *Энциклопедии*.

Отечественные справочные издания Рознотовский использовал в гораздо меньшей степени, чем иностранные: против 22 отсылок на справочники французского происхождения он дал всего 7 отсылок на русские источники. В комментариях к его переводу обнаруживаются два указания на *Церковный словарь* Петра Алексея⁵⁴, два – на *Словарь Академии Российской*⁵⁵, еще два – на *Риторику* М.В. Ломоносова⁵⁶ и одно – на упомянутый выше *Месяцеслов*.

⁴⁹ Словарь Ришле – «Dictionnaire françois, contenant les mots et les choses, plusieurs nouvelles remarques sur la langue françoise (<...> avec les termes les plus connus des arts et des sciences» – выходил во Франции дважды – в 1680 и 1681 гг., но, возможно, Рознотовский пользовался одним из его более поздних переизданий, напечатанных в 1709 и 1719 гг. под названием «Nouveau dictionnaire françois, contenant généralement tous les mots anciens et modernes et plusieurs remarques sur la langue françoise...»

⁵⁰ Рознотовский попытался придать своим комментариям «научный» характер не только отсылками на справочные издания, но и тем, что, разъясняя наиболее трудные термины, указывал их французский вариант. Например: «сосуд слезный» – «lacrimatoire», «два суконных лоскута на двух лентах» – «scapulaire», «толк» – «distinction», «трех-сотный дом» – «l'hotel des Quinze-Vingts» и т.д.

⁵¹ Полной французской и российской лексикон, с последнего издания лексикона Французской академии на российской язык переведенный Собранием ученых людей. СПб.: при Императорской тип., 1786. Т. 1–2. Этот коллективный перевод был выполнен по изданию: Dictionnaire de l'Académie Française. 4-me éd. Paris, 1762. Т.1–2.

⁵² Париж. Статья из Энциклопедии. СПб.: при Имп. Акад. наук, 1770.

⁵³ Статьи из Энциклопедии принадлежащие к Турции. Перевел Семен Башилов. СПб.: при тип. Акад. наук, 1769.

⁵⁴ Церковный словарь, или Истолкование речений словенских древних, також иноязычных без перевода положенных в священном писании и других церковных книгах, сочиненный Московскаго Архангельскаго собора протоиереем, и Московскою духовной консисторией членом Петром Алексиевым. [М.]: при Имп. Моск. ун-те, [1773].

⁵⁵ Словарь Академии Российской. СПб.: при Имп. Акад. наук, 1789–1794.

⁵⁶ Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится риторика показующая общия правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии, Сочиненная в пользу любящих словесныя науки трудами Михайла Ломоносова Императорской Академии наук и Исторического собрания члена, химии профессора. СПб.: при Имп. Акад. наук, 1748.

Возвращаясь к вопросу о сюжетах, которые вызвали особую настороженность наших переводчиков, отметим также некоторые исправления, которым подверглись рассуждения Монтескье на тему религии. К слову сказать, у Пospelова – сына священника и выпускника духовной семинарии – таких исправлений оказалось меньше, чем у чиновника Рознотовского. Да и у последнего исправления не носили такого систематического характера, как корректировки «московитских» сюжетов. Они встречаются в тех фрагментах романа, где Монтескье касался отдельных догм или положений христианства. В то же время пассажи, содержавшие критику католической церкви или скрытые насмешки в адрес ислама, были донесены до русского читателя вполне адекватно. Переводчиков совершенно не смущали ироничные намеки писателя на то, что законы ислама порой основываются на предрассудках и легендах (басня о свинье в письме XVIII или легенда о рождении Магомета в письме XXXIX). Точно так же их не смущали содержащиеся в письме XXIX насмешки над епископами, едкая критика инквизиции и именование папы «древним идолом», перед которым «благоговееют по привычке» (так у Пospelова – с. 81; у Рознотовского папа назван «древним истуканом» – с. 91). Даже заявления Узбека и Рики о том, что христиане пребывают «во тьме идолопоклонничества» (письмо XXXV; Пospelов – с. 96; у Рознотовского: «во тьме идолослужения» – с. 108), что они менее тверды в своей вере, чем мусульмане (письмо LXXV), или крайне смелые рассуждения о том, что бог мог бы иметь три бока, если бы его придумывали треугольники (письмо LIX), переводчики оставили без вмешательства. Вероятно, эти вольности не казались шокирующими и не требовали опровержений именно потому, что были вложены автором в уста путешественников-персов, то есть людей заведомо чуждых христианским догматам.

Тем не менее мы обнаружили несколько неточностей, которые выглядят не ошибкой переводчика, а сознательным исправлением авторских «вольностей». К примеру, там, где Монтескье писал рукою персиянина «Ежели бог есть {...}, то непременно надлежит ему быть справедливым» (письмо LXXXIII; Пospelов – с. 244), Рознотовский счел благоразумным заменить допущение утверждением – «Бог есть сый [сущий. – Н.П.] {...}: необходимо подобает Ему быть праведну» (с. 268).

В письме XXXV Узбек писал своему двоюродному брату-дервишу о христианах, утверждая, в частности: «Ils ont une sainte credulité pour les miracles, que Dieu opère par le ministère des ses serviteurs». Оба переводчика, следуя православной традиции, назвали «служителей» бога «рабами», но Пospelов все же сохранил содержащуюся в словах Монтескье насмешку над «святой легковерностью к чудесам» (с. 97). Рознотовский же заменил «легковерность» «верованием» (христиане «святое имеют верование к чудесам, коим Бог по ходатайству рабов своих содействует» – с. 109), изменив тем самым смысл фразы.

Наложенный богом на Адама запрет вкушать плоды с древа познания Монтескье в письме LXIX назвал «абсурдным» («précepte absurde»).

Поспелов в своем переводе не побоялся употребить слово «нелепый» (с. 214), но Рознотовский предпочел использовать более нейтральное определение – «непостижимый» (с. 235).

В очень важном для понимания авторской позиции письме XLVI, посвященном проблеме истинности веры, Монтескье устами Узбека порицал людей, ведущих бесконечные споры о вере: «Non seulement ils ne sont pas meilleurs chrétiens, mais même meilleurs citoyens; et c'est ce qui me touche (...)» Поспелов перевел последние слова дословно – «это меня трогает» (с. 121), хотя, наверное, точнее было бы сказать «это меня поражает». А Рознотовский вновь отошел от оригинала, усилив содержащуюся в этой фразе оценку – «сие меня оскорбляет» (с. 134).

Приведенные примеры показывают, что корректировки рассуждений Монтескье на темы религии носили точечный характер, и это, на наш взгляд, лишний раз свидетельствует о том, что мы имеем дело именно с самоцензурой переводчиков, а не с правкой текста по требованию «внешней» цензуры. О том же говорит и полное отсутствие так называемой «нравственной цензуры»: никаких попыток очистить текст Монтескье от фривольных описаний, смелых намеков или двусмысленностей (как это случалось, по наблюдению П.Р. Заборова, с некоторыми переводами вольтеровских сочинений⁵⁷) не обнаружилось, хотя *Персидские письма* с их гаремными страстями и повышенным интересом героев повествования к взаимоотношениям полов, казалось бы, ставили перед переводчиками трудную задачу «соблюдения приличий».

Подводя итоги сказанного, подчеркнем: благодаря усилиям Поспелова и Рознотовского русские читатели в последнее десятилетие XVIII в. смогли познакомиться со знаменитым романом Монтескье, ранее доступным гораздо более узкому кругу россиян – франкоязычной элите. В их переводах роман, который, по мнению некоторых исследователей, открывал собой французское Просвещение⁵⁸, не претерпел никаких существенных сокращений или переделок. Переводчики, и в особенности Рознотовский, приложили немало усилий к тому, чтобы сделать текст *Персидских писем*, проникнутый «восточной спецификой» и насыщенный сложной лексикой, доступным для массового читателя. Комментарии, сопровождавшие перевод Рознотовского, можно даже (с некоторой долей условности) назвать научными, поскольку они содержали серьезный справочный аппарат, довольно неожиданный в художественном произведении. В то же время переводы Поспелова и Рознотовского дают немало примеров самоцензуры, направленной на корректировку авторского текста. Основным полем этой самоцензуры стали

⁵⁷ Например, с переводом *Мнемнона* (1756) или *Задига* (1759). См.: Заборов П.Р. Указ. соч. С. 13–14.

⁵⁸ Лотман Ю.М. Архаисты-просветители // Лотман Ю.М. Русская литература и культура Просвещения. М., 2000. С. 242; Сейте Я. Роман // Мир Просвещения: Исторический словарь / Под ред. В. Ферроне и Д. Роша. М., 2003. С. 305.

размышления Монтескье о России, что свидетельствует о болезненном восприятии просветительской критики российских порядков даже в среде просвещенных россиян, тянувшихся к сочинениям французских «философов». С осторожностью отнеслись переводчики и к рассуждениям Монтескье о религии, внося в них небольшие «интонационные» исправления. Однако специфическая форма романа, в котором смелые размышления автора были вложены в уста путешественников-персов, позволила переводчикам донести идеи Монтескье до русского читателя без больших искажений.

Nadejda Plavinskaia

**Traductions russes et censure:
les *Lettres persanes* de Montesquieu
au XVIIIe siècle**

Les lecteurs russes non francophones n'ont eu accès aux *Lettres persanes* de Montesquieu qu'assez tardivement : les premières traductions réalisées par F. Pospelov et E. Roznotovski n'ont paru qu'en 1789 et 1792. Elles étaient quasi intégrales et ne comportaient pas d'omissions ni de coupures considérables. Roznotovski a même accompagné sa traduction de nombreuses notes explicatives qui facilitaient la compréhension de ce roman à la fois «oriental» et philosophique, et qui renvoyaient le lecteur à différents ouvrages de référence tels que le *Dictionnaire* de Richelet, l'*Encyclopédie* de Diderot et d'Alembert, le *Dictionnaire ecclésiastique* de Alekseev ou la *Rhétorique* de Lomonossov – procédé assez rare dans les éditions de textes littéraires.

Pourtant, les publications russes des *Lettres persanes* comportent des traces d'autocensure pratiquée par les traducteurs. Ainsi, les multiples corrections, modifications et commentaires qu'ils ont introduits dans les deux lettres «moscovites» du roman (LI et LXXXI) témoignent d'un grand malaise à envisager la critique «philosophique» lorsqu'elle s'adresse à la Russie. D'autres preuves de cette même autocensure, quoique moins nombreuses, se retrouvent dans les passages qui renferment les réflexions de Montesquieu sur la religion. Mais on n'y trouve aucune trace de la «censure morale» qui fut, par contre, souvent présente dans les traductions russes des œuvres de Voltaire parues à la même époque.

Г.А. ФАФУРИН

НЕСКОЛЬКО НОВЫХ ШТРИХОВ
К БИОГРАФИИ ПЕТЕРБУРГСКОГО ИЗДАТЕЛЯ
И КНИГОПРОДАВЦА И.Я. ВЕЙТБРЕХТА

Важные перемены, происходившие в середине 1760-х годов в Петербургской академии наук, – создание, вместо академической Канцелярии, Комиссии, в которую вошли многие академики, – благотворно сказались на научной деятельности, способствуя расширению контактов Академии с научными учреждениями других стран. Одновременно перемены происходили и в академической иностранной книжной лавке, где открылась вакансия на должность заведующего. Еще в 1764 г., в связи с тяжелой болезнью и последовавшей за ней смертью бухгалтера Сигизмунда Прейсера, заведовавшего книжной лавкой, директор Канцелярии Академии наук И.К. Тауберт обращался к астроному и почетному члену Петербургской академии наук И.Г. Гейнзиусу, проживавшему в Лейпциге, с просьбой подыскать на эту должность человека «добрых нравов», имеющего опыт в книготорговом деле и знакомого с французским и латинским языками¹.

15 марта 1765 г. Тауберт сообщил Гейнзиусу, что на место фактора в академической книжной лавке он выписал из Германии Иоганна Якоба Вейтбрехта², потомственного книгопродавца, сына Иоганна Якоба Вейтбрехта-старшего, который приходился родным братом покойному профессору физиологии и анатомии в Петербургской академии наук Иосии Вейтбрехту. О Вейтбрехте-старшем известно также, что с 18 ноября 1734 г. он служил приказчиком в книжной лавке у И.Г. Котты

© Г.А. Фафурин, 2008

¹ ПФА РАН. Ф. 1 (Ученая корреспонденция Академии наук). Оп. 3. № 43. Л. 148–148 об.

² Там же. Л. 154 об., 155.

(J.G. Cotta) при Тюбингенском университете³, затем стал владельцем собственной книжной лавки.

В круг обязанностей нового заведующего иностранной книжной лавкой входила переписка с заграничными комиссионерами-книготорговцами, отсылка им академических изданий и получение присланных в адрес Академии книг и журналов. «Он должен был уметь вести бухгалтерский учет, быть наделенным коммерческими способностями, быть образованным человеком, отличаться честностью и надежностью. При всей строгой отчетности при продаже книг всегда оставались возможности для злоупотреблений или просто небрежного отношения к своим обязанностям»⁴. За все это Вейтбрехту полагалось 300 рублей в год жалованья, он обеспечивался казенной квартирой в Апраксином (позднее Строгановском) доме⁵, бесплатными дровами и свечами, а также получал премию в размере 3,3% от выручки за проданные иностранные книги⁶.

Молодой купец, ранее торговавший книгами в Штральзунде, горячо взялся за дело. Он оживил переписку и обмен книгами с заморскими коллегами, отправляя издания Петербургской академии наук К. Филиберу в Копенгаген, А.К. Бриассону в Париж, М.М. Рею в Амстердам, И.Ф. Юниусу в Лейпциг, И. Ольдекопу в Амстердам, С. Лёхтмансу в Лейден, В.Г. Корну в Бреслау, С. Фаррентраппу во Франкфурт-на-Майне, И. Треттнеру в Вену⁷, и многим другим, в свою очередь, получая от них заказанные книги, не только для продажи частным лицам, но и для комплектования казенных библиотек.

ВОЛЬТЕР НА РУССКОЙ ТАМОЖНЕ

Одним из первых документов, свидетельствующих об активной позиции Вейтбрехта по внедрению в российскую книготорговую практику европейских методов торговли, является рапорт от 1 июня 1765 г., обнаруженный нами в Санкт-Петербургском филиале Архива Российской академии наук⁸.

В этом рапорте, направленном в академическую Комиссию, Вейтбрехт пишет о задержании в Петербургской таможене посылки из Лейп-

³ *Amburger E.* Deutsche in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Russlands: Die Familie Amburger in St.-Petersburg. 1770–1920 // Veröffentlichungen des Osteuropa – Institut München. Reihe Geschichte. Wiesbaden, 1986. Bd. 54. S. 213.

⁴ *Зайцева А.А.* Книготорговцы-немцы в Санкт-Петербурге во второй половине XVIII века // Немцы в России: Люди и судьбы. СПб., 1998. С. 158.

⁵ *Никитенко Г.Ю., Соболев В.Д.* Василеостровский район: Энциклопедия улиц. СПб., 1999. С. 320.

⁶ ПФА РАН. Ф. 3. Оп. 1. № 306. Л. 117; № 310. Л. 163.

⁷ Там же. Оп. 6. № 119. Л. 1–6 об.

⁸ Там же. Оп. 1. № 290. Л. 403, 404.

цига, присланной через Любек для академической книжной лавки. Сохранившиеся в посылке книги были досмотрены в таможне, в результате чего одна из них, обозначенная в документе как «История о войне», была конфискована. Вейтбрехт писал по-немецки, приводя заглавия книг, естественно, на языке оригинала, но в архиве сохранился лишь перевод с немецкого подлинника (включая названия книг), так что предстояло определить язык конфискованного издания.

Поскольку недоразумение на таможне, помимо всего прочего, коснулось и книги Вольтера о Петре Великом (о чем также говорится в рапорте), то резонно было бы предположить, что и другая, названная «История о войне», принадлежит ему же, тем более что наличие в посылках нескольких сочинений одного автора было делом обычным. Книга была задержана на том основании, жалуется книгопродавец, «что в оной прописано о предприятиях российской императорской армии на территории противника»⁹. Очевидно, что речь здесь идет о книге Вольтера *Histoire de la guerre de mil sept cent quarante et un* (Amsterdam, 1755)¹⁰.

При ознакомлении с текстом книги становится понятным, что ее опала последовала из-за описания действий русских войск под командованием генерала П.П. Ласси и фельдмаршала Б. Миниха на территории Польши в 1733–1734 гг. Войска были направлены для поддержки притязаний Августа III на польский престол. Франция хотела видеть на польском престоле Станислава Лещинского, который укрылся в Данциге в надежде получить поддержку французского флота. Однако Данциг был осажден, действия французского экспедиционного корпуса нейтрализованы, в результате чего несостоявшийся польский король вынужден был бежать¹¹. Понятно, что Вольтер не мог скрыть своего раздражения при описании этих событий¹².

Видимо, в середине 1760-х годов о событиях тридцатилетней давности предпочитали не вспоминать, в частности, о том, что польский король Август III обязан своим тронном русским штыкам, а при осаде Данцига полегло более восьми тысяч солдат. Кроме того, теперь, когда Екатерина II находилась с Вольтером в переписке, некоторые прежние высказывания французского просветителя о России и русских не следо-

⁹ Там же. Л. 403.

¹⁰ Библиотека Вольтера. Каталог книг / Отв. ред. М.П. Алексеев, Т.Н. Копреева. М.; Л., 1961. № 3616. С. 921.

¹¹ Подробнее об этих событиях см.: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1993. Кн. 10. Т. 20. С. 336–352.

¹² См., например, такие его высказывания: «Dix mille Russes firent d'abord disparaître tout ce qui était assemblé en faveur de Stanislas. La nation Polonoise, qui un siècle auparavant regardait les Russes avec mépris, était alors intimidée et conduite par eux. L'Empire de Russie était devenu formidable, depuis que Pierre le Grand l'avait formé. Dix mille esclaves russes disciplinés dispersèrent toute la noblesse de Pologne et le roi Stanislas renfermé dans la ville de Dantzick, y fut bientôt assiégé par une armée de Russes de plus de quarante mille hommes. l'Empereur d'Allemagne uni avec la Russie, était sûr du succès» (*Voltaire F.M. de. Histoire de la guerre de mil sept cent quarante et un. À Amsterdam, 1755. P. 39–40*).

вало бы лишний раз вспоминать. Во всяком случае, на российских таможенных, вероятно, существовал список книг, запрещенных к распространению в России, и названия некоторых книг знаменитого корреспондента императрицы там фигурировали. «Весьма сомневаюсь, – пишет в рапорте Вейтбрехт, – имеют ли сии господа приказание конфисковать все книги, касающиеся до российской истории, и желательно бы было, чтоб сей осмотр был поручен такому человеку, которой бы мог рассуждать о следуемых до конфискации книгах, а особливо, что кроме оной книги удержана еще «История Петра Великого» Вольтера, но наконец возвращена с такою оговоркою, что она с русского языка переведена и поэтому запретить оную не должно»¹³.

Запрещение к ввозу книги *История Российской империи при Петре Великом* (несомненно, именно о ней идет речь в рапорте), скорее всего, было вызвано недоразумением. Ведь в отличие, скажем, от *Истории Карла XII*¹⁴, где Вольтер допускал достаточно резкие высказывания о Петре I и русских вообще, она пронизана явной симпатией автора к преобразованиям в России и ее главному реформатору. Кроме того, книга к тому времени была широко известна в высших кругах Российской империи. Экземпляры первого тома были посланы автором послу России в Гааге А.Г. Головкину, русскому послу в Вене графу Г.К. Кейзерлингу¹⁵, И.И. Шувалову¹⁶ и др. В конце сентября 1760 г. Вольтер извещал последнего, что он через А.Г. Головкина передал для него несколько экземпляров *Истории* и просил один преподнести императрице Елизавете Петровне. Официальное разрешение на продажу книги было получено Вольтером не ранее 23 сентября 1760 г.¹⁷ Краткое изложение содержания первого тома и выдержки из него были вскоре помещены в московском журнале¹⁸. Второй том вышел в свет в

¹³ ПФА РАН. Ф. 3. Оп. 1. №. 290. Л. 403. Как известно, перевод первого тома книги Вольтера *История России при Петре Великом* был сделан Н.Н. Бантыш-Каменским еще в 1761 г. (см.: *Заборов П.Р.* Русская литература и Вольтер: XVIII – первая треть XIX века. Л., 1978. С. 67–68), однако этот перевод не был напечатан, о самом его существовании вряд ли было известно таможенному чиновнику. Скорее всего, имелось в виду, что, поскольку книга о России, то она и написана на материалах, достаточно известных внутри страны, и нет смысла ее запрещать к ввозу на внутренний рынок.

¹⁴ Вейтбрехт, правда, уже в 1779 г. без всяких проволочек приобрел эту книгу для библиотеки екатерининского фаворита И.Н. Корсакова (РГИА. Ф. 468. Оп. 1. №. 3894. Л. 201 об.).

¹⁵ *Voltaire F.M. de. Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand / Éd. critique par M. Mervaud avec la coll. de U. Kölvig, C. Mervaud et A. Brown // Voltaire. The Complete works. Oxford, 1999. T. 46. P. 135. Note 88.*

¹⁶ Best. D 9612.

¹⁷ *Костышин Д.Н.* Из истории издания книги Вольтера о Петре Великом: Письма графа А.Г. Головкина И.И. Шувалову и Вольтеру // *Исторический архив.* 1993. № 4. С. 189.

¹⁸ *Journal des sciences et des arts, particulièrement consacré à l'instruction de la jeunesse russe par mr. Hernandez, ci devant, l'un des auteurs du Journal Etranger. M., [1761]. Vol. 1. N 1. Annonce des livres nouveaux. P. 7–8.*

Женева в 1763 г. В посылке, о которой идет речь, находились, скорее всего, оба тома¹⁹.

Итак, книга *История Российской империи при Петре Великом*, в конце концов, миновала таможенную и поступила в академическую книжную лавку. Но, желая оградить себя от подобных инцидентов впредь, Вейтбрехт пишет в своем рапорте:

(...) в сем случае конфисковывать новые книги не можно, ибо Канцелярии Академии наук небезызвестно, что я от корреспондентов моих должен выписывать все новые книги и в рассуждении выбора оных единственно на них полагаться, потому что, ежели бы сам стал их выбирать, то летнее время провел бы в одних переписках и я принужден был ждать их потом целый год, а как новые книги пересылаются мне наперед без моего точного об их содержании сведения, то бы надлежало вместо конфискации, если в них находится будет нечто предосудительное, запретить мне оные продавать, почему бы я принужден был отсылать их назад. Короче было бы всего, ежели б Академия обязалась не производить в продажу таковых книг, а таможня единственно бы за тем смотрела, чтобы в кипах кроме книг, другого чего привозимо не было. Академия же могла бы запрещенные книги по своему благорассуждению или отдать в библиотеку, не выпуская в публику, или отослать назад. Сие средство кажется мне тем лучше, что так обыкновенно рассматривают книги Академии, по крайней мере, в немецких землях²⁰.

Таможенный чиновник, на которого жалуется Вейтбрехт, – видимо, титулярный советник Райкович, «определенный ныне при Санкт-Петербургском порту к осмотру привозимых иностранных книг»²¹. Сохранившаяся в бумагах Комиссии Академии наук записка комиссара книжной лавки С.В. Зборомирского, направленная, по всей вероятности, академику А.П. Протасову, в ведении которого находились книжная лавка и академическая типография, содержит объяснения по поводу того, почему книжные посылки приходят из Европы с опозданием и подолгу задерживаются на Петербургской таможне. По мнению автора записки, последнее зависит от компетентности таможенного чиновника, а «он [Райкович], сколько известно, не имеет никакого сведения о выходящих в чужих государствах новых книгах». В заключении Зборомирский пишет, что «надлежит сию должность препоручить такому человеку, который бы, сверх знания иностранных языков, в истории литеральной был знающ и имел бы случай читать иностранные ученые и политические газеты и журналы, в которые вносятся рассуждения о новоиздава-

¹⁹ Мы не знаем, правда, какое именно издание, поскольку к 1765 г. их имелось уже несколько: парижское Ш.-Ж. Панкука (1760–1763), лионское М. Брюизе (1761–1763) и женевакское (1759–1763). См.: *Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale. Auteurs. T. 214: Voltaire. Paris, 1978. Vol. 2. Col. 1257. N 3317–3320.* Кроме того, в 1764 г. вышло, по крайней мере, 3 издания в Лейпциге: у Брокгауза, Гледича и Ланкиша.

²⁰ ПФА РАН. Ф. 3. Оп. 1. № 290. Л. 403–404.

²¹ Там же. Л. 370.

емых книгах»²². Вейтбрехт, судя по рапорту в академическую Канцелярию, хлопочет о том же самом.

Жалоба Вейтбрехта не осталась без последствий – книга Вольтера *Histoire de la guerre de mil sept cent quarante et un* была также пропущена через таможеню. В 1768 г., когда Вейтбрехт открыл собственную книжную лавку, ее название встречаем в перечне книг (среди более чем 2500 заглавий), которые книгопродавец по льготной цене отобрал из Академии для своей торговли²³. В академической же лавке эта книга продавалась с 1765 г., и к моменту составления вышеупомянутого отпускового реестра книг для Вейтбрехта (лето 1768 г.) она не была раскуплена; в ведомости указана и ее цена – 60 копеек²⁴. Книга Вольтера *Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand* также продавалась у И. Вейтбрехта, о чем мы можем судить по печатному каталогу²⁵. Кроме того, она фигурирует в каталогах других книгопродавцев – Г. Клостермана²⁶, Ф. Куртене²⁷, Х. Ридигера²⁸, а также в описаниях частных библиотек А.Р. Воронцова, М.М. Щербатова, Г.Ф. Миллера²⁹.

Рапорт Вейтбрехта относится к числу наиболее ранних известных нам случаев ареста книг на Петербургской таможене. Как известно, осенью 1763 г. генерал-прокурор А.И. Глебов объявил академической Канцелярии через И. Тауберта высочайшее повеление, чтобы Академия представила свое мнение о пресечении ввоза в Россию и продажи недозволенных иностранных книг³⁰. Это мнение приказано было подать немедленно³¹.

²² Там же.

²³ Подробнее об этом см.: *Мартынов И.Ф.* Петербургский книготорговец и книгоиздатель XVIII века Иоганн Якоб Вейтбрехт // Книгопечатание и книжные собрания в России до середины XIX в.: Сб. научных трудов. Л., 1979. С. 42.

²⁴ ПФА РАН. Ф. 3. Оп. 6. № 88. Л. 3 об.

²⁵ Catalogue des livres françois qui se trouvent chez J.J. Weitbrecht, libraire de l'Academie des Sciences. St. Petersbourg, 1773. P. 23.

²⁶ Catalogue des livres françois qui se vendent chez Germain Klostermann. Perspective de Newski vis-a-vis la rue Isaac maison ci-devant de Lanskoj. No. 69. St. Petersbourg, 1790. P. 90; Catalogue des livres françois, latins, italiens et anglois qui se vendent chez Germain Klostermann. Perspective de Newski vis-a-vis la rue Isaac maison de mr. Schagffskoy, No. 69. St. Petersbourg, 1794. P. 77, 82.

²⁷ Catalogue methodique des livres en vente chez Courtener, libraire, rue Nykolsky, maison de Schewaltischeff. Moscou, chez F. Courtener, 1797. P. 29.

²⁸ Catalogue des livres françois et italiens en feuilles et reliés, qui se trouvent chez Chretien Rudiger libraire de l'Université Imperiale à Mocqou en ville à la librairie vis-a-vis de Posolskoj Dwor, au Podworie de Woskresenskoe. [M.], 1781. P. 47; Catalogue des livres francois italiens et anglois qui se trouvent en vent chez Christian Rüdiger, fils et Companie dans la librairie dans la librairie de l'Université Imperiale à Mocqou au Podworie de Woskresenskoy rue Illiensky. M., 1798. P. 65.

²⁹ *Voltaire F.M. de.* Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand... P. 345. В 1777 г. этой книгой за успехи в учебе награждались кадеты Сухопутного Шляхетного корпуса; подробнее см.: *Сомов В.А.* Французская «Россика» эпохи Просвещения и русский читатель // Французская книга в России. Л., 1986. С. 191, 244.

³⁰ *Семенников В.* К истории цензуры в Екатерининскую эпоху // Русский библиофил. 1913. № 1. С. 54.

³¹ ПФА РАН. Ф. 3. Оп. 1. № 278. Л. 369–372.

Текст донесения был составлен И. Таубертом и представлен на заседании Канцелярии 17 октября 1763 г. М.В. Ломоносов не согласился подписать этот документ, заявив, что он «в цензуру иностранных книг не вступается и представления о том подписать не может потому паче, что оное повеление единственно зависит от Правительствующего Сената»³².

Таким образом, Вейтбрехт своим рапортом 1765 г. выступает против сложившейся практики прохождения иностранных книг через российскую таможню, при которой отсутствие четких критериев запрета на ввоз в Россию произведений печати вело к произволу некомпетентных чиновников. В свою очередь книгопродавец предлагает перенять опыт немецких таможен. Он ратует за повышение роли Академии наук в цензуре иностранных книг, разделяя тем самым позицию Миллера и Тауберта, одновременно выступая противником взглядов Ломоносова, считавшего, что Академия цензурой иностранных книг заниматься не должна.

Нужно сказать, что на самом деле тюки с книгами пересекали русскую границу относительно просто, лишь бы содержание книг не вступало в конфликт с цензурой, то есть не было враждебно российской императрице и общественным устоям. Тем не менее книгопродавцы все-таки вкладывали свой капитал в заказы запрещенных книг, рискуя при этом, что их товар арестуют на таможне. Видимо, за годы, проведенные в Петербурге, Вейтбрехт научился обходить таможенный контроль. 10 июля 1778 г. в письме в Типографическую компанию Невшателя он требует прислать по 12 экземпляров *Histoire d'Ivan III*³³ и *Histoire de Pierre III*³⁴. Обе книги было небезопасно ввозить в Россию, поскольку речь в них шла о кровавых беспорядках, происходивших в России при Екатерине II, и о том, что она занимает трон незаконно³⁵. Чтобы обойти

³² ПФА РАН. Ф. 3. Оп. 1. № 278. Л. 369; ОР РНБ. Ф. 1105 (Д.Д. Шамрай). № 50: «Цензурная задержка продажи мелких печатных изданий на иностранных языках». Л. 15; см. также: Семенников В.П. Указ. соч. С. 53–56.

³³ *Histoire de la vie, du règne et du detronement d'Ivan VI, empereur de Russie, assassiné à Schlüsselbourg, dans la nuit du 15 au 16 juillet 1764.* A Londres, 1766.

³⁴ *Histoire de Pierre III, Empereur de Russie, avec plusieurs anecdotes singuliers et dignes de curiosité.* A Londres, 1774.

³⁵ О книге, аналогичной по содержанию *Histoire de Pierre III*, сохранился любопытный документ – направленная из Государственной коллегии иностранных дел в Коммерц-коллегию *Промемория о секретном деле*: «Появилась здесь французская печатная книга под титулом: Mémoires pour servir à l'histoire de Pierre III, Empereur de Russie, avec un détail historique des differences de la maison de Holstein avec la Cour de Dannemarc, publié par Mr. D. G***. Francfort et Leipzig, aux depens de la Companie, 1763, с присовокуплением к тому прибавлением: Supplément aux Mémoires. А как оная книга для здешней нации весьма предосудительна, то Ее Императорское Величество соизволило именно указать привоз оной книги в Россию запретить, о чем Коммерц-коллегии сообщается для того, дабы в здешней портовой таможне прилежно наблюдаемо было, чтобы такая книга не была из таможни выпущена; но если экземпляры такой книги в привозе будут, то их тотчас арестовать и, запечатав, прислать в Коллегию иностранных дел. А в Ригу, Ревель, Нарву и Выборг о том же указы уже отправлены.

Граф Михаил Воронцов

Князь Александр Голицын

24 июля 1763» (Архив Воронцовых. М., 1875. Кн. 7. С. 605).

таможенный надзор в Петербурге, Вейтбрехт просил издателей прятать такого рода книги внутри других, например, под видом второго тома. Поскольку заказ все-таки был необычный, в Петербург отправили всего 10 переплетенных экземпляров «Ивана III», смешав их листы с листами других, совершенно безобидных, книг, в частности с *La musique et la danse* и *Traité de la nature des cheveux*³⁶. Благодаря стараниям Вейтбрехта в Петербурге появлялись и порнографические романы. 12 июля 1787 г. он заказывает два экземпляра *Thérèse Philisophe*³⁷ и просит у Типографической компании «новинок последней свежести», «особенно в жанре свободном и веселом, с фривольными иллюстрациями»³⁸. Впоследствии он заказал все известные вещи в этом жанре, предложенные ему из Невшателя, такие, как *Parapilla ou le vit déifié*, *Putain errante*, *Vénus dans le cloître* и *Fille de joie*³⁹.

ЭПИЗОД С «МЕДНЫМ ВСАДНИКОМ» И АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЦЕНЗУРА

В августе 1776 г. Вейтбрехт получил разрешение открыть «вольную» типографию, которая разместилась рядом с его книжной лавкой, в доме купца Попова близ Синего моста. Пригласив компаньоном Иоганна Шнора, он вскоре начинает издавать первый в Петербурге немецкий

³⁶ Schlup M. La diffusione del libro francese in Russia vista da Neuchâtel (1775–1788) / A cura di M.G. Tavoni e F. Waquet // Gli spazi del libro nell'Europa del XVIII secolo: Atti del Convegno di Ravenna (15–16 dicembre 1995). Bologna, 1997. P. 44.

³⁷ *Thérèse Philosophe, ou Mémoire pour servir à l'histoire de D. Dirrag et de Mademoiselle Éradice. Publié avec quinze figures libres en un volume et deux parties à la Haye, s. d. Une «nouvelle édition, augmentée d'un plus grand nombre de figures que toutes les précédents» est datée de Londres, 1785.*

³⁸ Schlup M. Op. cit. P. 42

³⁹ Открыто интересоваться такого рода литературой среди уважаемых клиентов книгопродавца было не принято, ее наличие в библиотеках и книжных лавках считалось предосудительным. Известны случаи, когда подобные книги служили средством шантажа и сведения счетов. Например, новый директор Академии наук Е.Р. Дашкова, с целью опорочить предшествующее директорство С.Г. Домашнева, обвиняла последнего в хранении у себя в квартире *Bijoux indiscrets* Д. Дидро и *La Pucelle d'Orléans* Вольтера, которые возмущенная княгиня демонстративно сожгла в своем камине (см. записку Домашнева «О поступках Ее Сиятельства княгини Екатерины Романовны Дашковой, Академии наук директора, против предместника ее в дирекции Академии наук, действительного камергера Домашнева, Ее Императорскому величеству представленная», опубл.: Смагина Г.И. Сподвижница великой Екатерины: Очерки о жизни и деятельности директора Петербургской Академии наук. СПб., 2006. Прил. VII. С. 334, 340). Книги Домашнев приобретал в основном через Вейтбрехта.

периодический журнал для широкой публики – *St. Petersburgisches Journal* (1776–1780)⁴⁰.

Журнал выходил ежемесячно и предназначался для людей образованных, состоятельных, близких ко двору. На него подписывались многие литераторы, ученые, высшие сановники. Среди них: Г.Р. Державин, Г.Л. Брайко, академики Г.Ф. Миллер, П.С. Паллас, профессора Петербургской академии наук И.Г. Георги, И.А. Гильденштедт, В.Л. Крафт, В.Е. Адодуров, профессор Московского университета И.М. Шаден и многие другие. Журнал получали новгородский, псковский и тверской наместник Я.Е. Сиверс, фельдмаршал граф П.А. Румянцев-Задунайский, вице-канцлер Ф.А. Остерман, почт-директор И.И. Пестель, чиновники Коллегии иностранных дел И. Вейдемейер, И.Г. Штриттер, секретарь графа Н.И. Панина М.М. Алопеус, лютеранские пасторы И.Х. Грот, Ф.Л. Трефурт, М.Л. Вольф, историк и филолог епископ Могилевский С. Сестренцевич-Богуш, литератор и педагог И.Г. Вилламов, писатель и библиограф Л.И. Бакмейстер, библиотекарь Академической библиотеки И.Г. Бакмейстер, доктора медицины барон Е.Ф. Аш, А.Г. Бахерахт, И.З. Кельхен, географ А.Ф. Бюшинг, математики Л. Эйлер и Н.И. Фусс, библиотекарь великого князя Павла Петровича Ф.Г. Лафермьер, директор Казанской гимназии Ю.И. Каниц, прусский посланник фон Сольмс, кабинет-секретарь императрицы П.И. Пастухов, английский купец П. Томсон, театральный антрепренер М.Г. Медокс и многие другие. Читателями журнала были также члены масонской ложи «Урания», воспитатель великокняжеских детей Цезарь Лагарп и «моравские братья», колония которых находилась в Сарепте. Кроме Петербурга, журнал продавался в Москве, Риге, Ревеле, Нарве, Выборге, а также в Варшаве, Вене, Берлине, Геттингене, Штральзунде и Цюрихе. На него оформляли подписку книгопродавцы Герольд из Гамбурга, Кауфманн из Цюриха, Грель в Варшаве, Хинц в Митаве, Хаманн в Кенигсберге. Журнал имел явные признаки официального издания. Здесь публиковались важнейшие правительственные распоряжения и указы Сената, краткие отчеты о приемах при дворе, описания торжественных актов и речи членов Академии наук (С.Г. Домашнева, П.-С. Палласа, С.Я. Румовского и др.); впервые печатался труд И.Г. Бакмейстера по истории Академической библиотеки и Кунсткамеры⁴¹.

На страницах журнала нередко перепечатывались материалы из иностранных периодических изданий, представлявшие интерес для ши-

⁴⁰ Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII веке. 1701–1800. Т. 4: Периодика. СПб., 2004. Вып. 1. С. 524–559. № 231; см. также: Данилевский Р.Ю. Немецкие журналы Петербурга в 1770–1810 гг.: Характеристика литературных позиций // Русские источники для истории зарубежных литератур / Под ред. М.П. Алексева. Л., 1980. С. 62–105.

⁴¹ *St. Petersburgisches Journal*. 1777. Bd. 3. Januar, S. 12–28.

роких слоев образованной публики. При этом издатель обязан был предварительно показывать их Я. Штелину, который с 1773 г. выполнял обязанности цензора для книг, издающихся в Академии наук на иностранных языках⁴². Несмотря на то, что *St. Petersburgisches Journal* печатался не в академической, а в частной типографии, на него также распространялось правило, согласно которому перепечатаваемые из иностранной прессы материалы должны были предварительно просматриваться академическим цензором⁴³. Иллюстрацией к сказанному может служить записка И. Вейтбрехта к Я. Штелину, хранящаяся в Отделе рукописей РНБ:

Я умоляю Ваше Превосходительство соблагovolить просмотреть приложенную статью и дать о ней свое заключение. + Записка в защиту г-на Помеля от клеветы г-на Фальконе, содержащейся в письме от 30 октября, адресованном князю Голицыну, посланнику в Гааге, напечатано в газете *De deux Ponts*, № 87 за 1775 г.⁴⁴

Хотя названной в качестве приложения к записке статьи в фонде не сохранилось, понятно, что речь идет о публикации в связи со скандалом, разыгравшимся между создателем памятника Петру Первому Э. Фальконе и литейщиком Помелем.

25 августа 1775 г. при отливке статуи часть меди вылилась через трещины, которые образовались в глиняной форме из-за слишком высокой температуры обжига. В мастерской началась паника, возник пожар, который уничтожил верхнюю часть модели, а ее нижнюю часть удалось спасти лишь благодаря самоотверженности и мужеству артиллерийского литейщика Емельяна Хайлова, который принимал участие в отливке. Фальконе с криком «Все кончено!» выбежал из помещения, а Хайлов с подмастерьями собрал растекшуюся медь в форму⁴⁵. В письме к

⁴² ОР РНБ. Ф. 1105 (Д.Д. Шамрай). № 39. Л. 238, 239; «С 1773 мая 5 Штелину взять на себя надзор за печатанием книг на иностранных языках» (ПФА РАН. Ф. 3. Оп. 1. № 544. Ст. 363); «Прочие книги, печатающиеся при Академии, рассматривать по цензурской должности академику Котельникову» (Там же. № 548. Ст. 693).

⁴³ «В одной типографии печатать им на собственном своем или на чужом иждивении книги и прочие сочинения на российском и чужестранных языках, однако ж такие, кои непредосудительны православной греко-восточной церкви, ни правительству, ниже добронравно, чего ради им Вейтбрехту и Шнору все то, что токмо в их типографию к печатанию от кого принесено, или самими ими из чужих краев выписано будет, означить в их каталогах продающихся книг, а сверх того, что у них напечатано будет, то означать, что печатано в вольной их типографии». И далее: «А дабы и в печатаемых книгах ничего по вышеписанному первому пункту привилегий предосудительного вкрасться не могло, оное поручить в особое надзирание, в рассуждении духовных книг определенному от Святейшего Синода, а светских, Академии наук (ПСЗ. Т. 20. СПб., 1830. С. 405–406. № 14495).

⁴⁴ ОР РНБ. Ф. 871 (Я. Штелин). № 383. Л. 7.

⁴⁵ См.: *Бакмейстер И.* Историческое известие о изваянном конном изображении Петра Великого. СПб.: в тип. у Шнора, 1786. С. 79–80.

своему приятелю, русскому послу в Гааге Д.А. Голицыну, Фальконе писал, что поскольку не мог следить сам за всеми операциями, то не мог и предотвратить несчастный случай, который даже не произошел бы, если бы не «недостойное поведение некоего Помеля, теперь уже уволенного»⁴⁶. Суть «недостойного поведения» литейщика Помеля проясняет И.Г. Бакмейстер:

Фальконет однажды во время раскаливания стены, осматривая ночью работу, нашел подмастерью Помеля заснувшего, и утверждал, что огонь спереди формы был столько силен, что если бы не употребил он особого старания, она бы сгорела⁴⁷.

Помель же, вернувшись в Париж, утверждал, что не мог ни на что серьезно влиять, поскольку Фальконе, ничего не понимая в литейном деле, все решал сам и не слушал советов специалистов. Конфликт широко освещался французской прессой. Кроме упомянутой *La Gazette de deux Ponts*, в этом активно участвовал *Journal Encyclopédique*, помещая противоречивые письма участников конфликта с пространными редакционными комментариями⁴⁸.

Вейтбрехт следил за иностранными публикациями, которые могли представлять интерес для российского читателя, а тем более, когда они касались происходящего в России. Благодаря обширным деловым связям с европейскими издателями и книгопродавцами, он получал информацию из первых рук. Сюжет о распрях между Фальконе и Помелем в его журнале, однако, напечатан не был. Записка Вейтбрехта к Штелину ожидаемого действия не возымела, осев в архиве с пометой: «Возвращено без подписи цензора, который не подписывает такого рода вещи, содержащие разноречивые личные споры»⁴⁹.

ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ «СВОДА ЗАКОНОВ»

Указ от 22 августа 1776 г. об открытии «вольной» типографии позволял Вейтбрехту печатать книги как на иностранных, так и на русском языках⁵⁰. Важной статьей дохода типографии являлось то, что она печатала

⁴⁶ «Ne pouvant seul vaquer à toutes ces opérations, cet accident même ne serait pas arrivé, sans la mauvaise conduite d'un nommé Pomel, ouvrier actuellement renvoyé» (*Gazette de Deux Ponts*. 1775. N 87. P. 694). Благодарю В.А. Сомова за сообщение текста письма.

⁴⁷ *Бакмейстер И.* Указ. соч. С. 73.

⁴⁸ См.: *Mémoire pour le Sr. Pomel, en réponse à une lettre de M. Falconet // Journal encyclopédique*. 1776. Juillet. T. 5. Pt. 1. P. 132 и далее; 1777. Janvier. P. 333–335; Octobre. P. 141; 1779. Decembre. P. 500–509; 1780. Janvier. P. 129–135; Avril. P. 128–140; Juillet. P. 135–140. Благодарю С.Я. Карпа за эти сведения.

⁴⁹ ОР РНБ. Ф. 871 (Я. Штелина) № 383. Л. 7.

⁵⁰ ПСЗ. Т. 20. СПб., 1830. С. 405–406. № 14495.

официальные бумаги по заказам правительственных учреждений (уставы, инструкции и т.п.), а также принимала заказы от частных лиц. На средства Н.И. Новикова и К.-В. Миллера здесь печатался первый в России библиографический еженедельник *Санкт-Петербургские ученые ведомости на 1777 год*, дамский журнал *Модное ежемесячное издание* (1779). Сами типографы Вейтбрехт и Шнор, как уже упоминалось, издавали на свой счет журналы *St. Petersburgisches Journal* и (совместно с Б.Ф. Арндтом) *Санкт-Петербургский вестник* (1778–1781).

К осени 1781 г. Вейтбрехт и Шнор расстались, поскольку каждый из них решил завести собственную типографию. Типография Вейтбрехта осталась на Мойке в доме Попова, а Шнор открыл свою типографию в доме лютеранской церкви св. Петра на Невском проспекте. Видимо, издательские дела у Вейтбрехта в 1781–1783 гг. были на втором месте после книготорговли, поскольку он за этот период напечатал только 13 книг (21 том) на русском языке и *Таможенный тариф для купцов* на французском языке⁵¹. Но дела его быстро пошли в гору, после того как была создана Императорская типография, а Вейтбрехт стал ее заведующим. На наш взгляд, события развивались следующим образом.

Императрица задумала издать в России записки С. Герберштейна⁵², и ее статс-секретарь А.В. Храповицкий вместе с Л.И. Бакмейстером, которому было поручено «надзирать за изданием», стали подыскивать для этого типографию в столице, которая бы удовлетворяла достаточно высоким полиграфическим требованиям. Сначала обратились к Шнору, но тот отказался и указал на Вейтбрехта, хотя издательские дела последнего в тот период шли не очень успешно. Вейтбрехт воспользовался случаем и представил Кабинету Е.И. В. условия, на которых он мог бы организовать, если получит соответствующую долгосрочную ссуду, типографию для нужд Кабинета. Его условия не вызвали серьезных возражений, и указ императрицы вскоре последовал.

Прилагая при сем условия от придворного книгопродавца и держателя типографии Вейтбрехта, представленные о заведении особой у него типографии для Кабинета и Коллегии иностранных дел повелеваем заключить с ним договор за подписанием присутствующих в обоих

⁵¹ *Tarif général ou Table alphabétique des droits que payeront les marchandises dans tous les ports et aux douanes des frontières de l'Empire de Russie, excepté à celles d'Astracan, du gouvernement d'Oufa et de Sibérie composé dans la Commission de Commerce l'année 1782.* [P. 1–2]. St. Petersburg, de l'imprimerie de J.J. Weitbrecht, 1783.

⁵² Подробнее об этом см.: *Фафурин Г.А.* Иоганн Якоб Вейтбрехт – первый издатель «Записок» Герберштейна в России // Коллекции. Книги. Автографы: Сб. научных трудов / Сост. В.Е. Кельнер, Н.А. Копанев. СПб., 2000. Вып. 3. С. 109–114; *Он же.* Издательская и книготорговая деятельность Иоганна Якоба Вейтбрехта в екатерининском Петербурге / Hrsg. N. Franz, L. Kirjuchina // *Sankt Petersburg – «der akkurate Deutsche»: Deutsche und Deutsches in der anderen russischen Hauptstadt. Beiträge zum Internationalen interdisziplinären Symposium.* Potsdam, 23–28. Sept. 2003. Frankfurt am Main, 2006. S. 247–264.

сих местах; полагаемое в тех условиях вспоможение денежное учинить от Кабинета; и впрочем надлежащее по тому контракту распоряжение сделать каждому месту по своей части. *Екатерина*. В Царском Селе, августа 27 дня 1784 года⁵³.

В контракте было оговорено, что типография будет обслуживать, прежде всего, эти два учреждения, печатая официальные бумаги, но в случае недостаточной загрузки, чтобы не было простоев оборудования и для постоянного упражнения наборщиков, позволялось брать заказы от частных лиц и других учреждений.

Императорская типография, образованная на базе бывшей вейтбрехтовской, располагалась на Мойке, близ Синего моста. Вейтбрехт получил от Кабинета беспроцентную ссуду в размере 10 000 руб. сроком на десять лет на расширение производства и приобретения шрифтов разных языков, в том числе и восточных. В типографии была своя словолитня и четыре печатных стана⁵⁴. Однако, печатая официальные бумаги, Вейтбрехт иногда сталкивался с проблемами, которые возникали из-за разногласий между Кабинетом Е.И.В. и Коллегией иностранных дел по поводу оплаты готовых заказов. Граф А. Безбородко и статс-секретарь Екатерины II С.Ф. Стрекалов решали эти разногласия посредством записок такого рода:

Милостивый Государь Степан Федорович!⁵⁵ Прилагая при сем щет от содержателя типографии Вейтбрехта о деньгах, следующих ему за напечатание Манифестов на немецком языке о войне против турков и короля шведского, имею честь сообщить Вашему Превосходительству о Высочайшем Ее императорского величества повелении, чтоб означенные в сем щете деньги тридцать семь рублей и 60 копеек из Кабинета ему заплачены были. Есмь впрочем с совершенным почтением Вашего Превосходительства покорнейший слуга, граф А. Безбородко. В СПбурхе, 3 сентября 1788 года⁵⁶.

Вейтбрехт, для того чтобы обеспечить себя долгосрочными заказами, задумал многотомное официальное издание – *Свод российских законов*⁵⁷. Однако права на издание указов и законов имела лишь Сенатская типография, и императрица, видимо, не собиралась расширять количество типографий, наделенных такими правами, поэтому планам издателя тогда не суждено было сбыться. 28 февраля 1791 г. он обращается с письмом к императрице, в котором, между прочим, пишет:

⁵³ РГИА. Ф. 468. Оп. 38. № 45. Л. 1.

⁵⁴ Подробнее об этом см.: *Фифурин Г.А.* История Императорской типографии по архивным документам (1784–1800 гг.) // Федоровские чтения. 2005. М., 2005. С. 529–540.

⁵⁵ С.Ф. Стрекалов.

⁵⁶ РГИА. Ф. 468. Оп. 1. № 4022. Л. 192.

⁵⁷ РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. № 197. Л. 5–6 об.

время ⟨...⟩ настало, когда можно отважиться на важные предприятия, я бы желал решиться на таковое, которое бы было достойно нынешнего времени и купно полезно моему новому отечеству, а именно я говорю о полном собрании регламентов, постановлений и указов вашего императорского величества, то есть всего того, что ныне за закон приемлется⁵⁸.

Далее он просит назначить чиновника, который доставлял бы ему в типографию законы и постановления, предназначенные для печати:

Буде таковое мое мнение удостоится одобрения Вашего императорского величества, то я всенижайше испрашиваю на сие позволения и повеления Сенату, чтобы мне доставлены были нужные для сего материалы, также прошу Вашего Величества назначить кого-нибудь, который бы смотрел за моими трудами⁵⁹.

Таким образом, Вейтбрехт предлагал императрице впервые в истории российского книгопечатания начать выпускать официальное многотомное издание свода законов с систематическим указателем содержания. Интересно отметить, что письмо в части, касающейся издания законов, удивительным образом перекликается с его же «промеморией», адресованной, по всей видимости, А.Р. Воронцову, президенту Коммерц-коллегии⁶⁰. Такое предприятие требовало серьезных капиталовложений и кропотливой предварительной подготовки.

Реакция императрицы на обращение Вейтбрехта известна из ее письма к князю Безбородко:

Позволив придворному книгопродавцу и содержанию типографии Вейтбрехту напечатать в его типографии полное собрание изданных от нас и от предков наших Государей Всероссийских регламентов, постановлений, указов и всего того, что за закон приемлется, с оглавлением всех содержащихся в оном предметов, посредством чего можно было удобно и без труда приискивать закон на какой-либо случай относиться имеющий; вследствие того повелеваем препоручить старшему обер-прокурору Сената нашего, чтоб от оного с нужным со стороны его рассмотрением доставляемы были указы и законы к нашему генерал-поручику Соймонову⁶¹, на коего возложено от нас наблюдение, дабы все оное издано было в надлежащей точности и исправности⁶².

В архиве Безбородко сохранилось свидетельство и об устном распоряжении императрицы:

⁵⁸ Там же. Л. 11 об.

⁵⁹ Там же. Л. 12.

⁶⁰ Там же. Ф. 1261. Оп. 1. № 3224. Л. 1–3 об.

⁶¹ Соймонов Петр Александрович (ум. 1800) – статс-секретарь Екатерины II, действительный статский советник.

⁶² РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. № 197. Л. 3–3 об.

Ее Императорское величество, дозволяя Вейтбрехту печатать им просимое, отозваться изволила, что Указы и Законы может отсылать из Сената г. Колокольников⁶³, с нужным со стороны его рассмотрением, а равным образом из Сенатских же можно определить для цензуры⁶⁴.

Однако издание это, как известно, не было осуществлено, трудно сказать, по каким именно причинам, финансовым или политическим. Вполне вероятно, что незаинтересованность сенатских чиновников исходила из их нежелания подбирать в архиве и классифицировать указы, рескрипты и т.п., а это в свою очередь не могло не охладить энтузиазма Вейтбрехта. К тому же в 1797 г. истек срок аренды Императорской типографии, и арендатор не был уверен в том, что контракт с ним будет продлен, ко всему этому добавлялись материальные трудности из-за несвоевременной оплаты готовых заказов Кабинетом⁶⁵ и т.д. Так или иначе, важен сам факт – идея такого рода издания родилась отнюдь не в первые годы царствования Александра I, а гораздо раньше, в 1780-е годы, и высказал ее впервые Иоганн Якоб Вейтбрехт.

Gennadi Fafourine

**Johann Jacob Weitbrecht, imprimeur-libraire
de Saint-Pétersbourg:
quelques précisions biographiques**

La présente contribution est fondée sur des documents du département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de Russie et des Archives de l'Académie des sciences de Russie (filiale de Saint-Pétersbourg), qui ont été cités pour la première fois dans la thèse de l'auteur sur *L'Activité de libraire et d'imprimeur de J.J. Weitbrecht* (Saint-Pétersbourg, 2004). Le libraire de Saint-Pétersbourg Johann Jakob Weitbrecht (1744–1803) était arrivé dans la capitale de la Russie en provenance de Stralsund (nord de l'Allemagne), et l'un des premiers documents attestant son activité de libraire de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg est un rapport qu'il adressa à la chancellerie de l'Académie. Il y évoquait l'arrestation par la douane de deux livres de Voltaire, l'*Hisloire de la guerre de mil sept cent quarante et un* (1755) et l'*Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand* (1759–1763). Il relevait dans ce rapport les fautes commises par les fonctionnaires de la douane et proposait pour exemple des académies allemandes où les académiciens mêmes s'occupaient de la censure des livres étrangers. Weitbrecht entretenait des relations et une vaste correspondance avec ses confrères européens, notamment Marc-Michel Rey (Amsterdam), Luchtmans (Leyde), Haude & Spener (Berlin), Antoine-Claude Briasson (Paris), Claude Philibert

⁶³ Колокольников Федор Михайлович (1732–1818), государственный деятель, был тогда обер-прокурором Правительствующего Сената.

⁶⁴ РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. № 197. Л. 4.

⁶⁵ К концу 1792 г. Кабинет Е.И. В. задолжал Вейтбрехту около 2000 руб. (РГИА. Ф. 468. Оп. 1. № 3913. Л. 96; см.: Мартынов И.Ф. Указ. соч. С. 56. Примеч. 80).

(Copenhague) et beaucoup d'autres. L'impératrice de Russie lui accorda le deuxième privilège pour l'établissement d'une imprimerie «libre» (privée) en 1776. En collaboration avec son compagnon Johann Schnoor, il publia la revue périodique *Sankt-Petersburgisches Journal*, dans laquelle il réédita des articles tirés de périodiques étrangers susceptibles de présenter un intérêt pour les lecteurs en Russie. En une occasion il voulut y insérer un article intitulé «Mémoire pour le Sr. Pomel, en réponse à une lettre de M. Falconet», tiré de la *Gazette de Deux-Ponts* (n° 87, 1775) et concernant les rapports relatifs à la construction du monument de Pierre le Grand entre le sculpteur Falconet et le fondeur Pomel. Mais le censeur des éditions en langues étrangères, l'académicien Jacob Stählin, lui refusa cette publication. C'est en 1784 que Weitbrecht créa sur l'ordre de Catherine II une imprimerie de la Cour pour imprimer des documents du collège des Affaires étrangères et du Cabinet de Sa Majesté Impériale: manifestes, lois, règlements, etc. Dans une lettre à l'impératrice de Russie du 28 février 1791, il proposa le principe d'une édition d'une *Collection complète des règlements, ordonnances et oukases de Russie avec une table de matières*. Mais il ne parvint pas à réaliser ces plans...

Ю.В. КАГАРЛИЦКИЙ

К ВОПРОСУ ОБ ИЗДАНИИ
ПЕРЕВОДНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КНИГ
В РОССИИ XVIII ВЕКА:
ПЕРЕВОДЫ СТЕФАНА ПИСАРЕВА
И ИХ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ СУДЬБА

Русскую культуру века Просвещения невозможно представить себе без переводной литературы самого разного характера: художественной, исторической, философской, научной, технической и т.д. Ее изучение имеет солидную традицию¹. Что касается переводной религиозной литературы, в особенности православной, то ей до сих пор уделяется недостаточное внимание. Если рецепция западных религиозных учений еще способна заинтересовать ученых как проявление религиозного вольнодумства и тем самым предвосхищение просветительской толерантности, то переводы православных сочинений кажутся в этом отношении не столь многообещающими. Между тем, пути просвещения гораздо более извилисты, чем можно предполагать, и путь к читателю некоторых духовных сочинений также может быть весьма показателен.

Нельзя сказать, чтобы имя Стефана (Степана) Ивановича Писарева (1708?–1775) ничего не говорило историку русской культуры XVIII в. Судьбам его переводов был посвящен ряд работ в начале минувшего столетия². Краткое жизнеописание переводчика помещено в *Словаре русских писателей XVIII века*³. Однако далеко не все в творческом и жизненном пути С.И. Писарева кажется понятным; многое заставляет

© Ю.В. Кагарлицкий, 2008

¹ См., например: История русской переводной художественной литературы. Древняя Русь. XVIII век / Отв. ред. Ю.Д. Левин. Т. 1: Проза. СПб., 1995; Т. 2: Драматургия. Поэзия. СПб., 1996.

² Барсов Т.В. О духовной цензуре в России // Христианское Чтение. 1901. Т. 211. Вып. 6. Июнь. С. 966–998; Буш В.В. «Житие Петра Великого» Стефана Писарева. Пг., 1915.

³ Словарь русских писателей XVIII века. СПб., 1999. Вып. 2. К–П. С. 437–438. Статья о Писареве принадлежит С.И. Николаеву.

увидеть новые грани в истории русской культуры и словесности, которым он, несомненно, принадлежит.

Внимание исследователей, обращающихся к переводческому наследию Писарева, привлекает не слишком успешная издательская судьба его трудов. Так, Т.В. Барсов подробно описывает мытарства, связанные с попыткой Писарева издать свой перевод проповедей греческого епископа Ильи Минятия (Минятия, как его называли в России). В 1758 г. Писарев представил в Св. Синод тщательно выверенную рукопись и ходатайствовал о ее издании. Перевод прошел тщательную цензуру, были внесены исправления, которые переводчик был обязан внести в текст, три проповеди не были разрешены, поскольку в них имелись «некоторые с мнением св. православной грекороссийской церкви несогласныя изображения»⁴. Писарев немедленно представил в Синод переводы трех других слов греческого проповедника на эти же праздники: Рождество Христово, Введение во Храм и Успение Пресвятой Богородицы. Синод вторично отказал, «понеже и оные вторично представленные им три панегирика и на Успение Пресвятыя Богородицы по усмотрению Св. Синода подобныя же почти яко и первыя имеют в себе изображения со мнением православныя грекороссийския церкви несогласныя»⁵.

Заметим, что Писарев явно не в первый раз предпринимал попытку публикации перевода проповедей греческого епископа. В предисловии к первому тому, изданному в 1759 г., он указывает, что перевод выполнен еще в 1741 г.:

Каждой Читатель, по прочтении заглавнаго листа можетъ примѣтить, что сія Книга мною переведена еще въ 1741мъ году; съ котораго времени по нынѣ многіе, да и у многихъ находятся переписанные съ оной Экземпляры⁶.

Иными словами, перевод был выполнен почти за два десятилетия до его первой публикации, достаточно долго циркулировал в списках (*cum grano salis* – в «самиздате»), затем с большими цензурными затруднениями пробился к печатному станку⁷. Достаточно драматическая судьба, если принимать во внимание вполне невинный, благочестивый и орто-

⁴ Барсов Т.В. Указ. соч. С. 986–987.

⁵ Там же. С. 987.

⁶ [Илья Минятий]. Поучения во святую и великую четыредесятницу, то-есть Велико-постныя недели. Сочиненныя и проповеданныя Керникским и Калавритским что в Пелопоннисе епископом Илиею Минятием, Кефалонитянином. С Греческаго, на Россійскій язык Коллегии Иностранных Дел переводчиком (что ныне тояж Коллегии секретарь) Стефаном Писаревым. В 1741 году переведенныя. Том 1. В Санктпетербурге. При сухопутном Шляхетном Кадетском Корпусе. 1759. Предисловие. Л. 2.

⁷ [Илья Минятий]. Поучения во святую и великую четыредесятницу... Том 1; [Илья Минятий]. Поучения во святую и великую четыредесятницу, то-есть Велико-постныя недели. Сочиненныя и проповеданныя Керникским и Калавритским что в Пелопоннисе епископом Илиею Минятием, Кефалонитянином. Том 2. В Санктпетербурге. При сухопутном Шляхетном Кадетском Корпусе. 1760.

доксальный характер поучений Миниата. Безусловно, это заставляет пересмотреть расхожие представления о причинах, по которым то или иное издание могло не пропускаться в печать.

Прежде чем анализировать причины неудач Писарева, следует понять мотивы, двигавшие переводчиком, а впоследствии секретарем Коллегии иностранных дел, обратившимся к переводам православной литературы. И тут не обойтись без пространного введения в культурный контекст, в котором был выполнен перевод Писарева.

Итогом Петровских реформ стало возникновение в России культуры нового типа, ориентированной на Западную Европу, европейские формы поведения и эстетические ценности. Эта новая культура поначалу затронула в основном дворянство; возможно, правильнее будет сказать, что именно на базе этой культуры (если понимать ее достаточно широко и включать в орбиту ее влияния поведенческие стереотипы, социально-политические установки, литературные и художественные вкусы) происходила консолидация дворянства как единой социальной группы. Разумеется, новые культурные формы распространялись в столице быстрее, чем в провинции, а вблизи правящей верхушки – быстрее, чем вдали от нее. В начале XVIII в. среди сподвижников Петра мы видим людей, стремившихся стать европейцами, с огромным и неподдельным интересом присматривавшихся к достижениям европейской культуры. С конца 1720-х годов можно говорить, вслед за Б.А. Успенским и А.Б. Шишкиным, об «особом и очень тесном круге» образованных дворян, воспринимавших европейские культурные ценности как собственные и опережавших в этом отношении остальную часть российского общества. В этот круг входили молодые люди, состоявшие на дипломатической службе. Исследователи относят к нему А.Д. Кантемира, А.А. Вешнякова, А.Б. Куракина, А.Г. Головкина, С.Д. Голицына, С.К. Нарышкина, А.И. Неплюева, И.А. Щербатова⁸.

Все эти люди принадлежали к новому, послепетровскому поколению дворянства. Многие достижения Петровского времени – курс на сближение с европейской культурой, развитие светских форм быта, социальный и политический прагматизм и т.п. – были для них чем-то само собой разумеющимся. Из этого как бы следует неизбежный вывод, что и их духовные интересы лежали вне православной традиции. Однако подобный вывод был бы неверен. Ориентация на западную культуру парадоксальным образом заставляет русского дворянина-интеллектуала напряженно осмыслять свою конфессиональную идентичность, искать точки соприкосновения с другими конфессиями, прежде всего с католицизмом. Исследователь русской духовной культуры первой половины XVIII в. отмечает: «Учившийся или подолгу живший за границей, говоривший и писавший по-французски или по-итальянски не хуже, чем на

⁸ Успенский Б.А., Шишкин А.Б. Третьяковский и янсенисты // Символ. 1990. № 23. Июнь. С. 126, 141.

родном языке, дворянин петровского времени не мог не столкнуться с проблемой собственной идентичности... Именно поэтому “крайние” формы вестернизации и соседствуют с показным, подчеркнуто традиционным, “дедовским” благочестием»⁹. Если для одних межконфессиональный диалог завершился переходом в католичество (как, вероятно, для А.А. Вешнякова¹⁰), то другие, сохраняя веротерпимость, демонстрировали верность православию в самой решительной форме.

Каковы же причины этого обновленного интереса к православной духовной традиции? С одной стороны, представители новой, только формирующейся культуры нуждались в дискурсивном инструментарии, который бы позволил им осмысливать свои поступки, оценивать их, анализировать собственные помыслы. Образованный европеец, будь он традиционалист или вольнодумец, соотносил себя с западной духовностью. В западной традиции – в ее протестантской или контрреформатской католической ветви – был разработан язык персонального самоанализа, соответствовавший сложной и тонкой душевной организации представителя культурной элиты. Этот язык образовывал систему связей, которыми этос западного интеллектуала так или иначе привязывался к христианским ценностям. В аналогичном инструментарии нуждался и русский дворянин, осваивавшийся в европейском культурном пространстве. В связи с этим он был вынужден переосмысливать свою конфессиональную принадлежность, поскольку вне этих координат не мог выстроить свою персональную систему духовных ценностей. Однако ему приходилось подходить к духовному наследию предков с новыми мерками, рассматривать его не как данность, но как осознанно выбранную совокупность ценностных ориентиров. Если человек допетровской эпохи строил свою жизнь по более или менее проверенным рецептам и канонам, то деятельный и инициативный дворянин XVIII в., состоявший на государственной службе, гораздо чаще попадал в ситуации, не вписывающиеся ни в какие каноны, принимал непривычные для себя решения, колебался, склонялся то в одну, то в другую сторону под воздействием противоречивых доводов, сталкивался с чужими этическими системами и сопоставлял их со своей. Его религиозность предполагала постоянную рефлексию и склонность к самоанализу.

С другой стороны, православие было для этих людей еще и внешнеполитическим выбором. Уже в Петровское время (а отчасти и в допетровское) внимание российской политической элиты обращается к православным народам Юго-Восточной Европы. В этих народах хотелось видеть естественных союзников в противоборстве с Османской империей. Для ряда видных дипломатов 1720–1730-х годов был характерен интерес к жизни православных «братьев», живущих на территориях, подвластных турецкому султану или находящихся в близком соседстве с

⁹ Лавров А.С. Колдовство и религия в России. 1700–1740 гг. М., 2000. С. 273.

¹⁰ Успенский Б.А., Шишкин А.Б. Указ. соч. С. 138.

османскими владениями. Тут сказывался целый ряд факторов. Во-первых, русская дипломатическая элита чувствовала свою преемственность с политическими деятелями предыдущего поколения, в котором заметную роль играли не только соратники Петра, работавшие на турецком направлении (П.А. Толстой, П.П. Шафиров), но и выходцы, можно сказать эмигранты, из Юго-Восточной Европы: Савва Владиславич-Рагузинский, Дмитрий Кантемир. Во-вторых, черноморско-балканское направление экспансии казалось таким людям, как А.И. Неплюев, А.А. Вешняков, А.Д. Кантемир, рационально обусловленным и морально оправданным¹¹. Наконец, в-третьих, как нам представляется, новому поколению русских дворян должен был быть интересен опыт образованного человека, в поликонфессиональном и мультикультурном окружении отстаивавшего свою религиозную и культурную идентичность¹².

Дело в том, что, как уже было сказано, представители дипломатической элиты первых послепетровских десятилетий, уже успевшие накопить опыт существования во многоконфессиональной среде, нуждались в новых, по сравнению с русскими людьми предшествующих столетий, формах духовного самоопределения. Стереотипы, выработанные в условиях господства одной конфессии, одной культурной модели, здесь не годились. Зато интерес вызывала духовная и интеллектуальная жизнь тех регионов, где пересекались различные культурные влияния и где политический выбор индивида совсем необязательно совпадал с его религиозным выбором. С этой точки зрения выходец

¹¹ Не имея возможности подробно останавливаться на этом аспекте воззрений русских дипломатов, приведем в качестве иллюстрации относящееся к началу 1736 г. высказывание А.А. Вешнякова (в то время русского резидента в Стамбуле): «(...) греки областные и еще более болгары, волохи, молдаване и другие так сильно заботятся об избавлении своем от турецкого тиранства и так сильно преданы России, что при первом случае жизни не пожалеют для вашего императорского величества как уповаемой избавительницы» (цит. по: *Соловьев С.М.* Сочинения. М., 1988–2000. Т. 10. С. 406). Как видно, новое поколение русских дипломатов унаследовало от своих предшественников не только общие ориентиры, но и многие частные иллюзии; прутская катастрофа рассматривалась, видимо, как результат тактического просчета, а не стратегически ошибочной ставки на ненадежных союзников.

¹² В этом смысле характерен пример А.Д. Кантемира. Аббат Гуаско пишет о нем: «Tout séparé, qu'il étoit, de la Communion Romaine, il n'avoit nullement l'Esprit schismatique. Personne n'étoit plus éloigné que lui de tout ce qui avoit l'air de dispute. Il entroit volontiers en éclaircissement sur les sentimens de l'Eglise Grecque & de l'Eglise Latine. Il ne se refusoit pas même aux bonnes raisons, qu'on lui donnoit» (цит. по: *Успенский Б.А., Шишкин А.Б.* Указ. соч. С. 137). Эта толерантность не означала для Кантемира отказа от православия или, к примеру, индифферентного отношения к выбору исповедания. Напротив, он всегда подчеркивал свою принадлежность к восточной церкви (ср., например: Там же. С. 207–208). Речь шла о принципиальной установке на диалог, который русский образованный дипломат вел, оставаясь верным своему конфессиональному выбору. Впрочем, мягкая полемическая позиция Кантемира по отношению к католикам может объясняться не только общей установкой на веротерпимость, но и неугасшими надеждами на соединение Церквей, которые, видимо, питал русский поэт и дипломат (Там же. С. 137–138).

из зон культурно-религиозной и политической чересполосицы – грек, молдаванин, серб – был гораздо более интересен, чем русский. Ему приходилось сохранять верность своим религиозным взглядам, порой лавируя между различными политическими полюсами, порой отстаивая свою точку зрения перед представителями других религий и конфессий. В дебатах с оппонентами он не мог ссылаться на свою принадлежность к единственно возможной «ортодоксии», а вынужден был искать общезначимые аргументы. Он был гибок и в то же время тверд в своих воззрениях. Кстати, из таких людей часто получались хорошие дипломаты, и многие из них, подобно С.Л. Владиславичу-Рагузинскому, попадали на русскую службу и становились посредниками. От них можно было узнать немало ценного о культурных, религиозных и политических реалиях Юго-Восточной Европы.

Мы так подробно характеризуем систему культурных ориентиров русской дипломатической элиты 1720–1730-х годов, поскольку именно эти ориентиры были актуальны для переводчика С.И. Писарева. Конечно, Писарев едва ли может быть отнесен к описанному выше узкому кругу. Он начинал как обычный студент Московской славяно-греко-латинской академии. Однако еще до окончания курса будущий переводчик был включен в состав посольства в Китай, возглавляемого как раз графом С.Л. Владиславичем-Рагузинским¹³. Первоначально предполагалось, что Писарев останется в Пекине для изучения китайского языка, однако он фактически стал канцеляристом при посольстве, участвовал в его работе и вернулся в Москву в декабре 1728 г.¹⁴

Именно в этот период, как мы предполагаем, Писарев становится человеком круга С.Л. Владиславича-Рагузинского. Во всяком случае, он хорошо исполнял обязанности канцеляриста при посольстве. 16 июня 1728 г. «на границах при речке Кяхте» Владиславич вручил Писареву «за приписанием своей руки атестат» на ранг канцеляриста посольства «за верную ево и усердную службу и отменное в письменной корреспонденции и отправлении дел искусство»¹⁵. Вполне вероятно, что между ди-

¹³ Интересно, что Писарев был включен в состав посольства в последний момент: Савва Владиславич взял его вместо другого «ученика», поскольку последний, будучи «в совершенных летах и возрасте», едва ли мог, по мнению дипломата, «китайскому языку искуситься»: «(...) вместо его разсудил за благо принять в службу вашего императорского величества к тому определению еллиногреческия науки ученика Стефана Писарева, которой кажется ума острого, во младых летех, и не без надежды, что может тому языку прежде иных выучитьца» (цит. по: Русско-китайские отношения в XVIII веке: Материалы и документы. Т. 2 (1725–1727). М., 1990. С. 250). Таким образом, Писарев с самого начала не был обделен персональным вниманием главы посольства. Вполне возможно, что и самим переводчиком этот эпизод рассматривался как изменивший течение всей его жизни, открывший ему большой мир и сведший его с замечательными людьми. Этим ощущением, думается, в значительной степени питался просветительский энтузиазм Писарева.

¹⁴ Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 2. К–П. С. 437.

¹⁵ Русско-китайские отношения в XVIII веке: Материалы и документы. Т. 2. М., 1990. С. 573.

пломатом и молодым канцеляристом возникают своеобразные доверительные отношения; так или иначе, именно Писареву С.Л. Владиславич за два месяца до смерти (1738) продиктовал свое завещание¹⁶.

Именно от Владиславича-Рагузинского Писарев мог впервые услышать о деятелях православной культуры, пользующихся широкой известностью в османских землях и примыкающих к ним регионах; в этом же кругу ему могли подать идею заняться переводом их сочинений. На первый взгляд кажется невероятным, чтобы люди, разделенные такой социальной дистанцией, вступали друг с другом в ученые беседы, однако нам представляется, что общение сотрудников посольства было гораздо более тесным и менее формальным, чем было бы возможно в обычных условиях. Кроме того, дипломат, вероятно, потому и брал молодого канцеляриста под покровительство, что видел в нем живой ум, тягу к знаниям и духовному просвещению. Литераторы и ученые – деятели раннего русского Просвещения – часто были тесно связаны со своими знатными патронами; интеллектуальные и духовные интересы создавали как бы новый контекст для их общения практически на равных. Благодаря этому, например, В.К. Третьяковский по возвращении из-за границы мог жить у А.Б. Куракина, а затем у С.К. Нарышкина, общаться с ними, вызывать их интерес своими литературными занятиями, несмотря на значительную разницу в общественном положении между поэтом и его друзьями-дворянами. Особую роль, кстати, в таких случаях играли контакты между русскими за границей; замкнутое пространство посольства, миссии или русской общины порой делало личные отношения более интимными.

После возвращения в Москву Писарев некоторое время преподавал греческий язык в своей *alma mater*, а затем определился на службу в Сенат. С этого момента начинается карьера Писарева как чиновника. В 1730-е годы он служит в Коллегии иностранных дел и, таким образом, соприкасается со многими из тех молодых дипломатов, о которых уже шла речь. Достоверно можно судить о знакомстве Писарева с С.К. Нарышкиным. Семен Кириллович Нарышкин (1710–1775) входил в описанный выше «особый и очень тесный круг». Образованный, знакомый с европейской культурой, интересующийся культурными новинками, Нарышкин в то же время, видимо, имел репутацию человека, равнодушного к Греции и ее культуре; по крайней мере, его имя встречается в связи с «греческим проектом» Екатерины: он ведет переписку о переезде Евгения Булгариса в Россию¹⁷, А. Палладоклис подносит ему оду, в заглавии которой адресат характеризуется, в числе прочего, как «эллинолюбец»¹⁸.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Словарь русских писателей XVIII века. СПб., 1988. Вып. 1. А–И. С. 133.

¹⁸ [Палладоклис А.П.] Ода его высокопревосходительству Семену Кирилловичу Нарышкину генералу аншефу, ея имп. величества обер-егермейстеру, действительному камергеру (...) эллинолюбцу и страннолюбцу поднесенная Государственной Коллегии иностранных дел переводчиком Антонию Палладоклисом уроженцем острова Митилены. [СПб.]: При Имп. Акад. наук, 1771.

Именно ему Писарев посвятил последний из своих переводов Ильи Миниата. В посвящении он писал:

А какъ на послѣдокъ пришла мнѣ въ мысль Ваша, видимая мною всегда, горячая къ любоученію ревность, да и вообразилось слышимое толь часто отъ Вас напоминаніе о Греческомъ древнемъ родѣ, съ приписываніемъ за его перьвоначальныя, вообще всѣхъ наукъ и художествъ, изобрѣтенія достойной ему похвалы; то во уваженіе того, и во знакъ моей благодарности, разсудилъ я за благопристойно приписать Вашему Высокoпревосходительству сію переведенную мною книжку толь любимаго, и много хвалимаго Вами сладчайшаго Проповѣдника, Минятія <...>¹⁹

Нам кажется естественным предположить, что с Нарышкиным Писарев общался не в конце жизни, когда сам был отставным чиновником, одиноким и, по-видимому, не слишком состоятельным, а Нарышкин – видным масоном, знакомцем Джакомо Казановы, богатейшим вельможей, державшим собственный театр и оркестр роговой музыки, выпи-сывавшим лошадей и кареты из Парижа, а французские книжные новинки – из Парижа и Гааги²⁰. Беседы переводчика с ровесником-аристократом, скорее всего, имели место в 1730-е годы, когда Нарышкин был молодым интеллектуалом из того самого «тесного круга», а Писарев, очевидно, имел к этому кругу какое-то касательство. Более конкретными сведениями мы к настоящему времени не располагаем.

Если мы обратимся к переводам, сделанным Писаревым в 1730-е и в начале 1740-х годы, то увидим, что в центре его внимания в то время находились современные сочинения религиозно-назидательного характера, написанные на греческом языке. Первым переводом становится *Цвет добродетели* (анонимный нравоучительный трактат), а в 1741 г. Писарев подготавливает к изданию *Поучения во святую и великую четырьдесятницу* Ильи Минятія – того самого, «много хвалимого» Нарышкиным. Чтобы понять, чем определялся этот выбор, необходимо сказать несколько слов об Илье Минятіи.

Илья Миниат (Минятій; Ἰλίας Μηνιάτς) – греческий духовный писатель и проповедник. Родился на о. Кефалиния (в то время владении Венецианской республики) в 1669 г. Получил образование в коллегии Флангини в Венеции. По окончании преподавал греческий, тогда же начал проповедовать. Судьба Миниата сложилась так, что он жил в греческих областях, находившихся под властью Венеции. В разные годы ему доводилось быть воспитателем племянников Антонио Молина, губер-

¹⁹ [Илья Минятій]. Два слова поучительныя и четыре речи похвальныя, сочиненныя и говоренныя на Италианском языке греческим епископом Илиею Минятіем уроженцем Кефалонским. Переведенныя на Российский диалект статским советником С. Писаревым. В Санкт-Петербурге при Императорской Академии Наук. 1773. Предисловие. Л. 3 об.–4.

²⁰ Строев А.Ф. «Те, кто поправляет Фортуну»: Авантюристы Просвещения. М., 1998. С. 353.

натора Ионических островов, и личным секретарем Л. Соранцо, посла Венеции в Константинополе; Д.К. Кантемир в 1703 г. отправил Миниата с миссией к австрийскому императору Леопольду. С 1711 г. Миниат – епископ Керникский и Калавритский (Пелопоннес). Умер он в 1714 г.²¹

Илья Минятий был весьма значимой фигурой в культурной и политической жизни Юго-Восточной Европы. Как церковный деятель и дипломат он обладал гибкостью, способностью к диалогу, способностью к политическому лавированию в сочетании с верностью своей конфессиональной идентичности. Как литератор прославился красноречием, живостью языка, близкого к народным формам²². Миниат, вероятно, ориентировался на итальянских проповедников, стремясь перенести на греческую языковую почву итальянский опыт создания духовной литературы на народном языке²³. Как проповедник он стремился в первую очередь к обновлению религиозного чувства, к развитию в слушателях рефлексии по поводу своих поступков и переживаний, к формированию своего рода христианского активизма. Нам приходилось уже писать о том, что духовные ориентиры Миниата явно соотносились с программой обновления религиозности, провозглашенной идеологами Контрреформации²⁴. С. Салавилль с удовлетворением отмечает, что в проповедях Миниат уделял внимание вопросам, которыми восточнохристианская дидактика, по мнению исследователя-католика, часто пренебрегала: о покаянии, об исследовании христианином собственной совести и т.п.²⁵ Показательно, что в предисловии к своему переводу Писарев отмечает как основное достоинство поучений Миниата то, что в них приведены

(…) доводы, касающіеся единственно до привлеченія челоувѣка къ **осмотренію** совѣсти своей, къ напamтoванію страха Божія, къ **раскаянію въ порокахъ** и страстяхъ [полужирный шрифт наш. – Ю.К.] и къ начатію шествованія по стезе добродѣтелей, на путь спасенія приводящей²⁶.

Иными словами, переводчик хвалит проповеди Миниата за те же качества, которые спустя два столетия покажутся ценными католическому историку.

²¹ Биографические данные приводятся по статье: *Salaville S. Miniatis // Dictionnaire de théologie catholique contenant l'exposé des doctrines de la théologie catholique, leurs preuves et leur histoire. Paris, 1929. Vol. 10. Pt. 2.*

²² *Krumbacher K. Das Problem der neugriechischen Schriftsprache. München, 1903.*

²³ Ср.: *Salaville S. Op. cit. 1772; Kjellberg L. La langue de Gedeon Krinovskij, prédicateur russe du XVIII^e siècle. I. Uppsala, 1957. P. 47.* Нам неизвестно, предпринималось ли кем-либо серьезное исследование языковой программы Миниата в контексте формирования новогреческого литературного языка.

²⁴ *Кагарлицкий Ю.В. Риторические стратегии в русской проповеди Елизаветинской эпохи: Случай Гедеона Криновского // Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli. Slavistica. N 5 (1997–1998). Napoli, 2000. P. 301–303.*

²⁵ *Salaville S. Op. cit. 1773.*

²⁶ [Илья Минятий]. Поучения во святую и великую чetyрeдeсятнщу... Том 1. Предисловие к читателю.

Имя Ильи Миниата должно было быть известно в кругу просвещенных дипломатов. О нем наверняка знал Владиславич, о нем с большой вероятностью слышал от отца Кантемир. Илья Миниат воплощал собой ту модель православного интеллектуала, о которой мы подробно говорили выше. Интерес вызывало литературное наследие Миниата, особенно его прославленные проповеди.

Нам представляется, что для Писарева проповедническая практика Ильи Миниата стала тем образцом, по которому следовало создавать духовную словесность новой эпохи. Существовавшие религиозные тексты не отвечали внутренним потребностям нового человека, служилого дворянина, мобильного, открытого, чувствующего себя неповторимой личностью, открывающего для себя мир европейской культуры. Зачастую из работ по истории культуры можно сделать вывод, что такой человек был потерян для православной традиции; между тем, не был закрыт и другой путь: создавать новую духовную литературу, ориентированную на образованность, на открытость, на рефлекссию по поводу своих воззрений, на интроспекцию и анализ своего поведения.

Проповеди Миниата отвечали этим требованиям. Поучения греческого епископа были посвящены основным религиозным и мировоззренческим категориям: «О смерти», «О вере», «О любви врагов», «О мире и любви» и т.п. Миниат не просто разъяснял слушателям значение этих категорий для христианина, он намечал целую программу личного совершенствования, требовал от слушателей деятельной веры, подтверждения каждым поступком верности христианскому вероучению. Он приводил свидетельства того, как современный человек соблюдает лишь внешний декорум, не претворяет веру в дела:

И такъ, намѣреніе мое то, чтобъ мнѣ объявить, коя Вѣра есть совершенная? А при освидѣтельствovanии нашей, хочу я открыть наши въ ней недостатки, для возбужденія въ насъ стыда, чрезъ повтореніе и еще словъ Христовыхъ: Не обрѣтохъ толики вѣры во Израили²⁷.

В этой декларации важны сразу несколько аспектов. Во-первых, провозглашается установка на исследование смысла важных понятий: каково их содержание, как истинное отличается от ложного (например, истинная вера от веры показной, ненастоящей). Во-вторых, провозглашается установка на анализ собственного поведения с точки зрения его соответствия христианской норме. В-третьих, провозглашается цель – возбудить в самих себе стыд и направить усилия к личному самосовершенствованию. Очевидно, что такие задачи можно было ставить только перед человеком, имеющим склонность к осмыслению собственных поступков и ведущим большую внутреннюю работу с самим собой. Эти качества, в свою очередь, предполагают высокий уровень личной культуры и интерес к тому, что происходит в человеческой душе.

²⁷ Там же. С. 247.

Представители других вер и конфессий не только существуют для Минаата, но и не вызывают у него неприязни. Это, впрочем, не означает и признания за другими религиозными системами права на свою собственную истину, которая имела бы те же права, что и христианство. Минаат – православный христианин, и обращается он к таким же православным христианам; истинность церковного вероучения не подвергается ни сомнению, ни релятивизации. Центральным в проповедях Минаата оказывается не противопоставление православного христианина носителю другого мировоззрения, а противопоставление деятельного христианства показному, истинного – ложному. Проповеднику гораздо важнее обратиться критический взгляд своего слушателя внутрь, чем вовне:

Съ наружи мы Хрїстіаны: а по внутренности, О какъ съ Хрїстіанствомъ несходственны! Въ сребролюбїи мы Жиды: въ погибели Язычники, въ устремленїи страстей, безсловесныхъ скотовъ и звѣрей хуждышія²⁸.

В своем стремлении воздействовать на совесть слушателей проповедник готов приводить христианину в пример даже представителей других религий. Так, он рассказывает о турецком султানে, убившем свою наложницу:

Кто онъ таковъ Хрїстіанине? Агарянинъ, да при томъ еще и Царь: которому законъ и власть позволяетъ имѣть женъ, сколько хочеть. Однако онъ, не токмо что покинулъ, отсталъ, отъ себя отвергнулъ, но и закололъ любезную дѣвицу: чтобъ избѣжать ему осужденія народняго, и сохранить славу своего имени. А ты кто таковъ? Хрїстіанинъ. Которому законъ не дозволяетъ имѣть болѣе одной жены, даемой тебѣ отъ Церкви и отъ Бога. Хрїстіанинъ, что надлежитъ тебѣ избѣгать не отъ осужденія людскаго, но отъ вѣчныя муки²⁹.

Иными словами, для Ильи Минаата самое важное в человеке – стремление поступать в соответствии со своей верой, уклоняясь от слабости и бездействия. Сравнение с иноверцами не служит к пользе нерадивого христианина: он должен превосходить оппонентов деятельным исполнением заветов своей религии, на самом же деле он ленив и чересчур терпим к собственным недостаткам.

Подобная этическая программа едва ли могла быть адресована низам. Скорее, она была обращена к обеспеченным горожанам, слишком много внимания уделявшим мирским заботам и слишком мало пекущимся о христианском долге. Повествование Минаата живо и непосредственно, он ссылается на Св. Писание и церковное предание и, не менее охотно, на разнообразные исторические факты и анекдоты из античной, азиатской и европейской истории. Его стиль – это не аскетический

²⁸ Там же. С. 14.

²⁹ Там же. С.131–132.

слог отрешенного от мира проповедника, но обращение современника, призывающего своих сограждан именно в своей мирской активности быть христианами.

Как мы предполагаем, Писареву или тем, кто советовал ему обратиться к проповедническому наследию греческого епископа (это мог быть Савва Рагузинский, А.Д. Кантемир или кто-то еще из дипломатического круга³⁰), именно такие поучения представлялись прообразом духовной литературы нового типа.

Упомянутая же выше установка Миниата на живой, образный язык, близкий к общеупотребительному, на русской почве трансформировалась в языковую программу Писарева, которая еще ждет своего исследователя. С.И. Николаев отмечает, что переводчик принципиально пользовался русским, а не церковнославянским языком³¹. Это суждение не так уж тривиально: русского литературного языка в сформированном виде к началу 1740-х годов еще не существовало, хотя первые подступы к его нормализации отмечены уже в 1730-е годы³². В любом случае, «языком русской проповеди с 1730-х гг. (или несколько ранее) становится гибридный церковнославянский»; «импульсы» к преодолению сложившейся традиции «появляются в 1750-е гг.»³³ В этом смысле Писарев являлся очевидным новатором в области языка духовной литературы (ср. далее о зависимости проповеднической практики Гедеоны Криновского от перевода Писарева). Очевидно, он ориентировался на свое представление о языке новой культуры. Со временем это представление менялось, и Писарев переделывал свой перевод в соответствии с языковой модой (иной раз чересчур усердно)³⁴. В любом случае для не-

³⁰ Мы отмечали выше, что Писарев был знаком с С.К. Нарышкиным. У нас нет никаких сведений о его знакомстве с А.Д. Кантемиром, однако ничего невероятного в таком знакомстве мы не видим.

³¹ Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 2. К–П. С. 438.

³² Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996. С. 155 слл.

³³ Там же. С. 383, 389.

³⁴ Нам уже приходилось писать о том, какое возмущение вызвало у Писарева решение справщика (при переиздании поучений Миниата в петербургской синодальной типографии) заменить союзное слово *кой* на его церковнославянский эквивалент (*кий, кая* и т.д.); см.: Кагарлицкий Ю.В., Литвина А.Ф. Союзные слова в придаточных определительных в переводе С.И. Писарева: Из языковой полемики второй половины XVIII в. // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. (2001). М., 2002. С. 85–107. Между тем, придаточные предложения с союзным словом *кой* вошли «в моду» в середине XVIII в. Характерно, что в рукописи 1741 г. (РНБ. Собр. Колобова. № 38) таких придаточных нет вовсе, и они появляются только в печатном издании 1759–1760 гг. на месте придаточных с союзным словом *который* или других близких по значению синтаксических конструкций; см.: Кагарлицкий Ю.В. Придаточные определительные с союзным словом «кой» в русском литературном языке первой половины XVIII века // Русский язык в научном освещении. 2004. № 1 (7). С. 151. Очевидно, переводчик ввел «новомодные» союзные слова, стремясь подчеркнуть принадлежность своего перевода к языку новой культуры.

го были очень важны положительные оценки языка перевода. В предисловии к одному из своих поздних переводов Миниата он цитирует похвальные отзывы, полученные им на издание 1759–1760 гг. от церковных иерархов – Тимофея Щербацкого, Арсения Могилянского и Амвросия Зертис-Каменского. Для переводчика весьма важна и многозначительная характеристика, данная его переводу митрополитом Арсением Могилянским:

Сообщенныя мнѣ отъ васъ въ двухъ Томахъ Минятіевы Проповѣди получилъ я со многимъ удовольствіемъ. Первѣе потому, что в переводѣ оныхъ показали Вы немалую силу существенныхъ красотъ Россійскаго языка³⁵.

Весьма показательно, что Писарев помещает свой труд в контекст новой переводческой культуры, возникшей после Петровских реформ; в первом издании, в посвящении императрице, он указывает, что переводимые им поучения уже широко известны «въ Европейскихъ Государствахъ» (см. выше). В предисловии он подчеркивает:

Между прочими по нынѣ здѣсь изданными, и съ другихъ языковъ на Россійскій Діалектъ переведенными книгами, уповаю, что и сіи мною переведенныя Проповѣди не неприятными, но толь паче услаждательными, и каждому наиполезнѣйшими показаться могутъ {...}³⁶

В предисловии к позднему изданию переводчик говорит о популярности своих проповедей «в обществе»:

{...} ссылаяся отъ моей стороны на толь многихъ, да еще и знаменитыхъ въ обществѣ Лиць, кои его Проповѣдми пользуются, и кои сладчайшее его въ нихъ нравоученіе много почитая, достойную ему хвалу вездѣ приписуютъ³⁷.

Отмечены и другие примеры правки, отражающей эволюцию русского литературного языка или, по крайней мере, представление Писарева об этой эволюции. Так, устраняются конструкции с глаголом *иметь*, передающие значение будущего времени с оттенком долженствования: *имѣешь умереть во едино время* (Л. 183) – *единожды умереть тебѣ надобно* (С. 369); *когда имѣешь умереть* (Л. 183) – *когда ты умрешь* (С. 369); *я имѣю умереть* (Л. 183) – *я умереть долженствую* (С. 369); *имѣете умереть* (Л. 183 об.) – *умрете* (С. 371); *вземлю имѣешь о(т)ити* (Л. 186 об.) – *въ землю отойдешь* (С. 375). Нумерация листов указывается по рукописи, хранящейся в РНБ (Собр. Колобова. № 38), нумерация страниц – по изданию: [*Илья Минятій*]. Поучения во святую и великую четыредесятницу... Том 1.

³⁵ [*Илья Минятій*]. Два слова поучительныя и четыре речи похвальныя... Предисловие. Л. 3.

³⁶ [*Илья Минятій*]. Поучения во святую и великую четыредесятницу... Том 1. Предисловие. Л. 1.

³⁷ [*Илья Минятій*]. Два слова поучительныя и четыре речи похвальныя... Предисловие. Л. 1.

Иными словами, Писарев поставил перед собой совершенно особую задачу – создать христианско-дидактическую литературу для нужд просвещенных людей новой, послепетровской эпохи³⁸.

Итак, к 1741 г. перевод был готов. Оригиналом для него стало одно из венецианских изданий проповедей Ильи Миниата³⁹. Рукопись была посвящена и, видимо, представлена императрице. Посвящение датировано 16 декабря. Напоминаем, что эта дата отстоит всего на три недели от елизаветинского дворцового переворота 25 ноября 1741 г. и всего двумя днями предшествует дню рождения Елизаветы (18 декабря) – первому дню рождения, который дочь Петра праздновала как императрица. В посвящении Писарев дает понять, что перевод был готов и раньше, но попал в руки в руки тех, кому

Благочестіе, и Православно-восточной Церкви Вѣра весьма противна, и немилѧ; такъ и самый тотъ Діалектъ, на которомъ оная все основаніе (не упоминая уже о прочихъ всѣхъ высокихъ наукахъ отъ него происшедшихъ) и силу свою имѣтъ, ненавидимъ, и презираемъ былъ: чего ради и самой сей трудъ мой во тѣмъ до сихъ поръ погребенъ, и имя его заглажено быть хотѣло⁴⁰.

Очевидно, грядущее издание перевода Писарев стремится увязать с чаемым торжеством православия в Елизаветинскую эпоху и тем самым преодолеть сопротивление своих недоброжелателей. Характерна своеобразная «грекофильская» тенденция посвящения: Писарев утвержда-

³⁸ Кстати, именно с этой установкой надлежит, на наш взгляд, связывать выпад Писарева против романной беллетристики: «⟨...⟩ не сумнѣваюсь, что изъ нихъ [читателей настоящей книги. – Ю.К.] кто либо и такой, который къ завбению себя Историческо-басенными, называемыми Романы, и прочими подобными Книжками [отъ которыхъ единственно только въ совѣсти соблаженіе, и къ страстямъ полозновеніе ощущается] всегдашю охоту имѣтъ; не возжелалъ бы хотя единожды въ годъ, а наипаче во время Святые Четыредесятницы, когда каждой Христіанинъ особливо отъ всехъ страстей воздержатъ себя долженъ, прочитаніемъ сея Духовныя Книги поуладиться» ([Илья Минятей]. Поучения во святую и великую четыредесятницу... Том 1. Предисловие к читателю). Очевидно, Писарев рассматривал романную прозу как непосредственного конкурента прозы христианско-дидактической. Поле же этой конкуренции было именно читательское сознание образованной, европейски ориентированной дворянской и служилой публики второй половины XVIII в.

³⁹ Ср.: Διδασχαι εις την αγίαν και μεγάλην, τεσσαρακοστήν, και εις άλλας επισήμους εορτάς, μετά και τινων πανηγυρικῶν λόγων, συντεθεισα μεν και εκφωνηθεισα υπο του ποτε θεοφιλεστατου Κερνίχης και Καλαβρίτων ἐν Πελοποννήσῳ επισκόπου κυρίου Ἡλιού Μηνιάτη του Κεφαλληνίως. Νεωστὶ δὲ μετά πλείστης ἐπιμελείας ἐκτυπωθεισα και διορθωθεισα. Ἐλετήριον, αἴφικ παρὰ Ἁνωτῶν τῷ Βόρτολι. Con licenza de' Superiori e privilegio 1727. In Venezia. Писарев мог использовать это или второе издание, вышедшее в 1738 г.; ср.: Bibliographie ionienne. Description raisonnée des ouvrages publiés par les Grecs des Sept-Îles ou concernant ces îles du quinzième siècle a l'année 1900 par Emile Legrand. Œuvre posthume complétée et publiée par Hubert Pernot. Paris, 1910. Vol. 1. P. 90 (№ 303) и 97 (№ 321). De visu нам эти издания доступны не были.

⁴⁰ [Илья Минятей]. Поучения во святую и великую четыредесятницу... Том 1. Посвящение. Л. 2.

ет, что греческий язык является основанием всей «православно-восточной церкви». Таким образом, духовное просвещение новой эпохи, по мнению переводчика, должно было начаться не с возвращения к истокам русской православной традиции, а с обращения к проповедям ученого греческого епископа, получившего образование в Венеции.

Несмотря на то что Писарев действовал со всем пониманием политического момента, его перевод так и не увидел свет. Почему же труду переводчика Коллегии иностранных дел пришлось дожидаться издания еще почти два десятилетия? Сам Писарев намекал, как это ему было свойственно, на козни недоброхотов. Мы позволим себе высказать более конкретное предположение.

К воцарению Елизаветы Петровны многое изменилось в мире, окружавшем Писарева. Скончался С.Л. Владиславич-Рагузинский (1738). За границей, предположительно не по своей воле, находился С.К. Нарышкин⁴¹. Пройдет еще несколько лет – не будет в живых А.Д. Кантемира, уйдут из жизни многие другие представители дипломатического круга 1720–1730-х годов. Для того чтобы преуспеть в этой новой реальности, Писареву предстояло искать новых покровителей. Однако существовали и более глубокие причины неудач его проекта.

Дело в том, что на рубеже 1730–1740-х годов не просто сменилась верховная власть в стране. По словам В.М. Живова, «с началом Елизаветинского царствования отчетливо обозначаются проблемы нового национального самосознания (национальной идентичности). Европеизированная элита не довольствуется более сознанием своей причастности Европе, а начинает формировать представление о «русском европейце», начинает воспринимать себя не как европейский десант, попавший к неведомым аборигенам, а как лучшую часть собственного народа, обладающую властью в силу своих заслуг и достоинства»⁴². С этими сдвигами в сознании связано и выстраивание более жестких перегородок между общественными слоями. Если ранее скромный переводчик Коллегии иностранных дел мог чуть ли не на равных общаться с немногочисленными представителями круга европейски ориентированных дворян, чувствовать себя как бы гражданином некоей «ученой республики», то теперь, и со временем все в большей степени, он оказывался включенным в сложную иерархическую систему, где каждый имел определенное положение и где общение с более высоким по положению человеком регулировалось достаточно строгим этикетом. Люди, наделенные властью, состоянием, высоким статусом, становились покровителями; те, кто располагал более скромными возможностями, искали покровительства. Разумеется, нельзя сказать, чтобы в 1730-е годы покровительство сильных мира не играло существенной роли в жизни образованного человека невысокого положения, каким был Писарев. Однако в это время

⁴¹ Строев А.Ф. Указ. соч. С. 349–350.

⁴² Живов В.М. Указ. соч. С. 268.

еще сохраняется иллюзия проницаемости социальных барьеров за счет образованности – сказывается общее чувство социальной неустойчивости, у многих на памяти бурное начало столетия. В Елизаветинскую эпоху общественная структура стабилизируется.

Хотя это и менее очевидно, в социальном статусе, культурной функции и самосознании духовенства также происходят изменения. Клир начинает претендовать на определенное место в системе национальных ценностей. Складываются новые представления о месте традиционной духовности в жизни общества, формируется новая позиция церкви по отношению к разным социокультурным моделям поведения. Европеизированная служилая элита вызывает в свой адрес упреки, едва ли не впервые сформулированные Кириллом Флоринским в *Слове в неделю Ваий* (1742):

⟨...⟩ начертаніе крѣта и зовразитѣ, ХИРЯГРЯ В' РЪВЯХЪ, политика зазираетъ: ⟨...⟩ къ славословленію Бжію прѣти, ПОДЯГРЯ В' НОГЯХЪ, да и характер шлахетства съ простодѣлами кѣпно бѣзъ предстоать не допѣцаетъ⁴³.

Простой народ впервые предстает как бессловесный хранитель духовной традиции, тогда как дворянин будто бы отторгает себя от этой традиции в пользу сиюминутных и суетных соображений. На этом фоне проект создания новой духовной литературы для нового человека оказывался не востребован: европеизированное дворянство не нуждается более в напряженном осмыслении своей культурной идентичности; укрепляющее свои позиции духовенство стремится сохранить контроль над любыми формами нравственно-религиозной рефлексии. В этой ситуации издание проповедей ученого грека, переведенных чиновником Коллегии иностранных дел, едва ли было уместно. К тому же с приходом к власти Елизаветы прекращается застой в русском проповедничестве. Проповеди произносятся, а затем издаются отдельными изданиями, иногда церковным, иногда гражданским шрифтом. Постановка вопроса об издании проповедей Ильи Миниата могла вызвать недоумение: почему на фоне активной проповеднической практики русских ораторов издается собрание поучений скончавшегося три десятилетия назад греческого епископа?

Так или иначе, перевод Писарева не был издан. С серьезным сопротивлением переводчик столкнулся и при попытке издать другие переводы, выполненные в 1740-е годы. Так, в 1743 г. «по изустному повелению» Елизаветы Петровны Писарев переводит *Vita di Pietro il Grando* Антонио Катифоро. *Житие Петра Великого* (перевод сочинения Антонио Катифоро со значительными добавлениями) выходит в свет только в 1772 г. История издания этого труда подробно исследована В.В. Бушем⁴⁴. Писарев объяснял задержку в печатании кознями «недо-

⁴³ [Кирилл Флоринский]. Слово в неделю Ваий. М., 1742. Л. 10.

⁴⁴ Буш В.В. Указ. соч.

брохотов». Исследователи полагают, что дело было в препятствиях, чинимых духовной цензурой, и именно желанием Писарева защитить себя от нападков духовенства объясняют содержащееся в заголовке и в предисловии к печатному изданию 1772 г. указание на существование греческого издания: «на діалектѣ Италіанскомѣ, а потомъ и на Греческомѣ»⁴⁵. Как бы то ни было, перевод, выполненный по устному повелению императрицы и ей посвященный, был издан спустя почти тридцать лет за счет переводчика (тиражом 600 экз., что обошлось Писареву почти в 800 рублей⁴⁶).

Спустя год Писарев переводит другое сочинение Ильи Миниата – трактат *Камень соблазна*, посвященный причинам разделения восточной и западной церквей⁴⁷. Характерно, что и здесь переводчик обращается к проблематике, вызывавшей живой интерес в кругу просвещенных дипломатов-западников 1730-х годов (см. примеч. 12). Однако перевод Писарева был отвергнут и опубликован в сокращенном виде только в 1783 г. (то есть после смерти переводчика)⁴⁸.

⁴⁵ Дело в том, что изданий книги Антонио Катифоро на греческом языке обнаружить не удалось (это отмечал А.Ф. Бычков; ср.: Русско-китайские отношения в XVIII веке: Материалы и документы. Т. 2. С. 573). Между тем, в предисловии к изданию 1772 г. говорится о книге Катифоро: «⟨...⟩удостоена многой похвалы предъ другими изданиями: почему переведена послѣ другихъ нѣкоторымъ усерднымъ же къ Россіи, яко къ православному государству Грекомъ и на Греческій языкъ, и напечатана въ Венеціи въ 1737 году». В.В. Буш отмечает, что в предисловиях, сохранившихся в рукописных списках, такого указания нет. Он считает, что именно после этого указания и изъятия из перевода сомнительных, с точки зрения православия, мест труд был отдан в печать (*Буш В.В. Указ. соч. С. 26*).

⁴⁶ *Буш В.В. Указ. соч. С. 18*.

⁴⁷ Ср.: Πέτρα σκανδάλου, ἤτοι διασάφησης τῆς ἀρχῆς καὶ αἰτίας τοῦ σχίσματος τῶν δύο ἐκκλησιῶν ἀνατολικῆς καὶ δυτικῆς μετὰ τῶν λέντε διαφορουσῶν διαφορῶν, συντεθει- σα ὑπὸ τοῦ θεοφιλεστάτου Κερνίκης καὶ Καλαβρίτων ἐν Πελοποννήσῳ ἐπισκόπου Ἡλίου Μινιάτη τοῦ Κεφαλληνέως, καὶ παρὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐκδοθεῖσα. Ἐν Λειψίᾳ, 1718, ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τοῦ Βρεῖτκόλφ. Ср.: Bibliographie ionienne... Р. 86 (№ 290). Впоследствии трактат неоднократно переиздавался; ср.: Ibid. Р. 99 (№ 328), 115 (№ 374). De visu нам эти издания доступны не были.

⁴⁸ При этом нельзя сказать, чтобы само сочинение Ильи Миниата не вызывало никакого интереса у русских авторов. В 1752 г. в Бреславле (совр. Вроцлав) был издан перевод трактата на латинский язык вместе с греческим оригиналом. Двухязычное издание *Камня соблазна* было подготовлено Г.В. Козицким и Н.Н. Мотонисом, впоследствии известными русскими литераторами, и посвящено Варлааму Лашчевскому (известному эллинисту, одному из создателей Елизаветинской Библии). Ср.: Πέτρα σκανδάλου, ἤτοι διασάφησης τῆς ἀρχῆς καὶ αἰτίας τοῦ σχίσματος τῶν δύο ἐκκλησιῶν ἀνατολικῆς καὶ δυτικῆς μετὰ τῶν λέντε διαφορουσῶν διαφορῶν, συντεθεισα μὲν καὶ ἐκδοθεῖσα ὑπὸ τοῦ ποτὲ θεοφιλεστάτου Κερνίκης καὶ Καλαβρίτων ἐν Πελοποννήσῳ ἐπισκόπου Ἡλίου Μινιάτη τοῦ Κεφαλληνέως, μεταγλωττισθεῖσα δὲ λατινιστὶ παρὰ Νικολάου Μοθῶνης καὶ Γρηγορίου Κοζίτζκι, καὶ τυπωθεῖσα δαπάνῃ Ἰωάννου Ἰακώβου Κορνίου βιβλιοπώλου τοῦ ἐν Οὐρατισλαύᾳ, ἔτει Χριστοῦ αψνβ'. Lapis Offendiculi, sive expositio originis et causae discidii duar. orient. scilicet et occident. ecclesiarum, cum quinque controversiis composita atque in lucem publicam edita ab Helia Meniata Cephaleniensi, Dei aman- tissimo episcopo olim Cernices et Calabritorum in Peloponneso, in latinum autem sermonem

Неудачи 1740-х годов не сломили дух Писарева: он продолжал надеяться опубликовать свои переводы и, по всей вероятности, достаточно охотно давал всем желающим читать их и переписывать. Выше мы уже приводили утверждение Писарева относительно допечатной судьбы проповедей Миниата:

(...) сія Книга мною переведена еще въ 1741мъ году; съ котораго времени по нынѣ многіе, да и у многихъ находятся переписанные съ оной Экземпляры.

Действительно, многие сочинения Писарева распространялись в списках и становились частью рукописной читательской традиции (ср. у Буша подробное описание рукописей *Жития Петра Великого* и рассказ об обнаружении одной из рукописей в крестьянском доме в начале XX в.⁴⁹).

Почти не вызывает сомнений, что перевод Писарева повлиял на становление крупнейшего проповедника Елизаветинской эпохи Гедеона Криновского⁵⁰. При этом едва ли можно говорить о прямых заимствованиях риторических ходов или хотя бы отдельных образов; ни проповеди Гедеона в целом, ни отдельные их фрагменты в подавляющем большинстве случаев не имеют прототипов⁵¹. Однако у Гедеона встречаются наиболее яркие черты проповеднического стиля и аргументации, характерные для Миниата. Так, русскому проповеднику свойственны внимание к индивидуальной этике, обличение пассивности современных христиан, противопоставление их поведению идеала деятельной веры⁵². Стиль проповедей Гедеона Криновского живой и образный, насыщенный и даже пересыщенный примерами и анекдотами из античной истории, также напоминает поучения греческого эрудита. Едва ли Гедеон мог прочитать Миниата в оригинале, скорее всего, он не владел греческим языком, поскольку закончил лишь Казанскую духовную семина-

conversa a Nicolao Mothonis et Gregorio Kositzki, et excusa sumptibus Ioannis Iacobi Kornii, bibliopolae Vratislaviensis, anno a Christo nato MDCCLII. Ср.: Bibliographie ionienne... Р. 105 (№ 345). Это было научное издание, имеющее ценность в узкопрофессиональной церковно-филологической среде. Перевод Писарева, выполненный на восемь лет раньше, был адресован широкой образованной публике и в таком качестве, видимо, не вызвал энтузиазма у издателей. Во всяком случае, сохранился отзыв от 4 марта 1770 г. архимандрита (впоследствии митрополита) Платона (Левшина), рекомендовавшего напечатать только первую часть и воздержаться от печатания второй. Однако вскоре Писарев умер, дело было сдано в архив. При жизни Писарева перевод не был издан (Буш В.В. Указ. соч. С. 5–7).

⁴⁹ Буш В.В. Указ. соч.

⁵⁰ Митрополит Евгений (Болховитинов). Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-Российской церкви. М., 1995.

⁵¹ Ср.: Kjellberg L. Op. cit. P. 43.

⁵² О сходстве моделей аргументации Гедеона Криновского и Ильи Миниата см.: Кагарлицкий Ю.В. Риторические стратегии в русской проповеди Елизаветинской эпохи.

рию⁵³. Его проповеди, явно свидетельствующие о знакомстве с проповедническим наследием Миниата, вышли в свет до публикации писаревского перевода (1-й том – в 1755 г., 4-й, последний – в 1759 г.); тем самым, естественно предположить, что Гедеон читал перевод в рукописи. Таким образом, можно говорить о широком распространении поучений Миниата в переводе Писарева и заинтересованном внимании к ним, в том числе со стороны профессионалов.

Кроме того, Писарев, как можно предположить, искал покровителей. Так, в литературе отмечено, что в 1750 г. он присутствовал в г. Глухове на выборах украинского гетмана и там перевел с греческого языка сочинение неизвестного автора *Процветание христианской веры* (осталось неопубликованным); перевод был посвящен Тимофею (Щербацкому), митрополиту Киевскому. Видимо, Писарев искал сочувствующих его делу в духовной среде и находил их; во всяком случае, спустя два десятилетия он ссылается на сочувственный отзыв Тимофея, упоминая его наряду с двумя другими представителями украинского духовенства. Характерен выбор в качестве заинтересованных читателей наиболее образованных и толерантных иерархов – выходцев из Киево-Могилянской академии⁵⁴.

Можно полагать, что позднее у Писарева появились покровители и в светской среде. В первой половине 1759 г. выходит в свет первое печатное издание его перевода – небольшая брошюра *Слово св. Иоанна*

⁵³ В духовных семинариях к середине XVIII в. преподавание греческого языка либо отсутствовало, либо было поставлено плохо, в любом случае носило факультативный характер. Историк русского духовного образования пишет, что в середине XVIII в. все духовные школы «были латинские. Преподавание греческого языка было повсюду в упадке. Сама Московская академия до 1738 г. оставалась с одной только латынью» (*Знаменский П.В.* Духовные школы в России до реформы 1808 года. СПб., 2001. С. 444). Когда в 1738 г. греческий язык был введен в Московской академии, преподавателей пришлось приглашать из Киева (Там же. С. 445). Это, в частности, показывает, насколько большой дефицит преподавательских кадров ощущался в этой области. Существовали семинарии с традициями преподавания греческого языка, но Казанская, открытая в 1733 г., таких традиций как будто не имела. Вообще до 1780-х годов «греческий класс не считался для семинарий даже обязательным и был заводим в них разными архиереями по доброй воле и по мере материальных средств» (Там же. С. 750). Гедеон Криновский, обучавшийся в Казанской семинарии в 1740-е годы, едва ли мог выучить там греческий язык.

⁵⁴ Для «киевлян» не только само проповедничество, к середине XVIII в. еще не вполне укоренившееся в Великороссии, было привычной практикой, но и культурная среда, в которой создавались поучения Миниата, казалась более естественной. Украинские клирики имели опыт жизни в поликонфессиональной среде, многие из них, подобно греческому епископу, учились в учебных заведениях католического Запада (например, Амвросий Зертис-Каменский учился во Львове). Межконфессиональный диалог был для них практической реальностью, расхождения между православием и католицизмом – предметом обсуждения и осмысления, обогащение собственного духовно-просветительского наследия за счет латинской учености – не сомнительным предприятием, а императивом.

*Златоуста на евнуха Евтропия*⁵⁵. Это произошло всего лишь через два года после открытия типографии Сухопутного Шляхетного корпуса; брошюра была восьмым по счету изданием этой типографии, причем первым среди выпущенных ею немногочисленных изданий духовного характера. Д.Д. Шамрай отмечает несообразность тематики издания с целями, ради которых создавалась типография, и предлагает наиболее вероятное объяснение ее появлению: публикация перевода совпала по времени с падением канцлера А.П. Бестужева-Рюмина и, вероятно, была инспирирована бригадиром А.П. Мельгуновым, на деньги которого и была осуществлена. Подчеркивается, что Мельгунов «пользовался симпатиями французской партии в Швеции и часто вступал в открытые разногласия с канцлером Бестужевым»⁵⁶. При этом, анализируя саму публикацию, исследователь справедливо указывает, что ее тема – падение большого византийского вельможи – вполне согласуется с высказанной гипотезой об антибестужевской направленности писаревского перевода.

Видимо, можно говорить о близости Писарева к антибестужевским кругам. Это вполне естественно, если придерживаться нашей гипотезы о связях Писарева с кругом образованных дипломатов 1730-х годов: известно, например, об антибестужевской ориентации С.К. Нарышкина и его дружбе с М.И. Воронцовым⁵⁷.

Это особенно интересно, если учесть, что еще до падения Бестужева и выхода упомянутой выше брошюры начинаются мытарства Писарева, связанные с изданием поучений Ильи Миниата и описанные в начале настоящей работы⁵⁸. Можно полагать, что Писарев, стремясь опубликовать свой перевод, активизировал все свои связи и нашел типографию, статус которой еще толком не определился и в которой ему пришлось выполнить политический заказ покровителей.

Публикация проповедей Миниата в двух томах, последовавшая вскоре после выхода «актуальной» беседы св. Иоанна Златоуста, стала важным событием в контексте переводческой программы Писарева. Крупное издание духовного характера вышло в типографии учебного заведения, ставившего своей целью воспитание и образование дворянства; оно

⁵⁵ Слово иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго на евнуха Евтропия, патрикия и верховнаго государственнаго правителя, переведенное с эллиногреч. яз. Стефаном Писаревым. СПб., 1759.

⁵⁶ Шамрай Д.Д. Цензурный надзор за типографией Сухопутного шляхетного кадетского корпуса // XVIII век: Сборник статей и материалов. М.; Л., 1940. Вып. 2. С. 294–295.

⁵⁷ М.И. Воронцов был близок к деятелям этого круга; ср.: Успенский Б.А., Шишкин А.Б. Указ. соч. С. 153–154. Человек, которого мы знаем как собеседника и, видимо, в определенные периоды покровителя Писарева, Нарышкин имел доверительную переписку с Воронцовым; кроме того, в начале 1740-х годов Нарышкин дружит с Лестоком и пользуется его покровительством; Лесток прочит его на место Бестужева (Строев А.Ф. Указ. соч. С. 349–351).

⁵⁸ Барсов Т.В. Указ соч. С. 986–987.

было напечатано гражданским шрифтом, то есть предназначалось преимущественно представителям социальной элиты⁵⁹.

Следует принять во внимание, что проповедь как регулярная практика была инновацией XVIII в. и парадоксальным образом оказывалась приметой именно новой, послепетровской культуры⁶⁰. Издания проповедей гражданским шрифтом, предпринимавшиеся, например, в 1740-е годы, побуждают думать о проповеди не как об органичном элементе церковной жизни, а как о части официальной культуры, значимой, прежде всего, для социальных верхов. Однако публиковались чаще всего проповеди, имевшие общественно-политическое значение, посвященные, например, коронации Елизаветы или дню рождения великого князя Петра Федоровича. Внушительное по объему двухтомное издание, содержащее проповеди отвлеченно-дидактического характера, произнесенные греческим епископом, практически современником, – такое издание предпринималось едва ли не впервые (если не считать непосредственно перед тем вышедшего в свет четырехтомного издания проповедей Гедона Криновского – придворного проповедника Елизаветы, пользовавшегося ее сугубым покровительством). И то, что это издание было подготовлено светским переводчиком, написано на русском языке (а не на гибридной или иной разновидности церковнославянского), издано гражданским шрифтом, то есть явно адресовано представителям новой, послепетровской культуры, – все это, скорее, соответствовало новизне подобного проекта, нежели вступало с ним в противоречие.

Можно допустить, что на рубеже 1750–1760-х годов среди сотрудников Сухопутного Шляхетного корпуса находились достаточно влиятельные люди, которым казалось важным целенаправленно издавать духовную литературу для нужд воспитания дворянской молодежи. На это указывает целый ряд фактов: и само решение издавать переводы Писарева, и просьба Мельгунова разрешить печатание в корпусной типографии букварей и катехизисов (со ссылкой на то, что в продаже их нет, а

⁵⁹ Как отмечает В.М. Живов, вплоть до XIX в. не существовало четкой дифференциации шрифтов, славянского и гражданского, в зависимости от содержания (*Живов В.М.* Указ. соч. С. 492–493). Следует, однако, учитывать, что гражданский шрифт не был понятен большей части грамотного населения, получавшей традиционное образование и разбиравшей только славянские буквы (ср.: *Marker G.* Faith and Secularity in Eighteenth-Century Russian Literacy, 1700–1775 // *Christianity and the Eastern Slavs. Vol. 2. Russian Culture in Modern Times* / Ed. by R.P. Hughes, I. Paperno. Berkeley; Los-Angeles; London, 1994. P. 14). Д.Д. Шамрай указывает, что в 1757 г. в типографии Сухопутного шляхетного корпуса была выпущена тиражом 100 экз. *Пробная книга российским литерам*, предназначенная «для употребления в познании гражданской печати в классах», что, как справедливо полагает исследователь, свидетельствует о наличии у молодых дворян, принятых в корпус, навыков чтения только текстов, набранных церковнославянской печатью (*Шамрай Д.Д.* Указ. соч. С. 297).

⁶⁰ *Кагарлицкий Ю.В.* Проповедь как источник по истории русской словесной и интеллектуальной культуры XVIII в. // *Лингвистическое источниковедение и история русского языка* (2000). М., 2000. С. 243–258.

по распоряжению Сената требуется дворянских и прочих детей «обучать букваря и катехизиса»⁶¹), и работа по подготовке к изданию сочинений Феофана Прокоповича. На основании этих сведений можно сделать два вывода: что желание издавать в корпусе духовную литературу было и что, видимо, инициаторы задумывались о формировании особого корпуса духовной литературы для новоиспеченной дворянской элиты. Во всяком случае, мы ничего не знаем об их намерении издавать сочинения, традиционно входящие в православный круг чтения (например, святоотеческую литературу), тогда как факты говорят сами за себя: одно за другим выходят крупные собрания проповедей – двухтомное издание великопостных проповедей Ильи Миниата и три тома проповедей Феофана Прокоповича⁶². Иными словами, издатели обращаются в первую очередь к текстам духовного содержания, связанным с новой культурой.

Тем более показательно, что Синод отнесся к подобным «экспериментам» весьма и весьма скептически. В ответ на просьбу разрешить печатание букварей и катехизисов в корпусе фактически был получен отказ; издание проповедей Феофана было с большой неохотой разрешено, однако указано, чтобы «впредь никаких во оном кадетском корпусе церковных изданий и книг не печатать»⁶³. Иными словами, Синод был недоволен неожиданной активностью новоиспеченных светских издателей в печатании духовной литературы.

Первое издание перевода Писарева стало возможно именно благодаря ненадолго открывшейся возможности сравнительно независимого печатания книг религиозного содержания. Очевидно, некоторым деятелям шляхетного корпуса были в известной мере близки идеи, которые лежали, согласно нашему предположению, в основе переводческого замысла Писарева, – создать новую духовную словесность, пригодную для чтения образованными дворянами новой эпохи. Однако эта программа в полной мере осуществлялась только в Екатерининскую эпоху и на основе западноевропейских мистических (главным образом масонских) практик. Между тем, деятельность Писарева вызывала у современных ему деятелей дворянской культуры скорее раздражение, чем понимание. Как полагают, именно на выход брошюры с переводом Иоанна Златоуста А.П. Сумароков откликнулся язвительным письмом *К подьячему писцу или писарю*⁶⁴. Переводчик С.А. Порошин вступал в спор с коллегой по поводу негативного отношения последнего к беллетристи-

⁶¹ Шамрай Д.Д. Указ. соч. С. 296.

⁶² Четвертый том сочинений Феофана вышел гораздо позже, в 1774 г., и содержал не проповеди, а богословские трактаты знаменитого церковного деятеля эпохи Петровских реформ.

⁶³ Шамрай Д.Д. Указ. соч. С. 296–297.

⁶⁴ Шамрай Д.Д. Указ. соч. С. 295; ср.: Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 2. К–П. С. 438.

ческим жанрам⁶⁵ (высказывание Писарева приведено выше; см. примеч. 38). Заметим, что речь идет о литераторах, тесно связанных с Сухопутным Шляхетным корпусом. Новая словесность отвергала «благочестивый» путь, намеченный Писаревым, и эволюционировала в сторону той жанровой иерархии, которая закрепилась в русской культуре во второй половине XVIII в. и *mutatis mutandis* – в XIX в.

Но если дворянская читающая публика не испытывала большого интереса к проекту Писарева, то в духовной среде он, видимо, находил все больше сочувствующих. Мы уже писали о положительных отзывах видных церковных деятелей, о влиянии перевода Писарева на Гедеона Криновского. В 1765 г. поучения Ильи Миниата в переводе Писарева переиздаются Петербургской Синодальной типографией⁶⁶. При этом, как уже говорилось, в текст была внесена правка, вызвавшая крайнее раздражение переводчика. Характер правки и причины недовольства Писарева подробно исследованы⁶⁷; для нас же в настоящий момент важно следующее соображение: Писарев видел в своем переводе, прежде всего, текст, написанный на языке новой, светской культуры. Он видел в попытке справщика «славянизировать» некоторые слова и словоформы своеобразное продолжение тех неприятностей, с которыми он сталкивался ранее, пытаясь прорваться через корпоративные рогатки, выставляемые против него закоснелыми синодальными клерками.

В дальнейшем в академической типографии в Петербурге выходит еще один выполненный Писаревым перевод проповедей Ильи Миниата; в небольшую книгу помещены проповеди, сказанные греческим проповедником на итальянском языке и впоследствии изданные по-итальян-

⁶⁵ История русской переводной художественной литературы. Древняя Русь. XVIII век. Т. 1. Проза. С. 123 (глава написана Р.Ю. Данилевским).

⁶⁶ [Илья Минятей]. Поучения во святую и великую четырехдесятницу, то-есть Великопостныя недели. Сочиненныя, и проповеданныя Керникским и Калавритским (что в Пелопоннисе) епископом Илиєю Минятием, Кефалонитянином. С Греческаго, на Российский язык переведенныя. Том 1. Напечатаны в Санкт Петербурге. При Святейшем Правительствующем Синоде. 1765 года; [Илья Минятей]. Поучения во святую и великую четырехдесятницу, то-есть Великопостныя недели. Сочиненныя, и проповеданныя Керникским и Калавритским (что в Пелопоннисе) епископом Илиєю Минятием, Кефалонитянином. С Греческаго, на Российский язык переведенныя. Том 2. Напечатаны в Санкт Петербурге. При Святейшем Правительствующем Синоде. 1765 года.

В августе 1760 г. Писарев назначен обер-секретарем Синода, однако уже в 1763 г. просится назад, в Сенат. Благодаря службе в Синоде Писарев мог расширить свои связи и знакомства и добиться переиздания многострадального перевода. Сам Писарев в дальнейшем приписывал инициативу самому Синоду: «⟨...⟩на конецъ и самое Главное Духовенство, то есть Святѣйшій Правительствующій Свнодъ, неоспоримую въ тѣхъ Проповѣдяхъ полезность усмотря, и мой въ ихъ переводѣ съ Греческаго языка трудъ, съ выгодностію отъ онаго, уважа; послѣ уже и отъ себя въ народъ оныя вторымъ тисненіемъ испустить не оставилъ» ([Илья Минятей]). Два слова поучительныя и четыре речи похвальныя... Предисловіе. Л. 1).

⁶⁷ Кагарлицкий Ю.В., Литвина А.Ф. Указ. соч.

ски в Венеции⁶⁸. Этот перевод, как уже говорилось выше, посвящен С.К. Нарышкину. В предисловии к нему переводчик рассказывает о судьбе двухтомного издания великопостных поучений Миниата, приводит сочувственные отзывы архиереев, высказывает свое недовольство правкой во втором издании. Именно там он рисует картину последовательного успеха перевода сначала у представителей культурной и политической элиты, затем у отдельных представителей духовенства и, наконец, у церковной верхушки:

⟨...⟩ ссылаяся отъ моей стороны на толь многихъ, да еще и знаменитыхъ въ обществѣ Лиць, кои его Проповѣдми пользуютя, и кои сладчайшее его въ нихъ нравоученіе много почитая, достойную ему хвалу вездѣ приписуютъ: особливо же, что нѣкоторые изъ Преосвященныхъ Архіереевъ присланными ко мнѣ письмами тоже засвидѣтельствуюя, весьма нужно въ Семинаріяхъ у себя для обученія ту книгу имѣть признали; такъ что на конецъ и самое Главное Духовенство, то есть Святѣйшій Правительствующій Синодъ, неоспоримую въ тѣхъ Проповѣдяхъ полезность усмотря, и мой въ ихъ переводѣ съ Греческаго языка трудъ, съ выгодностію отъ онаго, уважая; послѣ уже и отъ себя въ народъ оныя вторымъ тисненіемъ испустить не оставилъ⁶⁹.

И теперь, спустя десятилетия, для Писарева особенно важен интерес «знаменитых в обществе Лиц». Недаром новый перевод посвящен одному из деятелей круга просвещенных дипломатов 1730-х годов, С.К. Нарышкину. Очевидно, переводчику, к тому времени уже весьма пожилому человеку (он скончался в 1775 г.), по-прежнему виделся идеал просвещенного и одновременно религиозного читателя-эллинофила, который будет услаждать свой досуг чтением не «историческо-басненных» сочинений, а поучений Миниата.

Стал ли перевод Писарева таким благочестивым чтением для образованной публики? Разумеется, он не сделался в глазах читателей-дворян альтернативой беллетристическим жанрам. Не удался и сам замысел – создать православную литературу для образованного дворянства. Поначалу, в 1740–1750-е годы социальная среда, которая могла бы быть для этого благодатной, еще слишком малочисленна; позднее, когда сформировалась достаточно массовая читательская аудитория нового типа, ее представители стали искать духовного просвещения на путях, далеких от православия: в масонстве, в пиетизме, в мистических течениях. В.М. Живов указывает: «...образованным классом право-

⁶⁸ Due prediche sacre, e quattro orazioni, ritrovate sole delle molte già fatte anche in lingua italiana, dal fù monsignor Elia Mignati da Cefalonia, vescovo greco di Cernizza e di Calavrita in Morea: date in luce e consacrate al merito sublime dell' illustris. et eccellentiss. sig. il sig. Federico Cornaro del q. Girolamo Kav^r Proc^e e capitan generale. In Venezia. MDCCXVII. Appresso Antonio Bortoli. Con licenza de' Superiori (ср.: Bibliographie ionienne... P. 83. N 282).

⁶⁹ [Илья Минятей]. Два слова поучительныя и четыре речи похвальныя... Предисловие. Л. 1.

славная традиция не воспринималась, прежде всего потому, что ощущалась как “неевропейская”, как не дающая пищи для “европейской” души и интеллекта»⁷⁰. Замысел Писарева (если, разумеется, мы его правильно реконструируем) шел вразрез с этой тенденцией. Чем дальше, тем в большей степени Писарев выглядел отставшим от времени, а его переводы, как однажды выразился рецензент *Ежемесячных сочинений*, написанными «не по нынешнему вкусу и по основаниям новой философии»⁷¹.

В то же время перевод Писарева привлекал сочувственное внимание тех, кто реформировал язык русской проповеди и стремился дать в этой области образцы для подражания, в 1750-е годы – Гедеона Криновского, в более позднее время – Платона Левшина и Гавриила Петрова. В 1775 г. Платон и Гавриил издают собрание проповедей, призванное служить источником образцов для широкого круга священнослужителей, обязанных читать проповеди перед своей паствой⁷². Живой, образный язык писаревского перевода в сочетании с вниманием к важным проблемам христианского общежития предопределили включение проповедей Миниата в собрание: из нескольких десятков поучительных слов 12 представляют собой творения греческого епископа в переводе Писарева, переработанные, сокращенные и адаптированные к задачам собрания⁷³. Только в XVIII в. двухтомное издание великопостных проповедей Ильи Миниата выдержало пять изданий: в 1759–1760 гг., 1765 г., дважды в 1776 г. и, наконец, в 1787 г. В 1781 г. *Собрание различных поучительных слов* Ильи Миниата было напечатано в Московской Синодальной типографии кириллическим шрифтом. Таким образом, перевод С.И. Писарева вошел в канон русской проповеди синодального периода.

Нельзя говорить о несчастливой издательской судьбе писаревского перевода. Труд переводчика Коллегии иностранных дел, заверченный в середине XVIII в., многократно переиздавался и привлекает внимание издателей духовной литературы до сего дня⁷⁴.

⁷⁰ Живов В.М. Указ. соч. С. 428 (в сноске).

⁷¹ Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 2. К–П. С. 438. Иронические суждения и общее скептическое отношение к православной книжности не отменяли известного интереса, который питали читатели-дворяне (особенно не чуждые религиозных исканий) к православным духовным сочинениям, в числе которых был и писаревский перевод. Так, очередное переиздание поучений Ильи Миниата было предпринято Н.И. Новиковым в Типографической компании в 1787 г. См.: *Лонгинов М.Н.* Новиков и московские мартинисты. СПб., 2000. С. 304.

⁷² Собрание разных поучений на все воскресные и праздничные дни, на три части разделенное. Ч. 1–3. М., 1775 [сост. Гавриил Петров и Платон Левшин]. Впоследствии собрание многократно переиздавалось.

⁷³ *Сухомлинов М.И.* История Российской Академии. СПб., 1874. Вып. 1. С. 391.

⁷⁴ В 2000 г. в издательстве Сретенского монастыря вышла книга проповедей Ильи Миниата: *Илия Миняятий*. Проповеди. М., 2000. Перевод Писарева существенно переработан и все же вполне узнаваем. Разумеется, упоминания имени переводчика в издании нет.

По-видимому, в XVIII–XIX вв. продолжается рукописное бытование проповедей Ильи Миниата в переводе Писарева, как и переведенного Писаревым *Жития Петра Великого* Антонио Катифоро⁷⁵. Текст, предназначенный автором для высокообразованного и утонченного читателя, стал, как это иногда бывает, достоянием массовой аудитории.

Однако нельзя говорить и о настоящем успехе, о котором, вероятно, мечтал Писарев. Новая традиция православной духовной литературы, адресованной образованной публике, так и не сложилась, что в конечном итоге сказалось на специфическом характере взаимоотношений светской и религиозной культуры в России. Обсуждение этой обширной проблематики выходит далеко за пределы нашей работы.

Стефан Иванович Писарев прожил достаточно долгую и своеобразную творческую жизнь. Многие его переводы десятилетиями ждали печати, а многие так и остались неизданными. В настоящей работе мы подробно рассказали о судьбе одного из них, самого заметного и, по сути дела, самого успешного. Так и не увидели света переведенные Писаревым *Слова и поучения* Никифора Феотоки, *Проповеди* иерусалимского патриарха Хрисанфа, многие другие сочинения. Даже в том случае, когда перевод получал высокую оценку авторитетного духовного лица (например, *Проповеди* Хрисанфа были в целом одобрены Гавриилом Петровым), как будто какая-то неведомая сила вставала на пути рукописи и не пропускала последнюю к печати⁷⁶. Нам представляется, что причиной этого является оригинальность писаревского замысла, который воспринимался как чуждый и враждебный духовной корпорацией (хотя и приветствовался отдельными просвещенными иерархами) и при этом не находил ожидаемого отклика в дворянской среде⁷⁷.

Здесь возникает соблазн говорить о промежуточном положении Писарева, «застрявшего» между старой и новой культурами. Однако такая характеристика была бы, на наш взгляд, несправедливой и поверхностной. Скорее, следует задуматься о нереализованной возможности в истории русской культуры. Аннинское десятилетие, до сих пор зачастую рассматриваемое лишь в контексте периодизации политической и социальной истории России, было весьма продуктивно в культурном отно-

⁷⁵ Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 2. К–П. С. 438.

⁷⁶ Буш В.В. Указ. соч. С. 6–7. О судьбе писаревского перевода *Камня соблазна* Ильи Миниата мы уже писали выше.

⁷⁷ Показательно, что Н.И. Новиков издал впоследствии не только поучения Ильи Миниата, но и некоторые другие сочинения, ранее переведенные Писаревым, правда, в переводах других лиц. Так, в 1784 г. Новиковым издаются *Беседы Хрисанфа, блаженного Патриарха Иерусалимского* в переводе Моисея Гумилевского (представлены Писаревым в Синод в 1766 г.), в 1785 г. – *Книга цвет добродетели и терние пороков* в переводе Ивана Харламова (переведена Писаревым в 1733 г.); ср.: Лонгинов М.Н. Указ. соч. С. 242, 264. Это лишний раз свидетельствует о том, что Писарев выбирал для перевода те сочинения, которые впоследствии привлекали внимание ищущих духовного просвещения дворян.

шении. Замыслы этого времени в чем-то предвосхищают ход событий на полвека вперед, в чем-то навсегда остаются несбывшимися⁷⁸. Так вышло и с переводческой программой С.И. Писарева: она частично предвосхищает стремление к духовному просвещению дворянской элиты конца столетия, частично так и остается не осуществившейся возможностью культуры, в которой гармонично сочетались бы традиционное благочестие и европейская образованность и утонченность.

Yury V. Kagarlitsky

**On publishing translations of religious books
in the 18th century Russia:
Translations by Stefan Pisarev and their fate**

The paper concerns a little-investigated problem – the reasons for which some Orthodox didactic and rather «innocent» works remained unpublished for a long time and were not approved by censors in the 18th century. The case of Stefan Pisarev (1708?–1775), a pious and loyal official, may be very thought-provoking: his translations of religious books (without any free-thinking) often met serious obstacles on their way to the printing press.

In the beginning of his career Pisarev was acquainted with representatives of a very close and specific circle – Russian diplomats, Western-oriented noblemen and intellectuals: S.L. Vladislavich-Raguzinskij, S.K. Naryshkin and others. Members of this circle took interest in various aspects of European culture, and at the same time most of them remained faithful to the Orthodox spiritual tradition. Their devotion was of a quite new type – deep, strong, and sincere devotion of Western-oriented, well-educated, and open-minded nobleman. Influenced by members of the circle, Pisarev decided to translate – mainly from Greek – a number of Orthodox didactic books written by contemporary foreign writers. Those translations were to form a corpus of new religious literature, written in the secular Russian of post-Petrine epoch and addressed to the newly arisen Western-oriented audience. One of the most famous book translated by Pisarev was *Lent Sermons* by Ilija Miniijatij (Elias Meniates, 1669–1714), a well-educated, tolerant Greek preacher, who wanted his audience to concentrate on the problems of the individual ethics and the individual introspection, not on religious discords. At the same time Meniates had a brilliant, vivid style of speech and used colloquial Greek. His sermons matched the idea of new didactic literature very well.

Pisarev finished his translation at the beginning of 1740's. Some of his former friends and patrons were gone, some were abroad. The synodal censors did not approve his works. Pisarev let some of his friends read and copy his translations, which became, in that way, well-known to the general public, including clergymen and even certain bishops, long before they were published officially. But «ill-wishers» of the translator

⁷⁸ Ср.: «...Тредиаковский, в сущности, принадлежит двум эпохам – времени, в котором он живет, и времени, которое он предвосхищает» (*Успенский Б.А., Шишкин А.Б. Указ. соч. С. 177*).

on various pretexts retarded the publication of his works; e.g. the publication of Elias Meniates *Lent Sermons* was delayed for almost 20 years.

Pisarev's misfortunes arose because he worked in inappropriate social context. The noble public of the 1740's–1760's took no interest in such a literature; the clergy rejected Pisarev's works as alien to the Russian spiritual tradition. Pisarev failed to create a pious literature which could become a handbook of a well-educated and open-minded nobleman, although his works remained mass reading for a long time.

GEORGES DULAC

LES PROBLÈMES DU LIVRE DANS
LES RELATIONS DE DIDEROT AVEC LA RUSSIE
(1762–1785)

La chronique des relations de Denis Diderot avec la Russie de Catherine II, souvent relatée¹, comporte plusieurs épisodes où le Livre occupe une place centrale, que ce soit en qualité de marchandise de valeur ou de produit intellectuel. Les plus notables, tels l'achat de la bibliothèque du philosophe par l'impératrice et le projet de refaire l'*Encyclopédie* sous son égide, ont fait l'objet d'études attentives². Nous devons cependant y revenir rapidement, car on ne peut guère les dissocier d'autres moins connus mais également significatifs. Embrasser l'ensemble de cette question demeure une tâche délicate: les faits qui s'y rapportent sont plus nombreux qu'il ne semble au premier abord — trop nombreux sans doute pour qu'on puisse envisager de les analyser complètement ici —; et si l'on peut d'autre part déceler sous leur éparpillement plusieurs problèmes récurrents et donc une certaine continuité, on y soupçonne aussi trop de faux-semblants et peut-être de motivations contradictoires pour qu'il soit toujours aisé d'asseoir leur interprétation.

Cette histoire s'ouvre sur deux événements: à la fin de l'été 1762, la proposition faite à Diderot par l'impératrice de Russie, quelques semaines à peine après son avènement, d'achever l'impression de l'*Encyclopédie* à Riga ou

© Georges Dulac, 2008

¹ Бильбасов В.А. Дидро в Петербурге. СПб., 1884; Tourneux M. Diderot et Catherine II. Paris, 1899; Wilson A. Diderot, sa vie et son œuvre / Trad. de l'anglais par G. Chahine, A. Lorenceau, A. Villelaur. Paris, 1985. Ch. 34, 37, 44; la plupart des faits sont évoqués dans Diderot D. Correspondance / Éd. G. Roth, J. Varloot. Paris, 1955–1970. 16 vol. (plus loin – Corr.).

² Desné R. Quand Catherine II achetait la bibliothèque de Diderot // Thèmes et figures du siècle des Lumières. Mélanges offerts à Roland Mortier / Éd. R. Trousson. Genève, 1980. P. 73–94; Proust J. Diderot, l'Académie de Pétersbourg et le projet d'une *Encyclopédie* Russe // Diderot Studies. 1969. N XII. P. 103–131.

à Saint-Pétersbourg, afin de se mettre à l'abri des persécutions³; en 1765, l'achat par Catherine de la bibliothèque du philosophe, qui en gardera la gestion sa vie durant, puis l'année suivante le versement de cinquante annuités d'avance de la pension promise au bibliothécaire de Sa Majesté, soit au total 66 000 livres, un capital aussitôt placé très avantageusement. De ces deux événements, le second surtout a eu un très grand retentissement en Europe⁴, mais tous deux ont eu des conséquences ou des prolongements durables, précisément en ce qui concerne les rapports du directeur de l'*Encyclopédie* avec les problèmes de la «librairie», c'est-à-dire essentiellement ceux qui se rapportent à la faculté pour l'écrivain-philosophe de publier ses travaux, notamment sur les sujets qui lui paraissent d'une utilité sociale essentielle, et aussi à la possibilité pour lui de tirer un revenu suffisant de sa production. Il faut observer d'autre part que le développement des relations de Diderot avec la Russie, à partir de 1766, intervient dans des conditions politiques particulières, caractérisées par une guerre diplomatique incessante opposant les cours de Versailles et de Pétersbourg: malgré l'évolution de la conjoncture, ces circonstances resteront à bien des égards déterminantes jusqu'à son retour de Russie, en 1774. Ajoutons à ces observations préliminaires un dernier point qui n'a pas toujours été pris en considération. L'activité de Diderot concernant la Russie et sa souveraine, loin de rester isolée, s'insère dans un important réseau de relations avec Pétersbourg, qui ne nous est d'ailleurs qu'imparfaitement connu⁵: il y trouve divers relais, certains appuis, et aussi des expériences parallèles à la sienne. Ainsi la correspondance très fournie qu'il a entretenue avec son ami le prince Dmitri Alekseevitch Golitsyn, ministre plénipotentiaire à Paris (jusqu'en décembre 1767), puis à La Haye (à partir de mars 1770), constitue un élément essentiel pour comprendre sa position, bien qu'elle ait à peu près totalement disparu: nous pouvons seulement en reconstituer partiellement le contenu par les allusions que contiennent ses lettres à Sophie Volland ou à Étienne-Maurice Falconet, et surtout par l'abondante correspondance de service que le prince adresse à Pétersbourg⁶.

³ Corr. T. IV. P. 172–177. L'invitation avait été transmise par Ivan Chouvalov et Voltaire, mais aussi par le prince Dmitri Alekseevitch Golitsyn; le 3 octobre 1762, Diderot écrit à Sophie Volland (Ibid. P. 185): «J'ai oublié de vous dire que j'ai reçu, il y a une quinzaine de jours, par le prince Gallitzin, une invitation de la part de l'impératrice régnante de Russie, d'aller achever notre ouvrage à Pétersbourg. On offre liberté entière, protection, honneurs, argent, dignités, en un mot tout ce qui peut tenter des hommes mécontents de leur pays et peu attachés à leurs amis, de s'expatrier et de s'en aller».

⁴ «Philosophes, journalistes et poètes <...> ont transformé un événement de la vie privée en événement national et européen. Du coup se rehaussait l'image de Diderot homme public <...>» (Desné R. Op. cit. P. 93).

⁵ Il semble que les correspondances que Diderot a reçues de l'impératrice, de ses ministres et de ses diplomates aient été détruites pendant la Révolution comme compromettantes: elles témoignaient des relations de la famille avec une souveraine qui était un des principaux soutiens de la contre-révolution.

⁶ Cette correspondance adressée au vice-chancelier Alexandre Mikhaïlovitch Golitsyn est pour l'essentiel conservée à Moscou, Archives des actes anciens de l'État russe (RGADA), fonds 1263, *opis* 1, N 1111–1125; les réponses du vice-chancelier (minutes), qui expriment

I. L'ALLIANCE

Quand Diderot se voit proposer d'achever l'*Encyclopédie* sur le territoire de l'empire de Russie, avec tous les soutiens et financements nécessaires, l'entreprise, vue d'un peu loin, paraît dans une situation désespérée: d'Alembert, son codirecteur, a démissionné dès janvier 1758, le privilège du *Dictionnaire* a été révoqué en mars 1759, et une partie des collaborateurs, dont certains des plus distingués, se sont retirés. Quelques-uns ont même exercé de fortes pressions sur Diderot pour qu'il abandonne à son tour⁷. En outre les encyclopédistes sont depuis plusieurs années l'objet d'une campagne de calomnies qui tend à les faire apparaître comme des gens «de sac et de corde», ainsi que Diderot le rappellera plus tard à Catherine II:

Nous avons eu pour ennemis déclarés la cour, les grands, les militaires, qui n'ont jamais d'autre avis que celui de la cour, les prêtres, la police, les magistrats, ceux des gens de lettres qui ne coopéraient pas à l'entreprise, les gens du monde, ceux d'entre les citoyens qui s'étaient laissé entraîner par la multitude. Cependant, au milieu de ce déchaînement général, tout le monde souscrivait. Ils voulaient avoir l'ouvrage et perdre les auteurs⁸.

Pourtant son refus de la proposition impériale est fortement motivé. Par des raisons pratiques tout d'abord, qui tiennent à la complexité de la situation et aux contradictions qui au sein du pouvoir monarchique laissent subsister la possibilité d'achever discrètement le *Dictionnaire*, une entreprise à laquelle sont attachés de grands intérêts économiques⁹, soutenus par une forte demande dans le public. À Voltaire, qui depuis plusieurs années le presse d'accepter les propositions du roi de Prusse, ou maintenant de l'impératrice, de publier en terre étrangère, il écrit le 29 septembre 1762: «Non, très cher et illustre frère, nous n'irons ni à Berlin ni à Pétersbourg achever l'Encyclopédie ; et la raison, c'est qu'au moment où je vous parle on l'imprime ici et que j'en ai des épreuves sous mes yeux. Mais, chut!»¹⁰. En effet, grâce à l'appui de Malesherbes, et bientôt du lieutenant général de police Sartine qui lui succédera à la tête de la Librairie en 1763, l'entreprise bénéficie d'une permission tacite. Cependant Diderot évoque

généralement l'avis de l'impératrice, sont conservées sous les N 4137 et suivants (ensemble désormais désigné par l'abréviation Gol.); voir *Dulac G.* Politique et littérature. La correspondance de Dmitri A. Golitsyn // DHS. 1990. ? 22. P. 367–400. Comme nous le verrons plus loin, Diderot fut également en rapport avec le D^r Ribeiro Sanches, un ami de D.A. Golitsyn, qui correspondait activement avec Pétersbourg.

⁷ Sur la crise à multiples rebondissements ouverte après la publication du tome VII, en 1757, voir: *Wilson A.* Op. cit. Ch. 21, 23, 25 et surtout P. 278–289; *Proust J.* Diderot et l'Encyclopédie. Paris, 1962. P. 73 sqq.

⁸ *Diderot D.* Mélanges philosophiques pour Catherine II, 62: «De l'Encyclopédie» // Diderot D. Œuvres / Éd. L. Versini. T. 3: Politique. Paris, 1995. P. 362.

⁹ Jacques Proust cite l'opinion de Voltaire qui évaluait à 7 650 000 livres le capital mis en mouvement par la fabrication de l'*Encyclopédie* (*Proust J.* Diderot et l'Encyclopédie. P. 47).

¹⁰ Lettre à Voltaire, 29 septembre 1762 // Corr. T. IV. P. 175–176.

aussi une autre raison, qui est de principe: «<...> le manuscrit de l'Encyclopédie ne nous appartient pas, <...> il est en la possession des libraires qui l'ont acquis à des frais exorbitants, et <...> nous n'en pouvons distraire un feuillet sans infidélité»¹¹. À cette époque Diderot n'avait pas peut-être pas encore pleinement pris conscience de l'énorme disproportion entre les honoraires chichement consentis aux auteurs — une misère — et les bénéfiques colossaux que les libraires associés allaient tirer de l'affaire¹². Cependant, comme il devait le montrer l'année suivante dans sa *Lettre sur le commerce de la librairie*¹³, adressée à Sartine en octobre 1763, il était très attaché au principe encore mal reconnu de la propriété littéraire, qui à cette date ne pouvait être défendu qu'en liant l'intérêt des auteurs à ceux des libraires, puisque les premiers étaient alors dans l'obligation de vendre leur production aux seconds, et pouvaient donc considérer leur en transmettre la pleine possession comme celle de n'importe quel autre bien: principe de propriété que les autorités politiques, tenant le privilège pour une protection royale et une grâce, et non comme un bien, n'étaient pas prêtes à admettre¹⁴. Dans ces conditions, faut-il penser que la proposition de l'impératrice se réduisait en fin de compte à un beau geste sans conséquence? Il n'en est rien, pour plusieurs raisons. Dans la situation malgré tout très précaire où se trouvait l'entreprise encyclopédique — il semble que la permission tacite n'ait jamais été inscrite dans le registre *ad hoc*, et elle était de toute façon révoquable à tout instant —, la possibilité ainsi confirmée d'une éventuelle expatriation, avec les effets désastreux qu'elle aurait entraînés non seulement pour les libraires mais aussi pour tous les métiers liés au livre, constituait une menace opportune¹⁵, qui renforçait la position de ses défenseurs, comme Malesherbes. Il ne faut pas sous-estimer, d'autre part, l'effet moral de la proposition impériale, vu les circonstances extrêmement pénibles dans lesquelles Diderot devait poursuivre son travail, déjà harassant en lui-même. Avant même qu'il s'aperçoive que le libraire André-François Le Breton avait censuré à son insu certains des articles les plus importants dans les dix derniers volumes¹⁶, il savait en effet que

¹¹ Ibid. T. IV. P. 176.

¹² J. Proust confirme l'évaluation de Diderot qui déclare à Catherine II, en 1773, que les libraires associés ont eu, pour 1,5 million de livres de dépenses, 4 millions de rentrées, et donc 2,5 millions de livres de profit net (*Diderot D. Mélanges philosophiques*, 62: «De l'Encyclopédie». P. 364; *Proust J. Diderot et l'Encyclopédie*. P. 58).

¹³ *Diderot D. Œuvres*. T. III. P. 55–116; DPV. T. VIII. P. 465–567; voir également l'édition partielle, comportant une importante introduction, donnée par J. Proust sous le titre que Diderot a employé en 1769: *Diderot D. Sur la liberté de la presse*. Paris, 1964.

¹⁴ *Diderot D. Sur la liberté de la presse*. P. 13–14.

¹⁵ J. Proust parle du «chantage» à l'expatriation exercé par les libraires en 1759 et au cours des années suivantes (*Proust J. Diderot et l'Encyclopédie*. P. 74 *sqq.*)

¹⁶ Diderot avait été profondément et durablement blessé. A. Wilson note qu'après cette «trahison», «il ne parla presque jamais de l'*Encyclopédie* avec enthousiasme et fierté» (*Wilson A. Op. cit.* P. 398); voir la lettre véhémement qu'il adressa au libraire le 12 novembre 1764, avant la sortie des derniers volumes (*Corr. T. IV. P. 300–306*); sur cette affaire complexe, qui comporte de nombreuses obscurités, voir *Wilson A. Op. cit.* P. 391–398. Notons qu'une des pièces maîtresses à considérer est une collection de l'*Encyclopédie*, magnifiquement reliée, qui

les persécutions n'avaient pas été sans conséquences sur la qualité de l'ensemble, qui serait en fin de compte décevante à bien des égards¹⁷. Toute symbolique qu'elle fût, la proposition impériale constituait donc à ses yeux une reconnaissance de la valeur du travail entrepris, par conséquent une revanche et un encouragement. Le philosophe avait d'ailleurs quelques raisons de considérer que la sollicitude et l'estime que la souveraine témoignait à l'entreprise encyclopédique et à son directeur rendraient plus difficile une persécution ouverte, du moins de la part du pouvoir royal. Il ne devait cependant pas pousser aussi loin que Voltaire le principe selon lequel un écrivain doit « toujours avoir quelque tête couronnée dans sa manche »¹⁸, quitte à accepter certaines compromissions¹⁹. Quelques années plus tard, quand plusieurs affaires de librairie et surtout le supplice du chevalier de La Barre (1^{er} juillet 1766) auront une fois de plus rappelé la menace que représentaient pour les philosophes tant les « infâmes bêtes féroces »²⁰ de la caste parlementaire que l'intolérance gouvernementale, Voltaire²¹ et peut-être Catherine II elle-même²² reviendront en vain à la charge pour conseiller à Diderot de se mettre en sûreté à l'étranger.

Qu'une sorte d'alliance entre les encyclopédistes et l'impératrice se soit esquissée dès 1762, avant de se trouver confirmée au cours des années suivantes, principalement à propos d'affaires de « librairie », était un fait important, qui allait se traduire par de multiples hommages de la part des gens de lettres, mais aussi sans doute, comme nous le verrons, par une dénonciation plus vive des

a appartenu à Le Breton et provient peut-être de la bibliothèque de Diderot: elle a été mise en vente à Berlin en 1933 et porte l'ex-libris de l'état-major russe de l'époque tsariste. Cette collection comporte un volume supplémentaire contenant 284 pages d'épreuves d'une quarantaine d'articles: elles permettent d'apprécier au moins partiellement les mutilations effectuées par Le Breton (*Torrey N.L., Gordon D.H. The Censoring of Diderot's «Encyclopédie» and the re-established text. New York, 1947*). Voir aussi dans le présent recueil la contribution de Barbara de Negroni.

¹⁷ Diderot dira à Catherine que « l'Encyclopédie, avec toutes les qualités d'un excellent ouvrage, [a] tous les défauts d'un mauvais » (*Diderot D. Mélanges philosophiques. P. 363*). Un document dont l'authenticité est mal établie mais probable, cité en 1772 par Pierre-Joseph-François Luneau de Boisjermain dans un factum contre les libraires associés, se présente comme un mémoire ou l'extrait d'un mémoire composé par Diderot en 1768 et adressé sans doute à Sartine pour soutenir le projet du libraire Charles-Joseph Panckoucke de préparer une nouvelle édition de l'*Encyclopédie*. Il contient une analyse des défauts de la première édition (DPV. T. V. P. 79–81). Il semble que Mikhaïl Lepekhine ait découvert il y a une douzaine d'années une copie de ce document dans un fonds russe, mais nous n'avons aucune information précise à ce sujet.

¹⁸ Lettre de Voltaire à M^{me} Du Deffand, 14 février 1762 (Best. D 10 326).

¹⁹ Voir à ce sujet: *Mervaud Ch. Portraits de Catherine II dans la Correspondance de Voltaire // Catherine II et l'Europe / Éd. par A. Davidenkoff. Paris, 1997. P. 163–170.*

²⁰ Lettre à Falconet, 5 août 1766 // *Corr. T. VI. P. 254.*

²¹ Voir les lettres de Voltaire à Damilaville des 23, 25 et 28 juillet, puis des 6, 18 et 25 août 1766 citées dans *Corr. T. VI. P. 236–238 et 249–250.*

²² Le 10 mars 1767 (anc. style), l'impératrice écrit de Moscou à Falconet: « Au sujet de Mr Diderot, je vous dirai que je le voudrais ici <...> pour lui éviter des persécutions futures, que je crains toujours pour lui <...> », *Переписка императрицы Екатерины II с Фальконетом / Под ред. А.А. Половцова // Сборник РИО. СПб., 1876. Т. 17. С. 3.*

persécutions qui les frappaient ou les menaçaient: les victimes avaient à qui en appeler. Cependant cette situation inédite ne résultait pas simplement de la bienveillance de celle qui se dirait un jour l'«écolière» de Voltaire²³. Si les encyclopédistes étaient décriés dans leur pays, elle-même était bien loin, au début de son règne, de jouir d'une position enviable dans l'opinion européenne comme auprès des chancelleries occidentales: les instructions données en 1763 par la cour de Versailles à son ministre à Pétersbourg, le marquis de Bausset, contiennent des spéculations sur la fragilité de la position de Catherine II et sur l'identité de son successeur éventuel, car «on ne saurait se refuser à croire que cette princesse ne finira pas ses jours sur le trône»²⁴. Aussi, pendant plusieurs années encore, les banquiers d'Amsterdam rechigneront-ils à accepter ses emprunts²⁵. Dans ces conditions, il était d'un grand intérêt politique qu'une part notable de la production imprimée de langue française, qu'il s'agisse d'ouvrages ou de périodiques diffusés dans toute l'Europe, travaille à rehausser le prestige de l'impératrice de Russie, avec la caution du directeur de l'*Encyclopédie*. De ce fait, nul n'était plus convaincu que le prince D.A. Golitsyn, que Diderot connaissait dès 1762, avant qu'il devienne au cours des années suivantes un de ses amis les plus proches: dans les dépêches qu'il envoie à Pétersbourg, le jeune diplomate ne cessera d'insister sur les bénéfices à attendre pour la Russie des liens très étroits qu'il a su nouer avec les gens de lettres et sur l'intérêt que la diplomatie russe doit porter à la chose imprimée, qu'elle soit considérée comme l'enjeu qui oppose partisans et adversaires de la liberté d'expression, voire de la «philosophie», ou tout simplement comme un moyen de propagande.

Lorsqu'en 1765-1766 Diderot bénéficie d'un acte de mécénat retentissant de la part de l'impératrice, sous prétexte de l'achat de sa bibliothèque, il a déjà envisagé depuis plusieurs années, avec l'achèvement du *Dictionnaire*, la fin prochaine de la rémunération qu'il lui a procurée. Jusqu'à cette date, on peut estimer qu'en moyenne ses revenus annuels s'étaient montés aux alentours de 4 500 livres, ce qui était peu pour un homme qui avait amis et relations dans la bonne société parisienne. Sur cette somme, un tiers était constitué par les honoraires versés lors de la sortie des volumes de discours, puis de planches, un tiers par la rente du capital constitué par les libraires à partir de ses émoluments réinvestis dans l'entreprise encyclopédique, un tiers enfin par la rente foncière provenant de son héritage languais. Seule cette dernière fraction devait lui rester, une fois l'*Encyclopédie* achevée et sa fille dotée avec le capital garanti par les libraires, soit environ 1 500 livres, tout juste de quoi vivre assez misérablement en province²⁶. Quant aux

²³ Catherine II à Friedrich Melchior Grimm, 1^{er} octobre 1778, Письма императрицы Екатерины II к Гримму (1774-1796) / Изд. Я.К. Грота // Сборник РИО. СПб., 1878. Т. 23. С. 102.

²⁴ Recueil des instructions données aux ambassadeurs <...>, Russie / Éd. A. Rambaud. Paris, 1890. Т. 2. P. 234–236. On lit dans l'instruction donnée au chargé d'affaires Honoré-Auguste Sabatier de Cabre en mai 1769: «Le grand-duc n'ignore point les forfaits de sa mère ni les circonstances de son usurpation» (Ibid. P. 274).

²⁵ D.A. Golitsyn au vice-chancelier A.M. Golitsyn, 18 août 1770, Gol. N 1118. Fol. 102–103.

²⁶ Proust J. Diderot et l'*Encyclopédie*. P. 106–107.

revenus à attendre de nouveaux travaux littéraires, ils étaient problématiques pour un philosophe à la réputation sulfureuse, qui avait conservé un souvenir cuisant des mois passés en 1749 au château de Vincennes, et qui en conséquence n'avait à peu près rien publié depuis une douzaine d'années. Ce qu'il appellera le «bienfait» de l'impératrice marquait l'échec du projet qu'il avait formé une vingtaine d'années plus tôt de vivre de sa plume, mais venait à point nommé pour écarter des perspectives fort sombres. Et ce d'autant mieux que le capital placé par ses soins dans la Ferme générale — institution décriée mais très lucrative pour ses associés — devait se trouver doublé, voire triplé en quelques années, lui assurant une véritable aisance²⁷. Il conservait ainsi la précieuse possibilité d'écrire librement, sans presque rien publier, sinon confidentiellement et sous forme manuscrite dans la *Correspondance littéraire* de Friedrich Melchior Grimm, ou anonymement dans l'*Histoire des Deux Indes* de l'abbé Raynal. Encore devait-il garder en portefeuille jusqu'aux dernières années de sa vie la plupart de ses grandes œuvres, du *Rêve de d'Alembert* à *Jacques le Fataliste*. En 1778 seulement il livrera à l'impression sa *Vie de Sénèque*, dont la seconde édition, très augmentée sous le titre d'*Essai sur les règnes de Claude et de Néron*, lui vaudra menaces et réprimandes, ce qui l'amènera une fois de plus à résipiscence: deux ans avant sa mort, il devra adresser une rétractation au lieutenant général de police, se déclarant, non sans ironie, «corrigé pour le reste de [sa] vie»²⁸. Ainsi la carrière littéraire si exceptionnelle de Diderot, caractérisée par la révélation posthume de la majeure partie de son œuvre, devait être pour une bonne part l'effet de la générosité impériale.

À la suite des bienfaits de l'impératrice, Diderot était tout naturellement devenu son agent à Paris pour tout ce qui pouvait relever de sa compétence, comme le recrutement d'artistes ou de techniciens, l'évaluation et l'achat d'œuvres d'art, l'accueil des jeunes artistes russes venus se former auprès des maîtres de l'Académie royale²⁹, voire la mise en œuvre de moyens propres à neutraliser un écrit nuisible au prestige de la souveraine. Mais Diderot aspirait à témoigner sa reconnaissance autrement que par des services de ce genre: pour sa bienfaitrice, il souhaitait faire œuvre d'écrivain et de philosophe, et du même coup démontrer, à défaut de pouvoir le faire pour son pays, l'utilité éminente de tels travaux, qui pourraient faciliter les transformations entreprises en Russie. D'où la proposition, annoncée dès novembre 1766 et présentée sans doute en février 1767 dans une lettre, perdue, à Ivan Betskoi³⁰, puis rappelée avec insistance dans celles adressées à Falconet, de composer pour sa bienfaitrice un important «monument littéraire», une «pyramide», dont il viendrait un jour surveiller l'édition à Pétersbourg:

²⁷ Le 27 août 1771, Diderot écrit à sa sœur que sa fortune se monte à près de 200 000 livres (soit environ 10 000 livres de rente) et qu'il pourrait la doubler (Corr. T. XI. P. 142).

²⁸ Au lieutenant général de police Lenoir, mai 1782 (Corr. T. XV. P. 303): cet épisode était pour une bonne part une comédie arrangée afin de sauver les apparences.

²⁹ Dulac G. La question des beaux-arts dans les relations de Diderot avec la Russie: les réflexions d'un philosophe, 1765–1780 // *Век Просвещения / Отв. ред. С.Я. Карп. М., 2006. Вып. 1. С. 7–29.*

³⁰ Lettre à Falconet, mars 1767 (Corr. T. VII. P. 41). Des deux graphies Betski et Betskoi, la seconde est aujourd'hui la plus usitée.

⟨...⟩ ne me croyant pas tout à fait incapable de seconder ses grandes vues, je m'engageois à travailler à un vocabulaire général où tous les termes de la langue se trouveroient expliqués, définis, circonscrits; vous concevez qu'un pareil ouvrage ne peut se faire que lorsque les sciences et les arts ont été portés à leur dernier point de perfection; vous concevez que c'étoit un moyen de transporter chez une nation naissante tous les travaux, toute la lumière de trois ou quatre cents ans d'une nation policée; vous concevez que l'exactitude et la franchise suffisoient seules pour rendre un pareil ouvrage d'une hardiesse à exiger toute la protection d'une souveraine. ⟨...⟩ Je me suis offert. J'ai proposé. J'attends encore une réponse. C'est alors que vous eussiez vu votre ami accourir à Pétersbourg avec sa pyramide entre ses bras, comme je vous le disois dans une de mes premières lettres³¹.

Effectivement la réponse tarda à venir, et quand elle arriva, Diderot en fut consterné: «Votre dernière lettre, écrit-il à Falconet, celle de Mr le général Betzky, écrite sous la dictée de sa Majesté, ont renversé toutes les espérances dont je m'étois bercé. Il n'est que trop vrai que c'est moi qu'on veut, et non mon ouvrage³²». Notre objet n'est pas ici de spéculer sur le contenu de ce projet avorté. Disons seulement qu'il s'agissait d'un ouvrage d'une tout autre dimension que le *Dictionnaire philosophique* de Voltaire, le *Portatif* dont Falconet entretenait l'impératrice au même moment³³. Le dictionnaire philosophique de grande étendue que proposait Diderot devait être essentiellement un dictionnaire de langue, dont bien des articles de l'*Encyclopédie* peuvent donner une idée³⁴. S'il devait couvrir un champ plus restreint que le *Dictionnaire raisonné*, comme le confirme le fait que le philosophe envisageait d'y travailler seul, en lui consacrant «[ses] dernières années»³⁵, il s'en rapprochait cependant: lorsqu'il fut à Pétersbourg, l'impératrice devait lui rappeler sa proposition³⁶, et il en résulta

³¹ À Falconet, mai 1767 (Corr. T. VII. P. 54).

³² Au même, juillet 1767 (Ibid. P. 88).

³³ Lettre à Catherine II, 19 mars 1767 (Переписка императрицы Екатерины II с Фальконе-том. С. 7).

³⁴ Voir par exemple l'article * BASSESSE, où Diderot écrit: «Observons ici combien la langue seule nous donne de préjugés <...>». L'intérêt que Catherine II portera aux questions lexicales et aux comparaisons entre les différentes langues était d'une nature différente.

³⁵ Lettre à Falconet, mai 1767 (Corr. T. VII. P. 55); en plaidant de nouveau pour ce projet dans sa lettre à Falconet de juillet 1767, Diderot précisera: «<...> cet ouvrage n'est point l'Encyclopédie, mais <...> il la suppose faite et mieux faite qu'elle ne l'est» (Ibid. P. 89). Sur le travail philosophique de Diderot sur les questions de lexique dans l'*Encyclopédie*, voir *Leca-Tsiomis M.* Écrire l'Encyclopédie. Diderot, de l'usage des dictionnaires à la grammaire philosophique. Oxford, 1999. Ch. 14 à 16 (SVEC. Vol. 375).

³⁶ «Je lui avois autrefois proposé de refaire l'Encyclopédie pour elle. Elle est revenue d'elle-même sur ce projet qui lui plaisoit, car tout ce qui a un caractère de grandeur l'entraîne», écrit Diderot à sa femme le 9 avril 1774, dans un moment où il croit l'affaire décidée (Corr. T. XIII. P. 230). Plus prudent, ou plus lucide, il écrivait à Catherine, le 22 février précédent, peu avant de quitter Pétersbourg, en faisant allusion aux atermoiements de Betskoi: «L'Encyclopédie ne se refera pas, et ma belle dédicace restera dans ma tête; car quelle apparence que votre Sphinx et moi, n'ayant pu nous arranger en six mois de temps, l'un à côté de l'autre, nous nous arrangions mieux à la distance de huit cents lieues?» (Corr. T. XIII. P. 200). Le projet avait donc été repris

un projet plus vaste encore, celui de refaire l'*Encyclopédie* pour la Russie, sous la protection de sa souveraine. Jacques Proust a montré comment le philosophe a été bercé d'illusions à ce propos pendant près d'un an, par les soins de Catherine et de Betskoï. Ce n'était là en fait que la répétition de ce qui s'était produit en 1767, lorsque l'impératrice avait déclaré à Falconet, à l'intention du philosophe, qu'elle était bien loin de faire mauvais accueil à son projet de «monument»³⁷. Mais elle avait délégué à Betskoï le soin d'apporter une réponse dilatoire, et le fait est qu'aucune décision ne fut prise qui encourageât Diderot à aller de l'avant: il dut penser que le moment n'était pas venu. Mais précisément la question qui doit nous intéresser ici est que ce moment ne devait jamais arriver: jamais Diderot, malgré le désir qu'il en avait et qui n'était pas inspiré par la seule reconnaissance, ne put satisfaire son ambition d'écrire et de *publier* pour la Russie. En analysant le jeu cruel qu'on avait pratiqué à son égard à propos du projet encyclopédique, J. Proust ne s'est guère attaché aux motifs de l'impératrice, même s'il suppose qu'on avait craint à Pétersbourg «qu'il ne fût assez fou pour parler mal de la Russie et de la religion»³⁸. Mais Diderot semble avoir donné des garanties assez solides à cet égard, d'autant plus que le manuscrit devait être remis entre les mains de l'impératrice, qui en disposerait à son gré. Une autre objection que l'on avait faite à Pétersbourg ressemble à un prétexte: D.A. Golitsyn, répondant à une lettre du vice-chancelier, dut prendre la défense du plan financier proposé par Diderot et le fit avec vigueur, garantissant le résultat annoncé. Le philosophe avait en effet prévu un investissement de 40 000 roubles, soit 200 000 livres, pour préparer le manuscrit en six ans et promettait, une fois l'ouvrage imprimé, un bénéfice de 100 000 roubles (500 000 livres) qui reviendrait à la Maison des enfants trouvés³⁹. D'ailleurs comment croire que l'impératrice, qui en 1772 avait dépensé près de 500 000 livres pour l'achat du cabinet d'Antoine-Louis Crozat, baron de Thiers, pouvait se refuser à avancer les frais de l'édition? Les raisons de cet échec semblent donc à première vue obscures. Si l'on peut tenter de reprendre ici cette question, c'est en la considérant d'un point de vue plus général et en rapprochant

dès le début du séjour de Diderot, et c'est dans la perspective de son aboutissement qu'il avait conçu les enquêtes sur la Sibérie et sur la Russie dont témoignent les trois questionnaires présentés à l'Académie des sciences, à l'impératrice et au comte Ernst Münnich (voir respectivement: *Proust J.* Diderot, l'Académie de Pétersbourg et le projet d'une *Encyclopédie* russe; *Diderot D.* Œuvres complètes / Éd. R. Lewinter. Paris, 1971. T. X. P. 1131–1132; *Karp S.* Le questionnaire de Diderot adressé à Catherine II: quelques précisions // *Recherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie*. 2002. N 33. P. 10–61). Notons à ce propos que Catherine répondit en janvier 1774 à plusieurs questions du philosophe sur l'imprimerie et la «librairie» en Russie (voir ci-après en annexe).

³⁷ Lettre à Falconet, 12 octobre 1767 (Переписка императрицы Екатерины II с Фальконе-том. C. 20).

³⁸ *Proust J.* Diderot, l'Académie de Pétersbourg et le projet d'une *Encyclopédie* russe. P. 129.

³⁹ D.A. Golitsyn au vice-chancelier A. M. Golitsyn, 12 avril 1774, Gol. N 1124. Fol. 51 v°. Diderot avait spécifié qu'il ne voulait recevoir aucun salaire pour préparer la nouvelle *Encyclopédie*: mais en présentant à sa femme ce projet, le 9 avril 1774, il lui expliquera qu'il pensait toucher pendant plusieurs années les intérêts des fonds «très considérables» qu'il allait recevoir de Pétersbourg (Corr. T. XIII. P. 230–231).

la mésaventure de Diderot d'autres faits qui peuvent éclairer certaines des contraintes, généralement bien dissimulées aux yeux de l'étranger, qui pouvaient faire obstacle à de tels projets, c'est-à-dire à des entreprises qui de façons diverses s'apparentaient à des coproductions imprimées, réunissant des contributions intellectuelles ou matérielles provenant de Russie et d'Occident. Nous reviendrons donc aux épisodes que nous venons d'évoquer après avoir envisagé d'autres aspects de la situation qui prévalait à cet égard.

II. JEUX D'IMAGES

À la suite de la faveur témoignée par Catherine II au directeur de l'*Encyclopédie*, la Russie et sa souveraine apparaissaient tout naturellement comme pleinement acquises à la liberté d'expression. Aussi quand Diderot rêve de pouvoir écrire et publier, pour la première fois de sa vie peut-être, sans contrainte ni dissimulation, en se consacrant au «monument» proposé à sa bienfaitrice, c'est à Pétersbourg qu'il envisage d'en assurer la publication: «Cet endroit, écrivait-il à Falconet, pourrait bien être le seul du monde où il me fût permis de l'élever⁴⁰». À la même époque, il ne cache pas qu'en écrivant pour la *Correspondance littéraire*, où il lui arrive plus souvent qu'autrefois de traiter directement de politique, le destinataire qu'il imagine lisant ces pages n'est autre que l'impératrice. D'importance inégale, mais sans doute très sensibles dans le vécu quotidien, bien des faits, autour de lui, venaient confirmer l'impression que pour les écrivains et les penseurs, un espace de liberté s'était ouvert à l'Est. Ainsi, quand il envoyait à Marc Michel Rey des mémoires de l'économiste Joachim Faiguet de Villeneuve impubliables en France, il paraissait tout indiqué que le libraire d'Amsterdam en fasse hommage à l'impératrice par l'intermédiaire de son ministre à La Haye⁴¹. À peu près à la même époque, D.A. Golitsyn proposait que Catherine patronne l'édition du traité posthume d'Helvétius, *De l'Homme*⁴²: il estimait qu'un tel événement serait à la gloire de sa souveraine, et d'autant plus significatif qu'il s'agissait du développement de *De l'esprit*, l'ouvrage qui, une douzaine d'années plus tôt, avait suscité en France un scandale prolongé, obligeant l'auteur à une rétractation humiliante⁴³.

⁴⁰ 29 décembre 1766 (Corr. T. VI. P. 173–174).

⁴¹ D.A. Golitsyn au vice-chancelier A.M. Golitsyn, 9 octobre 1770, Gol. N 1118. Fol. 182: il s'agit des *Mémoires politiques sur la conduite des finances et sur d'autres objets intéressants*, Amsterdam, M. M. Rey, 1770, et de deux opuscules publiés à la même date chez le même éditeur: *Utile Emploi des religieux et Légimité de l'usure légale*.

⁴² Dépêche chiffrée de D.A. Golitsyn, 27 décembre 1771 / 7 janvier 1772, Gol. N 1120. Fol. 187–189; *Helvétius C.-A.* Correspondance générale / Sous la dir. de D.W. Smith, avec la collab. d'A. Dainard, M.-T. Inguenau, J. Orsoni, P. Allan. Toronto; Oxford, 1991. T. 3. P. 381–383; la suite de la correspondance du prince se rapportant à cette publication est également donnée dans ce volume.

⁴³ *Smith D.* Helvétius: a study in persecution. Oxford, 1965; *Grosclaude P.* Malesherbes témoin et interprète de son temps. Paris, 1961. P. 120–127.

Notons encore, à propos du rôle joué par le prince après son départ de Paris, que c'est de lui que son ami le D^r Ribeiro Sanches recevait en 1772 des exemplaires de ce condensé de philosophie matérialiste qu'était le *Bon sens* du baron d'Holbach, imprimé à Amsterdam: parmi eux, celui destiné à Diderot⁴⁴. Il semble plus généralement que le ministre de l'impératrice à La Haye disposait, probablement grâce au réseau diplomatique russe, d'une filière régulière pour introduire en France les ouvrages prohibés, auxquels il se vantait de pouvoir faire franchir la frontière en aussi grand nombre qu'il le voulait⁴⁵. La correspondance que Diderot recevait de Falconet pouvait le confirmer dans l'idée que les publications considérées en France comme les plus dangereuses circulaient fort librement à Pétersbourg. Ainsi quand le sculpteur lui passe commande, en 1768, d'une douzaine de livres de cette sorte, des œuvres de Voltaire, des traités philosophiques clandestins et autres ouvrages antichrétiens édités par d'Holbach et Nageon, ce sera l'occasion pour le philosophe de déplorer une fois de plus la situation faite en France à la «librairie», dans une période de crise aggravée où la répression semble s'être renforcée: «Ne vous ai-je pas dit que, grâce à une intolérance ridicule et ruineuse, tous nos manuscrits passaient en Hollande et n'en revenaient imprimés qu'à des prix exorbitants? C'est un plaisir comme on achemine les lettres et la librairie à leur totale extinction». Et d'ajouter, en faisant allusion au duc de Choiseul qui «professe publiquement que les hommes ne sont malheureux que depuis qu'ils sont éclairés»: «Je ne crois pas que notre Impératrice soit tout à fait de cet avis. En tout cas, si cet Omar projette un jour l'incendie de la bibliothèque royale, je lui ferai proposer de nous la vendre»⁴⁶.

De tels propos, fréquents dans la correspondance de Diderot pendant les dernières années du règne de Louis XV, n'étaient pas seulement de circonstance mais se rattachaient à de fortes convictions, qui s'étaient d'ailleurs approfondies vers la fin des années 1760, quand les problèmes posés par la «civilisation» de la Russie l'avaient amené à réfléchir sur l'évolution des sociétés et les conditions de leurs progrès ou de leur déclin⁴⁷. De tout temps, il avait pensé que le pouvoir politique, fût-il «absolu», devait être guidé par une opinion éclairée et

⁴⁴ Dulac G. avec la collab. de Miranda J. «Civiliser» la Russie: sept ans de travaux de Ribeiro Sanches // La Culture française et les archives russes. Une image de l'Europe au XVIII^e siècle / Éd. G. Dulac. Ferney-Voltaire, 2004. P. 239–283, ici P. 264.

⁴⁵ À propos de la réédition du *Nakaz* qu'il publie chez Rey, il écrit par exemple au vice-chancelier, le 15 février 1771: «vous pouvez compter que malgré les deffenses, Paris en sera rempli dans peu de jours» (Gol. N 1119. Fol. 32 v^o).

⁴⁶ Lettre à Falconet, 6 septembre 1768 (Corr. T. VIII. P. 116–117). «Nous», dans cette boutade, signifie bien sûr: à l'impératrice et au philosophe qui la représente. Ajoutons que l'année suivante Falconet annoncera à Catherine II qu'il pense recevoir une caisse contenant le Testament de Jean Meslier et demandera qu'elle ne soit pas ouverte à la douane, ce qui lui sera accordé. À voir les précautions prises par le sculpteur à ce sujet, on peut soupçonner s'il ne s'agissait pas de l'«extrait» publié par Voltaire, mais d'une copie du manuscrit de Meslier («un très gros in-4^o», dont, selon le Patriarche, il y avait «plus de cent exemplaires dans Paris», lettre à Damilaville, 8 février 1762, Best. D 10315).

⁴⁷ Dulac G. Quelques exemples de transferts européens du concept de «civilisation» (1765–1780) // Les Équivoques de la civilisation / Sous la dir. de B. Binoche. Seyssel, 2005. P. 106–135.

instruite, que de libres débats rendaient capable de juger des problèmes du temps, même des plus difficiles, comme ceux qui concernaient l'économie. Aussi la liberté de la «presse» (de l'édition) était-elle une des pièces maîtresses de sa pensée politique⁴⁸. Les hommes d'État qu'il accablait de son mépris étaient en premier lieu ceux qui se refusaient à admettre cette condition de tout progrès, que Malesherbes, par exemple avait si bien formulée quand il écrivait :

Ce qui importe au public, c'est que le vrai soit connu; il le sera toujours quand on permettra d'écrire, et il ne le sera jamais sans cela. Si l'on défend de publier des erreurs, on arrêtera le progrès de la vérité, parce que les vérités nouvelles passent toujours pendant quelque temps pour des erreurs et qu'elles seront rejetées comme telles par les magistrats⁴⁹.

C'est ainsi qu'on voit Diderot s'en prendre dans sa correspondance non seulement à Choiseul, ce «freluquet sans pudeur»⁵⁰, mais aussi à «ce stupide de l'Averdi [*i. e.* Laverdy]», le contrôleur général des finances qui en 1763 avait interdit qu'on publie sur les affaires du royaume: «Son édit de défense qu'on publiât rien sur le gouvernement et la finance, écrivait-il lors de sa chute, attestera à jamais son imbécillité⁵¹». Quelques années plus tard, déjà habitué à mettre en parallèle le déclin du vieux royaume de France avec les progrès de la Russie, guidés par une souveraine pleine de considération pour les penseurs, il fait de la question de la liberté de la «presse» le pivot qui sépare la pente fatale vers la «barbarie» de la marche ascendante de la «civilisation». Quand la suppression des cours souveraines entreprise par le chancelier Maupeou lui paraît menacer la France d'«un esclavage semblable à celui qui existe au Maroc ou à Constantinople», ainsi qu'il l'écrit à la princesse Ekaterina R. Dachkova en avril 1771, la catastrophe qu'il pense encore possible d'éviter est décrite de ce point de vue. Les Français pourraient se trouver ramenés à «un état de barbarie la plus absolue» par l'instauration d'une sorte de théocratie inspirée par les Jésuites: «On ne permettrait plus d'écrire, nous n'oserions même plus penser; bientôt il deviendrait impossible de lire; car auteurs, livres et lecteurs seroient également proscrits⁵²». Dans le tableau qu'il esquisse pour Catherine II à l'automne 1773, les mêmes traits sont plus accusés encore, tandis qu'on peut y déceler une allusion, non dépourvue d'amertume, à sa propre situation :

[Le peuple français] à présent (...) est esclave, et il le sent et il le voit; aussi n'en attendez plus rien de grand ni à la guerre, ni dans les sciences, ni dans les lettres, ni dans les arts. La philosophie est persécutée. Les lettres ne se soutiennent que par la considération publique d'un peuple qui s'ennuie et qui ne peut refuser sa

⁴⁸ Diderot D. Sur la liberté de la presse. P. 30–32.

⁴⁹ Malesherbes Ch.-G. de Lamoignon de. Troisième Mémoire sur la librairie, cité par Grosclaude P. Op. cit. P. 186; J. Proust montre que sans qu'il y ait eu influence de l'un sur l'autre, la réflexion de Diderot est tout à fait parallèle à celle du directeur de la Librairie (Diderot D. Sur la liberté de la presse. P. 25–29).

⁵⁰ Lettre à Falconet, 15 mai 1767 (Corr. T. VII. P. 57).

⁵¹ Lettre à Sophie Volland, 21 septembre 1768 (Corr. T. VIII. P. 174–175).

⁵² Lettre à la princesse Ekaterina Dachkova, 3 avril 1771 (Corr. T. XI. P. 21).

faveur à des hommes qui l'amuse; il n'y a que du danger à écrire et penser hardiment. On ne peut recueillir de son ouvrage aucun lucre, aucun honneur, parce qu'on ne peut l'avouer. Le sentiment patriotique vit encore dans les pères; (...) nos enfants [seront] des moutons imbéciles qui se croiront nés de tout temps pour être déchirés⁵³.

En développant ce thème dans l'intimité de ses entretiens avec Catherine II et auparavant dans les correspondances qu'il adressait à D. A. Golitsyn et à Falconet, Diderot savait qu'il répondait à une attente de l'impératrice (il n'ignorait pas qu'elle avait connaissance de ses lettres, ou de leur substance), car elle était curieuse de telles informations sur l'état de la France. En juillet 1768, par exemple, quand D. A. Golitsyn, peu après avoir quitté la France et d'ailleurs toujours en correspondance suivie avec Diderot, avait mentionné dans une de ses dépêches la situation déplorable où se trouvaient beaucoup d'artistes et de gens de lettres français, au point qu'ils songeaient à s'expatrier, elle avait aussitôt demandé «de quelle espèce de misère, de malheur ou de persécution» ils avaient à se plaindre⁵⁴. Une telle question n'était pas sans arrière-pensées politiques, car dans l'aigre conflit diplomatique qui l'opposait à la cour de Versailles (à cause des affaires de Pologne, et bientôt de la guerre avec la Turquie, suscitée par la France, un peu plus tard à propos de la Suède), elle savait pouvoir tirer avantage auprès de l'opinion européenne de la bienveillance qu'elle affichait pour l'élite intellectuelle, voire de la protection qu'elle lui accordait. Son intervention dans l'affaire de *Bélisaire*, en 1767, constitue une belle illustration de cette attitude. Publié au début de février 1767 avec privilège, l'ouvrage de Marmontel avait aussitôt connu en France et dans une bonne partie de Europe un vif succès, que la dénonciation presque immédiatement formulée par la faculté de théologie de Paris et l'archevêque de Paris avait contribué à amplifier: Voltaire écrira vers le 20 mai à l'auteur qu'il doit «aller remercier la Sorbonne en cérémonie»⁵⁵, après la publication de l'*Indiculus* (*ridiculus*, ajoute-t-il) dénonçant les propositions condamnables contenues dans le chapitre sur la tolérance religieuse. Diderot, qui n'apprécie guère l'ouvrage, qu'il juge plat et ennuyeux («le beau sujet manqué!»), reprend à cette occasion ses plaintes habituelles contre la censure dans une lettre à Falconet⁵⁶, avant de s'en prendre quelques semaines plus tard aux «ânes fourrés de Sorbonne», qu'il finit par qualifier de «tigres <...> toujours également altérés de sang hérétique»⁵⁷. Pour Catherine II, qui après avoir manifesté sa

⁵³ Diderot D. *Mélanges philosophiques*. P. 217.

⁵⁴ Le vice-chancelier A.M. Golitsyn à D.A. Golitsyn (minute), 12 août 1768 (anc. style), Gol. N 4196. Fol. 5.

⁵⁵ Best. D 14191. Sur cet épisode, voir *Renwick J.* Marmontel, Voltaire and the *Bélisaire* affair. Oxford, 1974 (SVEC. Vol. 121).

⁵⁶ «Les lettres languissent. On leur interdit le gouvernement, la religion et les mœurs; de quoi veut-on qu'elles s'entretiennent? Le reste n'en vaut pas la peine» (lettre à Falconet, 15 mai (?) 1767. – Corr. T. VII. P. 56–57).

⁵⁷ Lettre à Falconet, 15 août (?) 1767 (Ibid. P. 105).

bienveillance à la famille Calas⁵⁸, avait naguère instruit Voltaire des principes ayant cours à cet égard en Russie («la tolérance est établie chez nous, elle fait loi de l'Etat, et il est défendu de persécuter⁵⁹»), l'occasion était bonne de suggérer un parallèle, comme il y en eut tant à cette époque, toujours favorables à la «Sémiramis du Nord». En juin 1767, on apprit que l'impératrice avait le mois précédent traduit *Bélisaire* avec ses amis au cours d'un voyage sur la Volga. Ses ministres à l'étranger répandirent la nouvelle⁶⁰ et Catherine elle-même écrivit bientôt à l'auteur une lettre très étudiée (car destinée bien sûr à circuler)⁶¹, que Diderot trouva «charmante»⁶²: elle annonçait que cette traduction russe allait paraître, avec une dédicace à l'évêque de Tver, qui se montrait enchanté de cet honneur. La symétrie était ainsi parfaite, car cette dédicace faisait évidemment pendant au mandement de l'archevêque de Paris, qui avait condamné *Bélisaire* avec les attendus les plus sévères. «Les cours étrangères, remarquait Diderot à propos de l'ouvrage de Marmontel, sont charmées de nazarder un peu notre ministère, et n'en perdent pas la moindre occasion»⁶³. L'impératrice eut au cours des années suivantes d'autres occasions de prendre ainsi une posture avantageuse à propos d'affaires de censure, par exemple quand en 1769 le chancelier Maupeou interdit, discrètement il est vrai, la traduction française de son *Instruction aux députés*, le fameux *Nakaz*, si largement inspiré de Montesquieu⁶⁴ — ce qui ne l'empêcha pas de circuler assez largement, au point que Catherine dut insister auprès de Falconet sur la réalité de cette interdiction, qui la ravissait et dont il doutait⁶⁵.

⁵⁸ Elle avait fait don de 5000 livres à M^{me} Calas, selon Voltaire (Best. D 12834).

⁵⁹ 28 novembre / 9 décembre 1765 (Best. D 13032).

⁶⁰ Ainsi le 28 août 1767, D.A. Golitsyn annonce à l'auteur que *Bélisaire* a été traduit en russe et va être imprimé, car «on veut le répandre promptement en Russie» (*Marmontel J.-F. Correspondance* / Éd. J. Renwick. Clermont-Ferrand, 1974. T. 1. P. 198).

⁶¹ Voir l'analyse de cette lettre dans *Breuillard J. Catherine II traductrice: le Bélisaire de Marmontel // Catherine II et l'Europe*. P. 71–84, ici 72–75. La traduction fut imprimée en 1768 sur les presses de l'université de Moscou et parut sous le curieux titre suivant: *Велизер, Сочинения господина Мармонтеля, члена Французской академии; Переведен на Волге*.

⁶² Lettre à Sophie Volland, 11 octobre 1767 (Corr. T. VII. P. 175).

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Sur les circonstances de cette interdiction, effective dès janvier 1769, voir l'étude de Nadejda Plavinskaja, que je remercie de son aide: *Плавинская Н.Ю. «Наказ» Екатерины II во Франции в конце 60-х – начале 70-х годов XVIII в.: переводы, цензура, отклики в прессе // Русско-французские культурные связи в эпоху Просвещения: Материалы и исследования. Памяти Г.С. Кучеренко / Отв. ред. С.Я. Карп. М., 2001. С. 7-36. La décision avait été prise par Maupeou (le *Registre des privilèges et permissions simples, 1768–1774* porte la mention, assez rare dans ce document, «refusé par mgr le chancelier», datée du 19 janvier 1769, BNF. Ms. fr. 22001. Fol. 95). Des ballots furent saisis par la douane, par exemple le 30 juin 1769 un lot de 200 exemplaires de l'édition de Lausanne du *Nakaz* «comme ayant été refusé par m. le chancelier».*

⁶⁵ «Vous avez beau dire, l'*instruction* est défendue à Paris, non par édit [*sic*] du Parlement, mais par la police avec le moins de publicité qu'on a pu, mais il y a de la contrebande partout» (lettre de Catherine II à Falconet, 11 octobre 1769 (Переписка императрицы Ектерины II с Фальконетом. С. 92).

Pour plusieurs raisons, dont nous aurons à reparler, l'opposition entre la liberté d'expression et la tolérance supposées régner à Pétersbourg et les persécutions exercées contre les gens de lettres par les diverses autorités en mesure de sévir au royaume de France était par bien des côtés fallacieuse: ne serait-ce que parce ce qu'en Russie l'impression était, à peu d'exceptions près, le monopole d'institutions étatiques, comme l'Académie des sciences, le Corps des cadets ou l'université de Moscou. Cependant, dans le cas de Diderot, la protestation contre les contraintes imposées en France à l'édition et la dénonciation de l'intolérance gouvernementale ou parlementaire revêtirent la forme d'une activité d'opposition qui prit appui sur les relations étroites qu'il entretenait avec la Russie. Il devait en effet pendant plusieurs années contribuer en toute connaissance de cause à renforcer le discrédit qui atteignait un royaume affaibli par ses échecs extérieurs et par une profonde crise intérieure. Avant que le prince D.A. Golitsyn quitte Paris, le philosophe avait collaboré assez régulièrement à la rédaction de certaines de ses dépêches politiques, si bien qu'après son départ, il était devenu très naturellement un de ses principaux informateurs, autant qu'on en peut juger par certains éléments bien identifiables de sa correspondance avec Sophie Volland ou avec Falconet qui se retrouvent à partir de 1768 dans les dépêches du prince⁶⁶. Concernant la répression qui frappe les écrivains et les mesures qui affectent la «librairie», on constate en tout cas une parfaite concordance entre les propos tenus par Diderot et les développements que le prince donne fréquemment à ce thème. Il en est ainsi en septembre 1768, quand celui-ci consacre aux questions posées par l'impératrice plusieurs dépêches où on lit par exemple:

[Les gens de lettres] n'osent plus écrire. Malgré tout ce que nous y avons vu faire avec les Jesuites, la France est toujours un pais intolérant. Les gens les plus celebres dans la Litterature, les meilleures plumes, les Diderot, les d'alembert, &c. sont ceux qui le peuvent le moins, a moins que passant par l'examen des Censeurs, tous gens sans merite, sans esprit et devoués au Ministere, ils ne consentent a voir rogner leurs ouvrages et a le donner informe et par consequent plat. Ce qui est arrivé à l'Enciclopedie, le prouve bien positivement⁶⁷. On dirait qu'il y a une fatalité attachée depuis quelque tems à la France. Tout y va en degingolant. Un Choiseul se donne t'il les airs d'y proteger les lettres. Sa pro-

⁶⁶ Dulac G. La France de 1768 vue par un diplomate russe: échos de Diderot dans cinq dépêches du prince Dmitri Alekseevitch Golitsyn (septembre-novembre 1768) // Les Archives de l'Est et la France des Lumières. Guide des fonds et inédits / Éd. G. Dulac, S. Karp. Ferney-Voltaire, 2007. T. II. P. 537-564.

⁶⁷ On pourra comparer ces considérations avec ce que Diderot écrivait à Falconet en mai 1768, dans une lettre confiée à un voyageur: «L'intolérance du gouvernement s'accroît de jour en jour. On diroit que c'est un projet formé d'éteindre ici les lettres, de ruiner le commerce de la librairie, et de nous réduire à la besace et à la stupidité. Tous les m.s. s'en vont en Hollande, où les auteurs ne tarderont pas à se rendre <...>» (Corr. T. VIII. P. 44-45). Le philosophe, qui avait déjà abordé ce thème l'année précédente (lettre à Falconet, 15 mai 1767, Corr. T. VII. P. 57), y reviendra dans une autre lettre au même le 6 septembre 1768 (Corr. T. VIII. P. 116-117).

tection se bornera à Freron, à Palissôt et il persecutera Diderôt, Marmontel, Thomas, &c⁶⁸.

Comme on le voit par cet exemple, ces observations tiennent une partie de leur valeur du contexte, car les persécutions subies par les écrivains sont souvent présentées comme caractéristiques des tares du régime et du déclin qu'elles entraînent. C'est sans doute pourquoi on y remarque parfois un peu d'exagération, ou des anticipations particulièrement pessimistes, comme dans la lettre de Diderot à la princesse Dachkova citée plus haut (avril 1771). À l'automne 1771, quand le prince écrit par exemple, dans la droite ligne des propos du philosophe, que le chancelier Maupeou et le duc d'Aiguillon «sont, selon toutes les apparences, dans la ferme resolution de retablir le gouvernement monacal et des Prêtres dans leur Patrie»⁶⁹, des informations alarmantes concernant la «librairie» comptent parmi les principales illustrations de cette politique. Ainsi, à partir de septembre 1771, il évoque à plusieurs reprises le nouvel impôt sur le papier et celui sur les livres étrangers, qu'il range parmi «les obstacles continuels que met la France aux progrès des sciences chez elle»⁷⁰. En novembre, il fait état d'une rumeur plus inquiétante encore:

Les Jésuites quoique non rappelés en France y influent cependant Beaucoup dans le ministère. Voici un projet qui ne peut avoir été conçu qu'en faveur des moines, et souff[fl]é que par des Pretres. Il n'y aura plus qu'une seule et unique imprimerie, Royale, en France, qui aura des imprimeries sous sa dependance

⁶⁸ D.A. Golitsyn au vice-chancelier A.M. Golitsyn, 10/21 septembre 1768 (Gol. N 1116. Fol. 86–87). En 1760, alors que l'*Encyclopédie* était officiellement suspendue, Choiseul et ses proches avaient protégé Charles Palissot de Montenoy, auteur de la comédie *Les Philosophes*, dans laquelle Diderot était particulièrement maltraité. Jean-François Marmontel avait été embastillé du 27 décembre 1759 au 7 janvier suivant pour une parodie dont il n'était pas l'auteur et il avait perdu le privilège du *Mercur* (Corr. T. IV. P. 20–25); mais, comme on l'a vu, il avait surtout eu à subir la censure de la Sorbonne, dont l'action, en fin de compte, avait d'ailleurs été arrêtée par le ministère. Quant à Antoine-Léonard Thomas (1732–1785), il avait perdu en 1763 sa place de secrétaire du duc de Praslin, cousin de Choiseul, pour avoir refusé de se prêter à une manœuvre visant à empêcher Marmontel d'être élu à l'Académie française, mais en 1765 il avait été nommé historiographe des Bâtiments du Roi et était entré l'année suivante à l'Académie française.

⁶⁹ Au vice-chancelier A.M. Golitsyn, 11 octobre 1771 (Gol. N 1120. Fol. 106). D.A. Golitsyn fait allusion à la suppression de la Compagnie de Jésus par un édit royal de novembre 1764.

⁷⁰ Au vice-chancelier A.M. Golitsyn, 26 septembre, puis 30 septembre 1771 (Gol. N 1120, respectivement Fol. 84 et 81); lettre au même, 8 novembre 1771, à propos de la réédition de l'*Encyclopédie* qui se fera à Genève (Gol. N 1120. Fol. 137); le vice-chancelier commentera ces mesures en écrivant qu'elles sont «à la honte d'une nation civilisée» (8 octobre 1771, Gol. N 4221. Fol. 1). Robert Darnton en confirme l'importance: «En 1771, Terray porte un coup sensible aux éditeurs français en imposant le papier d'impression de 20 sous par rame (en mars), puis de 30 sous (en août). Cette mesure <...> renforce la position des éditeurs étrangers <...>. Pour rétablir l'équilibre, Terray met un impôt sur les livres importés dans le royaume. Mais cet impôt, fixé à 60 livres par quintal en septembre 1771 et porté à 78 livres par une surtaxe de 6 sous par livre, menace d'anéantir tout commerce avec l'étranger et surtout le commerce d'échange» (Histoire de l'édition française / Sous la dir. d'H.-J. Martin, R. Chartier. Nouv. éd. Paris, 1990. T. 2. P. 461).

dans les Provinces où on jugera à propos d'en établir. Si ce projet d'une imprimerie unique a lieu, on n'imprimera plus que des livres de prières et ce qui plaira au ministère, et voilà une branche de commerce perdu[e] pour le païs, sans compter la chute des arts, des sciences, &c. et la porte ouverte à l'ignorance, à la superstition, à la barbarie &c. Tels sont les fruits qui resultent des beaux arrêts que l'on y rend concernant la Librairie. On ne peut guère attendre autre chose d'un gouvernement fiscal⁷¹.

Quelques semaines plus tard, le prince transmet le contenu d'une longue lettre qu'il a reçue d'un ami de Paris, dont l'anonymat est soigneusement préservé: c'est un pamphlet extraordinairement violent dénonçant l'état de la France sous le triumvirat Maupeou-d'Aiguillon-Terray, après la suppression des anciennes cours souveraines. On y retrouve plusieurs des thèmes déjà évoqués dans les dépêches précédentes, mais aussi de nombreuses similitudes de pensée et d'expression avec des textes contemporains de Diderot qui rendent très vraisemblable l'attribution de ces pages au philosophe, bien qu'il soit impossible de conclure formellement sur ce point⁷². Comme dans sa lettre d'avril 1771 à la princesse Dachkova et dans l'«Essai historique sur la police de la France» qu'il lira à Catherine II⁷³, l'éventualité d'un rappel des Jésuites est évoqué, avec pour conséquence d'infinies persécutions: «Les hommes seront d'abord proscrits; la persécution passera des hommes aux livres, et s'ils avoient autant de courage qu'ils ont de méchanceté, avant qu'il fut 60. ans, on aurait peine à trouver un *Esprit des loix* en France, et la nation serait plongée dans la plus stupide barbarie»⁷⁴. Comme dans beaucoup de textes de cette époque, qu'ils soient de Diderot ou qu'ils s'inspirent de ses analyses, la situation du livre apparaît comme la pierre de touche de l'état de la société et des dangers qui la menacent. En accusant réception de ce morceau, le vice-chancelier fit savoir qu'il avait été apprécié par l'impératrice, qui avait demandé qu'on en fasse une copie et une traduction russe: sans doute pensait-elle que les bureaux des Affaires étrangères en feraient leur profit. On observe plus généralement que les commentaires du vice-chancelier, qui reprennent en fait ceux de l'impératrice elle-même, amplifient les observations pessimistes de D.A. Golitsyn ou de Diderot, allant par exemple jusqu'à comparer les persécutions exercées contre les philosophes à celles qu'avaient subies les pre-

⁷¹ Au vice-chancelier A.M. Golitsyn, 22 novembre 1771 (Gol. N 1120. Fol. 148). L'information est reprise dans une dépêche du 14 janvier 1772 (Gol. N 1121. Fol. 12 v°); «fiscal» fait allusion aux mesures financières brutales prises par l'abbé Terray pour éviter la banqueroute.

⁷² Gol. N 1121. Fol. 21–23 (27 février 1772). On trouvera la majeure partie de ce texte en annexe de *Dulac G. Politique et littérature. La correspondance de Dmitri A. Golitsyn*. P. 397–400. Commentant des informations analogues communiquées par D.A. Golitsyn sur la censure qui sévit en France, le vice-chancelier reproduit peut-être des commentaires de l'impératrice elle-même lorsqu'il remarque combien la situation est incohérente dans ce pays: «On y écrit cependant plus librement que jamais, quoique très-inutilement, tandis que le despotisme s'efforce d'étouffer la voix du Patriote» (9 janvier 1772. – Gol. N 4224. Fol. 1).

⁷³ *Diderot D. Mélanges philosophiques*, 1: «Essai historique sur la police de la France». P. 224.

⁷⁴ Au vice-chancelier A. M. Golitsyn, 27 février 1772 (Gol. N 1121. Fol. 21 v°).

miers chrétiens⁷⁵. Ces réflexions s'accompagnent souvent de quelques marques de compassion quelque peu condescendantes, qui ont pour effet de prolonger le parallèle entre les deux pays, à l'avantage bien sûr de la Russie.

Que Diderot se soit prêté à ce jeu d'images et l'ait alimenté pendant plusieurs années ne devait pourtant pas le conduire à écrire, comme Voltaire, des ouvrages de propagande en faveur des aspects les plus contestables de la politique russe, telle la mainmise progressive sur la Pologne, effectuée sous prétexte de défense de la tolérance⁷⁶. La seule publication importante qui l'entraîna à accepter quelques compromissions fut l'édition qu'il donna en Hollande, à son retour de Pétersbourg, des *Plans et statuts des établissements de Catherine II*. Certaines pages qu'il avait écrites à Pétersbourg y furent en effet insérées, mais censurées ou prises au rebours de leur sens originel, les critiques étant transformées en éloges⁷⁷. Dans l'ensemble pourtant, bien que cet ouvrage à la gloire de l'impératrice qui paraissait par ses soins exprimât par endroits des vues opposées aux siennes, et même contraires à la simple vérité, il pouvait le considérer comme un soutien opportun à des institutions éducatives qui lui paraissaient prometteuses pour l'avenir, mais fragiles et peut-être menacées. Cependant, au début des années 1770, plusieurs autres publications ou affaires de librairie ayant rapport avec la Russie sont à prendre en considération, même si Diderot n'y fut pas directement mêlé, pour comprendre quelle fut son expérience en ce domaine.

III. À L'ARRIÈRE-PLAN DE QUELQUES DÉCEPTIONS

Dès son installation comme ministre plénipotentiaire à La Haye, en mars 1770, le prince D.A. Golitsyn avait noué des relations avec des libraires, des publicistes et des journalistes de Hollande et de la région rhénane. Il fut ainsi à même de former des projets d'éditions, notamment concernant la Russie et sa souveraine, voire sa propre famille, et de leur assurer une certaine publicité. Il apporta également son soutien à des entreprises importantes comme la réédition in-folio de l'*Encyclopédie* et la préparation du *Supplément*, ou encore, ainsi que nous l'avons déjà signalé, la publication du traité posthume d'Helvétius, *De l'Homme*. Dans les épisodes que nous allons évoquer, parce qu'ils peuvent éclairer ce que fut en ce domaine l'attitude de l'impératrice de Russie, au-delà des gestes propres à séduire l'opinion européenne, le prince joua un rôle, souvent très actif. Ajoutons que Diderot, qui conserva avec lui des relations étroites au moins jusqu'à l'automne 1774, fut probablement informé de la plupart des faits que nous allons évoquer.

⁷⁵ A.M. Golitsyn à D.A. Golitsyn, à propos des «puissants chagrins» qu'endure d'Alembert, qui en mai 1765 a fait envoyer à l'impératrice sa brochure *Sur la destruction des Jésuites en France* (Gol. N 4160. Juillet 1765).

⁷⁶ Par exemple son *Essai historique sur les dissensions des Eglises de Pologne* (1767).

⁷⁷ Dulac G. Diderot éditeur des *Plans et statuts des établissements de Catherine II* // DHS. 1984. N 16. P. 323-344.

Le 4 mars 1771, répondant à une lettre de Grimm qui lui avait peut-être demandé un compte rendu de l'*Antidote* pour la *Correspondance littéraire*, Diderot se livra à une violente sortie contre cette réfutation du *Voyage en Sibérie* de l'abbé Jean Chappe d'Auteroche, paru en 1768:

Voilà le livre, le plus mauvais livre qui soit possible pour le ton, le plus mesquin pour le fond, le plus absurde pour les prétentions. Cela se réfuterait par un: *donc* les Russes sont les peuples les plus sages, les plus policés, les plus nombreux, les plus riches de la terre. Celui qui a réfuté Chappe est plus méprisable par sa flagornerie que Chappe ne l'est par ses erreurs et ses mensonges⁷⁸.

Nous ignorons si le philosophe avait entre les mains l'édition originale publiée à Pétersbourg en 1770 ou, ce qui est plus vraisemblable, la réédition revue et corrigée que D.A. Golitsyn venait d'en donner chez Marc Michel Rey pour faire suite à la réédition de l'ouvrage de Chappe⁷⁹. Diderot ignorait encore que Catherine II était le maître d'œuvre de l'ouvrage et son principal rédacteur, mais il pouvait se douter qu'il provenait pour le moins de son entourage immédiat (il crut d'abord qu'il était de Falconet, alors un des familiers de l'impératrice)⁸⁰. Comme l'a montré André Monnier, l'*Antidote* marquait un tournant dans la stratégie de Catherine⁸¹: alors qu'elle aurait pu concevoir une réfutation «philosophique» du *Voyage*, en mettant en avant les progrès réalisés ou programmés sous son impulsion depuis le séjour de Chappe (février 1761 – mai 1762), c'est la fierté nationale blessée qui l'anime quand elle oppose au détracteur ignorant et sot les spécificités de l'État, de la société et de l'histoire russes qu'il a été incapable de comprendre. Du même coup Chappe devient sous sa plume le type du Français haïssable, frivole, vaniteux et vénal. L'important ici est de constater ce qu'impliquait cette attitude de Catherine: désormais bien affermie sur son trône et fière de ses succès sur la scène internationale, elle n'avait plus autant besoin de séduire l'opinion éclairée et le public de langue française en apparaissant en protectrice des ouvrages inspirés par la «philosophie». Car, il faut le remarquer, malgré ses erreurs et ses naïvetés, le livre de Chappe était tout imprégné de l'esprit des Lumières, quand il associait à des «choses vues» (mais parfois mal vues) une constante dénonciation des méfaits du despotisme et de la

⁷⁸ Corr. T. X. P. 236–237. Comme l'a montré Gianluigi Goggi, Diderot avait lu Chappe et s'est vraisemblablement inspiré d'un passage du *Voyage* quand il a utilisé l'image des plantes exotiques cultivées sous serre pour critiquer la politique d'importation des sciences et des arts pratiquée par Catherine II (lettre à Falconet, 6 septembre 1768, Corr. T. VIII. P. 139). Voir Goggi G. Alexandre Deleyre et le *Voyage en Sibérie* de Chappe d'Auteroche: la Russie, les pays du Nord et la question de la civilisation // *Le Mirage russe au XVIII^e siècle / Éd. S. Karp, L. Wolff. Ferney-Voltaire, 2001. P. 75–134.*

⁷⁹ *Antidote, ou Examen du mauvais livre superbement imprimé intitulé Voyage en Sibérie, fait par ordre du Roi en 1761.* Amsterdam: M.M. Rey, 1771–1772. 2 vol. in-8; le faux-titre du t. I est: «Antidote. Première partie ou Tome cinquième des Voyages en Sibérie». Le 14 janvier 1771, le prince avait annoncé au vice-chancelier que l'*Antidote* était disponible pour lui être envoyé par la première occasion (Gol. N 1119. Fol. 11–11a).

⁸⁰ Voir sa lettre à Falconet du 20 mars 1771 (Corr. T. X. P. 249).

⁸¹ Monnier A. Catherine II pamphlétaire: l'*Antidote* // Catherine II et l'Europe. P. 53–60.

servitude⁸². Ce tournant dans la stratégie impériale, amorcé avec la publication de l'*Antidote*, ne fut pas immédiatement perceptible: Diderot et D.A. Golitsyn, comme nous allons le voir, ne semblent pas en avoir eu conscience, au moment même où d'autres affaires de publication en subirent les effets.

Quelques semaines après avoir lu l'*Antidote*, Diderot reçut vraisemblablement de D.A. Golitsyn la réédition que le prince avait publiée chez Rey d'un autre ouvrage de Catherine II, la version française de son *Instruction aux députés pour la confection d'un code de lois*, publiée en russe en 1767⁸³: si Diderot devait attendre l'été 1774 et son retour de Pétersbourg pour en donner un commentaire attentif, mais souvent très critique, voire sarcastique⁸⁴, il est peu probable qu'il n'en ait pris connaissance qu'à cette époque. Si différentes que fussent ces deux productions de l'impératrice et quel que fût le rôle politique attendu du *Nakaz* sur le plan intérieur, les deux ouvrages avaient en commun de viser à donner une idée avantageuse de la Russie, de ses traits originaux et des transformations qui y étaient mises en œuvre. Tout en discutant certains des problèmes importants posés par l'*Instruction*, dont il loue par endroits la «sagesse», Diderot se montre très sensible à ce qu'il y trouve de fallacieux: trop de propositions de l'impératrice lui paraissent inspirées par le désir de séduire un public attaché aux principes que pouvait symboliser le nom de Montesquieu, sans que leur fond soit en accord avec la tonalité «philosophique» du langage employé. Il se permit de dresser le plan de ce qui aurait constitué «une instruction de bonne foi»⁸⁵, ce qui signifiait que celle qu'il lisait ne l'était pas tout à fait; et il conclut par cette observation: «J'y vois le nom de despote abdiqué; mais la chose conservée, mais le despotisme appelé monarchie⁸⁶». Il devait aller plus loin encore dans une de ses contributions à la troisième édition de l'*Histoire des Deux Indes* (1780):

En lisant avec attention ses instructions aux députés de l'empire, chargés en apparence de la confection des lois, y reconnoît-on quelque chose de plus que le desir de changer les dénominations, d'être appelée monarche au lieu d'autocratice, d'appeller ses peuples sujets au lieu d'esclaves? Les Russes, tout aveugles qu'ils sont, prendront-ils long-tems le nom pour la chose, & leur caractère sera-t-il élevé par cette comédie à cette grande énergie qu'on s'étoit proposé de leur donner⁸⁷?

⁸² Voir *Chappe d'Auteroche J. Voyage en Sibérie / Éd. M. Mervaud, avec la collab. de M. Pinault Sørensen. Oxford, 2004. 2 vol. (SVEC. 2004:03, 2004:04).*

⁸³ *Instruction de Sa Majesté Impériale Catherine II, pour la commission chargée de dresser le projet d'un nouveau code de lois. Amsterdam: M.M. Rey, 1771, 229 p. in-8°. D.A. Golitsyn en avait envoyé les premières pages au vice-chancelier dès le 15 février 1771 (Gol. N 1119. Fol. 32). La première édition de la version française avait été publiée à Pétersbourg en 1769 et d'autres traductions avaient paru la même année à Lausanne et à Yverdon.*

⁸⁴ *Diderot D. Observations sur le Nakaz // Diderot D. Œuvres. T. III. P. 501-578.*

⁸⁵ *Diderot D. Observations sur le Nakaz, 51. P. 535.*

⁸⁶ *Diderot D. Observations sur le Nakaz, 145. P. 578.*

⁸⁷ *Raynal G.-T. Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce dans les deux Indes. Livre XIX. Ch. 2, «Gouvernement»; Diderot D. Mélanges et morceaux divers. Contributions à l'Histoire des deux Indes / Éd. G. Goggi. Siena, 1977. P. 379–380 (BNF. Nouv. acq. fr. 13766. Fol. 75–87).*

Pour le directeur de l'*Encyclopédie*, qui avait rêvé de trouver à Pétersbourg un lieu où il fût enfin possible de publier avec «exactitude» et «franchise», la lecture du *Nakaz* constitua une expérience irritante: même entre les mains d'une souveraine «philosophe», le livre pouvait être un masque et un moyen d'illusion, l'instrument d'un certain conservatisme social et politique, sous les apparences d'un discours novateur⁸⁸.

L'histoire de la publication de *De l'Homme* est bien connue⁸⁹ et nous n'en retiendrons ici que quelques éléments qui permettent de mieux comprendre, nous semble-t-il, l'évolution de l'attitude de Catherine, déjà évoquée à propos de l'*Antidote*, et les hésitations suscitées au début des années 1770 par des motivations contradictoires en matière de publications «philosophiques». Bien qu'il ait été soupçonné par les autorités françaises d'avoir mis la main à la préface⁹⁰, Diderot n'est ici concerné que très indirectement, mais cet épisode comporte quelques enseignements qui peuvent éclairer son propre cas. La Roche⁹¹, qui avait été chargé par Helvétius d'imprimer l'ouvrage en Hollande à un petit nombre d'exemplaires, avait après la mort de l'auteur renoncé à ce projet: en janvier 1772, il avait confié à D.A. Golitsyn le soin d'en donner une édition destinée au public. Le prince avait tout de suite vu dans cette circonstance l'occasion de raviver l'image que Catherine II s'était appliquée à construire dès le début de son règne en affichant sa bienveillance pour les philosophes: il proposa que l'impératrice finançât en partie l'édition, qui pourrait lui être dédiée, comme l'avait désiré Helvétius⁹². Ce projet paraissait d'autant plus opportun que, dans sa préface, l'auteur déclarait irrémédiable le déclin de la France («cette nation avilie est aujourd'hui le mépris de l'Europe»), tout en faisant l'éloge de l'impératrice de Russie dont il célébrait les succès. Pourtant Catherine se montra d'emblée très réticente, demandant seulement qu'on lui envoyât une copie du manuscrit. Quand le prince tenta en mars 1772 d'obtenir qu'en qualité de «protectrice de la vérité» elle accordât du moins, même secrètement, une gratification au propriétaire du manuscrit, dont les exigences, selon lui, bloquaient l'édition⁹³, elle refusa net, d'une phrase jetée en marge de la dépêche de son ministre à La Haye: «Je m'en tient à la copie ordon[n]é, je defend la dedicace et n'ai rien affaire avec l'impression ni le manuscrit original»⁹⁴. Cependant très tardive-

⁸⁸ Les observations critiques de Diderot ne sont pas sans ressemblances avec celles que fera le jeune Tolstoï: dans le *Nakaz*, remarquait-il, Catherine II «a utilisé les idées républicaines, empruntées pour la plupart à Montesquieu <...> pour justifier le despotisme, mais la plupart du temps sans succès» (*Aucouturier M. L'étudiant Tolstoï et la Grande Catherine // Catherine II et l'Europe*. P. 110).

⁸⁹ *Helvétius C.-A. Correspondance générale*. T. 3. P. 381–458, *passim*; *Smith D. Bibliography of the writings of Helvétius*. Ferney-Voltaire, 2001. P. 289–300.

⁹⁰ Le marquis de Noailles, ministre de France à La Haye, au duc d'Aiguillon, 14 septembre 1773 (Corr. T. XIII. P. 56).

⁹¹ Martin Lefebvre de La Roche (1738–1806), bénédictin sécularisé qui s'occupait des affaires d'Helvétius depuis 1768 (*Helvétius C.-A. Correspondance générale*. T. 3. P. 294–297).

⁹² Gol. N 1120. Fol. 187–189 (27 décembre 1771 / 7 janvier 1772); *Helvétius C.-A. Correspondance générale*. P. 381–382.

⁹³ Gol. N 1121. Fol. 75–75a; *Helvétius C.-A. Correspondance générale*. P. 401.

⁹⁴ *Helvétius C.-A. Correspondance générale*. P. 402, note.

ment, alors que le traité d'Helvétius était déjà imprimé, l'impératrice accepta qu'il lui fût dédié: la dédicace ne put être introduite que lors d'une seconde émission, sur une feuille imprimée après coup et insérée, au cours de la seconde quinzaine de juin 1773, dans les exemplaires encore invendus⁹⁵. Il semble qu'on puisse tirer au moins deux conclusions de l'attitude de Catherine à l'égard d'un livre «philosophique» parmi les plus radicaux. On observe tout d'abord qu'elle se montre constamment impatiente de le lire, ce qu'elle fera sur épreuves, à mesure que l'édition avancera, s'impatientant même quand le travail assez désordonné des imprimeurs causera des retards⁹⁶: en ce domaine, sa curiosité intellectuelle reste tout aussi vive. Il est visible d'autre part que l'impératrice redoute dans un premier temps d'apparaître comme patronnant publiquement l'ouvrage: c'est pourquoi le prince D.A. Golitsyn lui proposera de le soutenir secrètement, une suggestion qu'elle écartera, ne voyant sans doute pas le bénéfice qu'elle en tirerait. La prudence qu'elle montre à propos de l'ouvrage d'Helvétius, comme si elle hésitait à se compromettre publiquement, est sans doute à rapprocher de l'hostilité très vive que Diderot devait rencontrer à Pétersbourg de la part d'une grande partie de la cour et aussi à l'Académie des sciences, à cause de son athéisme et de son matérialisme, jugés scandaleux⁹⁷. Il semble que Catherine, à une époque où elle trouvait moins d'intérêt à se poser, face à l'opinion européenne, en championne de la «philosophie», ait songé à ménager son opinion intérieure, celle du moins d'une partie de sa cour. D'autres indices vont dans ce sens: ainsi la traduction du *Bélisaire* de Marmontel, qu'elle a organisée et révisée, affaiblit fréquemment des mots-clés de la pensée des Lumières par une sorte d'autocensure, comme on peut en juger par la comparaison avec une autre traduction, plus exacte, donnée en 1769 par un admirateur de Mably⁹⁸. Notons également qu'à la même époque, si les traductions des œuvres de Voltaire connaissent un grand succès en Russie, les pointes anti-chrétiennes y sont émoussées⁹⁹, là encore, semble-t-il, par l'effet d'une autocensure pratiquée sur les presses d'État¹⁰⁰. Que Catherine ait finalement accepté la dédicace de «l'éditeur» d'Helvétius, c'est-à-dire La Roche et son propre ministre à La Haye, illustre les contradictions de la situation: asso-

⁹⁵ Ibid. P. 443–446; *Smith D.* Bibliography of the writings of Helvétius. P. 297–298 (environ les deux tiers des exemplaires répertoriés par Smith comportent la dédicace).

⁹⁶ D.A. Golitsyn envoie les premières feuilles à Pétersbourg le 22 décembre 1772 (Gol. N 1121. Fol. 305–306; *Helvétius C.-A.* Correspondance générale. P. 427–428; voir aussi P. 437 et 438).

⁹⁷ *Dulac G.* Un nouveau La Mettrie à Pétersbourg: Diderot vu de l'Académie des sciences // *Recherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie*. 1994. N 16. P. 19–43.

⁹⁸ *Breuillard J.* Op. cit.

⁹⁹ *Заборов П.П.* Русская литература и Вольтер, XVIII – первая треть XIX века. Л., 1978. С. 61–62; voir aussi la version française développée de cet ouvrage, à paraître sous le titre: *Voltaire en Russie, 1735–1978*. Ferney-Voltaire: Centre international d'étude du XVIII^e siècle (coll. «Archives de l'Est»).

¹⁰⁰ *Madariaga I. de.* Catherine II et la littérature // *Histoire de la littérature russe. Des origines aux Lumières / Sous la dir. d'E. Etkind, G. Nivat, I. Serman, V. Strada*. Paris, 1992. P. 665–666. Il n'y eut pas sous Catherine II de censure préalable avant 1782 ou 1783, date à laquelle les imprimeries privées furent autorisées.

cié à une préface insultante pour la France et son gouvernement¹⁰¹, cet hommage approuvé par l'impératrice constituait un acte de guerre froide plutôt qu'un symbole d'allégeance philosophique.

La dernière affaire de librairie que nous prendrons comme exemple illustre un autre type de contradiction, qui cette fois aboutit à paralyser la volonté impériale. Diderot, qui fut soupçonné d'agir à l'arrière-plan¹⁰², n'y fut en réalité nullement impliqué, mais comme il s'agissait d'un projet encyclopédique, l'épisode peut contribuer à éclairer l'échec que lui-même éprouva sur ce terrain. En juillet 1771, Jean-Baptiste Robinet, «éditeur en chef» du *Supplément de l'Encyclopédie* qui venait d'être mis en chantier, adressa de Bouillon à D.A. Golitsyn une demande très détaillée à transmettre à sa cour. Marc Michel Rey, qui connaissait bien le prince et faisait partie du consortium formé pour cette publication, avait annoncé sa démarche:

Comme editeur des suppléments à la grande Encyclopédie de Paris, écrivait Robinet, desirant de donner à cet ouvrage toute la perfection, dont il est susceptible et sentant le besoin, que j'ai du concours des lumieres de tous les savants, je desirerois d'avoir des mémoires exacts sur la Russie, concernant l'histoire civile et politique de ce grand et florissant Empire, la geographie, l'histoire naturelle, le commerce, le militaire, l'état actuel des sciences et de l'Académie Impériale, en un mot tout ce qui concerne cette puissante Monarchie, qui attire aujourd'hui les regards et l'attention de toute l'Europe. Ces mémoires rangés sous des chefs particuliers propres à être mis dans l'ordre alphabetique, suivant le plan de l'Encyclopédie et des suppléments, que nous preparons, doivent être concis et peindre en grand un Etat, qui sous le regne d'une grande Princesse exécute de grandes choses.

Les Académiciens de St. Pétersbourg pourroient se partager ce travail propre à leur faire honneur, à illustrer la nation, et à en faire connoître la veritable grandeur (...)¹⁰³

Cette demande fut accueillie avec empressement à Pétersbourg, où l'on en comprit toute l'importance pour améliorer l'image de la Russie: le vice-chancelier s'adressa immédiatement à Gerhard Friedrich Müller, académicien détaché

¹⁰¹ Diderot, qui avait plusieurs fois exprimé des idées analogues, montrera des dispositions différentes après l'avènement de Louis XVI et l'arrivée de Turgot au ministère: voir sa *Réfutation de l'Homme* (DPV. T. XXIV. P. 481–483).

¹⁰² Johann Albrecht Euler, secrétaire de l'Académie des sciences, pensait comme Gerhard Friedrich Müller que Robinet n'était qu'un prête-nom et soupçonnait un personnage plus important, peut-être Diderot lui-même, d'être derrière toute cette affaire (Pétersbourg, Archives de l'Académie des sciences. Fonds 21–Müller. *Opis* 3. N 313. Fol. 299). Sur l'ensemble de cet épisode, voir *Kowalewicz M., Dulac G.* Catherine II, l'Académie impériale des sciences et le *Supplément de l'Encyclopédie*: cinq lettres de Johann Albrecht Euler, Gerhard Friedrich Müller et Alexandre Mikhaïlovitch Golitsyn, vice-chancelier (août-septembre 1771) // Les Archives de l'Est et la France des Lumières. Guide des fonds et inédits. T. II. P. 345–376.

¹⁰³ Lettre de Robinet datée du 3 juillet, reproduite en annexe du plan de travail arrêté par l'Académie (Протоколы заседаний конференции Императорской Академии наук с 1725 по 1803. СПб., 1900. Т. 3. С. 25–27), sous la date du 17/28 août 1771); repris en annexe dans *Kowalewicz M., Dulac G.* Op. cit.

à Moscou et responsable des archives des Affaires étrangères, afin qu'il traite de l'histoire et de la géographie de l'empire, tandis que l'impératrice ordonna la convocation d'une assemblée extraordinaire de l'Académie des sciences, qui se tint le 17/28 août 1771, avec la participation des membres honoraires¹⁰⁴, dont plusieurs, comme Grigori Kozitski et Grigori Teplov, étaient des collaborateurs de l'impératrice. Le plan de travail qui fut adopté associait aux académiciens et à quelques autres savants les présidents ou vice-présidents des collèges de l'Amirauté, de la Guerre et des Manufactures, la Société libre d'économie et même le révérend père Platon, archevêque de Tver, puisqu'il fut décidé d'ajouter aux sujets énumérés par Robinet la question des religions. D'emblée, le secrétaire de l'Académie, Johann Albrecht Euler, exprima son scepticisme sur les contributions que pourrait fournir cet aréopage. Pourtant Müller se mit immédiatement au travail, en pleine peste de Moscou: dès le 8/19 septembre, il envoyait au vice-chancelier trois articles de géographie, et en mars 1772, l'Académie reçut ses premiers articles sur l'histoire de la Russie. Cependant ses confrères lui renvoyèrent son travail, jugé trop long: l'impératrice, qui avait demandé à lire toutes les contributions, avait ordonné qu'elles soient exactement aux dimensions prévues pour la publication, afin que les éditeurs n'aient rien à y changer. Ces exigences et la volonté impériale d'imposer un contrôle très strict semblent avoir découragé Müller, à qui Euler rappellera en vain, au cours des mois suivants, la nécessité de répondre aux demandes de Robinet. Le prince D.A. Golitsyn eut beau appuyer, depuis La Haye, les réclamations de l'éditeur du *Supplément*, les promesses qu'on lui avait faites ne furent pas tenues. L'ouvrage devait paraître sans que les sujets se rapportant à la Russie y fussent traités¹⁰⁵, ce qui était d'autant plus dommageable qu'il existait à cet égard une forte demande dans le public. Aussi M.M. Rey avait-il annoncé son intention de publier «un corps complet de l'histoire de Russie» à partir des mémoires promis à Robinet¹⁰⁶. De son côté l'imprimeur-libraire d'Yverdon Fortuné Barthélemy De Felice avait demandé, par l'intermédiaire de Jean-Henri-Samuel Formey, à pouvoir disposer pour son *Encyclopédie* de ces mêmes matériaux: ce qui lui fut refusé par ordre de l'impératrice, probablement parce qu'elle redoutait de ne pouvoir imposer son contrôle à l'éditeur d'Yverdon. Cependant, à titre privé et encouragé par son oncle Formey, qui soutenait activement cette publication d'inspiration protestante, J.A. Euler fit préparer pour De Felice des mémoires sur la Russie, si bien que les sujets qui s'y rap-

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Par un retournement ironique des précautions prises par Catherine II, les rares articles où il est question de la Russie sont d'une tonalité souvent critique à l'égard des Russes: ainsi à propos du PASSAGE PAR LE NORD, le géographe Samuel Engel cite longuement un témoin bien informé qui notait que G.F. Müller n'avait pu donner l'«excellent ouvrage» qu'il avait préparé sur l'histoire de la Russie, parce qu'on ne lui avait pas «permis de remplir les devoirs d'un écrivain sincère»: «la nation, expliquait ce témoin, aime le panégyrique, mais non pas la vérité» (Supplément à l'Encyclopédie. T. IV. P. 253a).

¹⁰⁶ D.A. Golitsyn à A.M. Golitsyn, 14 janvier 1772 (Gol. N 1121. Fol. 13).

portent sont abondamment traités dans le corps de l'ouvrage et dans un important supplément¹⁰⁷.

Il est très vraisemblable que Diderot eut connaissance de l'affaire du *Supplément* pendant ses deux séjours à La Haye et lors de ses rencontres avec Rey. Toujours est-il que l'échec du projet de Robinet pouvait illustrer ce qu'il exposait à Catherine II à propos de l'impuissance des académies et des académiciens à produire de grands ouvrages: «<...> le génie dans les sciences et dans les arts, expliquait-il, ne souffre de tâche que celle qu'il s'impose. Il fait mal tout ce qu'il fait par devoir»¹⁰⁸. On observera aussi que la volonté de contrôle très strict que Catherine a manifestée à propos des contributions au *Supplément* n'a pas dû jouer en faveur de Diderot, bien qu'il eût promis de «réparer les sot[t]ises de monsieur l'abbé Chappe et de Mr. le chevalier de Jaucourt»¹⁰⁹: il aurait été difficile de lui imposer une aussi pesante tutelle. D'un point de vue plus général, il semble que les épisodes que nous venons de résumer peuvent contribuer de plusieurs manières à expliquer l'avortement du projet d'une *Encyclopédie* «russe». Nous ignorons si Catherine II a réellement hésité à se lancer dans cette entreprise, ou si elle a délibérément chargé Betskoï de lanterner Diderot, comme le pensait J. Proust, afin d'éviter d'avoir à lui opposer un refus, ce qui aurait pu présenter quelques inconvénients. Il faut reconnaître qu'à considérer le déroulement des faits, la seconde hypothèse paraît la plus vraisemblable. Cependant l'hésitation de l'impératrice avait été réelle lorsqu'il s'était agi d'accorder un soutien public au traité d'Helvétius, bien qu'elle soit restée sensible aux avantages qu'elle pouvait en tirer. Dans le cas du projet encyclopédique de Diderot, il est probable qu'elle n'a pas jugé opportun d'apparaître en commanditaire d'un grand ouvrage dirigé par un philosophe qui avait suscité d'autant plus d'hostilité à Pétersbourg qu'il n'avait rien caché de ses opinions radicales: il avait été si heureux de se sentir «libre» dans la contrée qu'on disait celle des esclaves, alors que dans son pays les hommes étaient «des ressorts que le poids d'une mauvaise administration tient courbés»¹¹⁰! Enfin, comme on l'a vu, dès le début des années 1770, Catherine II ne trouvait plus guère d'avantages politiques à un tel patronage. Les hardiesses philosophiques, dont Diderot lui avait donné maints exemples pendant son séjour, étaient bonnes pour un usage privé et confidentiel, non pour être imprimées sous sa protection.

Un dernier épisode peut conforter cette interprétation. Avec la bibliothèque du philosophe, Catherine avait voulu acquérir ses manuscrits. Aussi, après avoir renoncé à donner une édition de ses œuvres complètes, dont il avait

¹⁰⁷ *Encyclopédie ou Dictionnaire universel raisonné des connaissances humaines*, mis en ordre par M. de Felice. Yverdon, 1770–1780. 58 vol. in-4°. Le tome V du *Supplément*, paru en 1776, comporte par exemple un complément important (P. 623–634) à l'article RUSSIE (1774. T. XXXVII. P. 282–291).

¹⁰⁸ *Diderot D. Mélanges philosophiques*, 55: «Des académies et des manivelles académiques <...>». P. 356–357.

¹⁰⁹ Lettre à Catherine II, 13 septembre 1774 (Corr. T. XIV. P. 84).

¹¹⁰ *Diderot D. Mélanges philosophiques*, 2: «Ma rêverie à moi Denis le philosophe». P. 232.

parlé plusieurs fois dans les années 1770, notamment à Marc Michel Rey¹¹¹, Diderot avait fait préparer avec beaucoup de soin, dans les dernières années de sa vie, une collection de copies destinée à l'impératrice: c'était en fait une sorte d'édition manuscrite de ses œuvres, pour la plupart inédites. Avant même que la bibliothèque soit expédiée à Pétersbourg, Grimm, en sa qualité de «factotum» impérial, avait attiré l'attention de Catherine sur les problèmes posés par cet ensemble et sur les projets de publication qui allaient probablement se faire jour, les libraires étant, disait-on, prêts à payer de tels «trésors <...> au poids de l'or». Tout en étant d'avis que «préalablement on ne publiât rien», il posait le problème de l'édition en des termes propres à suggérer à l'impératrice de l'assumer, en en chargeant «un éditeur bien sévère et d'un grand goût» (et sans doute songeait-il à lui-même, qui avait souvent «édité» Diderot dans la *Correspondance littéraire*)¹¹². Quoi qu'il en soit, Catherine ne réagit pas à cette invite, que la fille de Diderot avait elle-même discrètement appuyée¹¹³: les manuscrits étaient destinés à sa collection personnelle, non à une entreprise qui révélerait les œuvres du philosophe au public. On peut s'en féliciter, car qu'aurait été une édition donnée sous la direction de Grimm, en qui Diderot avait découvert sur le tard un vil «serviteur des grands» et «un des plus dangereux antiphilosophes»¹¹⁴? Sans compter qu'une telle publication aurait vraisemblablement entraîné la destruction des manuscrits, qui depuis le XIX^e siècle et jusqu'à nos jours ont joué un rôle majeur dans la transmission de l'œuvre.

Nous avons tenté de situer les problèmes du Livre, tels que Diderot les a vécus dans ses rapports avec la Russie de Catherine II, dans un contexte élargi, afin de mieux en percevoir les arrière-plans et d'être ainsi en mesure de fonder sur des bases plus larges l'interprétation de certains faits, voire de mettre au jour certains non-dits. Mais il ne faut pas dissimuler que cette approche présente des risques, en multipliant dans certains cas les hypothèses qui sont proposées à la discussion. Il ne fait cependant guère de doute que, dans l'ensemble, la condition faite en France au Livre, et donc à l'écrivain a puissamment contribué à cristalliser chez Diderot une forme d'opposition sourde mais de plus en plus vive au régime politique: et ce d'autant plus qu'elle était exacerbée par le sentiment d'être reconnu à sa vraie valeur par une souveraine étrangère, et aussi par l'espace de liberté entrevu à l'Est, un fantasme à vrai dire, pour l'essentiel.

Il semble en effet qu'on puisse faire deux parts dans les faits que nous avons évoqués. D'un côté, ceux qui tiennent à des réalités matérielles et se rapportent principalement à l'achat de la bibliothèque de Diderot, un événement qui a

¹¹¹ Lettre au D^r Nicolas-Gabriel Clerc, 15 juin 1774 (Corr. T. XIV. P. 42); à M.M. Rey, 14 avril et 12 mai 1777 (Corr. T. XV. P. 50 et 54).

¹¹² Lettre à Catherine II, 19 novembre 1784, dans *Dulac G. Les manuscrits de Diderot en URSS // Éditer Diderot / Études recueillies par G. Dulac. Oxford, 1988. P. 36 (SVEC. Vol. 254).*

¹¹³ *Dulac G. Les manuscrits de Diderot en URSS. P. 39.*

¹¹⁴ *Diderot D. Lettre apologétique de l'abbé Raynal à Monsieur Grimm // Diderot D. Œuvres. T. 3. P. 767.*

déterminé dans une large mesure, non seulement la carrière littéraire du philosophe mais aussi le sort posthume de ses ouvrages. De l'autre, des faits non moins importants, mais qui tiennent presque toujours de l'espoir, du rêve, de l'illusion... Mais cet imaginaire-là n'en a pas moins des effets tangibles: il donne courage et hardiesse, il rehausse la position de l'écrivain et de ses ouvrages et il contribue à changer les rapports de forces, parce qu'il accroît les moyens d'agir sur l'opinion.

ANNEXE

Les questions de Diderot à Catherine II
(janvier 1774)

Nous reproduisons ci-dessous un chapitre du questionnaire sur la Russie présenté par Diderot à l'impératrice, vraisemblablement en prévision de la nouvelle *Encyclopédie* qu'il espérait réaliser pour elle (d'après une copie plus complète retrouvée à Berlin par Sergueï Karp: Le questionnaire de Diderot adressé à Catherine II: quelques précisions // Recherches sur Diderot et sur l'*Encyclopédie*. N 33. Octobre. 2002. P. 10–61, ici 49).

Imprimerie Librairie

1. Avez-vous beaucoup d'imprimeries?	1. Pas beaucoup en comparaison des vôtres.
2. La presse ¹¹⁵ est-elle absolument libre, et pourquoi non?	2. Pas absolument par d'anciennes loix.
3. Les livres étrangers paient-ils à l'entrée ¹¹⁶ ?	3. Rien du tout.
4. Entrent-ils tous sans distinction?	4. A peu près.
5. L'Académie possède-t-elle toujours le privilège exclusif du commerce de la librairie?	5. Point du tout ¹¹⁷ .

¹¹⁵ *La presse*: l'impression, la publication des livres comme des périodiques.

¹¹⁶ Diderot songe vraisemblablement à l'impôt sur les livres étrangers instauré en France en 1771 (voir ci-dessus).

¹¹⁷ Il existait d'assez nombreux libraires indépendants, notamment à Pétersbourg et à Moscou, voir par exemple la liste de leurs catalogues de livres en langues étrangères dans: CK. T. 3. C. 177–193.

Жорж Дюлак

**Проблемы Книги в отношениях Дидро
с Россией (1762–1785)**

С тех пор, как в 1762 г. Екатерина II предложила Дидро завершить в ее владениях издание *Энциклопедии*, в то время официально приостановленное во Франции, а затем под предлогом покупки его библиотеки сделала его обеспеченным человеком, отношения философа с Россией развивались под знаком Книги. Поддержка, оказанная автору, которому на родине мешали издавать книги и на которого клеветали, была воспринята как публичное признание его заслуг, то есть стала своеобразным реваншем. Она закрепила союз между французскими философами-просветителями и российской императрицей, подняв тем самым и собственный престиж монархини в европейском общественном мнении. Однако, вступив в эту игру при посредничестве своего друга князя Д.А. Голицына, Дидро сделал свободу слова главным лозунгом кампании, которая подспудно подтачивала уже пошатнувшиеся основы монархического строя. При этом надежды философа, мечтавшего обрести в России под покровительством императрицы ничем не ограниченную творческую и издательскую свободу, не оправдались. Публикация *Антидота*, провал попытки привлечь Императорскую академию к изданию *Приложения к Энциклопедии* и многие другие факты свидетельствуют о том, в каком направлении начинает эволюционировать позиция Екатерины II в начале 1770-х годов, и помогают понять причины разочарования Дидро.

ПАМЯТИ АНРИ-ЖАНА МАРТЕНА, ОСНОВОПОЛОЖНИКА ФРАНЦУЗСКОЙ ШКОЛЫ ИСТОРИИ КНИГИ

Анри-Жан Мартен, создатель французской школы истории книги, скончался 13 января 2007 г., не дожив нескольких дней до своего восьмидесятитрехлетия. Его имя, наряду с именем Люсьена Февра, связано с созданием в равной мере знаменательного и знаменитого труда «Возникновение книги»¹, положившего начало новому направлению академических исследований, предметом которых стала не только история книги и книгоиздания, но и печатный текст как таковой, его сущность и самые общие свойства.

СЕМЕЙНЫЕ КОРНИ

Анри-Жан Мартен родился в Париже 16 января 1924 г. В Африке, когда умирает мудрый старик, говорят, что исчезла настоящая живая библиотека. Это можно сказать и об Анри-Жане Мартене. Как подчеркивал его бывший ученик Клод Жолли², Мартен занимает ведущее место в науке не только как ученый-историк, но и как библиотекарь и педагог.

©Эрик Ле Ре, 2008

¹ *Febvre L., Martin H.-J. L' Apparition du livre. Paris, 1958.*

² *Jolly Cl. Henri-Jean Martin, bibliothécaire, professeur et savant // Bulletin des bibliothèques de France. 1997. T. 42. N 6. P. 82–84.* Клод Жолли занимает пост заместителя директора по библиотечному делу в Министерстве национального образования. Эта статья воспроизводит речь, произнесенную им 13 мая 1997 г. в большом зале приемов Парижского ректората по случаю вручения Анри-Жану Мартену сборника статей в его честь: *Le Livre et l'historien. Études offertes en l'honneur du professeur H.-J. Martin. Genève, 1997.*

Он учился в частной школе Атмер, где программа организована так, что каждый ученик имеет личную учительницу. Школу он посещал лишь раз в неделю. Именно дома, в обществе матери, занимавшейся его воспитанием, он открыл для себя чтение и полюбил его. Поэтому своим развитием он больше обязан прочитанным книгам, нежели школе. Историю он начинал постигать, разыгрывая исторические битвы с помощью оловянных солдатиков, которых любил мастерить своими руками.

Его дед по материнской линии был ювелиром, а отец, выпускник Высшей школы электричества, – изобретателем. Он проводил испытания первых электровозов, а затем попал в мир кино, став первым инженером, которого взял на работу Леон Гомон, один из создателей французского кинематографа. Он передал сыну страстный интерес к средствам коммуникации и к исследовательской работе – вместе с сопутствующими ей порой финансовыми трудностями, когда открытия или плоды исследований не приносят желаемого успеха. Поэтому одно время Анри-Жан Мартен собирался поступать в инженерное училище или же стать военным. Но поражение Франции во Второй мировой войне и тяжелая болезнь отца вынудили ученика лицея Генриха IV, посещавшего подготовительные курсы Высшей нормальной школы, выбрать для дальнейшей учебы Школу хартий: к вступительным экзаменам туда готовили именно в этом лицее, в параллельном классе.



Анри-Жан Мартен (1924–2007).
Сентябрь 2004

УЧИТЕЛЯ

На подготовительных курсах А.-Ж. Мартен познакомился со многими людьми, впоследствии оказавшими на него влияние: профессором философии Алкье, профессором истории Нового и Новейшего времени Метивье, библиотекарем Пьером Маро, который вел архивное дело, библиографию и историю книги. Вскоре Маро, преподававший, как и Метивье, в Школе хартий, открыл перед ним мир знаменитых печатников.

Мартен посещал также курсы в Высшей практической школе, в частности курс историка экономики Эмиля Коорнера, профессора Коллеж де Франс. Коорнер, а также Эрнест Койек, в недавнем прошлом хранитель парижских Нотариальных архивов, пробудили в нем интерес к миру ремесленных цехов и к экономической истории Франции. Именно они сделали его историком книги: общение с ними привело Мартена к решению заняться исследованием экономического аспекта книгоиздания, а впоследствии и писать на эту тему докторскую диссертацию. Наконец, он познакомился с Жюльеном Кеном, возглавлявшим администрацию Национальной библиотеки и входившим в диссертационный совет Школы хартий, куда он поступил в 1943 г. и которую окончил в 1947 г. с дипломом архивиста-палеографа. Ж. Кен взял его на работу в Национальную библиотеку: задуманная Мартеном работа о полемисте времен Людовика XIV Эсташе Ленобле потребовала досконального изучения всей печатной продукции этого автора и, в частности, идентификации изданий, в том числе нелегальных, с фиктивными выходными данными, а его интерес к техническим аспектам книгопечатания вызвал симпатию у Кена. Мартен стал сотрудником Резервного хранилища печатных изданий, где хранятся редкие и ценные книги, выпущенные с момента изобретения печати с наборной формы.

ИСТОРИЯ КНИГИ

В те годы, когда Мартен начинал интересоваться историей книги, эта тематика оставалась уделом узких специалистов, типографов, интересующихся историей своей профессии, и, наконец, библиофилов и любителей переплетов. О ситуации в университетских кругах он сам рассказывал в интервью Марку Шатлену и Кристиану Жакобу осенью 2002 г., на которое мы будем в дальнейшем опираться. По его словам, здесь царил «полнейшее невежество во всем, что связано с историей книги и с теми критическими предосторожностями, каких требует серьезное издание текста на основе старопечатной книги»³. Эти методы, к тому времени хорошо известные в англосаксонском мире и возникшие еще в начале XX в. в шекспироведении, немного позже получили во Франции название «материальная библиография». Это направление проникло во Францию после Второй мировой войны благодаря посредничеству некоторых австралийских библиотекарей, в частности Уолласа Кирсопа, а также французских профессоров, например Роже Лофера, и исследователей из Оксфорда, например Джэйлса Барбера. Их подход был подхвачен Жанной Вейрен-Форре, которая «на протяжении десятилетий <...>

³ *Martin H.-J. Les Métamorphoses du livre / Entretiens avec J.-M. Chatelain, C. Jacob. Paris, 2004.*

проповедовала во Франции материальную библиографию»⁴. По мнению Мартена, упомянутое невежество объяснялось тем фактом, что французский университет, порвав с прошлым в эпоху Революции, был воссоздан практически без библиотеки и, как следствие, не был укоренен в мире книги и печати.

Работая в Национальной библиотеке, Мартен не только занимался систематизацией и каталогизацией, но и организовал несколько выставок. В ходе подготовки выставки, посвященной Королевской – впоследствии Национальной – типографии, он обнаружил (и поместил на хранение) медные и деревянные гравировальные доски, использовавшиеся в ней в XVII–XIX вв. для создания книжных иллюстраций и орнаментов. «Эти бесценные материалы в то время лежали штабелями, завернутые в бумагу, на антресолях раздевалок для рабочих»⁵. Мартен активно участвовал в спасении бумаг парижского эрудита Филиппа Ренуара, потомка другого эрудита, Антуана-Огюстена Ренуара, в составлении алфавитных каталогов и каталогов названий анонимных произведений, а также в создании каталога инкунабул. Эти его усилия, видимо, стали решающим импульсом к развитию истории книги во французском библиотечном мире. В какой-то момент Мартена привлекли к каталогизации «Ада» (собрания эротических и порнографических книг Национальной библиотеки), однако затем он взбунтовался и попросил о временном прикреплении к Национальному центру научных исследований, чтобы продолжить работу над диссертацией. Он подумывал об отъезде в Северную Америку, в Квебек, где работал его друг Клод Галарно, но в 1962 г. получил место директора муниципальной библиотеки Лиона, самой крупной из провинциальных библиотек Франции.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ КНИГИ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЕ КНИГОПЕЧАТАНИЯ?

Благодаря Эмилю Коорнеру и Фернану Броделю Мартен сблизился с Люсьеном Февром. «Однажды Эмиль Коорнер сообщил мне, что кто-то взялся изучать парижскую корпорацию книготорговцев и печатников, ту самую тему, которой я собирался посвятить свою докторскую диссертацию. Тогда я решил быстрее защитить первую диссертацию, чтобы тема осталась за мной»⁶. Знаменитый историк, основатель «Анналов» Люсьен Февр, в то время уже вышедший на пенсию, обдумывал работу о ренессансной книге; ее центральной темой должна была стать роль печати с наборной формы, а также экономические и культурные про-

⁴ Ibid. P. 89.

⁵ Ibid. P. 36.

⁶ Ibid. P. 53.

цессы, создавшие предпосылки к возникновению печатной книги. Он попросил Мартена подключиться к его исследованию, добавив к нему осмысление психологических и интеллектуальных последствий появления печатной книги. Однако вскоре (27 сентября 1956 г.) Люсьен Февр скончался, оставив Мартену общий план труда и две знаменитые формулировки: «книга – это товар» и «книга – это фермент». Г-жа Февр и Ф. Бродель настаивали на том, чтобы работа была опубликована как можно скорее – под двумя именами и с предисловием самого Броделя. *Возникновение книги*, написанное Мартеном, когда ему было около тридцати лет (в 1953–1957 гг.), – работа с обманчивым, по его признанию, названием: он подчеркивает, что на самом деле речь идет о возникновении книгопечатания. Тем не менее этот труд наложил отпечаток на всю французскую историографию, хотя в момент выхода, в 1958 г., почти не привлек к себе внимания. Сегодня он стал классическим, выдержал большое число переизданий и переведен на многие языки.

Проблемы, к которым обратился Мартен в этой книге, продолжали разрабатываться им в дальнейших исследованиях (до тех пор, пока он не стал заниматься историей письменности и чтения). Он прослеживал эволюцию цивилизации через призму ментальных навыков, не упуская при этом из виду те изменения, которые претерпел интеллектуальный инструментарий вследствие появления печатной книги и типографии. Например, в *Возникновении книги* описаны механизмы изготовления и распространения рукописей и зарождение бумажной промышленности накануне появления типографии – то есть «предпосылки» ее появления. Последствия же этого сказываются и в наши дни. Мартен уделял особое внимание технической стороне умственного труда и связи между развитием материальных способов обращения информации и развитием передачи идей. Тем самым за историей отдельных печатников он видел и обозначал пути проникновения новых идей, изучал влияние, оказанное на умы общедоступностью сакральных текстов, и, наконец, показывал, как книгопечатание способствовало фиксации лексики и орфографии в национальных языках и подъему новых литератур, а также появлению сочинений научного и технического содержания на этих языках.

Как объяснит позднее Элизабет Айзенштейн⁷, следствием изменения способов коммуникации в XV в. был переход от рукописи к печатной книге, который она соотносит с переходом от Средневековья к Новому времени, когда получили развитие научно-технические исследования, завершившиеся промышленными революциями Нового и Новейшего времени. «Лишь немногие специалисты, стремясь объяснить новые способы взаимодействия между теорией и практикой, между ученым и ремесленником, упоминают появление книгопечатания. Между тем, именно это изобретение сделало книги более доступными для ремесленни-

⁷ Eisenstein E.L. La Révolution de l'imprimé dans l'Europe des premiers temps modernes / Trad. de l'anglais. Paris, 1991.

ков, а практические руководства – более доступными для образованных людей. Именно это изобретение побудило художников и инженеров печатать теоретические трактаты, а профессоров – переводить технические труды»⁸. Как ни парадоксально, в эпоху книгопечатания усиливается скорее власть авторитета, нежели свободы: это время, когда сакрализуется фигура автора, а главное, усиливается власть писаного закона, закрепленного, если не закостеневшего, благодаря письму – в ущерб кутному, чаще всего устному, а значит, постоянно меняющемуся. Тогда же наблюдается кристаллизация и нормативизация единого национального языка за счет диалектов – или же оппозиции той или иной религии или политическому режиму благодаря сетям подпольных типографий. Тем самым эпоха книгопечатания предстает «универсумом с открытой конечной целью».

Однако Мартен признавал: видимо, главный недостаток этой книги состоял в том, что в ней почти ничего не говорилось об авторах и практиках чтения; кроме того, не получили достаточного освещения технический, экономический и социальный климат, в котором родилось в Германии типографское искусство, и связь этого явления с новым спросом на тексты, экономическим обновлением и техническим прогрессом. Эти вопросы Мартен рассмотрел в двух других своих выдающихся трудах – *История и возможности письма*⁹ и *Рождение современной книги*¹⁰, где он анализировал структуру самих текстов. Его исследования «ментального инструментария» различных обществ, взаимосвязей между устным и письменным словом в недрах этих обществ и влияния этих связей на эволюцию способов мышления и носителей мысли были продолжены другими исследователями, в частности Мартином Лоури и Жаном-Франсуа Жильмоном. Роже Шартье в своих работах (в частности в *Истории чтения на Западе*¹¹) проанализировал смысл текста в его соотношении с материальной формой и книжным оформлением, бесконечную де- и рематериализацию текста при его распространении с помощью либо материальных, технических средств, либо средств ментальных, культурных. Бывший ученик и друг Мартена Фредерик Барбье в своей работе *Империя книги*¹² рассмотрел, в частности, подъем национализма в Германии в связи с развитием книготорговых сетей.

Сегодня, на рубеже XX и XXI вв. происходит революция в средствах массовой информации, разворачивается глобализация; дематериализа-

⁸ Eisenstein E.L. Le livre et la culture savante // Histoire de l'édition française / Sous la direction de H.-J. Martin, R. Chartier. Paris, 1982. T. I. P. 674.

⁹ Martin H.-J. Histoire et pouvoirs de l'écrit. Paris, 1988.

¹⁰ Martin H.-J. La Naissance du livre moderne, XVI^e–XVII^e siècles: mise en page et mise en texte du livre français. Paris, 2000.

¹¹ Histoire de la lecture dans le monde occidental / Sous la direction de R. Chartier, G. Cavallo. Paris, 1997.

¹² Barbier F. L'Empire du livre : le livre imprimé et la construction de l'Allemagne contemporaine, 1815–1914. Paris, 1995.

ция текста приобретает новое измерение в эпоху перехода от печатной страницы к экрану компьютера и Интернету. Эти процессы порождают вполне естественное и традиционное стремление людей к отстаиванию своей идентичности, однако оборотной стороной этого становится их нарастающая замкнутость, тенденция к созданию узких групп. Аналогичные события уже происходили в истории. «Нынешняя революция СМИ – не первая и не последняя», – подчеркивает Ф. Барбье, прослеживая в своей последней книге *Европа Гутенберга: книга и изобретение западноевропейского Нового времени*¹³ логику первой из информационных революций Нового времени – изобретения книгопечатания Иоганном Гутенбергом.

В ЛИОНЕ

Прибыв в Лион в 1962 г., А.-Ж. Мартен параллельно с написанием диссертации берется за осуществление грандиозного проекта, предполагавшего возведение нового здания библиотеки и увеличение ее персонала (который он называет «сонным царством»): количество служащих возросло с двадцати до ста двадцати человек. Благодаря своему двойному статусу – главы муниципальной службы (библиотека находится в ведении города Лиона) и государственного чиновника – он быстро проводит по инстанциям необходимые бумаги и добивается выделения значительных средств для реализации своих замыслов. Он организует библиотеки в каждом квартале Лиона и поощряет проведение обширных социологических опросов на тему читательских практик с целью возродить во Франции интерес к чтению. Он интересуется информатизацией библиотек. Новая библиотека призвана расширить источники информации и научных исследований в местных университетах, а также привлечь в город крупные учебные заведения, такие, как Высшая нормальная школа (ENS, отделение литературы и гуманитарных наук) и Высшая национальная школа информации и библиотек (ENSSIB). Мартен считает делом чести пригласить в город крупных исследователей и облегчить им условия работы, чтобы им не приходилось ездить заниматься в Париж. Кроме того, он проводит активную выставочную политику и способствует созданию в Лионе Музея книгопечатания. В организации музея ему помогают парижский книготорговец Андре Жамм и владелец лионской типографии Морис Оден. По словам самого Мартена, музей был задуман по образцу Музея Гутенберга – как сочетание собственно музея и исследовательского центра при библиотеке: «Он призван был представить публике печатное наследие и одновременно отвечать дидактиче-

¹³ Barbier F. L'Europe de Gutenberg. Le Livre et l'invention de la modernité occidentale. Paris, 2006.

ским целям: объяснять, каким образом изготавливалась книга и какие различные техники для этого применялись»¹⁴.

Сегодня этот музей развивает сотрудничество по целому ряду направлений с ENSSIB, ENS, Школой хартий, муниципальными библиотеками Лиона и лионскими университетами. В 2005 г. ему присвоен статус национального; его возглавляет историк Алан Маршалл (шотландец по рождению), специалист по истории фотонабора. Благодаря ему музей постоянно пополняется историческими фондами и профессиональными архивами, такими, как архивы Игуне и Мойруда, французских изобретателей фотонабора; или, например, собранный по инициативе Эрика Ле Ре архив общества, основанного ок. 1850 г. Ипполитом-Огюстом Маринони (1823–1904) – основоположником французских ротационных печатных станков со стереотипными клише. Эти станки были разработаны на основе исследований, которые вел с 1838 г. французский инженер немецкого происхождения Якоб Вормс по инициативе Эмиля де Жирардена; профессионалы и историки полагают, что именно благодаря их промышленному производству в XIX в. возникли современные средства массовой информации с тиражами популярных периодических изданий (*Le Petit journal*), превышающими миллион экземпляров.

ПЕДАГОГ И УЧЕНЫЙ

А.-Ж. Мартен вступил на педагогическое поприще в 1954 г., организовав в парижской Эльзасской школе подготовительный курс Школы хартий; однако эта новая программа не получила продолжения. В 1958 г. он преподавал историю книги в рамках преддипломной подготовки библиотекарей, затем, в 1962 г., в Высшей национальной школе библиотекарей (ENSB, ныне ENSSIB). Во время своего пребывания в Лионе он был избран в 1963 г. ведущим преподавателем IV отделения Высшей практической школы (EPHE) в Париже и оставался на этом посту более тридцати лет. Занятия он вел по понедельникам, и в течение восьми лет каждое воскресенье вечером уезжал из Лиона, утром в понедельник четыре часа вел занятия в школе библиотекарей и в EPHE, а вечером, в полночь, возвращался в Лион. Он преподавал библиографию, а также технику и историю книгопечатания и гравюры. В 1968 г. Мартен получил приглашение возглавить созданную специально для него кафедру библиографии и истории книги в Школе хартий. Это позволило ему вернуться в Париж и наконец завершить диссертацию, которую он представил к защите в 1968 г. и защитил в 1969 г.; в том же году она была опубликована под названием *Книга, власть и общество в Париже в XVII веке (1598–1701)*¹⁵.

¹⁴ Martin H.-J. Les Métamorphoses du livre. P. 112.

¹⁵ Martin H.-J. Livre, pouvoirs et société à Paris au XVII^e siècle, 1598–1701. Genève, 1969. Т. 1–2.

В своей диссертации он рассматривал эволюцию печатных текстов как с социально-экономической, так и с интеллектуальной точки зрения. Первая часть, изобилующая статистическими данными, посвящена эволюции печатной продукции, две другие – анализу ремесла печатника и частным библиотекам, а также общей характеристике эпохи, движению от барокко к классицизму в контексте социально-экономической конъюнктуры. После опубликования своей диссертации Мартен был награжден серебряной медалью Национального центра научных исследований. Изучение истории книги в рамках его семинара в ЕРНЕ развивалось в направлении экономической и социальной истории книги, а также интеллектуальной истории.

ФРАНЦУЗСКАЯ ШКОЛА ИСТОРИИ КНИГИ

Семинар Мартена стал одним из тех мест, где складывалась «французская школа истории книги»; многие ее представители в начале 1980-х годов приняли участие в обширном проекте – подготовке *Истории книгоиздания во Франции*¹⁶ под редакцией Мартена и Роже Шартье. Именно к этому времени относится начало их сотрудничества: Шартье посещал семинар Мартена в IV отделении ЕРНЕ, хотя сам работал в VI отделении (впоследствии превратившемся в Высшую школу общественных наук, EHESP). Мартен познакомился с Шартье в 1966 г., когда последний еще учился в своем родном городе Лионе, и вновь встретился с ним в Сорбонне, где тот был ассистентом. Вскоре Шартье возглавил новое направление исследований – историю чтения, дополняющее программу, намеченную Мартеном. Весьма тесное сотрудничество с Шартье подтолкнуло Мартена к изучению истории письменности и чтения. Дейст-

¹⁶ Histoire de l'édition française / Sous la dir. de R. Chartier, H.-J. Martin. Paris, 1982–1986. Т. I–IV. Среди участников проекта – Жанна Вейрен-Форре, руководитель семинара в ЕРНЕ, вместе со своими учениками (библиотекарями и сотрудниками CNRS), а также Альбер Лабар, Брижит Моро, Урсула Баурмейстер, Бруно Невё, Реймонд Бирн, доминиканец о. Мишель Сафре, выпускники Высшей национальной школы библиотекарей до ее переезда в Лион, ученики Высшей нормальной школы, профессиональные полиграфисты, например Альфонс Ден, выпускники Школы хартий, такие, как Дени Паллье, Анни Шарон, Фредерик Барбье (который сменил А.-Ж. Мартена в ЕРНЕ и которого тот привлек к изучению истории книгоиздания XIX в., предложив ему в качестве темы дипломной работы в Школе хартий издательство Берже-Левро, потом, для первой докторской диссертации – книгопечатание в Страсбурге с конца XVIII в. до 1870 г., под руководством Даниеля Роша, и, наконец, для «большой» («государственной») диссертации – расцвет типографий в Германской империи в 1870–1914 гг.), Доминик Кок, Марианн Гривель, Жан-Доминик Мелло, Валери Теньер, Жан-Марк Шатлен и другие специалисты – Анн Сови, Мотоко Секине (Нино-мийа), Мишлин Леккок, Эцио Орнато, Изабель Жамм, Пьер Птименжен, Жак Бретон, Доминик Варри...

вительно, Шартье уделял и уделяет главное внимание рецепции произведений и ментальным структурам; благодаря его работам впоследствии были радикально пересмотрены традиционные подходы к истории литературы, а также к истории культуры и ее практикам. Через Шартье Мартен познакомился также с Даниелем Рошем, профессором университета Париж – I (а затем Коллеж де Франс), специалистом по эпохе Просвещения и социальной коммуникации, а также с американцами Робертом Дарнтоном и Элизабет Айзенштейн. Постепенно налаживалось международное сотрудничество; американские, австралийские, английские и немецкие профессора стали чаще приезжать для исследовательской работы во Францию, пользуясь для этого отпусками, регулярно предоставляемыми их университетами. В 1993 г. А.-Ж. Мартен прочел цикл лекций в США в рамках *Schouler Lectures* в Университете имени Джонса Хопкинса в Балтиморе; эти лекции переведены и опубликованы¹⁷ с предисловием американского историка Ореста Ранума. Таким образом, возникает история книги «во французском духе»: благодаря усилиям Мартена исследования в этой области продвигаются в направлении индустриального периода, распространяются уже и на XIX в.

В издательстве «Дроз» он основал серию «История и цивилизация книги», непосредственно связанную с его кафедрой в ЕРНЕ, и это позволило Мартену выпустить в свет многие диссертации и коллективные труды, выполненные под его руководством. Сегодня по инициативе Ф. Барбье создан новый одноименный журнал – *Histoire et civilisation du livre*, выходящий вместо прежнего журнала *Revue française d'histoire du livre*.

ИСТОРИЯ КНИГОИЗДАНИЯ ВО ФРАНЦИИ

В 1982–1986 гг. усилиями А.-Ж. Мартена в издательстве «Промодис» (ныне «Серкль де ла Либрери») вышли один за другим четыре тома *Истории книгоиздания во Франции*, подготовленных под руководством его и Р. Шартье. В рамках одного издания были сведены вместе все разнообразие подходы к книге: материально-техническая история ее производства, социально-экономическая и институциональная история ее распространения, наконец, символическая и культурная история ее восприятия. Этот замысел был реализован по инициативе издателя Жана-Пьера Виве, бывшего журналиста газеты *Монд*. Позднее, в 1988 г. Паскаль Фуше, сменивший его на посту директора «Серкль де ла Либрери», выпустил пятый том, охватывающий вторую половину XX в. Успех *Истории книгоиздания во Франции* породил интерес к нацио-

¹⁷ *Martin H.-J. The French Book: Religion, Absolutism, and Readership, 1585–1715. Baltimore; London, 1996.*

нальной истории книги в Англии, Испании, в Центральной Европе, а совсем недавно – в Канаде (трехтомная *История книги и печатной продукции Канады*)¹⁸.

Все эти проекты имеют общую цель: с помощью истории книги сохранить или вновь обрести общее осознание культурной или географической идентичности в эру электронных СМИ и Интернета. Но, как подчеркивает Мартен, «следовало бы вписать историю книги в рамки общей системы коммуникаций данного общества – период за периодом, начиная с древнейших времен», обратившись «к специалистам в области различных гуманитарных наук и нейрофизиологии»¹⁹. Этим он и занимался в своих исследованиях, посвященных истории письменности и чтения (*История и возможности письма*, 1988). К идее осмыслить историю письма, его зарождение из изображения и его роль в эволюции ментальных форм Мартен пришел не сразу. В частности, он пытался реконструировать их, исходя из строения текста, показать, какую властную силу письмо (и реализация власти через письменность) сообщало отдельным социальным категориям, а также проанализировать связь между письменным и устным словом. «Этим следовало бы заняться не только в рамках конкретного произведения и творчества отдельного автора, но и в рамках общего исследования систем коммуникации конкретного общества в конкретную эпоху»²⁰. За эту работу Мартен был награжден Гран-при им. Гобера Французской Академии (по представлению Жоржа Дюби). За этой книгой последовали *Расположение страницы и расположение текста в рукописной книге* и *Рождение современной книги*²¹. В последней работе он показывал, как связано познание текстов с осознанием той материальной формы, в какой они предстают читателям. Анализируя акт письма, его графические коды и визуальную структуру, Мартен исследовал скорее историю воплощения текстов и их организации, нежели историю чтения, его практик и социальных эффектов, оставляя этот аспект исследования Р. Шартье. Тем самым, возвращаясь к давним выводам Маклюэна с его «medium is message» и, быть может, отождествляя смысл текста и способ его использования, он напоминал, что повсеместное распространение чтения про себя отнюдь не было следствием возникновения книгопечатания: в Европе оно восходит к X–XI вв., когда слова на письме стали отделять друг от друга.

¹⁸ Histoire du livre et de l'imprimé au Canada. Montréal, 2004. Т. 1–3.

¹⁹ Martin H.-J. Les Métamorphoses du livre. P. 216.

²⁰ Ibid. P. 224.

²¹ Mise en page et mise en texte du livre manuscrit // Sous la dir. de H.-J. Martin, J. Vezin. Paris, 1990; Martin H.-J. La naissance du livre moderne. Paris, 2000.

ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА

В последней книге, которую А.-Ж. Мартен сумел завершить, несмотря на болезнь, он, как и следовало ожидать, обратился к еще более отдаленной эпохе: он рассматривал историю человеческой коммуникации в рамках очень большой временной протяженности. Она начинается с появления *homo sapiens*, с периода господства устной мысли, и приводит к изобретению алфавитного письма, то есть возникновению мысли визуальной. Эту книгу он писал многие годы, и она целиком соответствует эволюции его интересов: от анализа печатного носителя слова и связанных с ним способов коммуникации и мысли к истории письма, чтения, а затем и устного слова. Каждый способ коммуникации (и ее носитель) возникает из предшествующих, затем достигает известной автономии и, в свою очередь, эволюционирует к чему-то новому. Мартен показывает, что печатная книга вначале старалась предстать перед читателем как факсимиле рукописи и лишь затем, очень медленно, находила свои, только ей присущие способы подачи текста. Станем ли мы свидетелями аналогичных процессов, связанных с электронным текстом и электронными средствами коммуникации? Нужно ли будет оберегать тексты, сохраняя их предшествующие материальные формы? Требуется ли от нас наступление цифровой эры поисков новых форм истории текстов, истории книги и библиотек? Как скажется использование компьютера и Интернета на будущем книги, на системах человеческой мысли и памяти? Мартен завещал нам множество направлений исследования, по которым он продвигался с присущим ему умом и смирением. Он открыл перед нами пути, ведущие к познанию исторической эволюции ментальных структур человека, его продвижения к сознанию и свободе, тех структур, что влияли на его способы чтения и общения, на воплощение мысли в текст или иную «читаемую» форму. Продолжать его размышления – лучший способ отдать ему дань уважения, храня в душе его образ, дух его благородства и неконформизма.

Эрик Ле Ре
Перевод И.К. Стаф

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- АВПРИ – Архив внешней политики Российской империи (Москва)
- Архив СПИИ РАН – Архив Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук
- БАН – Библиотека Российской академии наук (Санкт-Петербург)
- ГИМ – Государственный исторический музей (Москва)
- ГМИИ – Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Москва)
- ГМУА – Государственный музей-усадьба «Архангельское» (Московская обл.)
- ГТГ – Государственная Третьяковская галерея (Москва)
- ГРМ – Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)
- ГЭ – Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)
- ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 1803–1917
- ИРЛИ – Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (Санкт-Петербург)
- НБ МГУ. ОРКиР – Научная библиотека Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Отдел редких книг и рукописей.
- НБ ОНУ – Научная библиотека Одесского национального университета им. И.И. Мечникова
- НБ СПбГУ – Научная библиотека Санкт-Петербургского государственного университета
- ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург)
- ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи [Собрание 1-е]. Т. 1–45. СПб., 1830
- ПФА РАН – Петербургский филиал Архива Российской академии наук
- РБС – Русский биографический словарь. Т. 1–25. М., СПб., Пг., 1896–1918
- РГАДА – Российский государственный архив древних актов (Москва)
- РГБ – Российская государственная библиотека (Москва)
- РГИА – Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
- РНБ – Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург)
- Сборник РИО – Сборник Императорского Русского исторического общества. СПб., 1867–1916

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- СК – Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725–1800. Т. 1–5. М., 1962–1967; Дополнения. М., 1975
- ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских при Императорском Московском университете. М., 1846–1918
- АМАЕ – Archives du Ministère des Affaires étrangères (Paris et Nantes)
- ASR – Archivio Storico di Roma
- Best. D – *Voltaire*. Correspondence and related documents / Definitive edition by Th. Besterman. Genève: Institut et Musée Voltaire; Toronto: University of Toronto Press, 1968–1971; Oxford: The Voltaire Foundation, 1971–1977. 51 vol.
- BNF – Bibliothèque nationale de France (Paris)
- CL – Correspondance littéraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Raynal, Meister, etc. revue sur les textes originaux, comprenant outre à ce qui a été publié à diverses époques les fragments supprimés en 1813 par la censure... / Notices, notes, table générale par M. Tourneux. Paris: Garnier, 1877–1882. 16 vol.
- DHS – Dix-huitième siècle, revue de la Société française d'étude du XVIII^e siècle, 1969–
- DPV – *Diderot D. Œuvres complètes* / Éd. par H. Dieckmann, J. Proust, J. Varloot, & al. Paris: Hermann, 1975–
- ISTC – International Standard Textual Work Code
- MoSS – Monitoring, Safeguarding and Visualizing North-European Shipwreck Sites
- MS – Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la République des lettres en France depuis MDCCLXII jusqu'à nos jours, 36 vols. London, 1777–1788
- STN – Société Typographique de Neuchâtel
- SVEC – Studies on Voltaire and the Eighteenth century. Genève; Banbury; Oxford: The Voltaire Foundation, 1955–

СОДЕРЖАНИЕ

Введение (<i>Жан-Доминик Мелло</i>).....	5
Introduction (<i>Jean-Dominique Mellot</i>).....	16

Укрепление государственной цензуры: задачи, механизмы, тенденции

<i>Françoise Bléchet</i> (Paris) Pouvoir et censure à la Librairie et à la Bibliothèque du Roi: règles et exceptions.....	26
<i>Jean-Dominique Mellot</i> (Paris) «Police moderne» et police du livre, du «siècle de Louis XIV» au siècle des Lumières: points de départ et évolution, principalement à Paris	54
<i>Sabine Juratic</i> (Paris), <i>Jean-Pierre Vittu</i> (Orléans) Surveiller et connaître: le <i>Journal de la librairie</i> de Joseph d'Hémery, instrument de la police du livre à Paris au XVIII ^e siècle	90
<i>William Hanley</i> (Hamilton) Prudence est mère de sûreté: un argument contemporain pour l'approbation anonyme des livres dans la France du XVIII ^e siècle.....	109
<i>А.Ю. Самарин</i> (Москва) Развитие книгопечатания и цензура в России (1750-е – начало 1780-х годов).....	121
<i>В.А. Сомов</i> (Санкт-Петербург) Французская книга в русской цензуре конца XVIII века	153
<i>Wallace Kirsop</i> (Melbourne) Censeurs russes et livres étrangers, 1815–1821	192
<i>Н.А. Гринченко</i> (Санкт-Петербург) Организация цензуры в России в первой четверти XIX века	205
<i>Robert Darnton</i> (Princeton) Pour une approche comparative de la censure: France, 1789 – Allemagne de l'Est, 1989	229

Инструменты цензуры, издательские практики, обходные маневры

<i>О.А. Цапина</i> (Сан-Марино, Калифорния) Церковная цензура и светские типографии в России во второй половине 1770-х – начале 1790-х годов	247
--	-----

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Г.А. Космолинская</i> (Москва)	
Два куратора Московского университета – две цензуры: И.И. Шувалов и В.Е. Адогуров.....	263
<i>Jean-Daniel Candaux</i> (Genève)	
Voltaire, auteur permis, approuvé, privilégié hors de France	283
<i>Silvio Corsini</i> (Losanne)	
Livres interdits en France et imprimés à Lausanne au siècle de Voltaire: un premier bilan	295
<i>René Moulinas</i> (Avignon)	
Censure et police de l'imprimerie et de la librairie à Avignon et dans le Comtat Venaissin au XVIII ^e siècle	317
<i>Christiane Berkvens-Stevelinck</i> (Nimègue)	
La censure de l'édition de langue française aux Provinces-Unies: mythe et réalité.....	351
<i>Otto S. Lankhorst</i> (Nimègue)	
Stratégies des libraires hollandais pour protéger leurs éditions françaises de la concurrence	367
<i>Françoise Weil</i> (Dijon)	
La fin des Lumières: fausses adresses, 1774–1788.....	379

Цензоры, тексты, издатели и авторы: встречи и судьбы

<i>Raymond Birn</i> (Eugene, Oregon)	
A Royal Censor at Work (1769–1784): The Reports of Jean-Baptiste-Claude Cadet de Saineville.....	402
<i>Barbara de Negroni</i> (Versailles)	
<i>L' Encyclopédie</i> et les censures	420
<i>Н.Ю. Плавинская</i> (Москва)	
<i>Персидские письма</i> Монтескье в русских переводах XVIII века: к вопросу о цензуре.....	437
<i>Г.А. Фафурин</i> (Санкт-Петербург)	
Несколько новых штрихов к биографии петербургского издателя и книгопродавца И.Я. Вейтбрехта.....	454
<i>Ю.В. Кагарлицкий</i> (Москва)	
К вопросу об издании переводных религиозных книг в России XVIII века: переводы Стефана Писарева и их издательская судьба.....	470
<i>Georges Dulac</i> (Montpellier)	
Les problèmes du Livre dans les relations de Diderot avec la Russie (1762–1785)	498
Памяти Анри-Жана Мартена, основоположника французской школы истории книги.....	526
Список сокращений.....	538

Научное издание

Век Просвещения

Выпуск II

Цензура и статус печатного слова во Франции и России эпохи Просвещения

В двух книгах

Книга I

Утверждено к печати
Научным советом
«История мировой культуры»
Российской академии наук

Заведующая редакцией Н.Л. Петрова
Художник В.Ю. Яковлев
Художественный редактор Т.В. Болотина
Технический редактор Т.А. Резникова
Корректоры Т.А. Печко, Е.Л. Сысоева

Подписано к печати 20.10.2008. Формат 70 × 100 ¹/₁₆
Гарнитура Таймс. Печать офсетная
Усл.печ.л. 42,2. Усл.кр.-отт. 44,8. Уч.-изд.л. 40,2
Тип. зак.

Издательство «Наука»
117997, Москва, Профсоюзная ул., 90

E-mail: secret@naukaran.ru
www.naukaran.ru

ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6

**АДРЕСА КНИГОТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТОРГОВОЙ ФИРМЫ "АКАДЕМКНИГА" РАН**

Магазины "Книга-почтой"

- 121099 Москва, Шубинский пер., 6; (код 495) 241-02-52 Сайт: www.LitRAS.ru
E-mail: info@LitRAS.ru
197110 Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, 7 "Б"; (код 812) 235-40-64
ak@akbook.ru

**Магазины "Академкнига" с указанием букинистических отделов
и "Книга-почтой"**

- 690002 Владивосток, Океанский проспект, 140 ("Книга-почтой");
(код 4232) 45-27-91 antoli@mail.ru
620151 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 137 ("Книга-почтой");
(код 343) 350-10-03 kniga@sky.ru
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 289 ("Книга-почтой"); (код 3952) 42-96-20
aknir@irlan.ru
660049 Красноярск, ул. Сурикова, 45; (код 3912) 27-03-90 akademkniga@bk.ru
220012 Минск, просп. Независимости, 72; (код 10375-17) 292-00-52, 292-46-52,
292-50-43 www.akademkniga.by
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7; (код 495) 124-55-00
(Бук. отдел (код 495) 125-30-38)
117192 Москва, Мичуринский проспект, 12; (код 495) 932-74-79
127051 Москва, Цветной бульвар, 21, строение 2; (код 495) 621-55-96
(Бук. отдел)
117997 Москва, ул. Профсоюзная, 90; (код 495) 334-72-98
105062 Москва, Б. Спасоглинищевский пер., 8 строение 4; (код 495) 624-72-19
(Бук. отдел)
630091 Новосибирск, Красный проспект, 51; (код 383) 221-15-60
akademkniga@mail.ru
630090 Новосибирск, Морской проспект, 22 ("Книга-почтой");
(код 383) 330-09-22 akdmn2@mail.nsk.ru
142290 Пушкино Московской обл., МКР "В", 1 ("Книга-почтой");
(код 49677) 3-38-80
191104 Санкт-Петербург, Литейный проспект, 57; (код 812) 272-36-65
ak@akbook.ru (Бук. отдел)
199034 Санкт-Петербург, Васильевский остров, 9-я линия, 16;
(код 812) 323-34-62 (Бук. отдел)
634050 Томск, Набережная р. Ушайки, 18;
(код 3822) 51-60-36 akademkniga@mail.tomsknet.ru
450059 Уфа, ул. Р. Зорге, 10 ("Книга-почтой"); (код 3472) 23-47-62,
23-47-74 UfaAkademkniga@mail.ru
450025 Уфа, ул. Коммунистическая, 49; (код 3472) 72-91-85 (Бук. отдел)

Коммерческий отдел, Академкнига. г. Москва

Телефон для оптовых покупателей: (код 495) 241-03-09

Сайт: www.LitRAS.ru

E-mail: info@LitRAS.ru

Склад, телефон (код 499) 795-12-87

Факс (код 495) 241-02-77

*По вопросам приобретения книг
государственные организации
просим обращаться также
в Издательство по адресу:
117997 Москва, ул. Профсоюзная, 90
тел. факс (495) 334-98-59
E-mail: initsiat@naukaran.ru
www.naukaran.ru*
